



Самуила

1978

3-

III

283

W 216

ВЫПУЩЕНО
Резервный фонд
Гос. Публ. Биб-ли

✓

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

ДРЕВНЯГО И НОВАГО МИРА

СОСТАВЛЕННАЯ

ПО И. ШЕРРУ, ШЛОССЕРУ, Г. ГЕТТНЕРУ, Ф. ШЛЕГЕЛЮ, Ю. ПИНАДУ,
Р. ГОТТШАЛЮ И ДР.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

А. МИЛЮКОВА

8
91.7.
М 60
1978

ПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФИИ Д. И. КАЛИНОВСКАГО

1862





887(091)+871(091):82

821.14'02 + 1821.124 + 1821.161.1 (091) = 161.1



Учр.

Приложение къ журналу «Свѣточъ».



A

8
7.10
0011
8701

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

ЭЛЛАДА И РИМЪ

Слово литература греко-римскаго происхожденія (*λίω*, *linea*, *litera*). Въ первоначальномъ смыслѣ оно обозначало процессъ писменнаго изображенія мыслей и фактовъ. Новѣйшаго значенія этого слова мы не найдемъ у древнихъ, потому-что римляне словомъ *literatura* передавали греческое слово *γραμμάτις*, и поэтому литераторомъ назывался у нихъ грамматикъ, кругъ занятій котораго, безъ сомнѣнія, не ограничивался изученіемъ и преподаваніемъ языка, но заключалъ въ себѣ и объясненіе поэтическихъ произведеній. Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ подъ *ars literatoria*, въ продолженіе среднихъ вѣковъ, понимали грамматику, такъ-какъ литература была отдана тогда подъ строгій надзоръ реторики. Наше понятіе о литературѣ установилось только въ новое время, а вмѣстѣ съ этимъ опредѣлилось и мѣсто исторіи литературы.

Согласно съ этимъ понятіемъ, *литература*, въ самомъ общемъ значеніи, есть сводъ произведеній человеческого духа, изображенныхъ при посредствѣ слова, письма или печати, — все равно, каково-бы ни было различіе между этими произведеніями. Такимъ-образомъ

всеобщая исторія литературы, въ самомъ обширномъ смыслѣ, есть задача очистить и привести въ ясность и порядокъ массу тѣхъ произведеній человѣческаго духа, къ которымъ можетъ быть примѣнимо данное опредѣленіе литературы. Ясно, что на составленіе такой всеобщей исторіи литературы, которая дѣйствительно заслуживала-бы названіе исторіи, не достанетъ десяти человѣческихъ жизней, тѣмъ болѣе, что по этому идеалу исторія литературы должна быть вмѣстѣ-съ-тѣмъ и культурной исторіей, т. е. заключить въ своемъ кругозорѣ все, что только помогало человѣчеству выйти изъ его природнаго состоянія и достичь образованія моральнаго и интеллектуальнаго, нравственнаго и общественнаго. Отъ общаго понятія литературы отвѣтвляются: понятіе *спеціальной литературы*, которая даетъ исторію литературы отдѣльныхъ искусствъ и наукъ, и понятіе *національной литературы*. Подъ этимъ понятіемъ разумѣются всѣ тѣ произведенія словесныя, письменныя и печатныя, которыя по своему содержанію и формѣ всѣмъ извѣстны, или по-крайней-мѣрѣ доступны, — слѣдовательно, главнымъ образомъ національная литература включаетъ въ себѣ художественно-созданную словесность, произведенія поэзіи и изящной прозы (*belle-lettres*), которыя опять-таки, оставивъ въ сторонѣ различіе по языку, отличаются отъ соответственныхъ имъ литературныхъ произведеній другихъ народовъ національной особенностью духа и тона. Конечно, этого понятія о національной литературѣ можно и не всегда держаться строго, потому-что въ новѣйшихъ поэтическихъ произ-

веденіяхъ „національныя особенности“ тона очень часто исчезаютъ, нарушаются или переиживаются съ чуждыми.

Исторія литературы, какъ наука, родилась не сегодня и не вчера. Начало ея низходитъ въ міръ античный, гдѣ въ сочиненіяхъ грековъ Страбона, Павзанія, Атеней, Филострата, Диогена Лаэртскаго, Діонисія Галикарнасскаго, и римлянъ Варрона, Цицерона, Плінія, Квинтилиана, Геллія, Светонія встрѣчаемъ болѣе или менѣе ясныя слѣды историко-литературной дѣятельности. Но исторія литературы получила свое полное значеніе только въ новѣйшее время, когда признали, что литература есть ключъ ко всѣмъ другимъ областямъ исторіи. Даже болѣе: исторія литературы есть *идеальная исторія человечества*, такъ-какъ литературы различныхъ народовъ составляютъ высшее процвѣтаніе ихъ бытія, лучшее и прекраснѣйшее пріобрѣтеніе труда культуры. Такую высокую и вмѣстѣ-съ-тѣмъ справедливую оцѣнку литературной исторіи первые сдѣлали нѣмцы. Этой-же націи принадлежитъ и большая часть замѣчательнѣйшихъ дѣятелей въ области исторіи литературы. Задача настоящаго труда состоитъ въ томъ, чтобы изобразить національно-литературное развитіе всѣхъ народовъ земнаго шара, которые обладаютъ дѣйствительною литературой, а не одними только изустно-переданными пѣснями, сказаніями и сказками, какъ племена полудикія, или какъ древніе египтяне и древніе ацтеки, оставившіе только одни литературные отрывки, — но имѣютъ или имѣли дѣйствительную литературную исторію.

Великая картина разворачивается передъ нами. Нашъ путь ведетъ насъ въ далекую древность и простирается къ нашему, настоящему времени.

Все наше умственное образованіе опирается на образованность древнихъ, такъ-что вообще трудно начертить полную картину литературы, не начиная съ этой точки, не опираясь на грековъ и римлянъ. Кромѣ-того примѣромъ греческой націи можно чрезвычайно наглядно показать благодѣтельное дѣйствіе литературы, счастливо развитой; но съ другой стороны, она-же представляетъ въ самомъ яркомъ свѣтѣ гибельныя и вредныя послѣдствія софистическаго краснорѣчія. Впрочемъ, мы постараемся быть какъ-можно короткими въ этомъ предварительномъ очеркѣ античной литературы.

Начинать греками великую картину всеобщей литературы удобно уже и потому, что умственное образованіе этого народа по большей части развилось само изъ себя и совершилось почти независимо отъ другихъ народовъ. Правда, и греки выучились письму у финикянъ, кое-что заимствовали у египтянъ и другихъ азіатскихъ народовъ; но чему ни научились, что ни заняли греки отъ кого-либо, все это по большей части тогда-же, при самомъ заимствованіи, обрабатывалось совершенно самостоятельно. Да и самыя заимствованія ихъ ограничивались или отдѣльными понятіями, или грубымъ матеріаломъ; духовное-же образованіе греки всецѣло создали себѣ сами.

Итакъ, прежде всего мы приходимъ въ Элладу — колыбель нашей культуры. Мы видимъ, что красота постоянно опредѣляетъ тамъ законъ и мѣру литературной и артистической дѣятельности. Эллада — страна свободы, гуманизма, красоты. Здѣсь человѣчество достигло высшей степени процвѣтанія, какая только была возможна при жизненныхъ условіяхъ древности; здѣсь человѣческому организму удалось развиться гармонически, и сдѣлать счастливую попытку и всю жизнь преобразовать художественно. Ростъ греческой поэзіи былъ совершенно естественъ. Отъ дѣтски-наивнаго эпоса Греція идетъ къ юношески-свѣжей лирикѣ и художественно построенной драмѣ, въ которой очевидны могучія силы возмужалости. Далѣе — *Римская* литература. Характеръ ея — подражаніе; потому-что способности и направленіе римлянъ были направлены въ другую сторону: почти всю ихъ дѣятельность поглощало военное искусство и политика. Но вотъ античный міръ одряхлѣлъ; духовно одолѣло его христіанство, матеріально разрушило переселеніе народовъ, и на мусоръ его развалинъ поднялся христіанскій догматъ и христіанская міѳологія, какъ основаніе Новой литературы въ обширѣйшемъ смыслѣ. Дочь христіанства, *Романтика*, была музой средневѣковой поэзіи и первымъ своимъ жилищемъ выбрала *Францію*. Отсюда она царствовала надъ литературами всѣхъ западно и южно-европейскихъ націй. Меньше всѣхъ безусловно была подчинена ей *Итальянская* литература, потому-что въ Италіи романтизмъ нашелъ сильное противодѣйствіе со стороны возобновленнаго изу-

ченія древности, что однако-же было для итальянской поэзіи не большимъ счастьемъ, потому-что классическія reminiscenціи сдѣлали ее въ самомъ началѣ ненародно ученою. Чище, богаче и народнѣе развѣль романтизмъ на Пиринейскомъ-полуостровѣ. *Испанская* литература, отъ народной романсовой эпикѣ перешедшая къ художественной лирикѣ, и отъ нея къ основанной на религіозномъ началѣ драмѣ, — можетъ гордиться тѣмъ, что она самая національная изъ всѣхъ новѣйшихъ литературъ. Въ отношеніи органическаго строенія съ ней можетъ соперничать развѣ только *Англійская* литература, которая тоже на фундаментѣ народной поэзіи построила великое и художественное зданіе національной драмы. Средневѣковая романтическая поэзія *Германіи* отличается передъ другими народами задушевной искренностью, и эту черту она умѣла сообщить не только романтическому матеріалу, взятому извнѣ, но и вложить въ свои старонаціональныя, романтически преобразованныя, героическія сказанія, что во всякомъ случаѣ сильно повредило ихъ оригинальности и первобытной чистотѣ. Съ Франціей и Италіей Германія раздѣляетъ недостатокъ національнаго театра. Въ поэзіи древняго *Сѣвера*, не тронутой романтическими вліяніями, развилась исполинская фантазія. *Старо-славянская* народная поэзія тоже развилась независимо отъ романтики, въ ней преобладаетъ оттѣнокъ историческій; тогда-какъ новославянская литература, какъ и вообще вся новѣйшая культура славянъ, — напротивъ, есть совершеннѣйшій продуктъ подражанія западно-европейскимъ образцамъ.

Уже въ средніе вѣка явилось чувство сближенія европейскихъ націй, слитія ихъ въ одну великую семью. Идеи панства и священной римской имперіи подготовили это чувство, которое на нѣкоторое время даже осуществилось въ крестовыхъ походахъ. Всякій знаетъ, что крестовые походы имѣютъ, кромѣ того, большое литературное значеніе: они существенно способствовали распространенію духа южнаго романтизма на востокъ и сѣверъ нашей части свѣта.

Болѣе прочная связь взаимодѣйствія европейскихъ литературъ установилась только въ XVI столѣтіи, подъ вліяніемъ вновь проснушагося изученія классической древности и начинавшихъ уже свою великую реформистическую дѣятельность *скептицизма* и *критицизма*. Преданія античнаго міра, литературныя сокровища Греціи и Рима все болѣе и болѣе становились общимъ достояніемъ всѣхъ образованныхъ людей. Кто умѣлъ искуснѣе всѣхъ распорядиться этимъ добромъ, тотъ держалъ въ рукахъ своихъ и кормило литературнаго движенія. Такъ въ XVI столѣтіи этими кормчими были нѣмецкіе гуманисты и реформаторы, въ XVII законодательствовала итальянская и испанская литература, въ XVIII французская, наконецъ въ XIX англійская и опять нѣмецкая. Опираясь на итальянскіе прототипы, Франція, въ концѣ XVII и началѣ XVIII столѣтія, представила „классическіе“ образцы *придворной поэзіи*. Нѣсколько позднѣе ея-же *скептическая* и *революціонная* литература возвестила эмансипацію умовъ отъ церковныхъ и политическихъ догматовъ. Потомъ наступилъ

чередъ Англіи, и здоровыми элементами своей древней и новой поэзіи, особенно поэзіей Шекспира, она оплодотворила *нѣмецкую классику*; отъ которой, такъ-же какъ и отъ наступившей вслѣдъ за нею *нѣмецкой неоромантики*, немедленно потянулись по всѣмъ направленіямъ яркіе и теплые лучи. Наконецъ во Франціи, Италіи и Испаніи псевдо-классицизмъ былъ ниспровергнутъ, и эти націи, такъ-же какъ скандинавы и славяне, мадьяры и ново-греки, но прежде всѣхъ и съ самыми блестящими послѣдствіями англичане—воспользовались *ново-романтико національными* воззрѣніями, какъ средствомъ обновленія своей литературы. Но ко вновь пробужденнымъ романтическимъ мотивамъ присоединились, и прежде всего во Франціи, мотивы модернизированной природы, которые обыкновенно называются *соціалистическими*, такъ-какъ они занимаются критикой общественнаго устройства. Слѣды этого вынесеннаго изъ Франціи социализма остались во всѣхъ литературахъ новѣйшаго времени. Но теперь періодъ этаго направленія, образовавшагося изъ смѣшенія вертеризма съ чайльдгарольдизмомъ, — уже миновался, и литература новой Европы отъ космополитизма снова обратилась къ національности.

Мы совершенно согласны съ замѣчаніемъ г. Геттнера, что „исторія литературы не есть исторія книгъ, а исторія идей въ ихъ научныхъ и художественныхъ формахъ“. Но излагая эти идеи такъ, какъ онѣ есть, *нѣмецкій*

авторъ имѣлъ право не обращать большаго вниманія на полноту библиографическихъ ссылокъ. Права этого, по нашему мнѣнію, не имѣетъ составитель книги, писанной подъ вліяніями условій, очень часто заставляющихъ выдавать красное за бѣлое, и великіе образы мыслителей и поэтовъ извѣстнаго направленія сопричислять къ лику писателей „благонамѣреннаго“ свойства. Но если, по необходимости, мы должны выставить иногда въ иномъ свѣтѣ нѣкоторыя событія, молчать объ одномъ и измѣнять другое; если свѣтлые облики нѣкоторыхъ поэтовъ подъ условіями *sine qua non*, должны были выродиться или въ жолтые вытянутыя лица кастратовъ, или въ угреватые личины разгульныхъ пьяницъ; если у солнца мы отнимаемъ его гордый и живительный блескъ, у человека его плоть и кровь; если мы показываемъ вамъ Рабле въ его монашескихъ рясахъ, его докторскомъ колпакѣ и вводимъ васъ въ его монастырскую келью, а не отворяемъ воротъ Телемской обители брата — Жана; если мы расскажемъ, что Вольтеръ умеръ съ сокрушеннымъ сердцемъ о своихъ заблужденіяхъ, если спрячемъ отъ васъ Бѣрне и заставимъ Гейне повернуться къ вамъ задомъ; если Беранже будетъ пѣть только вино и Лизету, а Шеллей вмѣсто „Царицы Маѣ“ и „Озимандіаса“ читать сладкоглаголивые ирмосы; если, говоримъ мы, силою непреодолимыхъ обстоятельствъ, иногда мы принуждены исказить идеи и даже факты: то мы считали необходимымъ указать по-крайней-мѣрѣ тѣмъ изъ нашихъ читателей, которые владѣютъ иностранными языками, на источники, гдѣ они могутъ найти истину,

не перекрашенную въ буро-зеленый цвѣтъ казенной собственности. Вотъ почему мы намѣрены сколько возможно обшириѣе сдѣлать библиографическій указатель иностранныхъ сочиненій и источниковъ, которые необходимы всякому, кто пожелаетъ ознакомиться вполнѣ съ ходомъ литературныхъ идей и съ характеромъ произведеній, недоступныхъ для русскаго читателя.

I.

Э Л Л Д А *

Изъ всѣхъ народовъ, имена и дѣянія которыхъ сохранила исторія, ни одинъ не оказалъ такого сильнаго вліянія на умственное образованіе человѣчества, какъ народъ греческій. Умственное образованіе грековъ всецѣло развилось само изъ себя и произошло почти совершенно независимо отъ образованія другихъ народовъ, — обстоятельство котораго мы не видимъ ни у римлянъ, самаго развитаго, послѣ грековъ, народа древности, ни у новѣйшихъ націй Европы. Правда и греки, по собственному ихъ свидѣтельству, научились письму у финикянъ, начальныя основанія образовательнаго искусства и математики, нѣкоторыя отдѣльныя идеи философическія и многія искусства общежитія заимствовали у егип-

* Приведемъ важнѣйшія изъ многочисленныхъ сочиненій о литературѣ грековъ. «Vorlesungen über die griechische Literatur, von F. A. Wolf, Leipzig. 1831;» «Histoire de la littérature grecque, par V. Fr. Schoelle.» «Handbuch der griechischen Literaturgeschichte, von C. F. Petersen. Hamb. 1834.» «Grundriss der griech. Literaturgeschichte, von G. Bernhardt, Halle 1836, 2. Aufl. 1858.» «Geschichte der griechischen Literatur, von K. O. Müller, Bresl. 1841 2. Aufl. 1857.» «Geschichte der hellenischen Dichtkunst, von H. Ulrici, Berl. 1835.» «Geschichte der hellenischen Dichtkunst v. G. H. Bode, 3 Bde. in 5 Abthln., Lpzg. 1838.» Исторія греческой литературы Мунка, Петербургъ, 1861. Литературные отѣлы во всеобщихъ исторіяхъ Шлоссера и Вебера.

тянь или другихъ азіатскихъ народовъ; правда, что ихъ древнѣйшіе вымыслы и сказанія въ нѣкоторыхъ пунктахъ соприкасаются съ древнѣйшими азіатскими преданіями: но все это только одни разсѣянные слѣды и воспоминанія полупотухшія; встрѣчаясь почти повсюду, они указываютъ на общее происхожденіе народовъ и на начальную точку человѣческаго уморазвитія. Но чему-бы ни научились, что-бы ни заимствовали греки отъ кого-либо,—все это перерабатывали они самостоятельно, все это примѣняли къ себѣ; мрачныя, отрицающія, жизнераждающія воззрѣнія, переходившія въ нѣкоторыхъ религиозныхъ системахъ востока въ жестокое, кровожадное безуміе,—нашли въ грекахъ рѣшительныхъ противниковъ. Правда, что сначала и греки приняли тотъ безобразно-азіатскій культъ, который заставлялъ матерей бросать дѣтей своихъ въ до-красна раскаленные, мѣдныя руки истукана Молоха; но греки очень рано отступились отъ этого религіознаго бѣснованія, сошли съ рукъ своего Кроноса-Молоха и на его мѣсто создали Олимпъ боговъ и геніевъ, который „совмѣщаетъ истинно-божественныя идеи съ характерами естественными и вполне человѣческими“. Религія, которая у другихъ народовъ такъ часто дѣлается только культомъ смерти, въ Греціи была настоящимъ культомъ жизни, который безпрестанно проповѣдывалъ, что земля есть отчизна человѣка. Изъ сознанія-то этой истины проистекла и свѣтлая, полная вѣра грека въ жизнь и искусствѣ. Представляя себѣ боговъ такими-же людьми, только достигшими высшаго совершенства пластическаго и духовнаго, они научились уважать природу человѣческую и видѣть въ ней высочайшій объектъ художественной дѣятельности. Человѣкъ былъ у нихъ начальнымъ и исходнымъ пунктомъ, какъ

въ религіи, такъ и въ искусствѣ. Они твердо держались человѣческаго, и это мудрое ограниченіе самимъ собою породило тотъ *пластическій* идеалъ искусствъ, который все прекрасное ищетъ и проявляетъ въ человѣческомъ организмѣ, и безграничной фантастикѣ востока противопоставляетъ ту классическую опредѣленность и спокойствіе, которое самыми простыми средствами достигаетъ величайшаго эффекта и въ одной статуѣ Афродиты соединяетъ все чудеса красоты, въ одной трагедіи Софокла соединяетъ все возвышенныя, задумчивыя и страшныя ощущенія, лежащія въ груди человѣка. Человѣкъ никогда не превозможетъ свою природу, такъ пусть-же онъ понимаетъ, возвышаетъ, изыясняетъ ее. Въ этомъ сознаніи и въ практическомъ примѣненіи его къ дѣлу, вся тайна античнаго, т. е. эллиническаго міровоззрѣнія. Въ то время, какъ востокъ стремился къ сверх-естественному, т. е. не естественному, для грековъ природа и въ особенности человѣческая природа была и осталась первымъ и послѣднимъ закономъ: оттого на востокѣ мистическій квиѣтизмъ и политическое рабство, въ Элладѣ, напротивъ, человѣческой культъ красоты въ жизни и религіи, и демократическая свобода въ государствѣ. Ясному, полномѣрному, согласному самимъ съ собою духу эллиновъ отвѣчаетъ ихъ выдержанная, гармоническая, прозрачная форма, которая, такъ сказать, льнется къ содержанію, какъ мокрый батистъ къ тѣлу купающейся красавицы.

Приобрѣтенію и проясненію этого духа, достиженію и развитію этой формы,—и такимъ-образомъ усвоенію въ совершенствѣ прекрасной гармоніи духовной и тѣлестной жизни, гармоніи свойственной эллинамъ,—способствовало много различныхъ, благопріятныхъ обстоя-

тельствъ. Мы уже говорили о вліянні релігій, — вліянні у другихъ народовъ очень часто жизневраждебномъ, а здѣсь, напротивъ, жизнепоощряющемъ. Теперь упомянемъ о самыхъ благопріятныхъ климатическихъ условіяхъ Эллады. Ея чистый воздухъ и ясное небо позволяли постоянно жить подъ открытымъ небомъ, тогда какъ съ трехъ сторонъ обтекающее ее море, смягчая зной климата, препятствовало усилению націи и располагало ее къ той отважной и могучей дѣятельности, которую приносятъ съ собою мореплаваніе. Физическія особенности страны, разгороженной горными хребтами на множество замкнутыхъ областей, совершенно соответствовали склонности эллиновъ, по возможности совершенствовать и развивать внутри различныхъ областей индивидуальныя особенности многочисленныхъ племенъ, и способствовали идти самымъ естественнымъ путемъ образованію и укрѣпленію множества маленькихъ государствъ, которыя потомъ такимъ блестящимъ образомъ соревновали другъ другу въ развитіи свободнаго общиннаго быта. Связями эллинскаго національнаго единства преимущественно были національныя святилища, между которыми первое мѣсто занималъ прорицающій храмъ пифическаго божества въ Дельфахъ, потомъ знаменитые національные праздники (въ Олимпіи, Дельфахъ, Немеѣ и на Коринѣскомъ истмѣ), на которыхъ побѣдители въ тѣлесномъ и умственномъ ратоборствѣ, увѣнчивались передъ лицомъ всей Эллады, что считалось величайшей честью, какой только могъ достигъ эллинъ. Въ этомъ ратоборствѣ величаво проявлялось торжество совершенно художественнаго, стремящагося ко всему прекрасному, и стало-быть ко всему доброму, воспитанія этого художественнаго народа, который достойнымъ образомъ об-

ращалъ вниманіе не только на духъ, но и на тѣло; тогда-какъ наша искусственная метода воспитанія все бытіе свое полагаетъ въ напряженіи духа, хирѣющаго въ заброшенномъ тѣлѣ, и показываетъ юношески-пылкой душѣ идеаль античнаго человѣчества только затѣмъ, чтобы еще тяжелѣе пригнести его страшнымъ контрастомъ этого идеала съ полицейскимъ государствомъ новаго времени. Кромѣ того, отдѣльныя греческія народности связывалъ въ одну націю языкъ; но и тутъ обнаруживается склонность къ возможно-свободному индивидуализированію различныхъ племенныхъ общинъ, и поэтому различные діалекты рѣзко отражаютъ въ себѣ племенные особенности. Перво-языкъ греческій прежде всего распался на *эолическій* и *іоническій* діалекты, — тотъ рѣзкій и грубый, какъ проявленіе первоначальной народной жизни, этотъ мягкій и гибкій, какъ органъ уже цивилизованнаго, духовнодѣятельнаго племени; изъ эолическаго развился впоследствии *дерическій* діалектъ и на базисѣ іоническаго возникъ *аттический*, собственно культурный языкъ древняго міра. О благозвучіи, гибкости, богатствѣ греческаго языка, а также и объ особенностяхъ поэтическаго выраженія, основанныхъ на правильности ударенія и опредѣленности гласныхъ звуковъ, — мы распространяться не будемъ: скажемъ только, что своей художественной, гармонической конструкціей онъ преимущественно обязанъ тому счастливому обстоятельству, что въ Греціи, кажется, уже очень рано поэзія была соединена съ пѣніемъ и танцами, — соединеніе, которое достигло высочайшаго своего назначенія въ хорахъ аттической драмы.

1. ДО-ГОМЕРИЧЕСКОЕ (ОРФИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ.

Начатковъ греческой культуры ищутъ обыкновенно въ тѣ мифическія времена, въ которыхъ теряются историческія воспоминанія всѣхъ народовъ. Что такой даровитый и умный народъ, какъ народъ греческій, уже рано отвыкъ отъ дикости—это естественно, что и дѣла начинающейся цивилизации чрезвычайно скоро нашли поэтический отзывъ въ восторженныхъ словахъ талантливыхъ людей—тоже могло быть очень легко. Безъ сомнѣнія поэтическая производительность явилась у грековъ рано—конечно, какъ и вездѣ, прежде всего въ непосредственномъ изліяніи народнаго чувства, въ формѣ *народной пѣсни*. Такимъ-образомъ въ древнѣйшія времена были уже веселыя и жалобныя пѣсни, къ которымъ присоединились еще и богослужебныя гимны. Очень естественно, что дальнѣйшее развитіе этихъ основныхъ поэтическихъ формъ скоро приняли на себя пѣвцы по званію и призванію. Но спеціальныя извѣстія о поэтахъ и поэтическихъ произведеніяхъ этого древнѣйшаго періода не имѣютъ рѣшительно никакого историческаго основанія, и если, вмѣстѣ съ Цицерономъ, (Brut. 18) и допустить, что еще до Гомера жили поэты, такъ-какъ онъ самъ упоминаетъ о нихъ (о Тамирисѣ, Ѳеміосѣ и Демодокѣ); или если вѣрить древнимъ писателямъ, у которыхъ *Линосѣ, Амфіонѣ, Оленосѣ, Эвмолпѣ, Мелампѣ, Памфосѣ, Филаммонѣ, Музей и Орфей* определенно названы догомерическими поэтами:—то конечно, съ именами этихъ людей можно связать полусвященническую, полуполитическую дѣятельность передовыхъ умовъ мифическаго періода; но определеннаго понятія объ ихъ

творчествѣ рѣшительно нельзя получить изъ этихъ нелѣпныхъ преданій. Орфея греки приписали къ своимъ героическимъ сказаніямъ, заставивъ его принимать участіе въ походѣ аргонавтовъ, и страстная любовь эллиновъ къ искусствамъ музъ вообще окружила это имя самыми замысловатыми вымыслами. Чары его лиры заставляли плясать предметы неодушевленной природы, звукъ его пѣсни укрощалъ дикихъ звѣрей. Но въ представленіи новѣйшихъ временъ Орфей является первымъ провозвѣстникомъ мистико-религіознаго ученія, которое можетъ быть пришло въ Элладу изъ Ѳракіи, и какъ извѣстно, постоянно существовало одновременно съ народнымъ богоученіемъ. Приписанныя Орфею стихотворенія и отрывки (гимны, эпическая поэма „Аргонавтика“ мистико-дидактическая поэма о таинственной силѣ камней, фрагментъ о значеніи землетрясенія) — поддѣлки позднѣйшаго времени, такъ-какъ и отрывки, дошедшіе до насъ подъ выѣской Музея. Преданія объ этихъ поэтахъ и провидцахъ можно поставить на одну доску развѣ только съ сказаніями о художникахъ Дедалѣ и Смилисѣ и о прорицающихъ сивиллахъ; но во всякомъ случаѣ, изъ-за мрачно-туманнаго покрывала, которое лежитъ на мифическомъ времени, они проглядываютъ какъ неопредѣленные понятія о начаткахъ культуры, формирующейся въ борьбѣ съ различными антагонизирующими условіями.

2. ЭПОСЪ.

Героическій періодъ эллинской исторіи замыкается троянской войной и ея эпилогомъ. Все юношеское богатство Греціи, вся ловкость и искусство возмужалаго возраста, вся практическая мудрость старчества соеди-

нились подъ стѣнами Иліона, чтобы въ десятилѣтней борьбѣ развить до высочайшей степени блеска эллиническій героизмъ. Всѣ прежнія баснословныя предпріятія героическаго міра Эллады должны были отступить далеко на задній планъ передъ этой борьбой на жизнь и на смерть, которую вели трояне и ахейцы. Очень естественно, что подвинувшееся впередъ поэтическое искусство воспользовалось троянско-ахейскимъ цикломъ сказаній, для-того чтобы перенести героевъ и подвиги этого цикла въ форму пѣсенъ, находившихъ всегда самыхъ восторженныхъ слушателей между малоазійскими эллинами, которые подъ вліяніемъ разныхъ благопріятствующихъ климатическихъ условій опередили въ культурѣ своихъ европейскихъ соплеменниковъ. Поэтому считается почти рѣшленнымъ, что между малоазійскими эллинами, а еще точнѣе между іонянами, возникла національная героическая поэма (эпосъ, *эпосъ* отъ *эпосъ*, собственно — слово, рѣчь, языкъ, потомъ пѣснь, стихотвореніе, изреченіе оракула, специально-же героическая поэма), о дѣяніяхъ и судьбѣ ахейцевъ и троянъ и о странствіяхъ много-испытавшаго мужа, Одиссея. “Ни въ какой другой странѣ и ни въ какомъ другомъ племени, — говоритъ Фридрихъ Якобсъ, человѣчество не совершало хода своего развитія болѣе естественнымъ путемъ, чѣмъ въ Элладѣ. Какъ веселое дитя, проснулось оно подъ мягкимъ небомъ Іоніи. Здѣсь наслаждалось оно беззаботной жизнью, проводя время въ прекрасныхъ праздникахъ и торжественныхъ сходахъ, — полное воспріимчивости, радостно привязанное къ жизни, полное невиннаго любопытства и дѣтской вѣры. Преданное внѣшнему міру и склонное ко всему, что привлекало къ себѣ новизной, красотой и величіемъ, оно прислушивалось здѣсь преимущественно къ исторіи

мужей и героевъ, подвиги, приключенія и странствія которыхъ огласили своей славой доисторическій міръ, и отозвавшись въ пѣсняхъ, наполняли восторгомъ сердца слушателей. Такъ воспользовались поэты этими героическими сказаніями и изъ сказанія мало-по-малу развилась эпическая поэма. Разсказъ, какъ требовалъ того отроческій возрастъ слушающаго народа, — полонъ содержанія, чувственъ, разнообразенъ и подробенъ. Чтобы дѣйствіе отражалось въ пѣсни, чтобы каждый образъ выступалъ впередъ живо и ясно, чтобы даже въ отдѣльных частяхъ проявлялось цѣлое, чтобы, однимъ словомъ, величественный міръ героевъ двигался, не теряя своего достоинства, облитый яснымъ блескомъ поэзіи; — таковы были естественныя стремленія эпическаго поэта, какъ человѣка, въ могучей и свѣтлой фантазіи котораго порываются высказаться живые, одухотворенные сюжеты. Этому стремленію вполне соответствовало іоническое нарѣчіе“.

Приведенное нами мѣсто содержитъ драгоценное указаніе на происхожденіе и дальнѣйшее развитіе эпическаго пѣнія, потому-что образъ изложенія *рапсодовъ* (*ραψοδοι*), вышедшихъ изъ народныхъ пѣвческихъ школъ, которыя очень рано возникли, какъ въ европейской, такъ и въ азіатской Греціи, — былъ речитативъ. Эти народные поэты-бандуристы, заступившіе мѣсто священническихъ пѣвцовъ орфическаго времени, перенесли поэтическую рѣчь изъ туманной области мистическихъ представлений въ среду свѣтлой, прекрасной героической и народной жизни. Рапсоды эти, переходя изъ города въ городъ, изъ дома въ домъ, всегда находили самый радужный пріемъ и вездѣ самому внимательному кружку слушателей рассказывали про старину, особенно о тра-

гической судьбы Иліона. Такимъ-то образомъ возникъ эпосъ греческій и образовались двѣ большія героическія поэмы, дошедшія до насъ подъ названіями *Иліады* (*Iliaz*) и *Одиссеи* (*Odyssseia*). Форма этихъ поэмъ — дактилическій икзаметръ. Авторомъ ихъ считается обыкновенно Гомеръ (*Ὅμηρος*), жившій въ X вѣкѣ до Р. Х. Но многіе думаютъ, что это только собраніе пѣсенъ многихъ народныхъ рпсодовъ, на что можетъ-быть намекаетъ даже самое имя Гомера (отъ *ὄρμω* вмѣстѣ *ἀρῶν*, связывать). Сомнѣніе въ единствѣ композиціи гомерическихъ пѣсней возникло еще въ александрійскій періодъ (въ половинѣ II столѣтія до Р. Х.; замѣчательнѣйшій изъ александрійскихъ „рецензентовъ“ Аристархъ Самоеракійскій). Въ новое время голландскій профессоръ *Перризоній* (1651—1715) первый выразилъ мнѣніе, что Гомеровы стихи сложились безъ помощи письменности. За нимъ Джамбатиста *Вико* (1681—1744) цѣлую главу своей Новой Науки посвятилъ открытію истиннаго Гомера (*la scoperta del vero Omero*). Въ этой главѣ не только высказывалось, что Гомеровы стихи сохранялись цѣлые два вѣка посредствомъ устнаго преданія, безъ записыванія, и что редакція *Иліады* и *Одиссеи* принадлежитъ пизистратидамъ, но и доказывалось, что самъ Гомеръ не иное что, какъ олицетвореніе народной греческой поэзіи героическаго періода. «*Францискъ Геделингъ д'Обиньякъ*, въ *Conjectures académiques sur l'Iliade*» (1715), объясняетъ, что Гомеръ никогда не существовалъ, и что приписываемыя ему поэмы сложились изъ балладъ уличныхъ пѣвцовъ, что повторено было и другимъ французскимъ писателямъ, *Перро*. *Parallèle des anciens et modernes*, том. 3).

Гораздо сильнѣйшее дѣйствіе, чѣмъ всѣ эти малоза-

мѣченные книги, произвело сочиненіе *Роберта Вуда* (*Wood*): „Опытъ о первоначальномъ гениі Гомера (*Essay the original genius of Homer*)“, 1770, хотя оно и уничтожило вліянія на общество сочиненія *Блаквелля* (1735), „О жизни и твореніяхъ Гомера“ (*An enquiry into the life and coritings of Homer*. Эту книгу называлъ Винкельманъ одною изъ прекраснѣйшихъ книгъ въ свѣтѣ). Многіе пошли вслѣдъ за этими писателями: Хр. Готтлибъ Гейне, Гердеръ, Цега. Но основательно развивая мысль о постепенномъ и самобытномъ созданіи гомеровыхъ поэмъ, никто не могъ однако представить научнаго доказательства, что другое, противоположное и до тѣхъ поръ общепринятое, предположеніе совершенно несправедливо. Заслуга такого доказательства остается за Вольфомъ. Потрясающимъ образомъ подѣйствовала на современниковъ строгая критика этого писателя, отнявшая у человечества его тысячелѣтнюю, священную вѣру въ личность великаго поэта древности. Собственно филологи невдургу объявили себя въ пользу этого мнѣнія, но многіе передовые люди того времени тотчасъ-же перешли на сторону Вольфа, и прежде всѣхъ В. Гумбольдтъ. Содержаніе доставившихъ Вольфу громкую извѣстность „*Prolegomena ad Homerum*“ (1795, нов. изд. 1859) приблизительно заключается въ слѣдующемъ: „Нѣтъ никакого сомнѣнія, что гомеровы пѣснопѣнія создавались первоначально безъ помощи письма и во время своего созданія были мало извѣстны и мало распространены. Съ другой стороны, невѣроятно, чтобы могли удержаться въ памяти цѣлыя поэмы въ 12 и 15 тысячъ стиховъ; а еслибъ и могъ кто-либо сочинить и запомнить, безъ помощи письма, такую громаду, то у него не было-бы средствъ подѣлиться своимъ изданіемъ съ современниками, слѣдова-

тельно Иліада и Одиссея не могли быть трудомъ одного человѣка и въ началѣ не имѣли нынѣшняго стройнаго, цѣлостнаго вида, даже и теперь остались въ обоихъ созданіяхъ очевидные слѣды постепеннаго сліянія первоначально разрозненныхъ частей“. Вольфова гипотеза повела къ болѣе полному изученію дѣйствительной сущности Гомеровыхъ рапсодій. Оказалось, что Иліада и Одиссея относятся не къ началу, а къ концу древнѣйшаго періода поэзіи. Смутное понятіе о народномъ эпосѣ уяснилось и узаконилось сравнительнымъ изученіемъ древне-нѣмецкой, скандинавской, сербской, провансальской поэзіи. Такимъ-образомъ исторія литературы, можно даже сказать, исторія человѣчества, вступила въ новую, невѣдомую дотолѣ область, и брошенъ былъ проницательный и богатый послѣдствіями взглядъ на времена, лежавшія внѣ историческаго преданія. Вопросъ о томъ, какъ именно и въ какое время краткія пѣсни (въ родѣ балладъ) складывались въ цѣлыя, большія поэмы, можетъ быть разсматриваемъ съ двухъ главныхъ точекъ. По одному воззрѣнію, въ эпическій періодъ не было никакихъ другихъ созданій, кромѣ небольшихъ пѣсень, имѣвшихъ между-собою общаго только одинаковость матеріала, и что приведеніе ихъ въ порядокъ, въ связь, въ единство, въ стройные ряды тѣсно-связанныхъ между-собою пѣсень относится ужъ ко времени упадка эпическаго творчества и сдѣлано было можетъ-быть самимъ Пизистратомъ и его просвѣщенными помощниками. По другому, новѣйшему воззрѣнію, сліяніе пѣсень въ цѣлое относится къ тому-же эпическому періоду и совершалось не внѣшнимъ ихъ собираніемъ и распредѣленіемъ, а самобытнымъ ихъ пересозданіемъ, причемъ за первымъ періодомъ малыхъ пѣсень слѣдовалъ другой, гдѣ чувство-

валась потребность и оказывалась возможность творить шире и изъ первоначальныхъ элементовъ создавать болѣе обширныя и цѣльныя творенія, такъ что, напримѣръ, изъ пѣсень троянскаго цикла постепенно образовались: большое стихотвореніе объ Ахиллесовомъ гнѣвѣ и другое объ Одиссеевомъ возвращеніи на родину. При такомъ воззрѣніи Гомеръ можетъ быть понимаемъ или какъ представитель всего этого творческаго періода, или какъ отдѣльный поэтъ, участвовавшій въ первоуказанныхъ пересозданіяхъ, причемъ, значить, сохраняется хотя часть его славы, тогда-какъ по первому воззрѣнію она разливается на цѣлую массу безыменныхъ гомеридовъ*. Зато здѣсь остаются нерѣшенными многіе другіе вопросы: пересозданіе пѣсень въ гомерическій періодъ относится-ли къ основѣ всей поэмы, или только къ большей ея части? окончательное ея выполненіе одному-ли этому принадлежитъ періоду, или и послѣдующимъ временамъ? „Иліада“ и „Одиссея“ Принадлежатъ-ли одному и тому-же періоду, одному и тому-же лицу или многимъ? Самъ Вольфъ не далъ отвѣта на всѣ эти вопросы, возбужденные его „Пролегоменами“, и не высказался прямо въ пользу того или другаго мнѣнія. Это дало пищу реакціи, которая въ лицѣ Велькера, Отфрида Мюллера, Нитча, не отвергая Вольфовыхъ положеній, но только

* Гете сначала было увлекся силою Вольфовыхъ доказательствъ, но въ послѣдствіи отказался отъ этого мнѣнія, которое казалось противнымъ его внутренней природѣ. Шиллера теорія вольфовъ приводила въ негодованіе. Въ числѣ его «Ксений» есть очень злая эпиграмма на эту теорію:

Семь городовъ спорятъ о чести быть мѣстомъ рожденія Гомера:

Вотъ его волкъ (Вольфъ) разорвалъ: такъ пусть каждый возьметъ по кусочку».

софистически ихъ извращая, хотѣла видѣть въ Иліадѣ и Одиссѣй первоначальный планъ и единство. Тогда-то появилось капитальное произведение Лахмана: „Взглядъ на гомерову Иліаду — Betrachtungen über Homer's Ilias“ (1846). Вліяніе этой книги, гдѣ гениальная ясность воззрѣній сочеталась съ блестящимъ остроуміемъ и съ непоколебимою послѣдовательностью выводовъ, было необычайно. Во всеоружіи неопровержимости выступило вновь мнѣніе о томъ, что въ творческій періодъ создавались только небольшія пѣснопѣнія, и имя Гомера снова обращено было въ мифъ и иллюзію *. До-сихъ-поръ

* Книга Лахмана, какъ и всякое замѣчательное произведение, вызвала множество подражателей, до крайности доведшихъ его положеніе. Нетолько каждая отдѣльная пѣснь «Иліады», но и малѣйшая частица этой пѣсни, едва заключающая въ себѣ какихъ-нибудь сто стиховъ, разсматривалась, такъ сказать, въ микроскопъ, и представлялась отдѣльнымъ цѣлымъ. Загорѣлась жаркая полемика. Противъ Лахмана ополчились Эммануилъ Беккеръ, Гаарклоцъ и др.; за Лахмана сталъ Кёчлю въ Цюрихѣ, который въ отищеніе противникамъ Лахмана, изъ коихъ Нитчъ несомнѣнно удачно посмѣялся надъ сторонниками Вольфа, назвавъ ихъ Kleinliederjäger, самъ тоже далъ имъ прозвище «пастуховъ единицы», Einheitshirten, причемъ указываетъ на счастливое для вольфистовъ предзнаменованіе ужъ и въ томъ одномъ, что племена, занимавшіяся зѣброводствомъ, всегда одерживали верхъ надъ народами пастушескими. Достигнувъ высшей своей точки въ изысканіяхъ Лахмана, гомеровскій вопросъ сталъ падать и уклоняться въ сторону, причемъ послѣдователи Лахмана впадали въ такія нелѣпыя крайности, что невольно давали выигрывать противной сторонѣ. Въ новый фазисъ поставленъ былъ гомеровскій вопросъ англійскимъ историкомъ Гротомъ (G. Grote's History of Greece), который, оставляя за Одиссеей единство плана и концепціи, въ Иліадѣ видѣлъ сліяніе двухъ большихъ поэмъ и нѣсколькихъ маленькихъ, въ эти большія вставленныхъ или къ нимъ приставленныхъ. Представителямъ же консервативныхъ унитаріевъ служить въ Англіи Миче, авторъ весьма интересной «Исторіи греческой литературы», который

длится эта полемика, и Оттфридъ Мюллеръ *, одинъ изъ самыхъ жаркихъ противниковъ разрушительной теоріи вольфистовъ, нисколько не разрѣшаетъ этотъ споръ, противопоставленіемъ отрицательной критикѣ Вольфа слѣдующаго утвердительнаго мнѣнія: „что Гомеръ, написавъ въ полномъ развитіи своихъ юношескихъ силъ Иліаду, можетъ-быть въ старости сообщилъ одному изъ учениковъ своихъ давно задуманный имъ планъ Одиссеи“. Такимъ-образомъ Мюллеръ, какъ-бы признавая невозможность доказать, что для исполненія такого громаднаго труда, какъ Иліада или Одиссея, мало одной жизни человѣческой, хочетъ сохранить Гомеру по-крайней-мѣрѣ интеллектуальную возможность созданія Одиссеи, которая гораздо большимъ единствомъ плана и очевидными слѣдами успѣховъ цивилизаціи очень ясно указываетъ на свое позднѣйшее происхожденіе **. Но мы не будемъ болѣе слѣдовать за этими гипотезами.

между-прочимъ выразился, что Лахманъ и Германъ полагаютъ будто-бы славу свою въ томъ, чтобъ оставаться слѣпыми предъ высокимъ поэтическимъ единствомъ Иліады.

* K. O. Müller, Gesch. der Griechischen Literatur bis auf Alexander. 2 Bände.

** См. статью: «Гомеровскій вопросъ (Die homerische Frage)» въ журналѣ «Preussische Jahrbücher, издаваемомъ Гаймолемъ (Извлеч. въ Отечественныхъ Запискахъ, февраль 1859). Также: Фридендера, Курциуса, Гике и др. Hoffmann: «der gegenwärtige Stand der Untersuchungen über die Einheit der Ilias» (Allg. Monatsschr. für Wiss. u. Litt. 1852); J. W. Löbell: въ объясненіи къ 1 части своей «Weltgeschichte in Umrissen und Ausführungen», стр. 600, сообщаетъ слѣдующій сжатый очеркъ постепеннаго развитія гомерическаго эпоса:

1 Perіодъ. Существованіе нѣсколькихъ героическихъ пѣсень меньшаго объема тотчасъ послѣ троянской войны, которую воспѣвали, сначала между ахейцами въ ихъ отчизнѣ, потомъ въ мало-азійскихъ колоніяхъ. 2 Perіодъ, 900—800 до Р. Х. Песенкаженные пѣсни Гомера и гомеридовъ безъ письма съ дигам-



Въ какомъ-бы столѣтіи ни возникли гомеровы поэмы, какъ-бы онѣ ни образовались, онѣ переносятъ насъ въ то время, когда вѣкъ героическій начиналъ гаснуть

мическимъ произношеніемъ. Геніальнѣйшій изъ расповѣвъ, Гомеръ, изъ огромнаго скопу эпическаго матеріала, выбираетъ нѣсколько единицъ, сплавляетъ ихъ съ своими собственными расподіями и формируетъ художественное цѣлое, въ которомъ всѣ части относятся къ центру, заключающему въ себѣ нравственную идею. Это—заслуга, которая стоитъ много выше простаго составленія; это первосозданіе великаго органическаго цѣлага. Такъ замкнулся циклъ расподій настоящей Илиады и Одиссеи, въ то время, какъ отдѣльныя пѣсни, изъ которыхъ онѣ составились, допѣвались странствующими пѣвцами. 3 *Періодъ*, 800—700 до Р. X. Все еще изустная передача гомеровыхъ поэмъ, но уже съ постепеннымъ исчезаніемъ дигаммы и развѣдиненіемъ пѣсень расподикой. Разширеніе поэмы вставками. 4 *Періодъ*, 700—600.

а) Первое начертаніе гомерическихъ поэмъ буквами стараго алфавита, но безъ дигаммы (александрійскіе ученые не нашли уже никакихъ слѣдовъ ея); сверхъ того дальнѣйшее раздробленіе на пѣсни расподами, но безъ прибавленія произведеній ихъ собственнѣйшей поэтической дѣятельности, которой вѣроятно уже и не было во времена Пизистрата, ибо на пѣсни Гомера въ то время смотрѣли уже какъ на нѣчто древнее. б) Собраніе отдѣльныхъ частей въ большія единицы; вмѣстѣ-съ-тѣмъ все еще изустное изложеніе, произвольное раздробленіе и совокупленія; но съ другой стороны заботливость (Солона) о предотвращеніи поддѣлокъ, и съ этою цѣлью фиксация (упроченіе) отдѣльныхъ пѣсней въ писменные экземпляры. 5 *Періодъ*, 600—200. Возстановленіе, на сколько было возможно, первоначальнаго текста и писменная его фиксация (Пизистратомъ). Поддѣлка, искаженіе, раздробленіе и произвольныя вставки дѣлаются невозможными. При Гиппархѣ устная передача еще продолжается, но вмѣстѣ-съ-тѣмъ и распространеніе писменныхъ экземпляровъ реставрированнаго Гомера дѣлается значительнѣе. Первая ученая «рецензія». Переложеніе на новый алфавитъ. 6 *Періодъ*. Дѣятельность александрійскихъ критиковъ. Аристархъ. Первый печатный экземпляръ Гомера явился въ 1488, во Флоренціи, въ духъ фоліантахъ. Издатель его былъ Дмитрій Халкондіахъ. Съ-тѣхъ-поръ явилось безчисленное множество изданій. Самое доступное въ Россіи: Homers Odyssee, H. Iliade въ «Sammlung griechischer und

или только-что угасъ. Два отдѣльные міра сливаются въ этихъ поэмахъ: дивное прошедшее, которое однако было еще повидимому весьма близко поэту; и потомъ, живое настоящее, дѣйствительность того міра, который окружалъ поэта. Это сліяніе настоящего съ прошлымъ—черезъ что первое украшается, послѣднее дѣлается созерцательнѣе—придаетъ гомеровымъ поэмамъ прелесть, только имъ свойственную. Въ Греціи первоначально господствовали повсюду цари и поколѣнія героевъ. Тоже самое видно еще въ мірѣ гомеровомъ. Вскорѣ потомъ царская власть была почти вездѣ уничтожена; почти каждый могущественный городъ, каждый самостоятельный народъ преобразовался въ небольшую республику. Съ этимъ новымъ гражданскимъ устройствомъ постепенно становились все болѣе, такъ сказать, прозаичными и самыя житейскія отношенія. Древнія героическія сказанія необходимо должны были сдѣлаться чуждыми народу, круто перемѣнившему весь строй своей гражданской жизни, и эта перемѣна безспорно много содѣйствовала къ преданію Гомера въ нѣкотораго рода забвеніе, изъ котораго онъ снова извлеченъ уже Солономъ и Пизистратомъ.

Солонъ и преемники его власти въ Аѣинахъ, Пизистратъ и пизистратиды, кромѣ естественной любви къ самому творенію, реставрируя Гомера, вѣроятно имѣли

lateinischer Schriftsteller» съ нѣмецкими примѣчаніями, изданіе Haupt und Saupе. Русскіе переводы: Одиссея, проическое твореніе Омира, переводъ съ Эллино-греческаго, 2 части 1788.—Одиссея, или странствованіе Улисса, героическое твореніе Гомера, 2 ч. 1815.—Илиада Гомера перев. Н. Гиподимъ, 1837.—Одиссея Гомера, перев. В. Жуковскаго (въ сочиненіи: Т. VIII и IX; изданіе 5, 1849). Сверхъ-того много отдѣльныхъ пѣсень въ старыхъ альманахахъ и сборникахъ.

еще и другую патриотическую цѣль. Около этого времени независимости грековъ угрожало все болѣе и болѣе возрастающее могущество персовъ. Воскрешеніе древнихъ нѣспомнѣній и воспоминаній о томъ, какъ нѣкогда соединенныя силы героевъ греческихъ ополчились противъ Азіи для отмщенія обиды, и какъ они побѣдили Трою, — должно было возвысить духъ эллиновъ и воодушевить ихъ для подобныхъ-же подвиговъ на защиту угрожаемой отчизны. Такимъ-образомъ поэмы Гомера имѣли для грековъ того времени, кромя литературнаго, еще ближайшее патриотическое значеніе. Теперь такое воззрѣніе не имѣетъ, разумѣется, большой важности; насъ онѣ поражаютъ величиною картины той героической жизни, которая такъ всецѣло отразилась въ нихъ. Въ Иліадѣ и Одиссеѣ не высказывается какой-либо неопредѣленный образъ мыслей и понятій, которыя, не осмѣливаясь переступить отъѣренное пространство, заключались-бы только въ кругу славы и превосходства одного какого-нибудь племени; въ этихъ твореніяхъ цѣлый міръ, свѣтлый и прекрасный, развивается передъ нами богатою, живою, вѣчнодвижущеюся картиною.

Надѣмся, что читатели не посѣтуютъ на насъ за небольшой очеркъ этой великой картины.

1) Иліада воспѣваетъ *жизнь Ахиллеса* въ его происхожденіи, развитіи и концѣ. Цѣль ея — прославленіе оскорбленнаго Ахиллеса. Одиссея — рассказываетъ странствованіе Улисса, возвращеніе его на родину. Обѣ поэмы начинаются воззваніями, — Иліада къ богинѣ, Одиссея — къ музѣ; а въ нѣсколькихъ начальныхъ стихахъ даютъ полныя экзепозиціи своего содержанія и своей цѣли. Сынъ троянскаго царя Пріама, Парисъ, похитилъ супругу Менелая, Елену. Всѣ вожди греческіе, оскор-

бленные въ лицѣ одного изъ своихъ собратій, идутъ, подъ предводительствомъ брата Менелая, микенскаго царя Агамемнона, къ Троѣ, и хотятъ разрушеніемъ города отмстить за вѣроломство Париса. Уже девять лѣтъ сражаются враждующія стороны подъ стѣнами Трои, безъ всякихъ послѣдствій. Тогда загорается вражда между Агамемнономъ и Ахиллесомъ, самымъ могучимъ между героями. Этимъ начинается Иліада; кончается она смертью благороднѣйшаго изъ троянцевъ, Гектора. Такимъ-образомъ дѣйствіе поэмы происходитъ въ 10-й годъ троянской войны и обнимаетъ, по самому вѣроятному счисленію, пятьдесятъ одинъ день.

Агамемнонъ съ насмѣлкой прогналъ отъ себя *Хризей*, жреца Аполлонова, который пришелъ къ кораблямъ бестролетнымъ ахейскимъ плѣнную дочь искупить: разгнѣванный Фебъ, сынъ лѣнокудрыхъ Леты, богъ сребролюбивый, послалъ на ахейцевъ страшную язву, въ отмщеніе за обиду своего служителя и любимца. Чтобы найти средство умиловить оскорбленнаго бога, *Ахиллесъ* созываетъ вѣче народное: провидецъ *Калхасъ* объявляетъ, что только выдача дѣвы, доставшейся на долю Агамемнона, можетъ возвратить ахейцамъ благоволеніе Феба. Но Агамемнонъ, пространно-властительный царь Агамемнонъ, отъ сонма воздвигся, гнѣвомъ волнуемъ: въ груди его мрачное сердце злобой наполнилось; очи его засвѣтились какъ пламень. „Нѣтъ, сказалъ онъ, — даромъ я не отдамъ Хризиду. Требуется богъ Аполлонъ, чтобы я возвратилъ ее: я возвращу“... Но чтобы не остаться безъ награды, онъ хочетъ отнять у Ахиллеса его долю добычи, — молодую дочь Бризей, чтобы Ахиллесъ, который первый изъ сонма ахейцевъ упрекнулъ его корыстолюбіемъ, — „ясно понимъ, сколько я властью вы-

ше тебя, и чтобъ каждый страшился, равнымъ себя мнѣ считать, и надменно верстаться со мною"! Горько Пелиду то стало: только убѣжденія внезапно явившейся *Паллады-Афины* удержали Ахиллеса броситься съ мечомъ на Агамемнона; но онъ грозитъ оставить ахейское войско и со всей дружиной возвратиться въ свое отечество, Фѣю. Тогда Агамемнонъ отсылаетъ дѣву къ отцу; но вмѣстѣ-съ-тѣмъ посылаетъ и къ Ахиллесу герольдовъ, чтобы отнять у него прекрасно-лаянтную дочь Бризея. Глубоко оскорбленный герой идетъ къ морскому берегу, сѣлъ у пучины сѣдой, и взираетъ на потокъ темноводный, руки въ слезахъ простираетъ, вызывая любезную мать, въ безднахъ сидящую моря, въ обители старца Нерея. Мать Ахиллеса, морская нимфа *Фетида*, быстро изъ пѣннаго моря, какъ легкое облако, вышла; сѣла близъ милаго сына, струящаго горькія слезы, нѣжно ласкала рукой, и такъ говорила: „что ты, о сынъ мой, рыдаешь“?.. Ахиллесъ разсказалъ ей о своей обидѣ. *Фетида*, сѣтуя о томъ, что ея богоподобный сынъ всѣхъ кратковѣчнѣй и всѣхъ злополучнѣй, обѣщаетъ вознестись на Олимпъ многосѣжанный и просить защиты метателя молній, *Зевеса*. Между-тѣмъ послы Агамемнона, съ *Одиссеемъ* во главѣ, приходятъ къ *Хризею*: они отдаютъ жрецу его дочь, приносятъ разгнѣванному богу пышную жертву и умоляютъ его простить ихъ, отратить погибельный моръ отъ народовъ ахейскихъ. *Аполлонъ* внимаетъ ихъ молитвамъ. Двѣнадцать дней спустя — потому-что въ это время всѣ боги были въ гостяхъ у эоіоновъ, на самомъ краю земнаго круга — *Фетида* рано возникла изъ пѣннаго моря, съ раннимъ туманомъ взошла на великое небо, къ Олимпу, и умоляетъ владыку, метателя молній *Зевеса*, отомстить ахея-

намъ за обиду сына. *Зевсъ* обѣщаетъ — и во знаменье черными онъ помаваетъ бровями: быстро власы благовонные вверхъ поднялись у *Кронида* окрестъ безсмертной главы, и потрясся Олимпъ многохолмный *. Но о посѣщеніи *Фетиды* узнала *Гера*, ненавистница *Трои*. Она угадала, о чемъ просила *Зевеса* старца пучиннаго дочь, среброногая мать *Пелида*. Горькими упреками осypаетъ своего супруга богиня волоокая, *Гера*. Но вздымающій тучи *Кроніонъ* приказываетъ ей молчать, угрожая, въ случаѣ неповиновенія, наложить на нее свои необорныя руки; размолвка олимпійскихъ супруговъ повергаетъ въ уныніе всѣхъ боговъ; смутно по *Зевесову* дому вздыхали небесные боги, но хромоногій *Гефестъ*, своимъ неуклюжимъ, суетливымъ ковыляньемъ, разгоняетъ олимпійскій mauvais humeur, и божественный сонмъ разражается безсмертнымъ хохотомъ **. (Пѣснь 1). — На слѣдующую ночь, чтобы отомстить за обиду, нанесенную Ахиллесу, *Зевесъ* обманываетъ Агамемнона ложнымъ сновидѣньемъ, въ которомъ онъ велитъ ахеянамъ возобновить битву и обѣщаетъ имъ побѣду. Поэтому въ то же утро Агамемнонъ собираетъ ахейское вѣче, и чтобы испытать мужество воиновъ, притворно совѣтуетъ имъ возвратиться на родину; народъ, утомленный войною, сейчасъ-же было бросился къ кораблямъ, но многоумный *Одиссей* убѣжденіями и угрозами укрощаетъ смятеніе народное, и вновь возстановляетъ собраніе ахеянъ. Тутъ, къ немалому удовольствію всѣхъ ахеянъ, онъ на-

* Этотъ моментъ выбралъ *Фидіасъ* для знаменитой статуи олимпійскаго *Зевса*.

** Нѣкоторые древніе эстетики приходили въ негодованіе отъ этой сцены, гдѣ *Гомеръ* заставляетъ боговъ хохотать «неумолчно».

пускается на безумнорѣчиваго, хотя и громогласнаго витію *Θερсита*, который, когда уже все успокоились, тихо въ мѣстахъ учрежденныхъ сидѣли, — каргалъ одинъ, празднословный, съ сердцемъ, готовымъ всегда на безчинства, дерзкія рѣчи: вѣчно искалъ онъ царей оскорблять, презирая пристойность, все позволяя себѣ, что казалось смѣшно для народа *. Укротивъ народъ, вожди строить свои дружины въ боевой порядокъ и выходить къ сраженію. Затѣмъ слѣдуетъ такъ-называемый *каталогъ кораблей*, въ которомъ перечисляются корабли, вожди и народы обѣихъ воюющихъ сторонъ. (Пѣснь 2) **. — Трояне и ахеяне сходятся. *Парисъ* вызываетъ на единоборство храбрѣйшаго изъ ахейцевъ, но скоро бѣжитъ отъ *Менелая*. Пристыженный *Гекторомъ*, онъ вызываетъ Менелая во второй разъ. Ахейцы принимаютъ вызовъ и условіе, что побѣдитель остается обладателемъ Елены и сокровищъ съ нею похищенныхъ, но требуетъ, чтобы торжественный договоръ ихъ былъ освященъ *Приамомъ*. Между-тѣмъ *Приамъ* и другіе старцы троянскіе смотрѣли со *Скейскихъ воротъ* на битву, и Елена указывала ему и называла по именамъ знаменитѣйшихъ вождей ахейскихъ. Отсюда позвали его на

* Гротескская фигура горбатаго и безобразнаго Тирсита тоже вызвала порицанія древнихъ эстетиковъ.

** Тутъ есть маленькая путаница. Теламоніевъ корабль то занимаетъ центръ греческаго флота, то одинъ изъ фланговъ, причѣмъ центръ занимаетъ уже одиссеевымъ кораблемъ. Герои перепутываются не менѣе кораблей. Перечисленные въ этой пѣснѣ предводители племенъ, въ дальнѣйшемъ теченіи поэмы, являются во главѣ совсѣмъ другихъ народностей. Нѣкоторые лица являются дважды и трижды. Палагонъ *Пиламенъ*, убитый въ 5 пѣснѣ Менелаемъ, такъ скоро, по словамъ *Вольфа*, забываетъ свою смерть, что въ 11 пѣснѣ плачетъ надъ трупомъ своего сына.

поле битвы, гдѣ договоръ единоборства освящается жертвоприношеніемъ. Въ слѣдующемъ затѣмъ поединкѣ *Парисъ* побѣжденъ, но *Афродита* похищаетъ его и невредимаго переноситъ въ свѣтлицу Елены. Агамемнонь признаетъ побѣдителемъ Менелая и требуетъ исполненія договора. (Пѣснь 3). — Зевсъ, по желанію *Геры*, осуждаетъ Троию на гибель. По его повелѣнію на землю нисходятъ *Афина*, враждебная троянамъ; она совѣтуетъ троянцу *Пандару* пустить въ Менелая стрѣлу. Когда перемиріе такимъ-образомъ нарушилось, Агамемнонь обходитъ ряды своего войска и побуждаетъ вождей ахейскихъ напасть на вѣроломныхъ защитниковъ *Иліона*. Битва начинается и — много и храбрыхъ троянъ и могучихъ данаевъ пали въ этотъ день ницъ, но кровавому праху простершихся другъ подлѣ друга. (Пѣснь 4). — Могучій *Діомедъ*, воспламененный *Афиною*, врывается въ густые ряды троянъ, убиваетъ *Пандара*, ранитъ *Энея*, и „владычицу смѣховъ“ *Киприду*, которая послѣ такой обиды сейчасъ-же уѣзжаетъ на небо въ колесницѣ своего брата *Арея*. Небожители подтруниваютъ надъ раненой богиней. „Быть-можетъ, говорятъ они, ахейнку въ пышной одѣждѣ лаская, пряжкой златою себѣ поколола лилейную руку.“ *Энея*, оставленнаго *Кипридой* и все еще преслѣдуемаго *Діомедомъ*, *Аполлонъ* уноситъ въ свой пергамскій храмъ. На помощь троянамъ является *Арей* (полат. *Марсъ*); на помощь ахейцамъ *Гера* и *Афина*. Тотъ-же *Діомедъ* ранитъ и мужеубійцу *Арея*. (Пѣснь 5). — Послѣ того, какъ страшную брань межъ троянъ и ахейцевъ оставили боги, греки дотога одолеваютъ троянъ, что они готовы уже бѣжать въ городъ, побѣжденные собственной слабостью духа. Но прорицатель *Галенъ* убѣждаетъ *Гектора*, чтобы онъ повелѣлъ

всенародно молить Палладу въ замкѣ троянскомъ. Гекторъ, немедленно возстановивъ бой, уходитъ въ городъ. Между-тѣмъ на полѣ битвы встрѣчаются Діомедъ и Главкъ, и разговорившись о своемъ родѣ-племени, вспоминаютъ о старой дружбѣ своихъ отцовъ и обмѣниваются оружіемъ. Пока Гекаба (мать Гектора, полатинѣ Гекуба) умоляетъ Аѳину, Гекторъ идетъ къ Парису и упреками возбуждаетъ его выйти снова на бой. Потомъ онъ спѣшитъ въ свое собственное жилище и оттуда къ Скейскимъ воротамъ, гдѣ онъ утѣшаетъ свою супругу *Андромаху* и поручаетъ защитѣ боговъ своего маленькаго сына *Астіанакса*: „сына обнять устремился блистательный Гекторъ; но младенецъ назадъ, пышири-зой кормилицы къ лону съ крикомъ припалъ, утра-щаясь любезнаго отчаго вида, яркою мѣдью испуганъ, и гребень увидѣвъ косматый, грозно надъ шлемомъ отца всколебавшійся конской гривой. Сладко любезный родитель и нѣжная мать улыбнулись“... Разставшись съ *Андромахой*, онъ возвращается на поле битвы вмѣстѣ съ Парисомъ, который шелъ отъ воротъ иліонскаго замка, пышнымъ оружіемъ какъ яркое солнце сіяя... (Пѣснь 6).— По совѣту Гелена, Гекторъ вызываетъ на поединокъ храбрѣйшаго изъ ахейцевъ. Послѣ нѣкотораго колебанія выступаютъ впередъ девять героевъ. Жребій, брошенный между ними, достается *Теламониду Аяксу*. Весело начинаютъ бой молодые герои; побѣда колеблется, и долго продлился-бы поединокъ, еслибъ темная ночь не разняла удалыхъ витязей. Герои обмѣниваются дарами: шлемоблещущій Гекторъ мечъ подаетъ среброгвоздный, вмѣстѣ съ ножами его и красивымъ ремнемъ перевѣснымъ, а сынъ Телемака вручаетъ блистающій пурпуромъ поясъ. Послѣ вечерней трапезы Несторъ совѣтуетъ

назавтра не начинать боя; живымъ надо отдохнуть отъ битвы, мертвыхъ предать погребенію. Онъ совѣтуетъ окружить лагерь стѣной. Между-тѣмъ въ Троѣ *Анте-норъ* убѣждаетъ согражданъ выдать Елену, на что никакъ не соглашается Парисъ. На слѣдующій день ахейцы, до заката солнца, выстраиваютъ свою стѣну съ воротами, башнями и рвами. Даже боги всѣ изумлялись, видя великое дѣло ахейцевъ. (Пѣснь 7).— Утромъ опять начинается битва, но Зевсъ запрещаетъ богамъ, подъ жестокою карою, принимать въ ней участіе. Побѣда колеблется до полудня; но въ это время Зевесъ, взвѣся на вѣсахъ роковые жребіи обоихъ народовъ, видитъ, что жребій данайскихъ сыновъ до земли многоплодной спустился, троянъ-же до звѣзднаго неба. Страшно грянулъ отъ Иды Кронидъ, и огненный перунъ по лазури онъ бросилъ въ ахейскія рати... Ахейцы отгнаны къ окопамъ. Гера и Аѳина спѣшаютъ на помощь къ своимъ любимцамъ, но по повелѣнію Зевса Ирида приглашаетъ ихъ возвратиться на Олимпъ. Гекторъ и побѣдоносные трояне, разложивъ сторожевые костры, ночуютъ въ виду ахейскаго лагеря; а кони ихъ, бѣлымъ ячменемъ и сладкой питаясь полбой подлѣ своихъ колесницъ ожидали зари лѣнотронной. (Пѣснь 8).— Ахейцы проводятъ ночь въ страхѣ и безпокойствѣ. Агамемнонъ, отчаявшись въ счастливомъ исходѣ войны, на совѣтѣ царей подаетъ голосъ въ пользу бѣгства. Діомедъ и Несторъ становятся на сторону опозиціи. По совѣту послѣдняго, къ Ахиллѣсу отправляется посольство. Но ни убѣжденія хитроумнаго Одисея, ни мольбы Феникса, стараго пѣстуна ахиллесова, не могли убѣдить разгнѣваннаго героя принять участіе въ битвахъ троянъ и ахейцевъ. (Пѣснь 9).— Въ слѣдующую ночь поднимаются Менелай и Агамем-

нонь: благотворный сонъ отлетѣлъ отъ очей ихъ. Они будятъ остальныхъ вождей ахейскихъ и собираютъ совѣтъ на окопахъ лагеря. Велѣдствіе совѣщаній Діомедъ и Одиссей посланы соглядателями въ станъ враговъ. На дорогѣ имъ попадается троянскій лазутчикъ *Долонгъ*; они схватываютъ его, вывѣдываютъ о положеніи вражескаго лагеря и все-таки убиваютъ. Потомъ они проникаютъ до самаго лагеря и, убивъ тамъ пришедшаго на помощь къ троянамъ еракійскаго царя *Реза* и его двѣнадцать союзниковъ, уведать славныхъ, звукокопытныхъ коней резвыхъ. Діомедъ замыслиетъ новые подвиги, но Аѳина, являсь ему, совѣтуетъ болѣе не медлить, чтобы Аполлонъ не разбудить троянъ. Удалыцы возвращаются на резвыхъ коняхъ въ свой лагерь, встрѣчаются привѣтствіями, омываются въ морѣ и садятся съ друзьями на пиръ, и изъ чаши великой Аѳины, полными кубками, сладостнѣй меда вино возливаютъ. (Пѣснь 10). — На слѣдующее утро бой начинается снова; въ полдень ахейцы разрываютъ ряды троянъ, но скоро должны отступить передъ натискомъ Гектора и лучшихъ витязей Иліона. Діомедъ, Одиссей, Махаонъ, Еврипилъ и самъ царь Агамемнонь ранены и должны возвратиться къ кораблямъ. Ахиллесъ, черезъ Патрокла, освѣдомляется о положеніи грековъ. Несторъ жалуется ему на горькую судьбу ахейцевъ и проситъ Патрокла, чтобы онъ уговорилъ Ахиллеса принять участіе въ битвѣ, или хоть самъ показался бы передъ рядами троянъ въ доспѣхахъ Пелида. (Пѣснь 11). — Ахейцы заключаются внутри своихъ окоповъ; трояне готовятся перейти ровъ, и несмотря на храбрую оборону обоихъ Аяковъ, *Сарпедонъ* дѣлаетъ брешь въ окопъ, Гекторъ вышибаетъ камень ворота, и трояне проникаютъ въ ахейскій лагерь. Кругомъ побѣждали ахей-

цы къ чернымъ своимъ кораблямъ, и кругомъ поднялась тревога. (Пѣснь 12). — Зевесъ, даровавъ троянамъ торжество надъ ахейцами, отвратилъ свѣтозарные очи вдаль. Этимъ пользуется Посейдонъ, сострадающій объ ахейцахъ, и на коняхъ своихъ ѣдетъ къ Троѣ. Выиграли страшилища бѣзды, вокругъ изъ пучинъ заскакали киты, узнавая владыку; радуясь, море подъ нимъ разстилось, а гордые кони бурно летѣли, зыбей не касаясь мѣдною осью... Принявъ видъ Калхаса, Посейдонъ ободряетъ ахейцевъ. Оба Аякса и ихъ соратники нападаютъ на Гектора, который все еще сражался у воротъ; но Пріамидъ собираетъ вокругъ себя храбрѣйшихъ троянъ, и выдержавъ упорный натискъ, побѣдоносно подвигается впередъ. Оба войства крикнули вмѣстѣ, и крикъ ихъ взаимный дошелъ до Эѳира и свѣтовъ Зевеса. (Пѣснь 13). — Испуганный ратнымъ крикомъ, Несторъ выбѣгаетъ изъ своей палатки; его встрѣчаютъ раненые вожди — Агамемнонь, Діомедъ, Одиссей, которые идутъ ободрить упавшихъ духомъ ахейцевъ. Чтобы Посейдонъ, незамѣченный Зевесомъ, могъ помогать ахейцамъ, Гера, украшенная поясомъ Афродиты, усиливаетъ Зевеса. Въ пылу свалки Аякъ попалъ въ Гектора камнемъ. Трояне отступили, унося съ собою своего раненаго вождя. (Пѣснь 14). — Но Зевесъ просыпается и видитъ, что дѣлается на землѣ; Посейдонъ помогаетъ ахейцамъ, трояне бѣгутъ, Гекторъ-же въ полѣ лежитъ, тягостно дышущій, чувства лишенный... Грозно уличаетъ Кроніонъ злоторную, вѣчно коварную Геру и велитъ ей позвать Ириду и Аполлона: чтобы первую послать удалить Посейдона съ поля битвы, а послѣднему — велѣтъ возстановить силы Гектора. Потомъ Зевесъ предсказываетъ судьбу всей брани троянской, не могущей измѣниться, пока онъ не покараетъ

ахеянъ за оскорбленіе Ахиллеса и не прославятъ его, какъ общать Оетидѣ. Аполлонъ восстанавливаетъ силы Гектора и онъ, возвратясь къ битвѣ, отъѣсняетъ ахеянъ и преслѣдуетъ ихъ черезъ окопы до самыхъ кораблей. Здѣсь начинается бѣшеная свалка. Аяксъ, прыгая съ палубы на палубу, защищается отъ нападающихъ своимъ огромнымъ, корабельнымъ копьемъ; Гекторъ кидаетъ факель въ корабль *Протезилая*. (Пѣснь 15).—Патрокль проситъ у Ахиллеса позволенія надѣть его доспѣхи. Ахиллесъ не только соглашается на это, но даже отпускаетъ съ нимъ пять дружинъ своего войска. Патрокль прогоняетъ троянъ снова за валъ и убиваетъ Сарпедона, сына Зевсова. Главкъ, котораго умирающій Сарпедонъ избралъ своимъ мстителемъ, соединяется съ Гекторомъ и другими вождями; Патрокль—съ Аяксами; кровавая, продолжительная свалка возстаетъ за тѣло Сарпедона; вокругъ него падаютъ многіе герои; самъ Гекторъ наконецъ бѣжитъ, и съ раменъ трупа данай сорвали доспѣхи мѣдные, пышно-блестящіе. Въ это время Кронидъ-тучеводецъ приказываетъ Аполлону восхитить отъ стрѣлъ трупъ своего сына и передать его Танатосу (смерти) и Гириосу (сну),—двумъ близнецамъ, — чтобы они перенесли Сарпедона въ Ликію, его отчизну. Патрокль, гордый успѣхомъ, забывъ совѣты Ахиллеса, перешолъ окопы и хотѣлъ уже взобраться на стѣны Иліона, — но страшный голосъ Аполлона отбросилъ его назадъ. Стрѣловержецъ обезсиливаетъ, обезоруживаетъ героя, Эвфобъ ранитъ его, а Гекторъ наноситъ наконецъ смертельный ударъ. Тихо душа, излетѣвши изъ тѣла, нисходитъ къ Аиду, плачась на жребій печальный, бросая и силу и юность... (Пѣснь 16). — Гекторъ обнажаетъ Патрокла; Менелай зоветъ Аяковъ на защиту тѣла. Загорается

ужасная, бѣшеная битва; ахеяне бѣгутъ; самъ Аяксъ постигъ наконецъ волю Кронида, и въ ропотъ храброго сердца молить Зевса разсѣять ужасный мракъ, покрывающій поле битвы: „при свѣтѣ губи насъ, когда ужъ губить ты желаешь!“ Наконецъ ахеяне овладѣваютъ трупомъ Патрокла и несутъ его къ кораблямъ, подъ защитою Аяковъ, которые мужественно отражаютъ нападающихъ. Но трояне жестоко преслѣдуютъ ихъ, и бѣгство ахеянъ дѣлается общимъ. (Пѣснь 17).—Между тѣмъ *Антилохъ* приноситъ Ахиллесу вѣсть о смерти Патрокла,—и Пелида покрыло мрачное облако скорби. Быстро, въ обѣ онъ руки схвативши нечистаго пепла, голову всю имъ осыпалъ, и ликъ осквернилъ свой прекрасный. Самъ онъ въ прахѣ молча простерся, и волосы рвали, безобразно терзая... Оетида, услышавъ плачъ сына, выходитъ изъ моря съ сонмомъ Нереидъ. Чтобы утѣшить сына, богиня общала ему принести новые доспѣхи, сдѣланные самимъ Гефестомъ. Между-тѣмъ возобновляется бой у трупа Патроклова; Гекторъ овладѣлъ бы имъ, еслибъ Ахиллесъ не явился на высотѣ окопа и грознымъ крикомъ не навелъ страха на троянъ. Ахеяне овладѣваютъ трупомъ и выносятъ его въ палатку Ахиллеса; воины оплакивали Патрокла цѣлую ночь, потомъ трупъ героя былъ обмытъ, умащенъ благовоніями и положенъ на погребальный одръ. Гефестъ, по просьбѣ Оетиды, изготовляетъ новое оружіе для Ахиллеса: преимущественно *щитъ*—образцовое произведеніе божественнаго искусства *. Оетида сиѣшитъ съ этими доспѣ-

* Этотъ превосходный эпизодъ изображаетъ Гефеста въ его олимпійскомъ жилищѣ, куяющимъ для Ахиллеса новое оружіе. Работы бога превосходятъ всякое человѣческое понятіе; онъ какъ-будто оживлены живымъ духомъ. Тревожники двигаются

хами къ сѣдующему сыну. (Шѣнь 18). — Ахиллесъ громко плачетъ надъ тѣломъ Патрокла: воспламененный видомъ оружія, онъ жаждетъ боя, и между-тѣмъ какъ Ѡтида спрыскиваетъ трупъ амвросіей, чтобъ предохранить его отъ разложенія — Ахиллесъ созываетъ ахейцъ въ собраніе; Пелидъ объявляетъ, что онъ оставляетъ гнѣвъ и требуетъ битвы безъ отлагательства. Народъ радуется примиренію вождей. Агамемнонъ признается въ своей несправедливости, но всю вину сваливаетъ на судьбу и боговъ: „боги мой умъ ослѣпили: что-жъ-бы я сдѣлалъ“? Богоподобный Пелидъ сейчасъ-же хочетъ начинать бой мести; но по совѣту Одиссея, народы должны сперва подкрѣпить свои силы яствами и питьемъ; а самъ Ахиллесъ, въ знакъ торжественнаго примиренія — принять, передъ лицомъ всего народа, дары Агамемнона и Бризеиду, невольную причину распри; избранные юноши приносятъ дары, приводятъ Бризеиду. Но Ахиллесъ неутѣшенъ: онъ ничѣмъ не хочетъ наслаждаться, пока не отмститъ смерть друга. Громкія жалобы героя тронули Зевса: отецъ боговъ и людей велитъ Аѳинѣ подкрѣпить его нектаромъ и амвросіей. Тогда дружины строятся въ боевой порядокъ: впереди всѣхъ блистаетъ Ахиллесъ въ божественномъ доспѣхѣ; онъ всходитъ на колесницу, уговариваетъ коней не бросить его на побоищѣ мертвымъ, — и вдругъ слышитъ, что одинъ изъ коней, Ксанъ, предсказываетъ ему, что близится день его смерти.

сами на своихъ колесцахъ, золотыя дѣвы разумно ведутъ подъ руки своего хромоногаго владыку, мѣха дуютъ сами собою. — *Шитъ* описанъ не только уже въ окончательномъ видѣ, но послѣдовательно изображены всѣ моменты его творенія. Этотъ chef-d'oeuvre божественнаго искусства составляетъ предметъ эстетическихъ изслѣдованій *Лессинга* въ его „Лаокоонѣ“ (18 и 19 г.).

(Шѣнь 19). — Враждующія войска сошлись; теперь Зевсъ, созвавъ торжественный сеймъ боговъ, позволяетъ имъ принимать участіе въ битвѣ. Радостно ринулись боги на поле битвы; Гера, Аѳина, Посейдонъ, Гефестъ и Гермесъ, чтобъ побороть за ахейцъ; а за троянъ — Афродита, Аполлонъ, Артемида, Арей, Ксанъ и Лета; приближеніе боговъ сопровождается громомъ и такимъ колебаніемъ земли, что самъ „Аидъ, преисподнихъ владыка, въ ужасѣ приполъ; въ ужасѣ съ трона онъ прыгнулъ и громко вскричалъ, да надъ нимъ-бы лоно земли не разверзъ Посейдонъ, потрясающій землю, и жилищъ-бы его не открылъ безсмертнымъ и смертнымъ, — мрачныхъ, ужасныхъ, которыхъ трепещутъ и самые боги“. Битва начинается, и первый на Ахиллеса нападаетъ Эней; конечно онъ былъ-бы умерщвленъ Пелидомъ; но такъ-какъ судьбою ему опредѣлено было царствовать надъ троянами, то Посейдонъ избавляетъ его отъ смерти, далеко отбросивъ его по воздуху. Ахиллесъ нападаетъ на другихъ троянъ: „заструилоса черною кровію поле. Словно, когда земледѣлецъ воловъ сопряжетъ крѣпко-челыхъ, бѣлый ячмень молотить, на гумнѣ округленномъ и гладкомъ, быстро стираются класы мычащихъ воловъ подъ ногами: такъ подъ Пелидомъ божественнымъ, твердокопытные кони трупы крушили, щиты и шелоны; забрызгались кровью снизу вся мѣдная ось и полкругъ колесницы, въ кои, какъ дождь, отъ конскихъ копытъ и отъ ободовъ бурныхъ брызги хлестали: пылалъ онъ добыть между смертными славы, храбрый Пелидъ, и въ крови обагрять необорныя руки“. (Шѣнь 20). — Когда часть опрокинутыхъ троянъ побѣжала къ городу, а другіе бросились въ рѣку *Ксанъ*, — Ахиллесъ топилъ ихъ въ волнахъ разъяреннаго потока, но двѣнадцать юно-

шей захвативъ живыми, отсылаетъ въ станъ, обрекши ихъ на жертву Патроклу. Ксанъ, спертый въ своемъ теченіи трупами, жалуется и убѣждаетъ Ахиллеса укротиться — но напрасно: Пелидъ продолжаетъ убійства и снова вскакиваетъ въ средину рѣки. Рѣка свирѣпо нападаетъ на него волнами и, призвавъ на помощь *Симонса*, наводняетъ все поле и грозитъ потопить Ахиллеса: „негодую, высоко придалъ Пелидъ; но рѣка удручала могучія ноги, бурная, подъ ноги била и прахъ изъ-подъ стопъ вырывала“. Гера противопоставляетъ Ксану Гефеста, который, „устремивъ пожирающій пламень, высушилъ поле; тѣла погорѣли, вспыхнули окрестъ зеленныя ивы, мерикки и вязы; рыбы въ рѣкѣ затопились, сюда и туда заныряли, въ пламенномъ духѣ томясь“... но Гера, убѣжденная мольбою Ксана, велѣла укротить пламя: „не должно такъ безпощадно за смертныхъ карать безсмертнаго бога!“ Между-тѣмъ подымается распря и брань другихъ боговъ: Афина ранитъ Ареса и Афродиту, а лилейнораменная Гера, супруга почтеннаго Зевса, назвала Артемиду псицей и отхлестала ее по ушамъ лукомъ; прекрасная ловли-богиня разсыпала звонкія стрѣлы и наконецъ убѣжала въ слезахъ, — убѣжала и лукъ свой забыла. Скоро и всѣ боги возвращаются на Олимпъ; одинъ Аполлонъ идетъ въ Трою, чтобъ защитить ее: ибо Ахиллесъ, грозно свирѣпствуя, гонитъ троянъ къ городу; Пріамъ, увидѣвъ это съ башни, приказываетъ отворить ворота бѣгущимъ, а Аполлонъ, принявъ образъ Агенора, отвлекаетъ Ахиллеса въ другую сторону. (Пѣнь 21). — Всѣ, кого только спасли быстрыя ноги, убѣгаютъ въ городъ; одинъ Гекторъ остается у Скейскихъ воротъ, выжидая Ахиллеса, но съ приближеніемъ грознаго Пелида взялъ и его страхъ, и тре-

петный Гекторъ побѣжалъ вдоль стѣны, „быстро оборачивая ноги“... За нимъ бросился гнаться Пелидъ и три раза прорыскали они вокругъ стѣны Иліона; но когда въ четвертый разъ приближались къ ключамъ Скамандра, Зевсъ кладетъ ихъ жребій на вѣсы судьбы: „поникнулъ Гектора жребій тяжкій, къ Аиду упалъ“; Аполлонъ отъ него удалился... Гекторъ палъ, пронзенный копьемъ Ахиллеса; напрасно обнималъ онъ ноги своего убійцы и просилъ себя погребенія; отринутый гнѣвнымъ Пелидомъ, онъ предсказываетъ ему близкую смерть и умираетъ самъ: „тихо душа изъ устъ излетѣвши, нисходитъ къ Аиду, плачась на долю свою, оставляя и силу и крѣпость.“ Дивились ахейскіе мужи на ростъ и на образъ чудесный Гектора, и приближаясь, каждый пронзилъ его пиквою. Ахиллесъ ликуетъ; но замыслилъ на Гектора онъ „недостойное дѣло“: самъ на обѣихъ ногахъ прокололъ ему жилы сухія, и продѣвши въ ремни, къ колесницѣ тѣло его привязалъ, а главу волочить оставилъ. Мать увидала это, рветъ сѣдые волосы, дорогое съ себя покрывало мечетъ далеко и горестный вопль подымаетъ о сынѣ. Горько рыдаетъ и отецъ; кругомъ-же граждане подняли плачъ; раздавались вопли по цѣлому граду; темная ночь Андромahiны ясныя очи покрывала, навзничъ упала она и, казалось, духъ испустила. Въ чувство-жъ пришедши, она горько навзрыдъ зарыдала и съ нею стонали троянки. (Пѣнь 22). — Ахейцы возвращаются въ лагерь; Ахиллесъ начинаетъ обрядъ погребенія Патрокла: самъ впереди своихъ мирмидонянъ на колесницахъ трижды объѣзжаетъ вокругъ мертваго тѣла, потомъ приготовляетъ своимъ дружинамъ похоронный пиръ и уходитъ къ Агамемнону. Ночью является Ахиллесу во снѣ душа Патрокла, требуетъ торжественнаго погре-

бенія и желаетъ, чтобы кости его были положены вмѣстѣ съ ахиллесовыми. Рано утромъ ахейцы ѣдутъ рубить дѣсь для костра; мирмидонцы привозятъ тѣло Патрокла, покрытое волосами, посвященными мертвому; самъ Ахиллесъ обрѣзываетъ свои волосы и, какъ залогъ любви, влагаетъ ихъ въ руки умершаго друга. Вечеромъ сооружаютъ громадный костеръ, — въ ширину и длину сто ступеней; сверху костра кладутъ мертвого, покрываютъ его тукомъ жертвенныхъ овецъ; четырехъ коней гордовѣйшихъ, двухъ собакъ бросаетъ туда Ахиллесъ, двѣнадцать плѣнныхъ юношей троянскихъ идутъ туда-же; но тѣло Гектора хранятъ Аполлонъ и Афродита. Между тѣмъ костеръ не загорается; Ахиллесъ призываетъ мольбою Зефира и Борея, которые воздвиглись, „съ шумомъ ужаснымъ несяся и тучи клубя предъ собою, къ Понту помчались, неистово дую—и плѣнные волны встали подъ звонкимъ дыханіемъ, Трои холмистой достигли, всѣ на костеръ налегли и огонь загремѣлъ, пожиратель“. Всю ночь онъ горѣлъ; утромъ кости Патрокла собрали въ урну и насыпали надъ нею могильный холмъ. Въ честь умершаго Ахиллесъ предлагаетъ разнаго рода игры: ристанія на колесницахъ, кулачный бой, борьбу, бѣганье въ запуски, битву оружіемъ, метанье круга, копья и стрѣлъ. (Пѣснь 23). — По окончаніи игръ, ахейцы расходятся по палаткамъ, „каждый подъ сѣнь поспѣшавъ укрѣпиться пищей вечерней и сладостнымъ сномъ. Но Пелидъ неутѣшный плакалъ, о другѣ еще вспоминая; къ нему не касался всеумиряющій сонъ; по одру безпокойно метался, все вспоминая въ душѣ, проливалъ онъ горячія слезы; то на хребетъ онъ ложился, то на бокъ, то ницъ обращался, къ ложу лицомъ припадалъ, напоследокъ, бросивши ложе, берегомъ моря бродилъ онъ,

тоскующій“. Утромъ, привязавъ тѣло Гектора къ колесницѣ, онъ волочить его вокругъ могилы друга, но Аполлонъ сохраняетъ тѣло Гектора невредимымъ. Двѣнадцать дней спустя, Аполлонъ является въ собраніе безсмертныхъ и жестоко упрекаетъ ихъ за неблагодарность къ Гектору. Зевсъ, несмотря на сопротивленіе Геры, призываетъ на Олимпѣ Ѳетиду и велитъ ей убѣдить сына; чтобы онъ оставилъ свирѣпство и возвратилъ тѣло за выкупъ. Въ то-же время, по повелѣнію Зевеса, Ирида является къ Пріаму и убѣждаетъ его идти къ Ахиллесу и выкупить тѣло своего сына; Пріамъ рѣшается идти въ станъ ахейцевъ, несмотря на просьбы Гекабы остаться дома; любопытныхъ троянъ онъ прогоняетъ жезломъ отъ своего дома, и гнѣвно порицая дѣтей, велитъ имъ приготовить возъ для клады, а самъ запрагаетъ для себя колесницу. Наконецъ, сотворивъ возліяніе Зевесу, и видя въ ниспосланномъ отъ него орлѣ счастливое предзнаменованіе, отправляется въ путь. Сопровождаемый Гермесомъ, онъ благополучно приходитъ къ палаткѣ Ахиллеса, „входитъ въ покой, и Пелиду въ ноги упавъ, обымаетъ колѣна и руки цѣлуетъ: мужа, убійцы дѣтей своихъ, руки къ устамъ прижимаетъ!“ Ахиллесъ, тронутый моленіемъ державнаго старца, принимаетъ выкупъ, возвращаетъ тѣло, омытое и покрытое пурпуромъ, и дружелюбно прощаясь съ Пріамомъ, говоритъ ему: „Слово еще, Дарданидъ: объяснися, скажи откровенно, сколько желаешь ты дней погребать знаменитаго сына, — столько я дней удержуся отъ битвъ, удержу и дружину“. — Пріамъ выпрашиваетъ двѣнадцать дней, и рано утромъ привозитъ тѣло Гектора въ Трою. Первая завидѣла его Кассандра; весь городъ съ плачемъ столпился передъ воротами; впереди всѣхъ молодая суп-

руга и нѣжная мать плакали; вотъ тѣло привезли въ домъ, положили на ложе; начинатели плача пѣніемъ оплакиваютъ Гектора, плакали Андромаха и Елена. Девять дней возили лѣсъ въ Трою, въ десятый день вынесли храбраго Гектора, положили на костеръ и бросили пламень. Срубъ прогорѣлъ, багрянымъ виномъ оросили пространство, бѣлыя кости героя собрали въ ковчегъ золотой и опустили въ могилу глубокую; послѣ курганъ насыпали и всѣ разошлись; напослѣдокъ всѣ собрались вновь и „блистательный пиръ пировали въ домъ великомъ Пріама, любимого Зевсомъ владыки. — Такъ погребали они конеборнаго Гектора тѣло“. (Пѣснь 24).

2) Одиссея имѣетъ предметомъ судьбу и странствія многоопытнаго мужа, Одиссея. Девять лѣтъ уже протекло послѣ разрушенія Трои, а гнѣвъ Посейдона все еще держитъ Одиссея далеко отъ милой отчизны. Но теперь боги опредѣляютъ, что онъ долженъ наконецъ возвратиться въ свое отечество, *Итаку*. Поэтому Гермесъ посланъ на островъ Огигію, къ нимфѣ *Калипсо* возвѣстить ей, что наступилъ срокъ возвратиться въ землю свою Одиссею, котораго она „произвольной силой держала, напрасно желая, чтобъ былъ ей супругомъ“. Въ то-же время свѣтлоокая дѣва Аѣна-Паллада пошла въ Итаку, чтобы возбудить въ *Телемахѣ*, Одиссеевомъ сынѣ, *мѣвъ*, и „отважностью сердце его преисполнить“. Она вступаетъ въ домъ отсутствующаго Одиссея подъ видомъ, Ментоса. Телемахъ радушно встрѣчаетъ пришельца, но жалуются ему на свое горе, что сыновья всѣхъ знатныхъ жителей окрестныхъ острововъ каждый день приходятъ къ нему въ домъ и „пожираютъ нещадно“ его добро, чтобы заставить *Пенелопу* (мать,

Телемаха) выбрать себѣ одного изъ нихъ въ супруги; Пенелопа-же „не хочетъ ни въ бракъ нанавистный вступить, ни отъ брака средствъ не имѣетъ спастись“. Аѣна совѣтуетъ ему посѣтить Пилосъ и Спарту и собрать свѣдѣнія объ отцѣ: если онъ живъ, сносить терпѣливо обиды; если онъ погибъ, совершить по немъ тризны и выгнать безстыдныхъ жениховъ. Телемахъ какъ-будто переродился: онъ въ первый разъ говоритъ рѣшительно съ матерью, которую отсылаетъ хозяйничать съ рабынями, запрещая ей мѣшаться въ дѣла мужчинъ—и съ женихами, которыхъ проситъ „учреждать иные пиры“, грозя имъ мщеніемъ Зевеса. Вечеръ; женихи разошлись по домамъ; Телемаха старая нянька *Эвриклея* проводила въ высокую спальню. „И всю ночь на постелѣ, покрытой овчиною мягкой, онъ обдумывалъ путь, учрежденный богиней Аѣиной“. (Пѣснь 1).—На другой день, рано поутру, Телемахъ созываетъ гражданъ Итаки на площадь и требуетъ всенародно, чтобъ женихи покинули домъ его; но женихи сваливаютъ всю вину на Пенелопу, которая будто три года подавала имъ надежду: поставивъ въ своей свѣтлицѣ станъ, она начала тонкоширокую ткань, и собравши юношей Итаки, сказала имъ: „юноши, нынѣ мои женихи! такъ-какъ на свѣтѣ нѣтъ Одиссея, отложимъ нашъ бракъ до поры той, какъ будетъ конченъ мой трудъ; старцу Лаэрту покровъ гробовой приготовить хочу я“... И что-же? цѣлый день она за тканьемъ проводила, а ночью, факелъ зажегши, сама все натканное днемъ распускала; „но наконецъ она должна выбрать себѣ супруга, тогда женихи оставятъ въ покоѣ домъ Одиссея“. Телемахъ опять угрожаетъ имъ гнѣвомъ Зевса, и какъ-будто обѣщая ему свою защиту, Громовержецъ посылаетъ орловъ. Гадатель Галиердѣ

видитъ въ ихъ явленіи худое предзнаменованіе для жениховъ Пенелопы; но женихи отвѣчаютъ ему грубыми угрозами; старый Ментосъ упрекаетъ народъ въ равнодушіи къ сыну Одиссееву, противъ него возстаетъ Леокритъ, который потомъ самовольно распускаетъ народное собраніе. Телемахъ идетъ на взморье и умоляетъ Аѳину; она является ему въ образѣ Менсора, ободряетъ Телемаха и обѣщаетъ ему добыть корабль и провожатыхъ. Ключница Эвриклея готовитъ запасъ на дорогу; Аѳина, добывъ корабль, приготовляетъ его къ отплытію, и усыпивъ жениховъ, безстыдно пиравшихъ въ домѣ Одиссеевомъ, уводитъ съ собою Телемаха на берегъ моря, куда приносятъ и всѣ приготовленные на дорогу запасы. Телемахъ, вмѣстѣ съ мнимымъ Ментосомъ, не протѣившись съ Пенелопой, отплываетъ въ Пилосъ къ божественному старцу Нестору. (Пѣснь 2).— На другой день, рано утромъ, они пристають къ берегу: именно въ это самое время пилосцы, вмѣстѣ съ своимъ царемъ, приносили на берегу моря жертву Посейдону. Путники приняты дружелюбно. Несторъ многорѣчиво рассказываетъ Телемаху, что онъ про Одиссея, своего дорогаго друга, не знаетъ ничего вѣрнаго, потому-что ахеяне, уѣзжая домой, перессорились, и онъ возвратился въ отечество не по одному пути съ Одиссеемъ. Поговоривъ еще кое-чемъ,—именно, рассказавъ Телемаху о страшномъ вѣроломствѣ, съ которымъ Эгистъ и Клитемнестра умертвили возвратившагося домой Агамемнона, и о томъ, какъ сынъ его Орестъ страшно отмстилъ преступницъ матери вмѣстѣ съ Эгистомъ презрѣннымъ,—Несторъ совѣтуетъ гостямъ своимъ посѣтить Менелая, который тоже долго странствовалъ въ отдаленіи отъ родины милой и недавно въ отечество прибылъ изъ чуждыхъ странъ. Меж-

ду-тѣмъ день клонится къ вечеру; Телемахъ остается ночевать во дворцѣ Нестора; а свѣтлокая дочь Зевса удалилась на небо — „быстрымъ орломъ улетѣвъ; изумился народъ; изумился, чудо такое своими глазами увидѣвши, Несторъ“. Онъ предсказываетъ Телемаху счастье, а въ жертву Тритогеиѣ - Аѳинѣ обѣщаетъ „телицу однолѣтнюю, лбистую, съ игомъ еще незнакомую, рога изукрашивъ ей золотомъ чистымъ“. На слѣдующее утро жертва эта принесена богинѣ, и послѣ жертвеннаго пира Телемахъ, вмѣстѣ съ старшимъ сыномъ Нестора, Пизистратомъ, отправляется въ путь; переночевавъ въ Ферѣ у Діоклеса, на слѣдующій вечеръ прѣзжаютъ въ Лакедэмонъ. (Пѣснь 3).—И здѣсь Телемахъ попадаетъ на богатый пиръ: Менелай празднуетъ свадьбу сына и дочери. И здѣсь тотъ-же гостепріимный пріемъ; Телемахъ удивляется великолѣпію царскаго дома, и когда Менелай въ рассказъ своемъ вспоминаетъ объ Одиссее, изъ глазъ юноши заструились свѣтлыя слезы; тогда входитъ прекрасная Елена и сейчасъ-же узнаетъ въ немъ сына Одиссеева. Этимъ пробудилось такъ много скорбныхъ воспоминаній, что всѣ присутствующіе стали громко плакать; но Елена, подливъ въ чаши пирующихъ „гореусладнаго, мира творящаго соку“, успокоила гостей и рассказала имъ о приключеніяхъ Одиссея въ Троѣ. Собесѣдники уходять спать. На другое утро, едва „встала изъ мрака молодая, съ перстами пурпурными Эосъ“—Менелай, по просьбѣ Телемаха, сообщаетъ ему все то, что самъ слышалъ о судьбѣ вождей ахейскихъ; какъ въ Египтѣ божественный оборотень Протей предсказалъ ему участь Аякса, Агамемнона, какъ Колипсо держала Одиссея на своей пустынной Эгиги; о многомъ говорили они, бесѣдая слад-

ко. Между-тѣмъ въ Итаѣ женихи, услыхавъ объ отплытіи Телемаха, замышляютъ умертвить его на возвратномъ пути. Пенелопа, узнавъ объ отъѣздѣ сына и о замыслахъ жениховъ, приходитъ въ неописанную скорбь: „задрожали колѣна и сердце у бѣдной матери; долго была безсловесна она и слезами очи ея затмѣвались; ей не покоретвовалъ голосъ“. Аѣнна, тронутая скорбью неутѣшной матери, посылаетъ ей сновидѣніе, которое успокоиваетъ ее объ участи сына. Самый наглый изъ жениховъ Антиной, со своею дружиною, дѣйствительно пускается въ море и останавливается близъ острова Астера, ждать Телемаха. (Пѣснь 4).— Но опасность, которой подвергается Телемахъ, заставляетъ Аѣнну еще разъ просить Зевса о возвращеніи Одиссея на родину; тотчасъ-же посланъ былъ Гермесъ къ нимфѣ Калипсо съ повелѣніемъ немедленно отпустить Одиссея. Гермесъ приходитъ и изумляется чудной природѣ, окружающей гротъ свѣтлокудрявой нимфы: „пламень трескучій сверкалъ на ея очагѣ, и весь островъ былъ накурентъ благовоніемъ кедра и дерева жизни, ярко пылавшихъ. И голосомъ звонко-пріятнымъ богиня пѣла, сидя съ челнокомъ золотымъ за узорною тканью“. Страшно огорчило Калипсо приказаніе вышнихъ боговъ, которые всегда смотрѣли неблагоклонно на то, если богини принимали на ложе смертнаго мужа; но она слушается воли Кроніона. Она ищетъ Одиссея и находитъ его сидящаго одиноко на утесистомъ берегу: „очи были въ слезахъ, утекала медлительно капля за каплей жизнь для него въ непрестанной тоскѣ по отчизнѣ“. Она возбѣщаетъ ему освобожденіе; Одиссей не вѣритъ, Калипсо клянется подземной водой Стикса, — „нерушимую, страшную клятвой, которую боги не могутъ изречь безъ

боязни“. Потомъ Калипсо даетъ Одиссею орудія, нужны для постройки плота; въ четыре дня судно поспѣло, и на пятый день Одиссей пускается въ путь. На восемнадцатый день благополучнаго плаванія, онъ увидалъ уже горы тѣнистой земли Феакіанъ, когда Посейдонъ, возвращаясь отъ эѣіоповъ, узнаетъ въ морѣ Одиссея, плывущаго на легкомъ плоту своемъ; онъ поднимаетъ страшную бурю; плотъ, лишенный мачты, дѣлается игрушкой волнъ, и Одиссей погибъ-бы, еслибъ его не увидала Левкотея, нѣкогда царская дочь, а „послѣ богиня, безсмертія честь воспріявшая въ морѣ“. Она даетъ Одиссею покрывало, которое спасаетъ его отъ утопленія; цѣлые три дня носить его бурныя волны, наконецъ ввечеру третьяго дня онъ вскарабкался на берегъ феакійскаго острова Схеріи, и зарывшись въ сухія листья грѣлся, „и очи сладкой дремотой Аѣнна смѣжила ему“. (Пѣснь 5).— На слѣдующее утро Навсикая, дочь феакійскаго царя Алкиноя, побужденная въ сновидѣніи Аѣиной, приходитъ вмѣстѣ съ подругами и рабынями полоскать бѣлье въ устьѣ потока. Кончивъ свое занятіе и искупавшись въ рѣкѣ, рабыни стали играть въ мячъ, а бѣлокурая царевна зашла пѣсню. Навсикая бросила мячъ, но не пошла въ подружекъ, и „онъ, отраженный Аѣиной, въ волны шумящія прынулъ“. Дѣвы вскрикнули; ихъ крикъ пробудилъ Одиссея. Онъ поднялся, приближается къ Навсикаѣ и проситъ ее „умиленнымъ словомъ“ дать ему одежду и убѣжище; царевна приглашаетъ его слѣдовать за нею въ городъ и даетъ ему нужное наставленіе. Онъ провожаетъ Навсикаю до Палладиной рощи, находящейся недалеко отъ города. „Одиссей, тамъ оставшійся, началъ дочери Зевса-Громовержца, Палладѣ, молиться“. (Пѣснь 6).— Аѣнна,

явившись подъ видомъ феакійской дѣвы, вводитъ Одиссея въ Феаку; она окружаетъ его темнымъ облакомъ, чтобъ „не былъ замѣченъ онъ, никакимъ изъ надменныхъ гражданъ, который могъ-бы его оскорбить, любопытствуя вывѣдать, кто онъ“; и Одиссей, никѣмъ непримѣченный, приближается къ Алкиноеву жилищу и въ изумленіи останавливается передъ великолѣніемъ царскаго дома и сада. Войдя въ палату, гдѣ царь пировалъ съ своими гостями, Одиссей приближается къ царицѣ Аретѣ, и божественная мгла, окружавшая его, исчезаетъ. Обнявъ колѣна царицы, онъ молить ее о дарованіи ему способа возвратиться въ отчизну. Царь любовно приглашаетъ его сѣсть за трапезу, и когда гости расходятся, Одиссей рассказываетъ свои новыя похождения, отъ пребыванія у Калипсо до прибытія къ феакійцамъ. (Пѣснь 7). — На слѣдующее утро, Алкиной, предложивъ народному собранію устроить отправленіе Одиссея въ его отечество, приглашаетъ князей феакійскихъ и людей корабельныхъ къ себѣ на обѣдъ. Здѣсь слѣпой Демодокъ пѣлъ о распрѣ храбраго Ахилла съ мудрымъ царемъ Одиссеемъ. Одиссей прослезился, и не желая показать своихъ слезъ феакійцамъ, закрылъ лицо мантией; но мудрый царь Алкиной понялъ эти слезы и, прекративъ звуки лиры, „подруги пировъ сладкогласной“, пригласилъ всѣхъ на площадь заняться игрой. Одиссей бросаетъ громадный дискъ и изумляетъ всѣхъ своей силой; потомъ начинается пляска, во время которой Демодокъ поетъ о любви Ареса и Афродиты. Феакійскіе князья даютъ Одиссею богатые подарки, которые Арета сейчасъ-же уложила для него въ сундукъ. Заужиномъ Демодокъ такъ трогательно поетъ о деревянномъ конѣ и взятіи Трои, что пѣснь его вторично извлекаетъ сле-

зы изъ очей Одиссея; царь спрашиваетъ его о причинѣ этой скорби и проситъ его, чтобъ онъ рассказалъ свои приключенія. (Пѣснь 8). — Одиссей начинаетъ рассказывать свои приключенія отъ отъѣзда изъ Трои до прибытія своего на островъ Калипсо. Рассказываетъ, какъ прибылъ въ землю фракійскихъ Киклоновъ, разрушилъ ихъ городъ Исмарось, но потерялъ съ каждаго корабля по шести „броненосцевъ отважныхъ“. Съверовосточный вѣтеръ у мыса Малейя прибываетъ его корабль къ землѣ Лотофаговъ; оттуда они попадаютъ на Козлиный островъ и въ землю Циклоновъ. Выбравъ двѣнадцать изъ своихъ корабельныхъ товарищей, онъ входитъ съ ними въ пещеру Полиоэма; шестеро изъ спутниковъ Одиссеевыхъ гибнутъ, сожранные жаднымъ циклопомъ. Но Одиссей спасается: опьянивъ великана, онъ вонзаетъ ему въ глазъ зазженный колъ; „циклопъ облился горячей кровью, истлѣли рѣсеницы, шершавыя вспыхнули брови; яблоко лопнуло, выбрызгнувъ глазъ, на огнѣ зашипѣвши“. Потомъ онъ хитростью спасаетъ себя и товарищей отъ ярости ослѣпленнаго людоеда, и похитивъ циклопово стадо, возвращается на Козлиный островъ. Полиоэмъ призываетъ отца Посейдона и молить, чтобъ онъ отмстилъ за него Одиссею. (Пѣснь 9). — Изъ страны циклоновъ, Одиссей прибываетъ на пловучій островъ Эолію, гдѣ Эоль, повелитель вѣтровъ, даетъ ему проводникомъ Зефира и вручаетъ крѣпко-завязанный мѣхъ, съ заключенными въ немъ прочими вѣтрами. Находясь уже въ виду Итаки, Одиссей засыпаетъ; спутники его развязываютъ мѣхъ, думая найти въ немъ золото и серебро; вырвавшіеся на волю вѣтры поднимаютъ страшную бурю, которая приноситъ корабль Одиссея обратно къ Эолову острову; но раздраженный Эоль

велитъ Одиссею удалиться, думая, что онъ не угоденъ и ненавистенъ богамъ. Тогда они носятся по неизвѣстному западному морю и на седьмыя сутки пристають къ странѣ людоедовъ или Лестригоновъ; лестригоны истребляютъ одиннадцать кораблей Одиссеевыхъ; съ послѣднимъ пристаётъ онъ къ Ээ, острову Киркеи. Волшебница превращаетъ часть его спутниковъ въ свиней, „съ щетинистой кожей, са свиною мордой и съ хрюкомъ свинымъ, не лишивъ ихъ однако разсудка“. Но Гермесъ даетъ ему средство разрушить ея чародѣйства. Одиссей, одолѣвъ Киркею, убѣждаетъ ее возвратитъ человѣческій образъ его спутникамъ. Пробывъ годъ на ея островѣ, онъ требуетъ наконецъ, чтобы она возвратила его въ отечество; но Киркея повелѣваетъ ему прежде посѣтить океанъ, и у входа въ иглистую область Аида, — „тамъ, гдѣ дико растетъ персефоникъ, широкій лѣсъ изъ ракии, свой теряющихъ плодъ, и изъ тополей черныхъ“, воспросить прорицателя Тѣйрезіа о судьбѣ своей. (Пѣснь 10). — Сѣверный вѣтеръ приноситъ корабль Одиссея къ печальной области Киммеріанъ, покрытой вѣчно влажнымъ туманомъ и мглой облаковъ: тутъ, совершивъ жертву тѣнямъ, Одиссей призываетъ ихъ: является тѣнь Эльпенора и требуетъ погребенія; за тѣмъ является Тѣйрезій и предсказываетъ Одиссею его участь. Потомъ приблизилась мать Одиссея, и напившись жертвенной крови, бесѣдуетъ съ сыномъ. Тѣни знаменитыхъ героинь: Тиро, Антіопо и Алкмены, Эпикасты, Леды, Ифимедѣи, Федры, Климены, выходятъ изъ Эреба и рассказываютъ о судьбѣ своей Одиссею. Онъ хочетъ прервать свою повѣсть, но заинтересованный Алкиной требуетъ, чтобы онъ ее кончилъ, и Одиссей продолжаетъ: онъ рассказываетъ, какъ приблизились къ нему тѣни героевъ—Ага-

мемнонъ, Ахиллесъ, Аяксъ, Эрionъ, — и какія рѣчи онѣ держали къ нему; рассказываетъ о Миноѣ, судѣ Аида, вѣчнозвѣроловствующемъ Орionъ, о казняхъ Титія, Си-зиѳа и Танталя; внезапный страхъ побуждаетъ Одиссея возвратиться на корабль, и онъ плыветъ обратно, по теченію водъ океана. (Пѣснь 11). — Онъ останавливается у острова Ээ, гдѣ Киркея предсказываетъ ему опасности и приключенія дальнѣйшаго странствованія. Отплывъ далѣе съ попутнымъ вѣтромъ, онъ счастливо проходитъ мимо очаровательно-поющихъ сиренъ и бродящихъ скаль; но не такъ благополучно совершилось его плаваніе между утесами Скиллы и Харибды: „Скилла грозила съ одной стороны, а съ другой пожирала жадно Харибда соленую влагу; когда извергались воды изъ чрева ея, какъ въ котлѣ на огнѣ раскаленномъ съ свистомъ кипѣли онѣ, хлопоча и буроваясь, и буря вихремъ взлетала на обѣ вершины утесовъ; когда-же волны соленого моря глотала обратно Харибда, внутренность вся открывалась ея: передъ зѣвомъ ужаснымъ волны сшибались, а въ нѣдрѣ утробы открытомъ кипѣла тина и черный песокъ“. Здѣсь погибли шестеро изъ спутниковъ Одиссеевыхъ. Съ остальными онъ прибываетъ къ берегамъ Тринакрии. Спутники его, задержанные на островѣ противными вѣтрами, истощивъ всѣ свои запасы, терпя голодъ и наконецъ, нарушивъ данную ими клятву, убиваютъ быковъ, посвященныхъ Геліосу. Раздраженный богъ требуетъ отъ Зевса, чтобы онъ наказалъ святотатство и корабль Одиссеевъ, вышедшій снова въ море, разбить Зевесовымъ громомъ. Всѣ погибаютъ въ волнахъ, кромѣ Одиссея, который снова избѣгнувъ Харибды и Скиллы, брошенъ наконецъ на берегъ Калипсина острова. (Пѣснь 12). — Здѣсь кончается, такъ-назы-

ваемый апологъ, начавшійся съ 12 пѣсни; дальнѣйшее странствованіе Одиссея уже рассказано въ 7 пѣсни).— Когда Одиссей кончилъ свой рассказъ, князья феакійскіе щедро одарили его вторично, и съ наступленіемъ ночи онъ покидаетъ ихъ островъ. Одиссей заснулъ; тѣмъ временемъ феакійскій корабль, быстро совершивъ свое плаваніе, достигаетъ Итаки. Вошедши въ пристань Форкидскую, мореходцы выносятъ Одиссея на берегъ соннаго, и оставивъ его тамъ со всеми сокровищами, полученными имъ отъ феакійцевъ, — удаляются. Раздраженный Посейдонъ превращаетъ корабль ихъ въ утесъ, „и ударомъ ладони къ морскому дну основаніемъ крѣпко приплюснулъ“. Одиссей просыпается, но не узнаетъ земли своей, которую Аѳина покрыла туманною мглою. Богиня встрѣчается съ нимъ, принявъ образъ молодого пастуха; онъ рассказываетъ о себѣ вымышленную повѣсть; тогда Аѳина улыбнулась, нѣжно потрепала его по щекѣ, и преобразившись въ молодую дѣвушку, шутиливо укоряла Одиссея въ хитрой лжи: „Ты кознопѣй, на коварныя выдумки дерзкій, не можешь, даже и въ землю свою возвратясь, оторваться отъ темной лжи и отъ словъ двоясмысленныхъ; но объ этомъ теперь говорить бесполезно: мы оба любимъ хитрить. На землѣ ты межъ смертными разумомъ первый, также и сладкою рѣчью; я первая между безсмертныхъ мудрымъ умомъ и искусствомъ на хитрыя вымыслы“. И Аѳина, спрятавъ въ гротъ Одиссеевы сокровища, — которыя тотъ не забылъ тщательно пересчитать и провѣрить — даетъ ему наставленіе, какъ отомстить женихамъ; превращаетъ его въ стараго нищаго, а сама улетаетъ въ Лакедѣмонъ къ Телемаху. (Пѣснь 13).— Прежде всего приходитъ Одиссей въ хижину свинопаса Эвмея; позавтракавъ съ нимъ,

онъ увѣряетъ стараго свинопаса, что господинъ его скоро возвратится и подтверждаетъ это клятвою; но Эвмей ему не вѣритъ. Одиссей рассказываетъ ему о себѣ вымышленную повѣсть. Къ вечеру все другіе пастухи возвращаются съ поля; Эвмей убиваетъ откормленную свинью на ужинъ. Холодная ночь; хитрой выдумкой Одиссей побуждаетъ Эвмея дать ему теплую мантию на ночь. Одиссей засыпаетъ въ хижинѣ, а свинопасъ уходитъ наблюдать за стадомъ, оставленнымъ въ полѣ. (Пѣснь 14).— Между-тѣмъ Телемахъ все еще гоститъ у Менелая въ Спартѣ; Аѳина, явись ему во снѣ, торопитъ его возвратиться въ отечество. Одаренный щедро Менелаемъ и Еленю, онъ покидаетъ вмѣстѣ съ Пизистратомъ Лакедѣмонъ и, миновавъ Пилось, садится на корабль и пускается въ море. Тѣмъ временемъ Одиссей объявляетъ Эвмею, что онъ намѣренъ идти въ городъ просить подаянія и поступить на службу къ женихамъ; но Эвмей удерживаетъ его у себя и совѣтуетъ ему подождать возвращенія Телемаха; но просьбѣ Одиссея онъ рассказываетъ ему приключенія своей молодости. Рано утромъ Телемахъ пристаётъ къ берегамъ Итаки, отправляетъ корабль свой въ городъ, а самъ идетъ къ Эвмею. (Пѣснь 15).— Здѣсь привѣтствуетъ онъ нищаго странника и тотчасъ-же посылаетъ „божественнаго свинопаса“ въ городъ, извѣстить о возвращеніи своемъ Пенелопу. Одиссей, повинувшись Аѳинѣ, открывается сыну, и они вмѣстѣ обдумываютъ планъ мщенія. Къ вечеру Эвмей возвращается изъ города. (Пѣснь 16).— На слѣдующее утро Телемахъ идетъ домой, сообщаетъ матери въ нѣсколькихъ словахъ главныя событія своего странствованія и представляетъ ей прорицателя Тееклимена, пріѣхавшаго съ нимъ изъ Спарты. Тѣмъ временемъ Эвмей отпра-

ляется съ Одиссеемъ въ городъ; дорогой встрѣчаютъ они пастуха козь Мелантія, который ихъ обоимъ оскорбляетъ. Придя къ своему дому, Одиссей видитъ на дворѣ, на навозной кучѣ, своего стараго, полумертваго, покинутого пса Аргоса: „Одиссееву близость почувствовалъ онъ, шевельнулся, тронулъ хвостомъ и поджалъ въ изъясненіе радости уши; близко-жъ подползъ къ господину и даже подняться онъ не былъ въ силахъ“. Одиссей входитъ въ пировую полату, проситъ милостыню у жениховъ; но Антиной, ругаясь надъ нимъ, бросаетъ въ него скамейкой. А Одиссей покачалъ только головой, полный тайнаго замысла. Пенелопа, желая распросить нищаго старца объ Одиссее, зоветъ его къ себѣ поздно вечеромъ. (Пѣснь 17).—Пришедшій къ женихамъ бродяга, славный по всей Итакѣ своимъ жаднымъ желудкомъ, нахальствомъ и пьянствомъ, *Ира* хочетъ прогнать Одиссея; они дерутся; Одиссей конечно остается побѣдителемъ, и схвативъ Ира за ногу, тащитъ его за ворота. Лучшій изъ жениховъ, Анфиномъ, поздравивъ Одиссея съ побѣдой, подалъ ему „козій желудокъ, наполненный жиромъ и кровью“, кубокъ вина и два хлѣба. Въ благодарность за это, Одиссей совѣтуетъ Анфиному, какъ „благодарному“ юношѣ, оставить жениховъ, дабы не попасться на глаза Одиссею, когда онъ, вернувшись въ отеческій домъ свой, станетъ вести съ женихами расчеты. Но Анфиномъ не послушался и не ушелъ отъ судьбы. Является Пенелопа, сія „той красотой несказанной, какою въ пламенно-быстрой и сладостно-томной пляскѣ съ харитами, образъ Киприды, вѣнкомъ благовоннымъ вѣнчанный, сіяетъ“. Она, наученная Аѳиной, подаетъ женихамъ надежду на скорый бракъ; женихи дѣлаютъ ей великолѣпные подарки. Царица ухо-

дить. Одиссея снова оскорбляютъ женихи и даже рабыня Меланто. Къ вечеру всѣ разошлись по домамъ, чтобы предаться покою. (Пѣснь 18).—Всѣ разошлись; одинъ Одиссей въ опустѣвшей палатѣ остался смерть замыслить женихамъ; съ нимъ Телемахъ. Они выносятъ оружіе изъ столовой и складываютъ его въ близлежащую комнату; имъ невидимо свѣтитъ Аѳина, держа золотую лампаду; Телемахъ уходитъ. Является Пенелопа и спрашиваетъ нищаго, кто онъ и откуда? Умно, мѣшая вымыселъ съ правдой, отвѣчаетъ ей Одиссей и кончаетъ свою повѣсть увѣреніемъ, что Одиссей скоро возвратится въ домъ свой. Пенелопа приказываетъ Эвриклеѣ вымыть ноги страннику, и по рубцу на ногѣ старая служанка узнаетъ своего господина; отдернула руки она въ изумленіи, упала въ тазъ опустившись нога; отъ удара ея зазвенѣла мѣдь, покачивулся водою наполненный тазъ, пролилася на полъ вода. Но Одиссей приказываетъ Эвриклеѣ молчать. Завязывается второй разговоръ: глубоко растроганная Пенелопа, рассказываетъ страннику свой чудный сонъ. Потомъ говоритъ, что отдастъ свою руку тому изъ жениховъ, который побѣдитъ другихъ стрѣлою изъ Одиссеева лука. Одиссей хвалитъ этотъ прозекъ. Всѣ идутъ на покой. (Пѣснь 19).—Одинъ Одиссей не находитъ покоя; мысль о предстоящемъ боѣ съ такимъ множествомъ жениховъ, вопли Пенелопы, плачущей о своемъ Одиссее, и наконецъ непристойный хохотъ служанокъ, жившихъ въ тайной любви съ женихами — не давали ему спать. Одиссей молятся Зевесу; „Олимпіецъ молитву услышалъ и страшно ударившимъ громомъ изъ звѣздно-безтучнаго неба грянулъ отвѣтомъ; преисполнилась радостью грудь Одиссея“. Къ утру зала оживаетъ снова; входятъ служанки, Телемахъ, Эвмей, потомъ ко-

зоводъ Мелантій, который опять оскорбляетъ Одиссея, и наконецъ Филэтій, смотрящій за стадами коровъ; потомъ являются женихи, снова оскорбляя нищаго, и садятся за веселый завтракъ; но скоро смолкъ ихъ безпечно-веселый хохотъ, и сердца заняли тоскою: на солнце набѣжала тѣнь, земля покрылась мракомъ; Феоклимень предсказываетъ близкую гибель незванымъ гостямъ Одиссея, „беззаконнымъ ругателямъ правды“. (Пѣснь 20). — Аѳина научила Пенелопу принести къ женихамъ лукъ Одиссеевъ и предложить имъ стрѣляніе въ цѣль: чья стрѣла пролетитъ черезъ двѣнадцать колецъ, того царица рѣшается выбрать своимъ супругомъ. Телемахъ тоже пытается натянуть лукъ, но это ему не удается, и Одиссей подаетъ знакъ, чтобы онъ его оставилъ. Потомъ также безуспѣшно стараются натянуть его жертвогадатель Леодей и Антиной. Между-тѣмъ Одиссей открывается Эвмею и Филетію; они приготовляются къ умерщвленію жениховъ. Послѣ другихъ неудачныхъ опытовъ натянуть лукъ, Антиной предлагаетъ отложить стрѣльбу до другого дня, но ницій проситъ, чтобы и ему подали лукъ; женихи противятся этому; по приказанію Телемаха лукъ однако поданъ Одиссею; Филэтій запираетъ ворота. Ницій беретъ лукъ, осматриваетъ его, стрѣляетъ и — „быстро отъ перваго всѣ до послѣдняго кольца, ихъ не задѣвъ, пронизала стрѣла, изощренная мѣдью“. Телемахъ немедленно опоясалъ свой мечъ, схватилъ въ руки боевое копьѣ и сталъ за отцовымъ стуломъ, изготовясь къ битвѣ. (Пѣснь 21). — Ницій становится на высокій порогъ двери, сбрасываетъ съ себя лохмотья, и передъ изумленными женихами стоитъ — *Одиссей!* Теперь его стрѣлы направлены на жениховъ; перваго пронзаетъ онъ недостойнаго Антиноя; напрасно Эвримахъ общается

ему искунительные дары, чтобы только онъ пощадилъ ихъ; напрасно — всѣхъ хочетъ истребить Одиссей: руки его не уймутся до-тѣхъ-поръ, пока онъ до-чиста не омоетъ своей обиды кровью жениховъ. Телемахъ приноситъ изъ свѣтлицы копьѣ, щиты и шлемы; но онъ забывается затворить дверь, и въ нее входитъ Мелантій, который снабжаетъ оружіемъ жениховъ; однако онъ схваченъ потомъ вѣрными пастухами, его запираютъ связаннаго наверху. Начинается общая рѣзня; четверемъ героямъ помогаетъ Аѳина. Копья жениховъ не попадаютъ; а Одиссей и его люди, напротивъ, ни разу не бросили мимо ни копьѣ, ни стрѣлы. Но Аѳина, желая подвергнуть строгому испытанію храбрость царя и его сына, не вдругъ даровала имъ побѣду: оставивъ образъ Ментоса, въ которомъ она помогала имъ, свѣтлоокая дочь Громовержца „вдругъ превратилась, взвилась къ потолку и на черной отъ дыма тамъ перекладинѣ легкою, сизою ласточкой сѣла“. Сопротивленіе дѣлается невозможнымъ; пиршественная зала превращается въ бойню; всѣ женихи убиты, кромѣ честнаго глашатая Медонта, спрятавшагося подъ стуломъ, и пѣвца Фемія. Одиссей велитъ вынести трупы изъ столовой; потомъ началась казнь развратныхъ служанокъ: ихъ повѣсили около житной башни и, „немного подергавъ ногами, служанки всѣ разомъ затихли“. Затѣмъ изрубили въ куски и бросили собакамъ Мелантія. Оставшіяся вѣрными рабыни весело привѣтствуютъ Одиссея. (Пѣснь 22). — „Сердцемъ ликуя и радуясь“, старушка Эвриклея приноситъ Пенелопѣ вѣсть о возвращеніи супруга и избіеніи жениховъ. Царица, все еще сомнѣваясь, сходитъ внизъ и недовѣрчиво смотритъ на Одиссея. Телемахъ съ досадою упрекаетъ мать за недовѣрчивость. Пенелопа отвѣчаетъ,

что „если это точно Одиссей, то они оба имѣют надежный способ открыться другъ другу“. Царь Одиссей, постоянный въ бѣдахъ, улыбнулся. Чтобы обмануть жителей города и не произвести въ народѣ волненія убійствомъ столькихъ славныхъ гражданъ, онъ приказалъ своимъ домашнимъ шумѣть, плясать и показывать видъ, что въ домѣ у него празднуютъ свадьбу. Омывшись въ купальнѣ, сіяла красотой, которой вновь одарила его Аѳина, Одиссей идетъ къ Пенелопѣ и точнымъ описаніемъ своей брачной кровати уничтожаетъ все сомненія супруги. Глубоко тронутые, послѣ обоюдныхъ ласкъ и привѣтствій, они рассказываютъ другъ другу свои приключенія. Съ наступленіемъ утра Одиссей идетъ къ отцу своему Лаэрту. (Пѣснь 23). — Между-тѣмъ души жениховъ, завизжавъ, вырвались изъ труповъ и полетѣли вслѣдъ за Гермесомъ въ Аидъ; тамъ они встрѣтили тѣни ахейскихъ героевъ,—Ахиллеса и Агамемнона. Амфимедонъ рассказываетъ имъ о гибели жениховъ, и Агамемнонъ завидуетъ счастью Одиссея, у котораго такая *тѣсная* супруга. Тѣмъ временемъ Одиссей проходитъ къ Лаэрту; старецъ, одѣтый неопрятно и бѣдно, работалъ въ саду; когда Одиссей открылся ему, онъ обезпамятѣлъ. За обѣдомъ узнаютъ Одиссея все старыя слуги. Но дѣло еще не кончено. Вѣсть о гибели жениховъ возбуждаетъ въ городѣ мятежъ; вооруженная толпа врывается въ домъ Лаэрта и хочетъ умертвить Одиссея и его вѣрныхъ слугъ. Но Аѳина вдохнула силы даже въ дряхлыхъ старцевъ; все вооружаются, не исключая и Лаэрта, и Одиссей остается побѣдителемъ. Онъ хочетъ извести всехъ мятежниковъ, но громовая стрѣла Кроніона раздвоила небо и ударила въ землю передъ Одиссеемъ, возвѣщая ему воздержаться отъ про-

литія крови. „Скоро потомъ межъ царемъ и народомъ союзъ укрѣпила свѣтлая дочь громовержца, богиня Аѳина-Паллада“. (Пѣснь 24).

Изложивъ, въ главныхъ моментахъ, содержаніе обѣихъ поэмъ, намъ легче будетъ указать на ихъ различіе. Міръ боговъ и людей, изображенный въ Иліадѣ, во многихъ отношеніяхъ совершенно не тотъ, что въ Одиссеѣ. Боги Иліады совершенно „очеловѣченны (антропоморфизированы)“; небо сведено на землю, и Олимпъ, въ своихъ божественныхъ образахъ, только отражаетъ идеализированную человѣческую природу; поэтому боги Иліады руководствуются чисто личными отношеніями къ людямъ. Посейдонъ злится на ахейцевъ за твердыни ихъ лагерь: ему завидно, что противъ нихъ безсильны волины его океана; непримиримая въ ненависти Гера губить троянцевъ тоже изъ *зависти*: она не можетъ забыть, что одинъ изъ пріамидовъ, Парисъ, когда-то присудилъ *не ей* золотое яблоко красоты. Боги-же Одиссея уже значительно утрачиваютъ свой антропоморфическій характеръ: ихъ благоволеніе и неблаговоленіе къ людямъ гораздо чаще опредѣляется чистоправственными границами; они предостерегаютъ людей, замышляющихъ что-нибудь недоброе, помогаютъ добру и показываютъ преступленіе и неправду. Такимъ образомъ въ *Иліадѣ* больше *миѳологій, чѣмъ религій, въ Одиссеѣ* больше *религій, чѣмъ миѳологій*. Въ Иліадѣ преимущественно изображены такія событія, которыми движутъ страсти челоѣка (гнѣвъ Ахиллеса); предметъ ея—внѣшняя борьба греческаго народа съ другимъ, чуждымъ ему племенемъ; поэтому въ ней на первомъ планѣ военная жизнь грековъ; характеръ ея—сила, и Ахиллесъ, герой Иліады—представитель этой силы. Въ Одиссеѣ-же, напротивъ,

преимущественно изображены мирныя сношенія человѣческаго общества; если и есть борьба, то борьба внутренняя, съ новымъ, возникающимъ порядкомъ вещей; оттого въ ней на первомъ планѣ внутренняя, домашняя жизнь, сила ума, а не мускуловъ, и Одиссей, герой поэмы — представитель этой силы ума, мужъ, „на землѣ межъ смертными разумомъ первый“, олицетвореніе благоразумія и хитрости въ сношеніяхъ съ людьми, твердости и терпѣнія въ столкновеніяхъ съ рокомъ. Такимъ образомъ, какъ говоритъ Аристотель, *Иліада* «патетична и проста», *Одиссея* «этична и запутана». Вообще все, что только есть въ судьбѣ человѣческой благороднаго, великаго, прекраснаго и истиннаго, высказано въ этихъ двухъ поэмахъ съ обворожительной наивностью, и въ формѣ, которую можно сравнить развѣ только съ спокойнымъ величіемъ „солнцелестящаго“ океана. Описанія мѣстностей и событій и изображенія отдѣльных предметовъ и характеровъ запечатлѣны удивительной пластичностью; часто самыя отвлеченныя понятія выражены у Гомера ясно до осязаемости: этого достигаетъ онъ преимущественно *сравненіями* и *уподобленіями*, заимствованными изъ внѣшней жизни человѣка, очень рѣдко изъ сферы духовнаго міра и всего чаще изъ жизни природы, — и *эпитетами*, т. е. тѣми прилагательными, которыми обозначаются свойства понятій и предметовъ.

Нечего и говорить о томъ, что нѣтъ другаго произведенія ума человѣческаго, которое пользовалось-бы такою всемірною славою и имѣло-бы такое огромное вліяніе не только на поэзію, но и вообще на культуру, — какъ *Иліада* и *Одиссея*. Эти поэмы были для Греціи то, что для христіанскаго міра Библія. Гомеръ былъ

поэтомъ по преимуществу; творенія его считались неискъпаемымъ источникомъ, изъ котораго поэты и художники обильно черпали вдохновеніе для своихъ произведеній, и даже философы — правила высокой мудрости. Тайна этой непреодолимой прелести и силы поэмы Гомера — въ его чисточеловѣческомъ міросозерцаніи. Отъ метафизической точки зрѣнія временъ орфическихъ онъ быстро перешелъ на точку зрѣнія человѣчно-естественную. У него все очеловѣчено: боги и геніи, герои и жены, цари и народы, одушевленная и неодушевленная природа видны здѣсь исключительно съ точки зрѣнія невозмутимаго жизне-радостнаго гуманизма, законы котораго удовлетворяютъ всему и всѣмъ. Это дѣлаетъ Гомера *всемирнымъ поэтомъ*, учителемъ и пророкомъ для всего древняго, нераздробленнаго міра.

Кромѣ *Иліады* и *Одиссеи* имя Гомера носятъ еще нѣсколько *гимновъ*, и эпическая пародія *Батрахоміомакхія* (*Βατραχόμομαχία*), Война мышей и лягушекъ (перев. Жуковскаго и Огинскаго). Гимны, т. е. посвятительныя молитвы различнымъ божествамъ, вѣроятно были сочинены поэтическими наслѣдниками Гомера, *гомеридами*, т. е. школой или обществомъ рапсодовъ, распространявшихъ пѣсни Гомера *. Гимны эти вѣроятно служили предпѣсіемъ большимъ эпическимъ рецитациямъ, и поэту сами носятъ характеръ эпикоміологическій **. Ба-

* По преданію, рапсоды *Иліады* ходили въ красной, а рапсоды *Одиссеи* въ фіолетовой мантияхъ.

** Всѣхъ гимновъ дошло до насъ тридцать четыре: пять большихъ (делійскому и пивическому Аполлону, Гермесу, Афродитѣ и Деметрѣ) и девятнадцать меньшихъ (Арею, Артемидѣ, Аеинѣ, Герѣ, матери боговъ, Геркулесу, Асклепію, Диоскурамъ, Пану, Зевсу, Посейдону, Гистіи, (Весѣ), Музамъ, Геліосу и пр.). Чрезъ

трахоміахія—холодная пародія на гомерическій эпосъ, поддѣлка александрійскаго періода. Кромѣ того, Гомеру приписываютъ *Эйризіону*, или пѣснь нищаго, названную такъ отъ вѣтки оливы, связанной въ вѣнокъ прядью шерсти, и *Керамисъ*, или пѣснь гончара, (называемую также: Каминось, печь); обѣ пѣсы сохранились вполне; совершенно потеряна поэма о *Кекропахъ*,—несносныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ забавныхъ гномахъ, которые, послѣ самыхъ разнообразныхъ проказъ, попадаютъ въ необорныя руки Алкида, далѣе—*Семь разъ стриженный козелъ* и *Дроздиная тѣсня*, названная такъ потому, что Гомеръ, всякій разъ какъ пѣлъ ее, будто-бы получалъ въ подарокъ отъ мальчиковъ сѣдоголовыхъ дроздовъ. Болѣе можетъ-быть слѣдуетъ жалѣть о потерѣ *Маргита*, поэмы, которую Аристотель, основываясь на общемъ мнѣніи грековъ, приписываетъ Гомеру и смотритъ на нее какъ на начало комедіи, тогда-какъ въ *Иліадѣ* и *Одиссеѣ* видятъ начало трагедіи. Изъ отрывковъ, приводимыхъ латинскими и греческими грамматиками и схолиастами, видно, что герой этой поэмы, Маргитъ, была личность въ высшей степени комическая. У древнихъ „Маргитъ“ сдѣлался нарицательнымъ именемъ для смѣшнаго дурака.

Въ связи съ гомерическими пѣснями стоитъ эпическій *циклъ* (*κύκλος*, кругъ пѣсень) особой школы поэтовъ, называемыхъ обыкновенно *цикликами*;—событія, легенды и дѣянія, упоминаемыя Гомеромъ только мимоходомъ,

вычайно важны для исторіи эллинской религіи гимнъ Деметръ, открытый въ началѣ нынѣшняго столѣтія нѣмецкимъ ученымъ Маттеи въ московской синодальной библіотекѣ. (Подробнѣе о большихъ гимнахъ см. Мунка: 8—12). Нѣкоторые гимны Гомера переведены Гнѣдичемъ.

циклъ этотъ развиваетъ въ большія эпическія поэмы, которыя какъ „звѣзды движутся вокругъ гомерическаго солнца“. Отъ этого солнца циклическіе пѣвцы заимствуютъ свой свѣтъ и пламень, и отъ него исходятъ безчисленные лучи, озаряющіе всю область эллинскаго героическаго сказанія. Рапсодика скоро сдѣлалась интегрирующей частью греческой народной жизни, и страстующіе рапсоды необходимо должны были пробудить у различныхъ племенъ естественное желаніе видѣть и своихъ мѣстныхъ героев „сопричастными свѣту героическаго пѣснопѣнія“. Желанію этому щедро удовлетворяли циклики, и такимъ образомъ, вмѣстѣ съ переработками и продолженіями эпизодовъ троянской саги (Кипрія, Телегонія, Эпионида, Малая *Иліада*, Паденіе *Иліона* и Носты) возникли большія эпопеи изъ другихъ сказаній, преимущественно изъ пѣсень о подвигѣ Геркулеса и о войнѣ аргивянъ противъ *Оивъ* (*Оиваида*, *Эпигоны*). Въ древности творенія цикликовъ служили неисчерпаемымъ рудникомъ сюжетовъ, какъ для греческихъ, такъ и для римскихъ поэтовъ (*Виргилій*, *Овидій*) и художниковъ; но для насъ эти творенія, за исключеніемъ немногихъ отрывковъ, совершенно затеряны, и нельзя въ точности опредѣлить даже число ихъ авторовъ. Всего чаще мы встрѣчаемъ у древнихъ имена *Эмела*, *Арктина*, *Лесха*, *Кармина*, *Пейсандра*, *Паніазиса*, *Креофила*, *Кинэона*, *Прадина*, *Дифила*, *Пивострата*, *Антимаха*, *Эпименида*, *Стазина*, *Аіаса*, *Эвгамона*, *Хэрила*, *Гелесія*. Но изъ ряда этихъ поэтовъ александрійскіе критики „классическими эпиками“ признаютъ только Пейсандра, Паніазиса, Антимаха и Эвгамона киренскаго. Послѣднему принадлежитъ „Телегонія“, эпилогъ *Одиссеи*, прологъ къ которой составляютъ *Nostoi* трезен-

ца Агіаса. Эвгамонъ начинаетъ свою эпопею погребеніемъ жениховъ, о которомъ заботятся родственники убитыхъ. Самъ Одиссей приноситъ жертву нимфамъ и отплываетъ, сначала въ Элиду посѣтить свои стада, потомъ, по повелѣнію Провидца, къ ееепротерамъ, и женится тамъ на царицѣ Каллидикѣ. Какъ царь ееепротеровъ, онъ воюетъ съ еракійскими бригами. Арей, національный богъ еракійцевъ, помогаетъ бригамамъ и обращаетъ дружину Одиссея въ бѣгство; но Аѳина попрежнему покровительствуетъ Одиссею, и при помощи Аполлона заключается миръ. По смерти Каллидики царство получаетъ Полипойтесъ, сынъ ея отъ Одиссея, а самъ Одиссей возвращается въ Итаку. Между-тѣмъ Каллипеа послала своего сына (отъ Одиссея-же) *Телегона* въ Итаку провѣдать отца. Выйдя на берегъ, онъ встрѣчаетъ Одиссея, и не узнавъ отца, убиваетъ его. Телегонъ, который узналъ потомъ ошибку, отвозитъ трупъ отца, Пенелопу и Телемаха къ матери, которая всѣхъ троихъ дѣлаетъ безсмертными, причемъ Телемахъ получаетъ въ супруги Киркею, а Телегонъ — Пенелопу! „Такъ заключается эпическій циклъ представленіемъ вѣчнаго блаженства“ *.

3. ДИДАКТИКА.

Иначе, чѣмъ подъ небомъ Іоніи, проявило себя искусство музъ въ бѳотійской школѣ пѣвцовъ, главою которой считается *Гезіодъ* аскрейскій (въ IX ст. до Р. X.).

* G. H. Bode: Geschichte der epischen Dichtkunst der Hellenen (съ многоч. переводами 1888). О циклинахъ сравн. Welker, „Der epische Cyclus (1835)“, Düntzer: „Homer und der Kyklos (1839)“.

Существованіе его баснословно не менѣ Гомерова, и приемы той критики, которой подверглись пѣсни гомерическія, въ полной мѣрѣ приложимы и къ пѣснямъ Гезіода. Гезіоду приписываютъ три большихъ поэмы: Труды и дни, Теогонію и Щитъ Гераклеса (Геркулеса).

1. *Труды и дни* (ἐργα καὶ ἡμέραι) — главное произведеніе Гезіода, — имѣетъ въ виду цѣль чисто индивидуальную. Братъ Гезіода, Персей, оттягаль у него наслѣдство, доставшееся имъ обоимъ, и очень скоро промоталъ его. Цѣль Гезіода — изображеніемъ домашнего благосостоянія, пріобрѣтеннаго правильною дѣятельностію, побудить своего блуднаго брата къ трудолюбію и бережливости, и научить его лучшему употребленію даровъ, щедро предлагаемыхъ матерью природой. Какъ эта мысль проведена въ поэмѣ, намъ покажетъ небольшой очеркъ ея содержанія. Послѣ проэмія къ Зевсу, „которому легко унижать гордыхъ и превозносить смиренныхъ“, поэтъ учитъ своего брата, что есть два рода спора: одинъ гнусный и ненавистный, — споръ передъ судомъ, и другой благородный, — соревнованіе въ трудолюбіи. „Избѣгай перваго и не пытайся во второй разъ посягать на добро мое подкупомъ судей; думай лучше о честномъ пріобрѣтеніи... Князья похожи на коршуна, который разрываетъ своими острыми когтями сладкопоющаго соловья, и на его жалобные стоны кричить одно, что онъ-де сильнѣйшій. Только тотъ городъ и процвѣтаетъ въ мирѣ и благоденствіи, гдѣ справедливость находитъ и чужеземецъ и гражданинъ; но гдѣ князья, насильственно присвоившіе себѣ власть, кривятъ правосудіемъ, подкупленные подарками истца, туда Кроніонъ посылаетъ бичей земли, моръ и голодъ; народъ гибнетъ, женщины перестаютъ рожать, война терзаетъ городъ и

деревню, корабли тонуть въ морѣ. Безчисленные сонмы безсмертныхъ существъ (*δαίμονες*), святыхъ служителей Зевса, носятся надъ землею, облеченные божественнымъ туманомъ, и смотрятъ на дѣянія людей: правосудіе и добро творятъ они, или беззаконіе и зло. Тогда народъ страдаетъ за грѣхи царей своихъ. Только звѣри употребляютъ другъ съ другомъ право сильнаго, а людямъ божество дало правосудіе, благороднѣйшее изъ всѣхъ благъ. Легко ты, мой Персей, кучами можешь приобрѣтать себѣ зло, потому-что дорога къ нему коротка, и оно живетъ отъ тебя не подалеку. А въ удѣлъ труда боги безсмертные дали потъ; круто сначала извивается стезя добродѣтели, но если ты взойдешь повыше, она становится легка и удобна. Трудъ пріятенъ богамъ; нечего его стыдиться.... Во второй части поэтъ учитъ брата, какія работы приличны каждому времени года, даетъ ему наставленія на разные случаи обыденной жизни, и совѣты какъ держать себя съ женой, дѣтьми, сосѣдами, слугами и гостями. Последняя часть поэмы содержитъ суевѣрное ученіе о добрыхъ и злыхъ дняхъ, въ которые должна и не должна начинаться и производиться та или другая работа.—Изъ этого очерка видно, что поэма, которая въ дошедшемъ до насъ видѣ состоитъ изъ 828 иксаметровъ, — распадается на двѣ части: первая—смѣсь нравственныхъ изрѣченій, житейской мудрости и эпическихъ эпизодовъ (миѳъ о Прометѣ стр. 42—105, сказаніе объ извращеніи рода человѣческаго 108—203); а вторая—дидактическій эпосъ, домострой эллинской жизни, мотивъ котораго тотъ, что трудъ и даваемое имъ вознагражденіе составляютъ истинное назначеніе человѣческаго бытія. Мрачные тоны, которые часто прорываются въ этой поэмѣ, свидѣтель-

ствуютъ о томъ, что въ эпоху Гезіода прошелъ, и уже невозвратно, золотой вѣкъ, безпечное отрочество человечества, и наступилъ вѣкъ желѣзный, тяжелыя времена многотрудной возмужалости.

2) *Θεογονία* (*Θεογενία*). есть изображеніе борьбы молодого поколѣнія боговъ съ старымъ. Значеніе этой поэмы состоитъ въ томъ, что авторъ ея пытается прояснить космогоническія и космогоническія преданія орфическаго періода и дать міеологіи художественную организацію. Предметъ этой поэмы былъ слишкомъ поэтиченъ, и *Θεογονія* не могла быть бѣдна величавыми эпизодами и блестящими картинами,—но нечего и ждать отъ нея чисто-эпической поэзіи, гомерически наивнаго взгляда на вещи и объективированія отвлеченныхъ понятій. Размышленіе, преднамеренность заявляютъ о себѣ то тихо, то громко, и оттого выходитъ то смѣшеніе эпической поэзіи съ дидактической, которое такъ рѣзко обозначилось въ главномъ твореніи Гезіода, „Труды и дни“, но еще робко, и почти незамѣтно проглядываетъ въ эпико-миѳической *Θεογονіи*, сложившейся по всему вѣроятію изъ старыхъ гимновъ бѳотійскаго культа.—Прозѳіонъ этой поэмы—высоколирическій гимнъ во славу рожденія музъ. За введеніемъ слѣдуетъ (ст. 116—452) космогоническая часть, гдѣ въ психическихъ миѳахъ объясняется образованіе міра (космогонія). На эту часть поэмы слѣдуетъ смотрѣть, какъ на предвѣстие натуральной философіи *. Съ 452 стиха начинается собственно

* G. Herrman и F. Creuzer: Briefe über Homer und Hesiod (1818). Говоря о Гезіодѣ, мы постоянно руководствовались взглядомъ одного изъ замѣчательнѣйшихъ нѣмецкихъ міеологовъ, Готтфрида Германна, гезіодическая критика котораго безспорно можетъ стать на ряду съ гомерическими Прологоменами Вольфа. Кромѣ того укажемъ на Фр Тирша (Fr. Thiersch, über Hesiod, 1713), изъ книги котораго мы заимствовали предлагаемый нашимъ читателемъ очеркъ «Θεογονіи».

Θεογονία и генеалогія боговъ; а съ 962 ст. до конца (ст. 1022) слѣдуетъ героогонія, т. е. генеалогія дѣтей, рожденныхъ отъ Зевса и смертныхъ женщинъ и богинями отъ смертныхъ мужчинъ. Поэтический центръ, благодаря которому вся Θεογονія дѣлается достойною названія эпоса, — составляетъ „бой боговъ и людей“. Сначала бой боговъ съ людьми, интересы которыхъ защищаетъ Прометей, а потомъ съ землерожденными титанами и гигантами, которые надѣются сломить силу силой. Затѣмъ, когда правительственные отношенія неба къ землѣ установились, повидимому, прочно, — является прологъ этихъ боевъ, послѣднее нападеніе на Зевса, — мятежь тартара; но и его гнусное отродье, стоглавый Тееей, падаетъ подъ ударомъ далекоразящаго перуна царя боговъ и ввергается на вѣки въ кромѣшную тьму тартара. Эти три боя суть существенныя части греческой Θεογονіи, которую настоящій Гезіодъ быть-можетъ изобразилъ съ меньшими подробностями въ частностяхъ, какими такъ изобилуетъ дошедшій до насъ текстъ, очевидно не одинъ разъ преобразованный интерполяціями и переработкой. Древнѣйшій изъ космогоническихъ мифовъ есть побѣда Кроноса надъ отцомъ Ураномъ. Сначала былъ хаосъ, потомъ явились всепитающая мать-земля, Гея, и мрачное подземное пространство—Тартаръ, отецъ вѣтровъ, хаосъ произвелъ Эреба (мракъ) и Никсу (ночь); отъ соединенія мрака съ ночью родился свѣтъ, ээиръ, Гемера (день). Гея родила звѣздное небо (Уранось), горы, море (Понтось) и потомъ могучее племя титановъ, младшій изъ которыхъ былъ кознодѣй Кронось. Далѣе плодovitая мать-земля отъ совокупленія съ сыномъ — Небомъ, родила гордыхъ циклоповъ и сторукихъ исполиновъ (Коттось, Вріарей, Гигесь). Но больше

Уранъ не выпускаетъ дѣтей изъ чрева матери Геи, и она, страдая, изобрѣтаетъ желѣзо, готовитъ серпъ и предлагаетъ дѣтямъ-титанамъ извести своего отца. Вызывается младшій изъ уранидовъ—Кронось. Ночью Кронось осконилъ своего отца серпомъ, изготовленнымъ матерью. Изъ крови Урановой образовались гиганты, эринны и нимфы, а изъ тѣла его, упавшаго въ море, родилась Афродита. *Физическій порядокъ* установленъ. Слѣдуетъ исторія младшаго поколѣнія боговъ,—кронидовъ. Рея родила отъ Кроноса Геспію, Деметру (по-латини Цецера) и Геру (лат. Юнона), Аида и Посейдона. Кронось, боясь, чтобъ его дѣти не сдѣлали съ нимъ того же, что онъ сдѣлалъ съ своимъ отцомъ, сѣдаетъ ихъ. Но когда родился Зевсъ, Рея прячетъ его на островѣ Критѣ, а Кроносу даетъ проглотить камень. Выросши, Зевсъ побѣждаетъ отца, и овладѣвъ перуномъ власти надъ богами и людьми, становится единовластителемъ міра. *Разумъ беретъ верхъ надъ природой*. Древнѣйшій изъ θεογονическихъ мифовъ есть побѣда Зевса надъ людьми и казнь Прометея. Далѣе слѣдуютъ эпизоды изъ жизни боговъ-кронидовъ и героогонія. Въ этой части, чрезвычайно высоко цѣнямой у древнихъ грековъ, поэтъ даетъ родословныя знаменитѣйшихъ дворянскихъ домовъ Вэотіи и Θεσσαλίи.

Какой-то позднѣйшій стихотворецъ (какъ полагаетъ Аристофанъ) придѣлалъ къ героогоніи нѣчто въ родѣ введенія, трактующаго о чудесномъ *щитѣ Геракла* (ἀσπίς Ἡρακλέους). Наконецъ нѣкоторыми грамматиками приписываются Гезіоду «*Свадьба Коикса* (Καὶξ), «*Сочетаніе въ адѣ Тезей*», и «*Свадебная тѣнь на бракъ Пелея и Θетиды*». Языкъ Гезіода—легкое іоническое нарѣчіе. Изложеніе его безспорно исполнено предсти, но гезіоди-

ческой пѣсни все-таки недостаетъ божественнаго простодушія и ясности гомерическихъ пѣсней. Кромѣ-того, къ циклу гизіодическо-бэотійскихъ пѣсней принадлежатъ: „Меламподія“ (поэма о врачѣ-кудесникѣ Мелампѣ, но въ дошедшихъ до насъ отрывкахъ болѣе говорится о Тэйре-зіи, Калхасѣ и др. прорицателяхъ, чѣмъ объ немъ), — „Эгиміосъ“ (эп. поэма о борьбѣ дорянъ съ лапидами) и „Астрономическій эпосъ“ *.

Такимъ-образомъ творенія Гезіода составляютъ переходъ отъ эпической поэзіи къ дидактической. Героическую дидактику дѣлятъ обыкновенно на гномическую, философскую и научную. *Гномы* (*Γόμμαι*) — коротенькія житейскія правила (максимы), приписываются такъ-называемымъ семи мудрецамъ греческимъ; впоследствии знаменитый аѳинянинъ *Солонъ* (594 до Р. Х.), *Феофрастъ* изъ Мегары (547 до Р. Х.) и *Фокилидъ* (540 до Р. Х.) изъ Милета, строгій и честный демократъ, — образовали изъ нихъ гномическую элегію. Къ гномикѣ-же слѣдуетъ причислить и *Золотія изреченія* (*Χρυσὰ ῥήματα*) *Пифагора*, которыя однако принадлежатъ не этому знаменитому философу, а одному изъ позднѣйшихъ пифагорейцевъ. Въ пифагорейской и элеатической ** философскихъ школахъ процвѣтала философская дидактика, въ которой особенно отличались *Ксенофанъ*

* Самое доступное въ Россіи греческое изданіе Гезіода — „Hesiodi Carmina“ (неполное) въ коллекціи греч. и лат. классиковъ Таухинца (10 к.). — Лучшие нѣмецкіе переводы *Фосса* (1851) и *В. В. Пауманна* (1827). — Русский переводъ: „Творенія Гезіода Аскрейскаго. Перев. съ греческаго А. Опинскій. Петербургъ, 1830.

** Основателемъ этой знаменитой школы былъ *Ксенофанъ*; названіе свое она получила отъ фокейской колоніи въ Іоніи, Элеа, превращенной потомъ римскимъ произволеніемъ въ Velia.

колофонскій (527 до Р. Х. Эпическая поэма объ основаніи и разрушеніи Колофона; философская поэма о природѣ; элегическіе отрывки). *Парменидъ* изъ Элеи (460 до Р. Х.) и *Эмпедоклъ* агригентскій (471—411 до Р. Х.); впрочемъ, творенія ихъ погибли, исключая нѣсколькихъ отрывковъ. Собственно-же специальная дидактика, занимавшая какой-нибудь отдѣльной отраслью знанія, образовалась вполнѣ только въ александрійскую эпоху: въ это время *Аратъ*, изъ Киликійскихъ Соли (ок. 279 до Р. Х.) написалъ астрономическую дидактическую поэму „*φαινόμενα καὶ διοτρεῖα*“ (явленія звѣзды и признаки погоды“, написана для македонскаго царя Антигона Гоната), пользовавшуюся большимъ почетомъ у римлянъ; кромѣ того — *Никандръ* колофонскій, *Эрастогенъ* киренскій, *Маневонъ* діосполискій и др. написали дидактическія поэмы по предметамъ медицины, астрологіи и географіи.

Одну изъ самыхъ важныхъ отраслей поучительной поэзіи составляла эзопическая басня. Еще не довольно изслѣдовано, на сколько находится во взаимной связи басня эллиновъ (*ἡπόλορος ἀνός*) съ баснословіемъ древняго востока; впрочемъ, можетъ-быть даже этой связи и не было, для насъ все равно. Древнѣйшіе поэты, какъ Гомеръ и Гезіодъ, уже употребляли форму басни *, и поэтому на нее можно смотрѣть, какъ на туземное произрастеніе греческой почвы. Если вѣрить преданію, басня обязана своимъ развитіемъ фригійскому уроженцу, рабу *Эзопу*, который, по Геродоту, жилъ около середины VI столѣтія до Р. Х. Въ древности Эзопъ былъ типомъ добродушнаго лукавства и плутовской морали; имя его

* Древнѣйшей греческой басней (по Квинтиліану) считается Эпизодъ „о Соловѣ и Керануѣ“ съ Гезіодовой поэмѣ „Труды и дни“.

сдѣлалось въ послѣдствіи какъ-бы нарицательнымъ именемъ для баснописанія. Басни его долго передавались изустно. По одному мѣсту въ Платоновомъ Федонѣ можно заключить, что басни эти явились сначала въ прозѣ; тамъ разсказывается, что „Сократъ, въ послѣдніе дни своей жизни, многія изъ нихъ переложилъ въ метрическую форму“. Примѣру Сократа послѣдовали и другіе, такъ-что въ 300 г. до Р. Х. Дмитрій фалерейскій могъ уже составить сборникъ эзопическихъ басенъ. Во времена императора Августа *Бибріасъ* сдѣлалъ еще больший сборникъ этихъ басенъ, обработавъ ихъ холіамбическими стихами. Съ той поры Эзопъ подвергался безчисленнымъ переработкамъ въ стихахъ и прозѣ; басни его съ незапамятныхъ временъ стали достояніемъ школы *.

Сатирическое направленіе, очень рано проявившееся въ греческой поэзіи, тоже можно отнести къ дидактикѣ. Стихотворной формой сатиры былъ *Ямбъ* (отъ *ἵαμι* бросать, кидать), названный такъ потому, что посредствомъ него какъ-будто кидали укоръ или насмѣшку въ извѣстное лицо. Насмѣшливость была отличительной чертой характера веселыхъ грековъ, такъ-что даже въ культѣ ихъ были остроумно-насмѣшливые обряды и саркастическіе праздники. Что стихотворное посмѣяніе человѣческихъ пороковъ, слабостей и смѣшныхъ сторонъ идетъ издавна, видно ужъ изъ того, что изображеніе ямба относятъ къ временамъ мнѣологическимъ: прислужница Деметры, по имени Ямба, старалась разными шу-

* Подлинники: «Aesopicae fabuli», «Babrii fabulae» въ Таухниц. изд. — На русскомъ языкѣ намъ извѣстны два перевода съ французскихъ передѣлокъ для дѣтей: «Басни Эзопа» съ правоученіями и примѣчаніями, Р. А. Стража, 1810, и переводъ Эзоповыхъ басенъ Жумеля (1850).

точками и дурачествами разсѣять скорбь богини о ея похищенной дочери Персефонѣ. Ямбъ находился къ эпосу въ такомъ-же отношеніи, какъ комедія къ трагедіи: въ то время какъ эпосъ имѣетъ своимъ предметомъ великое событіе прошлаго, и разсказывая о трагической судьбѣ древняго героя, заставляетъ любить и уважать его, — ямбъ рисуетъ картину повседневной жизни настоящаго, клеймитъ пороки и подлость героевъ своего времени и заставляетъ ихъ презирать и ненавидѣть *. Форма ямба тоже отвѣчала этому внутреннему различію: вмѣсто покойнаго, такъ-сказать сановитаго размѣра икзаметра, здѣсь является живой, бойкій трехстопный ямбъ, почти совершенно подходящий къ складу обыкновенной рѣчи. — Древніе говорятъ, что этотъ родъ стихотвереній явился впервые у *Архилоха* паросскаго (около 660 г. до Р. Х.); этотъ высокочаровитый поэтъ, кромѣ того, былъ замѣчательный баснописецъ и лирикъ; по гению и популярности, древніе ставили его близко къ Гомеру (Муза дала ему ямбъ, чтобы онъ не превзошелъ въ эпосѣ Гомера). Какое странное дѣйствіе производили его злобныя сатиры, указываетъ преданіе о *Ликамбѣ*: когда Ликамбъ, общавшій Архилоху свою дочь Необулу, выдалъ ее за другаго, оскорбленный поэтъ написалъ пѣсню, въ которой такъ опозорилъ Ликамба, что все его семейство повѣсилось **. Изъ стихотвореній его до насъ дошли незначительныя отрывки. Второй замѣчательный сатирикъ былъ *Симонидъ* аморгинецъ, называемый обыкновенно

* Въ такомъ смыслѣ Огюсть Барбье далъ названіе «Ямбовъ» (Les Jambes) сборнику своихъ сатиръ.

** Ярость вооружила ямба Архилоха: «Archilochum propriis rabies armavit Jambo» (Horat. Ars poet.) Книги Архилоха были запрещены въ Спартѣ, какъ «вредныя для нравственности и сердца юношей» (Val. Max. lib. 6).

новенно ямбографомъ, для различія отъ своего извѣстнаго тезки, Симоида кеосскаго. Это былъ строгій порицатель женщинъ; ему приписывается дошедшій до насъ сатирический фрагментъ „о женщинахъ“, гдѣ поэтъ, пародируя древніе мѣны, чрезвычайно характерично воссѣваетъ сотвореніе женщинъ изъ свиньи, лисицы, собаки, земли, моря, осла, кошки, лошади, обезьяны. Всѣ девять никуда не годятся; зато десятая, сотворенная изъ пчелы — „самая лучшая и благоразумнѣйшая жена, какой только можетъ Зевсъ осчастливить мужа. Но вообще богъ ничего не могъ выдумать хуже женщины, — какъ-бы она хороша ни казалась: женись и увидишь, какое положилъ на себя ярмо“... Третій изъ тріады „комическихъ ямбографовъ“, какъ называетъ ихъ строгій Аристархъ, *Гиппонаксъ* эфесскій (540 до Р. X.), рядомъ съ которымъ ставятъ обыкновенно *Ананіоса*. Гиппонаксъ отличался ѣдкостью сатиры и считается первымъ изобрѣтателемъ такъ-называемаго хромого ямба (хольамбось или сказонъ). Изъ произведеній его до насъ почти ничего не дошло. Вѣроятно, онъ былъ такимъ-же ненавистникомъ женщинъ, какъ и Симоидъ; по-крайней-мѣрѣ мы знаемъ два стиха Гиппонакса, которые даютъ мѣсто такому предположенію: „жена даетъ мужу два счастливыхъ дня: когда къ ней сватаются, и когда ее мертвую выносятъ изъ дому“. Впрочемъ мизогинія была въ духѣ того времени. Гиппонаксъ-же былъ по-видимому изобрѣтателемъ эпической пародіи, выставившей съ смѣшной стороны героическій міръ Гомера. Но еще болѣе пародическій элементъ былъ расширенъ въ Силлахъ (*σῖλλοι*), которыя, хотя и направлялись собственно противъ гномической мудрости, но главнымъ предметомъ своей насмѣшки дѣлали гомерическую міеологію. До насъ

дошли имена слѣдующихъ пародистовъ и силлографовъ: *Гомеонъ*, *Гиппесъ*, *Мармонъ*, *Эбэзъ*, *Бэотосъ*, *Сопатръ*, *Пирресъ*, которому нѣкоторые критики приписываютъ „Батрахомімахію“, *Ксенофонъ* колофонскій и *Тимонъ* фліосскій *.

4. ЛИРИКА **.

Этотъ родъ поэзіи получилъ свое названіе отъ лиры (*λύρα*), т. е. отъ пѣсенъ, аккомпанировавшихся на лирѣ. Понятіе о лирикѣ должно находиться въ неразрывной связи съ музыкой, и если ужъ музыкальный речитативъ (рецитация) составляетъ такую существенную принадлежность эллинскаго эпоса, то тѣмъ болѣе мы должны представлять себѣ лирику совершенно пѣтою, не писанною для глаза, а рассчитанною на ухо внимательнаго кружка слушателей. Такимъ-образомъ и лирическіе рѣмы, которыя теперь такъ мертвы на бумагѣ, имѣли тогда совершенно иное значеніе, и кто только съумѣетъ мысленно приложить музыку къ этимъ строфамъ, тотъ можетъ составить себѣ понятіе о силѣ и прелести лирическаго размѣра древнихъ. На необыкновенную воспріимчивость грековъ къ музыкѣ указываютъ мѣны объ игрѣ на лирѣ Амфіона и Орфея; позднѣйшія сказанія и вымыслы тоже показываютъ, въ какой высокой чести были лица, свѣдующія въ игрѣ на лирѣ, или что одно и то-же, искусники въ пѣніи, т. е. лирикѣ. Поэтому

* О ямбографахъ *Babrius und die älteren Jambendoehter*, Гар-тунга, текстъ, переводъ и примѣчанія, 1855.

** J. A. Hartung: „Die Lyriker“, оригиналъ, метрический переводъ и примѣчанія, 6 т. 1855—57. — G. H. Vode: „Gesch. der lyrischen Dichtkunst bis auf Alexander d. Gr.“ 2 части (1839).

необыкновенное процвѣтаніе греческой лирики объясняется легко. Но къ сожалѣнію, отъ нея за исключеніемъ пандарическихъ гимновъ до насъ дошли только немногіе, драгоценные остатки. Какъ выработалась лирика изъ эпики, всего яснѣе видно на *элегіи* *. Къ возвышенному икзаметру эпоса присоединился здѣсь мягкій пентаметръ. О происхожденіи слова „Элегія“ въ ходу много мнѣній, но кажется нѣтъ сомнѣнія, что первоначально имъ обозначалось „печальное пѣніе“. Впрочемъ у древнихъ элегія имѣла болѣе обширное значеніе, чѣмъ элегія въ нашемъ смыслѣ, гдѣ она сдѣлалась стереотипной формой жалобы, скорби и тоски. У древнихъ было нѣсколько различныхъ родовъ элегической поэзіи; а именно: 1) Политико-воинская элегія: главные представители ея: — *Каллиносъ* эфесскій (ок. 710 до Р. X.) и *Тиртей* аттический (около 684 до Р. X.); перев. Мерзлякова; 2) Гномическая элегія: ей проложилъ дорогу *Солонъ*, а впоследствии развили — *Эвекосъ*, паросскій, *Теонисъ* мегарскій (550 до Р. X.) и *Критіасъ* аонскій; 3) Эротическая элегія, введенная *Мимнермосомъ* (569 до Р. X.), распространенная *Филетасомъ*

* Объ элегіи и элегикахъ сравн. Conrad Schneider: „Über das elegische Gedicht bei den Griechen“, въ IV томѣ „эзюдовъ (Studien)“ Дауба и Крейцера; W. Herzberg: „Der Begriff der antiken Elegie in seiner historischen entwicklung“, въ литературно-историческомъ альманахѣ Пруца, 1845. (Богатая антологія переводовъ). Franz Passow: „Denkmale der hellenischen Elegie“, въ журналѣ „Лантеонъ“, изд. Бюшингомъ и Каннегисеромъ, ч. II, тетр. I. 1810 (со множествомъ превосходныхъ переводовъ). Полный переводъ элегиковъ W. E. Weber „Die elegischen Dichter der Hellenen übers. und erläut“ (1826); новѣйшій переводъ: J. A. Harlung: „Die Elegiker“. Griechisch und deutsch. 2 части, 1859. Это въ высшій степени добросовѣстное изданіе мы особенно рекомендуемъ читателямъ.

сомъ косскимъ, *Гермесіанаксомъ* колофонскимъ, *Фаноклесомъ*, *Каллимахомъ* и поэтессой *Миро* или *Миро*; 4) Печальная элегія (тренодія), созданная имбографомъ *Архилохомъ*, доведенная до высшей степени развитія *Симонидомъ* кеосскимъ (род. 556 до Р. X.), наконецъ 5) Симпозитическая элегія, пѣтая въ прославленіе радостей пира и вина *Архилохомъ*, *Анакреономъ*, *Теонисомъ*, *Іономъ*, *Діонисіемъ* и другими. Рецитация элегической пѣсни аккомпанировалась игрой на флейтѣ.

По своему субъективному характеру лирика не долго могла довольствоваться элегической формой, и чѣмъ богаче мелодіями становилась музыка, всегда ее сопровождавшая, тѣмъ разнообразнѣе дѣлались лирическіе ритмы и строфы. Отчизной лирики были преимущественно поселенія и колоніи эолянъ и дорянъ; поэтому-то и языкомъ ея постоянно были діалекты эолическій и дорическій. Собственно лирика подраздѣлялась на слѣдующіе стили.

а) Лесвійско-киѳародическій * (эоло-мелійскій) стиль, вышедшій изъ Бэотіи и потомъ усвоенный на Лесбосѣ. Но и по формѣ, и по содержанію усовершенствовалъ лирику и музыку *Терпандръ* (676 — 645?), про котораго даже сложилось преданіе, что онъ нашелъ было утраченную лиру Орфея, одушевлявшую камни. Онъ изобрѣлъ семиструнную киѳару, вмѣсто употреблявшейся до него тетрахорды, и былъ основателемъ лесбійской школы пѣвцовъ. Изобрѣтенія Терпандра были усовершенствованы Алкеемъ, Сафо и Эринной. Особенно замѣчательны своими пѣснями за свободу ненавистникъ

* Киѳародическимъ называлось пѣніе (лирика) подъ аккомпанементъ киѳары (гитары), а авлодическимъ сопровождавшееся игрой на флейтѣ.

деспотіи *Алкей* изъ Митилены (611 до Р. Х.). Оды Алкея имѣють самое разнообразное содержаніе. Однѣ гремятъ противъ тирановъ отечества, другія рассказы-ваютъ о крушеніяхъ поэта „на бурномъ морѣ его жизни“, третьи поють вино, красоту и любовь. Алкею много подражалъ Гораций, называя его пѣвцомъ гибели морской.

И бѣгства злыхъ трудовъ и бѣдствія сраженій.
(Кн. II. Од. (XIII)).

Но когда буря жизни стихала,—онъ бралъ свою золо-
тую лиру,

«И у прибрежныхъ волнь
«Онъ съ нею забывалъ доспѣхи и пучину,
«Привязывая чолнь».
Въ честь музъ звучалъ его хвалебный «голосъ»,
«Венеру славилъ онъ, и мальчика при ней,
«И Лика, юноши красавца, черный волосъ
«И черныхъ блескъ очей». (Кн. I, Од. XXII).

Изъ десяти книгъ поэмъ, гимновъ, одъ, военныхъ, эротическихъ, застольныхъ и др. пѣсень, до насъ дошли очень немногіе отрывки *. Но знаменитѣйшимъ изъ лириковъ была поэтесса *Сафо*, соотечественница Алкея (610 до Р. X.). Преданіе говоритъ, что Сафо любила прекраснаго юношу Фаона, и когда тотъ ее оставилъ, она бросилась съ Левкадскаго-утеса. Древніе называли ее „лесбійскимъ соловьемъ“, „десятой музой“, выбили въ честь ея монету, поставили статую въ сиракузскомъ пританей,—образцовое произведеніе Силаніона. Сафо написала 9 книгъ одъ, брачныхъ пѣсень, гимновъ, эпи-

* Русский переводъ изъ Алкея, Всеv. Крестовскаго, въ «Русскомъ Словѣ».

граммъ, сколій и проч., но до насъ сохранились только двѣ оды: α) ἐν Ἀφροδίτῃ — β) πρὸς γυναικα ἐπαινεῖν и 4 небольшихъ отрывка * Алкей былъ творцомъ алкейческаго, Сафо — сафическаго размѣра оды. Кажется Сафо основала женскую школу для пѣнія, и можетъ-быть изъ этой-то школы вышли другія поэтессы этого періода: Эринна, Миртида, Коринна, Телезилла, Праксилла, Миро, Носсиди и Анита. *Эринна* (596 до Р. Х.) была, послѣ Сафо, замѣчательнѣйшая поэтесса древности. Несмотря на всю молодость — (она умерла двадцати лѣтъ), несмотря на то, что мать морила ее за прялкой и тканіемъ, такъ-что прелесть жизни она вкусила только въ фантазіи — Эринна пользовалась такой высокой славой, что древніе сравнивали ее съ Гомеромъ и ставили на ряду съ Сафо. Позднѣйшій эниграмматикъ называлъ ее пчелой (Мелисса). Эринна написала на эолическомъ нарѣчій большую икзаметрическую поэму „Веретено“. Поэма эта до насъ недошла, но въ одной древней антологіи сохранилось нѣсколько эниграммъ и одъ этой поэтессы. Эриннѣ приписывали знаменитую оду Ἐἰς ῥώμην; но если она относится къ „Риму“, то никакъ не можетъ принадлежать современницѣ Сафо. Другіе думаютъ, что слово „рома“ равнозначительно „мужественной силѣ“, которую поэтесса олицетворяетъ въ образѣ златовѣчанной дочери Ареса, воинискусной богини судьбы; впрочемъ, нѣмцы, кажется, какъ-то докопались, что ода эта принадлежитъ „достойной Эринны“ поэтессѣ *Мелино*, жившей въ началѣ II стол. до Р. Х. — *Миртида* изъ Антедона въ Беотіи считается ученицей Пиндара и Ко-

* Переводы: Державина, Щербины, Майкова. О Сафо и Эрринѣ сравн. F. W. Richter: «Sappho und Erinna nach ihrem Leben etc. 1833).

ринны; отъ стихотвореній ея не осталось ровно ничего. *Коринна*, дочь Архелодона изъ Фивъ, одна изъ знаменитѣйшихъ красавицъ своего времени, пять разъ побѣждала Пиндара на поэтическомъ состязаніи въ Пифіи. Изъ пяти книгъ ея стихотвореній до насъ дошли только отрывки поэмъ „Іолаоса“, „Семи противъ Фивъ“, нѣсколькихъ лирическихъ „номъ“ (хвалебныхъ пѣсней), пароеній и эпиграммъ. *Терезилла* изъ Аргоса, была историческая женщина; по Геродоту, она раздула пламя войны между аргивянами и спартамцами. Родной городъ поставилъ ей статую и учредилъ въ честь ея праздники, на которые жены аргивскія должны были являться въ мужскихъ костюмахъ. Какъ поэтессу, древніе сравниваютъ ее съ Тиртеемъ и Алкеемъ. Отъ стихотвореній ея сохранился небольшой отрывокъ. *Праксила* изъ Сикиона писала диопрамбы, изъ которыхъ особенно уважался древними „Ахиллесъ“. Къ этой-же школѣ принадлежитъ и метиленецъ *Аріонъ* (625 до Р. X.), изобрѣтатель „диопрамба“, т. е. вакхической пѣсни. До насъ дошелъ небольшой, но прекрасный отрывокъ изъ его гимна къ Посейдону. Но славнѣйшимъ поэтомъ либійской школы былъ *Анакреонъ* изъ Теоса (559—474 до Р. X.), пѣвецъ розъ, любви и вина. Характеръ „старого забавника“, какъ называли его древніе, весь отражается въ его пѣсняхъ: „Даромъ что я старикъ, а готовъ пить на споръ съ любимъ юношей; да и попляшу еще, если придется“. ...„Дѣвушки говорятъ мнѣ: Анакреонъ, а вѣдь ты старикъ! посмотри-ка на себя въ зеркало: какъ у тебя волосъ-то мало: лобъ совсѣмъ голый!!—Очень мнѣ нужно знать, есть у меня кудри или нѣтъ; я одно знаю, что чѣмъ ближе къ гробу, тѣмъ больше слѣдуетъ старику веселиться и шутить“. Многія пѣсенки выражаютъ лю-

бовъ „тисскаго старца“ къ прекрасному отроку Ватиллу. Въ одномъ изъ самыхъ граціозныхъ своихъ стихотвореній, Анакреонъ заказываетъ художнику портретъ своего возлюбленнаго. „Напиши мнѣ Ватилла такъ, чтобъ у него были черные волосы, съ золотистымъ отливомъ на концѣ; черные глаза выражали-бы и скромность и свирѣпость, наводили-бы страхъ и ласкали надеждой; чтобъ пушистыя щеки отгѣнялись пѣжнымъ румянцемъ, пунцовыя губки направились-бы на поцѣлуй“... Кромѣ Ватилла поэтъ любилъ Мегиста, Смердеса и Клеовула... Застольныя пѣсни Анакреона дышатъ самой искренней веселостью, тѣмъ милымъ легкомысліемъ, которое могло удался только подъ яснымъ небомъ Іоніи и греческихъ острововъ. Въ одной пѣсенкѣ поэтъ, напримѣръ, предобродушно доказываетъ, что пить вино — есть непремѣнный законъ природы. „Пьетъ вѣдь черная земля, а ее деревья пьютъ, море пьетъ потоки, солнце — море, а солнце — луна. Эхъ, друзья, что-жъ вы меня-то журите за то, что и мнѣ пить хочется“. Но лучшая, по нашему мнѣнію, пѣснь Анакреона — его небольшая ода къ цикадѣ (*Eis tettynz*).

Извѣстно, что „тисскій“ *bon-vivant* имѣлъ безчисленное множество подражателей въ старое и новое время. У древнихъ было пять книгъ анакреоновыхъ пѣсней, но онѣ потеряны; что дошло до насъ подъ его именемъ, тѣмъ обязаны мы писателю X вѣка по Р. X., Константину Кефалѣ, который помѣстилъ въ своей „Антологіи“ около 60-ти анакреоновскихъ и анакреонтическихъ пѣсней*. Рѣзкую противоположность съ анакреонтическимъ легкомысліемъ представляетъ выдержанная серьезность:

* Объ Анакреонѣ: F. W. Richter: *Anakreon nach seinem Leben beschrieben und in seinen poet. Ueberresten nebst deren Na-*

б) Дорійско-хорической лирики. Представителями этого стиля были: Алкманъ, Стезихоръ, Ибикосъ, Симонидъ, Лазосъ, Бакхилидъ и наконецъ Пиндаръ: *Алкманъ* (670 до Р. Х.), уроженецъ сардесскій и гражданинъ Спарты, написалъ на дорическомъ діалектѣ 9 книгъ пѣсень, изъ которыхъ до насъ дошли крайне скудные отрывки. Древніе звали его отцомъ эротической пѣсни. Стезихоръ (собственно Тезій) изъ Гимеры въ Сициліи (640—560) усовершенствовалъ дорическую лирику и раздѣлилъ ее на строфу, антистрофу и эподъ. Стезихоръ ближе всѣхъ лириковъ стоитъ къ эпосу. Квинтиліанъ говоритъ объ немъ: „Стезихоръ воспѣваетъ величайшія войны, знаменитѣйшихъ вождей и на лирѣ выносить всю тяжесть эпоса (maxima bella et clarissimos sapientem duces, et epici carminis onera lyra sustinentem. Lib. 10. с. 1.). Къ нему примыкаетъ *Ибикосъ* изъ Регіона, жившій около 550 г. при дворѣ Поликрата, счастливаго тирана самоссакаго. Трагическая смерть странствующаго поэта дала сюжетъ извѣстной балладѣ Шиллера — Ивиковы журавли. Что Стезихоръ сдѣлалъ для мнѳологической лирики, то Ибикосъ для эротической. Изъ эротическихъ пѣсень его замѣчательны „гимны мальчикамъ“, и особенно тотъ гимнъ, гдѣ описывается похищеніе Ганимеда. *Симонидъ* изъ Кеоса (559—469) былъ одинъ

schahmungen übers. und erkl. 1834. Русскихъ переводовъ много; Анакреона начали переводить, или лучше сказать, переименовывать, Ломоносовъ и Державинъ; полные переводы: *Мартынова*, старинный, и *Баженова* (Пѣсни Анакреона въ переводѣ и съ примѣчаніями. М. 1861), добросовѣстный, но въ поэтическомъ отношеніи крайне-плохой. Переводы отдѣльных пѣсней: *Пушкина*, *Гюндича*, *Майкова*, *А. Мей*, *Н. В. Берга* и др. Греческ. подл. *Анакреонτος ποικιλία*, изд. Таухница; тамъ же отрывки Сафо, Бакхилида, Аристотеля, Симонида, и пр.

изъ самыхъ многостороннихъ писателей древности, но изъ пѣсень его, написанныхъ диоирамбами, пеанами, эпипниями (на побѣды) и тренами (похоронныя пѣсни), до насъ дошло очень немногое. Онъ первый, говорятъ, далъ элегій тотъ жалобный характеръ, который она сохранила и до-сихъ-поръ (жалоба Данай). Кромѣ того Симонидъ славился въ древности своими лаконическими, остроумными отвѣтами. Однажды царь сиракузскій Геронъ спросилъ его, что такое Богъ? Поэтъ просилъ сперва одинъ день на размышленіе, потомъ другой, третій и т. д. „Чѣмъ больше я думаю объ этомъ предметѣ, — оправдывался онъ, — тѣмъ темнѣе онъ мнѣ кажется: Quia, quanto diutius considerare, tanto mihi res videtur obscurior — Племянникъ Симонида, *Бакхилидъ* (350) подражалъ своему дядѣ, и какъ онъ-же, любилъ дворы тирановъ. При этихъ извѣженныхъ и роскошныхъ дворахъ нѣжную и веселую лирику Бакхилида предпочитали даже могучей лирикѣ Пиндара. Въ одномъ изъ отрывковъ дошедшаго до насъ пэана, поэтъ такъ прославляетъ благоденствіе мира:

Мира богиня великая смертныхъ даруетъ
Богатство и пѣсень цвѣты сладкозвучныхъ.

Въ честь олимпійцамъ,
На чудномъ тренажникѣ,
На золотистомъ огнѣ,
Жгутъ ладвеи острозубаго вепря
И славнорунныхъ овецъ.
Флейты, пиры и веселыя игры
Юношей снова займутъ;
Черный паукъ оснуетъ паутину
Между застѣжекъ щитовъ,
Ники и колья, и мечъ обоюду-разящій

Ржавчина скоро покроетъ и съѣстъ;
 Мѣднаго рога не слышно произительныхъ звуковъ.
 Звонкой не слышно трубы;
 Сладостный сонъ, подкрѣпляющій душу,
 Нашихъ рѣеницъ не бѣжить.
 Клики веселья окрестность теперь оглашаютъ,
 Отроковъ гимны звучать...

Пэоны Бакхилида считались лучшими во всей лирикѣ древнихъ; но въ диоирамбѣ, говорятъ, превосходилъ его ахеянинъ *Лизосъ* изъ Герміоны, отъ котораго до насъ не дошло, впрочемъ, ни одной строчки. Но и Симонида и Бакхилида далеко превосходилъ *Пиндаръ* (род. 552 до Р. Х. въ Кинокефалахъ, въ Бэотіи), царь лириковъ (princeps lyricorum.—Quintil.), въ пѣсняхъ котораго лирическое искусство грековъ разцвѣло въ полномъ блескѣ. Пиндаръ былъ чрезвычайно плодотворителенъ: александрійскіе „рецензенты“ раздѣляли его творенія на 17 книгъ: гимны богамъ, пэаны и диоирамбы, пѣсни для торжественныхъ процессій (просодіи), пѣсни дѣвъ (партеніи), речитативы для мимическихъ танцевъ (гипорхематы), печальныя, похоронныя пѣсни (трены), хвалебныя оды царямъ (эпикіи) и 4 книги побѣдныхъ гимновъ (эпипикіи). До насъ дошло только сорокъ пять его эпипикій, сложенныхъ въ честь и славу побѣдителей на пелійскихъ, немейскихъ и истмійскихъ играхъ. Но Горацию (Кн. IV, Ода 2) первое мѣсто въ лирикѣ Пиндара принадлежитъ диоирамбамъ, второе гимнамъ, третье эпипикіямъ и послѣднее треніямъ *. Дошедшія до насъ стихотворенія

* Горнымъ потокомъ, когда половодье
 Берегъ знакомый разрушить готово,
 Бурно векипаетъ, бездонно-глубоко,
 Пиндара слово.

Пиндара принадлежатъ къ драгоцѣннѣйшей части наслѣдства, завѣщаннаго намъ древними. Поддѣльно-дикое вдохновеніе и умышленная темнота, которыя у новѣйшихъ подражателей слывятся подъ именемъ пиндарическихъ,—совершенно чужды самому Пиндару. Его пѣсни, напротивъ, постоянно выдерживаютъ спокойный, возвышенно-торжественный тонъ, при совершенномъ отсутствіи пиндического восторга и веселья, какъ пѣсни радости, между-тѣмъ никогда не позволяютъ себѣ чрезчуръ разгульнаго анакреонтизма. Если иногда и встрѣчается темнота, то она происходитъ преимущественно отъ частыхъ указаній на предметы, намъ уже незнакомые, но которые слушателямъ Пиндара были или присущи и

Диоирамбъ.	Грянетъ-ли онъ въ диоирамбѣ отважною, Лавръ подобаетъ ему Аполлона; Рѣчь его новая мчитъ въ размахъ Чуждыхъ закона.
Гимнъ.	Иль боговъ и царей воспѣваетъ, Или героев выводитъ примѣры, Тѣхъ, что сгубили центавровъ и страшный Пламень химеры.
Эпипикія.	Тѣхъ-ли, что съ пальмой элійской стяжали Славу, борца-ли, коня-ль именуетъ— Болѣ лестной всѣхъ знаковъ триумфа Пѣсню даруетъ.
Тренія.	Съ слезной невѣстой-ли плачетъ надъ навшимъ Юношей, или до звѣздъ выхваляетъ Вѣка златаго обычай—поэту Оркъ уступаетъ.

Кн. IV. Ода 2. (Фетъ).

известны, или живо сохранялись въ свѣжѣмъ воспоминаніи народа. Поэтому, чтобы вполне наслаждаться Пиндаромъ, надо читать его, — напередъ коротко ознакомившись съ міромъ греческихъ мифовъ и сказаній. Мы замѣтили уже объ отсутствіи шуточно-веселаго элемента въ эпиникияхъ Пиндара. Это происходитъ отъ того, что воспѣвая побѣду на играхъ, поэтъ всегда умѣлъ частному интересу своихъ пѣснопѣній придать величіе національнаго характера. Воспѣвая побѣдителей, онъ незамѣтно переходитъ къ похвалѣ героическимъ племенамъ, отъ которыхъ триумфаторъ ведетъ свой родъ, къ похвалѣ городу, къ которому онъ принадлежитъ, или къ славословію богамъ, въ честь которыхъ торжествовались праздники. Оттого эти гимны не могутъ быть названы строго-лирическими стихотвореніями въ нашемъ смыслѣ. Это скорѣе героико-эпическія стихотворенія на-случай, — (то, что нѣмцы называютъ „Gelegenheitsgedichte“), которыя, подъ аккомпаниментъ музыки и пляски, не только *пѣлись*, но нѣкоторымъ образомъ даже *представлялись* драматически. Дошедшія до насъ эпиникии отличаются высокимъ изяществомъ, музыкальною мягкостью рѣчи * и потомъ — склонностью поэта видѣть все въ розовомъ свѣтѣ. Иначе и не могло быть. Принадлежа къ партіи аристократовъ, онъ за богатые подарки воспѣвалъ тирановъ и знатныхъ, прелесть и блескъ могущества и богатства. Кромѣ того, Пиндаръ чрезвычайно благочестивъ и религіозенъ: отъ этого у него такое ясное спокойствіе души, такая твердость характера, наконецъ та самоувѣренность, то чувство собственнаго достоинства, которое истекаетъ изъ сознанія, что онъ

* Уже древніе называли Пиндара «высокозвучнымъ, *μεγαλοφώνωτος*».

возвѣститель и представитель божественнаго искусства и божественной мудрости. Грамматики раздѣляли эпиникии на четыре части, по главнымъ воспѣваемымъ ими праздникамъ: олимпійскія (14), пифійскія (12), немейскія (11) и истмійскія (7). По ритмикѣ-же и напѣву пиндарическіе гимны распадаются на три класса: 1) дорическіе гимны, — хотя и написанные въ метрической формѣ (дактилическія строки съ трохеическими диподіями), но по обилію мифологическихъ вставокъ, подходящіе ближе къ эпосу, чѣмъ къ лирикѣ; 2) эолическіе — съ болѣе легкимъ, живымъ и разнообразнымъ размѣромъ, болѣе быстрымъ ходомъ мысли и частыми субъективными намеками на личныя отношенія и 3) лидійскіе, трохеическаго размѣра и кроткаго, ласкающаго характера *. Эти гимны составляютъ уже переходы къ сколіямъ.

в) Сколіи (*σκολια*, застольная пѣсня), составляла особенный родъ застольной лирики. Ихъ писали: *Архилохъ*, *Алкей*, *Сафо*, *Алкманъ*, *Каллистратъ*, которому приписываютъ знаменитую сколію во славу Гармодія и Аристокрита, *Бакхилидъ*, *Арифронъ* изъ Сикіона; *Тимокreonъ* изъ Родоса, *Гибріи* изъ Крита и *Симонидъ*. — Болѣе тѣсныя границы имѣлъ:

г) Диѳирамбъ (*διθύραμβος*, сорственно прозвище Бахуса). Первоначально это былъ гимнъ Вакху (Дионизіосъ, Бахусъ), воспѣвавшій дѣла прославленнаго бога. Вакхъ былъ любимцемъ эллиновъ: прежде чѣмъ сдѣ-

* О Пиндарѣ: J. A. Hartung: «Pindar griechisch und deutsch.» 1855—56. — Joh. G. Schneider: «Versuch ab. Pindar's Leben und Schriften, 1774. — Rauchenstein: «Zur Einleitung in Pindar's Siegeslieder» 1843. Tycho Mommsen: «Pindaros.» 1845. — I. Bippart: «Pindar's Leben, Weltanschauung und Kunst.» 1848. — Русскіе переводы: — *Державинъ*: 1-я пифическая пѣсня, 1-я олимпическая и пр.; и *Норовъ* (въ альманахѣ Рус. Бѣс.).

латься богомъ, онъ страдалъ на землѣ, честно и по человѣчески сопротивляясь силѣ враждебныхъ боговъ; кроткій, ласковый, Діонизій былъ богъ вина и восторженнаго состоянія, въ различныхъ степеняхъ экстаза, отъ легкаго оьяненія дружескаго пира, до бѣшенства вакхическихъ оргій. Велѣдствіе этаго образовалось два рода дионрамба, которые служили началомъ трагедіи и комедіи. Первые воспѣвали страданія бога, вторые радовались его возвращенію на обновленную весной землю. Основателемъ дионрамба и трагическихъ стихотвореній древніе считали *Аріона*; потомъ писали дионрамбы *Кексидъ*, *Лампроклъ*, *Ликимній*, *Лазосъ*, *Диогоръ*, *Бакхилидъ*, *Меланиппидъ*, *Праксилла*, *Кинезій*, *Кисоменъ*, *Филоксенъ* и др. Но до высшей степени совершенства довели дионрамбъ *Симонидъ* и *Пиндаръ*.

д) Гимны (*ᾠμαί*). Начало этого рода стихотвореній восходитъ до древнихъ орфическихъ временъ, и только позднѣе изъ эпического предѣснаго гимнъ опредѣленно выработался въ стихотвореніе самостоятельно-лирическое, — образцы котораго намъ дали: великій философъ *Аристотель* (гимнъ добродѣтели), *Діонизій* и *Мезомедъ*; стоикъ *Клеантъ* сдѣлалъ въ гимнъ господствующимъ элементомъ философскій, а въ александрийскую эпоху сочинялъ гимны въ учено-миѳологическомъ духѣ *Каллимахъ*.

е) Сотадиическія или неблагопристойныя пѣсни (*συνταγματικαί*) составляютъ второстепенную отрасль лирики: изобрѣтателемъ ея былъ должно-быть *Симонъ* изъ Магнезіи; но особенно распространена она была *Сотадомъ* изъ Крита; отъ него и „поззія“ эта получила названіе сотадиической. Наконецъ, совершенно отдѣльную отрасль лирической поэзіи составляетъ:

ж) Эпиграмма первоначально, — что видно изъ самаго ея названія (надпись), — употреблялась для надписей на зданіяхъ, произведеніяхъ искусствъ и подаркахъ на память; число эпиграмматическихъ стихотворцевъ чрезвычайно велико, но только уже въ позднѣйшія времена унадка особенно пристрастились къ этой формѣ, допускающей выраженіе самыхъ разнообразныхъ чувствъ и мыслей: шутки и дѣла, похвалы и насмѣшки, нравоученій, загадокъ и непристойностей. Сборники эпиграммъ стали появляться издавна; самый полный сборникъ въ 15 отдѣлахъ составилъ въ X вѣкѣ по Р. Х. ученый и трудолюбивый *Константинъ Кефала*, о которомъ мы упоминали выше. Въ заключеніе замѣтимъ, что александрійскіе критики признавали классическими лириками только Алкмана, Алкея, Сафо, Стезихора, Ибикоса, Анакреона, Симонида кеосскаго, Пиндара и Бакхилида.

5. ДРАМА *.

Драма есть вѣнецъ греческой культуры, полнѣйшее, художественное выраженіе античнаго міровоззрѣнія. Соз-

* Извлекаемъ изъ знаменитыхъ лекцій *А. В. Шлегеля* о драматическомъ искусствѣ и литературѣ очеркъ архитектурнаго и сценическаго устройства греческаго театра:

Древніе театры грековъ были громадныя, каменные зданія; въ сравненіи съ нашими ничтожными театриками, размѣры ихъ были колоссальны. Строились они въ такихъ размѣрахъ для того, чтобы при представленіи могло присутствовать не только все свободное и взрослое народонаселеніе греческой республики, какъ напримѣръ 16 тысячъ аѳинскихъ гражданъ съ ихъ женами, но и огромныя массы чужеземцевъ, стекавшихся на праздники. Эти театры предназначались однако не исключительно для драматической поэзіи, но въ нихъ происходили и другіе хоральные танцы, торжественныя процессіи, праздничныя забавы, народные сеймы и пр. Трагедіи и вообще драмы давались тамъ преимущественно

давъ драму, греки достигли высочайшей ступени духовного процесса своей истории, — драма соединяла въ себѣ все пріобрѣтенія этого процесса: въ трагедіи она тор-

но во время праздниковъ Діонизія; новыя трагедіи давались въ Аѳинахъ во время лентевъ и съ особеннымъ великолѣпіемъ во время большихъ діонизій; старыя трагедіи съ меньшимъ сценическимъ блескомъ давались во время малыхъ діонизій. Аѳиняне построили за 500 лѣтъ до Р. Х. каменный театръ, посвященный Вакху, на южной сторонѣ Акрополиса; постройка и убранство театра было государственной повинностью, которую богатые граждане несли поочередно. Театръ аѳинскій былъ совершенно открытъ сверху. Если вдругъ разыгрывалась непогода, набѣгала туча и шолъ дождь — представленіе прерывалось, и зрители искали убѣжища въ колоннадахъ, которыми сзади окружонъ былъ весь театръ. Впрочемъ, они охотно подвергались случайному неудобству, лишь-бы только запираньемъ въ душный домъ не разрушить радость религіознаго народнаго праздника, къ числу которыхъ принадлежали и сценическія представленія. Еще неестественнѣе показалось-бы грекамъ накрывать самую сцену и какъ-будто сажать въ тюрьму своихъ боговъ и героевъ, заставляя ихъ дѣйствовать въ темныхъ, трудно освѣщаемыхъ комнатахъ. Актъ, который такъ торжественно скрѣплялъ родство съ небомъ, долженъ былъ и совершаться подъ открытымъ небомъ, какъ-бы передъ глазами самихъ боговъ, для которыхъ, какъ говоритъ Сенека, человѣкъ, мужественно борющійся съ страданіями, представляетъ самое достойное зрѣлище. Но что всего главнѣе, по республиканскимъ понятіямъ грековъ, публичность составляла неотъемлемую принадлежность всякаго серьезнаго и важнаго акта. Эта мысль объ участіи всего народа въ данномъ представленіи выражалась присутствіемъ хора: хоръ — идеальная публика, которая выражала чувства настоящей публики, при различныхъ происшествіяхъ пѣсы. Мѣста зрителей находились на ступеняхъ, которыми обнесено было полукружіе *оркестры* (то, что мы называемъ теперь партеромъ), такъ-что почти все зрители могли одинаково удобно смотрѣть на сцену. Неудобство, происходившее отъ слишкомъ далекаго разстоянія, устранилось искусственнымъ усиленіемъ всего, что должно было дѣйствовать на слухъ и на зрѣніе публики; для этого служили маски съ прифланжаннымъ къ нимъ аппаратомъ, усиливавшимъ голосъ, и небольшія ходули (котурны), увеличивающія ростъ дѣй-

жествовала прославленіе эллинизма, въ комедіи-же представляла безусловную противоположность трагическому; въ первой изображала полнѣйшее сознаніе человѣческой

ствующихъ лицъ. Нижняя ступень амфитеатра, предназначеннаго для зрителей, отдѣлялась отъ оркестры балюстрадомъ и значительно возвышалась надъ нею. На такой-же высотѣ лежала сцена. Въ углубленномъ полукружій оркестры зрители не помѣщались, а оно имѣло другое назначеніе. *Сцена* располагалась параллельно съ поперечникомъ оркестры и занимала пространство отъ одного конца ея до другаго. Она образовала довольно узкую полосу, сравнительно съ отведенной для нея длиною. Это мѣсто называлось *логеономъ*, и середина его обыкновенно назначалась для говорящихъ лицъ. Позади этой середины сцена углублялась четырехъ-угольникомъ, который былъ опять-таки гораздо длиннѣе въ ширину, чѣмъ въ глубину. Занимаемое имъ пространство называлось *проскеніономъ*; наружный край логеоновъ, спускавшійся къ оркестрѣ, былъ украшенъ статуэтками въ нишахъ и небольшими пизастрами. Вся сцена расположена была на помостѣ изъ бревенъ и досокъ, наставленныхъ поверхъ каменнаго фундамента. Декораціи располагались такъ, что самый близкій и главный предметъ занималъ задній планъ, виды вдаль устанавливались по обѣимъ сторонамъ, — между-тѣмъ какъ у насъ дѣлается совершенно наоборотъ. Для этого тоже были извѣстныя правила: нѣво изображался городъ, гдѣ середина принадлежала дворцу, храму и т. п.; направо сельскіе виды, горы, взморье и т. п. Боковыя декораціи устраивались на стоящихъ прямо трехъ-угольникахъ, обращавшихся на утвержденной внизу оси; такимъ-образомъ можно было дѣлать перемѣну декорацій. По всемъ вѣроятіямъ около задней декораціи разставлялись такіе предметы, которые у насъ обыкновенно рисуютъ. Если декорація представляла храмъ, то на проскеніонѣ ставили алтарь, который служилъ для разнаго употребленія во время хода пѣснь. Въ задней стѣнѣ сцены былъ большой главный ходъ и по бокамъ два меньшихъ; смотря по тому, въ какую дверь войдетъ актеръ, можно было видѣть, какую роль онъ исполняетъ, — главную или второстепенную. Кромѣ этихъ трехъ входовъ, находившихся прямо передъ зрителями и по своему архитектурическому убранству имѣвшихъ значеніе настоящихъ дверей, было еще четыре входа, которыхъ впрочемъ дверьми назвать нельзя: два изъ нихъ находились на сценѣ, именно спра-

свободы и человеческого достоинства, но вмѣстѣ-съ-тѣмъ, и ограниченность, нестойтельность силъ человеческихъ передъ вѣчными законами природы, непреодолимой прав-

ва и слѣва внутреннего угла проскеніона, а другіе два располагались такимъ-же-образомъ въ оркестрѣ, только немножко по-дальше, и назначались собственно для хоровъ, но нерѣдко пользовались имъ и актеры, которые въ такомъ случаѣ входили на сцену по одной сторонѣ двойной лѣстницы, спускавшейся въ самую середину оркестры. Гдѣ-нибудь, подъ сидѣньями зрителей, была продѣлана узенькая лѣстница, называемая хароновой (стигийской),—по ней, незамѣтно отъ зрителей, входили въ оркестру тѣни умершихъ и потомъ ужъ по большой лѣстницѣ переходили на сцену. Иногда передній край логеона представлялъ берегъ моря; машины для полета боговъ и поднятія отъ земли людей, устраивались позади стѣнъ, по обѣ стороны сцены, и такимъ-образомъ не были видимы для зрителей. На сценѣ бывали также провалы, аппараты для грома и молніи, пожара, для разрушенія домовъ и т. п. Когда нужно было представить подзорную башню, или что-нибудь въ этомъ родѣ, то для возвышенія задней стѣны сцены, можно было пристроить верхній этажъ. Позади главнаго средняго входа могла быть придвинута *экзостра* (или *ἐκκλῆρυξ*) — машина, которая составляла внутри себя полукружіе и была прикрыта сверху такъ, что представляла зрителямъ содержавшіеся въ ней предметы—предметами, находящимися въ какомъ-нибудь домѣ. Эта машина употреблялась только для великихъ сценическихъ казусовъ. Занавѣсъ не спускался сверху, какъ у насъ, но поднимался снизу и при началѣ пьесы исчезалъ сквозь продѣланную въ полу щель между логеономъ и проскеніономъ, и внизу нависалъ на валъ (оттого при концѣ пьесы говорилось обыкновенно: «занавѣсъ поднимается»). Входы для хора были устроены у оркестры; тамъ онъ обыкновенно и оставался; тамъ-же онъ двигался взадъ и впередъ во время хоральнаго пѣнія и исполнялъ свою торжественную пляску. Впереди, въ оркестрѣ, какъ-разъ противъ середины самой сцены, стояло похожее на алтарь возвышеніе со ступенями, одинаковой вышины со сценой. Амвонъ этотъ назывался *тимеле* и служилъ сборнымъ мѣстомъ для хора,—когда онъ не пѣлъ, а только съ участіемъ смотрѣлъ на дѣйствіе. Предводитель хора, хороводъ (корифей), становился тогда на площадку тимеле, чтобъ видѣть все, что происходитъ на сценѣ и разговаривать съ на-

ственной необходимостью; во-второй-же, весь быть житейскій втягивала въ вакхическій хороводъ насмѣшливаго передразниванія и всѣ житейскія отношенія предавала разлагающей силѣ остроумія. Такимъ-образомъ въ трагедіи — изображеніе ужасающей борьбы человѣка съ судьбою, рѣшеніемъ которой онъ противопоставлялъ право свободной дѣятельности своей воли; въ комедіи — забавное отчаяніе о невозможности привести волю человѣческую въ гармонію съ этическими требованіями законовъ природы: тамъ непрерывное стремленіе къ примиренію этихъ противоположностей, — здѣсь безпрестанное доказываніе бесполезности этого стремленія. Оттого античную комедію можно-бы, безъ дальнихъ разговоровъ, назвать пародіей, еслибъ только понятіе о пародіи не предполагало зависимости отношеній, о которой здѣсь не можетъ-быть и помину, потому-что оба эти рода поэзіи развивались, хотя и параллельно, но совершенно самостоятельно.

Греческая драма является намъ въ тѣсной связи съ Аѳинами: если-бы даже зародыши ея и проявлялись гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, то они могли взойти только въ Аѳинахъ, и только тамъ принести такой пышный цвѣтъ. Въ этомъ знаменитомъ городѣ, разрозненные лу-

ходившимися тамъ дѣйствующими лицами, потому-что въ пѣніи участвовалъ весь хоръ. Но когда дѣло доходило до діалога, то одинъ хорагъ держалъ рѣчь за всѣхъ; оттого и въ репликахъ встрѣчается—то вы, то ты. Тимеле находилась въ самомъ центрѣ зданія; всѣ размѣры ея соотвѣтствовали ей; полукружіе сидѣній для зрителей было описано изъ этой точки. Поэтому весьма значительно то обстоятельство, что хоръ, служившій, какъ мы уже сказали, идеальнымъ представителемъ публики, занималъ то самое мѣсто, гдѣ сосредоточивались радіусы отъ всѣхъ мѣстъ для зрителей. Кромѣ-того, тимеле напоминалъ жертвенникъ Бахуса.

чи эллинической культуры собирались какъ въ фокусѣ, и оттуда ужъ должны были разливаться по всей землѣ. Въ сравнительно тѣсномъ пространствѣ главного города Аттики, въ короткій промежутокъ времени, собралось множество знаменитѣйшихъ людей, и покровительствуемые свободой демократическо-общиннаго быта, они преисполнили мудростью и красотой государственную жизнь и науку. Тамъ Периклъ правилъ государствомъ, тамъ одинъ послѣ другаго учили: *Сократъ*, названный дельфійскимъ оракуломъ, „мудрѣйшимъ изъ людей“, *Платонъ*, „Гомеръ греческой философіи“ и *Аристотель*, самый универсальный, и вмѣстѣ-съ-тѣмъ самый систематическій умъ древности. Изъ законовъ Солона развилась здѣсь демократія, — эта хотя и опасная, но при нѣкоторомъ умѣньѣ пользоваться ею, самая благоразумная государственная форма, такъ-какъ она пронесена изъ сознанія правъ человѣческихъ и каждому гражданину даетъ просторъ и возможность свободно развивать свои способности и силы въ борьбѣ съ гнетомъ необходимости и уздой закона. Посреди этой демократіи, которая, съ-тѣхъ-поръ какъ Аѣины сдѣлались блестящимъ представителемъ политическаго и духовнаго эллинизма во время персидскихъ войнъ, — развилась естественнымъ путемъ высочайшая художественная форма греческой поэзіи — драма. Въ ней, въ противоположность патріархальному міру боговъ и героев гомерическаго эпоса, изображалась революціонная борьба людей съ вышними властями, попытки индивидуума освободиться отъ вліянія тяготящаго надъ нимъ рока; это-то столкновеніе человѣческой страсти съ предопредѣленіями судьбы и открываетъ трагическую бездну, въ которую человѣкъ падаетъ, чтобы предоставить побѣду божественной, т. е.

этической необходимости. Вотъ это-то и составляетъ сущность греческой трагедіи. Въ комедіи греки пытались, не то чтобы закидать эту трагическую бездну, а скорѣе перескочить черезъ нее, опираясь на остроуміе. Въ трагедіи дѣло идетъ о томъ, чтобы достоинство и величіе души человѣческой представить великими даже и въ паденіи; въ комедіи побѣдоносно противопоставляются идеалу — пустяки, вздоръ, бездѣлица, идеальнымъ стремленіямъ — доморощенное филистерство: поэтому трагедія совершенно основательно беретъ свои сюжеты изъ міра героевъ, отодвинутого въ всеукрашающую даль; напротивъ, комедія выбираетъ своимъ предметомъ первое попавшееся подъ руку современное событіе. Изъ этого очевидно, что даже не принимая въ расчетъ художественную точку зрѣнія — дѣятельность аттической драмы была двухъ родовъ: трагедія имѣла притязаніе на значеніе общечеловѣческое и патріотическое, — комедія-же не заходила дальше специально-политическихъ партій своего времени. Въ Аѣинахъ театръ былъ дѣйствительно народнымъ дѣломъ: тамъ, по указанію Перикла, самый бѣдный гражданинъ получалъ изъ государственной казны деньги для платы за входъ, — поэтому трагедія позволяла народу бросить взглядъ на возвышенную область идеала, видѣть судьбы боговъ и людей, комедія-же, въ самой забавной картинѣ, указывала ему на недостатки и глупости государственнаго и частнаго быта.

І. ТРАГЕДІЯ.

Можно, пожалуй, подумать, что показать развитіе драматическаго искусства въ Греціи очень легко, пото-

му-что начало драмы совпадаетъ съ исторической эпохой Эллады, — тогда-какъ начала эпикѣ и лирикѣ теряются въ туманахъ мифико-героическаго періода. Но на самомъ дѣлѣ это не такъ, потому-что и ея начала теряются въ мракѣ сказаній, такъ-что мы, какъ эпикѣ и лирикѣ, знаемъ драму греческую только въ высшемъ ея развитіи. Происхожденіе трагедіи производятъ обыкновенно отъ дионисическихъ состязаній въ пѣніи на діонизіяхъ (праздникъ Вакха-Діониза), и въ-самомъ-дѣлѣ, — буря страстей, возбуждаемая обрядами этихъ дикихъ празднествъ, легко могла быть источникомъ трагическихъ представлений. На этихъ состязаніяхъ въ пѣніи, наградой побѣдителю былъ козель (*τράχος*, къ этому *ὠδή* — пѣніе: отсюда *τραγῳδία*). Это-то значеніе и перешло въ-послѣдствіи на возникшій отсюда родъ поэзіи *. Первоначально главной частью трагедіи было хоральное пѣніе, потомъ между строфами хора начали вставлять представленіе событій, — вѣроятно, какую-нибудь вакхически-страстную сцену, приличную празднику веселаго Діониза, изъ соединенія мимики съ пѣніемъ, — что взаимно пополнялось одно другимъ; такъ развилась драма, болѣе рѣзкое раздѣленіе которой на трагедію и комедію произошло только въ-послѣдствіи. Постоянно возрастающая любовь народа къ этимъ представленіямъ, любовь, обра-

* Другіе думаютъ, что названіе трагедіи, т. е. (козлопѣніе) произошло отъ обычая приносить въ праздникъ Вакха въ жертву козла; или-же оттого, что поющій и танцующій хоръ представлялъ сатировъ, бывшихъ, по преданію, спутниками Вакха и изображавшихся съ козлиными ногами. О греческой трагедіи срав. Gruppe, Ariadne oder die trag. Kunst d. Gr. 1834. Welcker, die griech. Tragiker, 1839. Schölli, Beiträge z. Kenntniss d. Gr. 1839, и Veber die Tetralogie des attischen Theaters, 1859.

тившаяся наконецъ въ страсть, была причиной обычной давать уже не одну, а одну за другою три трагедіи, имѣвшія между собою органическую связь и составлявшія трилогію (*трилогія*), къ которой присоединился въ-послѣдствіи такъ-называемый сатириконтъ, нѣчто въ родѣ сатирическаго дивертисмента, — и такимъ-образомъ возникла тетралогія (*тетралогія*). Сначала поэты сами представляли свои піесы съ аккомпаниментомъ музыки и танцевъ, потомъ предоставили ихъ исполненіе актерамъ; но даже у Софокла ихъ не было болѣе трехъ въ одной піесѣ. Драматика напоминала о своемъ происхожденіи тѣмъ, что театры строились по близости храма Вакха, что представленія давались во время праздниковъ этого бога, и даже составляли часть богослужебныхъ обрядовъ, и что драматическіе поэты формально состязались своими піесами, для полученія драматической преміи, которую присуждали имъ выбранные нарочно для этого судьи; но награда состояла уже не изъ козла, а изъ небольшой суммы денегъ. Конечно, эта награда была послѣднимъ дѣломъ, въ сравненіи съ восторженными рукоплесканіями художественнаго народа Аттики, сдѣлавшагося, въ-дѣдствіе благотѣльной демагогіи, установленной Перикломъ, народомъ-законодателемъ въ дѣлѣ искусства древняго міра. Ликующій народъ увѣнчивалъ побѣдоноснаго поэта; поэтъ видѣлъ, какъ возрасталъ въ умахъ народа посявъ его духовной дѣятельности.

Первымъ трагикомъ одни считаютъ *Эпикена* изъ Сикіона, а другіе *Тесписа* изъ Икаріона въ Атикѣ. Но исключая нѣсколькихъ стиховъ, до насъ ничего не дошло изъ ихъ поэзіи, также какъ и отъ драмъ *Фриниха*, ученика Тесписа, который должно-быть ввелъ женскія

маски, *Хэрила*, *Пратинаса* и *Аристіаса*. Въ законченно-художественной формѣ трагедія является намъ въ твореніяхъ—Эсхила, Софокла и Эврипида, время жизни которыхъ Лессингъ опредѣлилъ такимъ-образомъ: „на островѣ Саламинѣ, послѣ побѣды грековъ надъ персами, трагическая муза соединила трехъ своихъ любимцевъ. Сорокапятилѣтній Эсхиль помогать побѣждать, пятнадцатилѣтній юноша Софокль танцевалъ вокругъ трофеевъ, а Эврипидъ въ самый день побѣды родился на этомъ счастливомъ островѣ“.

Эсхиль (изъ знатнаго рода Эвлатридовъ), сынъ Эфориона, родился въ 525 г. до Р. Х. въ Элевзинѣ. Онъ храбро сражался въ битвахъ при Марафонѣ, при мысѣ Артемизіи, при Саламинѣ и при Платеѣ. Онъ началъ писать трагедіи еще юношей, и въ первый разъ на драматическомъ состязаніи въ 484 г. онъ удостоился награды, которую потомъ получалъ еще двѣнадцать разъ. Старикомъ уже онъ переселился въ Сицилію и умеръ тамъ въ городѣ Гелѣ, 456 г. Эсхиль, говорятъ, написалъ до семидесяти, а по другимъ извѣстіямъ, восемьдесятъ трагедій, изъ которыхъ до насъ сохранилось только семь: Прикованный Прометей (*Προμηθεὺς δεσμώτης*), Персы (*Πέρσαι*), Семеро противъ Θивъ (*Ἑπτα ἐπὶ Θήβας*), Агамемнонъ (*Αγαμέμνων*), Хоэфоры (*Χοεφοραί*), Эвмениды (*Εὐμενίδες*) и Умоляющіе (*Ἰκέτιδες*). Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ передъ нами рисуется великая картина великаго времени, исполненнаго силы развитія національности. У Эсхила постоянно замѣтно стремленіе защитить умѣренную аѳинскую аристократію отъ нападковъ крайнихъ демократовъ; религіозность Эсхила придаетъ его трагедіямъ мрачный и суровый характеръ мистерій; наконецъ всѣ онѣ проникнуты гордымъ чув-

ствомъ свободы, вынесеннымъ изъ великой побѣды грековъ надъ персами. Въ твореніяхъ своихъ Эсхиль, какъ поэтъ, прославилъ побѣду, которой онъ помогать на полѣ битвы, какъ воинъ: въ то время, какъ другіе трагики брали сюжеты изъ героическихъ временъ, онъ взялъ для своихъ „Персовъ“ современное событіе и такимъ-образомъ воздвигъ вѣчный памятникъ народному героизму своего отечества. Религіозное чувство, возвышенность идей, смѣлость выраженія и простота плана характеризуетъ трагическую стиль Эсхила. Въ трагедіяхъ его даже вовсе нѣтъ органической завязки и развязки трагической интриги, вытекающей изъ внутренней причины; оттого онѣ имѣютъ видъ ряда художественно набросанныхъ эскизовъ, между которыми нѣтъ непосредственной связи; оттого ходъ дѣйствія тянется медленно, и недостатокъ этотъ нисколько не выкупается чрезвычайъ длиннымъ пѣніемъ хора. Точно также не слѣдуетъ искать у Эсхила полного и подробнаго развитія характеровъ: они очерчены у него немногими, но рѣзкими и сильными чертами; главный мотивъ его трагедій — ужасъ; владычество рока, правящаго судьбою боговъ и людей, является у него суровымъ и неумолимымъ; Эсхиль съ особенной любовью вдается въ необычайное, исполнское, не только въ событіяхъ и образахъ, но даже и въ языкѣ. Что ему кажется невозможно выразить, какъ слѣдуетъ, словомъ, то онъ обрисовываетъ страшнымъ, зловѣщимъ молчаніемъ: напримѣръ въ его „Ніобѣ“ мать сидитъ на гробѣ дѣтей своихъ, завернувшись въ покрывало, молча, въ продолженіе всей піесы *; Про-

* Трилогія „Ніобея“ къ несчастію затеряна. Изъ средней піесы „Ніоба“ дошло впрочемъ нѣсколько удивительныхъ отрывковъ. Подавленная невыразимой скорбью, Ніоба возвращаетъ

метей въ первой сценѣ второй части трилогіи (Прометей-десмότης), прикованный къ гранитной скалѣ, среди страшныхъ мученій, не издаетъ ни одного стона. Но поражая душу зрителей такими страшными сценами неутомимаго насилия рока, поэтъ никогда не оставляетъ ихъ подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ печальнаго результата борьбы человѣческой воли съ такимъ страшнымъ противникомъ, какъ судьба. Мысль о гордомъ величіи побѣжденныхъ, но не униженныхъ героевъ, облегчаетъ душу зрителя, — но не возбуждаетъ въ немъ слезливаго соболѣзнованія о ихъ участи: героевъ Эхила нельзя оплакивать, — можно только удивляться той горделивой твердости, съ какой они переносятъ свои страданія. Формы Эхилова языка горды и могучи, какъ тѣ личности, которымъ онѣ служатъ. Языкъ Эхила, какъ замѣчаетъ От. Миллеръ, на нѣсколько градусовъ „эпичнѣе“ языка другихъ великихъ трагиковъ въ Греціи. Дикцію эхилевскихъ шіесъ сравниваютъ обыкновенно съ икѣиосскимъ храмомъ, „построеннымъ изъ огромныхъ, прямоугольно-обтесанныхъ и полированныхъ глыбъ мрамора“. Въ особенности хорошо составленъ ямбическій трехъ-стопный стихъ діалога, и анапестъ нѣкоторыхъ хоровъ. Изъ семи дошедшихъ до насъ трагедій Эхила „Агамемнонъ“, „Эвмениды“ и „Хоэфоры“ составляютъ полную трилогію (Орестейя); „Семь противъ

ся во Фригію, къ своему отцу, Танталу; она бѣжитъ въ дикую пустыню; тамъ къ несчастной мнтери приближается смерть; и со словами смерти: — «вотъ я пришла, что ты звала меня?» — величавый образъ Ніобы цѣпенѣетъ и превращается въ одинокую, обитую плющемъ скалу, внутри которой никогда не иссякаетъ источникъ слезъ, и снѣгомъ покрытая голова на вѣки облекается покровомъ облаковъ и тумана.

Эивъ“, вѣроятно была прежде послѣдней, а потомъ средней шіесой трилогіи (Эдиподэя?), „Персы“, „Гикетиды“ и „Прометей“ — тоже среднія шіесы.

Разсмотримъ теперь содержаніе трехъ изъ дошедшихъ до насъ драмъ Эхила.

„Персы“, какъ мы уже сказали, имѣютъ сюжетомъ событіе, современное трагикѣ. Дѣйствіе происходитъ въ Сузѣ, передъ дворцомъ Ксеркса. Планъ этой шіесы, въ которой преобладаетъ лирическая (хоральная) часть, — слѣдующій: хоръ, состоящій изъ персидскихъ старцевъ, управляющихъ государствомъ во время отсутствія Ксеркса, сначала выхваляетъ громадную силу персидскаго войска; но потомъ овладѣваетъ ими тревога и мрачное предчувствіе гибели всей арміи, потому-что хотя войско персидское сильно и мужественно, но „какой смертный въ силахъ устоять противъ обольстительнаго обмана судьбы?“ Затѣмъ слѣдуетъ стазимонъ, который изображаетъ горе страны, если войско не возвратится. Хоръ хочетъ начать совѣщаніе, но является Атосса, вдова Дарѣйоса (Дарія) и мать Ксеркса; она рассказываетъ, что видѣла зловѣщій сонъ, наполнившій ей душу томительной тревогой, и проситъ совѣта у хора. Хоръ совѣтуетъ ей почитать душу умершаго Дарѣйоса жертвами и проситъ его оберегать Персію отъ бѣдствій. Атосса соглашается и спрашиваетъ старцевъ.

Атосса. — Гдѣ, въ какой землѣ Аонны, вы скажите мнѣ, друзья!

Хоръ. — Тамъ на западѣ, гдѣ въ морѣ тушитъ солнце факель свой.

Ат. — Какъ красивую игрушку, тамъ не носятъ-ли стрѣлу?

Хоръ.—Нѣтъ; закованъ всякій въ панцырь и копьемъ вооруженъ.

Ат.—«Кто тамъ царь и повелитель? кто ведетъ на бой войска?»

Хоръ.—Нѣтъ рабовъ тамъ, мужъ воинскій никому не подчиненъ.

Является вѣстникъ и набрасываетъ картину саламинской битвы (это самое блестящее мѣсто трагедіи) и уничтоженіе морской силы,—и рассказъ этотъ возбуждаетъ въ хорѣ опасеніе, какъ-бы не взбунтовались и все подчиненные Ксерксу народы и не положили конецъ владычеству персовъ. Атосса приноситъ жертву Дарѣюсу, и хоръ вызываетъ его тѣнь. Тѣнь является. Атосса рассказываетъ о несчастіи, постигшемъ персовъ, и Дарѣюсъ укоряетъ Ксеркса за его безразсудный и дерзко-высокомѣрный поступокъ; онъ говоритъ, что предсказаніе древняго оракула исполнится: въ Элладѣ погибнетъ все персидское войско, за то, что Ксерксъ осмѣлился оковать цѣпями священный Гелеспонтъ и разрушить храмы безсмертныхъ. Персы должны удовольствоваться однимъ владычествомъ надъ Азіей. Никто безнаказанно не перейдетъ предѣла, положеннаго ему безсмертными. Тѣнь исчезаетъ. Хоръ оплакиваетъ старое, счастливое время славнаго царствованія Дарѣюса. Является Ксерксъ, бѣжавшій съ поля битвы,—гордый царь Азіи, въ запыленной одеждѣ, изорванной діадемы;—онъ плачетъ и зоветъ смерть. Хоръ тоже отвѣчаетъ ему плачемъ, и они вмѣстѣ оплакиваютъ общее горе. — Первая пѣса этой трилогіи называлась „Финесъ“,—и вѣроятно имѣла сюжетомъ какое-нибудь событіе изъ эпохи перваго столкновенія Греціи съ Азіей (походъ аргонавтовъ въ Колхиду); а послѣдняя —

„Главкось Понтіосъ“, отъ которой сохранилось нѣсколько незначительныхъ отрывковъ. Остальная идея трагедіи ясна: это панегирикъ Элладѣ, произнесенный устами враговъ. Свободному государству грековъ, основанному на законѣ и справедливости, сильному чувствомъ свободы и сознаниемъ собственного достоинства, которымъ проникнуть каждый гражданинъ, противопоставлена Персія, нестройная, не связанная никакими нравственными узами; масса безсмысленнаго народа, подавленнаго произволомъ деспота, боготворящая личность царя; огромное войско, не понимающее, куда и за чѣмъ ведутъ его, но идущее умирать по одному безсмысленному, тупому повиновенію, и потому безсильное.

„Семь противъ Θивъ“ — средняя пѣса Трилогіи, первая часть которой, вѣроятно, называлась „Эдипъ“, а послѣдняя „Элевзинцы“. Сцена представляетъ площадь передъ царскимъ дворцомъ въ Θивахъ. Ходъ дѣйствія слѣдующій. Этеокль, сынъ Эдипа, влѣститель Θивъ, послѣ изгнанія брата своего Полинея, который искалъ и нашелъ помощь въ Пелопонезѣ — объявляетъ народу, что непріятель подступаетъ къ городу, и совѣтуетъ гражданамъ мужественно встрѣтить врага и не бояться опасности. Вѣстникъ объявляетъ, что семь вождей, свирѣпыхъ и страшныхъ, на чорныхъ шитахъ приносили жертвы, и погружая руку въ крови, давали обѣтъ разрушить свяшенную Кадмею; хоръ дѣвъ (мѣсто это полно высокаго лиризма) съ плачемъ умоляетъ боговъ-покровителей отвратить отъ города грозящую ему гибель. Этеокль порицаетъ дѣвъ, что онѣ своимъ плачемъ уменьшаютъ мужество гражданъ. Хоръ извиняется; завязывается самый оживленный разговоръ: хоръ благочестивыхъ дѣвъ видитъ спасеніе только въ заши-

тѣ боговъ, Этеоклъ — только въ мужествѣ гражданъ: молитва не должна способствовать малодушію. Ворота трещать; самъ Этеоклъ начинаетъ трусить. Онъ обѣщаетъ принести богамъ великія жертвы и идетъ разставить къ воротамъ вождей. Хоръ опять поднимаетъ плачь. Но вотъ является Этеоклъ въ сопровожденіи вѣстника, который рассказываетъ ему о ходѣ дѣлъ въ непріятельскомъ лагерѣ: онъ называетъ ему по именамъ всѣхъ семерыхъ вождей, осаждающихъ ворота Фивскія; но описаніе ихъ страшныхъ доспѣховъ не пугаетъ Этеокла; онъ назначаетъ каждому изъ осаждающихъ вождей противника, а себѣ выбираетъ въ противники — брата. „Вождь противъ вождя, врагъ противъ врага, братъ противъ брата! скорѣй давайте доспѣхи, дротики и щитъ, предохраняющій отъ камней! “ Напрасно хоръ увѣщеваетъ его не совершать страшнаго братоубійства: Этеоклъ знаетъ, что проклятіе тяготѣетъ надъ домомъ Лая; — отъ судьбы не уйдешь. Онъ кидается въ битву. Хоръ предчувствуетъ что-то недоброе; онъ вспоминаетъ всѣ ужасы, которые издавна совершались въ проклятомъ родѣ Лая, и дрожа, признаетъ могущество Эринній. Тогда является вѣстникъ: всѣ шесть враждебныхъ вождей отбиты, шесть воротъ остались цѣлы, только седьмая взялъ самъ Аполлонъ; тутъ братья пали въ проклятомъ единоборствѣ! Но городъ спасенъ. „Однако мы не знаемъ, радоваться намъ или плакать“, восклицаетъ хоръ, — и плачетъ надъ трупами своихъ убитыхъ царей, принесенными на сцену; приближаются сестры павшихъ, — Антигона и Исмена; хоръ продолжаетъ свой плачь. Глашатай, отъ имени старѣйшинъ города, приказываетъ съ честью похоронить Этеокла, который палъ, защищая городъ; трупъ-же Полинейка, какъ врага от-

чизны, бросить на съѣденіе псамъ. Но Антигона объявляетъ, что если никто не хочетъ хоронить ея брата, то она похоронитъ его; одна половина хора сочувствуетъ Антигонѣ и уходитъ съ нею за трупомъ Полинейка, другая-же сожалеетъ только объ Этеоклѣ и вмѣстѣ съ Исменой провожаетъ трупъ его на родину. Такъ кончается пьеса. Въ послѣдней части трилогіи описывались похороны семи павшихъ вождей въ Элевзинѣ.

„Скованный Прометей“ (Прометей-десмотесь) составляетъ вторую часть трилогіи „Прометей“, первая часть которой называлась „Прометей-огненосецъ“ (пирофорость), а третья — „Освобожденный Прометей“. Трагедія начинается казнью Прометея. Титанъ виситъ, прикованный желѣзными цѣпями къ утесу Кавказа. Океаниды, дочери Океана, составляющія хоръ трагедіи, жалѣютъ страдальца Титана и боятся, чтобы Зевсъ не наказалъ его еще строже за то, что онъ угрожаетъ отмстить своимъ мучителямъ. Потомъ является старикъ Океанъ и совѣтуетъ Прометею не раздражать Зевса дерзкими рѣчами. Но Прометей гордо борется съ страданіями и презираетъ своихъ мучителей. Онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что —

Придетъ пора, когда и Зевсъ надмѣнный
Унизится...

Такъ пусть сидитъ онъ,
Надѣясь на свой воздушный громъ,
Грозя своимъ пылающимъ пируномъ:
Онъ этимъ не спасется отъ бѣды,
Отъ страшнаго, пезорнаго паденья...

Зевсъ, услышавъ угрозу Прометея, посылаетъ Гермеса узнать, въ чемъ состоитъ предсказаніе оракула (со-

общеннаго Прометею матерью его Тетидой), исполненіемъ котораго грозитъ отцу безсмертныхъ ругатель дерзкій,

Обидѣвшій боговъ въ угоду смертнымъ,
Безстыдный воръ огня...

Прометей отвѣчаетъ, что никакія мученія не заставятъ его произнести имя того

Противника непобѣдимой силы,
Что огонь найдетъ грозѣ молній Зевса
И громъ въ сто разъ сильнѣй его перуна...

Гермесъ страждаетъ Прометея новыми казнями... Иди, отвѣчаетъ ему Титанъ—

Ступай себѣ назадъ своей дорогой...

Я не отдамъ своей ужасной казни
За счастье быть у Зевса на посылкахъ;
Ужъ лучше быть рабомъ моей скалы,
Чѣмъ зевсовымъ слугою любезновѣрнымъ...

Нѣтъ муки той, и нѣтъ того лукавства,
Какимъ-бы Зевсъ склонилъ меня сказать
Хоть что-нибудь, пока на мнѣ оковы...
Пусть кинетъ онъ молніеносный лучъ,
Пусть броситъ снѣгъ мятеля бѣлкрылой
Иль всколыхнетъ раскатомъ грома землю,
И рушится кругомъ все мірозданье—
Ни чѣмъ меня открыть онъ не заставитъ,
Кто у него отниметъ власть и царство...

Отбросьте мысль, чтобъ въ страхѣ малодушномъ

Склонился я подъ иго произвола,
И чтобъ того кто мнѣ такъ ненавистенъ,
Какъ женщина, подѣмля къ небу руки,
Сталъ умолять спасти меня отъ казни—
О, никогда!...

Гермесъ развѣтываетъ передъ Прометеемъ страшную картину ожидающей его казни:

Сперва твою скалу
Зевесовъ гнѣвъ перуномъ сокрушитъ,
Потомъ твое израненное тѣло
Онъ глубоко межъ камней завязитъ;
Когда-жъ время исполнится теченье
И снова свѣтъ увидишь ты,—тогда
Къ тебѣ слетитъ орелъ свирѣпый: жадно
Онъ будетъ рвать своимъ желѣзнымъ клювомъ
Остатки черные оглоданнаго мяса,
И печени твоей кровавой будетъ
Незванный гость кормиться всякій день—
И ты не жди конца своимъ страданьямъ!...

Прометей остается твердъ. Тогда Гермесъ совѣтуетъ хору удалиться, чтобъ не пострадать отъ раскатовъ страшнаго грома. Но хоръ рѣшается раздѣлить участь Прометея и проклинаетъ измѣну и насиліе. Гермесъ уходитъ. Страшный ударъ грома; землетрясеніе. Свѣршается,—говоритъ Прометей:

«Свершается,—то слово не пустое.
«Земля дрожитъ, и гулъ протяжный грома
«Кругомъ реветъ, и вздрагиваютъ ярко
«Огненные извивы молній; вьюга,
«Вздымая пыль, крутитъ ее столбомъ,
«И вырвались всѣ вихри на свободу;

«Мѣшается, столкнувшись, небо съ моремъ,
«И этотъ разрушительный порывъ,
«Зевесомъ посланный, несется прямо
«Ненетовый, ужасный, на меня!—
«О мать-земля святая, о Эонръ,
«Свѣтъ всеобъемлющій,—смотрите,
«Какую я терплю обиду!—

И Прометей вмѣстѣ съ скалой низвергается въ бездну. — Такъ пластично изображена въ этой трагедіи борьба слѣпаго десотизма и грубой физической силы съ свободой, энергіей и зрѣлымъ разсудкомъ. Смыслъ разработаннаго Эсхиломъ мѣта тотъ, что истинная свобода человѣка никогда не можетъ быть поработана, истинное величіе души сильнѣе всякаго насилія, и что каждаго тирана, какъ-бы онъ ни былъ могущественъ, ожидаетъ мщеніе. Но поэтъ видитъ еще нравственную необходимость помирить враждующія стороны, „привести все къ хорошему концу“. Уже въ высшей степени замѣчательный эпизодъ о несчастной Іо, превращенной въ телку, преслѣдуемой оводами,—заставляетъ зрителя предчувствовать, что всѣ противорѣчія должны наконецъ помириться и перейти въ гармонію. Въ-самомъ-дѣлѣ, въ послѣдней части трилогіи, „Освобожденномъ Прометѣ“, является Гераклъ, посланный Зевсомъ-Сотеромъ, освобождаетъ Титана отъ цѣпей и утишаетъ всякую распрю *.

Аѳинское общество, для котораго писалъ Эсхиль, значительно измѣнилось еще при его жизни. Господство

* Объ Эсхилѣ: Welcker—*«Aeschyleische Trilogie»*, 1824, 26. Blümner: *«Über die Idee des Schicksals in den Tragödien des Aeschyles»*. 1814.

аристократіи пало, власть перешла въ руки крайнихъ демократовъ, и государство достигло высшей степени своего могущества. Начался блестящій вѣкъ Перикла,—вѣкъ, полной жизни и хождественныхъ стремленій; аѳинское общество созрѣло уже на столько, что ему перестали нравиться тѣ трагедіи, гдѣ главное были мнѣ и идея; оно требовало раскрытія характеровъ и жизни въ ея отдѣльныхъ явленіяхъ, оно требовало, чтобы искусство стало ближе къ человѣку, занялось-бы его внутреннею жизнью и раскрыло-бы ее во всѣхъ ея фазахъ *.

Въ 4-мъ году 77 олімпіады, одинъ молодой поэтъ вступилъ въ состязаніе съ художникомъ уже опытнымъ, не разъ уже увѣнчаннымъ, первымъ трагикомъ *своего* времени, однимъ словомъ — съ Эсхиломъ. Новая школа выступила противъ старой, все еще имѣвшей много поклонниковъ. Молодой поэтъ получилъ вѣнокъ; а старый, въ досадѣ на свое униженіе, оставилъ Аѳины и удалился въ Сицилію. Побѣдитель этотъ былъ Софоклъ.

Софоклъ родился въ 495 г. неподалеку отъ Аѳинъ, въ колонѣ, который онъ прославилъ своимъ „Эдиномъ въ Колонѣ“. Воспитаніе дано ему было отличное, по тому времени. Греческое воспитаніе извѣстно: грамматика, музыка, гимнастика. „Въ тѣ времена невозможно было избрать путь трагическаго поэта, не зная музыки и танцованія. Поэтъ долженъ былъ не только написать хоры, но и положить ихъ на музыку и научить хористовъ тѣмъ движеніямъ, которыя сопровождали исполненіе хора. Поэтъ былъ, слѣдовательно, въ одно и тоже время и композиторъ, и балетмейстеръ. Софоклъ былъ отлич-

* С. Д. Шестаковъ: „Софоклъ и его значеніе въ греческой трагедіи“. (Пропілеи, т. 2).

нымъ исполнителемъ на струнныхъ инструментахъ и очень искусенъ въ танцахъ. Онъ показалъ это искусство въ одной изъ своихъ драмъ „Навсикая“, гдѣ онъ игралъ на сценѣ въ мячъ. Игра-же въ мячъ была у древнихъ искусствомъ, въ которомъ выказывалась грація тѣлодвиженій. Съ этимъ ученіемъ искусствамъ соединено было и нравственное образованіе того времени. При ученіи гимнастическимъ упражненіямъ, учились въ тоже время покорности и приличію, и съ ученіемъ музыки связано было изученіе всѣхъ родовъ стихотвореній извѣстнѣйшихъ поэтовъ“. Послѣ первой побѣды надъ Эсхиломъ Софокль двадцать разъ еще получалъ первый призъ за свои драмы. Позднѣе, въ 441 до Р. Х., когда Софоклу было уже 55 лѣтъ, представленіе его „Антигоны“ дало ему небывалую награду: онъ избранъ былъ вмѣстѣ съ Перикломъ въ начальники флота въ походѣ противъ Самоса. Въ лицѣ Крѣона Софокль такъ хорошо изобразилъ обязанности полководца, что аѳиняне полагали необходимымъ дать поэту возможность осуществить его слова на дѣлѣ. О послѣднихъ годахъ его жизни ничего не извѣстно, да и вообще вся долгая жизнь поэта протекала въ ненарушимомъ счастьи, бѣдная внѣшними событіями. Говорятъ, что старшій сынъ Софокла Иофонть, недовольный домашними распоряженіями отца, позвалъ его въ судъ и обвинилъ въ томъ, что онъ подъ старость выжилъ изъ ума и неспособенъ управлять домомъ. Но Софокль прочелъ судьямъ своего „Эдина“ и сказалъ: „если я Софокль, то не могу быть безумнымъ, а если я безумный—такъ не могу быть Софокломъ“—и судьи самого обвинителя признали помѣшаннымъ. Когда Софокль умеръ, аѳиняне опредѣлили приносить памяти его ежегодную жертву.

„Въ каждомъ ходѣ умственнаго развитія, какъ и въ постепенномъ ходѣ природы, есть моментъ процвѣтанія и высочайшая точка законченности, которая и обнаруживается тогда совершенствомъ формы и языка. Эту точку обозначаетъ Софокль не въ одномъ трагическомъ искусствѣ, но и вообще въ поэзіи и умственномъ образованіи грековъ. Въ совершенствѣ Софокловомъ заключается нѣчто большее, нѣчто совершенно другое, чѣмъ то, что въ подобныхъ случаяхъ мы часто замѣчаемъ у поэтовъ и писателей и что заставляетъ насъ считать ихъ высочайшими художниками по формѣ и слогу. Въ изяществѣ твореній Софокла отражается внутренняя гармонія и красота его души. Изъ многихъ мѣстъ у древнихъ поэтовъ очень замѣтно, что они не имѣютъ настоящаго познанія и правильнаго понятія о Богѣ. Но хотя они не имѣли этого понятія оттого, что оно еще не было открыто ни имъ, ни вообще ихъ времени,—однако нельзя-же отнять у величайшихъ и лучшихъ изъ нихъ какого-то неяснаго ожиданія чего-то истинно-божественнаго, ожиданія глубоко прочувствованнаго и нерѣдко удивительно-пророческаго. Но ни у одного изъ древнѣйшихъ поэтовъ оно не является такимъ яснымъ и свѣтымъ, какъ у Софокла. Судьба и ходъ поэзіи повсюду были таковы, что они начинались великими образами міра боговъ и вѣка героевъ; потомъ постепенно начинали спускаться съ этой заоблачной вышины, все болѣе и болѣе приближались къ землѣ, пока наконецъ не впадали въ прошлое и обыденное, и тутъ уже терялись совсѣмъ. Средняя область—самая счастливая для поэзіи; тамъ героическо-великое еще не изысканно и естественно, воспоминаніе божественнаго еще живо, но является передъ нами уже не въ исполинскомъ образѣ, но кротко и че-

ловѣчески-трогательно, человѣчески-прекрасно. Таковъ характеръ Софокла. Это слова Фр. Шлегеля, которые мы написали потому, что они коротко и мѣтко характеризуютъ поэта, въ которомъ древняя трагедія достигла высочайшаго своего развитія. Достигнуть того высокаго совершенства, которому удивлялись даже древніе, называвшіе Софокла не иначе какъ „божественнымъ“ и „Гомеромъ трагедій“ *, помогало (говоря словами Бернгарди) не одно природное дарованіе и долгая жизнь, давшая ему возможность потрудиться надъ этимъ талантомъ, но и внѣшнія обстоятельства, составившіяся для него необыкновенно счастливо: юность его видѣла послѣднее время блестящаго періода персидскихъ войнъ, и потомъ лѣта росли вмѣстѣ съ могуществомъ роднаго города; онъ былъ свидѣтелемъ цвѣтущей эпохи Аѳинъ и только вдали видѣлъ паденіе аттическаго духа.

Изъ множества трагедій Софокла (ихъ насчитываютъ 130), до насъ дошло только семь: Антигона (*Ἀντιγόνη*), Электра (*Ἑλέκτρα*), Трахинянки (*Τραχινίαι*) Эдипъ-царь (*Οἰδῖπους τύραννος*), Аяксъ (*Αἴας*), Филоклетъ (*Φιλοκλέτης*), Эдипъ въ Колонѣхъ (*Οἰδῖπους ἐπὶ Κολωνῶν*). Основной характеръ софокловыхъ драмъ — спокойствіе и идеальная красота. Дѣйствіе идетъ у него въ гармоническомъ сочлененіи до самой катастрофы, которая всегда старательно мотивирована. Чтобы дать болѣе простора дѣйствію въ развитіи отдѣльных характеровъ, Софоклъ ограничилъ въ своихъ трагедіяхъ употребленіе хора. Въ то время какъ у Эсхила хоръ принимаетъ прямое участіе въ

* Несколько сознавали значеніе Софокла аѳиняне, какъ высоко цѣнили его произведенія, доказываетъ уже то, что государство издержало на представленія софокловыхъ трагедій больше денегъ, чѣмъ на всю пелопонезскую войну.

дѣйствіи, всегда стоитъ на сторонѣ того или другаго лица, — у Софокла онъ не имѣетъ никакого вліянія на ходъ самого дѣйствія, никогда не бываетъ разговаривающимъ лицомъ, но или страдательно слушаетъ, что говорятъ другіе, или же скажетъ нѣсколько словъ, какъ посредникъ между дѣйствующими лицами *. Въ драмахъ Софокла нѣтъ и слѣдовъ того аристократическаго направленія, котораго держался его предшественникъ. Исполненіе образы эсхиловой трагедіи у Софокла уступаютъ мѣсто образамъ человѣческимъ, и при этомъ они нисколько не теряютъ своего истиннаго величія; судьба является болѣе кроткою; религія, даже въ самомъ ужасномъ своемъ проявленіи — Эвменидахъ, — принимаетъ характеръ мягкій и свѣтлый; во всемъ соблюдена мѣра; — поэтъ постоянно стремится къ граціи и достигаетъ ее. Надо еще замѣтить, что Софоклъ первый въ трагедіяхъ своихъ придалъ настоящее значеніе женщинѣ, играющей у Эсхила такую второстепенную роль. Это обстоятельство тѣмъ болѣе важно, что всѣ драмы Софокла имѣли, для своего времени, кромѣ художественнаго, большое политическое и этическое значеніе.

Переходимъ къ обзорѣ знаменитой трилогіи Софокла — „Эдиподѣя“. Первую часть ея составляетъ —

Эдипъ-царь **, по своей художественной отдѣлкѣ, принадлежитъ къ числу лучшихъ произведеній трагики; „геній искусства въ древности не простирался

* Такое ограниченіе хора и распространеніе трагическаго элемента требовало увеличенія актеровъ. Къ одному актеру Тесписа Эсхиль присоединилъ другаго, Софоклъ ввелъ третьяго (протагонистъ, девертагонистъ, триагонистъ).

** „Эдипъ-царь“, трагедія Софокла, перев. съ греческаго С. Д. Шестаковымъ. — Объ Эдипѣ-царѣ Софокла (опытъ анализа), П. Н. Кудрявцева. — „Прописки“, книга II. 1852.

далѣе въ точности и послѣдовательности художественнаго развитія“.— Царю оивскому Лаю было предсказано, что ему суждено умереть отъ сына, который родится у него отъ Иокасты. Когда родился этотъ сынъ, Лай велѣлъ его забросить. Но пастухъ, которому поручено было это страшное дѣло, сжалился надъ ребенкомъ и отдалъ его коринѣскому царю Полибу. Бездѣтный царь усыновилъ найденныя и назвалъ его Эдипомъ. Когда Эдипъ выросъ, кто-то попрекнулъ его тѣмъ, что онъ найденныиъ, и юноша ушелъ къ оракулу спросить о своемъ происхожденіи. Оракулъ отвѣчалъ уклончиво, но предсказалъ, что онъ убьетъ отца, будетъ мужемъ матери. Эдипъ, считая отцомъ своимъ Полиба, не хочетъ возвращаться въ Коринѣ и идетъ странствовать. Разъ онъ встрѣчаетъ на дорогѣ старика, и поссорившись съ нимъ, убиваетъ его и всѣхъ бывшихъ съ нимъ рабовъ, кромѣ одного. Старикъ этотъ былъ Лай, а рабъ—тотъ самый пастухъ, который когда-то спасъ Эдипа отъ смерти. Пастухъ приносить въ Оивы вѣсть о смерти царя. Въ это время близъ города, на скалѣ, поселяется чудовище-сфинксъ. Онъ предлагаетъ оивянамъ загадки, и терзаетъ тѣхъ, кто не умѣетъ рѣшить ихъ. Но является Эдипъ, рѣшаетъ роковую загадку и побѣжденный сфинксъ бросается въ море. Въ награду Эдипъ получаетъ руку Иокасты и съ нею царство оивское. Уже нѣсколько лѣтъ живетъ онъ съ своей матерью, прижилъ съ ней четверыхъ дѣтей; но боги не забываютъ страшнаго преступленія; оно никому не извѣстно; но они хотятъ, чтобъ оно обнаружилось, — и потому посылаютъ на землю оивскую страшный моръ. Тутъ начинается трагедія. Въ Оивахъ, передъ царскимъ дворцомъ, на жертвенникахъ курятся оиміамы; на ступеняхъ алтарей си-

дять разнаго возраста оивяне съ молитвенными вѣтвями въ рукахъ и обнимаютъ жертвенники, какъ просящіе у боговъ защиты. Входитъ Эдипъ и съ нѣжнымъ участіемъ отца освѣдомляется у оивянъ, какія нужды привели ихъ къ его порогу. Одинъ изъ старцевъ говоритъ ему о страданіяхъ города и проситъ спасти ихъ городъ. — „О дѣти бѣдныя, отвѣчаетъ имъ Эдипъ, — знаю я, все знаю я, зачѣмъ вы пришли:

«Я знаю, что вы всѣ больны; но—дѣти,
Никто изъ васъ не боленъ такъ, какъ я:
Лишь за себя страдаетъ каждый въ васъ,
Душа-жь моя и за меня страдаетъ,
И за тебя, за весь народъ болить...
Не спящаго отъ сна вы разбудили,
Нѣтъ,—знайте, много я скорбѣлъ и плакалъ
И путь большой заботы ужъ прошолъ».

Изливъ такимъ-образомъ передъ народомъ свое доброе сердце, Эдипъ утѣшаетъ оивянъ по-крайней-мѣрѣ тѣмъ, что уже истекло время, необходимое для возвращенія вѣстника, котораго онъ послалъ въ „пифійскій домъ Феба“, спросить оракула, чѣмъ онъ можетъ извлечь городъ изъ этой бездны золь. Является этотъ желанный вѣстникъ, Креонтъ, шурина и дядя Эдипа, братъ Иокасты, и говоритъ: причиной бѣдствія — невинная кровь Лая, пролитая злодѣйскимъ образомъ и требующая отмщенія. Имя тайнаго злодѣя не произнесено, но если оивяне откроютъ его, — спасеніе ихъ несомнѣнно. Эдипъ, не подозрѣвая себя свершителемъ этого убійства, съ чувствомъ глубокаго омерзенія къ преступному дѣлу, клянется быть мстителемъ за кровь Лая. Между-тѣмъ, заботясь о народѣ, онъ обезпечиваетъ и самого себя:

Вѣдь кто убилъ его, тотъ такъ-же скоро

Меня убить захочетъ дерзкою рукой.

Народъ, успокоенный твердою рѣшимостью царя, мирно расходится по домамъ. Хоръ старцевъ приближается къ тимеле и поетъ пѣанъ въ честь побѣдителя Феба. Снова является Эдипъ и объявляетъ народу свою неизмѣнную волю: чтобъ тотъ, кто знаетъ, отъ кого погибъ Лай, — сказалъ всю правду. Проклятіе каждому, кто скрытъ-бы убійцу, награда и милость тому, кто откроетъ слѣды злодѣя, преступленіемъ своимъ погубившаго Оивы. Хоръ ничего не знаетъ; слышалъ онъ, что Лая убили какіе-то странники, да гдѣ ихъ искать? Онъ совѣтуетъ обратиться къ Тѣйрезію, вѣщему слѣпцу: потухшій взоръ старца провидитъ все. И вотъ, ведомый мальчиками, является вѣщій Тѣйрезій. Эдипъ спрашиваетъ объ убійцѣ Лая, но всевидящій слѣпнецъ, вмѣсто отвѣта, проситъ, чтобъ ему было позволено уйти домой; это будетъ лучше намъ обоимъ, говоритъ онъ царю. Но царь стоитъ на своемъ; необъяснимое упорство Тѣйрезія только раздражаетъ его любопытство. Наконецъ онъ грозитъ старику своимъ царскимъ гнѣвомъ: если ты не называешь убійцу, говоритъ онъ запальчиво Тѣйрезію, — такъ вѣрно ты самъ соумышленникъ убійства. Судьба какъ-будто и ждала этого фальшиваго шага. Какъ громъ раздается вѣщій голосъ прорицателя, повторяющій надъ головой Эдипа то проклятіе, которому онъ такъ торжественно обрекъ убійцу Лая. Царь не вѣритъ своему слуху; мысль его не можетъ вмѣстить въ себя подобнаго безсмыслия. Это измѣна, затѣянная Крѣономъ! думаетъ Эдипъ; онъ завидуетъ моему трону, онъ задумалъ меня свергнуть этимъ обманомъ и подкупилъ безчестнаго бродягу... Послѣдній разъ, именемъ боговъ, Эдипъ закли-

наетъ Тѣйрезія сказать правду, и къ ужасу своему слышитъ въ отвѣтъ новое прорицаніе, которое предвѣщаетъ ему участь слѣпца и изгнаніе. Терпѣніе царя истощается; не возвращаясь болѣе къ своимъ обвиненіямъ, онъ приказываетъ только Тѣйрезію немедленно уйти. Тѣйрезій и Эдипъ уходятъ. Хоръ начинаетъ опять двигаться около тимеле и поетъ свою пѣснь.

«Страшно меня, страшно смутилъ мудрый пророкъ.

Вѣрить ему? или не вѣрить?

Что мнѣ сказать, я не знаю.

Что теперь, и что было, не знаю,

И надежды невѣрной боюсь».

Крѣонъ выходитъ изъ дворца, жалуясь, что Эдипъ обвиняетъ его въ измѣнѣ. Крѣонъ честенъ и прямъ; тяжело ему носить незаслуженный упрекъ на своемъ добромъ имени; лучше смерть, чѣмъ недобрая слава. Является царь, предубѣжденный противъ своего шурина такъ сильно, что при одномъ его видѣ онъ выходитъ изъ себя и упорно продолжаетъ видѣть въ Крѣонѣ только соумышленника Тѣйрезія. Онъ не слушаетъ никакихъ оправданій, и изрекаетъ „смерть“, опираясь на свою волю и необходимость предупредить ковы тайныхъ злодѣевъ. Является Иокаста; хоръ надѣется, что она уладитъ споръ князей. И въ-самомъ-дѣлѣ, убѣжденный супругою, Эдипъ уступаетъ: Крѣонъ уходитъ безъ вреда и насилія. Царица спрашиваетъ о причинѣ спора, и услышавъ, что вѣщунъ обвинилъ Эдипа въ смерти Лая, наивно убѣждаетъ мужа не тревожиться словомъ прорицателей, потому-что „мудрости пророческой родъ смертныхъ причастенъ мало“: Лаю оракуль предсказалъ гибель отъ руки сына, а онъ вмѣсто того погибъ на

распутіи отъ руки неизвѣстныхъ разбойниковъ. При этихъ словахъ Эдипомъ овладѣваетъ темное предчувствіе. Но онъ не хочетъ оставлять ничего сомнительнаго; онъ хочетъ прямо взглянуть въ лицо истинѣ, хотя-бы она готовила ему страшный приговоръ. Вопросъ за вопросомъ, — и грозная тайна начинаетъ проявляться... Такъ; онъ убилъ старика... Но былъ-ли онъ сынъ Лая? пока еще Эдипъ не думаетъ этого, но уже боится, „чтобы пророкъ тотъ зрячій не былъ“... Сердце зрителя готовится къ самымъ тяжелымъ ощущеніямъ. Ясно, что надъ царственнымъ домомъ должно совершиться что-то недоброе... Но вотъ является вѣстникъ, кланяется царицѣ и говоритъ: не стало Полиба, и народъ въ Коринѣ назвалъ своимъ царемъ Эдипа. И вотъ по-видимому опять упраздняется сила предсказанія (что онъ убьетъ своего отца), которое грозно виситъ надъ головой Эдипа: „Пророчества боговъ! что вы теперь! Боясь его убить, Эдипъ съ нимъ встрѣчи избѣгалъ, а онъ не отъ него, а отъ судьбы погибъ“. Эдипъ радостно узнаетъ вѣсть о томъ, что пророчество бога не исполнилось; но многозаботный умъ его питаетъ въ себѣ еще одно опасеніе: умеръ отецъ, „но ложа матери какъ не бояться?“ Но вѣстникъ *успокаиваетъ* его: „Не бойся, Полибъ тебѣ такой-же отецъ какъ и я; а принялъ онъ тебя въ подарокъ изъ рукъ моихъ“. При этомъ вѣстникъ сообщаетъ ему и всѣ подробности, какимъ-образомъ онъ найденъ имъ и переданъ съ рукъ на руки Полибу. Однако любя знать правду, Эдипъ и здѣсь хочетъ добраться до корня, — но Иокаста, появившая это стеченіе обстоятельствъ, именемъ своихъ страданій умоляетъ его прекратить этотъ розыскъ. А Эдипъ понимаетъ это какъ порывъ женскаго тщеславія, и думаетъ, что жена его

боится срама, или какъ-нибудь откроется, что онъ сынъ раба. Иокаста уходитъ, унося сердце, полное безысходнаго отчаянія. Приходитъ настухъ, старый слуга Лая; коринѣскій вѣстникъ узнаетъ его. Сначала онъ отвѣчаетъ на вопросы царя уклончиво, но Эдипъ, съ бессмысленнымъ упорствомъ, строго приказываетъ ему говорить *все*, и царская угроза развязываетъ языкъ раба... Но съ первыхъ-же словъ его тайный ужасъ снова проникаетъ въ душу Эдипа. Передъ нимъ открывается цѣлая пропасть отчаянія; онъ видитъ ее; онъ уже понялъ, чего надо ждать отъ слѣдующихъ отвѣтовъ раба... еще въ его власти было-бы остановить роковое признаніе: ни кѣмъ не понуждаемый, кромѣ внутренняго голоса, онъ однако рѣшается, что долженъ выслушать все до конца... ничье имя не названо; но зритель не менѣе самого Эдипа понимаетъ, въ чемъ дѣло... «Все стало ясно Эдипу, — ясно, что онъ родился отъ тѣхъ, отъ кого не слѣдовало-бы родиться, жилъ съ тѣми, съ кѣмъ не могъ жить, убилъ того, кого не смѣлъ убивать»... Сказавъ это, онъ съ воплемъ бросается въ свой дворецъ. — Внимательный свидѣтель всѣхъ этихъ сценъ, хоръ совершенно въ правѣ спросить:

...Кто тотъ человекъ, и гдѣ онъ,
Кто-бы болѣе счастливымъ былъ,
Чѣмъ на столько, чтобы счастьемъ блеснуть,
И блеснувши упасть съ высоты?

Между-тѣмъ во дворцѣ совершается страшное дѣло. По обычаю греческой сцены, кровавая развязка драматическаго дѣйствія могла произойти не иначе, какъ за сценою. Только черезъ вѣстника знаетъ зритель о томъ, что случилось съ Эдипомъ и Иокастой, послѣ того, какъ

они сознали свое преступленіе: „Іокаста, въ безуміи
пробѣжавъ комнаты дворца,

Къ постели брачной прямо подошла,
Терзая волосы себѣ руками....

И плакала она

Надъ ложемъ тѣмъ, отъ мужа мужа гдѣ

И отъ дѣтей дѣтей опять родила...

Между-тѣмъ царь

Вдругъ вскрикнулъ,

Къ двойнымъ дверямъ онъ подскочилъ, сорвалъ

Запоръ и быстро въ горницу вбѣжалъ.

Тутъ видимъ мы висящую жену:

Опутала себя снуркомъ плетенымъ.

Ее увидѣвъ такъ, ужасный крикъ

Несчастный испустилъ и развязалъ

Снурокъ висящій; и когда она

Ужъ на полу лежала, страшно было

Намъ видѣть то, что было съ нимъ потомъ.

Сорвалъ онъ съ платья пражки золотыя

Которыми украшена была,

Схватилъ и билъ глаза свои онъ ими,

. поднявши вѣки.

Кровавые зрачки мочили щеки,

И кровь не каплями, ручьемъ лилась....»

Но вотъ Эдипъ снова выходитъ на сцену, издавая
жалостные вопли; хоръ соболазнуетъ ему: никого еще
не постигало такое несчастье. Но страдальцу предстоитъ
еще одно и послѣднее испытаніе: онъ встрѣчается ли-
цомъ къ лицу съ Крѣономъ. Болѣе, чѣмъ кто-нибудь,
Крѣонъ въ правѣ сказать ему много самой горькой
правды; съ тяжелымъ чувствомъ слышитъ Эдипъ его

приближеніе:—но въ Крѣонѣ живетъ правдивое сердце:
онъ пришолъ —

Не съ тѣмъ, чтобъ посмѣяться,

И не бранить за то, что прежде было.

При миролюбивыхъ словахъ Крѣона, Эдипъ начинаетъ
дышать свободнѣе... Онъ проситъ своего преемника ско-
рѣе выкинуть его изъ земли еивской, гдѣ онъ долженъ
бѣжать общества людей. Но Крѣонъ думаетъ, что Эдипъ
не въ правѣ распоряжаться своей участью, не посовѣ-
товавшись съ рѣшеніемъ боговъ. «Я давно изгналъ-бы
тебя, отвѣчаетъ онъ Эдипу,

Когда-бы не хотѣлъ узнать отъ бога,

Что дѣлать мнѣ велитъ своимъ онъ словомъ.»

Эдипъ не противорѣчитъ: онъ какъ-бы отрекся отъ
себя и говоритъ, что будетъ терпѣть все, чтобы ни
позначили ему боги. Онъ только умоляетъ Крѣона от-
дать послѣдній долгъ Іокастѣ. Потомъ онъ прощается
съ своими дочерьми, плачетъ объ нихъ и можетъ поже-
лать имъ только одного счастья, чтобъ имъ

Досталась лучше жизнь, чѣмъ жизнь отца.

Но Эдипъ уже не свободенъ болѣе даже въ сердеч-
ныхъ изліяніяхъ: строгое слово Крѣона полагаетъ имъ
скорый конецъ, и несчастный царь долженъ уйти въ
домъ, неохотно разставшись съ своими дѣтьми. Неот-
ступный свидѣтель судьбы Эдипа, хоръ, съ собствен-
ной ему наблюдательностью и практическимъ взглядомъ
на жизнь, дѣлаетъ отсюда для себя общій выводъ, что
ни одинъ смертный, кто-бы впрочемъ онъ ни былъ,
не можетъ похвалиться постоянствомъ счастья, пока не
достигнетъ мирно послѣдняго предѣла жизни:

«О сограждане, оивяне, вы смотрите, какъ Эдипъ, Унесенъ потокомъ бурнымъ страшной, бѣдственной волны. А умѣлъ рѣшать загадки, былъ мудрѣйшій изъ людей, И на счастье гражданъ нашихъ онъ безъ ревности смотрѣлъ. Потому, когда помыслишь ты о томъ послѣднемъ днѣ, То не прежде звать счастливымъ смертнаго рѣшишься ты, Какъ пройдетъ границу жизни, не извѣдавъ скорбныхъ бѣдъ».

Таковъ является передъ нами Эдипъ, „уничтоженный губительной рукой“ рока: судьба преслѣдуетъ его за грѣхи отцовъ, „потому-что каждое преступленіе отмщается на землѣ“. Но пораженный проклятіемъ, Эдипъ не ропщетъ, онъ самъ исполняетъ надъ собою страшную казнь: онъ понялъ, что его ненавидятъ боги, и добровольно отдается на ихъ волю. Въ этомъ нравственномъ величій мы видимъ успокоительное противодѣйствіе страшному насилию судьбы. Но одного еще не достаетъ намъ для полного успокоенія: судьба вѣчная и справедливая не можетъ упорствовать въ гоненіи невиннаго страдальца, не павшаго духомъ подъ мучительнымъ гнетомъ тяготящаго надъ нимъ проклятія: поэтъ угадалъ эту нравственную необходимость примирить съ богами человѣка, искупившаго свой невольный грѣхъ тяжкими страданіями,—и написалъ трагедію —

Эдипъ въ Колонѣ *. „Въ Эдипъ-царѣ были показаны послѣдствія, которыя Эдипъ навлекъ на себя и весь родъ страшными, хотя и неумышленными преступленіями: убійствомъ отца и кровосмѣсительнымъ бра-

* Н. Е. W. Hinrich: „das Wesen der antiken Tragödie an den beiden Oedipus und der Antigone burchgeführt“.

В. Водовозовъ: „Эдипъ въ Колонѣ“ (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, ч. СІ).

комъ съ матерью. Эти преступленія составляютъ мрачный задній планъ дѣйствія, трагическая сила котораго заключается въ постепенномъ разоблаченіи страшной тайны, въ постепенномъ переходѣ отъ самоувѣренности Эдипа, гордаго своимъ счастьемъ и безупречной жизнью до яснаго пониманія своей страшной судьбы и безнадѣжнаго сознанія своей виновности. Черезъ всю драму проведена возвышенная иронія надъ ограниченностью жизни человѣческой и быстрого паденія отъ призрачнаго счастья въ бездну отчаянія и страданій“.

Трагедія „Эдипъ въ Колонѣ“, напротивъ, проникнута мягкимъ, умѣряющимъ чувствомъ; въ ней какъ-будто уничтожается слѣпая сила рока оправданіемъ человѣка, на которомъ лежитъ бремя незаслуженной и наслѣдственной кары. Такова внутренняя противоположность этихъ двухъ драмъ. Едва поднялся,—или, по обычаю греческой сцены, — опустился занавѣсъ, зритель уже по различію одной внѣшней обстановки догадывается объ этой противоположности: въ „Царѣ“ онъ видѣлъ зачумленный городъ, дымящійся ошмѣомъ умиловительныхъ жертвъ, слышалъ стоны и вопли умирающаго народа; здѣсь—веселая, чудная картина, облитая яркимъ сіяніемъ солнца; вдали бѣлѣютъ аѳинскія башни, а за ними сверкаетъ лазурь моря:

Кругомъ олива, лавръ и виноградъ,
И цѣлымъ роемъ въ чашѣ соловьи
Щебечуть сладко....

Въ эту-то священную рошу карательницъ Эвменидъ приходитъ безпомощный старецъ, ведомый дочерью Антигоной. Здѣсь суждено ему умереть, примирившись съ богами. Приходятъ колонскіе старцы, и Эдипъ проситъ ихъ дать

ему пріютъ въ священныхъ окрестностяхъ Колона. Хоръ опасается, что онъ совершитъ неугодное богамъ, пріютивъ человѣка гонимаго и ненавидимаго богами. Эдипъ говорить, что конечно дѣла его страшны, — но онъ ихъ „выстрадалъ скорѣе, чѣмъ совершилъ“ — и чрезвычайно тонкой, совершенно аттической діалектикой внушаетъ хору сомнѣніе насчетъ того, будетъ-ли дѣйствительно благочестіе изгнать безвиннаго страдальца. Хоръ соглашается ждать рѣшенія правителя Аѳинъ, Тезея, и одинъ изъ старцевъ отправляется за царемъ. — Антигона видитъ женщину, приближающуюся къ нимъ на молодой, сицилійской лошади: это Исмена. Когда сыновья выгнали Эдипа изъ царства, Исмена осталась въ Фивахъ, чтобы наблюдать дѣла и тайкомъ извѣщать своего изгнанника-отца обо всемъ, что случится въ ихъ семействѣ. Теперь она пришла рассказать о бѣдѣ, постигшей сыновей Эдипа: сначала, помня какая гибель висѣла надъ несчастнымъ домомъ лабдакидовъ, они рѣшились отдать престолъ Крѣону, но теперь началось у нихъ междоусобіе, — Полинейка выгналъ Этеокла, а тотъ бѣжалъ въ Аргосъ, завелъ тамъ новое родство, собралъ дружину и ведетъ ее на священную землю кадмейцевъ. Оракуль возвѣстилъ, что спасеніе Фивъ зависить отъ Эдипа, живаго или мертваго: „въ немъ вся сила“. Крѣонъ понялъ эти слова чисто виѣшнимъ образомъ, и думая оказать услугу родинѣ, онъ хочетъ насильно овладѣть Эдипомъ. Но Эдипъ надѣется, что его не выдадутъ аѳинскіе люди. Онъ не хочетъ помогать тѣмъ, которые безъ состраданія оттолкнули своего отца. „Сначала, — говорить онъ,

...«въ тотъ самый день, когда еще
«Душа кипѣла и всего-бы слаще

«Была мнѣ смерть, побитому камнями,
«Никто въ желаньи этомъ мнѣ услуги
«Не оказалъ; а послѣ ужъ, какъ вся
«Затихла боль —

...Безжалостно изгнали

«Меня граждане изъ родной земли!»

Приходитъ Тезей и сейчасъ-же узнаетъ Лаева сына. Въ характерѣ правителя Аттики поэтъ изобразилъ идеалъ той человѣчности, которой такъ справедливо гордились аѳиняне его времени. Безъ всякаго существеннаго страха Тезей предлагаетъ Эдипу свою помощь, и предлагаетъ ее не потому, что ждетъ какой-нибудь пользы отъ присутствія Эдипа; нѣтъ, только потому, что Эдипъ — „человѣкъ“, да еще страдающій и безпомощный. Торжественно обѣщавъ ему свою защиту, Тезей уходитъ. Хоръ окружаетъ тесмеле и восхваляетъ Колону и Аттику (парадосъ). Приходитъ Крѣонъ со стражей, чтобы увести Эдипа въ Фивы; сначала онъ употребляетъ хитрость, и когда она не удалась — хочетъ употребить насиліе. Онъ увелъ Исмену, теперь люди его берутъ Антигону, наконецъ самъ онъ хватается лишеннаго опоры старца. Хоръ зоветъ на помощь. Тезей не вдалекѣ приносилъ жертву на морскомъ берегу, и услышавъ крики хора, рѣшается даже покинуть богослуженіе, чтобы сдержать данное слово: онъ поскорѣе велитъ всѣмъ, и коннымъ и пѣшимъ, оставивъ алтари, гнаться за похитителями дѣвушекъ. Въ этой жертвѣ Посейдону надо видѣть намѣреніе поэта показать, что формальное исполненіе обряда не есть еще истинное богопочитаніе: спасеніе невинно-погибающихъ есть безъсомнѣнія лучшая жертва богу, чѣмъ закланіе быковъ. А Крѣонъ, который въ припадкѣ гнѣ-

ва забылъ благоразуміе и одинъ, безъ стражи, остался спорить съ Эдипомъ — „другому ставя съѣти, самъ попался“: Тезей оставляетъ его у себя заложникомъ, пока не приведутъ дочерей Эдипа (2-й эпизодіонъ). Хоръ переносится воображеніемъ въ то мѣсто, гдѣ должны сойтись аѳиняне съ ѳиванцами...

«Настигли они, или нѣтъ?
Говоритъ мнѣ вѣщее сердце,
Что скоро избавятъ страдальцу бѣдную,
Отъ родныхъ потерпѣвшую тяжкое горе...
Рѣшить-же сегодня Зевесъ, что-нибудь да рѣшить.
Я пророчу счастливую битву;
О, еслибы могъ бысролетной, какъ вѣтеръ, голубой
Къ облакамъ воздушнымъ подняться
И окинуть взоромъ сраженіе!... (1-й стазимонъ).

Тезей возвращаетъ Эдипу доречей. Но едва удалился одинъ врагъ — является другой: сынъ Эдипа, Полинѣйкъ. Онъ пришъ къ отцу съ мольбой, но Эдипъ, уже напуганный приходомъ Крѣона, выражаетъ опасеніе, чтобъ и Полинѣйкъ не имѣлъ противъ него какого-нибудь злаго умысла. Но Антигона, „рожденная не для вражды, а для любви“, — настоятельно молить отца о снисхожденіи къ брату:

«Не будь такимъ, что самъ, познавъ добро,
«Добромъ воздать ужъ послѣ не умѣешь.»

Убѣжденный этими словами, Эдипъ склоняется, но проситъ не предавать его въ чужія руки. Тезей подтверждаетъ свое обѣщаніе и идетъ за Полинѣйкомъ (3-й эпизодіонъ). Хоръ сожалеетъ о старцѣ, дѣла котораго принимаютъ по-видимому такой неблагоприятный обо-

ротъ. Пѣснь его заключаетъ самыя безотрадныя мысли. Желать долгой жизни — совершенное безуміе. А

«Самый счастливый жребій — сорѣмъ не родиться.

«Послѣ-же этого лучшая доля:

«Появиться на свѣтъ, — и туда-же, откуда пришелъ,

«Возвратиться какъ можно скорѣе!

А придетъ безразсудная юность

Со своимъ легкомысліемъ, — сколько

У нея многотрудныхъ заботъ:

«Тутъ убійства, и распри, и битва, и зависть!

«Подъ-конецъ-же, досадная вѣкъ, безъ друзей

«И безъ силъ, настигаетъ тебя

«Нелюбимая старость, гдѣ собраны вѣ,

«Что ни-есть только бѣдъ вѣкъ на свѣтъ!» (2-й стазимонъ).

Приходитъ Полинѣйкъ, но приходитъ онъ не изъ любви къ отцу, а изъ ненависти къ брату. Приведенное имъ аргивское войско ужъ окружило ѳивы; онъ слезно молить отца принять участіе въ этой распрѣ и соединиться съ нимъ, потому-что Богъ сказалъ: «тотъ побѣдитъ, чью сторону приметъ старецъ». Тогда негодованіе Эдипа достигаетъ высшей степени; да это и понятно: сколькихъ жертвъ стоило ему загладить невольный грѣхъ, а неблагодарный сынъ думаетъ минутнымъ раскаянемъ исправить сознательно совершенное преступленіе, да еще соблюсти при этомъ свои личныя выгоды! Эдипъ раздражается страшными проклятіями сыну:

Сгинь съ глазъ моихъ, презрѣнный негодяй!

Я не отецъ тебѣ; неси проклятія,

Какія призвалъ на твою главу:

Чтобъ ни отчизны ты не взялъ копьемъ,

Ни возвратился въ Аргось междугорный, —

Но умеръ отъ родной руки, убивъ
Того, кѣмъ изгнанъ.»

Полинѣйкъ уходитъ, умоляя сестеръ не оставлять его безъ погребенія, если когда-нибудь сбудется грозное предсказаніе отца (4-й эпизодіонъ). Тяжкія проклятія, произнесенныя Эдипомъ противъ сына, молившаго о прощеніи и защитѣ,—смущаютъ благочестивыхъ старцевъ Колона. Они опасаются новаго несчастья. Но вотъ размышленія хора прерваны страшнымъ раскатомъ грома. Эдипъ проситъ позвать къ нему Тезея: крылатый огонь Зевса сведетъ страдальца въ Аидъ. Еще ударъ грома, могучій, неслыханный; хоръ приходитъ въ ужасъ: что-то будетъ? чѣмъ кончится? Перунъ божій не ударитъ напрасно; безъ бѣды не пройдетъ... Но Эдипу ясно божье знаменье: пришелъ конецъ его жизни, предреченный богомъ. Хоръ боятся, что недоброе что-нибудь навлечетъ чужеземецъ на ихъ родную землю. Онъ зоветъ царя. Приходитъ Тезей; гроза усиливается: таинственный громъ зоветъ Эдипа, и онъ, простившись съ милыми дочерьми и благословивъ пріютившій его городъ, исчезаетъ на вѣки въ священной рошѣ Эринній (5-й эпизодіонъ). Хоръ молится:

«Если смѣю богинѣ подземной
И тебѣ, царь тѣней, поклоняться съ мольбой,
Эдопей! Эдопей! умоляю:
Не прискорбной, не трудною смертью,
Пусть сойdetъ чужеземецъ
Къ скрывающей всѣхъ обители мертвыхъ,
Въ домъ подземный, стигійскій.
Послѣ многихъ, безвинно имъ принятыхъ мукъ,
Демонъ вновь справедливо его возвеличилъ.» (3-й стазим.)—

(Экзодъ). Мы уже замѣтили, что обычаи греческой сцены не допускали изображенія смерти передъ глазами зрителей. Поэтому является вѣстникъ и говоритъ, что Эдипъ только-что умеръ, но какой смертію,—этого никто не знаетъ, кромѣ Тезея:

«Ни огненою стрѣлою бога
Убить онъ не былъ, ни морскою бурей,
Что поднялась въ то время, увлеченъ.
Но можетъ-быть, раскрывшись дружелюбно,
Земное нѣдро приняло его.
Объ немъ не должно плакать. Безъ страданій
Онъ кончилъ жизнь, изъ смертныхъ самый дивный.»

Приходятъ дочери Эдипа и горько жалуются, не зная, какъ имъ теперь

«Жизни тяжелое бремя нести,
Въ дальнихъ блуждая земляхъ»...

Хоръ утѣшаетъ ихъ. Приходитъ Тезей и унимаетъ плачъ сестеръ: «гдѣ благо даровано богомъ, скорбѣть тамъ не должно»... Антигона и Исмена возвращаются въ Оивы, надѣясь какъ-нибудь отвратить грозящую братьямъ смерть. — Судьбу сыновей Эдипа мы уже знаемъ изъ трагедіи Эсхила — «Семь противъ Оивъ». Чѣмъ кончается трагедія Эсхила, тѣмъ начинается

Антигона *, чудное созданіе Софокла, послѣдній эпизодъ изъ преданія о судьбахъ Эдинова дома. — Раннимъ утромъ начинается дѣйствіе драмы. Крѣонъ, сей-

* Ср. А. Cappelmann: «Die weiblichen Charaktere bei Sophokles». 1843. В. Водовозовъ: «Антигона, трагедія Софокла» (статья въ Библіотекѣ для Чтенія, 1857, и переводъ въ журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, томъ ХСІ. С. Д. Шестаковъ: Антигона, пер. (От. Зап. Т. ХСV, I). А. Григорьевъ: Антигона, пер. (Б. для Чт.). С. Д. Шестаковъ: «Объ Антигонѣ» (От. Зап. ХСV, II).

часть-же послѣ бѣгства аргивянь, спѣшить черезъ герольда объявить своему народу, что трупъ Полинѣйка, врага отчизны, долженъ лежать непогребенный и неоплаканный; кто-же осмѣлится погребсти его, тотъ будетъ казненъ передъ лицомъ всего народа. Антигона, услышавъ это, сейчасъ-же рѣшилась, что дѣлать,—и ясно сознавая свой долгъ въ отношеніи къ мертвому, она совершаетъ свое благочестивое дѣло. «Нигдѣ столько, какъ въ Антигонѣ, не вѣтъ изъ-за древнихъ формъ предчувствіе иной жизни, чаяніе иной, спасающей вѣры. Антигона, идущая на смерть за идею, а не за чувство, возвышающаяся почти до христіанскаго понятія долга, протестуетъ противъ олимпійскихъ боговъ столь-же сильно, — если еще не сильнѣе, — какъ умирающій Сократъ». (Прологъ 1—99): Антигона ведетъ сестру свою Исмену за дворцовыя ворота Кадмеи, сообщаетъ ей о повелѣніи новаго царя и о своемъ намѣреніи похоронить трупъ Полинѣйка, — твердо рассчитывая на дѣятельную помощь сестры. Но Исмена, боязливо покорная вѣшнему закону, совѣтуетъ Антигонѣ не начинать такого дѣла, которое неминуемо влечетъ за собою смерть постыдную: «мы женщины, говорить она —

И родились не съ тѣмъ, чтобы съ мужами
Вступать въ борьбу...

Тогда Антигона ужъ и сама отрекается отъ участія сестры и хочетъ одна идти погребать брата:

Чтобъ ни было... но смерти благородной
Отнять судьба не можетъ у меня.

«Ну, если такъ, отвѣчаетъ ей Исмена, иди: и безрасудно,

Но вѣрно служишь ты друзьямъ усопшимъ.

Послѣ этого она уходитъ во дворецъ, а Антигона — наѣво, въ поле. — И вотъ ссора, возникшая при исполненіи священнѣйшей обязанности противъ умершаго брата, навсегда раздѣлила двухъ послѣднихъ изъ проклятаго рода Лабдакидовъ. Ко всѣмъ бѣдамъ, на которыя жалуется Антигона въ началѣ своего перваго монолога, присоединилась еще неожиданная размолвка сестеръ: два начала трагедіи — право божеское и человѣческое, съ самаго начала являются въ непримиримомъ столкновеніи. (Парадось, 100—161). — Хоръ старцевъ выступаетъ изъ западнаго входа, привѣтствуя восходящее солнце, око золотого дня, видѣвшее какъ рать аргивская была разсѣяна въ бѣгствѣ. Паль драконъ аргивскій, потому-что

Зевесъ всѣмъ гордящимся силой своей
Врагъ издавна былъ...

Всѣ вожди принесли свои трофеи въ храмъ Зевса; только два несчастные брата пали въ единоборствѣ. Но отгоняя отъ себя память о мрачномъ дѣлѣ, и предавая забвенію кровавыя распри, хоръ идетъ благодарить Вакха: тогда корифей указываетъ на приближающагося Крѣона новаго царя страны, сына Менекея, и старцы не могутъ понять, зачѣмъ онъ такъ торжественно созвалъ ихъ на совѣтъ, черезъ своего глашатая (1-й эпизодіонъ). Но вотъ является великолѣпный сынъ Менекеевъ съ своей мудрой рѣчью: только-что облеченный властью, онъ говоритъ о томъ, каковъ по его мнѣнію долженъ быть правитель: «никогда не предпочтеть онъ родство и дружбу выгодамъ страны», поэтому-то онъ и приказалъ бросить трупъ Полинѣйка на сѣденіе псамъ:

Да не будетъ чести
Преступнику — удѣла благородныхъ,

А кто нашъ городъ любить — и живаго
И мертваго равно я буду чтить.

Но едва кончилъ Крэонъ, какъ является сторожъ, и задыхаясь отъ страха и усталости, робко и нехотя, говорить, что онъ принесъ не веселую вѣсть. Послѣ долгихъ оговорокъ, онъ наконецъ объясняетъ, что кто-то совершилъ погребальный обрядъ надъ трупомъ. Кто-же это? Хоръ не думаетъ, чтобъ нашелся безумецъ, желающій умереть; но ему давно приходитъ на мысль, не боги-ли ужъ вмѣшались въ это дѣло? — первый, тонкій, невольный намекъ Крэону на то, что его рѣшеніе противорѣчитъ божественному закону объ уваженіи къ мертвымъ. Грубо и высокомерно Крэонъ отвѣчаетъ хору, что боги не могли,

Какъ за благое дѣло
Погибшаго, — того похоронить,
Кто шелъ огнемъ и молотомъ разрушить
Колоннами обставленные храмы,
Кто дерзко шелъ ихъ жертвы истребить,
Страну сгубить, законы ниспровергнуть...
Гдѣ слышалъ ты, что боги чтутъ злодѣевъ?

Высокомѣріе ослѣпило его дотого, что онъ обвиняетъ въ подкупѣ невинныхъ гражданъ и страшаетъ жестокой казнью сторожа. Но сторожъ очень ловко защищаетъ себя и по уходѣ Крэона благодарить боговъ, что сверхъ всякаго ожиданія отдѣлался отъ гнѣвнаго царя однимъ страхомъ. Хоръ остается одинъ и поетъ (1-й стазимонъ, 332 — 375):

Сильнаго много въ мірѣ есть, но сильнѣй человѣка нѣтъ.
И подъ бурными вѣтрами — онъ плыветъ по сѣдымъ
волнамъ,

Плыветъ — и взлудое море
Шумитъ вокругъ него,
И высшую изъ всѣхъ боговъ онъ мучитъ
Вѣчную, неустоящую землю:
Изъ года въ годъ по ней катятся плуги, и лошадь
Не даетъ землѣ покоя...
И рѣчь, и воздушную мысль
Придумалъ, и правы нашелъ,
Что блюдутъ города; избѣгать онъ знаетъ
Суроваго холода,
Дождей и воздушныхъ стрѣлъ:
Все придумалъ, безотвѣтнымъ
Не застанетъ его время.
Лишь ада избѣжать не можетъ онъ —
Но отъ болѣзней трудныхъ
Спасеніе онъ нашелъ.»

Разсуждая такимъ образомъ о всепобуждающемъ искусствѣ человѣка, хоръ невольно отказывается отъ своей прежней мысли, и уже почти готовъ былъ согласиться съ Крэономъ, что не божескія силы, а хитрости гражданъ принимали участіе въ погребеніи трупа. Поэтому онъ осуждаетъ нарушителей законовъ отчизны:

Творящій злое ненавистенъ
Родной странѣ. Да не раздѣлитъ онъ
Со мною хлѣбъ мой и очагъ:
Будь онъ проклятъ!

Но вотъ, къ величайшему своему удивленію, старцы видятъ, что ведутъ Антигону (2-й эпизодіонъ 384 — 581): «она совершила преступленіе». Между-тѣмъ изъ дворца выходитъ Крэонъ, и сторожъ, въ восторгѣ отъ своей ловкости, рассказываетъ велерѣчиво и красно, что

онъ захватилъ Антигону при самомъ трупѣ Полинэйка.
«Тутъ ужъ мы не спорили, кому идти къ тебѣ съ этой
вѣстью, прибавляетъ сторожъ:—находка была *моя*»....
Какой ударъ самолюбію мудраго правителя! онъ былъ твер-
до увѣренъ, что сами граждане, *весь* народъ совершилъ
погребеніе опальнаго трупа,—и вдругъ оказывается, что
его племянница, слабая женщина, *одна* пошла на пе-
рекоръ его власти. Очень естественно, что сначала Крѣ-
онъ не вѣритъ словамъ сторожа:

Ты понялъ-ли, смотри,

И такъ-ли ты сказалъ, что говоришь?

Но самодовольный сторожъ обстоятельно рассказываетъ,
какъ было дѣло:—

. Только я вернулся,
Испуганный угрозами твоими, —
Тотчасъ весь прахъ мы съ мертвого смели,
Что былъ на немъ,—и тлѣющее тѣло
Открыли все; на высотѣ холма
Потомъ мы сѣли такъ, чтобъ вѣтеръ намъ
Не могъ донести гнилаго трупа запахъ...
Когда-жъ среди небеснаго эфира
Сіяя солнце стало: зной и жаръ
Насъ мучили... и воздухъ душенъ сталъ.
Но вдругъ подулъ съ полудня страшный вѣтеръ,
Завыла буря, встала пыль столбомъ,
Засыпавъ прахомъ поле; ураганомъ
Всѣ кудри луговаго лѣса разметало;
Закрывъ глаза, мы переждали бурю,
Когда-жъ она, по времени, утихла,—
Явилась дѣвушка и звывала горько:
То былъ печальной птицы острый крикъ,

Какимъ кричить, когда свое гнѣздо
Найдетъ осиротѣлымъ, безъ птенцовъ...

Спокойно выслушавъ рассказъ сторожа до конца, Крѣ-
онъ спрашиваетъ Антигону:

«А ты, — ты, что главой къ землѣ поникла,

Ты сознаешься-ли, — что ты виновна?»

— «Сказала разъ я, и не отпираюсь» —

холодно отвѣчаетъ Антигона. Короткость ея отвѣта со-
ставляетъ поразительный контрастъ съ краснорѣчивой
болтливостью сторожа. Отпустивъ сторожа, Крѣонъ съ
негодованіемъ спрашиваетъ далѣе:

Скажи короче:

Ты знала вѣдь о нашемъ повелѣніи?

Антиг. — Да, знала; какъ-же нѣтъ? То знали всѣ!

Крѣонъ. — И ты дерзнула мой законъ нарушить?

Тогда высказывается гордая дочь Эдипа: *коротко*
говорить она, но съ достаточной силой, чтобъ разрушить
разомъ всю блестящую иллюзію власти, которой окру-
жилъ себя высокомерный правитель Кадмеи: «твой за-
конъ не есть еще законъ непреложный. И не на столько
онъ силенъ, чтобъ для него я не дерзнула преступить
вѣчный законъ боговъ, не сегодня и не вчера писан-
ный. А что я умру—такъ я это знала и прежде, безъ
твоего закона. Да кто страдаетъ такъ, какъ я, тотъ
ничего не теряетъ, умирая преждевременно. Видѣть трупъ
брата неоплаканнымъ, — вотъ что ужасно, а не смерть.
Поступокъ мой только безумцу можетъ казаться безум-
нымъ». — Хоръ не можетъ не замѣтить, что

Неукротимый нравъ отца въ ней видѣнъ:

Она бѣдамъ и шагу не уступитъ.

Зато какъ слабъ теперь Крэонъ, съ своей нескрываемой злобой, какъ ничтоженъ онъ передъ гордымъ величіемъ этой женщины, — онъ, который хвалится теперь своей силой «ломать желѣзо» и умѣньемъ

Упрямого коня

Коротенькой уздечкой укротить ...

Въ своей мелочной, завистливой злобѣ онъ не позволяетъ Антигонѣ даже и гордиться своимъ благороднымъ поступкомъ; онъ всячески старается унижить ее въ глазахъ хора, который уже начинаетъ сочувствовать непреклонной дочери Эдипа:

«Кто рабъ другимъ, не слѣдъ тому гордиться».

Антигонѣ противна длинная рѣчь властителя: „что тутъ говорить! или ты хочешь чего-нибудь еще, кромѣ моей смерти?“ — О, больше ничего; отвѣчаетъ Крэонъ: довольно и этого. — Антигона проситъ умертвить ее немедленно: „имя мое будетъ прославляться за то, что я положила въ гробъ роднаго брата; и если-бъ страхъ не сковалъ уста старцамъ, они сказали-бы, что и имъ это любо“. Но хоръ, какъ благоразумный читатель закона, не можетъ открыто осудить своего царя. Крэонъ понимаетъ это, и съ злобнымъ торжествомъ указываетъ Антигонѣ, „что никто изъ камянъ не мыслитъ такъ какъ она, и не считаетъ справедливымъ воздавать одинаковыя почести врагу и защитнику отчизны“. Вражды нѣтъ за гробомъ, отвѣчаетъ Антигона. Адесъ ровняетъ всѣхъ. Да и что мнѣ за дѣло до того, кто врагъ, кто другъ: оба они мои единокровные братья:

«Я рождена не для вражды взаимной,

А для любви!»

На этотъ доводъ Крэонъ отвѣчаетъ глухимъ сарказмомъ:

«Ну, такъ люби, кого ты хочешь — въ преисподней.

Я управлять женѣ собою не позволю».

Между-тѣмъ хоръ (526, слѣд.) извѣщаетъ о приближеніи плачущей Исмены. Добрая Исмена наконецъ поняла, что не схоронивъ брата, она сдѣлала постыдное дѣло; но не позоръ страшенъ ей, а вѣчная разлука съ милой сестрой, нераздѣльнымъ другомъ во всѣхъ бѣдствіяхъ... Она объявляетъ себя соучастницей сестры и хочетъ умереть съ нею; но Антигона съ неумолимой холодностью отталкиваетъ сестру:

«Нѣтъ, не люблю я тѣхъ, кто любить на словахъ...

Ты не умрешь со мной; того своимъ

Не слѣлаешь, къ чему не прикасалась....

И.—Но что за жизнь я буду безъ тебя влечить?

А.—Спроси у Крэона: вѣдь ты о немъ

Одною всегда печальницей была.

И.—Зачѣмъ-же ты меня безъ пользы мучишь?

А.—И больно мнѣ, что надъ тобой смѣюсь....

И.—О горе бѣдной мнѣ! Твою судьбу

Уже-ли я съ тобой не раздѣлю?

А.—Но жить хотѣла ты; я — умереть....

Молчаливо слушаетъ Крэонъ этотъ великодушный споръ о томъ, кому любить больше, и не понимая его, называетъ обѣихъ сестеръ безумными. Тогда Исмена искусно вводитъ мотивъ, еще до-сихъ-поръ никѣмъ не затронутый: „убивая Антигону, Крэонъ убиваетъ невѣсту своего сына“. Но жесткую душу Крэона уже не можетъ поколебать ничто; онъ грубо отвѣчаетъ Исменѣ, что „для пахаря другія будутъ нивы... и адесъ самъ разрушитъ этотъ бракъ“. Въ заключеніе онъ насмѣшливо приказываетъ запереть сестеръ покрѣпче: „и смѣльчаки

бѣгутъ, когда увидятъ, что ада богъ подходитъ близко къ жизни (2-й стазимонъ, 582—630). Теперь мы дошли до момента, съ котораго всѣ поступки Крѣона принимаютъ характеръ слѣпой, почти безсознательной жестокости. Поэтому хоръ удивляется непреодолимой силѣ *ἄτη*. Если оно разъ заразить какой-нибудь домъ, то возобновляется изъ поколѣнія въ поколѣніе, пока не истребитъ совсѣмъ. Такъ въ домѣ Эдина погибаетъ его послѣдняя отрасль отъ безразсудства и ослѣпленія. Но вдругъ мрачный мотивъ хора проявляется. Хоръ призываетъ Зевса, вѣчно-юнаго, вѣчно-могучаго царя свѣтлосарнаго Олимпа, и не удивляется, что смертный безсиленъ противъ такого могучаго властителя. Но безумная дерзость людей иногда возстаетъ противъ непреложнаго божественнаго закона; тогда Зевсъ дотога омрачаетъ разумъ мятежника, что все злое кажется ему добромъ, и онъ совершаетъ *ἄτη*, — безсознательный грѣхъ, который навлекаетъ проклятіе божіе изъ рода въ родъ:

«И безъ бѣды ужъ долго тогъ не будетъ».

(3-й эпизодіонъ 631—780). Приходитъ Гэмонъ, сынъ Крѣона, достойный женихъ Антигоны, благородный гражданинъ, защищающій права Оивъ, подобно Антигонѣ, отстаивавшей права боговъ. Крѣонъ всѣми силами своей умной диалектики старается оправдать свой поступокъ въ глазахъ сына; его рѣчь о законности и порядкѣ дѣйствительно прекрасна, и даже хору кажется, что „онъ говорить премудро“. Сынъ отвѣчалъ ему кротко и благоразумно, что граждане рошцутъ на несправедливый поступокъ съ Антигоной; онъ указываетъ отцу на опасность, которая грозитъ правителю, не внимающему совѣту гражданъ, — благоразуміе есть высшее благо, изъ

всѣхъ дарованныхъ намъ богами. — Но именно этого-то качества и не имѣлъ Крѣонъ. Начинается жаркій споръ. Хоръ позволяетъ себѣ напомнить царю, что можетъ быть было-бы хорошо послушать „разумной рѣчи“ Гэмона. Но царю нѣтъ никакого дѣла до мнѣнія гражданъ. Тиранъ не можетъ допустить даже мысли, что онъ долженъ учиться управлять у города, „его собственности“. Въ этомъ спорѣ совершенно выясняется жолчный характеръ Крѣона: „Клянусь Олимпомъ! безнаказанно я никому не позволю смѣяться надъ собой: сейчасъ-же тащите на смерть негодницу, въ глазахъ ея жениха“! Ясно, что въ немъ дѣйствуетъ не уваженіе къ закону. — „Ты никогда больше не увидишь меня, отецъ мой“! гнѣвно говоритъ Гэмонъ и убѣгаетъ въ поле. Крѣонъ непреклоненъ. Онъ приказываетъ отвести Антигону въ погребальную пещеру Лабдакидовъ и схоронить ее тамъ живую; а чтобъ на городѣ не лежало пятна убійства — *μίσγρη*, — онъ велитъ поставить въ склепъ немного пищи: „пусть, говоритъ онъ, спасаетъ ее тамъ богъ Ада, — единый, чтимый ею богъ; а не спасетъ — такъ пусть она узнаетъ хоть и позднею — что безумно

Служить тѣнямъ, покоющимся въ адѣ».

Хоръ не можетъ освободиться отъ впечатлѣнія, производимаго на него Гэмономъ. Онъ воспѣваетъ силу всепобѣждающей любви (3 стаз. 781—805) и обливается слезами при видѣ Антигоны (4 эпиз. 806—843), которую ведутъ къ ея могилѣ. Антигона, въ комматической пѣсни (*Κομμάτικα*) обращается къ гражданамъ родной земли и зоветъ ихъ быть свидѣтелями ея послѣдняго шествія безбрачною, безрадостною, не съ подвѣшечными пѣснями, въ брачный покой Ахерона. — „Вольная,

живая, славой покрытая и громкой хвалой превознесенная, нисходишь ты въ глубокий покой смерти:“ — такъ утѣшаетъ хоръ. — „Слышала я о горестной участи Нюбы, дочери Тантала: обнялъ ее каменный утѣсь, словно плющъ, и дождемъ омывается она, и съ груди ея не сходить вѣчный снѣгъ.... вотъ и мнѣ такое-же ложе готовить судьба“. — Хоръ осуждаетъ ее за это сравненіе, потому-что Нюба была божественнаго происхожденія, а смертные не должны равнять себя съ богами. Горько Антигонѣ, что надъ ней насмѣхаются суровые старцы:

«Увы мнѣ: — смѣтаетъ вы.... но ради безсмертныхъ, зачѣмъ
Надъ живою еще,
Вы насмѣхаетесь?..»

Она зоветъ весь городъ родительскій въ свидѣтели того, какъ несправедливо погибаетъ. Но неумолимый въ своемъ уваженіи къ закону, хоръ отвѣчаетъ:

«Далеко зашла ты, дитя —
И дерзкимъ поступкомъ своимъ
Ты оскорбила глубоко
Вѣчный тронъ Дике» (богиня Правды)....

Однако онъ смягчаетъ свой приговоръ, прибавивъ: „потому-что грѣхъ (ατι) лежитъ на всемъ родѣ Эдипа“. Но желая утѣшить несчастную, хоръ „пробудилъ сильнѣйшія изъ ея страданій: память отца несчастнаго и память о жребіи насъ, Лабдакидовъ“.... И вотъ ведутъ ее въ „неизбѣжный путь, не оплаканную, безъ супруга жившую“.... Вдругъ раздается свирѣпо-насмѣшливый голосъ Крѣона, и его пошлый сарказмъ страшнымъ диссонансомъ звучитъ въ этой глубоко-трогательной сценѣ:

«Ну, знаете? сказать-ли правду? еслибъ

«Нашъ плачь и вопли замѣняли смерть,

«Никто-бъ не кончилъ ихъ во вѣкъ! что стали?» —

Такъ потѣшается онъ своею властью! Слѣдуетъ предсмертный плачь Антигоны (891—928).

О гробъ! о ложе брачное, подземное,
Жилище вѣчное! въ тебѣ съ мойми я
Соединюсь, которыхъ множество
Перифонея въ царствѣ мертвыхъ приняла.
И я — послѣдняя, и я — несчастная,
Иду туда-же къ нимъ до срока вѣчнаго...

И не оплакана — должна несчастная,
Идти я за-живо въ страну тѣней!
Къ чему-же съ воплемъ мнѣ звать къ богамъ теперь?
Кого молить изъ нихъ? когда похвальное
Здѣсь, на землѣ, считаютъ преступленьемъ!..»

Но сейчасъ-же минутный ропотъ ея противъ боговъ смѣняется словомъ любви и смиренія:

«Но если ужъ богамъ угодно это,
То казнь терпя, я признаю себя
Виновно страждущей; когда-же судьи
Грѣшатъ — да не потерпятъ сами больше зла,
Чѣмъ сколько мнѣ творятъ несправедливо».

Крѣонъ опять торопитъ стражей. Въ послѣдній разъ хоръ рѣшается оправдывать поступокъ своего царя:

«Не стану поступокъ ея одобрять,
Пусть совершится судьба ея!»

Послѣднее слово, произнесенное Антигоной передъ сонмомъ старѣйшинъ, было — „благочестье“:

«О городъ родной на полѣ Кадмейскомъ,
И вы, о домашніе боги!...
Все кончено... вотъ ужъ влекутъ меня...
Старѣйшины Оивъ!... единая я
Изъ роду царей вашихъ... что я терплю?
Отъ кого?... и за что?...
За то, что чтла благочестье?»

Такъ оставляетъ Антигона сцену, съ тою-же непоколебимою твердостью, съ какой вошла на нее въ прологъ (4-й стаз. 944—987). Хоръ провожаетъ Антигону погребальной пѣснью: „воля рока страшна—силой незыблемой“. Эту основную мысль хоръ, — тотъ самый хоръ, который прежде такъ холодно замѣтилъ Антигонъ, что сравненіе ея съ Нюбой неумѣстно, — развиваетъ теперь изъ трехъ примѣровъ: подобно Антигонѣ пострадали Даная, Ликургъ и Финейды; всѣ они заперты были въ каменные темницы, но Даная удостоилась брачнаго союза съ Зевесомъ, и Финейды были дочери бога. Слѣдовательно хоръ какъ-будто оправдываетъ Антигону; въ послѣднемъ примѣрѣ явный намекъ на Крѣона, который поправилъ ногами священные законы: потому-что Ликургъ, еракійскій царь, былъ заключенъ въ пещеру и уморенъ голодной смертью за свой дерзскій нравъ и оскорбленіе, нанесенное Вакху. Въ слѣдующей сценѣ преступникъ уже уличенъ окончательно (5-й эпизодіонъ 988—1114). Является Тѣйрезій, въ полномъ величій данной ему отъ боговъ власти, и съ кротостью, свойственной своему высокому сану, увѣщаетъ царя, рассказывая о томъ, что боги не принимаютъ ни жертвъ, ни молитвъ:

Не воспылазъ отъ жертъ
Гефестъ; но влажный жиръ костей на пеплѣ

Дымась и брызгая, растаялъ весь,
И разлетѣлась жолчь...

Черезъ тебя

Такъ боленъ городъ нашъ:
Эдипа сынъ, несчастно павшій, сталъ
Добычей птицъ и псовъ, и снѣдью той
Полны всѣ жертвенные очаги.
И жертвенныхъ молитвъ съ огнемъ костей
Отъ насъ ужъ боги не пріемлютъ нынѣ;
И мертваго насытятся жаркой кровью,
Лишь крикъ бѣды всѣ птицы издають»...

Какъ искренній другъ царскаго дома, онъ совѣтуетъ Крѣону поскорѣй загладить свою ошибку и похоронить Полинэйку:

«Убитаго убить какая храбрость?»

Но ужъ окончательно отуманился умъ Крѣона; онъ возвращается къ своей прежней мысли о подкупѣ: «на золото вы падки, вѣщуны!» Царь не останавливается даже и на этомъ. Насмѣявшись прежде надъ богами аде-са, онъ съ какой-то неистовой дерзостью конщунствуетъ теперь противъ самого Зевеса:

Нѣтъ, — еслибъ даже Зевесовы орлы,
На части растерзавъ, трупъ Полинэйка
Къ престоламъ бога вздумали поднять —
Не побоюсь такого святотатства,
И все-таки не дамъ ему могилы!

Тогда гнѣвный старецъ предвозвѣщаетъ ему страшную кару: «не много пройдетъ времени, говоритъ онъ,

«И въ замѣну мертвыхъ

Единымъ изъ твоихъ единокровныхъ
Ты самъ воздашь Андѣ мертвецомъ:

За душу той, которую безчестно
Въ гробницѣ скрылъ, за отнятый тобою
У адеса несчастный трупъ, который
Безбожно бросилъ ты, лишивъ могилы,
Такъ сдѣлано насильственно тобою —
На что нѣтъ права даже и богамъ»...

«Пройдетъ немного дней — въ твоёмъ дому
Мужей и жонъ услышишь плачь и вопли...
Враждебно всё возстанутъ города,
Гдѣ псы, иль птица хищная, иль звѣрь,
Клочки терзая трупа, принесли
Нечистый запахъ въ самыя жилища»...

Ужасъ овладѣетъ хоромъ послѣ ухода вѣщаго старца:
всѣ знаютъ, что Тѣйрезій никогда не пророчествовалъ
лживо. Самого цара уже беретъ раздумье: «я пораженъ,
говорить онъ, — но....

«Мнѣ больно уступить — но также страшно

Упорствомъ гнѣвъ навлечь боговъ безсмертныхъ...

«Подумать нужно, Крэонъ, Манекеевъ сынъ», совѣтуетъ
хоръ. Но гордый сынъ Манекеевъ потерялъ уже всякую
способность думать. Какъ неразумный ребенокъ, онъ
спрашиваетъ у старцевъ, «что ему дѣлать?» — и по пер-
вому слову хора, совѣтъ котораго онъ когда-то ставилъ
ни во что, спѣшитъ освободить Антигону.... Но передъ
последнимъ шагомъ, его еще разъ беретъ жалкое раздумье:

«Не лучше-ль жить,

Храня ужъ разъ поставленный законъ?»

Хоръ надѣется, что Крэонъ не опоздаетъ съ своимъ
раскаяніемъ, и въ живой, гипорхематической пѣснѣ
(1115 — 1152) обращается къ Вакху, покровителю

Оливъ, и молить его «сойти шагами тихими съ высотъ
Парнасса», защитить отъ бѣды, грозящей городу. Не-
посредственно за этой пѣснью слѣдуетъ Экзодосъ (1155
— 1353) послѣдняя часть драмы. Является вѣстникъ
(причину его появленія мы уже знаемъ), и длинной
вступительной рѣчью подготавливаетъ зрителей къ траги-
ческому извѣстію: «погибъ Гэмонъ»... Но тутъ являет-
ся новое лицо. Эвридика, жена Крэона, собралась въ
храмъ богини; вдругъ, въ то время, когда она развя-
зывала ремень у запертой двери, ее поражаетъ страш-
ная вѣсть о семейномъ горѣ... Дрогнули колѣна у бѣд-
ной матери... онѣмѣла она и упала на руки служанокъ,
но собравшись съ духомъ, рѣшается выслушать рассказъ
вѣстника о смерти сына. Вотъ что узнала она: «стража
пришла съ Крэономъ туда, гдѣ лежало нагое тѣло По-
линэика, растерзанное псами; молясь подземнымъ богамъ,
омывали его священнымъ омовеніемъ, жгли на свѣжихъ
сучьяхъ и насыпали высокій холмъ изъ родной земли.
Потомъ отправляются къ пещерѣ. Издали слышны вопли.
Крэонъ видитъ, что пещера разломана, а въ глубинѣ
ея виситъ трупъ Антигоны, въ петлѣ, сдѣланной изъ
повязки. Надъ трупомъ ея неутѣшно плачетъ Гэмонъ.
Увидѣвъ его, Крэонъ говоритъ, тяжело вздыхая: — не-
счастный, что ты сдѣлалъ? что ты сдѣлать хочешь?
выйди оттуда, милое дитя! молю тебя! — Но сверкнувъ
на отца дикимъ, блуждающимъ взоромъ, Гэмонъ бро-
сается на него съ мечомъ. Крэонъ отражаетъ ударъ, и
Гэмонъ въ негодованіи вонзаетъ мечъ глубоко въ свои
ребра. Но и умирая,

Онъ ослабѣвшими руками обнявъ трупъ

И вздохъ послѣдній, вздохъ кровавый испустилъ

На блѣдныя ланиты мергвой дѣвы»...

Так подлѣ трупа трупъ лежитъ, онъ бѣдный
Принявъ въ Гадессъ свадебное ложе
И доказавъ, какое зло большое
Отъ безразсудства истекаетъ людямъ.»

Эвридика исчезаетъ, не сказавъ ни слова. Это пугаетъ хоръ: ему странно, что вдругъ ушла она,

Ни одного не молвивъ слова»...

Вѣстникъ думаетъ, что она просто не хотѣла плакать передъ цѣлымъ городомъ и ушла домой рыдать о сынѣ: „разсудокъ запретить ей погубить себя“. Не знаю, отвѣчаетъ хоръ:

«Только и молчанье тяжело

Порой, не меньше самыхъ громкихъ воплей.

И дѣйствительно, молчаніе говорить здѣсь болѣе, чѣмъ въ иномъ случаѣ самые громкіе вопли... Но вотъ является на сцену Крэонъ съ трупомъ сына, и униженный, убитый, сознаетъ наконецъ свое неразуміе и самъ называетъ себя убійцей сына.

«Какъ поздно, вижу я, узнавъ ты правду»...

благоразумно замѣчаетъ хоръ; и Крэонъ не отрицаетъ этого... Но вотъ является слуга съ вѣстью о новомъ горѣ:

«Твоя супруга бѣдная погибла

Отъ материнской скорби... вотъ и трупъ!»

Двери дворца открываются, — и трупъ видѣнъ...

О горе мнѣ —

Вотъ новую бѣду я вижу, бѣдный!

Что-же ждетъ меня впереди еще?..

Еще! — горе, до конца горе. Онъ долженъ выслушать еще рассказъ о смерти Эвридики, долженъ узнать, что

«Пронзивши грудь мечомъ у алтара,

Она упала, — и сверкая дикими очами,
Тебя сыноубійцей называла»...

Страшные, дикіе вопли вырываются изъ груди Крэона. Обоюдострымъ мечомъ велитъ онъ пронзить себя, или хотя увести его, безумца, изъ совѣта старѣйшинъ, такъ какъ „не живой ужъ онъ, и ничто теперь“.

«Отведите меня! я ничто теперь!..

И не знаю я, на кого взглянуть,

Гдѣ совѣтъ найти; все вокругъ меня,

Все разрушено. На главу мою

Рокъ ужасный палъ, поразилъ ее».

Это послѣднія слова Крэона. Его уводятъ. Звучной анапестической строфой хоръ заключаетъ драму, совѣтуя не предаваться бесполезному горю, а помышлять объ одномъ настоящемъ. Вотъ заключительныя слова хора, гдѣ въ немногихъ словахъ выражена идея всей драмы:

Мудрость выше всего: счастье первое — въ ней,

И боговъ оскорблять намъ не должно ни въ чемъ.

А надменная рѣчь горделивыхъ людей

Судьбы страшную казнь призываетъ на нихъ..

И въ лѣтахъ наконецъ

Они учатся мудрыми быть.

Совершенство въ искусствѣ и поэзіи кто-то сравнилъ съ вершиной крутой горы, гдѣ вкаченная тяжесть не можетъ держаться долго, но сейчасъ-же съ неудержимой силой стремится внизъ по другому скату. Это движеніе внизъ, по законамъ тяготѣнія, происходитъ легко и быстро, тогда-какъ подниманіе массы вверхъ требовало долгаго времени и большихъ усилій. Совершенно то видимъ мы теперь въ трагедіи грековъ. Софокль былъ представителемъ высшей точки совершенства греческой

поэзии. Въ трагикѣ Софокла отразился, какъ мы уже сказали, блестящій вѣкъ Перикла, — вѣкъ, въ которомъ государство достигло высшаго могущества политическаго, а общество стремилось къ возможному, — при условіяхъ древней жизни и греческой религіи, — совершенству общечеловѣческому. Но въ то-же время это общество носило уже въ себѣ зародыши упадка и разрушенія. Въ-мѣсто истиннаго вдохновенія, быстро выступало на первый планъ ораторское красноречіе; истинное образованіе замѣнялось поверхностной ученостью, чистая любовь къ наукѣ перешла въ страсть поспорить, поусудить, порезонерствовать; истинное чувство переродилось въ сентиментальность; наконецъ и совѣтъ наступило время, «когда люди сдѣлались слишкомъ вялы и хотятъ, чтобъ всѣ мысли были имъ разжеваны, всѣ идеи и воззрѣнія подробно развиты, всѣ картины размазаны ярко и пестро». Такое-то время узнаешь въ произведеніяхъ третьяго изъ великихъ трагиковъ греческихъ — Эврипида.

Эврипидъ родился въ 460 году, на Саламинѣ. Онъ былъ воспитанъ философами Анаксагоромъ и Продикомъ, ученіе которыхъ въ самомъ основаніи подорвало народную религію эллиновъ, и впоследствии былъ другомъ великаго Сократа. За три года до смерти онъ оставилъ Аѣны и переселился въ Пелу, резиденцію Архелая, царя Македоніи. Тамъ, говорятъ, онъ кончилъ жизнь свою совершенно въ духѣ своихъ трагедій: однажды ночью его разорвали царскія охотничьи собаки (407). Мы уже сказали, что характеристическія черты трагедій Эврипида носятъ на себѣ отпечатокъ современнаго поэту общества. Такимъ-образомъ, вмѣсто поэтического міра мифовъ, въ который насъ вводитъ трагедія Эсхила и Софокла, у него является холодный

скептицизмъ и философская критика религіи. «Судьба» становится у Эврипида не болѣе, какъ простой «случайностью»; трагическое сводится до обыденнаго: героическій міръ совершенно превращается въ обыкновенный, человѣческій; трагическій пафосъ замѣняется громкими риторическими возгласами; недостатокъ художественной истины поэтъ старается искупить обиліемъ нравственныхъ сентенцій, философическихъ тонкостей и діалектическаго остроумія. Страсть — главный двигатель трагедій Эврипида; щедро удовлетворяя желанію публики слушать ораторскія рѣчи, моральныя изрѣченія и политическіе намеки, Эврипидъ въ то-же время не забываетъ дѣйствовать на своихъ слушателей потрясающимъ эффектомъ. Никто изъ древнихъ поэтовъ не превзошелъ его въ искусствѣ возбуждать душевныя волненія; для этой цѣли онъ не пренебрегалъ даже такими средствами, какъ грязныя рубища, отвратительныя маски, кровавыя и гнойныя язвы на тѣлѣ и пр. Страсть къ эффектамъ запутывала иногда дотого отношенія дѣйствующихъ лицъ драмы, что поэтъ долженъ былъ призывать на сцену какое-нибудь божество, — и оно однимъ ударомъ меча разсѣкало трагическій узелъ, распутать который не предстояло никакой возможности. Большею частію трагедіи Эврипида кончались бракомъ, который заключался при помощи боговъ и непременно на небѣ (такъ Антигона выходитъ у него за-мужъ за Гэмона). Такимъ-образомъ трагедія Эврипида, все болѣе и болѣе удаляясь отъ своего первоначальнаго значенія, приближалась къ новой комедіи. Лирическій элементъ тоже конечно уже не могъ удержаться за собою прежняго значенія. И въ-самомъ-дѣлѣ хоръ, составлявшій у Эсхила самую важную, существенную часть драмы, и уже у

Софокла получившій только второстепенное мѣсто, у Эврипида сдѣлался совершенно случайнымъ, почти излишнимъ украшеніемъ. Женщина у Эврипида опять сведена съ того высокаго пьедестала, на который поставилъ было ее Софоклъ, современникъ Аспазіи и другихъ, подобныхъ ей, развитыхъ женщинъ. Святости семейныхъ отношеній, идеалъ которыхъ мы видимъ въ Антигонѣ Софокла, напрасно мы будемъ искать въ драмахъ Эврипида: какъ и вездѣ, онъ является тутъ вѣрнымъ сыномъ своего времени, когда семейныя узы ослабли и святость брака рушилась. Въмѣсто Аспазій явились Фрины, и вѣра въ достоинства и добродѣтели женщинъ прошла невозвратно. Ненависть у Эврипида къ женщинамъ вошла у древнихъ въ пословицу; впрочемъ Софоклъ замѣчаетъ, что хотя на „театрѣ“ Эврипидъ ненавидитъ женщинъ, но зато онъ вовсе не пренебрегаетъ ихъ ласками. Какъ самый крайній демократъ, Эврипидъ терпѣть не можетъ царей; поэтому все самодержцы являются у него жестокосердыми тиранами, безъ всякаго достоинства и величія. Замѣтимъ еще, что большая часть героевъ Эврипида храбры только тамъ, гдѣ безопасно.

Но при всемъ этомъ, мы не должны прикидывать къ поэзіи Эврипида тотъ невѣрный масштабъ, который сдѣлалъ для нея насмѣшникъ Аристофанъ и другіе критики стараго и новаго времени. Все-таки Эврипидъ замѣчательный поэтъ; положимъ, что по своему поэтическому дарованію и эстетическому достоинству произведеній, Эврипидъ стоитъ много ниже своихъ предшественниковъ, но онъ рѣшительно великъ въ изображеніи страстей; можно даже сказать, что онъ открылъ древнимъ новый міръ, до-тѣхъ-поръ имъ невѣдомый — міръ

чувства, въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова. „Эврипидъ представляетъ людей такими, какъ они есть, а не какими они должны быть“ — справедливо замѣтилъ Софоклъ; и по нашему мнѣнію это скорѣе можетъ служить похвалою, чѣмъ укоромъ, потому-что такимъ-образомъ Эврипидъ удачно представилъ нынѣшнее воззрѣніе на сущность драматической поэзіи, что „подмостки изображаютъ міръ“, то - есть что сцена должна быть зеркаломъ дѣйствительности. И дѣйствительно, герои Эврипида говорили и думали такъ, какъ говорилъ и думалъ народъ. Поэтому немудрено, что онъ, какъ демократическій поэтъ, былъ любимцемъ массы, которую аристократизмъ Софокла и Эсхила держалъ всегда въ почтительномъ отдаленіи. Изъ множества піесъ, написанныхъ Эврипидомъ (отъ 73 до 123), до насъ дошли только: сатирическая драма *Циклопъ* и 18 трагедій: *Медея*, увѣнчанный *Ипполитъ*, *Гекаба*, *Гераклиды*, *Гекетида* (умоляющіе о защитѣ), *Іонъ*, Нестовый *Гераклѣсъ* (Геркулесъ), *Андромаха*, *Троянки*, *Электра*, *Элена*, *Ифигенія* въ Тавридѣ, *Орестъ*, *Фэииссы* (финикійки), *Ифигенія* въ Авлидѣ и *Вакханки*, *Резосъ*, *Алкеста*, *Федра*. Кромѣ-того изъ *Фазтона* и *Данаи* сохранились замѣчательные отрывки. Лучшія изъ этихъ драмъ, по мнѣнію нѣмецкихъ критиковъ, — *Медея*, *Ипполитъ* и *Вакханки*.

Передаемъ содержаніе послѣдней (по Гёте). Семела, дочь еиванскаго царя Кадма, родила отъ Зевеса сына, и сама была создана огнемъ божественной славы; но мальчикъ Вакхъ былъ спасенъ, втайнѣ вскормленъ и воспитанъ, а потомъ удостоенъ Олимпа и сдѣланъ богомъ. Во время своихъ земныхъ странствованій и по-

ходовъ въ разныя земли онъ былъ посвященъ въ таинства богослуженія Реѣ, пристрастился къ нимъ и сталъ повсюду распространять веселый культъ ихъ мистерій. Такимъ-образомъ, въ началѣ трагедіи Вакхъ, провожаемый хоромъ своихъ восторженныхъ поклонницъ, лидійскихъ женщинъ, пріѣзжаетъ въ свой родной городъ Оивы и хочетъ, чтобъ его признали богомъ. Дѣдушка его Кадмъ еще живъ, но очень дряхлъ; онъ и древній старецъ Тѣйрезій благоволятъ къ новой религіи и принимаютъ ее. Но Пентей, тоже внукъ Кадма отъ Агавы, дочери владыки Оивы, и за нимъ всѣ оивяне и оивянки противятся этимъ нововведеніямъ и даже не хотятъ признавать за Вакхомъ божественнаго происхожденія. Они не отвергаютъ, что онъ сынъ Семелы, но она-то именно за то, что лживо выдавала себя за любовницу Зевеса, и была созжена его божественнымъ огнемъ. Поэтому Пентей обращается самымъ презрительнымъ образомъ съ хоромъ приведенныхъ Вакхомъ лидійскихъ женщинъ; но Вакхъ умѣетъ постоять за своихъ: онъ приводитъ въ восторженное состояніе, близкое къ бѣшенству, Агаву, ея сестеръ и другихъ невѣрующихъ оивянокъ, и гонитъ ихъ на недобрую гору Китедонъ, ту самую, гдѣ погибъ превращенный Актеонъ. Тамъ вообразилось имъ, что онѣ пришли охотиться за львами и пантерами. Пентей, обвороженный такимъ-же образомъ, бѣжитъ посмотрѣть, какъ веселятся оивянскія жены, обезумевшія „бѣлокурымъ юношей, съ прелестью Афродиты въ глазахъ“, спрятался и сталъ подсматривать. Но вдругъ мать его открыла, другія женщины спугнули, погнались за нимъ будто за львомъ, догнали и разорвали въ клочья. Голову его, какъ славную добычу, Агава воткнула на тирсъ и торжественно несетъ ее въ

Оивы, слава Вакха за счастливую охоту. Тамъ она встрѣчаетъ своего отца Кадма, за которымъ несутъ трупъ Пентея, найденный въ оврагѣ. „Ну, отецъ, кричитъ она, теперь тебѣ есть чѣмъ гордиться. У другихъ дочери сидятъ за прялкой да за веретенемъ, а твоя дочь вотъ какого звѣря убила своими руками. Вотъ какого! Приглашаю-же я и тебя, и твоихъ друзей на веселый пиръ послѣ охоты!“ — „О горе! плачется Кадмъ, страшное горе!... посмотрите, она еще на пиръ зоветъ и меня, и Оивы! Справедливо, но безмѣрно накажетъ насъ богъ!“ Агава сердится на старика, называетъ его безчувственнымъ, велитъ позвать сына, чтобъ онъ порадовался ея удадой охотѣ“. — „Несчастливая, пусть-бы никогда не прошло твое безуміе“, молить Кадмъ, — и когда Агава спрашиваетъ у него причину такого страшнаго желанія, — старикъ велитъ ей взглянуть на окровавленный тирсъ.... тогда только Агава узнаетъ голову сына.

Послѣ Эврипида греческая трагедія стала быстро клониться къ упадку. Изъ множества трагическихъ писателей послѣдующаго времени нѣтъ ни одного, достойнаго стать наряду съ тремя великими трагиками. Больше другихъ извѣстны: *Біонъ* и *Эвѳоріонъ*, сыновья Эсхила, *Іотонъ* и *Аристонъ*, сыновья Софокла, *Софоклъ*, сынъ Іотона, *Кефизофонъ*, ученикъ и подражатель Эврипида, *Филоклесъ*, *Астидамъ*, *Аристархъ*, *Ксенокиссъ*, *Каркинъ* и *Теодектъ*. Александрійскіе ученые сосчитали, что до ихъ времени, приблизительно черезъ двѣсти лѣтъ послѣ смерти Эврипида, было написано 1500 трагедій, принадлежавшихъ 45 авторамъ; но въ канонъ великихъ траги-

ковъ, кромѣ Эсхила, Софокла и Эврипида, они включаютъ только: *Иона*, *Ахя* и *Агатона*. Агатонъ, другъ Эврипида и усовершенствователь его манеры, первый, оставивъ мифологию и героическое сказанье, сталъ брать для своихъ трагедій сюжеты „естественные“.

II КОМЕДИЯ.

Время паденія античной трагики было періодомъ высшаго процвѣтанія комедіи. Такъ-же какъ и трагедія, она вышла изъ культа Діонизія, и именно изъ насмѣшливыхъ и веселыхъ фаллическихъ пѣсень, распѣвавшихся во время праздниковъ Вакха въ честь боговъ и для потѣхи участвующихъ въ процессіи. Оттуда, можетъ-быть, произошло и названіе: комедіи (*κῶμος* — торжественное шествіе, процессія, и *ᾠδή* — пѣснь, стало-быть пѣснь шествія, пѣснь торжественной процессіи.) Невозможно указать съ точностью, какимъ именно образомъ развивались въ драматическую форму эти хоры, — которые во всякомъ случаѣ съ самаго начала были комическаго, насмѣшливаго свойства. По нѣкоторымъ предположеніямъ комедія сложилась въ сосѣдней съ Атикой области, Мегарѣ, гдѣ будто-бы около 570 до Р. Х. *Сузаріонъ* сочинялъ забавно-насмѣшливые стихи для праздниковъ Вакха, — и на островѣ Сициліи, гдѣ во времена Эсхила жилъ сочинитель комедій *Эпихармъ*, которому подражали впоследствии *Формисъ* и *Дейнолохъ*. Но художественной формы комедія достигла только въ Аѣнахъ; тамъ проявился въ ней тотъ абсолютно-демократическій духъ, который съ безграничной свободой, приводящей въ содроганіе насъ, вскормленныхъ сладостнымъ млекою матери-цензуры, — съ безпощадной

ироніей и удивительнымъ комизмомъ осмѣивалъ самые серьезные предметы: и религію, и литературу, и государство, въ цѣломъ его составѣ и въ лицѣ отдѣльных представителей и вождей. Такъ въ комедіяхъ величайшаго изъ аттическихъ комиковъ, Аристофана, архисофистика осмѣивается въ лицѣ Сократа, архидемагогія — въ лицѣ Клеона, архитрагизмъ — въ лицѣ Эврипида. Относительно формы главною особенностью комедіи былъ „парабазисъ“ (*παράβασις*), — вставка въ комедію, прерывавшая дѣйствіе, — нѣчто въ родѣ интермедіи, въ которой хоръ обращался къ зрителямъ и отъ имени автора разговаривалъ съ ними: или защищалъ автора отъ нападокъ его недоброжелателей, или представляя собою поэта, какъ гражданина аѣнской республики, дѣлалъ то важныя, то шуточные предположенія касательно дѣлъ общественныхъ. Высокій котурнъ трагедіи замѣнялъ здѣсь низенькій „сокусъ“. Въ александрійскомъ „канонѣ комедіи“ упоминаются, — кромѣ названнаго нами Эпихарма, — *Кратилъ*, *Кратесъ*, *Эвполъ*, *Ферекратъ*, *Платонъ*, (котораго не должно смѣшивать съ философомъ того-же имени) и Аристофанъ, единственный писатель эпохи процвѣтанія греческой комедіи, отъ котораго до насъ дошли полныя шесы.

Аристофанъ (444—380 до Р. Х.), этотъ „баловень грацій“, этотъ „милый повѣса древности“, былъ аѣнскимъ гражданиномъ и жилъ въ эпоху пелопонесской войны. Изъ пятидесяти-четырехъ комедій Аристофана сохранились только одиннадцать: *Ахарняне*, *Всадники* (*Ἰππείδης*), *Облака* (*Νεφέλαι*), *Осы* (*Ξεφθίκες*), *Миръ* (*Εἰρήνη*), *Птицы* (*Ὀρνιθες*), *Женщина на праздникъ Тесмофоріи*, *Лизистрата*, *Лягушки* (*Βάτραχα*), *Женское вѣче* (*Ἑκκλησιαζούσαι*) и *Бо-*

ковъ, кромѣ Эсхила, Софокла и Эврипида, они включаютъ только: *Иона*, *Ахя* и *Агатона*. Агатонъ, другъ Эврипида и усовершенствователь его манеры, первый, оставивъ мифологию и героическое сказанье, сталъ брать для своихъ трагедій сюжеты „естественные“.

II КОМЕДИЯ.

Время паденія античной трагики было періодомъ высшаго процвѣтанія комедіи. Такъ-же какъ и трагедія, она вышла изъ культа Діонизія, и именно изъ насмѣшливыхъ и веселыхъ фаллическихъ пѣсень, распѣвавшихся во время праздниковъ Вакха въ честь боговъ и для потѣхи участвующихъ въ процессіи. Оттуда, можетъ-быть, произошло и названіе: комедіи (*κωμος* — торжественное шествіе, процессія, и *ωδὴ* — пѣснь, стало-быть пѣснь шествія, пѣснь торжественной процессіи.) Невозможно указать съ точностью, какимъ именно образомъ развивались въ драматическую форму эти хоры, — которые во всякомъ случаѣ съ самаго начала были комическаго, насмѣшливаго свойства. По нѣкоторымъ предположеніямъ комедія сложилась въ сосѣдней съ Атикой области, Мегарѣ, гдѣ будто-бы около 570 до Р. Х. *Сузаріонъ* сочинялъ забавно-насмѣшливые стихи для праздниковъ Вакха, — и на островѣ Сициліи, гдѣ во времена Эсхила жилъ сочинитель комедій *Эпихармъ*, которому подражали впоследствии *Формисъ* и *Дейнолохъ*. Но художественной формы комедія достигла только въ Аѳинахъ; тамъ проявился въ ней тотъ абсолютно-демократическій духъ, который съ безграничной свободой, приводящей въ содроганіе насъ, вскормленныхъ сладостнымъ млекоу матери-цензуры, — съ безпощадной

ироніей и удивительнымъ комизмомъ осмѣивалъ самые серьезные предметы: и религію, и литературу, и государство, въ цѣломъ его составѣ и въ лицѣ отдѣльных представителей и вождей. Такъ въ комедіяхъ величайшаго изъ аттическихъ комиковъ, Аристофана, архисофистика осмѣивается въ лицѣ Сократа, архидемагогія — въ лицѣ Клеона, архитрагизмъ — въ лицѣ Эврипида. Относительно формы главною особенностью комедіи былъ „парабазисъ“ (*παράβασις*)“, — вставка въ комедію, прерывавшая дѣйствіе, — нѣчто въ родѣ интермедіи, въ которой хоръ обращался къ зрителямъ и отъ имени автора разговаривалъ съ ними: или защищалъ автора отъ нападокъ его недоброжелателей, или представляя собою поэта, какъ гражданина аѳинской республики, дѣлалъ то важныя, то шуточные предположенія касательно дѣлъ общественныхъ. Высокій котурнъ трагедіи замѣнялъ здѣсь низенькій „сокусъ“. Въ александрійскомъ „канонѣ комедіи“ упоминаются, — кромѣ названнаго нами Эпихарма, — *Кранизъ*, *Кратесъ*, *Эвполъ*, *Ферекратъ*, *Платонъ*, (котораго не должно смѣшивать съ философомъ того-же имени) и Аристофанъ, единственный писатель эпохи процвѣтанія греческой комедіи, отъ котораго до насъ дошли полныя піесы.

Аристофанъ (444—380 до Р. Х.), этотъ „баловень грацій“, этотъ „милый повѣса древности“, былъ аѳинскимъ гражданиномъ и жилъ въ эпоху пелопонесской войны. Изъ пятидесяти-четырёхъ комедій Аристофана сохранились только одиннадцать: *Ахарняне*, *Всадники* (*Ἰππείδης*), *Облака* (*Νεφέλαι*), *Осы* (*Ξεφθίκες*), *Миръ* (*Εἰρήνη*), *Птицы* (*Ὀρνιθες*), *Женщина на праздникъ Тесмофоріи*, *Лизистрата*, *Лягушки* (*Βάτραχα*), *Женское вѣче* (*Ἑκκλησιαζούσαι*) и *Бо-*

гамство (Πλοῦτος). Аристофанъ — корифей древней политической комедіи и вмѣстѣ съ тѣмъ величайшій писатель древности. Но чтобы насладиться имъ, никогда не надо опускать изъ виду, что онъ писалъ не для взнуданнаго какъ мы народа, а для народа свободнаго, не отварачивавшагося съ лицемѣрной стыдливостью отъ наготы и находившаго оправданіе всему естественному, а стало-быть даже и неблагопристойности. Сюжетомъ комедій Аристофана была вся тогдашняя политическая, нравственная и умственная жизнь афинскаго народа. Поэтому онъ даже приблизительно не можетъ быть для насъ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ для своихъ согражданъ во время пелопонесской войны. Онъ въ полномъ смыслѣ политическій писатель и человѣкъ партіи. Направленіе его — ратоборство противъ самаго кореннаго зла своего отечественнаго города, противъ необузданной демократіи съ ея наглыми сикофантами, продажными ораторами и другими правительственными мерзостями. Въ комедіи „Всадники“ у него выходитъ на сцену даже „Демось“, т. е. самъ суверенъ-народъ, олицетворенный въ особѣ стараго, грубаго ворчуна, обжирющагося бобами и очень легко приходящаго въ азартъ. Аристофанъ — консерваторъ въ политикѣ и правовѣрный въ религіи; или лучше сказать, онъ притворяется и тѣмъ и другимъ, для того чтобы осыпать горькими сарказмами людей, на которыхъ онъ нападаетъ. Такъ въ „Облакахъ“ имъ осмѣяно и олицетворено въ Сократѣ суетумудріе софистовъ, котырые отбросили все, что было свято народу, смотрѣли на міръ какъ на пустой механизмъ, и подкапывая такимъ образомъ главнѣйшую опору афинской жизни, — древнюю религію и старые нравы, — своею дѣятельностью могли быть

такъ-же вредны въ дѣлѣ воспитанія, какъ вреденъ былъ въ отношеніи государственной политики демагогъ Клеонъ, осмѣянный въ „Всадникахъ“. Но Аристофанъ не бездушный насмѣшникъ, весело разрушающій существующее, ради удовольствія послушать трескъ подкопаннаго имъ зданія: сердце его бьется для всего благороднаго и добраго, и почти со слезами восхваляетъ онъ отжившую старину (ср. споръ между справедливымъ и несправедливымъ въ комедіи „Облака“), „тѣ невозвратно прошедшіе дни, когда всякій говорилъ открыто святую истину и скромность украшала нравы афинянъ, когда дѣтей учили почитать боговъ, старшихъ и родителей, когда у юношей были сильныя плечи, широкая грудь, свѣжее лицо и короткій языкъ“. Намъ кажется, что Аристофана нельзя укорять его „отсталостью“, если онъ, осмѣивая развращеніе нравовъ, жалѣлъ о простотѣ прежней жизни. Знаменитѣйшая изъ всѣхъ комедій Аристофана — „Облака“ *. Эта пьеса, какъ мы уже замѣтили, представляетъ борьбу отживающей старой вѣры съ реформаціей, начатой софистами. Типъ такого реформатора-софиста олицетворенъ въ Сократѣ. — Поэтъ ведетъ насъ въ спальню стараго, грубаго, но безыскусственнаго землевладѣльца Стрепсиада и его сына Фейдиппида. Молодому человѣку снятся конскія скачки, а старикъ, не спавши всю ночь, сидитъ на постелѣ и горюетъ о долгахъ, сдѣланныхъ имъ по милости расточительнаго сына. Онъ требуетъ свѣчу, просматриваетъ свою долговую книгу и находитъ,

* Облака, пер. съ греческаго *Е. М. Карновича* (Репертуаръ и Пантеонъ). — Облака, пер. *Муравьева-Апостола* Спб. 1821. Объ Аристофанѣ ср. Kötscher: „Aristophanes und sein Zeitalter“ (1827); *Ордынскій*: „Аристофанъ“. (От. Зап. Т. LXII, LXX, LXXIII).

что долженъ 12 минъ Пасію за лошадь, да 3 Аминію за одноколку. Охъ, охъ,— жалуется онъ:

чтобъ лопнула та злая сваха,

Которой вздумалось, меня женить

На горожанкѣ....

потому-что, когда родился у Стрепсиада сыночекъ, мать ему еще въ колыбели напѣвала:

«Какъ я буду рада,

Когда ты вырастешь, и нарядясь,

На колесницѣ ты поскачешь въ городъ,

Какъ дѣдушка Мегаклъ»,

А отецъ твердилъ:

«Дождусь-ли я, какъ ты, мой милый сынъ,

Нарадишься въ кожухъ и по пригоркамъ

Ты будешь козъ пасти, какъ твой отецъ!»

Но сынокъ не послушался отцовскихъ рѣчей, сдѣлался спортсменомъ и проматываетъ родительское достояніе. Вотъ нынѣшнюю ночь старикъ наконецъ придумалъ, какъ помочь горю: будить сына и закликаетъ его своей любовью сдѣлать ему хоть разъ угодное? Вонъ тамъ,— показываетъ онъ сыну, — видишь маленькій домикъ?

Тамъ мастерская мышленья премудрыхъ

Мыслителей: они своимъ умомъ

Дошли, что небо есть крышка

Желѣзной печи; мы-жъ нечто иное,

Какъ угля. Вотъ эти мудрецы,

Какъ говорятъ, за деньги научаютъ

Двумъ разсужденіямъ: несправедливымъ;

И справедливымъ; съ помощію первыхъ

Ты можешь выиграть любую тяжбу.

Итакъ иди-же, сынъ мой, въ эту школу

И поучись несправедливой рѣчи,

Чтобъ мнѣ изъ всѣхъ твоихъ заимодавцевъ

Ни одному ни грамма не отдать».

— Ни за что на свѣтѣ, отвѣчаетъ сынъ; я знаю этихъ мудрецовъ —

Ты говоришь объ этихъ хулошавыхъ,

Босыхъ и блѣднотлицыхъ, у которыхъ

Начальники Сократъ и Херефонъ...

Нѣтъ, не пойду!...

Вѣдь послѣ будетъ стыдно

Предъ всадниками показаться съ блѣдной

И вытянутой рожей!

Сынъ убѣгаетъ. Старикъ остается одно: идти самому въ науку къ мудрецамъ.—Сцена перемѣняется. Стрепсиадъ стучится въ домъ Сократовой лавочки (фронтистеріонъ). Является одинъ изъ учениковъ и бранитъ любознательнаго старца, зачѣмъ онъ помѣшалъ занятіямъ философовъ:

«Сейчасъ Сократъ спросилъ у Херефона,

Какъ думаетъ онъ, сколько блохъ въ пятей

Содержится въ скачкѣ блохи? замѣть,

Что укусивши Херефона въ бровь,

Она на лобъ къ Сократу вдругъ прыгнула».

— И это онъ узналъ? — «Весьма хитро:

Поймалъ блоху, и растопивши воскъ,

Въ него ея онъ лапку окунулъ;

Когда-же воскъ остылъ, тихонько съ лапки

Снялъ восковой башмакъ и послѣ имъ

Измѣрилъ разстояніе.»

Наконецъ желанная дверь открывается, и изумленный старикъ видитъ, что ученики, скорчившись, смотрятъ въ

землю. Добряку кажется, что они ищутъ рѣпу; но оказывается, что очами они хотятъ проникнуть въ мрачный тартаръ, а спины ихъ сами по себѣ наблюдаютъ за ходомъ звѣздъ. Самъ учитель сидитъ въ висячей корзинѣ и занимается созерцаніемъ надземныхъ предметовъ. — „Зачѣмъ-же ты, — спрашиваетъ его Стрепсиадъ, — не на землѣ стоишь, а смотришь на боговъ изъ этой плетушки?“ — „Потому, что на землѣ я не открылъ-бы ничего, отвѣчаетъ философъ: земля

Втянула-бы въ себя всю влажность мысли,
Какъ губка втягиваетъ воду». —

«Какъ?!

Мысль втягиваетъ воду въ губку?! Умоляю
Тебя, Сократушка, сойди ко мнѣ скорѣе,
Учи меня желаемой наукѣ!» —

Стрепсиадъ рассказываетъ Сократу о своемъ горѣ и проситъ философа научить его такой рѣчи, при помощи которой онъ могъ-бы не платить своихъ долговъ. — Возьми, что хочешь, прибавляетъ онъ; я хорошо заплачу, клянусь тебѣ богами! — „Какими-же это богами ты клянешься? спрашиваетъ Сократъ; во-первыхъ, они ровно ни чего не значатъ. У насъ нѣтъ боговъ... А хотѣлось-бы тебѣ основательно, вполне познать божество?“ — „Очень“, отвѣчаетъ Стрепсиадъ. Сократъ произноситъ молитву и, къ великому удивленію добродушнаго старца, прозрачныя облака, въ образѣ юныхъ дѣвъ, наполняютъ комнату. „Слышишь-ли ты, спрашиваетъ торжествующій философъ, слышишь-ли ты ихъ священный голосъ, сопровождаемый громомъ?“ — Слышу, отвѣчаетъ старикъ, —

«О, слышу я божественный вашъ голосъ,
И громомъ собственнымъ хочу вамъ отвѣчать!

Испуганъ я.... и такъ позволь-же мнѣ...

Теперь не до приличій... не утерпишь!»...

Сократъ начинаетъ перечислять ихъ качества и свойства: они, говоритъ онъ, учатъ насъ болтать, хитрить и хвастать... своими влажными испареніями они питаютъ

«Софистовъ, прорицателей турійскихъ,

Длинноволосыхъ франговъ, у которыхъ

Всѣ пальчики устѣяны перстнями,

Всѣхъ метафизиковъ, народныхъ стихоплетовъ,

Обманщиковъ, гадающихъ по небу...

Да словомъ, всю лѣнивейшую сволочь,

Которая и въ пѣсняхъ и рѣчахъ

Ихъ славословить, — всѣхъ они питаютъ...

Стрепсиадъ готовъ вѣрить этому; онъ не можетъ согласиться только съ тѣмъ, что облака имѣютъ форму женщинъ: по его мнѣнію они болѣе похожи на ключья шерсти, чѣмъ на женщинъ. Философъ, не обращая вниманія на скептическія выходки своего новаго адепта, продолжаетъ: «облака могутъ явиться въ какихъ угодно видахъ; если увидятъ косматаго развратника — они, чтобъ осмѣять его, дѣлаются кентаврами; увидѣвъ казнокрада Симона — превращаются въ волковъ; завидѣвъ Клеонима, что побросалъ свои доспѣхи во время сраженія — они принимаютъ форму оленей; они одни только и боги, остальное — пустяки». — «Какъ-же это такъ, спрашиваетъ удивленный старикъ: а Зевесъ-то, да еще Олимпійскій». — «Что Зевесъ! брось свое суетвѣріе: Зевеса нѣтъ». — «Что ты говоришь? А кто дождь посылаетъ? Ну, скажи-ка». — «Кто-жъ, какъ не облака? И я докажу это тебѣ самымъ неопровержимымъ образомъ: когда

«Ты видѣлъ дождь безъ облаковъ? А если

«Дождь посылаетъ Зевесъ, то онъ-бы могъ

«Послать его и въ ясную погоду,
«Безъ облаковъ»

— «А что? вѣдь это правда,
«Какъ ты сказалъ. Но Расскажи ты мнѣ,
«Откуда громъ? когда его заслышу,
«Я весь дрожу»...

— «Изъ облаковъ: они
«Гремятъ, катаясь другъ на дружку...
— Смѣльчакъ ты право—ну да полно такъ-ли? —
— «Когда они наполняются водой,
«То тяжесть ихъ должна необходимо
Заставить ихъ между собой толкаться:
Ударятся — и съ громкимъ трескомъ лопнуть»...
— «Скажи-же мнѣ, — а кто толкаетъ ихъ?
Вѣдь Зевсъ?» — «Не Зевсъ, а вихрь эфирный—Диносъ!»
— «Вихрь? вотъ-те на! а мнѣ такъ, признаюсь,
И въ голову совѣмъ не приходило,
Что Зевса нѣтъ, а вмѣсто бога вихорь
Всѣмъ міромъ править. Но однако ты
Не объяснилъ, откуда громъ берется?»...
— «Изъ самого себя ты можешь научиться:
Когда на праздникахъ великихъ Панатенѣ
Говядины нажравшись, вдругъ колотье
Почувствуешь ты въ брюхѣ: ну, скажи,
Твои кишки вѣдь издають бурчанье?»
— Ей-богу такъ! тогда меня колотья
Ужасно мучать.... ну, и мой желудокъ
Ужасный трескъ и громы производить...
Сначала тихо: па паккъ, папсъ.... потомъ
Какъ зачистить — паппа паппа паппаксъ...
— «Вотъ, видишь-ли, ужъ ежели твое
«Презрѣнное, ничтожное брюшонко

«Бываетъ въ состоянн такъ гремѣть,
«Тѣмъ болѣе эфиръ неизмѣримый
«Не долженъ-ли порой трещать? Итакъ
«Бурчаніе и громъ одно и то-же.»

— Вотъ тоже, продолжаетъ софистъ, пустое суетвѣріе,
что Зевсъ поражаетъ громомъ нечестивыхъ: еслибъ это
было такъ, онъ давнымъ-бы давно убилъ Теора, Симона
и Клеонима: всѣ они негодяи, — а между-тѣмъ всѣ
живы; а свои храмы, „Сунійскій мѣсь священный“ и
вѣковые дубы,—онъ поражаетъ. А за что? По моему,
дубы ужъ никакъ не могутъ быть клятвопреступниками...
Вотъ поэтому-то ты и не долженъ вѣрить ни въ какихъ
другихъ боговъ, кромѣ тѣхъ, которыхъ мы чтимъ:
„Облака, Языкъ, Хаосъ“. — Стрепсиадъ клянется, что
отнынѣ онъ никакихъ другихъ боговъ и знать не хочетъ
и готовъ на все, только-бы не платить долговъ. Хоръ
хвалить его твердую волю, и — лекціи начинаются.
„Во-первыхъ, есть-ли у тебя память?“ спрашиваетъ онъ
своего ученика.

«Ну, не всегда; клянусь тебѣ Зевсомъ:
Какъ мнѣ кто долженъ — помню превосходно;
А если я, несчастный, задолжаю,
Такъ памяти совѣмъ-таки вотъ нѣтъ».
— Такъ какъ-же ты учиться будешь?—«Э! смогу!»
— Итакъ, когда объ чемъ-нибудь надземномъ
Я сообщу, — старайся все схватить....
— «Какъ такъ? неужели-же мудрость
Хватать я долженъ, какъ собака мясо?»
— Вотъ неучъ-то! боюсь я. старичекъ,
Что безъ побоевъ мы не обойдемся.
Посмотримъ.... Ну, ты что-бы сдѣлалъ. еслибъ
Я отгузилъ тебя? — «Позволилъ-бы тузить,

Потомъ-бы взялъ свидѣтелей и съ ними
Помолъ къ судѣ». — Вотъ это хорошо.
Теперь раздѣнься. — «Какъ? да что-жъ я сдѣлалъ?»
— Да ничего; такой у насъ обычай,
Чтобъ голые въ святилище входили.

Учитель и ученикъ уходятъ. Хоръ между-тѣмъ объясняется съ зрителями въ довольно длинномъ парабасисѣ. Возвращается Сократъ и клянется, что никогда не встрѣчалъ такого безпамятнаго, глупаго, бессмысленнаго и лживаго человѣка, какъ Стрепсиадъ. Но впрочемъ зовешь его, проходить съ нимъ кое-какія метрическія и грамматическія правила и потомъ велить ему лечь на ученическую кровать и пофилософствовать самому: „размышляй, думай, учить его наставникъ, приводи умъ свой въ движеніе, верти его въ разныя стороны; а если встрѣтишь препятствіе, скорѣй перескакивай къ другой мысли, — чтобъ не одолѣлъ тебя сладкій сонъ“. — Но старику и безъ того не уснуть: его облѣпили клопы. — „Чѣмъ ты занятъ теперь? — спрашиваетъ Сократъ:

— Ты, кажется, совѣтъ не размышляешь?»
— Клянуся Посейдономъ, размышляю.
— «Ты размышляешь? но о чемъ?» — О томъ,
Что отъ меня клопы оставить? —

Наконецъ Стрепсиадъ придумалъ штуку. „Куплю я, говоритъ онъ, ессалійскую кодуницу, —

И пусть она въ ночное время съ неба
Луну утащить и запретъ въ сундукъ.
— Какая-жъ польза будетъ? — «Какъ, какая?
Когда луна являться перестанетъ,
То какъ мои кредиторы смекнутъ,
Что ужъ пришла пора платить проценты?
А а вѣдь ихъ помѣсячно вношу».

Сократъ хвалить эту хитрость и потомъ предлагаетъ ему такого рода задачу: „если-бъ ты далъ письменное обязательство въ 5 талантовъ, какъ-бы ты увернулся отъ платежа?“ — „Купилъ-бы зажигательное стекло, и въ то время, какъ секретарь сталъ-бы разсматривать мое обязательство, я навелъ-бы на него солнце и растопилъ пластинку“ (въ то время писали на дощечкахъ, покрытыхъ тонкимъ слоемъ воска). — Сократъ очень доволенъ. „Теперь, задаетъ онъ, отъищи средство извернуться въ такомъ случаѣ, если ты, по недостатку свидѣтелей, долженъ будешь проиграть процессъ? — Нѣтъ ничего легче: я повѣсилъ-бы; мертваго-то ужъ не потянуть къ суду“. — „Ты дуракъ, ослиная башка, старый разгильдяй, съ которымъ я и говорить-то не хочу!“ сердится Сократъ, приведенный въ негодованіе этой глупостью. Стрепсиадъ въ отчаяніи проситъ совѣта у облаковъ. Хоръ совѣтуетъ ему прислать сына поучиться. Старикъ идетъ домой, и послѣ долгихъ споровъ ему удается наконецъ уговорить сына поучиться у мудрецовъ „правдѣ и неправдѣ“. — „А вотъ пусть онъ самъ поучится этому у обоихъ ораторовъ,“ — говоритъ Сократъ, когда старикъ представилъ ему своего сына. „Диксологъ“ и „Адикологъ“ (т. е. правда и лживая рѣчь) являются и по совѣту хора начинаютъ свое словопрепирательство: „Диксологъ“ говоритъ о строгомъ воспитаніи добраго, стараго времени, когда —

«Всѣ юноши въ училище ходили
По улицамъ въ порядкѣ, босикомъ,
Хотя-бы снѣгъ, какъ пыль мучная, падалъ,
И легкій пухъ, какъ у плодовъ, все тѣло
Ихъ покрывалъ, и съ голосомъ визгивымъ,
Какъ женщины къ любовникамъ своимъ,

Тѣ отроки не бѣгали на встрѣчу,

Маня къ себѣ ихъ взглядомъ сладострастнымъ...

„Вотъ такое-то воспитанье—продолжаетъ Диксологъ, обращаясь къ Фейдиниду, — и выросло поколѣніе мараонскихъ бойцовъ. Поэтому, юноша, смѣло бери меня въ наставники,—и ты не будешь любить ни тяжебъ, ни ябедъ; безчестные поступки заставляютъ тебя краснѣть; научишься почтительно вставать передъ старшими; не пойдешь смотрѣть на развратницъ, не станешь смѣяться надъ старикомъ отцомъ, не поплетешься на площадь толковать о разныхъ глупостяхъ и щеголять избитыми остротами,

А въ академію пойдешь ты, и подлѣ тѣнью
Священныхъ маслинъ будешь ты гулять;
Вѣнокъ изъ тростника свѣтло-зеленый
Твое чело украсить, и досугъ
Съ тобой раздѣлить юноша-ровесникъ...
И въ лѣтній день, когда платанъ и вѣзъ
Другъ другу шепчутъ что-то, вдругъ всего
Тебя обдастъ смолистымъ ароматомъ
Огъ тополя съ листвою серебристой...
Когда моихъ послушаешь совѣтовъ, —
То у тебя и плечи будутъ круглы,
И грудь широкая, и свѣжій цвѣтъ лица,
И бедра полныя, одинъ языкъ короткій...
А если будешь слѣдовать примѣру
Господчиковъ, воспитанныхъ по модѣ,
То будешь ты сутуловатъ и хилъ,
Съ щеками блѣдными и впалой грудью,
Съ умомъ короткимъ, длиннымъ языкомъ...

Теперь начинаетъ говорить Адикологъ и систематически опровергаетъ всѣ доводы своего соперника. „Пля-

ши, хохочи, говорить онъ въ заключеніе,—наслаждайся жизнью, веселись и ничего не считай позорнымъ. Если тебя мужъ застанетъ съ своей женой,—ты утверждай, что въ этомъ нѣтъ ничего предосудительнаго; свали все на Зевеса и стой на одномъ, что самъ отецъ боговъ всегда былъ очень любезенъ съ женщинами; возможно-ли же, чтобъ смертный былъ выше бога?—Но вѣдь такъ, возражаетъ Диксологъ, его назовутъ безпутнымъ? — Что-жъ за бѣда?

Скажи-ка мнѣ, что за народъ витіи?

(А.)—Почти что всѣ безпутные.—(А.) «Поэты?»

(Д.)—Безпутные. (А.) «Прекрасно. Демагоги?»

(Д.)—Безпутные. (А.) «Вотъ видишь. Ну взгляни

На зрителей,—какъ надобно назвать

Ихъ большинство? (Д.) Постои, дай поглядѣть.

(А.)—Ну, хорошо, смотри. Кого-жъ ты видишь?

(Д.)—Клянусь тебѣ могуществомъ боговъ,

Что большинство принадлежитъ къ разряду

Безиравственныхъ... вотъ, видишь, тамъ одинъ,

А вотъ другой, четвертый... вонъ кудрявый...

(А.)—Такъ что-же ты на это все мнѣ скажешь?..

(Д.)—Я побѣжденъ,—и въ вашъ союзъ вступаю.

Между тѣмъ Стреспіадъ, терзаемый мыслью о предстоящемъ платежѣ процентовъ, приходитъ освѣдомиться, каково идутъ занятія его сына. Сократъ не нахвалится своимъ ученикомъ; отецъ въ восторгѣ: „дитя мое, какъ радъ я, что ты перемѣнился; по твоему блѣдному лицу сейчасъ узнаешь афинянина“, вскрикаетъ старикъ: „ну теперь помоги-же ты мнѣ“... И Фейдинидъ учитъ отца разнымъ уловкамъ, какъ отдѣлаться отъ заимодавцевъ. Но вотъ и они являются. Пасія Стреспіадъ гонитъ на

томъ основаній, что онъ не знаетъ грамматики; Аминій просить хоть проценты.—«Это что за звѣри?» спрашиваетъ старикъ.—«Это деньги, которые нарастаютъ на капиталъ,—отвѣчаетъ растерявшійся кредиторъ. «Прекрасно! Но скажи мнѣ, прибываетъ-ли вода въ морѣ?»—Конечно нѣтъ.—«Безсмысленный! Ну, какъ-же ты хочешь, чтобъ увеличивались деньги, если море не увеличивается, сколько ни течетъ въ него рѣкъ? Сейчас пошолъ вонъ! вонъ изъ моего дома!... Разогнавъ такимъ образомъ своихъ кредиторовъ, Стренсиадъ уходитъ. Хоръ думаетъ, что новому софисту не одобровать за такіа продѣлки. «Можетъ-быть онъ даже пожелаетъ, чтобъ сынъ его былъ лучше нѣмъ». И въ-самомъ-дѣлѣ изъ дверей дома стремглавъ выбѣгаетъ Стренсиадъ и съ воплями зоветъ сосѣдей; за нимъ гонится Фейдиннидъ и немилосердно колотитъ отца палкой по спицѣ и по зубамъ,—увѣряя, что онъ имѣетъ на это полное право. Стренсиадъ сообщаетъ хоръ причину своей размолвки съ сыномъ: „Я, говоритъ онъ, за обѣдомъ попросилъ сына снѣтъ мнѣ ибсенку Симонида о золотомъ рунѣ, или по-крайней-мѣрѣ продекламировать что-нибудь изъ Эсхила;

«А онъ сказалъ: конечно, вѣдь Эсхилъ
«Первѣйшій изъ поэтовъ: онъ надутъ,
«Напыщенъ, безпорядоченъ, неровенъ!..
«Вы можете вообразить, какъ я
«Разсерженъ былъ: но я не горячился.
«Ну, хорошо, сказалъ я:—спой ты мнѣ
«Хоть что-нибудь прекрасное изъ новыхъ
«Поэтовъ. Тутъ онъ сталъ изъ Эврипида
«Огрывокъ пѣть, въ которомъ говорится,
«Какъ братъ сестру родную раззрацаетъ.

«Тутъ я не вытерпѣлъ, сталъ осыпать
«Его упреками; мы оба разсердились..
«Потомъ, когда дѣшло до перебранки,
«Онъ бросился ко мнѣ и сталъ меня
«Душить, давить и бить»... (Ф.) «На это право
«Имѣлъ я: лучшаго поэта Эврипида
«Осмѣлился ты осуждать». (С.) Онъ лучшій!
«Онъ? Ну пусть! Да что-жъ ты бьешь меня?
«(Ф.) Да, бью, и бить имѣю право... слушай:
«Ты въ малолѣтствѣ билъ меня? (С.) Конечно;
«Я это дѣлалъ для твоей-же пользы.
«(Ф.) Скажи: не долженъ-ли и я тебѣ
«Платить за это тѣмъ-же—бить тебя?
«Кого люблю—и бью. А почему
«Желаетъ ты, чтобы не я, а ты
«Избавленъ былъ отъ наказанія? Слушай:
«Какъ ты,—вѣдь такъ и я рожденъ свободнымъ,
«И почему-же дѣтямъ должно плакать,
«А не отцамъ? — (С.) «Какъ почему?» — (Ф.) Ты
скажешь,

«Что бить дѣтей дозволено закономъ?
«А я скажу, что старики оная
«Становятся дѣтьми, и должно ихъ
«Наказывать тѣмъ строже, что они
«Не по незнанью поступаютъ дурно.
«(С.)—«Но никогда законъ не дозволяетъ
«Отца бить дѣтямъ». —(Ф.) Но такой законъ
«Такой-же издалъ человѣкъ, какъ мы...
А я могу издать законъ, который
«Позволить дѣтямъ бить своихъ отцовъ...
Возьми примѣръ, положимъ, съ пѣтуховъ,
Иль все равно, хоть и съ другихъ животныхъ:

Вѣдь защищаются-жъ они противъ отцовъ?..

А разница межъ нами только въ томъ,

Что у звѣрей нѣтъ писаныхъ законовъ.

(С.) «Но если пѣтухамъ ты подражаешь,—

То отчего не роешься въ навозъ

И не сидишь, какъ куры, на насѣсти?»

(Ф) Тѣ, милый мой, совсѣмъ другое дѣло,

И насъ Сократъ объ этомъ не училъ...

Вотъ что, старикъ; чтобы тебя утѣшить,

Я мать пойду прибую. (С.) «Что ты сказалъ?

Что ты сказалъ? Нѣтъ! это уже слишкомъ!

«(Ф)—Что скажешь ты, когда я докажу,

«Что я имѣю право мать мою

«Прибить?—(С.) «Безстыдный! что ты затѣваешь?

«Чтобъ въ пропасть и тебѣ, да и Сократу

«Съ его премудростию провалиться!

«О облака! причина бѣдъ моихъ!

«Я отдалъ вамъ себя на произволъ!

„Нѣтъ, отвѣчаетъ хоръ, ты виноватъ самъ; никто не заставлялъ тебя учиться софистикѣ“... Старикомъ овладѣваетъ какое-то бѣшеное отчаяніе; онъ проклинаетъ и облака и Сократа, зоветъ своихъ слугъ и ведетъ ихъ поджигать „лавочку мудрости.“ Мудрецы съ криками ужаса выскакиваютъ изъ пылающаго дома и Стрепсиадъ, подрубая крышу, кричитъ своимъ рабамъ:

«Домай, руби и разрушай! Имъ должно

«Очиститься отъ всѣхъ ихъ прегрѣшеній,

«Особенно за шутки надъ богами!»

Такимъ-образомъ цѣль этой комедіи — показать, что народныя вѣрованія необходимы для сохраненія нравственности, и что религія, какова-бы она ни была,

никогда не можетъ быть замѣнена философскими „тонкостями“ и простыми нравственными правилами. Уже въ древности, а еще болѣе въ наше время, упрекали Аристофана въ томъ, что онъ осмѣялъ человѣка, такъ высоко стоявшаго въ нравственномъ отношеніи, и доказавшаго своей смертью искренность своихъ убѣжденій. Напримѣръ Фр. Шлегель говорить, что «тяжкое обвиненіе лежитъ на Аристофанѣ за то, что онъ представилъ въ такомъ мерзостномъ видѣ добродѣтельныйшаго и мудрейшаго изъ своихъ согражданъ,»—но въ оправданіе его прибавляетъ, что „можетъ-быть причиной этого былъ одинъ только поэтический произволъ, можетъ-быть онъ ухватился за первое попавшееся ему знаменитое имя, чтобы подъ нимъ осмѣять софистовъ, — которые, безъ сомнѣнія, заслуживали этого — и выставить ихъ передъ народомъ какъ можно смѣшнѣе и гаже. Поэтъ, можетъ-быть даже противъ воли, перепуталъ и смѣшалъ мудреца, стремленіемъ къ истинѣ приведеннаго въ ихъ школу, съ самими софистами, которыхъ Сократъ изучалъ, но для того, чтобы быть въ состояніи оспаривать ихъ ученіе; онъ посѣщалъ ихъ школы только затѣмъ, чтобы, узнавъ всю пустоту софистики, начать борьбу съ нею и вывести-съ-тѣмъ попытку привести грековъ опять къ истинѣ путемъ совершенно новымъ“.

Аттическую комедію раздѣляютъ на три класса: древнюю, среднюю и новую. „Облака“ могутъ служить блистательнымъ образчикомъ древней, т. е. политической комедіи, берущей предметомъ для своихъ безоглядныхъ насмѣшекъ современную жизнь, называя нетолько по именамъ осмѣиваемыя личности, но даже копируя ихъ вѣщность. „Неограниченная свобода комическихъ писателей продолжалась только до тѣхъ поръ, пока аѳинскій

народъ былъ въ состояніи сносить истину. Она, какъ привилегія демократіи, всегда была защищаема народомъ, пока самъ народъ былъ свободенъ. Очень естественно, что свобода эта была столько-же неудобна честолюбивымъ и корыстнымъ демагогамъ, какъ въ наше время свобода книгопечатанія кажется неудобною для нѣкоторыхъ европейскихъ и европейско-азиатскихъ правительствъ. Поэтому естественнымъ слѣдствіемъ наденія демократіи было запрещеніе осмѣивать на сценѣ живыхъ современниковъ, подъ ихъ собственными именами. Такимъ-образомъ комедія должна была прибѣгнуть къ вымышленнымъ именамъ и аллегоріямъ. Въ этомъ заключалось существенное отличіе такъ называемый *средней* комедіи, въ область которой уже заранѣе входитъ Аристофанъ въ своей комедіи „Богатство“ (Плутосъ, Плутонъ), послужившей римскому и французскому комикамъ Плавту и Мольеру источникомъ для комическаго изображенія скупца. — Въ духѣ-же этой взнуданной комедіи писали *Антифанъ* (386 до Р. Х.) и *Алексисъ* (изъ Туріона), на которыхъ древніе указываютъ, какъ на образцовыхъ писателей средней комедіи. Преобразованія, начатые въ средней комедіи, довершились въ новой. *Новая* комедія обнимаетъ своею дѣятельностью (въ Афинахъ) пространство времени отъ 340 до 260 года до Р. Х. Стало-быть начало ея совпадаетъ съ началомъ македонскаго періода, когда монархическое правленіе окончательно парализировало политическую жизнь Греціи. Нетолько политическая сатира и осмѣяніе личностей древней комедіи не находили уже болѣе мѣста въ новой, но даже пародіи и намеки средней комедіи были теперь оставлены. Писатели этого періода брали сюжеты для своихъ комедій изъ области семейной жизни грека, и точное изо-

браженіе ея цѣнили выше всего въ комическомъ писателѣ. Домашнія дразги, любовныя интрижки двусмысленнаго характера, событія обыденной жизни и т. п. составляли обыкновенное содержаніе этой комедіи, которую можно скорѣе назвать продуктомъ ума и наблюдательности, чѣмъ твореніемъ генія и фантазіи. Это были вѣрныя, но не радостныя картины жизни какого-то соннаго царства, не облагоустроеннаго, не просвѣтленнаго ни одной возвышенной идеей. Александрійскіе критики насчитываютъ до 64 (съ 500 піесами) писателей новой комедіи. Значительнѣйшими изъ нихъ были *Менандръ* * (342—290 до Р. Х.) и *Филемонъ* (ум. 262 до Р. Х.); но изъ комедій ихъ до насъ дошли только небольшіе отрывки. Судя по этимъ отрывкамъ и по отзывамъ величайшаго критика александрійской школы, Аристофана византійскаго, — нельзя сомнѣваться, что Менандръ былъ одаренъ замѣчательнымъ талантомъ, — чему служатъ доказательствомъ комедіи его латинскаго подражателя, Теренція, котораго Цезарь называлъ половиною Менандра. Филемонъ служилъ образцомъ другому римскому комику, Плавту. Кромѣ этихъ писателей, александрійскіе критики съ похвалою отзываются о *Диуфилѣ* изъ Синопа, *Филиппидѣ*, *Аполлодорѣ* изъ Гелы, *Аполлодорѣ* изъ Каристоса, *Анаксиппѣ*, *Посидиппѣ* и др.

III. САТИРИЧЕСКІЯ ДРАМЫ, ГИЛАРОДИИ. МИМЫ.

Сатирическая драма (*satyroi*, drama satiricum), произшедшая тоже изъ хоровыхъ пѣсень въ честь Діонизія, была нѣчто среднее между трагедіей и комедіей. Особенность сатирической драмы составляло то, что хоръ

* С. А. Шестаковъ: „Менандръ, основатель новой комедіи“ (От. Зап. Т. СХІІ, СХІІІ.).

былъ одѣтъ обыкновенно въ костюмъ силеновъ и сатировъ, которые съ шутивными и насмѣшливыми пѣснями исполняли характерные танцы (сикиннии). Главнымъ источникомъ такихъ драмъ служила Одиссея; объемъ ихъ былъ весьма не великъ. Сцена представляла ландшафтъ; такъ напримѣръ въ „Киклопѣ“ Эврипида дѣйствіе происходитъ въ дикой, утесистой мѣстности; тамъ, гдѣ въ трагедіи помѣщается царскій дворецъ, устраивалась пещера циклона. Орхестръ представлялъ ложбину передъ гротомъ циклона. Сатирическая драма впервые получила художественную форму въ пьесахъ *Пратинаса* изъ Фліоса. „Киклопъ (циклопъ)“ Эврипида — единственная, вполнѣ сохранившаяся пьеса этого рода. Вотъ ея содержаніе. Старый Силенъ и его сыновья Сатиры ищутъ по всѣмъ морямъ Вакха, похищеннаго морскими разбойниками. Буря выбросила ихъ къ берегамъ Сиціліи, на скалы Этны, гдѣ обитаютъ циклопы, одноглазые людоеды. Одинъ изъ циклоповъ, Полиемъ, сдѣлалъ ихъ пастухами своихъ овецъ. Къ этому-же берегу пристаесть съ своими товарищами и Одиссей; циклопъ сѣдаетъ у него нѣсколькихъ спутниковъ, — и Одиссей рѣшается отомстить ему и выколоть глазъ. Онъ требуетъ помощи у сатировъ, но трусы отказываются подъ пустымъ предлогомъ. Они хотятъ слыть волшебную пѣснь Орфея, отъ которой колъ самъ воткнется въ глазъ Полиема и будетъ тамъ вертѣться. Одиссей одинъ принимается за дѣло; ослѣпляетъ циклона и сонному выкалываетъ ему глазъ. Великанъ съ ревомъ выходитъ изъ пещеры, чтобы схватить своего лиходѣя, но о первую-же скалу разбиваетъ себѣ лобъ. Одиссей съ товарищами и Сатиромъ садится на корабль.

Гилародія (*ἡλιερδία*, трагикомедія) и *Фліакография* (*φλυακογραφία*) извѣстны намъ только по наслышкѣ

и, вѣроятно, были пародіи на трагическій стиль, писанныя комическимъ размѣромъ. Изобрѣтателемъ, или по-крайней-мѣрѣ главнымъ мастеромъ въ этомъ родѣ, былъ *Римтонъ* изъ Тарента (ок. 307 до Р. X.).

Наконецъ Мимы (*μῖμοι*), возникшія между сицилійскими греками, были драматическія импровизаціи — съ сюжетомъ взятымъ изъ народной жизни; въ легкихъ, забавныхъ формахъ, они представляли жите-бытие бражниковъ, кутиль, влюбленныхъ и т. п. Извѣстнѣйшимъ писателемъ мимовъ былъ *Софронъ* изъ Сиракузъ (420 до Р. X.), котораго древніе, особенно Платонъ, цѣнили очень высоко.

6. БУКОЛИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ.

Въ то время какъ эпическія, лирическія и драматическія формы поэзіи грековъ принадлежали уже прошедшему, — буколика (отъ *βοῦκόλειν*, пасти, стерець стадо) все еще представляла самое отрадное явленіе въ области греческой поэзіи. Основной мотивъ буколики — эротическій, но съ изображеніемъ чувства любви всегда слетаесть описаніе пастушеской жизни; отсюда произошло и названіе этого рода поэзіи. Любовь представлена тутъ исключительной принадлежностью пастушескаго міра; шуму и испорченности городской жизни поэтъ противопоставляетъ естественную простоту пастушескихъ нравовъ и уединенное спокойствіе деревенской жизни. Идилліей (*εἰδυλλίαν*, собственно — картинка) пастушеское стихотвореніе называлось преимущественно тогда, — если изъ представленныхъ въ немъ фактовъ выходила картинка въ родѣ жанра. Изобрѣтеніе пастушеской поэзіи приписываютъ (сказочному) пастуху Дафнису; родиной-же идиллической поэзіи была Сицілія, и нельзя не замѣтить родства ея съ мимомъ. Идилліи

висалъ уже *Стезихоръ*, но процвѣтаніе этого рода поэзіи совпадаетъ съ александрийскимъ періодомъ. Мы знаемъ только трехъ, принадлежащихъ сюда поэтовъ (Филетасъ, Асклепиадъ и Ликидасъ для исторіи идилліи оставили только свои имена): *Θεοκριτα*, *Βίωνα* и *Μοσχά*.

*Θεοκριτ*ъ род. 288 до Р. X. въ Сиракузахъ; такимъ-образомъ процвѣтаніе его совпадаетъ съ эпохами правленія *Γιερона II* Сиракузскаго и *Πτολεμα* Филадельфа въ Александріи (285 — 247). Настоящее имя его было *Симихидъ*; *Θεοκριт*омъ, т. е. „богоизбраннымъ“ онъ названъ уже впоследствии за свои прекрасныя стихотворенія. И въ-самомъ-дѣлѣ, написанныя имъ на ниже-дорическомъ нарѣчій 30 идиллій безспорно самыя лучшія плоды александрийской осени греческой поэзіи. Вслѣдствіе поперемѣннаго разговора и поочереднаго пѣнія въ повѣствовательной формѣ, идилліи была сообщена драматическая живость; и въ этомъ очевидно вліяніе на *Θεοκριта* мимика *Софрона*. „*Θεοκριт* мастерски обладаетъ искусствомъ пониманія и изображенія чистой, не-испорченной природы людей низшаго сословія, простыхъ пастуховъ и земледѣльцевъ, рыбаковъ, простыхъ гражданъ и женщинъ. Чувственная любовь—пламенная и энергическая, какою она всегда бываетъ у жителей юга, составляетъ главное содержаніе большей части этихъ стихотвореній, и глубоко прочувствованныя ощущенія часто совершенно лирически высказываются въ пастушескихъ поэмахъ“. Между мимическими стихотвореніями *Θεοκριта*, безспорно, первое мѣсто принадлежитъ 15-й идилліи—„Сиракузянки на праздникъ Адониса“ *. — которую

* „Сиракузянки.“ пер. *Гильдича*. — Переводъ *Θεοκριтовыхъ* идиллій *Мерзлякова*.—Объ александр. элегии см. статью *В. Герцберга* въ „*Prutz. Literaturhistor. Taschenb.* (годъ 1846.)

Элисея (*Polyglotte d. europ. Poesie I, 124*) совершенно справедливо называется самымъ свѣжимъ изъ всѣхъ дошедшихъ до насъ отъ древности изображеній общественной жизни.—Сцена этой мимы—въ Александріи, гдѣ вмѣстѣ съ воими мужьями живутъ сиракузянки *Горго* и *Праксина*, главныя дѣйствующія лица пьесы. *Горго* заходитъ за своей пріятельницей *Праксиной*, чтобы вмѣстѣ отправиться въ царскій дворецъ, гдѣ съ неслыханнымъ великолѣпіемъ справляется праздникъ Адониса. Тогда царствовать въ Египтѣ *Πτολεма* Филадельфъ, супруга котораго *Арсина* была душой этого праздника. *Праксина* проситъ *Горго* присѣсть, но торопитъ пріятельницу поскорѣй оканчивать туалетъ, говоря:

„Время, пойдемъ-ка въ палаты царя-богача *Πτολεма*, Видѣть Адониса праздникъ; я слышу, царица готовитъ Много прекраснаго.

Пракс. Дивно-ли? все у богатыхъ богато.

Ты-жъ, что увидишь, разказывать станешь тѣмъ, кто не видѣлъ.

Горго. Время, однако, отправиться: празнымъ всякій день праздникъ.

Пракс. Эвно, воды ключевой! и поставь посредникъ; скорѣе-жъ!

Ахъ, ты пѣженка!... спать покойно хотятъ ужъ и кошки... Двигайся-жъ; мигомъ воды! вода всего мнѣ нужнѣе...

Какъ она держитъ кувшинъ! но давай, безтолковая, тише На руки лей мнѣ; несчастная, ты мнѣ хитонъ обливаешь!

Пракс. Ну вотъ, какъ боги мнѣ дали, а такъ и умылась. —

Ключъ отъ шкатулки большій! поскорѣ сама принеси мнѣ.

Горго. Ахъ, *Праксина*, какъ пристало къ тебѣ это плагье

«Съ частыми сборками! прелесть! А что оно стоитъ съ работой?

Пракс. Лучше не спрашивай; чистымъ серебромъ побольше
мины,

Или и двѣ; объ работѣ молчу; приложила всю душу.

Горго. Вышло зато по желанію.

Пракс. Да, твоя рѣчь справедлива.

Плащъ мнѣ, Эвноя, и шляпу: приладь-же смотри хоро-
шенько;

Такъ; (Къ ребенку): а дитя не возьму я: тамъ бука, тамъ
лошадь кусаетъ;...

Плачь сколько хочешь, да я не хочу, чтобъ былъ ты
калѣкой.

Горго, идемъ. — Ну возьми-же дитя, забавляй его, няня,
Въ домъ позови собаку, и дверь сѣнныя запри ты. —

Боги! какая толпа! неужели должны перейти мы
Эту бѣду! муравья неисчетные, нѣтъ и конца имъ!
Сколько прекрасныхъ дѣлъ, Птоломей, для народа ты
сдѣлалъ,

Послѣ того, какъ къ богамъ приобщенъ твой родитель.
Злодѣи

Путникамъ болѣе не страшны египетскимъ подлымъ ко-
варствомъ *.

Прежде какимъ шалостямъ предавались искусники эти,
Всѣ на единую статью, негодая, разбойники, воры...

Милая Горго, что съ нами будетъ? войны сзади,
Конники царскіе скачутъ... Другъ мой! меня ты задавишь!...
Сталъ на дыбы его рыжій!... онъ дикъ совершенно, онъ
бѣшенъ!...

Гдѣ ты, Эвноя? куда ты?.. убѣежь этотъ конь человѣка!

* Птоломей строгими полицейскими мѣрами почти совершенно
отучилъ египтянъ отъ воровства.

Какъ хорошо я сдѣлала, дома оставивъ ребенка!

Горго. Ну, ободрись, Праксиноя! теперь позади мы всѣхъ
конныхъ,

Строй ихъ пошолъ ужъ на площадь,

Пракс. Теперь я, мой другъ, оживаю.

Змѣя да лошади пуще всего я на свѣтѣ боюсь

Съ самаго дѣтства. — Пойдемъ, приближаются волны на-
рода.

Горго (Старушкѣ, идущей на встрѣчу:)

Ты изъ дворца, моя матушка?

Старуха. Да, мои дѣти.

Горго. Легко-ли

Будетъ войти намъ?

Старуха. Съ попыткой въ Трою вошли аргивяне:
Да, мое дитятко, да; до всего съ попыткой доходятъ.

Горго. Слышишь, старуха уходитъ, и словно оракулъ
бормочетъ.

Пракс. Женщины знаютъ про все, и про свадьбу Зевеса
съ Юноной.

Горго. Ахъ, Праксиноя, взгляни ты, какая толпа предъ
дверями!

Пракс. Страшная! дай ты мнѣ руку; а ты Эвтихиды,
Эвноя,

Руку возьми, и держися ее, чтобъ отъ насъ не отстала.
Надобно вѣстѣ войти намъ; держися-же насъ ты, Эвноя *.

Наконецъ сиракузянки пробираются въ ту залу двор-
ца, гдѣ на серебряномъ ложѣ лежитъ Адонисъ. Вели-
колѣпные окружающихъ предметовъ приводятъ въ восторгъ
Горго; и нѣсколько энергическихъ фразъ, высказанныхъ
ею по этому поводу, своей дорической наивною при-

* Гидичъ.

водятъ въ негодованіе изящнаго щеголя іонійца, стоящаго подлѣ болтливыхъ сиракузянокъ. Между-тѣмъ является аргивская пѣвица и поетъ гимнъ, прославляющій любовь Адониса и Киприды. Горго удивляется прекрасному голосу артистки, но вдругъ вспоминаетъ, что мужъ ея еще не завтракалъ. И боясь упрековъ, обѣ женщины идутъ домой.—Образцомъ рыбацьяго мима можетъ служить 21-я идиллія: „Рыбаки“. Стихотвореніе это посвящено другу поэта, Діофанту, и начинается поговоркой, что „только бѣдность заставляетъ заниматься искусствами“.

«Два рыбака, старцы, вкушали спокойствіе ночи
На холодной соломѣ, подъ кровомъ изъ лозъ соплетенномъ,

Склоняся главами на пуки изъ вѣтвей зеленыхъ.
Кругомъ ихъ лежали орудья ихъ жизни печальной:
Ловитва для рыбы—кошницы изъ гибкія вербы,
Садки для храненія—обманчива плѣнника вольность,
И верши коварны, горой у стѣны взгромождены,
Раскинуты сѣти, и неводъ еще неготовый,
И длинныя лѣсы, и удочки съ пищею смертной,
И верви, и весла, и лодка, увязшая въ тинѣ.
Два бѣдныя платья, котомка съ изорванной шляпой
Висѣли на гвоздѣ: вотъ все ихъ наслѣдно имѣнье,
Вотъ все ихъ богатство! ни ложекъ, ни чашъ деревянныхъ.

Нѣтъ даже собаки, надежнаго стража ночнаго;
Не знали сосѣдей; сосѣдъ ихъ единое море,
Котораго волны, ласкаясь, почти досягаютъ
До хижины бѣдной. Еще, украшеніе ирака,
Луна не свершила пути своего половины:

Любезна работа уже возбуждаетъ, тревожитъ
Покой рыболововъ. Встаютъ—отрываютъ отъ вѣждей
Послѣдню дремоту, и вскорѣ ихъ гласъ раздается
По зыбкому берегу. Ахъ! сладостно утро въ работѣ!
1-й рыб. Такъ! насъ обманули, товарищъ! сказали, что ночи
Начнутъ сокращаться, какъ скоро Зевесъ сонзволитъ
Веселое лѣто послать къ намъ отъ горняго свода.
Авроры не видно!.. а сколько я зрѣлъ сновидѣній!
О тяжелое время! скажи, что ночь удержало?
Скажи — я обмануть...
2-й рыб. Ты лѣту не радъ, мой товарищъ!
Повѣрь, времена всѣ текутъ одинакой чредою;
Тебя посѣщали мечты, заботой рождены:
Вотъ тайна — покойся!
1-й рыб. Согласенъ съ тобою, товарищъ!
Ты, знаю, умѣешь разгадывать сны непонятны.
Я видѣлъ прекрасный, отъ друга его не сокрою!
Мы рыбы дѣлили, раздѣлимъ съ тобой сновидѣнья;
Ты разумъ имѣешь, а сны толковать — не пустое!
Теперь-же есть время; и море бѣлѣетъ волнами,
И сонъ удалился. Такъ что-же лежать намъ безмолвно
На холодной соломѣ?
2-й рыб. Скажи жнѣ свой сонъ попорядку.
1-й рыб. Когда, окончавши работы вечернія, сладко
Заснулъ на соломѣ (нашъ ужинъ былъ очень умѣренъ.
Коль занять трудами, всегда я и въ пищѣ умѣренъ!
Мы такъ ужъ привыкли); заснулъ я, и вдругъ мнѣ
приснилось,
Что, сидя на брегѣ, ловилъ я быструю рыбу.
Стадами металась, серебрилась въ водѣ чешуею!
За удой кидаюсь—(на деревѣ ближнемъ висѣла).
Готова и пища, соблазнъ безсловесныя твари;
Послалъ... ожидаю! какъ песь во снѣ ловить зайцевъ,
Такъ рыбу мы ловимъ. Дрожить поплавокъ мой и тонеть,
Влеку... кровь лилась... нагнулся отъ тяжести прутыкъ...

Я пруть опускаю... кипѣла вода предо мною.
Стремлюся руками схватить;—но если укусить?
Что нужды! отважусь... укусить, но будетъ моею.
И бой начинаю! весь ужасъ пропалъ въ ту минуту!
Извлекъ!—Что-жъ увидѣлъ? — Ахъ! злато, чистое злато
Движется въ мягкой травѣ. Я въ трепетъ сердца
Вѣщаю: не ты-ли драгой любимецъ Нептуна?
Не ты-ль украшенье пралестной дщери Нерея?
Такъ точно! и тихо его отдѣляю отъ уды,
Чтобъ не было злато такъ долго въ подданствѣ желѣза!
Простершись на брегѣ, она засыпаетъ.
Любуясь добычей, клануся я всѣми богами,
Оставить и море, и въ градѣ на вѣкъ поселиться,
Блистая богатствомъ и славой, какъ горды владыки!
И здѣсь я проснулся, товарищъ!—Кланусь, сказалъ правду.
2-й рыб. Спокойся, что въ клятвѣ? безъ нужды нече-
стіе клятва!

Товарищъ, всѣ рыбы златыя—обманчивый призракъ!
Теперь ты не сонный: смотри, гдѣ играла добыча,
Тамъ нѣтъ ничего... Ахъ, не слушай коварныхъ желаній,
Мы терпимъ голодную смерть, и видимъ сны золотые *.

Собственно буколическія идилліи большею частію имѣютъ страстный, эротическій характеръ. Соперниками Теоокрита въ буколической поэзіи были: *Біонъ* изъ Смирны и *Мосхъ* изъ Сиракузъ, оба его современники. Творенія ихъ безъ всякой драматической жизни, чисто субъективны, менѣе сильны, просты, естественны, чѣмъ сочиненія Теоокрита, зато болѣе мягки, нѣжны, изящны; обоимъ поэтамъ лучше всего удавались маленькія картинки пастушеской жизни и эротическія аллегоріи. Отъ

* Мерзляковъ.

буколическихъ произведеній ихъ сохранилось лишь нѣсколько отрывковъ *.

7. ИСТОРИОГРАФІЯ ** И ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО.

По естественному ходу культуры, проза только медленно вырабатывается изъ поэзіи, потому-что народы всегда и вездѣ выражали свои первобытныя ощущенія и мысли—размѣренной рѣчью, стихомъ. Сначала исключительно преобладаетъ фантазія и чувство, и только тогда, когда духовное развитіе увеличивается въ объемѣ и многосторонности, впервые является разумное размышленіе и создаетъ однородную съ собою форму,—прозу. Но какъ впервые образовалась проза эллиновъ, какіе именно дѣятели особенно способствовали этому образованію,—мы почти не знаемъ, потому-что извѣстіе, будто Ферекидъ первый далъ прозаическую форму своимъ философическимъ изрѣченіямъ,—не подтверждается никакимъ фактомъ. Гораздо вѣроятнѣе то, что проза впервые была введена въ литературу какъ исторіографія, потому-что исторіографія находится въ тѣсной связи съ эпической поэзіей, и эпикъ есть естественный предшественникъ и возбудитель историка. Начало историческому искусству эллиновъ положили миеографы (логографы), которые стилемъ преимущественно поэтическимъ рассказывали мифы и легенды героическаго періода. Главнымъ образомъ они обращали вниманіе на генеалогическія отношенія до-исторической древности; источниками имъ служили преимуще-

* Переводы изъ *Біона* и *Мосха* *Пушкина*, *Масальскаго*, *Дурова* (Иллюстр.)

** Kreuzer: «*Histor. Kunst der Griechen*». — *Всемирная Ист. Биосфера*, 1861, т. II. стр., 183—214 («Исторіографія») *Die Geschichtsschreibung der Griechen*: A. W a h r m u n d (1859).

ственно циклическіе поэты. Замѣчательнѣйшіе изъ этихъ мнѳографовъ, — отъ трудовъ которыхъ дошло до насъ, впрочемъ, весьма немногое, — были: *Кадмъ* милетскій, *Гекатей* милетскій, эолининъ *Менекратъ*, *Эвгеонъ* самосскій, *Харонъ* лампсакскій, *Діонисій* милетскій, *Ферекидъ* леросскій, *Ксанъ* сардесскій, *Гиппій* регіумскій, *Гелланикъ* лессбосскій, и др. Эти писатели относятся къ *Геродоту* (род. ок. 484 до Р. Х. въ Галикарнассѣ), настоящему отцу исторіографіи, какъ догомерическіе пѣвцы относились къ Гомеру, съ той только разницей, что личность Геродота не подвержена сомнѣнію. Геродота можно назвать Гомеромъ прозы. Въ его „Исторіи народовъ“ сильно преобладаетъ эпическій тонъ и поэтическое міровоззрѣніе; онъ все еще сохраняетъ мнѳу и сказкѣ ихъ поэтическое достоинство, и какъ ни горячо стремится къ истинѣ, исторія его все-таки скорѣе дѣтски-наивный разсказъ, чѣмъ разработка фактовъ, основанная на критической оцѣнкѣ преданій. Сочиненіе Геродота, по содержанію, распадается на два главные отдѣла. Первый (книга 1—8) есть пріуготовительный разсказъ о происхожденіи, религіи, нравахъ, обычаяхъ и судьбахъ всѣхъ народовъ передней Азіи и восточной Европы, географическое описаніе областей, занимаемыхъ ими, и наконецъ разсказъ о появленіи на сценѣ всемірной исторіи персовъ и о первыхъ столкновеніяхъ ихъ съ греками. Второй отдѣлъ посвященъ описанію персидскихъ войнъ, и это самое блестящее мѣсто геродотовой исторіи. Да это и естественно. Геродотъ родился не многими годами ранѣе того времени, въ которое Ксерксъ предпринялъ свой грозный походъ на Грецію; и когда на сходѣ народномъ отецъ исторіи читалъ книги своего бытописанія, прославлявшія именно эту борьбу за свободу, — тогда

великія событія еще жили въ свѣжѣмъ воспоминаніи побѣдителей. Вышнее раздѣленіе этой Исторіи на девять книгъ не принадлежитъ самому Геродоту: благоговѣнное уваженіе древнихъ къ отцу исторіи назвало девять книгъ его труда именами музъ. Геродотъ составляетъ переходъ отъ мнѳографіи къ историко-критическому и политико-прагматическому бытописанію, совершеннѣйшій образецъ котораго есть „Исторія (первыхъ 21 года) пелопонезской войны“ (8 книгъ) Фукидида.

Фукидидъ родился въ 471 года до Р. Х. (въ аттической деревнѣ Алимосѣ), стало-быть тринадцатію годами былъ моложе Геродота. Говорятъ, что когда юноша Фукидидъ слушалъ Геродота, читавшаго свою исторію на олимпійскомъ праздникѣ, передъ лицомъ ликующей Эллады, — онъ заплакалъ отъ умиленія и рѣшился тоже посвятить себя исторіи. Впрочемъ, извѣстіе это едва-ли справедливо; напротивъ, изъ того, что его взглядъ на задачу историка почти прямо противоположенъ исторіографической манерѣ Геродота, можно кажется предположить, что Фукидидъ не былъ великимъ почитателемъ отца исторіи. Геродотовская наивность у него уступаетъ мѣсто критики и прагматизму. Изъ его творенія видится ясно, что оно принадлежитъ человѣку, который, благодаря своему близкому знакомству съ сердцемъ человѣческимъ вообще и съ политическими страстями въ особенности, наконецъ, благодаря своему собственному участію въ государственныхъ занятіяхъ, рано утратилъ всѣ поэтическія иллюзіи, и поэтому объясняетъ ходъ исторіи не по-геродотовски, волею боговъ, а по своему, — столкновеніемъ страстей человѣческихъ. Фукидидъ былъ первый великій писатель, исторически образившій упадокъ и разрушеніе въ общественныхъ со-

бытіяхъ. Возвышенностью стиля и глубиной содержанія онъ принадлежитъ еще совершенно къ числу первыхъ великихъ авторовъ Греціи. Его „Исторія (Syngraphe)“ есть образцовое твореніе по искусству изложенія: такъ судили о ней и сами древніе, которые сравнивали ее съ трагедіей, не вымышленною, но историческою. И въ-самомъ-дѣлѣ, эта великая междоусобная война, эта исторія упадка, нѣкогда такой цвѣтущей, счастливой, могучей отчизны, могла и самому бытописателю представляться трагедіей, — страшной, грозной трагедіей. Фукидидъ основалъ и усовершенствовалъ форму бытописанія, свойственную исключительно грекамъ. Отличительныя свойства этой особенной искусственной формы бытописанія состоятъ во-первыхъ въ вилетеніи пространныхъ, художественно-составленныхъ политическихъ рѣчей, къ которыхъ излагаются и съ необыкновеннымъ остроуміемъ развиваются съ различныхъ точекъ зрѣнія самыхъ противоположенныхъ партій, побудительныя причины и государственныя виды каждаго важнаго событія; потомъ въ подробномъ, почти поэтически-живописующимъ изображеніи битвъ и другихъ общественныхъ событій, наконецъ, въ высокомъ достоинствѣ богатоукрашеннаго стиля и самой художественной прозы. То, чего еще недостаетъ ему до полного совершенства, заключается не въ расположеніи и не въ составленіи частей цѣлаго, которое величественно, превосходно и достойно возвышенной исторической трагедіи, — какъ называлось его твореніе древними; оно заключается въ одномъ только слогѣ, еще грубомъ, тяжеломъ, иногда темномъ, — потому-ли, что Фукидидъ не успѣлъ сообщить своему труду окончательной отдѣлки, или можетъ-быть недостатокъ этотъ надо приписать эпохѣ, въ которую проза, только-что

возникшая и начавшая образовываться, стремясь достигнуть той высоты слога, какую имѣлъ въ виду этотъ историкъ, не могла наложить на себя оковы искусственной формы, не оставивъ слѣдовъ предшествовавшей этому борьбы; наконецъ, совершенно вѣроятно, что нѣкоторая суровость слога прилична мрачному содержанію его трагическаго повѣствованія, прилична страшной катастрофѣ паденія и упадка его отечества; описывая эту катастрофу, онъ, какъ говорить самъ въ введеніи къ своему труду, работалъ не для минутнаго занятія, но хотѣлъ, чтобы его книга была „памятникомъ вѣчнымъ“.

Неожиданная смерть не дала Фукидиду кончить сочиненія о пелопонезской войнѣ, и продолженіе его взялъ на себя *Ксенофонтъ* (444 до Р. Х.), писатель многотомный, и по красотѣ своего слога занимающій безспорно одно изъ первыхъ мѣстъ между прозаиками древности. Какъ историкъ, онъ превосходитъ своего предшественника легкостью, ясностью и неизысканною прелестью слога, но у него нѣтъ ни суроваго величія стиля, ни богатства мыслей, ни зрѣлости сужденій, ни широты взгляда на дѣла государственныя, ни пластичности характеристикъ Фукидида. Одно изъ важнѣйшихъ философскихъ сочиненій Ксенофонта — „Меморабіи“, или такъ называемыя „Достопамятности Сократа“, въ 4-хъ книгахъ. Главною цѣлью своихъ стремленій Ксенофонтъ взялъ реальность и практичность, и потому ученіе Сократа толковалъ такъ, что предметомъ и цѣлью всякой философіи становилось только доступное нашимъ чувствамъ и полезное въ нашей жизни. Такимъ-образомъ онъ ограничилъ свою философію одной житейской мудростью, или, говоря словами Цицерона, „создалъ философію съ неба и водворилъ ее между людьми, чтобы

съ этихъ поръ она, вмѣсто безплоднаго порыванья проникнуть недоступныя тайны божества и природы, думала лучше о домашнемъ бытѣ человѣка, о жизни и нравственности, о хорошихъ и дурныхъ поступкахъ, потому что для человѣка гораздо важнѣе очищеніе его души отъ всего ничистаго и несвятаго, чѣмъ копотливое доискиванье предметовъ, скрытыхъ отъ его разума“. Переходъ отъ философско-политическихъ сочиненій къ чисто-историческимъ составляетъ его „Киропедія (*Κυροπαιδεία*“, воспитаніе Кира), нѣчто въ родѣ историко-педагогическаго романа. Ксенофонтъ хотѣлъ въ Кирѣ изобразить идеаль государя, составленный по сократическому ученію, — идеаль государя, „который заботился-бы о своемъ народѣ, какъ добрый пастырь о стадѣ“, т. е. управлялъ-бы государствомъ какъ машиной, и „водворялъ-бы во всемъ своемъ царствѣ невозмутимое спокойствіе сна“. Совершенную противоположность этой „полуперсидской“ Киропедіи составляетъ другое сочиненіе Ксенофонта „Анабазисъ (*Ἀναβάσις*“, — исторія отступленія 10,000 греческихъ наемниковъ, бывшихъ на службѣ Кира младшаго), древнѣйшій памятникъ военноисторическихъ мемуаровъ. Рисуя картину дѣятельности греческаго народа, сочиненіе это въ самомъ яркомъ свѣтѣ выставляетъ громадное нравственное преимущество тогдашнихъ грековъ надъ безчисленными толпами персовъ, заплѣснѣвшихъ въ болотѣ деспотическихъ учреждений, уничтожавшихъ всякую личность; — оно выставляетъ безконечное превосходство греческой цивилизаціи надъ нравственнымъ застоємъ востока, — тогда-какъ Киропедія показываетъ намъ самихъ эллиновъ со стороны такого застоя, въ грустную эпоху ихъ умственныхъ заблужденій. Середину между „Киропедіей“ и „Анабазисомъ“ занимаетъ историческій трудъ Ксенофонта, „Элленика

(*Ἑλληνικά*“), служащій продолженіемъ образцоваго творенія Фукидида (отъ 2 года 92-й до 3-го 104 олимп., т. е. 411 — 362 до Р. Х.). Тонъ Элленики не сантименталенъ, какъ въ Киропедіи, но вмѣстѣ-съ-тѣмъ далекъ и отъ Энергіи, которой проникнуть Анабазисъ.

Обыкновенно проводятъ параллель между тремя величайшими историками и величайшими трагиками Греціи. Въ Геродотѣ, какъ въ Эсхилѣ, отражается эпоха юношески-восторженной любви къ свободѣ и героизму, и вмѣстѣ-съ-тѣмъ наивное вѣрованіе въ дѣйствующую въ тиши богиню возмездія, Немезиду, — вѣрованіе въ судьбу и въ ея таинственныя отношенія къ человѣку; Фукидидъ и Софокль — достойные представители блестящей периклеической эпохи, когда на первый планъ былъ выдвинутъ умъ и свободная воля человѣка, когда завязалась борьба между силой этой воли и роковой необходимостью; Ксенофонтъ и Эврипидъ представляютъ эпоху идиллическаго созерцанія, софистическаго умничанья и философической морали, эпоху, въ которую люди находили все свое счастье болѣе во внѣшнемъ и чувственномъ, полезномъ и матеріальномъ, чѣмъ въ идеальномъ и возвышенномъ — эпоху, въ которую эгоизмъ и индивидуальное направленіе ума дерзко прорывались за предѣлы вѣчнаго права истины и націонализма. Какъ Эврипидъ былъ любимымъ поэтомъ своего времени, такъ и Ксенофонта называли „аттической пчелой, въ уста которой сами музы вложили медь краснорѣчія“. Историческое возрѣніе Геродота было религіозно, Фукидида — политико-практично, Ксенофонта — этико-практично, т. е. задача исторіи ограничилась у него опредѣленнымъ моральнымъ, или политическимъ правоученіемъ*.

* J. H. Lendemann: «Vier alhandlungen über die religiössittliche Weltanschauung der Her., Thuk. und Xenophon» etc. 1852. —

Вслѣдствіе этого исторія сдѣлалась одною изъ тѣхъ вспомогательныхъ наукъ, изученіе которыхъ считалось необходимымъ для людей, приготовлявшихся къ государственной дѣятельности, и изъ свѣтлой области дѣйствительной жизни скрылась въ мрачныя стѣны риторическаго класса. Слѣдующіе за Ксенофонтомъ историки не имѣютъ почти никакой цѣны. Дошедшее до насъ въ отрывкахъ, сохранныхъ Фотіемъ, историческое сочиненіе *Ктезій* о Персіи и Индіи (23 книги) представляетъ печальный возвратъ къ биографіи, а съ *Фимиста*, *Теопомпа* и *Эфора* начинается риторическая манера въ исторіографіи и вмѣстѣ-съ-тѣмъ національная почва замѣняется пространнымъ полемъ всеобщей исторіи, — что было слѣдствіемъ упадка греческой государственной жизни. Походы и подвиги Александра Великаго проложили подобнымъ стремленіямъ новые пути, по которому особенно шли слѣдующіе историки: *Каллисвенъ*, *Гераклидъ*, *Анаксименъ*, *Гіеронимъ*, *Клитархъ*, *Марсій*, *Диодотъ*, *Эвменъ*, *Дурисъ*, *Нимфисъ*, *Гекатей*, *Берозъ*, *Манетонъ*, *Тимэй*, *Филлархъ*. Отъ этихъ и отъ другихъ того-же рода историковъ дошли до насъ только одни скудные отрывки. Съ распространеніемъ надъ Элладой владычества римлянъ, греческій духъ исчезалъ все болѣе и болѣе, какъ изъ исторіографіи, такъ и изъ литературы вообще. Всеобщая исторія рѣшительно заняла мѣсто національной,

Новѣйшая біографія Ксенофонта: W. Rüstow'a (Militärische Biographien, Vol. 1. 1858.—Кромѣ того сочиненіе *Дельбрюка* (Delbrück) «Xenophon zur Rettung seiner durch Niebuhr gefährdeten Ehre», 1829. (Нибуръ въ своемъ разборѣ «Эллиники» выставилъ Ксенофонта чрезвычайно дурнымъ гражданиномъ) и пр.—Русскій перев. Анабазиса въ Военной Библ. издан. Глазуновымъ.

и такъ-какъ римская исторія по немногу начала дѣлаться исторіей всемірной, то и центромъ исторіографіи сталъ Римъ, — какъ на примѣръ въ „Всеобщей Исторіи“ *Помпѣя* мегалополисскаго (ок. 210—200 до Р. Х.), изъ сорока книгъ которой вполне сохранились только первыя пять. Полибій вполне прагматикъ и кромѣ-того чрезвычайно добросовѣстный хронологъ. Гораздо ниже его стоятъ: *Диодоръ* сицилійскій, современникъ Юлія Цесаря („Историческая Библіотека“), и *Дионисій*, галикарнаскій (ок. 66 до Р. Х.— „Римскія древности“), — занимавшійся римской исторіей. Ученый іудей *Иосифъ Флавій* (род. въ 37 по Р. Х.) написалъ по-гречески два чрезвычайно важныя сочиненія: „О древностяхъ іудейскаго народа“ и исторію его паденія. Лучшія времена исторіографіи напоминаетъ *Плутархъ* херонейскій, своимъ знаменитымъ трудомъ „Сравнительныя Жизнеописанія (*βία παράλληλοι*)“; книга эта сдѣлала Плутарха однимъ изъ самыхъ популярныхъ авторовъ даже и въ новѣйшее время. Послѣ Плутарха снова наступаетъ быстрый упадокъ историческаго стиля, обнаружившійся въ „Исторіи Александра“ *Флавія Аріана* (род. ок. 124 по Р. Х.) и въ „Римской исторіи“ *Аппіана*, которая однако для нѣкоторыхъ частей римской исторіи служитъ главнымъ источникомъ, такъ-какъ труды тѣхъ историковъ, которыми пользовался Аппіанъ, для насъ утрачены. Много драгоценныхъ указаній содержитъ и историко-археологическій трудъ *Павзанія* (вѣроятно около 170 или 180 по Р. Х.) о Греціи, но трудомъ этимъ нужно пользоваться съ большою осмотрительностью.

Государственная жизнь, сложившаяся такъ, какъ сложилась государственная жизнь эллиновъ въ эпоху

ихъ процвѣтаніа, необходимо должна была придавать большое значеніе политическому краснорѣчію *. Постоянное столкновеніе партій, республиканскій обычай обсуживать на площади все, что касалось государства и судопроизводства, дѣлали для всякаго, кто хотѣлъ принимать участіе въ управленіи государствомъ, безусловно необходимымъ усвоеніе краснорѣчія, бойкаго и соответствовавшаго понятію грековъ о прекрасномъ. Въ Аѳинахъ развитіе риторскаго таланта возведено было въ сферу искусства (реторика), и преподавалось преимущественно въ школахъ софистовъ, т. е. мудрецовъ („софіа“ — мудрость) по профессіи. Софисты первые стали продавать премудрость за деньги; *Горіасъ* и *Протагоръ*, два изыщѣннѣе краснорѣчія Атики собрали своими уроками огромныя богатства. *Антифонъ* (480 л. до Р. Х.), стоящій во главѣ „десяти аттическихъ ораторовъ“, открылъ даже лавку подъ вывѣскою: „здѣсь предлагается (философское) утѣшеніе для несчастныхъ“. Понятно, что сдѣлавшись ремесломъ и школьной наукой, краснорѣчіе перестало быть проявленіемъ природнаго таланта и совершенно обратилось въ искусство играть словами. Впрочемъ, переворотъ, затѣянный софистами, совершился не вдругъ. Уроки Сократа забылись не скоро, и подъ вліяніемъ ихъ время отъ времени появлялись ораторы, болѣе или менѣе свободные отъ софистическаго краснорѣчія ученыхъ раторовъ. Однимъ изъ такихъ ораторовъ былъ *Андокидъ*, сынъ Леагора (род. 469 до Р. Х.), второй изъ десяти аттическихъ ораторовъ. Стиль его рѣчей—простъ и свободенъ отъ всякой изыс-

* A. Westermann: „Geschichte der (griech. und röm.) Beredsamkeit.“ 1833—1835. Всеобщая Исторія Шлоссера; т. II, стр. 262—284 (Краснорѣчіе или государственныя науки).

канности и риторическихъ украшеній.—Точно также почти свободнымъ отъ вліянія софистики остался *Лизіасъ* (458—378), языкъ котораго сжать, простъ, естественъ и силенъ безъ помощи театральнхъ эффектовъ. Четвертымъ изъ аттическихъ ораторовъ былъ *Изокрытъ* (род. 436 г. до Р. Х., уморилъ себя голодомъ, потрясенный гибелью греческой свободы послѣ херонейской битвы, 338); главнымъ достоинствомъ рѣчей Изократа была необыкновенная тщательность отдѣлки, искусное построеніе періодовъ и предложеній, гдѣ не только каждое слово, но даже каждый слогъ подбирался по законамъ гармоніи, такъ однако, что ритмъ языка, при всей его музыкальности, никогда не переходилъ въ размѣръ стихотворной рѣчи. Само собою разумѣется, что при такомъ копотливомъ трудѣ не могло быть и рѣчи о вдохновеніи и силѣ. Для образованія ораторовъ по своей методѣ, Изократъ открылъ школу, изъ которой, по выраженію Цицерона, „какъ изъ троянскаго коня, вышло безчисленное множество знаменитыхъ людей“ *. Замѣчательнѣйшіе изъ учениковъ Изократа были *Изей*, *Ликуръ*, *Гиперидъ* и *Демосѳенъ*. Изъ нихъ Демосѳенъ былъ не только безспорно первымъ ораторомъ Греціи, но и всей древности.

Демосѳенъ родился въ 385 до Р. Х. въ одномъ аттическомъ городкѣ, и на 63-мъ году своей жизни умертвилъ себя, не будучи въ силахъ пережить гибели эллинской свободы. Характеристическія особенности демосѳеновскаго краснорѣчія заключаются въ возбужденіи страстей, въ пламенной силѣ и ясности, въ возвышенности и изыс-

* Ex Isocratis ludo, tanquam ex equo Trajano, innumeri principes extiterunt. Cic. Lib. 2. de Orat. h. 94.

ствѣ стили. Въ его изложеніи соединились простота и украшенность, тщательность въ отдѣлкѣ и безыскусственность, сжатость и подробность, изящество и грубость, вкрадчивая мягкость и грозная строгость. У Фукидида была только одна манера, которую онъ употреблялъ вездѣ, не обращая вниманія на то, вездѣ-ли она годится. Совершенно не такъ Демосѳенъ. Онъ никогда не теряетъ изъ виду своей цѣли, никогда не переступаетъ обозначенной имъ себѣ границы и всегда приравнивается къ времени и мѣсту; никогда стилистическая краснота рѣчи не поглащаетъ всего его вниманія, — прибѣгая къ риторикѣ, онъ думаетъ только о выгодѣ, которую можно извлечь изъ діалектической красоты. Мѣняя по нѣскольку разъ тонъ своей рѣчи, Демосѳенъ никогда не утомлялъ вниманія аудиторіи; совершенно по волѣ оратора слушателями овладѣвали то бурный духъ партіи, то сонливое равнодушіе, то гнѣвъ и ненависть, то любовь и состраданіе, то ужасъ и стыдъ, то гордый патріотизмъ стараго времени. Презирая все изысканное и искусственное, Демосѳенъ постоянно держался въ границахъ простой, естественной, обыкновенной рѣчи, которую онъ только иногда оживлялъ смѣлой метафорой или трагической картиной. Даже теперь, читая Демосѳена, забываешь о личности оратора, и переносишься въ среду тѣхъ событій, о которыхъ онъ говоритъ. Изъ политическихъ (симбулейтическихъ) и судебныхъ рѣчей Демосѳена до насъ дошло 61. Изъ нихъ 3 относились къ олимпійскимъ дѣламъ, и 12 до политическихъ сношеній аѳинянъ съ македонскимъ царемъ Филиппомъ (первыя четыре изъ этихъ рѣчей обыкновенно называются „филиппики“); одна изъ лучшихъ судебныхъ рѣчей — рѣчь противъ Лептина. Самымъ закон-

ченнымъ (но не лучшимъ) произведеніемъ его считается рѣчь „Овѣникъ“ противъ Эсхина, оспаривавшаго рѣшеніе аѳинскаго сената, который присудилъ Демосѳену золотой вѣнокъ за заслуги отечеству *. Противникъ Демосѳена, талантливый негодяй Эсхинъ, продалъ себя Филиппу македонскому и въ рѣчахъ своихъ горячо защищалъ интересы своего покупателя. Въ пользу-же Филиппа интриговалъ въ Аѳинахъ и низкій пронира *Демадъ*. Послѣ Демосѳена, Эсхина, Ликурга и Гиперіда краснорѣчіе потеряло все свое значеніе. Въ вялыхъ и безжизненныхъ рѣчахъ девятаго изъ великихъ ораторовъ, *Динарха*, мы видимъ уже признаки искаженія ораторскаго искусства. Послѣднимъ изъ десяти аттическихъ ораторовъ древніе называютъ *Димитрія Фалерейскаго* (род. 283), „который въ своихъ рѣчахъ имѣлъ въ виду только одну цѣль — нравиться слушателямъ“.

8. АЛЕКСАНДРІЙСКО-РИМСКІЙ ПЕРІОДЪ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Съ-тѣхъ-поръ какъ Греція вошла въ составъ македонской монархіи, Аѳины перестали быть отчизной искусства и науки. Духовная дѣятельность сосредоточилась преимущественно въ Александріи, гдѣ Птоломеи, присвоившіе себѣ изъ наслѣдія Александра Великаго Египетъ, устроили для учюности и надежное убѣжище и дали ей превосходное пособіе чрезвычайно богатой библіотеки, состоящей болѣе чѣмъ изъ 800,000 томовъ (volumen — свертокъ отъ *volvere*). Мы говоримъ — „учюности“,

* A. G. Becker: „Demosthenes als Staatsmann und Redder.“ 1815. — I. M. Söldt (1852) u. Arn. Schäfer: „Dem. und seine Zeit“ (3 части 1856—1858).

потому-что она уже заступила теперь мѣсто продуктивности. Творчество прекратилось: началась критика, регистрація, комментированіе. Поэзія,—если изрѣдка и проявлялась она,—была или ученымъ и робкимъ копированіемъ великихъ твореній минувшаго времени, или-же попыткой слить восточные элементы съ эллиническими, изъ чего выходила какая-то нелѣпая смѣсь. Изъ александрійскихъ поэтовъ — подражателей древнимъ классикамъ — очень не многіе оставляютъ пріятныя впечатлѣнія. Изъ числа ихъ преимущественно эпикъ *Аполлоній* родоскій (240 до Р. Х.), въ своей героической поэмѣ „Походъ Аргонавтовъ“ (*Αργοναυτική*), съ умомъ и со вкусомъ стремится подражать гомерической простотѣ. Частности удалась ему какъ нельзя лучше, но цѣлому не достаетъ единства, эпической простоты и развитія; строго соблюденъ хронологическій порядокъ, но нѣтъ основной, проникающей чрезъ все соченіе поэтической идеи. Послѣ Аполлонія въ канонѣ эпиковъ упоминаются *Аратъ* и *Никандръ*, отъ которыхъ до насъ дошли дидактическія поэмы въ эпической формѣ. Поэму перваго (Феномены) часто цитируетъ апостолъ Павелъ. Третьему столѣтію по Р. Х. принадлежатъ эпикъ *Ріаносъ* изъ Крита, *Евфоріонъ* изъ Халкиды (оба ок. 230 до Р. Х.). Во II и I столѣтія до Р. Х. жили поэты *Архіасъ* изъ Антіохіи (100), учитель Цицерона; *Скимпосъ* изъ Хіоса (90), написавшій географію въ ямбахъ; *Агамелосъ* изъ Аркадіи, *Бутасъ* и *Парменіосъ* изъ Никей, наставникъ Вергілія. Въ I столѣтіи по Р. Х. жили только такіе жалкіе римоплеты, какъ *Филистіонъ* при Августѣ и *Лукиллиосъ*, подлый панегиристъ Нерона. Въ двухъ слѣдующихъ столѣтіяхъ мы видимъ или писателей легонькихъ, но очень рѣдко остроумныхъ

эпиграммъ, или ученыхъ авторовъ тяжеловѣсныхъ дидактическихъ поэмъ. Изъ послѣднихъ особенно замѣчательны: врачъ *Маркеллосъ* (160), стихотворно изложившій врачебную науку (Ятрика); *Оппіаносъ* изъ Киликіи (200), написавшій 5 книгъ о рыбной ловлѣ и 4 книги объ охотѣ, и *Діозіосъ Періетъ* изъ Лидіи, изъ сочиненій котораго до насъ сохранилось около 1200 гексаметровъ всеобщей географіи. Нѣсколько позднѣе жили двое чрезвычайно ученыхъ поэтовъ: *Несторъ* и сынъ его *Пизандръ*. Первый написалъ Иліаду въ 24 пѣсняхъ, съ такимъ фокусомъ: въ первой пѣснѣ нѣтъ буквы *α*, во второй *ε* и т. д. Въ византійскую эпоху еще разъ вспыхнуло пламя эпического вдохновенія и произвело нѣсколько стихотвореній, достойныхъ лучшаго времени. Таковы были „Подвиги Діониза“ (*Διονυσιακή*) *Нонноса* изъ Паннополиса (вѣроятно около 400 по Р. Х.). Поэма эта состоитъ изъ 48 книгъ и содержитъ восточно-миѳическіе элементы; поэтъ начинается Кадмомъ и Европой, изображаетъ жизнь и смерть перваго Бахуса, рожденіе втораго Бахуса, сына Семелы, его юность и приключенія, наконецъ рожденіе третьяго Бахуса. Далѣе эротико-эпическая поэма „Геро и Леандръ“, грамматика *Музелъ* (около 500 по Р. Х.): поэма эта, извѣстная и у насъ по переводамъ, сдѣланымъ съ переработки Шиллера,—напоминаетъ лучшіе времена эллиническаго искусства. Зато эпическія работы *Коинта* смирнеота (около 470 по Р. Х.) и *Колута* изъ Ликополя (около 500 лѣтъ по Р. Х.) не болѣе какъ сухія и скучныя подражанія Гомеру. Поэма Коинта «Коринта» состоитъ изъ 14 пѣсней и непосредственно, безъ всякаго введенія, примыкаетъ къ концу Иліады; изъ твореній Колута до насъ дошла

небольшая, но сухая и скучная поэма „Похищеніе Елены“ (рус. пер. О. В. Миллера). Гораздо ранѣе повѣствовательная поэзія создала себѣ новую форму въ сказкѣ и романѣ, потому-что даже широкая одежда гексаметра сдѣлалась уже неудобною для стремившейся въ ширь и въ даль эпохи. Къ этому присоединились еще вліянія восточной поэзіи и мистики, дѣятельно вкрывившейся и въ неоплатонизмъ, этой послѣдней, отчаянной и неудачной попыткѣ греческой философіи поправить наступившій теперь разрывъ между духомъ и природой, преодолѣть незнакомый истинному эллинизму, но теперь уже рѣзко проявившійся контрастъ между субъектомъ и объектомъ, человекомъ и богомъ. Въ греческой поэзіи сказокъ и романовъ являются послѣдніе, скудные остатки исчезнувшей лучшей поэзіи, — остатки, соединенные смутными, не осѣвшими элементами новаго времени. Главный предметъ этой поэзіи — любовь, то болѣзненно-сантиментальная, то грубо-чувственная. Таковы Милетскія Сказки, которыя вѣроятно написалъ *Аристидъ* изъ Милета; таковы любовныя повѣсти и повѣстунки *Партеніоса* изъ Никеи (80 до Р. X.), таковы грязныя метаморфозы *Луція* изъ Патры (Левкіосъ - патреосъ) и написанныя въ формѣ романа Путевыя Впечатлѣнія *Антонія Диогена* и сирійца *Ямвлиха* (Вавилонскія исторіи 16 кн.). Уже Ксенофонтъ въ своей Киропедіи проложилъ путь къ болѣе благородному стилю романографіи. Между-тѣмъ романъ нашелъ талантливыхъ дѣятелей только въ IV столѣтіи по Р. X. Самымъ замѣчательнымъ изъ нихъ былъ *Геллоторъ* эфесскій, епископъ Трики въ Фессаліи (въ концѣ IV столѣтія). Его „*Θεαγενς и Хариклея*“ (или 10 книгъ „*эфіонскихъ повѣстей*“) можно считать началомъ литературы романовъ, которая сдѣлалась

такою необыкновенно-вліятельною въ новое время. Содержаніе этого образцоваго творенія отличается нравственнымъ благородствомъ, а форма ясностью и прелестью. Къ подражателямъ Геллотора принадлежатъ: Ахиллесъ *Татіосъ* изъ Александріи; его 8 книгъ „*Любовныхъ приключеній* (Εροτικά) Клитифона и Левкиппы отличаются занимательностію вымысла и развитія сюжета, но изложеніе слишкомъ растянуто, а тонъ и языкъ изысканный. Большую простоту видимъ въ романѣ *Ксенофонта* эфесскаго — „*Пять книгъ эфесскихъ повѣстей* (Εφεσιακά)“. Дошедшій до насъ подъ именемъ *Харитона* изъ Афродизіи романъ „*Исторія любви Херея и Калирроэ*“, въ 8 кн., отличается замѣчательной простотой стиля, правдоподобіемъ событій и ловкой композиціей разсказа. Отрасль пастушескаго романа введена въ литературу авторомъ романа „*Дафнисъ и Хлоя*“, (4 книги), который приписываютъ, но вѣроятно ошибочно, *Лоносу* (около 400 года по Р. X.). Стиль этого автора простъ, легокъ, естественъ, и при всей его сжатости, не теменъ; его выраженія полны жизни и огня; онъ творилъ съ умомъ и талантомъ; живопись его прелестна, картины расположены необыкновенно ловко. Менѣе замѣчателенъ эротикъ *Эвстафій*, авторъ романа „*Исменіасъ и Исмена*“, въ 11 книгахъ. — Подобную отрасль романовъ составляютъ „*эротическія письма*“, чрезвычайно важныя для исторіи нравовъ того времени; такія письма писали *Алкифронъ* (около 150 по Р. X.) и его послѣдній подражатель *Аристэнетъ*. Между-тѣмъ легкая литература мало-по-малу начинала затрогивать и болѣе серьезныя предметы, и въ особенности занялась популяризацией философскихъ доктринъ. Авторство такого рода было

въ ходу преимущественно у софистовъ, и на ихъ полиграфическую дѣятельность можно, пожалуй, смотрѣть, какъ на журналистику древнихъ. Обычай публично читать сочиненія, — обычай, возникшій еще въ лучшія времена Эллады, долженъ былъ замѣнять для этой публицистики недостатокъ прессы. Остроумная критика религиозныхъ и философскихъ вопросовъ, сатирическое изображеніе современнаго направленія жизни и духа, въ смѣси съ разными исторіями о приключеніяхъ и непристойными анекдотами — составляютъ содержаніе этихъ сочиненій, выглаженныхъ по всеѣмъ правиламъ реторики. Число такихъ публицистовъ было очень велико, особенно въ то время, когда греческая литература переживала свои ясные осенніе дни подъ покровительствомъ такихъ просвѣщенныхъ римскихъ императоровъ, каковы были Адрианъ и оба Антонина. Но изъ полчища позднѣйшихъ софистовъ съ честью выступаетъ впередъ только одинъ *Лукіанъ* изъ Самозаты въ Сиріи (вѣроятно, родился 117 по Р. Х.). И въ-самомъ-дѣлѣ Лукіанъ былъ человѣкъ гениальный и достойный лучшаго времени; сочиненія его (*Нигринъ*, *Аукціонъ*, *Рыбакъ*, *Гермотимъ*, *Новые ланиты*, *Икаромениъ*, *Прометей*, *Трагическій Зевсъ*, *Лжепророкъ*, *Пereгринъ*, *Разговоръ мертвыхъ*, *Харонъ*, и пр.) отличаются свѣжестью, подвижностью и проницательностію ума; они искрятся остроуміемъ и шаловливой, но злой шуткой; стиль Лукіана чистъ и гладокъ, но безъ малѣйшей аффектаціи. Многостороннюю авторскую дѣятельность этого превосходнаго насмѣшника можно охарактеризовать однимъ словомъ, назвавъ Лукіана Вольтеромъ своего времени; ни одинъ изъ его современниковъ не изобразилъ такъ умно и остро, какъ онъ, процессъ разложенія античнаго общества.

II

РИМЪ *

Римская литература развилась подъ безусловнымъ влияніемъ греческой. Римскую литературу можно даже назвать продолженіемъ греческой, потому-что Римъ подхватилъ блѣднѣющіе лучи эллинскаго солнца, которое давно ужъ закатилось въ Элладѣ, чтобы хотя и съ меньшимъ блескомъ и жаромъ сіять надъ Италіей. Между мѣстической исторіей Рима и его литературой нѣтъ никакой связи. Поэтому римская литература не есть литература національная; она возникла не на народномъ фун-

* Главныя сочиненія по римской литературѣ: *Histoire de la littérature romaine* par. Fr. Schoell, Paris, 1815; *Grundriss d. röm. Lit.* G. Bernhard, Halle, 1830; *Geschichte der röm. Lit. von I. Chr. F. Bähr*, Karlsruhe, 1828. *Vorlesungen über die Gesch. d. röm. Lit.* von T. A. Wolf, Leipzig, 1832. *Handbuch d. lat. Literaturgesch.* von R. Klotz, Leipzig, 1845. *Geschichte der römischen Literatur* (для гимназій и высшихъ учебныхъ заведеній), von Prof. Dr. Eduard Munk. 3 ч. Berlin, 1861. Ср. приведенныя выше (въ Элладѣ) сочиненія археологическаго характера и литературные отдѣлы въ римской исторіи *Моммзена* и всеобщей исторіи Шлоссера. Очеркъ исторіи римской литературы *Шаффа* и *Горрмана*. Пер. съ нѣмецкаго. *Н. Соколова*. М. 1856. — Очерки исторіи римской литературы. Соч. *Гарлесса*. Пер. съ латинскаго. Москва, 1838.

даментъ туземнаго героизма, какъ греческая, и вслѣдствіе этого никогда не сдѣлалась достояніемъ народа, а всегда оставалась больше однимъ только предметомъ роскоши, игрушкой въ рукахъ знатныхъ и богатыхъ; во время республики она не имѣла значенія, въ эпоху императоровъ была искусствомъ придворнымъ. Римскій народъ былъ народомъ не художественнымъ, а вполне политическимъ. Идея государства поглотила въ немъ все остальныя, и рѣшительное, безусловное преобладаніе этой идеи, стремленіе къ всемірному господству, дѣлаетъ Римъ не только великимъ, но и поэтическимъ; такъ *Виргилій*, въ одномъ изъ лучшихъ мѣстъ своей *Энеиды* высказалъ въ безсмертныхъ словахъ эту мысль о гордомъ призваніи Рима. * Но напрягая все свои силы на то, чтобы осуществить римскую идею о государствѣ, духовная дѣятельность римлянъ должна была взять исключительно практическое направленіе, которое съ самаго начала отрѣзало отъ себя развитіе художественнаго чувства, которымъ насквозь были проникнуты эллины. Римляне съ самаго дѣтства строго и сурово воспитывались для прагматизма своего народа, который представлялъ фантазіи лишь на столько права, на сколько была она жажущею завоеваній. Своей собственной міеологіи, самобытнаго героическаго сказанія у римлянъ не было, или по-

* *Exsudent alii spirantia mollius aera* и проч. То-есть: Будутъ другіе лишь лучше живые кумиры изъ мѣди, И изъ холоднаго камня творить оживленные лица; Будутъ лучше судить, опишутъ движеніе неба, Все свѣтила исчислять, ихъ путь по небесному свѣду; Ты-же, о римлянинъ, помни, что должно править народомъ, И не забудешь тѣхъ правилъ: искать благодатнаго мира; Всѣхъ покорныхъ щадить и прощать, и сражать непокорныхъ.

крайней-мѣрѣ они не дошли до того, чтобы начатки ихъ развитія въ своемъ національномъ духѣ. Религія была у нихъ дѣломъ чисто государственной практики, которая оказалась одинаково терпимою къ самымъ различнымъ формамъ культа: римляне приняли эллинскую міеологію, точно также какъ приняли алфавитъ греческій; какъ то, такъ и другое, казалось имъ подходящимъ къ ихъ цѣлямъ. Когда потомъ, по мѣрѣ возрастанія вышней силы, чувствовалась уже потребность духовнаго наслажденія и появились поэты, то нѣсколько двусмысленное начало римства можетъ-быть показалось имъ слишкомъ грубымъ и неизящнымъ, въ сравненіи съ великолѣпными героическими сказаніями грековъ, и такимъ образомъ они старались приурочить эти сказанія къ Риму, тѣмъ болѣе, что римскіе поэты чрезвычайно практически угадали то обстоятельство, что при недостаткѣ гомерической силы творчества, которой они ужъ никакъ не обладали, было совершенно невозможно сдѣлать что-нибудь правильное изъ отрывочныхъ и темныхъ сказаній древней Италіи. Неспособные дать культурѣ національное основаніе и такую національную форму, какую имѣютъ эллины въ своемъ эпосѣ, римляне присвоили себѣ греческое образованіе, также какъ завладѣли сокровищами художественными, т. е. просто, какъ доброй добычей — и приспособили его ко вкусамъ своей общественной жизни. Но въ массу все-таки не проникло ни это образованіе, ни его продуктъ, — литература римская. Какъ ея греческій образецъ былъ введенъ въ Римъ, какъ предметъ моды, — несмотря на все противодѣйствія представителей римскаго „старофилства“ — такъ и римская поэзія всегда была достояніемъ образованнаго класса и предметомъ утонченнаго образа жизни, духовной гастрономіей, кото-

рая собственно у народа - то все-таки не могла отбить врожденного ему вкуса къ грубой пищѣ звѣриной травли и боя гладіаторовъ. Въ Элладѣ софоклевская трагедія была народнымъ наслажденіемъ, въ которомъ принимали участіе все классы общества, тогда какъ въ Римѣ высокая поэзія была достояніемъ только эксклюзивныхъ кружковъ, въ Греціи Сократы, Платоны и Аристотели передъ лицомъ всего народа развивали философическій міръ мысли, у римлянъ философія скрывалась въ загородныхъ виллахъ одинокихъ мыслителей. Только такіа отрасли науки и искусства, которыя — какъ исторія, юриспруденція, или государственное и судебное краснорѣчіе, стояли въ строгой связи съ политической жизнью, или такой родъ поэзіи, который, какъ напримѣръ дидактическая поэма, соответствовалъ практической тенденціи римлянъ, имѣлъ болѣе самостоятельное развитіе. Во всемъ остальномъ характеръ латинской литературы есть — подражательность, причемъ не должно впрочемъ упускать изъ виду, что подражанія греческимъ образцамъ у значительнѣйшихъ римскихъ поэтовъ достигло высокой степени изящества, и что поэты римскіе, несмотря на то, что они были иногда рабскими слѣпниками чужихъ формъ, всегда лелѣяли въ себѣ мысль о всесвѣтномъ владычествѣ Рима, что одинъ изъ нихъ, Гораций, выразилъ въ желаніи, чтобы богъ солнца никогда не видалъ ничего большаго города Рима *.

* Alme sol, curru nitidem diem qui

Pomis et celas, aliusque et idem

Nasceris, passis nihil urbe Roma visere majus

Carm. Lacc. 9—112.

1. НАЧАЛО РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Какъ художникъ образовательный долженъ быть воодушевленъ и преисполненъ одною, живущею въ немъ великою идеей,—идеей которая заставляетъ его забывать все прочее, въ которой одной онъ живетъ, и отъ чего все его творенія становятся только опытами, разнообразными по одному выполненію,—путями, которыми онъ старается достигнуть до нагляднаго изложенія своей высокой идеи: такъ точно и истинный поэтъ, всякій великій, изобрѣтающій писатель преисполняется такою-же, совершенно присущею ему идеею, дѣлающеюся для него средоточіемъ, къ которому у него все направляется, какъ радіусы къ центру, къ которому у него все относится, какъ частное къ цѣлому; особенная-же искусственная форма, употребляемая имъ для изложенія этой идеи, есть только внѣшній ея отпечатокъ. Вотъ что преимущественно отличаетъ *грековъ* отъ *римлянъ*: стоитъ только сравнить великихъ поэтовъ времени цвѣтущихъ—Пиндара, Эсхила и Софокла, или народно-поэтического поэта Аристофана, оратора Демосфена или обоихъ первыхъ историковъ Геродота и Фукидида: у каждаго изъ нихъ есть своя собственная идея, которая замѣняетъ ему все, и отражается во всѣхъ его произведеніяхъ. Потому у каждаго изъ этихъ великихъ писателей находимъ особенный и только ему принадлежащій ходъ мышленія, особенный родъ изложенія, особенную искусственную форму, даже въ отношеніи стиля и языка каждаго изъ этихъ первостепенныхъ авторовъ; кажется, будто, читая его творенія, вступаешь въ совершенно другой, новый міръ. Такъ богата и разнообразна

была умственная образованность *грековъ*. Но напрасно мы будемъ искать у писателей *римскихъ* того-же великаго оригинальнаго духа. Конечно, и у нихъ, какъ мы уже сказали, есть нѣчто замѣняющее этотъ недостатокъ; у нихъ также есть возвышенная, великая идея; но она не свойственна кому-нибудь изъ нихъ въ отдѣльности, а есть общая всѣмъ идея *Рима*. Это не гений, не индивидуальный духъ значительнѣйшихъ изъ римскихъ писателей, — а идея отчизны: Римъ, хотя и въ чрезвычайно различныхъ отношеніяхъ, — одинъ Римъ одушевляетъ всѣхъ и повсюду проникаетъ ихъ творенія, какъ невидимая, живительная сила. Этотъ духъ придаетъ имъ величіе, независимо отъ искусства и искусственности грековъ, которымъ они подражали вообще довольно неудачно. По завоеваніи римлянами южной Италии и Сициліи, гдѣ народнымъ языкомъ былъ еще тогда большею частію языкъ греческій, и по завладѣніи Македонією и Ахаією, — знаніе этого языка становилось все необходимѣе и необходимѣе для римлянъ, особенно по тому великому числу историческихъ сочиненій грековъ о всѣхъ земляхъ и народахъ, съ которыми побѣдители, при расширившемся кругѣ своей дѣятельности, входили тогда въ сношеніе. Поэтому, какъ мы уже имѣли случай замѣтить въ очеркѣ греческой литературы, даже сами римляне, которые въ это время начали впервые писать исторію своего народа, выбирали для этого греческій языкъ, и грекъ Полибій, приведенный въ Римъ заложникомъ, первый въ своемъ обширномъ трудѣ изобразилъ и сдѣлалъ извѣстною свѣту великую націю. Пѣнный грекъ изъ Тарента, *Ливій Андроникъ*, свѣдущій въ латинскомъ языкѣ, первый доставилъ римлянамъ возможность слушать и читать въ грубыхъ еще

отечественныхъ стихахъ Гомерову Одиссею, и своими переводами познакомили ихъ съ удовольствіемъ театральныхъ зрѣлищъ и драматическимъ богатствомъ грековъ. Больше-же всего любовь къ греческой образованности распространилась между знатными римлянами, а черезъ нихъ мало-по-малу и между всей націей, посредствомъ изученія греческаго краснорѣчія, связаннаго съ изученіемъ самаго языка. Въ Римѣ также краснорѣчіе имѣло большое, перѣдко самое рѣшительное вліяніе на государственное дѣло, и чѣмъ безпокойнѣе наступили времена съ появленіемъ Гракховъ, тѣмъ болѣе честолюбіе стало нуждаться, какъ въ орудіи, въ реторическомъ искусствѣ, которое для тѣхъ, кто сохранялъ старинный римскій образъ мыслей, именно потому-то и казалось софистикою, опасною для государства и имѣющею пагубное вліяніе на самый образъ мыслей.

Позднѣйшее умственное образованіе римлянъ никакъ не могло скрыть слѣды такого происхожденія, и теперь ужъ вошло у насъ въ привычку повторять, что римляне въ литературѣ были только подражателями грековъ.

Но совершенно неосновательно было-бы утверждать, что римляне всему научились, все заимствовали у грековъ, и никогда не имѣли ничего первоначальнаго, ничего издревле-собственнаго. Напротивъ, пересилившее вліяніе чужой образованности погубило всѣ древнія, собственно римскому народу принадлежація, *героическія сказанія* и стихотворенія, задолго предшествовавшія изученію образцовъ греческихъ и подражанія имъ, — погубило ихъ всѣ, за исключеніемъ немногихъ остатковъ, изъ истинной поэзіи переселенныхъ въ полубаснословную исторію.

Многіе писатели, наиболѣе знакомые съ древне-рим-

скими обычаями, устройством домашняго быта, часто упоминаютъ о старинныхъ пѣсняхъ, которыя повѣствовало о подвигахъ предковъ и пѣвались на праздникахъ и пиршествахъ римскихъ патриціевъ. Такимъ образомъ чувство любви къ отечеству и поэтической духъ римлянъ выражались въ историко-героическихъ стихотвореніяхъ прежде, нежели они пошли въ науку къ грекамъ, чтобы отъ нихъ заимствовать софистическое краснорѣчіе и поэзію болѣе ученую, несравненно болѣе искусственную и подчиненную самымъ строгимъ правиламъ, какъ въ просодіи, такъ и въ языкѣ. Если насъ спросятъ: что могло быть предметомъ этихъ древнихъ римскихъ героическихъ пѣнопѣній,—мы легко найдемъ отвѣтъ на это въ самой исторіи. Нетолько совершенно баснословное повѣствованіе о рожденіи и судьбахъ Ромула, похищеніе сабинскихъ женъ, но и поэтическая битва трехъ Гораціевъ съ Куріаціями, высокомѣріе Тарквинія, смерть Лукреціи, мщеніе и освободительный подвигъ Брута, чудесная война Порсенны и твердость духа Сцевола, потомъ изгнаніе Коріолана и его война противъ роднаго города, внутреннее бореніе его геройской души, и наконецъ побѣда, одержанная надъ нимъ мольбами матери и мыслью о Римѣ:—всѣ эти мнимыя исторіи, если разсматривать ихъ съ настоящей точки зрѣнія, по большей части оказываются древними героическими сказаніями и стихотвореніями Рима. Въ этомъ значеніи они имѣютъ высокое достоинство; между-тѣмъ, какъ историческій критикъ, если станетъ принимать ихъ просто исторически, не сумѣетъ объяснить или оправдать въ нихъ множество внутреннихъ противорѣчій. Уже многіе подозрѣвали, что подъ исторической оболочкой скрывается большая часть старинныхъ пѣнопѣній самой

ранней эпохи Рима. Одному ученому критику новаго времени, В. Г. Нибуру * принадлежитъ заслуга точнаго отдѣленія и очищенія всѣхъ баснословныхъ частностей. Его критика лишаетъ насъ части исторіи, въ которой событія только на вѣру принимались за истинныя,—зато мы приобретаемъ хоть отголосокъ туземнаго сказанія римлянъ. Прежде чѣмъ греческое искусство и искусственность стихосложенія отучили слухъ римлянъ отъ звука родныхъ пѣсень, эти историческіе подвиги героевъ воспѣвались въ тѣхъ простыхъ стихахъ, которые въ Италіи, по названію древняго времени, именовались *сатурническими*. Исключая римскаго украшенія, котораго въ нихъ не было, они были похожи на еще болѣе неправильныя, такъ называемыя александрійскіе стихи, бывшіе въ употребленіи почти у всѣхъ образованныхъ народовъ средневѣковой Европы. Содержаніе этихъ героическихъ древне-римскихъ пѣнопѣній,—на сколько мы можемъ судить о нихъ по уцѣлѣвшихъ отъ нихъ остаткамъ въ мнимой исторіи,—при многихъ возвышенныхъ чертахъ, обнаруживаетъ духъ и характеръ патріотическій, совершенно ограниченный однимъ отечественнымъ городомъ и, при нѣкоторой примѣси чудеснаго и баснословнаго, приближающійся къ историческому. Отсюда понятно, почему блистательное разнообразіе Одиссеи и исполненный благозвучія, волноподобный греческій гексаметръ совершенно плѣнили слухъ и душу римлянъ и отдалили ихъ отъ родной поэзіи.

Но въ исторіи самаго Рима и въ позднѣйшихъ со-

* В. Г. Niebuhr: «Römische Geschichte»; 2 Bde. 1811. 1833. (Нов. изд. 1853) Ср. въ Пропілеяхъ разборъ его труда, Н. Т. Грановскаго.

бытіяхъ міра заключалась еще и другая причина, которая отклонила римлянъ отъ ихъ старинныхъ героическихъ сказаній и привела ихъ въ такое забвеніе, что они наконецъ уцѣлѣли только въ совершенно искаженной формѣ полубаснословной, несвязной лѣтописи. Камиллъ, освободитель покореннаго галлами Рима, есть послѣдній героическій образъ древне-римской исторіи, — послѣдняя личность, большею частію принадлежащая сказанію и поэзіи, и безъ сомнѣнія перешедшая въ потомство украшенною и прославленною въ пѣсняхъ. Съ этого освобожденія начинается историческое время Рима. Можетъ-быть при онутошеніи, произведенномъ галлами, утратилась большая часть памятниковъ; все, что древнѣе этой эпохи, не вѣрно и сомнительно, или, если что-нибудь даже и составляетъ явленіе фактическое, — перемѣшано съ вымыслами. Съ этой эпохи началось величіе Рима, развившееся впервые во время самнитской войны. Въ смыслѣ историческомъ и эта война принадлежитъ собственно героическому вѣку римлянъ, и въ теченіе этого времени, по всей вѣроятности, сложились ихъ древнія героическія пѣсни, о которыхъ упоминаютъ Катонъ и Цицеронъ. Къ этимъ *историко-героическимъ временамъ* римской силы и доблести были еще довольно близки древнія сказанія о царяхъ и герояхъ, а потому объ освободителяхъ и судьбахъ великаго города; и потому ихъ чувствовали сильно и живо. Но когда римляне побѣдили и поработили Тарентъ, Италію и Сицилію, Македонію и Карфагенъ, Испанію и Ахаію, — то какое-же соотношеніе оставалось тогда между древнимъ маленькимъ Римомъ, который беролся съ сабинцами, или цѣлыя десять лѣтъ, какъ нѣкогда греки подъ Троей, осаждалъ крѣпостцу Вейи, — и между тогдашнимъ Ри-

момъ, какъ-бы уже предназначеннымъ къ всемірному державству и стремившимся къ нему съ неудержимой силой! Греки и въ древнѣйшія времена ужъ составляли народъ многочисленный, раздѣленный на многія поколѣнія и племена; Римъ, прежде только городъ, черезъ присоединенныя къ нему земли и народы Италіи, сперва сдѣлался сильнымъ государствомъ, а потомъ всевѣстнымъ завоевателемъ. Такимъ-образомъ естественный ходъ событій и неизбѣжное теченіе обстоятельствъ требовало, чтобы родное героическое сказаніе старины исчезало все болѣе, или по-крайней-мѣрѣ уже не скрашивалось и не развивалось разнообразнымъ изложеніемъ, и чтобы вмѣсто него получало у римлянъ господство греческая культура духа и греческая поэзія. (*Ф. Шлегель*).

Дошедшіе до насъ образцы древнѣйшей національной поэзіи римлянъ, ограничиваются нѣсколькими остатками религіозно-литургическихъ формулъ двухъ священническихъ обществъ „арваліекихъ братьевъ“ и „салиевъ“. Пѣсни *арваліекаго братства*, fratres arvales, пѣлись во время торжественныхъ процессій этого братства и призывали на поля плодородье и на городъ благословеніе боговъ. Одна изъ такихъ пѣсенъ, сложенныхъ грубымъ сатурническимъ размѣромъ (numerus saturnius), дошла до насъ. *Салии*, очень рано присвоившія себѣ государственный и политическій характеръ, но первоначально составлявшіе древне-латинское учрежденіе для службы туземному богу Марсу, въ началѣ весны или въ первый мѣсяцъ стараго календаря вооруженные ходили по улицамъ Рима, распѣвая свои гимны (carmina saliarum „anaxamenta“), приспособленные къ сопровождавшей ихъ пляскѣ. Содержаніе ихъ составляло выхваленіе древнихъ боговъ и заслуженныхъ людей роднаго го-

рода. Нерелигиозныя пѣсни имѣли строго-историческій характеръ и раздѣлялись на *застольныя, погребальныя* (неніи), кромѣ того — *надгробныя надписи* въ мѣрной рѣчи и *надписи триумфальныя* (tabulae triumphales), слагавшіяся въ честь полководцевъ, получившихъ триумфъ. Во время-же самаго триумфа солдаты пѣли обыкновенно *насмѣшливыя пѣсни*, большею частію веселаго, остроумнаго содержанія (carmina triumphalia). Поселяне, во время полевыхъ работъ, на праздникахъ и увеселеніяхъ, тоже пѣли пѣсни, слабый отголосокъ которыхъ сохранился въ такъ называемыхъ *фесценнинахъ* (versus fescennini) *. Въ этихъ-то сельскихъ пѣсняхъ лежалъ зародышъ мимическихъ представлений, драматическихъ импровизаций и идиллическихъ дуэтовъ (carmina amboebaca), въ которыхъ главную роль играло остроуміе и жесткая, ѣдкая насмѣшка. Вообще въ характеръ латинскихъ народовъ искони лежала большая склонность къ сопровожденію разсѣренной рѣчи мимикой и жестикуляціей, также какъ и къ остротамъ, насмѣлкѣ и подшучиванью. О происхожденіи *драматической* игры у римлянъ, римскій историкъ Ливій разсказываетъ (кн. VII, 4), что первыя сценическія представленія были введены въ Римъ въ 364 году, во время свирѣпствовавшей тамъ моровой язвы, какъ одно изъ средствъ для умиловленія боговъ. Безъ всякаго пѣнія, безъ мимическаго представленія піесы, приведенныя изъ Этруріи актеры танцовали подъ звуки одной флейты и дѣлали на тусційскій манеръ совершенно приличныя тѣлодвиженія. Гораздо большее развитіе сценическія пред-

* О фесценниннахъ см. статью г. *Благовещенскаго*: «О началѣ римской комедіи». (Пропилей, кн. II).

ставленія получили въ *ателланахъ* (tabulae atellanae), названныхъ такъ по имени оскійскаго города Ателла въ Кампаніи. Эти ателланы, которыя вообще были нѣсколько сдержаннѣе слишкомъ грязныхъ фесценнинъ, вѣроятно заключали въ себѣ политическія остроты и намеки, и потому чрезвычайно нравились прагматическимъ римлянамъ. Поэтому казалось-бы, эти совершенно народныя формы вполне годились для фундамента національной драмы; но судьба хотѣла, чтобы образованныѣе изъ римлянъ съ самаго начала наотрѣзъ отреклись отъ родной поэзіи, какъ скоро познакомились съ греческой.

2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА РИМЛЯНЪ.

Собственно *художественная литература* римлянъ начинается *Ливіемъ Андроникомъ*, который по единогласному свидѣтельству древнихъ открываетъ рядъ латинскихъ писателей. Исторія всей римской литературы обнимаетъ два большія пространства времени: *время республики* и *время имперіи* и раздѣляется на три отдѣла: 1) *время возникновенія и роста*, 2) *время цвѣтенія* и 3) *время постепеннаго увяданія и смерти*: *архаическая, классическая и послѣклассическая литература* (по Мунку).

1. АРХАИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

отъ ливія андроника до цинерона, отъ 514 (240) до 674 (80).

А. ПОЭЗІЯ.

Вторженіе въ Римъ чужаго образованія началось со времени знакомства римлянъ съ греками. Это случилось

въ то время, когда государственное устройство становилось демократическимъ, когда образъ жизни переставалъ уже соответствовать увеличившейся силѣ римлянъ, и всеобщее владычество ихъ распространилось такъ быстро, что развитіе внѣшней жизни не могло поспѣвать за усиливавшейся потребностью болѣе обширнаго образованія. Въ то время образованіе это было такъ совершенно у грековъ, что оно соответствовало всѣмъ условіямъ, которыхъ для средняго слоя римскаго общества требовалъ утонченный образъ жизни и разширившійся кругъ занятій государственныхъ. Поэтому очень естественно, что со времени покоренія нижней Италіи и Сициліи, въ Римѣ стали подражать греческому образованію. Но оно могло найти доступъ только въ высшіе классы, потому-что оно было потребностію для государственныхъ занятій и для утонченной общественной жизни, а не естественнымъ слѣдствіемъ идущаго впередъ народнаго развитія. Самое существенное слѣдствіе, которое произвело введеніе въ Римъ греческаго образованія, неоспоримо было то, что образованіе это навсегда осталось достояніемъ высшаго общества, и такимъ-образомъ помогало одной части націи на новомъ пути къ развитію, по которому другая часть слѣдовать за ней не могла. Такимъ-образомъ огромная масса народа, въ отношеніи умственнаго развитія, была рѣзко отдѣлена отъ образованныхъ классовъ націи.

Эпоху, въ которую римское образованіе подверглось этой важной перемѣнѣ, кажется, всего правдоподобнѣе будетъ обозначить 270 годомъ до Р. Х., потому-что тогда были покорены ниже-итальянскіе греки и такимъ-образомъ началось постоянное соприкосновеніе между греческими и римскими нравами. Но и тутъ, какъ со

всѣми хронологическими опредѣленіями въ исторіи литературы и искусства, не нужно упускать изъ виду того обстоятельства, что духовное развитіе вездѣ принимаетъ новое направленіе не вдругъ, а мало-по-малу. Нѣкоторые обстоятельства показываютъ, что римляне еще раньше были нѣсколько знакомы съ греческой литературой. Напримѣръ римскіе посланники, которые за 12 лѣтъ посланы были въ Тарентъ, говорили тамъ передъ народнымъ собраніемъ по-гречески, и Пирръ безъ-сомнѣнія, вмѣсто философа и государственнаго человѣка Кинеаса, послалъ бы къ воинственнымъ римлянамъ одного изъ своихъ генераловъ, еслибы уже прежде греческія воззрѣнія на жизнь не нашли себѣ доступа къ римской аристократіи.

Стихотворство было первою отраслью греческой литературы, проникшей въ римскую націю, или лучше сказать, въ аристократическую часть римской націи. Да это и совершенно естественно. Римляне были еще богаты въ то время наслѣдственнымъ у нихъ здравымъ человѣческимъ смысломъ и строго практической мудростію, такъ-что греческая философія не представляла имъ ни одной стороны, посредствомъ которой она могла бы расположить ихъ въ свою пользу. Точно также не нуждались они въ то время въ политическихъ теоріяхъ и ораторскомъ искусствѣ грековъ, потому-что господство ихъ не простиралось еще на племена совершенно имъ инородныя; потому-что государственное устройство Рима, выработавшееся въ долгой внутренней борьбѣ, всѣмъ классамъ народа дало практическую, нѣкоторымъ образомъ инстинктивную государственную мудрость, которая принесла такіе плоды, какихъ ни въ одномъ греческомъ государствѣ не принесла наука о государственномъ управленіи; наконецъ потому, что гражданское пра-

во, судопроизводство и религиозная обрядность — все основано было на преданіяхъ старины, и только развито сообразно съ потребностями времени; стало-быть и тутъ не пользовались греческой наукой. Напротивъ совершенно иначе было съ легкой литературой и изящными искусствами. Для нихъ уже знатные римляне, именно въ это-то время и начинавшие вести утонченный образъ жизни, — ничего не находили дома; потому-что грубые шутки народной поэзіи были имъ невыносимо противны. Многие образованные греки изъ нижней Италіи, сдѣлавшіеся кліентами вельможъ римскихъ, старались войти въ милость своихъ патроновъ, сочиняя римскія стихотворенія въ утонченномъ греческомъ вкусѣ. Такимъ-то образомъ поэзія римлянъ впервые была переработана проникшимъ въ нее греческимъ духомъ, и первые поэты ново-римской литературы были природные греки (Шлоссеръ).

Поэты эти были Ливій Андроникъ, Кней Невій и Квинтъ Энній. Оба первые жили около 235 г. до Р. Х., послѣдній годами тридцатью поранѣе.

Ливій Андроникъ, родившійся вѣроятно въ Тарентѣ, какъ римскій военно-плѣнный попалъ въ рабство, но былъ отпущенъ господиномъ своимъ на волю, и занималъ въ Римѣ должность публичнаго учителя греческаго языка и литературы. Умеръ онъ въ глубокой старости (209). Вѣроятно, его дидактической дѣятельности обязанъ своимъ происхожденіемъ переводовъ Одиссеи въ сатурническихъ стихахъ. Переводъ этотъ, въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій, былъ учебной книгой въ римскихъ школахъ. Гораций говоритъ (Epist. II, 1, 69), что стихотворство стараго Ливія памятно ему по нѣсколькимъ затрещинамъ, полученнымъ въ школѣ

Орбилія. Дошедшіе до насъ немногіе отрывки этой Одиссеи показываютъ, что при всей неповоротливости языка и тяжести сатурническаго размѣра, переводчикъ съ истинно-поэтическимъ тактомъ и добросовѣстной вѣрностью умѣлъ передать языкъ оригинала. Наивный, безыскусственный, покрытый почтенной ржавчиной древности языкъ Ливія, вѣроятно, производилъ на образованныхъ римлянъ позднѣйшаго времени тоже впечатлѣніе, какое на насъ производитъ, напримѣръ, чтеніе Нестора. Первый стихъ Одиссеи:

ἄνδρα μου ἐνυπτε, Μοῦσι πολὺντροπον —

Ливій передалъ такъ:

Virum mihi, Camena, insece versutum.

«Назови мнѣ, Камена, многоопытнаго мужа».

Стихъ Од. I, 64.

Но гораздо значительнѣе было то вліяніе, которое Ливій произвелъ на народъ римскій введеніемъ греческой драмы. До насъ дошли 14 заглавій его трагедій. Изъ комедій его представлены были только три: Мечигъ (*gladiolus*), Дѣва и Лидій. Представленіе одной изъ этихъ комедій (241 г. до Р. Х.) было первою попыткой поставить греческую драму наряду съ туземными ателланами. Піесы Ливія Андроника были, вѣроятно, нечто иное, какъ драматизированіе греческихъ мифовъ, причемъ онъ повозможности близко держался своихъ греческихъ образцовъ. О творческой силѣ и гениальной обработкѣ сюжета не можетъ быть и рѣчи у Ливія. Еще менѣе оригинальности получила у него комедія. Но за нимъ остается та заслуга, что онъ впервые издалъ форму, которая осталась существенною формой римской драмы до временъ Августа.

Кней Нэвій. Первый толчокъ умственного движенія былъ сообщенъ римлянамъ Ливіемъ Андроникомъ. Съ-тѣхъ-поръ быстро развилась въ Римѣ дѣятельная литературная жизнь. Если Ливій Андроникъ научилъ греческую музу говорить по-латини, то Нэвій создалъ для римскаго духа римское выраженіе. Нэвій пошелъ по другой дорогѣ, чѣмъ Ливій Андроникъ, и—погибъ на ней. Онъ старался отвлечь римскую литературу отъ того аристократическаго направленія, которое она приняла съ самаго начала, и снова сдѣлать ее народной. Такимъ-образомъ онъ писалъ не въ угоду знатныхъ фамилій, какъ дѣлалъ Ливій,—а для народнаго класса, и старался перенести въ Римъ чисто-политическую комедію Аристофана, выводя на сцену людей, стоявшихъ во главѣ правительства.

Сципіонъ африканскій старшій и оба Метелла почувствовали на себѣ бичъ его сатиры. Но Нэвій упустилъ изъ виду разницу, существующую между правительствомъ демократическимъ и такимъ, во главѣ котораго стоитъ привилегированная каста. При демократическомъ правленіи народъ съ удовольствіемъ смотритъ на порицаніе знатныхъ, онъ позволяетъ даже, чтобъ ему самому говорили правду, потому-что сознаніе своего могущества не даетъ въ немъ мѣста страху; тогда-какъ аристократія и всякое другое правительство незаконное и насильственное, а стало-быть и сильное только до времени, до перваго толчка, — боязливо подавляетъ всякій голосъ обличенія и правды. Нэвій скоро испыталъ это на себѣ. *Triumviri capitales*, имѣвшіе, между прочими обязанностями, надзоръ за проживающими въ Римѣ иностранцами, посадили его въ тюрьму: думаютъ, что это тотъ „варварскій“, или иностранный поэтъ, о которомъ говоритъ Плавтъ: (*Miles Glor.* II, 2, 56).

«*Nam as columnatum poetae esse inaudivi barbaro
Quoi bini custodes semper totis horis accubant*» *.

Впослѣдствіи Нэвій былъ изгнанъ изъ Рима и умеръ въ Утикѣ, въ годъ отъ построенія Рима 500 (206 до Р. X). Отъ комедій его дошло до насъ нѣсколько незначительныхъ отрывковъ. — Кромѣ того Нэвій былъ творцомъ римскаго эпоса: онъ написалъ сатурническимъ размѣромъ исторію первой пунической войны, въ которой онъ самъ принималъ участіе. У грековъ, какъ мы видѣли, эпосъ произошелъ отъ религіи: это было поэтическое прославленіе дѣяній боговъ и героевъ, какъ они жили въ преданіяхъ и памяти народа; у римлянъ эпосъ былъ выраженіе патріотизма, продуктъ убѣжденія народа въ его великомъ призваніи быть властелиномъ вселенной. Историческая истина, составляющая главное содержаніе поэмы, пользуется мною только какъ украшеніемъ; поэтическая одежда и блескъ языка служили только вѣнчикомъ для сюжета совершенно прозаическаго. Поэтому, далекія отъ эпопей гомерическихъ, героическія поэмы римлянъ не имѣли художественнаго единства, и вплетенные въ нихъ миѳы очень часто противорѣчили исторической истинѣ; но все-таки это были такія-же вѣрныя зеркала римскаго духа, какъ въ Гомерѣ открыто проявился геній греческій. Какъ Гомеръ пробудилъ и выростилъ въ грекахъ тонкое художественное чувство, такъ и римляне обязаны своему эпосу достойнымъ пониманіемъ «римства», какъ оно позднѣе проя-

* По переводу (не совсѣмъ удачному) С. А. Шестакова: «Подперъ подбородокъ рукою, словно колонною... слышалъ я, что такое положеніе принималъ римскій (?) поэтъ, при которомъ безпрестанно были два стража». — (Хваст. Воинъ. Проп. кн. 3).

вилось въ твореніяхъ ораторовъ и историковъ. Нэвій и Энній были творцами того рода поэзіи, который въ продолженіе всего существованія римской литературы до Клавдіана съ любовью и не безъ оригинальности обрабатывался римлянами. Если въ частностяхъ римляне и подражали образцамъ греческимъ, то въ цѣломъ этотъ родъ поэзіи былъ все-таки произведеніемъ чисто римскимъ, которое ужъ никакъ нельзя сравнить съ произведеніемъ какого-нибудь Хэрила.

Несчастный примѣръ Нэвія отбилъ охоту и у другихъ быть народными поэтами, или вообще употреблять свои способности на что-нибудь непріятное правительствующему классу. Уже ближайшій преемникъ Нэвія, —

Квинтъ Энній, уроженецъ греческаго города Рудіи въ Апуліи, придя въ Римъ въ качествѣ учителя греческаго языка, и сдѣлавшись другомъ и кліентомъ Сципіона-Африканскаго старшаго, Катона-цензора и другихъ важныхъ людей, — избралъ себѣ дорогу совершенно противоположную, и этимъ не только для самаго себя добился славы и довольства, но и много содѣйствовалъ къ тому, что новое греко-римское образованіе стало рѣшительно модой въ высшихъ классахъ римскаго общества. Даже злѣйшій врагъ этого образованія, Катонъ старшій, на старости лѣтъ позволилъ Эннію убѣдить себя въ томъ, что Римъ не можетъ уже довольствоваться древнимъ самнитскимъ и латинскимъ образованіемъ. Кромѣ того, проницательный грекъ умѣлъ еще и другимъ способомъ сбывать свои литературные товары знатымъ господамъ Рима. А именно Энній показалъ имъ, что между латинскимъ, осекскимъ и греческимъ языкомъ есть сродство, и что стало-быть латинскій языкъ нельзя изучать основательно безъ знанія обоихъ другихъ язы-

ковъ. Это придало великое значеніе изученію греческаго языка въ Римѣ, потому-что люди господствующаго класса ни о чемъ такъ не заботились, какъ объ основательномъ знаніи своего роднаго языка. Потомъ Энній составилъ героическую поэму въ честь и славу воинскихъ подвиговъ Сципіона старшаго, и сдѣлалъ этимъ основаніе новой литературы еще прочнѣе; потому-что знатныя фамиліи были этой поэмой наведены на мысль, что для славы ихъ не довольно однихъ только подвиговъ, а нужно еще, чтобы хвалители превознесли ихъ въ стихахъ и въ прозѣ. Такъ-какъ въ то время не было еще, какъ во дни императора Августа, толпы голодныхъ поэтовъ, занимавшихся стихотворствомъ какъ ремесломъ, то примѣръ, поданный Энніемъ, необходимо и много долженъ былъ способствовать введенію этого новаго рода поэзіи. Далѣе, Энній переложилъ въ стихи исторію римскую (*Annales*); составляя эту книгу, авторъ тоже совершенно рассчитывалъ на людей, покровительствовавшихъ въ то время литературѣ, но вмѣстѣ-съ-тѣмъ она годилась и для римскаго національнаго образованія. Менѣе посчастливилось Эннію въ мысли перевести на латинскій языкъ трагедію Эврипида, потому-что именно здѣсь-то главная заслуга и состоитъ въ формѣ, языкѣ, постройкѣ стиха, между-тѣмъ какъ римляне не созрѣли еще до пониманія ихъ; но не смотря на это, онъ сдѣлалъ удачный выборъ, потому-что Эврипидъ, по своему ораторскому таланту, годился для римлянъ болѣе всѣхъ лучшихъ трагиковъ греческихъ (Шлоссеръ). Кромѣ того, Эннію-же приписываютъ изобрѣтеніе сатиры. Римская сатира отличалась отъ греческой тѣмъ, что будучи лишена интриги, она предназначалась для чтенія, а не для сцены. Конечно и она должна была увеселять читате-

лей и заставлять ихъ смѣяться; но этотъ сюжетъ былъ второстепенный и подчинялся болѣе высшей цѣли, — исправлять и карать. У древнихъ для каждаго рода поэзіи былъ исключительно свой размѣръ: гекзаметръ для эпопеи и для поэмы дидактической; гекзаметръ, перемѣшанный съ пентаметромъ, употреблялся въ элегіи; ямбъ — въ драмѣ, различные лирическіе размѣры для стихотвореній лирическихъ. Сатира Эннія не подчинялась этому правилу; она не исключала ни одного метра; всѣ ритмы были для нея годны, и Энній употреблялъ ихъ какъ вздумается. Это-то смѣшеніе всевозможныхъ метровъ и доставило поэмамъ, изобрѣтеннымъ Энніемъ, названіе *Сатиръ* *, т. е. смѣшаннаго стихотворенія (miscella). Подробнѣе о сатирѣ сказано будетъ ниже.

Т. Макцій Плавтъ. Если Энній пользовался благосклонностью высшихъ классовъ общества, то Плавтъ, комическій писатель, былъ любимцемъ народа, которому сюжеты, взятые изъ обыденной жизни, были гораздо понятнѣе, чѣмъ эпическая и трагическая поэзія, черпающая свое содержаніе изъ исторіи и міаическаго времени. О жизни поэта мы имѣемъ очень скудныя извѣстія. Т. Макцій Плавтъ жилъ въ одно время съ Энніемъ. Онъ родился въ одной Умбрійской деревнѣ, отъ бѣдныхъ родителей, и жилъ всегда очень бѣдно. Скопивъ себѣ впоследствии маленькое состояніе, онъ снова потерялъ его въ одной неудачной торговой спекуляціи, и чтобъ не умереть съ голоду, долженъ былъ заниматься работой на ручныхъ мельницахъ и брать на себя другія подобнаго рода занятія. Милостивцевъ и покровителей онъ, поэтъ черни, не искалъ. Цицеронъ пола-

* На языкѣ осковъ сатирой или сатурой называлась корзина, наполненная всякаго рода плодами, приносимыми въ жертву Церерѣ и Бахусу.

гаетъ, что Плавтъ умеръ въ одинъ годъ съ Сципіономъ африканскимъ старшимъ, т. е. въ 184 г. до Р. Х. Плавтъ не былъ творцомъ римской комедіи, потому-что ему предшествовали Ливій Андроникъ, Нэвій и вѣроятно многіе другіе, имена которыхъ не дошли до насъ; Плавтъ только талантливѣе другихъ поэтовъ обработалъ перенесенную изъ Греціи въ Римъ комедію и такъ принаровилъ ее къ народному духу римлянъ, что она можетъ считаться настоящими народными стихотвореніями. Какъ дитя плебса, Плавтъ лучше всего могъ попасть въ народный тонъ, и былъ такимъ-образомъ любимцемъ народа. Недостатокъ въ глубокомъ ученomъ образованіи предохранилъ его отъ ошибки, въ которую впади другіе комики, именно Цецилій и Теренцій: слишкомъ точной принаровкой къ своимъ греческимъ образцамъ они становились непонятными для народа; — а безобидный юморъ и добродушная насмѣшка, съ какими Плавтъ порицалъ глупости и пороки, никогда не позволяя себѣ личностей, — предохранили его отъ участи Нэвія. Онъ былъ одаренъ отъ природы меткимъ остроуміемъ и веселымъ юморомъ — и эти качества сдѣлали изъ него поэта. Изъ греческихъ комиковъ ему нравились болѣе Филемонъ и Дифиль съ своимъ гротескнымъ комизмомъ, чѣмъ тонкій Менандръ; но онъ бралъ у нихъ не болѣе, какъ эпическій сюжетъ и драматическую форму, — хотя и тутъ онъ не былъ рабскимъ подражателемъ и простымъ переводчикомъ, а подвергалъ все заимствованное значительнымъ перемѣнамъ. Онъ бралъ то, что ему было нужно, и выкидывалъ то, что для него не годилось; заимствовать изъ другихъ комедій цѣлыя роли и сцены (contaminare fabulas), но всегда былъ оригиналенъ въ обрисовкѣ характеровъ: онъ умѣлъ переводить такъ, что

греческая жизнь, со всей ея обстановкой и дѣйствующими лицами, становилась совершенно римскою. Поэтому и лица, въ сравненіи съ ихъ оригиналами въ греческой комедіи, являлись грубыми и неуклюжими,—потому-что они не были копіями съ элегантныхъ аѳинянъ, какъ въ комедіяхъ Менандра, а коренными настоящими римлянами, которыхъ зрители сразу признавали за своихъ земляковъ и собратій. Плавтъ также мало былъ Менандромъ, какъ Энній Гомеромъ, и все-таки оба они самые замѣчательные поэты древнѣйшаго періода римской литературы, потому-что чище всѣхъ изобразили духъ римскій. Какъ „Анналы“ Эннія можно назвать выраженіемъ историческаго чувства римлянъ, такъ комедіи Плавта суть картины, въ которыхъ предъ глазами нашими движется общественная жизнь римлянъ, съ ихъ нравами, обычаями, образомъ мыслей, характерами. Баснь піесы, конечно заимствованная у греческихъ комиковъ, есть только машина, которая приводитъ въ движеніе лица и заставляетъ ихъ дѣйствовать. Оттого комедіи Плавта, за немногими исключеніями,—фарсы, въ которыхъ все рассчитано на гротескно-комическій эффектъ. Если греческая комедія — мать комедіи Плавта, то отцомъ ея имѣетъ право назваться чисто итальянскій театръ съ его фесценнинами, сатирой, ателланами и мимомъ. Даже и въ этихъ-то фарсахъ баснь и интрига подчинены бурлескной характеристикѣ; характерныя маски обуславливаютъ піесу, и отъ ихъ изображенія вполне зависитъ ея дѣйствіе. Поэтому „комическая соль“ (*vis comica*) Плавта большею частію зависитъ отъ разнообразія и удачной обрисовки комическихъ ролей его рабовъ, паразитовъ, хвастливыхъ солдатъ, скрягъ, луновъ и пр. Но что Плавтъ былъ художникомъ не въ одной

только низкой комедіи, но съ умомъ и чувствомъ умѣлъ обрабатывать серьезные и трогательныя комедіи, — это доказываютъ его „Каптивъ“, „Руденсъ“ и „Тринуммусъ“. Но не эти драмы сдѣлали его любимымъ поэтомъ народа, а скорѣе тѣ, въ которыхъ онъ даетъ волю чисто итальянскому юмору и бурлескному комизму. Конечно, большая часть эстетиковъ августовскаго времени смотрѣла на нихъ съ омерзеньемъ; но они-то и упрочили за нимъ безсмертіе. Потому-что, при всей карикатурности его комическихъ ролей, въ нихъ такъ много правды, какъ-будто онъ выхваченъ изъ жизни, и его скряги, блюдолизы, хвастливые воины, пьянчуги, луны требуютъ очень немногихъ перемѣнъ для того, чтобъ быть перенесенными на новѣйшую сцену,—какъ это сдѣлали Мольеръ, и даже Шекспиръ, не погнушавшіеся передѣлать „Менэхмы“ въ „Комедію ошибокъ“. Многое, оскорбляющее наши цѣломудренныя нравы, наприѣръ непристойныя двусмысленности и грязная, площадная брань,—перешло въ плавтовскую комедію изъ итальянскихъ фесценниновъ. Поэтъ слѣдовалъ тутъ народному вкусу; это избяной запахъ, который, какъ говоритъ Гораций, выдыхается не скоро. Чрезвычайно справедливо судить о Плавтѣ Моммзенъ (R. G. I, стр. 680): „его комедіи, говоритъ онъ, — какъ ни много онъ зависятъ отъ образцовъ греческихъ, и какъ ни мало имѣютъ притязанія на собственно поэзію комизма, какъ понимали ее Аристофанъ, Шекспиръ и Сервантесъ,—своимъ не глубокимъ, но драматическимъ изображеніемъ характеровъ, забавной запутанностію и, главное, быстрымъ и естественнымъ діалогомъ и вѣчно бьющимъ ключомъ веселыхъ оборотовъ и превосходныхъ шутокъ—составляютъ одну изъ лучшихъ и самыхъ существенныхъ частей рим-

ской литературы“. Мы думаемъ, что всего лучше характеристику Плавта дополнять примѣры, взятые изъ его комедій: изъ нихъ мы увидимъ, что Плавтъ соединилъ въ себѣ всѣ роды древне-итальянской комедіи. Грубая *фесценины* не что иное, какъ только повторяющіяся сцены между рабами, пьяными бабами и тому подобными особами. Болѣе тонкая *сатира* съ ея меткой критикой жизни, глухихъ и смѣшныхъ сторонъ времени, съ ея моральными тенденціями—вложена въ уста много-опытныхъ старцевъ. Возьмемъ на примѣръ *Mil. glori.* III, 1, 22—168. *Воинъ* похитилъ у афинянина Плевсида его любовницу и привезъ ее въ Эвессъ. *Палестріонъ*, прежде служившій Плевсиду, а теперь находящійся въ услуженіи у воина,—извѣщаетъ объ этомъ своего прежняго господина. Этотъ тайкомъ пріѣзжаетъ въ Эвессъ, останавливается у своего пріятеля, старика *Перилектомена*, сосѣда воинскаго, и оба вмѣстѣ съ Палестріономъ уговариваются, какъ выручить дѣвушку изъ рукъ воина. Плевсидъ сожалеетъ, что онъ надѣлалъ старику слишкомъ много хлопотъ:

«Вотъ что сушить меня, мучить мою душу и тѣло.

Перилектоменъ. — Что тамъ тебя такое мучить?

Плевсидъ. — Да тѣ, что я тебѣ, человѣку въ такихъ лѣтахъ, навязываю на шею ребяческія дѣла, ни тебѣ, ни твоимъ достоинствамъ неприличныя, и что ты всѣми силами, изъ уваженія ко мнѣ, стараешься объ томъ, помогаешь мнѣ въ моей любви и дѣлаешь такія дѣла, которыхъ возрастъ этотъ болѣе бѣгаетъ, нежели ищетъ. Стыдно мнѣ, что я причиняю тебѣ на старости лѣтъ такое безпокойство.

Перил. — Ты, человѣкъ, любишь какъ-то по новому;

если только тебѣ стыдно, такъ ты не любишь; ты скорѣе тѣнь любовника, нежели любовникъ.

Плевс. — Мнѣ-ли безпокоить человѣка такихъ лѣтъ изъ-за моей страсти?

Перил. — Что ты толкуешь тутъ? Такъ-ли я кажусь старымъ, такимъ могильнымъ? Неужели-же тебѣ кажется, что я ужъ слишкомъ долго живу на свѣтѣ? Вѣдь мнѣ не болѣе пятидесяти-четырехъ лѣтъ: глазами вижу еще ясно, руками проворенъ, ногами двигаюсь.

Палестріонъ. — Если у него волосы и сѣдые, такъ сердцемъ онъ еще не старикъ: въ немъ есть еще врожденная сила духа, которая не измѣнитъ сама себѣ.

Плевс. — Я испыталъ, что это точно такъ, какъ ты говоришь, Палестріонъ; клянусь Поллуксомъ, снисходительность его дѣйствительно юношеская.

Перил. — Когда лучше испытаешь, гость, еще лучше узнаешь мою готовность служить тебѣ.

Плевс. — Что ужъ узнавать извѣстное.

Перил. — Я сдѣлаю тебѣ больше угожденій, чѣмъ общаю. На самомъ себѣ испытай; не ищи въ другихъ. Вѣдь кто самъ любилъ, тому досадно смотрѣть, какъ страдаетъ любящій. А я до-сихъ-поръ питаю въ тѣлѣ своемъ нѣсколько страсти и влаги, еще не совсѣмъ высохъ, не совсѣмъ отказался отъ предметовъ, доставляющихъ пріятность и удовольствіе. Я буду тебѣ, пожалуй, забавнымъ шутникомъ, собесѣдникомъ самымъ снисходительнымъ; никогда я не бываю спорщикомъ въ бесѣдѣ; умѣю кстати между собесѣдниками воздержать себя отъ неприличія, умѣю сказать, что и сколько слѣдуетъ, и помолчать гдѣ надобно, когда другой говоритъ; не плюю, не харкаю, не сморкаюсь безпрестанно; на пиру не трогаю я чужой любовницы, не беру прежде другихъ лакомаго куска, не пе-

рехватываю стакана; во время попойки не завяжу сеоры. Если такъ мнѣ кто-нибудь непріятель, я не принимаю участія въ разговорѣ, ухожу домой; за столомъ стараюсь быть какъ можно любезнѣе.

Плевс.—О, славный старикъ, если онъ имѣетъ всѣ тѣ качества, которыя упомянулъ, кланусь Поллуксомъ, онъ воспитанъ самой Венерой.

Палестр.—Право не найдешь такого человѣка, такихъ лѣтъ, кто-бы болѣе на все годился, кто-бы много такъ сдѣлалъ для друга.

Плевс.—Кланусь Поллуксомъ! Какъ всѣ качества собраны для удовольствія! Давай мнѣ трехъ людей съ такими качествами, съ такимъ характеромъ,—на вѣсь золота купишь-бы ихъ.

Перитл.—Я сдѣлаю то, что ты самъ сознаешься, что я еще юноша сердцемъ: такъ много во всѣхъ дѣлахъ окажу я тебѣ разныхъ услугъ. Нужно-ли будетъ свидѣтеля суроваго, сердитаго? Я къ твоимъ услугамъ. Нужно тихаго? Ты найдешь во мнѣ человѣка тише моря безмолвнаго, мягче вѣтра южнаго. Захочешь веселаго собесѣдника? Доставлю я тебѣ его въ себѣ, паразитаперваго сорта, и притомъ отличнаго знатока въ съѣстныхъ припасахъ; потомъ, если поплясать нужно, никакой плясунъ не поравняется со мной въ ловкости.

Палестр.—Чего пожелалъ-бы ты къ этимъ отличнымъ качествамъ, еслибъ тебѣ пришлось желать?

Плевс.—Чтобы за его услугу могъ я воздать должную благодарность, равно какъ и тебѣ; вы оба теперь сильно беспокоитесь ради меня, это я вижу. Но мнѣ совѣстно, что я заставляю тебя такъ много тратить для меня.

Перитл.—Безтолковъ ты. Вѣдь если потратишься для злой жены или для врага, такъ это трата; а что тратишься

для добраго пріятеля и гостя, такъ это чистая прибыль, точно также какъ прибыль для мудраго, если потратишься на священныя дѣла. По милости боговъ есть у меня довольно, чтобы принимать тебя у себя, какъ слѣдуетъ: ѣшь, пей, веселись со мной и не отказывай себѣ ни въ чемъ. Домъ мой свободенъ, я тоже свободенъ, — и хочу свободно жить. Вѣдь мнѣ можно было по богатству, которое я имѣю помилости боговъ, взять жену хорошаго рода, — и съ приданымъ; но не хочу впустить къ себѣ въ домъ, кто-бы ворчалъ на меня.

Плевс.—Отчего-же ты не хочешь? Вѣдь очень хорошее дѣло дѣтей имѣть.

Перитл.—Кланусь Геркулесомъ, это правда, но быть свободнымъ еще лучше. Вѣдь хорошую жену гдѣ найдешь? А неужели-же я возьму въ домъ такую, которая-бы никогда не сказала мнѣ: купи мужъ шерсти, я сдѣлаю тебѣ мягкій и теплый плащъ, да тунику хорошую для зимы, чтобы не замерзнуть тебѣ. Такого слова никогда не услышишь отъ жены, а разбудить тебя до пѣтуховъ, да скажетъ: дай-ка мужъ мнѣ, чѣмъ мать подарить 1-го числа марта, дай на кушанье, на платье, дай, что подарить на праздникъ Минервы (квинкватруи) заклинательницъ, истолковательницъ сновъ, предсказательницъ, гадалъницъ. Бѣда, какъ она наморщить брови, если ничего не пошлешь всѣмъ этимъ. Тамъ не обойдется дѣло безъ того, чтобы не подарить сколько-нибудь старухѣ, совершающей очистительные обряды. Тамъ сердится нянька, что ничего не получила, тамъ бабка повивальная жалуется на меня, что ей мало прислано. Еще что? А развѣ ты ничего не намѣренъ послать кормилицѣ, что рабовъ кормить? Вотъ эти-то и многія другія подобныя тра-

ты женскія отвращаютъ меня отъ женитбы на женщинѣ, которая-бы пѣла мнѣ подобныя пѣсни.

Палестр.—Боги благословятъ тебя, кланусь Геркулесомъ; вѣдь если разъ потеряешь свободу, не легко поставить себя на ту-же точку.

Плесс.—Ты человѣкъ умный: и о себѣ можешь придумать, и о другомъ. Но похвально и то, если человѣкъ хорошаго рода и съ хорошимъ состояніемъ воспитываетъ дѣтей, себѣ и своему роду памятникъ.

Перитл.—Но если у меня много родныхъ одного рода, зачѣмъ мнѣ дѣти? Теперь я живу хорошо и счастливо, какъ хочу, какъ душѣ угодно, послѣ смерти моей имѣніе мое назначу роднымъ, раздѣлю между ними. Они и ухаживаютъ за мной, смотрятъ мнѣ въ глаза, предаютъ мои желанія. Они даже подарки мнѣ присылаютъ. Если приносятъ жертву, то мнѣ большую часть, нежели себѣ; зовутъ на праздникъ; зовутъ къ себѣ обѣдать, ужинать. Тотъ считаетъ себя несчастнымъ, кто прислалъ меньше всѣхъ. Другъ передъ другомъ спорятъ они подарками, а я про себя думаю: знаю, на имѣніе мое ротъ разѣваютъ, оттого такъ и присылаютъ подарки.

Палестр.—Прекрасно все это; ты очень хорошо все видишь и понимаешь свое положеніе. Если тебѣ хорошо, такъ у тебя и дѣти есть, — двойни, тройни.

Перитл.—Кланусь Поллуксомъ, если-бы я имѣлъ дѣтей, я-бы имѣлъ довольно мученій черезъ нихъ. Постоянно мучился-бы сердцемъ: лихорадка у кого изъ нихъ, а сейчасъ думать, что вотъ умеръ; упалъ какъ-нибудь съ лошади, или такъ хмѣльной, — а въ страхъ, не сломилъ-ли онъ себѣ шеи или ноги.

Палестр.—Вотъ этотъ человѣкъ стоитъ богатства и

долгой жизни, который и имѣніе бережетъ и живетъ самъ хорошо, и друзьямъ въ удовольствіе.

Плесс.—О, какой милый человѣкъ! Да падетъ на меня гнѣвъ боговъ и богинь, если я не правду говорю. Надо было богамъ такъ устроить, чтобы не всѣ люди по одному образцу жили, какъ товару хорошій староста опредѣляетъ цѣну: хорошій товаръ и цѣну имѣетъ хорошую, а который негоденъ, такъ въ убытокъ вводитъ хозяина. Такъ надо было-бы богамъ и жизнь людскую раздѣлить: кто доброе сердце имѣетъ, тому и жизнь дать долгую, а которые безчестны и злы, у тѣхъ скоро отымать жизнь. Если-бы боги такъ устроили, то и людей дурныхъ было-бы меньше да и не такъ-бы смѣло рѣшились на дурныя дѣла, а потомъ, для честныхъ людей хлѣбъ былъ-бы дешевле.

Перитл.— Кто обвиняетъ устройство боговъ, глупъ и неразуменъ. Но теперь пора ужъ оставить это; — теперь хочу я пойти за съѣстнымъ, чтобы угостить тебя, поѣсть получше въ своемъ домѣ и повкуснѣе, какъ прилично твоему и моему достоинству.

Плесс.—Я ужъ не говорю, что мнѣ совѣстно, что я вовлекъ тебя въ такія издержки. Но всякій непременно накутить пріятелю, коли проживешь у него дня три-сряду. А если онъ загостится сряду дней десять, такъ ужъ и тяжело дому; хозяинъ хоть и ничего, такъ слуги начинаютъ ворчать.

Перитл.— Я такихъ слугъ завелъ, которые-бы мнѣ служили, гостя, а не командовали мною, какъ подчиненнымъ. Если имъ не пріятно, что мнѣ доставляетъ удовольствіе, такъ я живу по своей волѣ, и имъ волей-неволей нужно дѣлать то, что имъ досадно. Теперь я пойду туда, куда хотѣлъ, за припасами.

Плесс.— Если ужъ ты рѣшился; но пожалуйста

меня себѣ; я согласенъ идти къ тому въ кабаку, коли тамъ не черезчуръ голодаютъ, сидя на одномъ несчастномъ сырѣ.

Пирг. — Эй! гдѣ ты?

Арт. — Вотъ онъ! Ну, да вотъ хоть какъ ты слону-то въ Индіи руку переломилъ однимъ ударомъ кулака.

Пирг. — Какъ? руку?

Арт. — То бишь, ногу, хотѣлъ я сказать.

Пирг. — А вѣдь я еще не изо-всей силы ударилъ.

Арт. — Разумѣется! Вѣдь если-бы ты немножко понатужился, рука твоя прошла-бы черезъ кожу, черезъ кишки и черезъ голову слона.

Пирг. — Не надо теперь объ этомъ.

Арт. — Да и не стоитъ, правда, тебѣ рассказывать-то мнѣ. Я вѣдь знаю всѣ твои доблестные подвиги. (Въ сторону): Охъ! желудокъ причиняетъ мнѣ всѣ эти кручины: надобно ушамъ слушать, чтобы зубамъ не пришлось попусту шелкать. Вотъ и поддакивай, что ему ни вздумалось соврать.

Пирг. — А то, знаешь, что я хочу сказать?

Арт. — А знаю, знаю. Помню, такъ точно было это!

Пирг. — Что такое?

Арт. — Все, что тебѣ угодно.

Пирг. — Есть у тебя дощечки?

Арт. — Нечего и спрашивать. Разумѣется есть, и стили есть *.

Пирг. — Ты тотчасъ готовъ исполнить мое желаніе.

Арт. — Мнѣ слѣдуетъ характеръ твой давно ужъ знать, и стараться твои желанія предупреждать.

* Древніе употребляли для письма навощенные дощечки, на которыхъ писали палочкой, съ одной стороны заостренной (стилемъ).

Пирг. — Что-же? ты помнишь?

Арт. — Помню, помню. Сто пятьдесятъ въ Киликіи, сто въ Крифіолотроніи, тридцать сардійцевъ, шестьдесятъ македонянъ, всѣхъ этихъ ты въ одинъ день убилъ.

Пирг. — Сколько-же это всего-то?

Арт. — Семь тысячъ!

Пирг. — Такъ и должно быть: хорошо сосчиталъ!

Арт. — А вѣдь не написано у меня. Это я такъ помню.

Пирг. — Славная у тебя память, право.

Арт. — Обѣды твои напоминаютъ мнѣ.

Пирг. — Если ты будешь всегда такимъ, какъ до-сихъ-поръ былъ, ты всегда будешь сытъ, всегда будешь у меня.

Арт. — А въ Каппадокіи-то ты ударомъ убилъ-было пятьсотъ, если-бы не тупъ былъ мечъ твой. Помнишь?

Пирг. — Ужъ мнѣ надоѣло убивать, я и оставилъ ихъ жить.

Арт. — Да что мнѣ рассказывать тебѣ, что всѣ ужъ люди знаютъ, что ты одинъ на землѣ Пиргополникъ, непобѣдимый доблестью и красотою и славными дѣлами? Какъ женщины всѣ тебя любятъ! Да и какъ не любить такого красавца? Вотъ хоть тѣ напрімѣръ, что вчера поймали меня за плащъ.

Пирг. — А что онѣ тебѣ вчера говорили?

Арт. — Да онѣ спрашивали: что это, Ахиллесъ говорить съ тобою? Нѣтъ, говорю, это братъ его. Тутъ другая: ишь, говорить, какой красивый, благородный видъ у него! Посмотри, говорить, какъ пристали къ нему эти длинные волосы! Ахъ! говорить, какъ счастливы тѣ женщины, которыя съ нимъ знакомы.

Пирг. — Такъ онѣ и говорили?

Арт. — Да какъ-же не такъ-то, когда онѣ объ умо-

ляли меня, чтобы я провелъ тебя мимо ихъ, какъ чудо какое.

Пирг. — Это большое несчастье — быть слишкомъ красивымъ мужчиной.

Арт. — Надоѣли мнѣ: просить, умоляютъ, нельзя-ли какъ-нибудь тебя видѣть? къ себѣ зовутъ; мнѣ нельзя исполнить твоихъ порученій.

Пирг. — Но время ужъ, кажется, идти на площадь, чтобы раздать жалованье солдатамъ, которыхъ я вчера набралъ здѣсь. Царь Селевкъ очень просилъ меня, чтобы я набралъ и нанялъ ему солдатъ. Я положилъ посвятить нынѣшній день на это.

Арт. — Ну, такъ пойдемъ.

Пирг. Слѣдуйте за мной, тѣлохранители *).

Въ отношеніи постройки стиха Плавтъ тоже не былъ рабскимъ подражателемъ грековъ. Комедіи его отличаются полнотою размѣровъ, которые онъ вообще мастеръ употреблять, гдѣ слѣдуетъ. Особенно оригинальны и разнообразны лирическія ритмы въ кантикахъ, которыхъ множество въ комедіяхъ Плавта. Что касается языка его, то по свидѣтельству Цицерона онъ носилъ на себѣ печать чистѣйшаго латинизма.

Въ древности Плавту приписывали 130 комедій. Но въ числѣ ихъ вѣроятно считали и такія, которыя Плавтъ только просматривалъ, или ставилъ на сцену. Рядъ дошедшихъ до насъ піесъ открываетъ 1) *Амфитріонъ* (Amphitruus), — въ высшей степени комическая и жестко-остроумная травестія извѣстнаго мифа о рожденіи и воспитаніи Геркулеса. Отцомъ Геркулеса былъ Юпитеръ (Зевсъ): онъ произвелъ его на свѣтъ отъ Алкме-

* Оба отрывка, по перев. С. Шестакова. (Пропілеи, кн. 3.)

ны, которую обманулъ тѣмъ, что принялъ образъ супруга ея Амфитріона. Комизмъ піесы состоитъ въ томъ, что настоящій и фальшивый Амфитріонъ посѣщаютъ Алкмену въ одно и то-же время. Комедіи этой подражали Мольеръ, Драйденъ и Лодовико Дольче. Чрезвычайно забавная комедія 2) «*Горшокъ съ золотомъ*» (Aulularia), есть сатира на скупость, и замѣчательна уже потому, что тотъ-же порокъ осмѣивали Мольеръ въ своемъ «*Аваре*» и Лессингъ въ своемъ первомъ опытѣ для нѣмецкаго театра, — такъ-что съ этимъ сюжетомъ связано улучшение комедіи и въ новое время. Сюжетъ 3) «*Паразита*» (Circulio) состоитъ въ томъ, что дѣвушка, похищенная въ дѣтствѣ, попадаетъ въ рабство и воспитывается для любви: случай опять сводитъ ее съ родственниками; дѣвушкѣ признаютъ свободнорожденной, и она дѣлается законной супругой своего возлюбленнаго. — Въ 4) «*Служаночкѣ*» (Casina) отецъ и сынъ влюбляются въ одну и ту-же дѣвушку (комедія эта — подраженіе *κλινρομένης* Дифилла); 5) «*Ларчикъ*» (Cistellaria) — болѣе эскизъ, чѣмъ комедія; 6) «*Спорщикъ*» (Epidicus): хитрый рабъ надуваетъ своего стараго господина на большую сумму денегъ, чтобы доставить своему молодому барину, которому онъ преданъ тѣломъ и душой, обладаніе любовницей; 7) «*Бакхиды*» — (Chrysolus или Bachides) — превосходная комедія интриги. Двѣ сестры поймали въ свои сѣти двухъ молодыхъ людей и этимъ навлекли на себя гнѣвъ ихъ отцовъ: отцы собираются отмстить развратительницамъ, но кончается тѣмъ, что сами влюбляются въ нихъ до безумія. 8) «*Привидѣніе*» (Mostellaria) выводитъ на сцену плутни и похождения продавца раба Тракію. 9) «*Въ Братьяхъ-близнецахъ*

(Menecmae)“ поэтъ съ большимъ юморомъ развиваетъ всѣ забавныя столкновѣнія, происходящія отъ разительнаго сходства двухъ братьевъ-близнецовъ. Комедія этой между-прочимъ подражала: Шекспиръ (Комедія ошибокъ), Ренаръ, Гольдони. 10) „*Хвастливый воинъ*“ (Bramarbas, Miles gloriosus)“, выводитъ на сцену карикатурную личность воина, немилосердо хвастающаго своими побѣдами на сушѣ и на морѣ и надъ врагами и женскими сердцами. 11) „*Обманщикъ*“ (Pseudolus)“ — одна изъ самыхъ остроумныхъ и веселыхъ комедій Плавта. 12) „*Карфагенянинъ*“ (Poenulus)“ замѣчательна тѣмъ, что одно изъ дѣйствующихъ лицъ этой комедіи, карфагенскій купецъ, говоритъ на своемъ отечественномъ языкѣ, — и это единственные, дошедшіе до насъ образчики пуническаго языка. 13) въ „*Кораблекрушеніи*“ (Rudens)“ изображены приключенія молодой дѣвушки, похищенной еще въ дѣтствѣ изъ родной деревни. Эта комедія, кромѣ множества другихъ художественныхъ достоинствъ, замѣчательна своимъ благороднымъ гуманизмомъ. Менѣе значительны: 14) „*Стихъ*“ (Stichus)“ — переводъ С. Д. Шестакова, Современникъ, 1854 года), — пѣса, богатая нравственными сентенціями; 15) „*Купецъ*“ (Mercator)“; 16) „*Персіянка*“ (Persa)“; 17) „*Деньги за осла*“ (Asinaria)“; 18) „*Грубѣишій*“ (Truculentus)“. Но лучшими комедіями Плавта могутъ быть названы 19) „*Сокровище*“ (Trinummus, собственно — трехконѣчникъ)“ и 20) „*Военнопленные*“ (Captivi)“. Последняя изображаетъ находку двухъ потерянныхъ сыновей и соединяетъ съ этимъ мотивъ, который такъ часто и выгодно варьировали драматическіе писатели новаго времени — благородное самопожертвованіе раба за своего господина. Самое дѣйствіе

пѣсы не заключаетъ въ себѣ ничего комическаго и совершенно соотвѣтствуетъ понятію о театральномъ представленіи въ нашемъ смыслѣ. Только въ лукавствѣ раба проглядываетъ еще элементъ веселый, и этотъ элементъ доходитъ потомъ до бурлеска въ фигурѣ Эргазила, блюдолиза, который только и дѣлаетъ, что высматриваетъ, гдѣ-бы ему поѣсть и попить, и приправляетъ всю пѣсу своими умными остротами. Вотъ въ нѣсколькихъ словахъ содержаніе пѣсы: Регіонъ, богатый этоліецъ, потерялъ обоихъ сыновей своихъ, Тиндара и Филополема. Первый еще въ младенчествѣ былъ похищенъ бѣглымъ рабомъ Регіона, Сталагномъ, и проданъ въ рабство. Второй юноша, во время войны между этолианами и элейцами, попадаетъ въ плѣнъ къ послѣднимъ. Старикъ отецъ покупаетъ поэтому цѣлую партію элидекихъ плѣнниковъ въ надеждѣ вымѣнять на кого-нибудь изъ нихъ своего сына. Случилось такъ, что въ числѣ этихъ плѣнниковъ былъ и Тиндаръ, младшій сынъ Регіона, съ своимъ господиномъ Филократомъ. Этотъ Филократъ, помѣнявшись именемъ и одежками съ своимъ рабомъ, отправляется въ Элиду, оставляя Тиндара заложникомъ своей вѣрности. Регіонъ скоро открылъ обманъ и хочетъ жестоко отомстить рабу, разрушившему своимъ благороднымъ самопожертвованіемъ всѣ его надежды на возвращеніе сына. Но честный Филократъ приводитъ изъ Элиды не только Филополема, но и Сталагна, который открываетъ наконецъ происхожденіе Тиндара, и счастливый отецъ находитъ обоихъ сыновей своихъ разомъ. — Содержаніе второй пѣсы, „*Тринуммусъ*“ — (которая есть нечто иное, какъ переработка одной греческой комедіи Филемона), — чрезвычайно просто. Заключительный аониянинъ, Хармидъ, уѣзжая надолго изъ Аоніи,

поручаетъ покровительству своего друга Калликлеса свою дочь, которая впрочемъ не появляется на сценѣ, своего сына Лесбоника и все свое хозяйство. Лесбоникъ въ короткое время проматывается дотого, что принужденъ продать не только свой домъ, но даже и домъ своего отца. А въ этомъ домѣ зарытъ кладъ, о существованіи котораго знаетъ только Хармидъ да его вѣрный другъ Калликлесъ. Чтобы вмѣстѣ съ домомъ сокровище не перешло въ другія руки, Калликлесъ покупаетъ домъ Хармида и этимъ навлекаетъ на себя всеобщее неудовольствіе своихъ гражданъ. Лизителесъ, аѳинскій юноша, сынъ богача Филтона, любитъ сестру Лесбоника и сватается за нее, не требуя никакого приданого. Но гордость запрещаетъ Лесбонику выдать свою сестру безъ всякаго приданого: онъ проситъ Филтона, явившагося къ нему сватомъ за своего сына, взять хоть маленькое помѣстье, — все, что осталось у него отъ отцовскаго имѣнія. Все это ставить Калликлеса въ большое затрудненіе: онъ не знаетъ, какимъ образомъ дать ему приданое сестрѣ такъ, чтобы братъ не узналъ тайну зарытаго клада. Мудрый другъ, сѣдой Мегаронидъ, выручаетъ его изъ бѣды: чтобъ привести въ исполненіе хорошо задуманную хитрость, онъ подговариваетъ сикофанта, и тотъ подкупленный за трехкопѣечникъ „(tripunius)“, долженъ явиться подъ видомъ путешественника въ домъ Калликлеса, принести отъ Хармида подложное письмо и деньги на приданое сестрѣ Лесбоника. Но случилось такъ, что въ это самое время возвращается и самъ Хармидъ. На улицѣ, передъ своимъ домоиъ, онъ встрѣчается съ сикофантомъ, который не узнавъ Хармида, пресерьозно сообщаетъ ему, что онъ посланъ Хармидомъ вручить его дочери приданое. Пос-

лъ этой въ высшей степени комической сцены, является Калликлесъ, потомъ Лесбоникъ и Лизителесъ. Все объясняется ко всеобщему удовольствію, — Лизителесъ женится на дочери Хармида, Лесбоникъ, по желанію отца, на дочери Калликлеса, и „вѣ“ приглашаютъ публику *рукоплескать*. Представитель комизма въ этой пьесѣ — эпизодическая фигура Стазима, безстыднаго и хитраго слуги Лесбоника. — Отъ „Vidularia“ и нѣсколькихъ другихъ пьесъ сохранились только небольшіе отрывки.

ДАЛЬНѢЙШЕЕ РАЗВИТІЕ ДРАМЫ.

У Плавта не было преемниковъ. Онъ писалъ только для народа; позднѣйшіе поэты, слѣдуя болѣе примѣру Эннія, поддѣлывались подъ вкусъ знатныхъ покровителей и не обращали никакого вниманія на вкусъ народа. Народъ отмстилъ имъ совершеннымъ невниманіемъ. Любимцемъ его остался Плавтъ, а пьесы Теренція онъ прерывалъ шумомъ и бѣжалъ смотрѣть на гладіаторовъ и канатныхъ плясуновъ. Съ этихъ поръ литература осталась аристократическимъ предметомъ роскоши. Тщеславію образованныхъ римлянъ льстила мысль, что они могутъ состязаться съ греками и аттической изысканности противопоставить римскій урбанизмъ. — Многіе патриціи интересовались судьбами театра. Они покровительствовали талантливымъ писателямъ, переработывавшимъ сценическіе сюжеты грековъ, и скоро римскій театръ приобрѣлъ богатый репертуаръ комедій и трагедій, державшійся до временъ Августа. Наконецъ уже перестали довольствоваться вольнымъ переложеніемъ греческихъ

сюжетовъ и, по примѣру Эннія, облекшаго національную исторію въ форму греческаго Эпоса, — стали вводить въ драму римскихъ героевъ. Такимъ-образомъ отдѣлилась особенная отрасль трагедіи—*praetexta*; но по винѣ-ли сюжета, или писателей,—она, кажется, не имѣла успѣха. Въпослѣдствіи пытались и комедію поставить въ болѣе близкія отношенія къ римской жизни. Афраній написалъ, такъ-называемыя *fabulae togatae* (театральныя представленія въ тогѣ, т. е. въ римскомъ плащѣ), которыя обрабатывали трагически, въ формѣ комедіи, сцены изъ народной жизни. Но и этотъ родъ пользовался успѣхомъ скоропроходящимъ, да и то благодаря таланту и остроумію Афранія.—Основаніемъ другой вѣтви драматической поэзіи служили греческіе сюжеты и греческая обстановка: вѣтвь эта, въ свою очередь раздѣлилась на *fab. crepidata* (театр. предст. въ башмакахъ), трагедію, и *fab. palliata* (театр. предст. въ длинной епанчѣ), комедію.

а) ТРАГЕДІЯ (*).

1) *М. Пакувій*, сынъ сестры Эннія, родился въ Брундузіи, 220 г. Онъ былъ живописецъ и поэтъ. Въ глубокой старости, страдая продолжительной болѣзнію, онъ оставилъ Римъ и поселился въ Тарентѣ, гдѣ и умеръ 90 лѣтъ отъ роду. До насъ дошли названія 19 трагедій Пакувія: всѣ онѣ указываютъ на пользованіе греческимъ оригиналами; только одна „*Павелъ*“ имѣла римскій предметъ и принадлежала къ разряду прѣ-

* На русск. яз. ср. статью г. Благовѣщенскаго «О судьбахъ римской трагедіи»—(Журн. Минист. Народ. Просв. 1846, № VI).

текстатъ. Трагедія Пакувія, по своей внѣшней формѣ, а еще болѣе по римскому колориту, который приданъ въ нихъ греческому содержанію,—похожи на трагедіи Эннія. Трагедія „*Павелъ*“, въ которой выведенъ былъ на сцену Эмилиій Павелъ, побѣдитель Персея,—кажется была первой попыткой драматизировать сюжеты изъ современной исторіи; потому-что пьеса Нэвія „*Alimonia Romuli et Remi*“ движется еще совершенно на мифической почвѣ. Такія прѣтекстаты, какъ была трагедія Пакувія „*Павелъ*“, Нибуръ сравниваетъ съ историческими драмами Шекспира: „прѣтекстаты имѣли только аналогію съ трагедіей; онѣ представляли дѣянія римскихъ царей и полководцевъ, и разумѣется, не соблюдали единства времени греческихъ трагедій, а были исторіями, какъ шекспировскія историческія драмы“.—Стиль Пакувія теменъ и не гармониченъ. Квинтиліанъ хвалитъ Пакувія за глубину его мыслей, возвышенность чувства, силу языка и вѣрность въ обрисовкѣ характеровъ. Горацій даетъ ему эпитетъ ученаго (*doctus*).—Гораздо выше Пакувія стоитъ младшій современникъ его Акцій.

2) *Л. Акцій* (L. Accius, или правильнѣе Attius) родился въ 172 г., въ Римѣ; отецъ его былъ зажиточный вольноотпущенникъ. Въ молодости онъ ѣздилъ въ Аѳины и по дорогѣ посѣтилъ больнаго Пакувія, жившаго въ Тарентѣ. По приглашенію маститаго поэта онъ пробылъ у него нѣсколько дней и читалъ ему свою трагедію Атрей. Пакувій хвалитъ звучность и возвышенность слога, но языкъ показался ему слишкомъ грубъ. „Ты правъ,—отвѣчалъ ему Акцій,—но это не огорчаетъ меня, потому-что въ будущемъ я надѣюсь исправить мой недостатокъ. Со слогами бываетъ тоже,

что съ овощами: что въ молодости твердо и горько, то впоследствии дѣлается мягко и сладко; а что съ самаго начала мягко и мучнисто, то, когда созрѣетъ, дѣлается гнило". (Gell. XIII, 2).—Акцій умеръ въ глубокой старости, вѣроятно около 48 до Р. X. Піесы его очень долго держались на сценѣ. — Въ поэтическомъ талантѣ онъ далеко превзошелъ Пакувія. Но отрывки, дошедшіе до насъ отъ Акція, такъ маловажны, что въ оцѣнѣ достоинства этого трагика мы должны совершенно положиться на приговоры древнихъ. Горацій называетъ Пакувія „возвышеннымъ (altus)", Ер. I, 1, 55). Квинталанъ хвалитъ его силу, Цицеронъ—краснорѣчіе. Витрувій считаетъ его величайшимъ трагикомъ республиканскаго періода, Веллей (I, 18) называетъ достойнѣйшимъ представителемъ римской трагедіи, а Колутелла ставитъ на ряду съ Виргиліемъ. — Акцій былъ поэтъ чрезвычайно плодовитый. Мы знаемъ до полусотни главій аттіановскихъ піесъ. Большею частію—это были вольные переводы съ греческаго. Самые значительные изъ дошедшихъ до насъ отрывковъ сохранены Цицерономъ: это вольные переводы изъ Прометея и Трахинянокъ Софокла. Одною изъ первыхъ трагедій Акція былъ „Атрей", гдѣ поэтъ самыми яркими красками изобразилъ тирана. По словамъ Сенеки, поэтъ вложилъ въ уста Атрея знаменитый стихъ, который именно могъ быть написанъ только во времена Суллы:

«Пусть ненавидятъ,—лишь-бы боялись!»—

(Oderint, dum metuant!) Cic. pro seft. 48).

Этотъ стихъ, какъ извѣстно, Калигула выбралъ своимъ девизомъ. — При передѣлкѣ греческихъ трагедій, Акцій, кажется, не всегда понималъ красоты оригина-

ла: такъ въ Антигонѣ, въ которой римскій трагикъ подражалъ Софоклу,—погребеніе полусгнившаго и разстерзаннаго трупа Полинейка совершается у него передъ глазами зрителей. Акцій выбираетъ иногда и римскіе сюжеты для своихъ трагедій: такъ одна прѣтекстата, „Брутъ", имѣетъ предметомъ освобожденіе Рима отъ царей Юніемъ - Брутомъ, а другая, — „Энзады", выводитъ на сцену геройскій подвигъ Деція Муса, посвятившаго себя смерти въ сраженіи при Сентимумѣ. Обѣ піесы, особенно первая, возбуждали всегда неистовый восторгъ въ публикѣ (Цицер.).—Кромѣ трагедій Акцію приписываютъ,—но неизвѣстно, справедливо-ли,—Дидакалику, Прагматику, Парергу и Анналы. — Современникъ Акція былъ:

3) *А. Амилій*, который, по словамъ Цицерона, перевелъ на латинскій языкъ Электру Софокла, но такимъ жесткимъ и тяжелымъ языкомъ, что одинъ изъ грамматиковъ назвалъ его „железнымъ писателемъ (ferreum scriptorem)". Неизвѣстно, когда жилъ другой трагикъ,

4) *Пупній*, о которомъ упоминаетъ Горацій (Ер. I, 1, 65), называя трагедіи его „слезливыми (lacrymosa rosmata Puppi)". Но отъ Пупнія и его слезливыхъ трагедій до насъ не дошло ничего, кромѣ эпиграммы, написанной на него какимъ-нибудь забавникомъ:

«По смерти меня лишь друзья и родные оплачутъ,

Народъ-же при жизни моей ужъ наплакался вдоволь».

Значительное вліяніе на новое направленіе, которое въ монархическомъ Римѣ проложила себѣ литература вообще и трагедія въ особенности, имѣлъ

5) *Азиній Полліонъ*. Глубокій знатокъ греческой литературы, онъ былъ врагомъ всего неестественнаго и

машинного. Но принявъ художественныя формы греческой трагедіи, онъ уважалъ римское чувство и могучій языкъ древнихъ поэтовъ Рима. О трагедіяхъ его Гораций отзывался съ большою похвалою; но кажется, онѣ предназначались для чтенія, а не для сцены.—Ученики и младшіе современники Азинія

6) *Варрій*, 7) *Гракхъ*, 8) *Овидій* освободились совершенно отъ вліянія древнихъ поэтовъ и сдѣлались творцами трагедіи монархическаго Рима, которая къ трагедіи республиканскаго періода стоитъ почти въ такомъ-же отношеніи, какъ Энеида *Виргилія* къ *Анналамъ* *Эннія*.—Во время процвѣтанія краснорѣчія, писаніе трагедій, кажется, сдѣлалось риторскимъ упражненіемъ для усовершенствованія слога. На сцену такія піесы ставились рѣдко; онѣ предназначались для публичныхъ чтеній, или для рецитаций въ тѣсномъ кружку друзей. Изъ числа такихъ историческихъ трагиковъ *Циперонъ* называется

9) *Тиція* (около 104 до Р. X.) и 10) *Юлія Цезаря*. Трагедіи перваго отличались остроуміемъ, но лишены были всякаго трагическаго эффекта. Трагедіи Цезаря были очень слабы. Последнимъ римскимъ трагикомъ считается обыкновенно

11) *Л. Помпоній Секундъ* (ок. 50 по Р. X.). О трагедіяхъ *Сенеки* будетъ говорено ниже.

1) КОМЕДІЯ.

Комедія выработалась съ большою оригинальностью, чѣмъ трагедія. „Впрочемъ, въ величавости характера она далеко уступаетъ комедіи аттической, которая под-

вергла своей критикѣ и политику, и религію, и всю жизнь,—уступаетъ ужъ потому, что римляне вообще не были склонны къ шуткѣ надъ такими предметами. Отъ личной насмѣшки предостерегали законы XII таблицъ. Языкъ тоже представлялъ препятствія. Однимъ *Нэвіемъ* принята была въ образецъ древняя аттическая комедія, остальные держались новой“. (Г. и III.)

22. FABULA PALLIATA.

Въ этой отрасли комедіи, — подражающей, какъ мы уже видѣли, образцамъ греческимъ, послѣ *Нэвія Пласта* и *Эннія* были дѣятельны слѣдующіе комики: *Цецилій Стацій*, *Теренцій*, *Турпилий*, *К*, *Трабеа*, *Луцилій*, *Имбрексъ*, *Луцій Лавиній*, *Ювенцій Аквилій*, *Кн. Лентулъ Клодіанъ* и др.

1) *Цицилій Стацій*. Комедію, которую *Нэвій* и *Плавтъ* обрабатывали въ чисто римскомъ духѣ, *Цецилій* приблизилъ къ образцамъ греческимъ. О жизни *Цецилія* извѣстно намъ немного. Онъ былъ вольноотпущенникъ изъ гальской *Инзубріи*, и умеръ спустя годъ послѣ *Эннія*, (168). *Цецилій* писалъ не для народа, а для людей образованныхъ, знакомыхъ съ греческой литературой. Но стараніе по возможности избѣгать выраженій простонародныхъ, безъ точнаго знакомства со всѣми тонкостями разговорнаго языка высшаго общества, чего вельзя было и требовать отъ галла и вольноотпущенника,—сдѣлали то, что въ отношеніи языка комедій его не удовлетворяли ни народу, ни образованнымъ. Его языку недоставало ни свѣжести и непосредственно-

сти плавтовскаго, ни изящества и правильности языка Теренція; поэтому Цицеронъ, ставя Цецилія очень высоко, какъ комика, считаетъ его плохимъ образцомъ латинизма. Что Цецилій, какъ Плавтъ, обогатилъ латинскій языкъ новыми словами—на это намекаетъ Гораций. Но чего Цецилію не доставало въ чистотѣ слога, то онъ замѣнялъ чистотою изображаемыхъ имъ нравовъ. Онъ и Теренцій отличаются этимъ рѣзко отъ Афранія, въ тогатахъ котораго почти всегда отражалась его собственная развратная жизнь.—Комедіи Цецилія, кажется имѣли мало успѣха на сценѣ; онъ больше годился для легкаго чтенія, чѣмъ для увеселенія толпы, любимцемъ которой все-таки оставался Плавтъ. Отъ тридцати комедій Цецилія до насъ дошли одни только заглавія; любимыми піесами римской публики были, кажется, «*Synepheae*» и «*Plocium*».

2) *Публий Теренцій* африканецъ (Afer) родился въ Африкѣ, вѣроятно въ Карфагенѣ, около 192 г. за восемь лѣтъ до смерти Плавта, и умеръ тридцатипяти лѣтъ, въ Греціи (157 до Р. X.). Время его жизни совпадаетъ такимъ образомъ съ промежуткомъ между второй и третьей пунической войной. Онъ происходилъ отъ хорошей фамилии. Говорятъ, украденный пиратами, онъ былъ проданъ римлянамъ, и сдѣлался такимъ-образомъ рабомъ сенатора Теренція Лукана, отъ котораго получилъ самое тщательное воспитаніе. Впослѣдствіи сенаторъ отпустилъ его на волю и далъ ему свое имя.—Если Плавтъ былъ воистинѣ комикъ народный, то Теренцій можетъ быть названъ творцомъ комедій высшаго общества. Въ тѣ немногіе годы, которые лежатъ между временемъ Плавта и первымъ дебютомъ Теренція, аристократія совершенно измѣнила свой ха-

рактерь и быстро ушла впередъ отъ образованія народной массы. Знатныя фамиліи приняли характеръ княжескихъ домовъ, и каждый изъ нихъ образовалъ около себя въ городѣ или помѣстьи настоящій дворъ, каждый держалъ, для занятія науками и искусствами, особенныхъ рабовъ греческаго происхожденія, и заставлялъ ихъ читать, или даже и представлять піесы, переработанныя съ греческаго. Такимъ-образомъ, по своей обстановкѣ и образу жизни, высшее сословіе слишкомъ далеко отдалилось отъ потребностей народа и достигло чрезвычайной утонченности въ тонѣ. Поэтому Теренцій уже не могъ, подобно Плавту, стараться удовлетворить общіе части націи. Пожалуй, и его комедіи представлялись еще публично, но народъ не находилъ никакого удовольствія въ ихъ изящномъ тонѣ, рассчитанномъ для знати, а потому и не могъ принимать въ нихъ живаго участія; онъ бѣжалъ съ представленія комедій Теренція въ циркъ смотрѣть на кровавые бои гладиаторовъ. Впрочемъ, Теренцій оставался гораздо вѣрнѣе своимъ греческимъ оригиналамъ, чѣмъ Плавтъ, и уже это обстоятельство показываетъ, что онъ и не думалъ о заброшенной массѣ народа. Въ немъ вообще нѣтъ той колкой и мѣткой остроты, которая намекала-бы на отношенія его къ современникамъ, и выходила изъ особенности поэта и его націи. Въ замѣнъ этого онъ обладалъ въ такой высокой степени ловкостью и изяществомъ выраженія, что преимущество это, не безъ основанія, приписываютъ главнымъ образомъ отношеніямъ поэта съ Леліемъ и Сципіономъ: въ ихъ кругу онъ обращался почти ежедневно и кромѣ-того просматривалъ съ ними всякую свою піесу. (Шл.). *Шестъ комедій* Теренція—первыя проявленія поэзіи, совершенно подчиненной пра-

виламъ искусства, а въ отношеніи языка — выраженіе настоящаго римскаго урбанизма. Съ сюжетами своихъ греческихъ оригиналовъ Теренцій поступалъ чрезвычайно своеобразно: посредствомъ такъ-называемой контаминаціи, онъ усложнялъ, распространялъ и разнообразилъ простые планы греческихъ оригиналовъ: бралъ роли и сцены изъ другихъ піесъ, какъ въ *Эвнухѣ* и *Адельфахъ*; удваивалъ главныя роли, какъ въ *Геавтонтиморуменосѣ*; соединялъ въ одну двѣ похожія по содержанію піесы, какъ въ *Андріи*. Все это онъ дѣлалъ очень ловко, и вообще обнаруживалъ большой талантъ въ художественномъ округленіи самыхъ разнородныхъ частей піесы. Въ экономіи піесы Теренцій сдѣлалъ несомнѣнные успѣхи передъ Плавтомъ; но въ смѣлости и оригинальности комическихъ ролей онъ далеко не превзошелъ его. Характеристика у Теренція тоньше, каждая отдѣльная фигура нарисована у него вѣрнѣе и опрятнѣе, но выѣстъ они не производятъ того эффекта, какой производятъ комическія фигуры Плавта. Уже древніе оцѣнили мастерскія характеристики Теренція. Цицеронъ, напримѣръ, какъ образецъ разсказа приводитъ первую сцену I-го акта „Андресской дѣвы (*Andria*)“. Старый Симонъ идетъ съ своими слугами съ площади, гдѣ онъ дѣлалъ закупки къ свадьбѣ своего сына Памфила, который женится на дочери богатаго Хремеса. Онъ велитъ всѣмъ своимъ слугамъ идти домой и удерживаетъ при себѣ одного стараго, честнаго Созія, которому онъ и сообщаетъ, что свадьба не состоится, и всѣ приготовления къ ней сдѣланы только для виду. Созія спрашиваетъ—зачѣмъ же это?

— Слушай, отвѣчаетъ ему господинъ, я тебѣ разскажу все, съ начала до конца. Ты узнаешь и поведеніе мо-

его сына и мои планы, и чего я жду отъ тебя въ этомъ случаѣ. Когда онъ вышелъ изъ дѣтства, Созія, я далъ ему немножко больше свободы, потому-что, какъ я могъ судить о его характерѣ, его пока сдерживали дѣтскій возрастъ, робость и учитель.

Соз.—Конечно!

Сим.—Почти у всякаго молодого человѣка есть какая-нибудь страсть: или къ лошадямъ, или къ охотничьимъ собакамъ, или къ философамъ. Но онъ, кажется, ни къ чему не пристрастился, а любилъ всего по немножку. Я радовался.

Соз.—И ты былъ правъ; по моему въ жизни полезнѣе всего держаться правила: всего по немножку.

Сим.—Что касается до его жизни, то онъ былъ общителенъ со всѣми; если онъ съ кѣмъ-нибудь сходилъ, онъ отдавался ему весь, раздѣлялъ всѣ его мнѣнія; никому не противорѣчилъ, ни передъ кѣмъ не ломался. Такъ скорѣе всего выслушаешь похвалы безъ зависти и пріобрѣтешь друзей.

Соз.—Да, всего лучше такъ вести себя. Теперь только уступчивостію и пріобрѣтешь друзей, а правдой наживешь одну ненависть.

Сим.—Между-тѣмъ, около трехъ лѣтъ, здѣсь по содѣйству, поселилась женщина изъ Андроса. Она была еще хороша собой, и еще молода, но бѣдность и небреженіе родственниковъ принудили ее оставить отечество.

Соз.—Ну, я боюсь, что эта андресска не принесетъ намъ ничего добраго.

Сим.—Первое время она жила честно и трудолюбиво, съ трудомъ добывая себѣ скудное пропитаніе пряжей и тканьемъ; но потомъ подвернулся любовникъ, суля золотыя горы; одинъ, а за нимъ другой, и такъ-какъ люди

ужь по природѣ своей склонны болѣе къ удовольствію, чѣмъ къ труду, то она приняла условія и начала торговать своими прелестями. Случилось, что одинъ изъ ея любовниковъ уговорилъ и моего сына пойти къ ней ужинать въ ихъ компаніи,—какъ это и часто случается. «Ну, подумалъ я: попался онъ». Утромъ я увидалъ ихъ мальчишекъ; спрашиваю: «Эй, мальчикъ, скажи мнѣ, пожалуйста, кто вчера былъ въ милости у Хризиды? Адроску-то звали Хризидой».

Соз.— Понимаю.

Сим.—Федръ, или Клиній,—отвѣчали они; или Ниперать, потому-что тогда она имѣла за-разъ трехъ любовниковъ. Ну, а что Памфилъ?—Что? онъ заплатилъ свою долю въ складчикъ и ужиналъ. Радуюсь. Потомъ на другой день спрашиваю — и все-таки о Памфилѣ не узналъ ничего дурнаго. Хорошо, думаю я, это показываетъ въ немъ твердость характера и примѣрную воздержность: потому-что ужь, если молодой человѣкъ въ обществѣ такихъ людей не соблазнился дурнымъ примѣромъ, — то можно быть увѣреннымъ, что онъ во всю жизнь свою сѣмѣетъ управлять самимъ собою. Всѣ въ одинъ голосъ хвалили моего Памфила, говоря, что счастье имѣть такого умнаго сына. Да, что тутъ говорить? Слава эта заставила Хремеса придти ко мнѣ, и предложить моему сыну въ жены свою единственную дочь, вмѣстѣ съ значительнымъ приданымъ. Свадьба была назначена сегодня.

Соз.—Что-жъ мѣшаетъ и въ-самомъ-дѣлѣ сыграть ее?

Сим.—Услышишь. За нѣсколько дней передъ тѣмъ, какъ это случилось, сосѣдка наша Хризида умерла.

Соз.—Вотъ и чудесно! Прекрасно; а то я боялся этой Хризиды.

Сим.—Мой сынъ не выходитъ оттуда; вмѣстѣ съ дру-

гими любовниками Хризиды онъ заботится о ея похоронахъ; все время такой печальный, иногда даже плачетъ. Нравится мнѣ это. «Потому-что, думаю я, если ужь онъ печалится о смерти той, которую зналъ нѣсколько дней: что-же было-бы, еслибъ онъ ее любилъ? Что будетъ, если онъ меня потеряетъ,—отца?» Я думалъ, что все это онъ дѣлаетъ изъ челоуѣколюбія, по своей добротѣ сердечной. Да, что ужь тутъ! Чтобъ доставить ему удовольствіе, я самъ пошелъ провожать ее, не подозревая еще ничего дурнаго.

Соз.— Охъ, да что-жъ случилось-то?

Сим.— Узнаешь. Выносятся. Идемъ. Дорогой, между женщиной, которая тамъ были, вдругъ увидѣлъ я дѣвушку, такую стройную...

Соз.— Можетъ-ли быть!

Сим.—И съ лицомъ такимъ скромнымъ, Созія, такимъ пріятнымъ, что просто прелесть. Мнѣ показалось, что она плакала больше всѣхъ, что во всей ея фигурѣ есть что-то честное, благородное; поэтому я подхожу къ провожаемымъ и спрашиваю, кто она такая! Говорятъ, что сестра Хризиды. Тогда я все понялъ. А! такъ вотъ въ чемъ дѣло. Оттого-то ея и слезы, оттого-то ея и жалость!

Соз.— Боюсь, что у насъ никогда не дойдетъ до конца!

Сим.— Между-тѣмъ похороны подвигаются впередъ. Мы идемъ. Приходимъ къ кладбищу. Тѣло кладутъ на костеръ. Тогда сказанная сестра неосторожно, съ опасностію жизни, слишкомъ близко подходитъ къ огню. Виѣ себя, Памфилъ наконецъ обнаруживаетъ любовь, которую скрывалъ такъ долго и такъ искусно. Кидается; хватается женщину поперекъ тѣла: «моя Глицеріумъ, кричитъ онъ,

что ты дѣлаешь? Или хочешь погибнуть?» И та съ фамильярностію, которую можетъ допустить только самая продолжительная любовь, плача, бросается въ его объятія.

Соз.—Что ты говоришь?

Сим.—Огорченный и разсерженный, я иду домой. А ругаться съ нимъ не было достаточной причины. Онъ сказалъ: «Что я сдѣлалъ? Въ чемъ я провинился, или согрѣшилъ, батюшка? Она хотѣла броситься въ огонь, а я помѣшалъ ей, спасъ ее». Причина извинительна.

Соз.—Твоя правда. Если-бы ты обругалъ того, кто спасъ жизнь своему ближнему, — что-же-бы ты сдѣлалъ съ тѣмъ, кто намъ вредитъ?

Сим.—На слѣдующее утро Хремесь приходитъ ко мнѣ и кричитъ: «Стыдъ и срамъ! я слышалъ, что Памфилъ ужъ женился на этой проходимкѣ». Я ну всѣми силами опаривать этотъ фактъ. Онъ стоитъ на своемъ. Наконецъ мы расстаемся, и Хремесь ужъ не хочетъ отдавать за насъ своей дочери.

Соз.—Но развѣ ты сына не...

Сим.—Да все-таки еще нѣтъ достаточной причины обругать его.

Соз.—Какъ такъ?

Сим.—Отецъ, сказалъ: ты самъ положилъ границы моей свободѣ. Скоро придетъ время, когда надо будетъ жить по чужой волѣ; а до-тѣхъ-поръ пусть я хоть ужъ немножко поживу, какъ мнѣ хочется.

Соз.—Но когда-же ты наконецъ найдешь достаточную причину побранить его?

Сим.—Если изъ-за своей любви онъ откажется отъ невѣсты,—это будетъ первый проступокъ, который ему не пройдетъ даромъ... (Andria, II, 1, 51—156).

Въ примѣръ Теренціевой комики, мы приведемъ сцену изъ „Евнуха“. Сцена эта имѣетъ одинаковое направленіе съ приведенной выше сценой изъ „Хвастливаго воина“ Плавта и лучше всего можетъ доказать различіе между остроуміемъ Теренція и Плавта. И здѣсь—воинъ-хвастунъ разговариваетъ съ своимъ паразитомъ. Воинъ Тразонъ послалъ своего паразита Гнатона къ своей любовницѣ Таидѣ съ молодой невольницей, которую онъ назначаетъ ей въ подарокъ. Когда Гнатонъ исполнилъ порученіе и вернулся назадъ, Тразонъ его спрашиваетъ:

Траз.—Такъ ты говоришь, что Таида мнѣ очень благодарна?

Гнат.—Премного.

Траз.—И понравился ей подарокъ?

Гнат.—Не столько самый подарокъ, сколько то, что онъ отъ тебя. Въ-самомъ-дѣлѣ она торжествуетъ...

Траз.—Надо признаться, что у меня выходитъ хорошо все, что я ни сдѣлаю.

Гнат.—Я ужъ это замѣтилъ.

Траз.—Самъ царь не знаетъ иногда, какъ меня благодарить за самыя простыя услуги. Ну, а съ другими-то онъ совсѣмъ не такъ.

Гнат.—Другіе пріобрѣтаютъ славу великимъ трудомъ: а умный человекъ всегда сдумаетъ присвоить ее себѣ словами. Вотъ какъ ты.

Траз.—Правда.

Гнат.—Такъ царь бережетъ тебя, какъ зѣницу ока...

Траз.—Конечно. Онъ повѣряетъ мнѣ все свое войско, всѣ свои планы.

Гнат.—Что удивительнаго!

Траз. — И потомъ, когда ему надоѣдаютъ и люди и занятія, когда онъ устанетъ, начнетъ скучать... наконецъ, когда онъ захочетъ отдохнуть, какъ-бы... ну, ты понимаешь?

Гнат. — Знаю; какъ-бы выкинуть изъ головы все эти мелочи.

Траз. — Тогда онъ приглашаетъ меня къ своему столу.

Гнат. — Да, хорошъ долженъ-быть вкусъ у того царя, про котораго ты рассказываешь.

Траз. — Да, этотъ человекъ не любитъ большого общества.

Гнат. — Мне кажется, онъ никого не любитъ, если водится съ тобой.

Траз. — Все прочіе бѣснись отъ зависти, старались укусить меня изподтишка; но я не обращалъ на нихъ никакого вниманія, а они бѣдняги еще пуще бѣснись! А особенно одинъ, который командовалъ индѣйскими слонами. Однажды онъ надоѣлъ мнѣ больше, чѣмъ когда-либо: послушай, Стратонъ, сказалъ я ему, не оттого-ли ты такой злой, что командуешь животными?

Гнат. — Ну, ей-богу-же, и красиво и умно ты сказалъ. Ты просто вѣдь его сѣззалъ. Что-жъ онъ?

Траз. — Словно онѣмѣлъ.

Гнат. — Я думаю.

Траз. — А что, Гнатонъ, рассказывалъ я тебѣ, какъ я однажды за обѣдомъ одурачилъ одного родосца?

Гнат. — Нѣтъ, никогда, расскажи, пожалуйста; (больше тысячи разъ ужъ слышалъ).

Траз. — Ну, вотъ, обѣдалъ я въ гостяхъ вмѣстѣ съ этимъ родосцемъ, — очень еще молодымъ человекомъ. Со мной въ ту пору была любовница. Вотъ мой родосецъ и сталъ съ ней заигрывать и дразнить меня. Что ты дѣ-

лаешь, безстыдникъ! сказалъ я ему: развѣ ты заяцъ и ищешь лакомаго кусочка?

Гнат. — Ха-ха-ха!

Траз. — Каково?

Гнат. — Прекрасно! чудесно! несравненно! какъ нельзя лучше! Но скажи пожалуйста: острота это твоя? я думала, она старинная?

Траз. — Ты ее слыхала?

Гнат. — Очень часто.

Траз. — Она моя.

Гнат. — Мне только одного было-бы жаль, если она была сказана юношѣ неопытному и благородному... что-жъ съ нимъ сдѣлалось?

Траз. — Пропалъ. Все, кто тутъ былъ, захохотались до смерти. Съ-тѣхъ-поръ меня все боятся.

Гнат. — И они правы. (Eunuchus III, 1—43).

Если плавтовскіе характеры слегка касаются карриатуры, то Теренціевы почти сглаживаются въ общіе этические типы, которые не носятъ на себѣ признаковъ ни греческой національности, какъ у Менандра, ни римской, какъ у Плавта. Поэтому шессы его никогда не были народными, и кажется, не долго держались на сценѣ. — Стиль Теренція одинъ изъ римскихъ грамматиковъ причисляетъ къ тому разряду, который занимаетъ середину между полнотою Пакувія и сухощавостью Луцилія. — Первая шесса, поставленная Теренціемъ на сцену, была 1) „Андросска (Andria)“. Сюжетъ заимствованъ изъ „Андріи“ и „Перинтіи“ Менандра. Памфилъ, сынъ стараго Симона, долженъ жениться на дочери богача Хремеса, которая любитъ юношу Харина. Но въ самый день свадьбы случай открываетъ любовь Памфила къ

„Андросскѣ“. Хремесь не хочетъ больше и слышать о бракѣ своей дочери съ Памфиломъ. Не смотря на это Симонъ все-таки дѣлаетъ приготовленія къ свадьбѣ, чтобы нѣтъ наконецъ причину разбранивъ своего сына, если онъ будетъ противиться предстоящему браку. Хитрый Давъ, слуга Симона, пронюхалъ, что приготовленія къ свадьбѣ дѣлаются только для виду, и совѣтуетъ Памфилу, тоже для виду, покориться волѣ отца. Такъ онъ и сдѣлалъ; отецъ, въ радости, мирится съ Хремесомъ, который опять соглашается на бракъ. Памфилъ и Харинъ въ отчаяніи. Но вдругъ является старый Критонъ, и объявляетъ, что „андросска“ свободнорожденная, — и именно дочь Хремеса, похищенная въ дѣтствѣ пиратами. Тогда юноши получаютъ въ жены каждый свою возлюбленную, и пѣса кончается двойнымъ бракомъ. 2) „Свекровь (Несуга)“ поставлена на сцену въ 165 до Р. Х. Первое и второе представленіе пѣсы не дошли до конца: народъ убѣжалъ изъ театра смотрѣть на канатныхъ плясуновъ и гладиаторовъ. Пѣса эта, очевидно, самая слабая изъ всѣхъ комедій Теренція. Въ ней нѣтъ никакого драматическаго интереса, и комическій эффектъ, сосредоточенный на слугѣ Созинѣ, чрезвычайно слабъ. 3) „Самоистязатель (Неантонтимогименос)“ — представлена въ 163 г., сюжетъ заимствованъ изъ Менандра. Дѣйствіе происходитъ въ предмѣстѣ Аѣинъ. Менедемъ такъ жестоко обращался съ своимъ единственнымъ сыномъ, Клиніемъ, за то, что тотъ любитъ бѣдную дѣвушку, — что Клиній оставилъ отцовскій домъ, поступилъ въ военную службу и уѣхалъ въ Азію. Теперь старикъ раскаивается въ своей строгости. Онъ уединился въ деревню, и тамъ изстязаетъ себя добровольно всякаго рода ли-

шеніями и трудами, въ наказаніе за слишкомъ жестокое обращеніе съ сыномъ. Напрасно сосѣдь Хремесь уговариваетъ его пощадить себя. Между-тѣмъ Клинію стало не въ-терпѣжъ жить такъ долго на чужбинѣ, вдали отъ возлюбленной. Онъ тихонько возвратился на родину, но еще боится показаться отцу, и открывается только Клитифону, сыну Хремеса, который даетъ ему убѣжище у себя въ домѣ. Клитифонъ посылаетъ за любовницей своего друга, Антифилой. Хитрый слуга, Сиръ, которому поручено было это дѣло, приводитъ съ собой и Бакхиду, любовницу своего господина Клитифона. По его совѣту, Клиній выдаетъ ее за свою любовницу, и Хремесь принимаетъ ее къ себѣ въ домъ, вмѣстѣ со всѣми служанками, въ числѣ которыхъ находилась и Антифила. Здѣсь оказывается, что Антифила дочь Хремеса. Хремесь между-тѣмъ рассказываетъ Менедему о прѣздѣ своего сына. Этотъ въ великой радости, зоветъ сына къ себѣ, вмѣстѣ съ его мнимой любовницей, Бакхидой. И вскорѣ послѣ этого онъ застаётъ у нея Клитифона; этотъ открываетъ ему свои отношенія къ Бакхидѣ, и Менедемъ выдаетъ тайну эту отцу Клитифона. Хремесь сначала грозился было лишить своего сына наслѣдства, но потомъ прощаетъ его, и даетъ свое согласіе на бракъ Антифилы съ Клиніемъ. 4) „Евнухъ (Eunuchus)“, представленъ въ первый разъ въ 161 году, и такъ понравился публикѣ, что его давали иногда по два раза въ день. Комедія эта — подражаніе „Колаксу“ Менандра. Молодой аѣинянинъ Федрія любитъ Тайлу, и посылаетъ ей въ подарокъ евнуха. Мать Тайды воспитала дѣвушку, которую Тайда любитъ какъ родную сестру. По смерти матери, жадный и корыстолюбивый братъ Тайды продалъ эту

дѣвушку, и она досталась Тразону, велерѣчивому хвастуну-воину; случилось такъ, что Тразонъ тоже влюбленъ въ Таиду. Эта, притворившись, что она влюблена въ него взаимно, требуетъ въ подарокъ невольницу. Антифонъ, братъ Федрія, влюбляется въ эту невольницу, и когда ее привели къ Таидѣ, — онъ по совѣту своего слуги, Парменона, переодевается назначеннымъ для Таиды евнухомъ и въ такомъ костюмѣ находитъ доступъ къ своей возлюбленной и *vitiat virginem*. Потомъ когда оказывается, что бывшая невольница Тразона аѳинская гражданка, Антифонъ на ней женится, Федрія получаетъ въ супруги Таиду, а воинъ остается съ носомъ. 5) „*Formionis* (Formio)“, въ первый разъ представленъ 161 г. и выдержалъ въ одинъ день два представленія. Безспорно, эта самая забавная комедія Теренція. Димифонъ уѣзжаетъ изъ Аѳинъ, оставляя дома своего сына Антифона. У Хремеса, брата Димифонова, двѣ жены: одна въ Аѳинахъ, другая въ Лемносѣ. Отъ первой, настоящей жены, у него родился сынъ Федрія, который теперь безъ ума влюбленъ въ пѣвицу; а отъ второй дочь. Жена изъ Лемноса прѣзжаетъ въ Аѳины и умираетъ. Сирота, оставшись одна (Хремеса тогда не было въ Аѳинахъ), распорядается похоронами матери. Тутъ увидать ее Антифонъ, влюбился въ нее, и при помощи хитрости, дѣлается ея супругомъ: именно паразитъ Форміонъ присовѣтываетъ Антифону сказаться родственникомъ осиротѣвшей дѣвушки, а по аѳинскому закону на круглой сиротѣ непременно долженъ жениться ея ближайшій родственникъ. Старики возвращаются домой и приходятъ въ негодование отъ продѣлокъ своихъ сынковъ. Но лукавецъ Форміонъ улаживаетъ все къ общему удовольствію, и молодые лю-

ди остаются каждый при своей женѣ. — Мольеръ подражалъ этой комедіи въ своей: „*Les fourberies des Scapin*“; 6) „*Братья* (Adelphi)“ послѣдняя и лучшая пьеса Теренція, написанная по Менандру и Дифилу, представлена въ первый разъ въ 160 г. — У стараго Демея два сына — Эсхинъ и Ктезифонъ. Эсхина взялъ къ себѣ братъ Демея, Миціонъ, и воспитываетъ его въ городѣ, а Ктезифонъ выросъ у отца въ деревнѣ. Эсхинъ, пользуясь добротою и кротостью Миціона, ведетъ жизнь разгульную; недавно онъ даже ворвался въ одинъ домъ и соблазнилъ тамъ молодую дѣвушку, общавъ на ней жениться. Въ это самое время прѣзжаетъ изъ деревни Демей, слышитъ объ этой исторіи и осыпаетъ брата упреками за баловство. Онъ требуетъ отъ него такой-же строгости, съ какою онъ самъ воспитывалъ Ктезифона, котораго ставитъ образцомъ скромности. Но къ ужасу своему узнаетъ онъ, что строгость его не привела ни къ чему, и что нравственность Ктезифона ничуть не лучше Эсхиновой. Тогда характеръ строгаго и суроваго Демея измѣняется совершенно: онъ дѣлается ужъ черзчуръ слабымъ и снисходительнымъ, и въ принадлежъ кротости, баловства и великодушія, общаетъ даже взять съ собою въ деревню ту кинеристку, въ которую влюбленъ Ктезифонъ. Пьеса кончается тремя свадьбами (молдые люди женятся на своихъ возлюбленныхъ, а добрякъ Миціонъ на старой и беззубой тещѣ Эсхина) и отпускомъ рабовъ на волю. Комедіи этой подражалъ Мольеръ въ своей знаменитой „*Ecole des Pères*“ *.

* О Теренціи ср. Nenkirsch: „*Dichterkanon*“. Kiew 1853. — Русскій переводъ комедій Т. «Комедіи Публія Теренція африканскаго», пер. съ лат. А. Хвостовъ, М. Головинъ и др. съ приобщеніемъ подлинника, 3 ч. Спб. 1773—74.

bb. FABULA TOGATA.

Fabula togata, въ противоположность palliata, обрабатывала римскіе сюжеты и выводила на сцену римскіе нравы. Въ тогатахъ вообще Сенека хвалитъ изобиліе мудрыхъ нравственныхъ изреченій и жизненныхъ правилъ; „въ нихъ есть, говоритъ онъ, какаѣ-то суровость, и потому онѣ занимаютъ середину между комедіей и трагедіей“ (Senec. Epist. 8). По внѣшней формѣ тогаты очень мало уклонились отъ палліаты, но заключали въ себѣ меньшее число дѣйствующихъ лицъ.

Главнымъ представителемъ тогаты считается *Л. Афраній*. Время извѣстности его начинается непосредственно послѣ Теренція, около 150 до Р. X. Кажется, онъ былъ не столько подражатель, сколько соревнователь грековъ, и что былъ Менандръ, какъ живописецъ аттической жизни, для Аѳинъ, тѣмъ хотѣлъ сдѣлаться Афраній, какъ живописецъ римской жизни, для Рима. Квинтиліанъ называетъ Афранія однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ тогатическихъ поэтовъ; онъ жалѣетъ только, что распутная жизнь Афранія оставила слишкомъ много грязныхъ пятенъ на его поэзіи. До насъ дошло 40 главій его піесъ, и многіе, большею частію совершенно незначительные отрывки, изъ которыхъ мало, или вовсе нельзя составить себѣ понятія о содержаніи затерянныхъ комедій.

Кромѣ Афранія тогаты писали: *Вектій*, *Тициній*, передававшій народный тонъ вѣрнѣ Афранія, — *Т. Квинтій Атта* ($\frac{1}{2}$ 78), и можетъ-быть *Атилиій*.

cc. ATELLANA. MIMUS.

Превращеніе палліаты въ тогату навело на мысль обработать по правиламъ искусства настоящую народно-итальянскую комедію, ателлану. *Л. Помпоній* изъ Бононіи (90 г. до Р. X.) первый сталъ составлять ателланы письменно; примѣру Помпонія слѣдовалъ современникъ его *Новій*.

Стеченіе обстоятельствъ помѣшало драматическому искусству подняться въ Римѣ до той высоты, которой оно достигло въ Аѳинахъ. Комедія, изображая нравы чужеземные, не могла возбуждать живой интересъ въ народѣ римскомъ. Въ Римѣ сценическія представленія давались эдилами, главною обязанностью которыхъ было увеселять народъ грубый и необразованный, которому правилось только то, что поражало чувства; духовное-же наслажденіе понятно не было. Кромѣ того, огромное протяженіе римскихъ театровъ, въ которыхъ вмѣщалось до 80 т. зрителей, не было благоприятно для правильныхъ піесъ: большинству публики актеровъ не было слышно, несмотря на всѣ искусственныя средства, употребляемыя для усиленія ихъ голоса. Поэтому по вкусу римской публики гораздо болѣе приходились такія представленія, которыя роскошью своей обстановки доставляли больше удовольствія зрѣнію, чѣмъ наслажденія уму. Такимъ-образомъ создался новый родъ сценическихъ представленій, — *мимы*. Этотъ родъ не должно смѣшивать съ пантомимой, ни съ мимами греческими *. Пантомимы были нѣчто въ родѣ

* Сравни. W. C. L. Ziegler, «de Mimis romanorum». Götting. 1778. На русскомъ языкѣ статью *Г. Благовѣщенскаго*. «Римскія Пантомимы». Прописки, кн. IV.

балета, гдѣ баснь представлялась жестами и танцами; „главная цѣль ихъ состояла въ изображеніи различныхъ характеровъ и въ выраженіи всевозможныхъ оттѣнковъ человѣческихъ страстей и ощущеній“. Мимы греческія были небольшія піески въ стихахъ, содержація баснь, недостаточную для цѣлой комедіи; но мимическая игра актеровъ не составляла въ нихъ существенной части, и играла ту-же роль, какъ и во всемъ, что появляется на подмосткахъ театра. Мимы римскія, напротивъ, соединяли въ себѣ балетъ, или лучше сказать, мимическую игру (потому-что даже танцы были исключены изъ нихъ) и поэзію драматическую; но онѣ не заключали въ себѣ цѣлой басни или полного дѣйствія, — а состояли изъ отдѣльных, разрозненныхъ сценъ, взятыхъ изъ народной жизни и стало-быть выраженныхъ народнымъ-же языкомъ. Поэтъ обрисовывалъ этотъ „жанръ“ только общими чертами; онъ давалъ только канву роли; детали дорисовались ужъ актеромъ, который импровизировалъ ихъ по своему разумѣнію. Поэтому почти всегда главную роль исполнялъ самъ авторъ мимы. Не рѣдко актеры-импровизаторы такъ запутывали интригу, что самое находчивое воображеніе не могло ее распутать: тогда они убѣгали со сцены, занавѣсъ „поднимался“, и піеса кончалась. Въ эпоху Цезаря эти грубые фарсы приняли форму болѣе правильную. Мимографы уже не довольствовались славою увеселять народъ шуточками, часто очень грязными и плоскими; они стали пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ высказать полезныя истины и свободно осуждать пороки и произволъ. Этотъ обычай конечно не могъ нравиться императорамъ, и уже при Августѣ драматическія мимы стали замѣнять *пантомимы*, т. е. театральныя представленія съ одной же-

стикуляціей безъ словъ. Самыми знаменитыми mimoграфами считаются Д. Лаберій и П. Сиръ.

1) *Децимъ Лаберій*, римскій всадникъ, родился около 106 до Р. Х., умеръ, вѣроятно, въ 46 году. Мимы его отличались свободной откровенностью, съ которой онѣ бичевали пороки своего времени. До пятидесяти лѣтъ Лаберій занимался поэзіей, какъ димидантъ, и отдавалъ написанныя имъ мимы разыгрывать актерамъ. Но тогда, по просьбѣ, а можетъ-быть и по требованію Цезаря, онъ *asprae libertatis eques romanus*, вышелъ самъ на сцену въ качествѣ мимического актера, которое считалось въ Римѣ безчестнымъ для свободного чловѣка и лишало старика Лаберія всадническаго званія и даже свободы. Лаберій долженъ былъ вступить въ состязаніе съ молодымъ гистріономъ, Публиемъ Сиромъ. Въ прологѣ, который говорилъ по этому случаю Лаберій, онъ трогательно и ловко жалуется публикѣ на оскорбленіе, которое нанесли ему, шестидесятилѣтнему старцу, который

«всадникомъ римскимъ оставилъ свой домъ,
«И мимомъ въ него возвратится....

Прологъ этотъ — одинъ изъ прекрасѣйшихъ памятниковъ римской литературы, заставляетъ глубоко сожалѣть о потерѣ всѣхъ до одного мимовъ Лаберія. Но уже въ самой піесѣ поэтъ отомстилъ Цезарю, какъ могъ. Въ одномъ мѣстѣ мима онъ обратился къ публикѣ съ восклицаніемъ: „впередъ, квиниты! мы потеряли свободу!“ и потомъ черезъ нѣсколько стиховъ прибавилъ: „кого многіе боятся, тотъ самъ боится многого!“ — и тотчасъ же всѣ зрители взглянули на Цезаря, очень хорошо понявъ намекъ на могущественнаго диктатора. Можетъ-

быть недовольный этой выходкой, а может-быть и по справедливости, Цезарь присудилъ призъ состязанія Публию Сирю; но чтобъ возстановить Лаберія въ званіи всадника, подарилъ ему золотое кольцо и 500,000 сестерцій. Когда Лаберій хотѣлъ занять свое мѣсто въ театрѣ между всадниками, никто изъ нихъ не хотѣлъ подвинуться и дать ему мѣсто. Цицеронъ, сидѣвшій на скамьѣ сенаторовъ, видя замѣшательство Лаберія, сказалъ ему: „я-бы охотно далъ тебѣ мѣсто подлѣ себя, еслибъ у насъ было попросторнѣе“. — „Это меня удивляетъ, отвѣчалъ поэтъ, — что тебѣ тѣсно, потому-что ты всегда имѣешь обыкновеніе сидѣть на двухъ стульяхъ:“ — намекая этимъ на немножко двусмысленный характеръ Цицерона, который хотѣлъ быть другомъ Помпея, не разсорившись съ Цезаремъ. Отъ мимовъ Лаберія дошло до насъ около сорока заглавій. Они позволяютъ догадываться, что содержаніе этихъ мимовъ было схоже съ сюжетами тогаты и ателланъ. Дѣйствіе происходило большею частію въ Римѣ, или по-крайней-мѣрѣ въ Италіи. Дѣйствующія лица были взяты изъ самаго низшаго сословія. Поэтому можетъ-быть Гораций не находить его произведеній вполне изящными. (Сатир. I, 10, 6).

2) *Публий Сиръ* (P. Syrus), рабъ родомъ изъ Сиріи, былъ младшимъ современникомъ Лаберія. Мимы его особенно славилась за нравственныя изрѣченія, которыми онѣ были обильно пересыпаны. Мимы Публия, на которыя древніе смотрѣли, какъ на одно изъ лучшихъ достояній своей литературы, — погибли всѣ; но мы имѣемъ собраніе нравственныхъ сентенцій, извлеченныхъ большею частію изъ его мимовъ. Собраніе это составлено было для мимическихъ актеровъ, которые, какъ мы уже говорили, часто должны были импровизировать детали

своихъ ролей. Сентенціи эти не отличаются ни особеннымъ остроуміемъ, ни тонкостію мысли; это простыя, почерпнутыя изъ опыта, житейскія истины, высказанныя безъ всякой претензіи; но онѣ поражаютъ своей простотой и правдой. Самый знаменитый послѣ этихъ двухъ корифеевъ мимографіи, былъ

3) *Кн. Маттій*, римскій всадникъ, другъ Цезаря. Древніе называютъ его ученымъ поэтомъ, — можетъ-быть потому, что онъ зналъ по-гречески. Піесы его, написанныя ямбическимъ размѣромъ (iambic), до насъ не дошли.

Этими мимографами замыкается развитіе римской комедіи. Мы уже говорили, что при Августѣ вошли въ моду *пантомимы*. *Пиладъ* изъ Киликіи отличался въ трагическихъ представленіяхъ, *Батиллъ* изъ Александріи, вольноотпущенникъ Мецената, въ комическихъ; наравнѣ съ ними стоитъ ученикъ и соперникъ Пилада, *Гиласъ*. При Тиверіи нѣкто *Муимій* пытался возстановить заброшенные со времени Помпонія и Новія ателланы и народную поэзію осковъ; но можетъ-быть для противодѣйствія этому опасному направленію, Тиверій поощрялъ представленіе морализировавшихъ мимовъ грека *Филистіона*. Мимы постепенно сливались съ ателланами и образовали *эксодію*. Ювеналь упоминаетъ о мимографѣ *Катуллъ* и его двухъ піесъ „Фасма“ и „Лавреоль“. Последнюю давали еще при Калигулѣ. При Ювеналѣ-же выступилъ на сцену *Лентулъ*. При Антонинѣ философъ жилъ мимографъ *Марій Маруллъ*.

б. САТИРА *.

к. ЛУЦИЛІЙ.

Если только-что разсмотрѣнные нами роды поэзіи большею частію перешли въ римскую литературу изъ греческой,—то *сатира* есть созданіе самихъ римлянъ. „Сатира вся наша (*Satira tota nostra est*)“, говорятъ Квинтиліанъ. Мы уже видѣли, что прежде сатирой называли импровизированные фарсы, похожіе на фесценнины, но не имѣвшіе собственно драматическаго дѣйствія. Въ такомъ родѣ были сатиры Эннія и его подражателей Пакувія, Помпонія, Новія; но тотъ характеръ, который принадлежитъ сатирѣ въ ея позднѣйшемъ проявленіи, въ первый разъ является у Луцілія. Потому Энній назывался у древнихъ *auctor*, а Луцілій *inventor* сатиры. (Hor. Sat. I, 10, 66). Сатира, какъ понимаетъ ее Луцілій, обнимаетъ все, что можетъ быть предметомъ разговора между людьми образованными; она касается всего, что можетъ возбудить интересъ всеобщій, она политична — если разсуждаетъ о дѣлахъ общественныхъ, соціальна — если говоритъ о нравственномъ состояніи общества, литературна — если судить о литературныхъ явленіяхъ своего времени; она подаетъ свое мнѣніе объ искусствѣ и наукахъ; короче, нѣтъ почти ничего, чтобы не подлежало суду сатиры. На званіе сатирика даетъ право не столько поэтическій талантъ, сколько проницательный взглядъ на жизнь, даръ увлекательнаго изложенія, остроуміе, юморъ, и прежде все-

* Cp. J. Casaubon: de Satyrica grecorum poësi et romanorum satira, libri II, Paris. 1605. Roth. zur Theorie und innern Geschichte der römischen satira. Stuttg. 1848. Dacier. Discours sur la satire. Во второмъ томѣ мемуаровъ академіи надписей.

го, нравственная серьезность. Хорошій сатирикъ долженъ обладать характеромъ, а не гениемъ; онъ долженъ, какъ говоритъ Гораций о Луціліи, ладить только съ добродѣтелью и ея читателями. (Sat. II, 1, 70). Способъ изложенія сатиры разнообразенъ не менѣе ея сюжета. То сатирикъ говоритъ одинъ, то даетъ своему изложенію форму посланія или діалога, или наконецъ возвращается къ драматической формѣ сатиры Эннія. Въ размѣрѣ Луцілій нѣсколько правильнѣе Эннія; онъ не допускаетъ въ метрѣ такого разнообразія, какое мы видимъ у Эннія; но пользуется большею частію гексаметромъ или ямбическимъ триметромъ. По понятію Луцілія сатира должна отражать въ себѣ отбѣнки современнаго ей разговорнаго тона: такъ напримѣръ, во время-же Луцілія образованные римляне, желая похвастать своимъ знаніемъ греческаго языка, постоянно употребляли иностранныя слова, обороты и цѣлыя фразы: поэтому языкъ этого сатирика представляетъ странную смѣсь съ греческимъ. Характеръ сатиръ Луцілія — политико-дидактическій: этимъ онѣ подходятъ къ духу древней аттической комедіи, что уже замѣтилъ и Гораций (въ сат. I, 4):

«Аристофанъ и Эвполисъ, Кратинъ и другіе поэты,
Мужи, которые древней комедіи славою были,
Если кто стоялъ представленнымъ быть на позорище
людямъ,
Воръ-ли, убійца-ль, супружнихъ-ли правъ оскорбитель
безчестный,
Смѣло, свободно его на позоръ выставляли народу!
Въ этомъ послѣдовалъ имъ и Луцілій, во всемъ имъ
подобный,

Кромѣ того, что въ стихѣ измѣнилъ онъ и мѣру и
стопу.

Весель, тонокъ, остеръ; но въ составѣ стиха былъ онъ
жестокъ:

Вотъ въ чемъ его былъ порокъ!...

К. Луцилій родился за 148 лѣтъ до Р. Х.; онъ происходилъ изъ благородной фамиліи; сестра его была прабабкой великаго Помпея. Принадлежа къ сословію всадниковъ, онъ во время нумантійской войны служилъ подъ начальствомъ Сципіона африканскаго. Объ обстоятельствахъ его жизни мы ничего не знаемъ. Онъ умеръ 46 лѣтъ (103), въ Неаполѣ, и былъ похороненъ на общественный счетъ.

Луцилій былъ истый римлянинъ. Муза, вдохновлявшая поэта, была римская *Virtus*:

«Онъ нападалъ безъ разбора на всѣхъ, на народъ и на
знатныхъ,

Только щадилъ добродѣтель и тѣхъ, кто ее почитаетъ»—

говоритъ объ немъ Гораций (Sat. II, 1, 69). Луцилій жилъ въ переходное время, когда старо-римскіе нравы отживали свой вѣкъ и выросло новое поколѣніе, выбравшее себѣ другую дорогу. Зоркій взглядъ его видѣлъ, что дорога эта не приведетъ ни къ чему хорошему, — и не исканіе авторской славы сдѣлало Луцилія поэтомъ, но благородное негодованіе заставило его вооружиться бичомъ сатиры, чтобы спасти отечество, пока еще было можно. Кромѣ-того сатиры Луцилія вытекли изъ личной необходимости поэта уяснить себѣ всѣ проишествія.

Луцилій не довольствовался изображеніемъ въ общихъ чертахъ той испорченности, которая проникла въ римскую жизнь въ его время; „но ѣдкой, беспощадной на-

смѣшкой онъ преслѣдовалъ тѣхъ лицъ изъ высшаго и низшаго класса, которыя острому и наблюдательному уму его казались смѣшными или безнравственными“ Гораций, въ оправданіе подобныхъ-же тенденцій своей сатиры, приводитъ примѣръ Луцилія, — прибавляя, что ни Сципіонъ, ни Лелій не оскорблялись строгими порицаніями поэта. (Hor. Sat. II, 1, 62, 899).

Почему-же Луцилій,

Первый, начавшій сатиры писать, не боялся, когда онъ
Съ гнусныхъ тѣхъ душъ совлекая блестящую кожу
притворства,

Ихъ выставлялъ въ наготѣ!... оскорблялся-ли Лелій,
Или герой получившій прозванье отъ стѣнъ Кароагена?
И казалось-ли дерзостью имъ, что Луцилій Метелла
Смѣлъ порицать, или Луна въ стихахъ предавать по-
ношенью?»

Но въ сатирахъ своихъ Луцилій не довольствовался одною политическою и нравственною критикой своихъ современниковъ, а бралъ на себя цензуру не только римской, но и греческой поэзіи: такъ въ одной изъ сатиръ своихъ онъ подвергаетъ строгой критикѣ трагедію Эврипида „Кресфонтъ“, а въ другой произведенія древнихъ и современныхъ поэтовъ латинскихъ: „Развѣ — замѣчаетъ Гораций (Sat. I. 10, 53—55):

«Развѣ самъ скромный Луцилій не дѣлалъ поправокъ—
и въ комъ-же?

Въ трагикѣ Акціи!—Развѣ надъ Эниидомъ онъ не смѣется?
Развѣ, другихъ порицая, себя онъ не выше ихъ ставитъ?..»

Другой сюжетъ для сатиры предлагалъ Луцилію родной языкъ, чистота котораго была не менѣе близка къ

сердцу римскаго патриота, какъ и чистота нравовъ. Де-
вятая книга его сатиръ была, кажется, посвящена исклю-
чительно грамматическимъ и орфографическимъ замѣча-
ніямъ. Наконецъ въ нѣкоторыхъ изъ своихъ сатиръ
Луцилій дѣлаетъ юмористическое описаніе своихъ соб-
ственныхъ и чужихъ приключеній. Такъ напримѣръ,
третья книга сатиръ содержала въ себѣ шуточное опи-
саніе путешествія поэта изъ Рима въ Капуу. Но раз-
нообразіа, остроумія и веселаго юмора сатиръ Луцилія
не искушали, кажется, небрежность и неправильность ихъ
метрической формы. Гораций упрекаетъ Луцилія въ томъ,
что онъ работалъ всегда на скорую руку: (Sat. I, 4,
9, 899).

«Вотъ въ чемъ его былъ порокъ: считалъ за великое
дѣло

Двѣсти стиховъ просказать, на одной ногѣ простоявши *.
Мутнымъ потокомъ онъ текъ, а найти въ немъ хоро-
шее можно.

Но многословенъ, лѣнивъ, не любилъ онъ трудиться
надъ слогомъ».

По дошедшимъ до насъ отрывкамъ изъ сатиръ Луцилія,
мы не можемъ судить, на сколько правъ тутъ Гораций.

Но за Луциліемъ остается слава творца сатиры
(„primus condidit stili nasum.“ Plin.), т. е. того на-
смѣшливаго стиля, который при всей горечи, при всемъ
остроуміи насмѣшки не носилъ на себѣ ни малѣйшаго
признака злобы и лукавства. Поэтому мы не знаемъ,
чтобы Луцилій когда-нибудь подвергался гоненію за

* „Stans pede uno“; стоя на одной ногѣ. Выраженіе метафори-
ческое и поговорочное, почти пословица, означающая короткость
времени. (Пр. г. Дмитріева).

свои сатиры:—но какъ ни хорошо было намѣреніе Лу-
цилія своими сатирами способствовать моральному улучше-
нію современниковъ: съ Луциліемъ случилось тоже, что
съ поэтами древней аттической комедіи: народъ забавлял-
ся осмѣянные сердились,—и никто не становился лучше.

Непосредственно послѣ Луцилія сатиры писали: *Те-
ренцій Варронъ Атацинскій* и другіе; но Го-
рацій замѣчаетъ, что они стояли гораздо ниже своего
предшественника. О *Теренціи Варронѣ Реатин-
скомъ*, творцѣ такъ-называемой меннипейской сатиры
мы будемъ говорить ниже.

Б. ПРОЗА.

Творцомъ римской прозы считаютъ обыкновенно Марка
Порція *Катона* цензора (Censorius). „Его сочиненія
о земледѣліи и нѣкоторыя другія работы, дошедшія до
нашего времени, разрабатываютъ предметы совершенно
національные. Кромѣ того, Катонъ написалъ исторію,
которая доходила отъ первобытной эпохи Италіи до его
времени, и отличалась не столько изяществомъ, сколько
глубоко испытующимъ умомъ и удачнымъ выборомъ фак-
товъ. Какъ мало самостоятельности было послѣ этого въ
римской литературѣ, въ какой зависимости она стояла
отъ греческой, — показываетъ судьба этого сочиненія
Катона. Не смотря на то, что оно было написано въ
чисто-римскомъ духѣ и съ здравымъ критическимъ смыс-
ломъ, — оно мало читалось потомъ за свою неукрашен-
ную форму. Но еще меньше приходило въ голову ту-
земнымъ историкамъ позднѣйшаго времени слѣдовать на-
правленію, проложенному Катонѣ; они гораздо охот-

нѣе подражали греческимъ историкамъ, и изъ нихъ предпочитали не Фукидида, а Теопомпа и тому подобныхъ историковъ (см. Ист. Греч. Лит.). Вообще послѣ Катона не заслуживаетъ вниманія ни одинъ прозаикъ этого періода. Всѣ они были ума ограниченаго, любили все преувеличенное и неестественное, и наполняли римскую исторію сказками. Это были простые лѣтописцы и писатели хроникъ, или другими словами, они, по хронологически-расположенному плану, набрасывали рядъ вѣдѣнныхъ событій, не проникая въ ихъ внутреннюю связь; такъ-что сочиненія ихъ содержали собственно не исторію, а только матеріалъ для нея. Но и какъ сборники замѣчаній и фактовъ эти *Анналы* и хроники также мало достовѣрны, какъ наши газеты, съ которыми нѣкоторымъ образомъ ихъ можно сравнить. Какъ мало можно вѣрить этимъ недалекимъ лѣтописцамъ, когда они пишутъ о своемъ времени, лучше всего можно видѣть изъ приговора историка Полибія надъ трудами знаменитѣйшаго изъ римскихъ анналистовъ, *Квинта Фабія Пиктора*. Несмотря на то, что Фабій Пикторъ принималъ личное участіе во 2-й пунической войнѣ, и какъ римскій сенаторъ, могъ-бы имѣть о ней самыя точныя свѣдѣнія, — всѣ показанія, которыя онъ дѣлаетъ относительно отдѣльныхъ событій этой войны, какъ очевидецъ, безусловно отвергнуты жившимъ непосредственно послѣ него греческимъ историкомъ Полибіемъ.

Реторика, еще и до-сихъ-поръ считающаяся въ Италіи первою изъ наукъ, уже во времена Луцілія была главнымъ основаніемъ римскаго образованія. Тогда государственное устройство Рима мало-по-малу переходило въ несовершенную демократію, и получило такимъ-обра-

зомъ такую форму и направленіе, что научное краснорѣчіе и діалектика стали рѣшительно необходимы для участія въ дѣлахъ общественныхъ. Нужно было только удобнаго случая, чтобъ всѣ ученныя занятія взяли направленіе къ реторикѣ: поводъ этотъ дало аѳинское посольство, которое въ 156 году до Р. Х. прибыло въ Римъ и произвело тамъ такой-же переворотъ, какъ нѣкогда появленіе сицилійскихъ софистовъ въ Аѳинахъ. Этимъ приведено было въ окончательное исполненіе то, что уже давно было подготовлено, и главный характеръ римскаго образованія опредѣлился для всѣхъ временъ. Посольство аѳинское прибыло въ Римъ по случаю денежной пени, которую наложилъ на Аѳины назначенный римлянами третейскій судъ; члены посольства были самыя искусныя ритеры своего времени, начальники трехъ главныхъ философскихъ школъ, — перипатетикъ *Критотай*, академикъ *Карнеадъ* и стоикъ *Диогенъ Вавилонскій*. Появленіе этихъ риторовъ и философовъ должно было имѣть самое значительное вліяніе на образованіе римскаго народа, такъ-какъ стремленія ихъ вполне согласовались и съ направленіемъ, господствовавшимъ въ народѣ, и съ измѣнившимся характеромъ государственной жизни. Кромѣ того, въ послѣднее время въ этомъ-же духѣ дѣйствовало такъ много писателей и ученыхъ, что философы для своей дѣятельности нашли почву готовую и плодородную. Эній возбудилъ живой интересъ къ изученію грамматики. Знаменитый философъ греческій, пришедшій въ Римъ въ качествѣ посланника царя Эвмена II, во все время своего пребыванія въ Римѣ читалъ публичныя лекціи объ ораторскомъ искусствѣ. Тотчасъ послѣ этого иностранца два римскіе всадники открыли школу реторики. Наконецъ,

за 12 лѣтъ предъ аѳинскимъ посольствомъ, тысяча аѳянъ пришли въ Италію заложниками, — это были люди большею частію научно образованные, изъ которыхъ нѣкоторые, какъ напримѣръ историкъ Полибій и стоическій философъ *Панэцій*, были интимно-дружны съ младшимъ Сципіономъ, Леліемъ и другими римскими вельможами. Склонность къ новому греческому образованию сдѣлалась такимъ-образомъ всеобщей; возникло совершенно новое рвеніе къ греческой литературѣ и перенесенію ея на римскую почву. Итальянцы увидѣли, какъ далеко греки опередили ихъ въ реторикѣ и діалектикѣ, и какую пользу приносятъ изученіе ихъ литературы для государственной жизни и ораторскаго краснорѣчія. Поэтому, когда первые три философа и риторика пришли въ Римъ, все устремилось къ нимъ, чтобъ изъ сношенія съ ними черпать новое образованіе, какъ изъ чистѣйшаго источника. Въ домахъ знати ихъ принимали точно также, какъ въ прошедшее столѣтіе при дворѣ Фридриха Великаго и другихъ нѣмецкихъ князей принимали Вольтера, д'Аламбера, Дидро, Рейналя и другихъ французовъ. Особеннымъ почетомъ пользовался Карнеадъ; онъ вступилъ въ Римъ такимъ-же точно образомъ, какъ нѣкогда Горцій и другіе софисты въ Аѳины, и привелъ римлянъ въ неописанное удивленіе, когда просилъ позволенія сегодня сказать рѣчь въ похвалу справедливости, а завтра въ ея порицаніе, и оба раза одинаковымъ образомъ убѣдилъ слушателей. Весь Римъ нашелъ такимъ заманчивымъ греческій обычай философствовать о дѣлахъ государственныхъ и общественныхъ, что всякій желалъ научиться этому; а Катонъ старшій, глава старо-римской партіи, только о томъ и старался, какъ-бы поскорѣе удалить это посольство, столь опасное

древне-римскому характеру, и думалъ, что гораздо лучше безъ дальнѣйшихъ разговоровъ исполнить ихъ просьбы, чѣмъ еще болѣе подвергать римскую молодежь ихъ обольщенію. Но потокъ удержать было нельзя; съ появленіемъ трехъ философовъ греческихъ, новое направленіе, вошедшее въ образованіе римлянъ, утвердилось окончательно, и хотя шесть лѣтъ спустя старо-римская партія провела въ сенатѣ законъ, что многіе иностранные риторы и философы, водворившіеся въ Римѣ, должны удалиться изъ города, но дѣло все-таки осталось въ томъ-же положеніи. Полицейскія мѣры конечно ничего не могли сдѣлать съ такими греками, которые, какъ напримѣръ, Полибій и Панэцій, были приняты въ кружкѣ знати и своимъ умственнымъ превосходствомъ дѣйствовали гораздо сильнѣе, чѣмъ сотни греческихъ раторовъ средней руки. Кромѣ-того новый порядокъ вещей совершенно подходилъ къ существенно-измѣнившемуся характеру самой аристократіи римской. Личныя выгоды, наслажденіе и почетъ внѣшней жизни, дѣятельность въ сенатѣ и въ народныхъ собраніяхъ — вотъ что составляло ежедневное занятіе знатныхъ римлянъ; такимъ-образомъ имъ, какъ въ новѣйшее время французамъ, ближе лежала къ сердцу *форма* изложенія, чѣмъ у такихъ народовъ, у которыхъ внутренняя жизнь идетъ рядомъ съ внѣшней, или у такихъ, какъ нѣмцы, которые совершенно равнодушны къ внѣшности.

Съ-этихъ-поръ греческая литература сдѣлалась основаніемъ римскаго образованія и реторика главной характеристической чертой его. вмѣстѣ-съ-тѣмъ все народное и коренное римское совершенно отступило на задній планъ. Вполнѣ зависящая отъ литературы иностранной и ограниченная меньшинствомъ націи, римская куль-

тура перестала развиваться сама собою, какъ органическая, составная часть національной жизни и переходить изъ рода въ родъ: она сдѣлалась и осталась чужою и школьно-заученною. Ораторское краснорѣчіе, основанное на правилахъ греческой реторики, было самымъ главнымъ требованіемъ для дѣйствія въ сенатѣ и передъ народомъ; польза для внѣшней жизни и форма языка сдѣлались масштабомъ для образованія и литературы; между знатію условіями изящества тона считался остроумный разговоръ, философическая ученость и начитанность въ греческихъ сочиненіяхъ; подражаніе греческимъ поэтамъ и прозаикамъ сдѣлалось наконецъ единственнымъ родомъ авторства, которое могло питать себя надеждою понравиться правительствующей аристократіи. То, что вслѣдствіе такого направленія культуры даже дамы получили большое вліяніе на римскую литературу и образованіе, было совершенно въ ихъ характерѣ; тѣмъ болѣе, что римскія женщины издревле занимали въ Римѣ высокое положеніе. Какъ французскій языкъ въ кругу парижскихъ дамъ и отъ образованныхъ имъ писателей получилъ то утонченное изящество, тотъ тонъ и остроту, которые во Франціи считаются совершеннѣйшими и образцовыми въ литературѣ, такъ и въ Римѣ были знатныя дамы и модные салоны, въ которыхъ преимущественно вырабатывалось изящество языка. Даже еще прежде, чѣмъ явился хоть одинъ значительный писатель въ новомъ родѣ римскаго образованія, нѣкоторыя дамы уже достигли и до легкости, и до развязности языка и умѣли уже придать ему тонъ нѣжности и изящества. Дамы эти принадлежали къ фамиліи Сципіоновъ—*Корнелія*, мать Гракховъ, *Лелія*, дочь Лелія мудраго и нѣкоторыя другія дамы изъ фамилій Мициевъ и Муциевъ.

Какъ далеко проникало новое направленіе римской культуры подъ конецъ этого періода и какое значеніе получили наука и литература, всего яснѣе выказалось на тѣхъ трехъ мужахъ, которые со времени Марія до Цезаря держали въ своихъ рукахъ верховную власть:— Сулла, Лукуллъ и Помпей. Изъ того, что мы знаемъ о ихъ образованіи и ихъ отношеніяхъ въ литературѣ, не только становится совершенно ясно, что въ то время нужна была высокая степень образованія, чтобы удерживать за собою свое положеніе въ обществѣ и государствѣ, но и то, что образованіе это было совершенно и вполне греческое.

Сулла, при значительной степени образованія, былъ человѣкъ совершенно безнравственный, преданный грубымъ наслажденіямъ и точно также, какъ и всѣ его лучшіе современники, перенесъ чувственность и развратъ въ философскую систему. Онъ искалъ наслажденія во всѣхъ родахъ духовнаго развлеченія, даже самыхъ низшихъ. Между-тѣмъ онъ не пренебрегалъ и серьезными занятіями: это доказываютъ законы, изданные имъ во время диктаторства, мемуары о его жизни, написанные имъ самимъ, и наконецъ его вліяніе на распространеніе греческой литературы между римлянами. Законы, которыми Сулла старался привести въ порядокъ администрацію, судебное устройство и обыденную жизнь народа, показываютъ въ немъ человѣка мыслящаго, который зналъ корень зла, но не умѣлъ избрать прямой путь для его искорененія. Мемуары Суллы, которые впрочемъ до насъ не дошли, вѣроятно были его любимымъ занятіемъ, потому-что онъ работалъ надъ ихъ послѣдней частью даже во время той страшной болѣзни, которая свела его въ могилу. Они были написаны по-

гречески, и Сулла просилъ Лукулла, знавшаго греческій языкъ превосходно, и одного греческаго вольноотпущенника, дать своему сочиненію окончательную отдѣлку, какъ Фридрихъ Великій отдавалъ свои труды на исправленіе Вольтеру. Эта заботливость о формѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ обстоятельствомъ, что Сулла такъ дорожилъ своимъ греческимъ сочиненіемъ, должны были много способствовать распространенію греческой литературы между римлянами. Наконецъ Сулла оказалъ новому направленію и греческому образованію услугу еще дѣйствительнѣе, привезя въ Римъ творенія Аристотеля и приказавъ сдѣлать съ нихъ списки.

Лукуллъ, у котораго занятіе греческой литературой было тоже предметомъ роскоши, ни на шагъ не отставалъ отъ Суллы въ любви къ чувственному великолѣпію и роскошнымъ забавамъ, и этимъ самымъ дѣйствовалъ чрезвычайно вліятельно на духовное направленіе своего времени. Онъ устроилъ у себя большую бібліотеку, открытую для всѣхъ и cadaго; всѣ греческіе ученые имѣли доступъ въ его домъ, и онъ самъ дѣлилъ свое время между пирами, постройками, разведеніемъ садовъ и занятіемъ греческими искусствами и науками. Онъ владѣлъ греческимъ языкомъ въ совершенствѣ и написалъ на немъ сочиненіе объ итальянской войнѣ съ союзниками. *Помпей*, который впрочемъ по образованію стоялъ ниже Суллы и Лукулла, много способствовалъ распространенію между римлянами полезныхъ свѣдѣній. Поручивъ одному изъ своихъ вольноотпущенниковъ перевести на латинскій языкъ медицинскія сочиненія грековъ, онъ началъ эпоху врачебнаго искусства у римлянъ. Но эти труды Помпея, точно также какъ и его старанія ввести въ римскую жизнь философію и ре-

торию грековъ, были совершенно другаго рода, чѣмъ труды Лукулла. Они не были связаны съ собственно-духовнымъ образованіемъ и дѣйствительнымъ, живымъ интересомъ къ нему, но скорѣе вытекали просто изъ личнаго тщеславія, изъ стремленія казаться въ глазахъ свѣта вторымъ Александромъ Великимъ. Помпей окружилъ себя всевозможными греческими учеными и одного изъ нихъ, Теофана Митиленакаго, назначилъ историкомъ своихъ дѣяній,—но выбравъ его, онъ конечно не былъ счастливѣе Александра, выбравшаго своимъ историкомъ Каллисена“. (Шл.).

II. КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ОТЪ ЦИЦЕРОНА ДО СМЕРТИ АВГУСТА, ОТЪ 80 Г. ДО Р. Х. ДО 14 П. Р. Х.

(ВЪКЪ ЗОЛОТОЙ).

Правленіе учрежденное Силлоу, было скрѣплено нечистою кровью толпы честолюбцевъ и ихъ сателлитовъ; но чтобъ поддержать его, нужно было истребить цѣлое поколѣніе. Люди, которые впоследствии ниспровергнуть республику, уже выступили на сцену. Лукуллъ и Крассъ первый разъ сражались при диктаторѣ противъ партіи Марія. Едва диктаторъ умеръ, какъ республикѣ стала угрожать опасность, какой она никогда еще не подвергалась. Испанцы и лузитане, уставшіе отъ притѣсненій, взяли за оружіе; предводитель ихъ Серторій, стаснувшись съ Митридатомъ, вооружившимъ Азію, готовился перенести войну въ Италію и присоединиться къ войску гладіаторовъ, которыхъ взбунтовалъ Спартакъ.

Убийство избавило Римъ отъ Серторія; Крассъ уничтожилъ гладіаторовъ, Лукуллъ подорвалъ могущество

Матридата. Наконецъ Помпей, сдѣлавшійся идоломъ народа, послѣ побѣды надъ морскими разбойниками, былъ облеченъ необычайною властью, чтобъ освободить республику отъ Митридата. Любимецъ народа перенесъ свое оружіе къ берегамъ Евфрата, и принудилъ владыку Понта искать убѣжища по ту сторону Чернаго-моря. Люди, пользующіеся такою властью, какъ Помпей, или такимъ богатствомъ, какъ Крассъ, не могли ужъ вступитъ въ разрядъ простыхъ гражданъ. Римъ готовъ былъ сдѣлаться театромъ кровавыхъ распръ, когда Цезарю удалось заключить между ними союзъ, извѣстный подъ именемъ перваго триумвирата. Но союзъ между Помпеемъ и Цезаремъ не могъ продлиться надолго. Завидуя славѣ, которую Цезарь пріобрѣлъ въ Галліи, Помпей принудилъ сенатъ отозвать его. Этотъ безразсудный декретъ былъ сигналомъ къ междоусобной войнѣ. Цезарь переходитъ Рубиконъ, границу своего проконсулата, и въ 60 дней дѣлается повелителемъ Рима и всей Италіи. Съ быстротою, характеризующею все его дѣйствіе, Цезарь летитъ въ Испанію и истребляетъ тамъ республиканскую партію. Наконецъ оарсальское сраженіе дѣлаетъ его повелителемъ республики.

Правленіе Цезаря, облеченнаго диктаторскою властью, продолжалось четыре года. Убіиство этого необыкновеннаго челоѣка повлекло за собою рядъ междоусобныхъ войнъ, болѣе кровавыхъ и гибельныхъ, чѣмъ все, которыя вела до-сихъ-поръ республика. Составился второй триумвиратъ, изъ Антонія, Лепида и юнаго Октавіана, пріемыша Цезаря и наслѣдника его имени и его честолюбія. Первые триумвиры, довольные своею властью, не проливали крови; вторые должны были мстить. Изгнанія возобновились; самая чистая кровь гражданъ

была пролита; сраженіе при Филиппахъ, эти послѣднія конвульсіи республиканской партіи, навсегда рѣшило уничтоженіе свободы.

Кровь, пролитая для удовлетворенія ненависти и мести римскихъ тирановъ, не могла скрѣпить ихъ союза. Сначала слабый Лепидъ, безъ всякаго сопротивленія, былъ лишенъ той доли власти, которую ему дали-было товарищи. Потомъ Маркъ Антоній поссорился съ Октавіаномъ, и споръ ихъ долженъ былъ рѣшиться оружіемъ. Сраженіе при Акціумѣ сдѣлало Октавіана единодержавцемъ Рима.

Вмѣстѣ съ этимъ происшествіемъ начинается и новый порядокъ вещей: республика и свобода сохранились только по имени; вся власть была сосредоточена въ рукахъ Октавіана, принявшаго титулъ Августа. Сорока-четырёхъ-лѣтнее царствованіе дало ему достаточно времени на то, чтобъ заставить забыть о преступленіяхъ, посредствомъ которыхъ онъ добился верховной власти. Въ царствованіе Августа Римъ почти безпрерывно наслаждался благами мира. Разумно управляемыя провинціи обогатились черезъ торговлю и промышленность. Свобода была уничтожена; но деспотизмъ, скрытый подъ самыми демократическими формами, мало заставлялъ жалѣть о ея буряхъ.

Періодъ, протекшій между смертію Силлы и Августа, и есть *золотой вѣкъ* римской литературы. Презрѣніе, съ которымъ суровые республиканцы относились о греческой поэзіи, уступило мѣсто самому общему, самому восторженному энтузіазму. Вся римская молодежь училась у грековъ или у римлянъ, воспитанныхъ въ Греціи. Краснорѣчіе грековъ, ихъ философія и поэзія нашли въ Римѣ подражателей, не уступающихъ своимъ

образцамъ. Литературныя путешествія въ Грецію считались необходимымъ условіемъ для полноты образованія молодаго патриція; Аполлонія, Родось, Мителена и Аѳины—вотъ школы, которыя исключительно посѣщались молодыми римлянами. Большое число лицъ должностныхъ или военныхъ, которыхъ призывали въ Грецію ихъ служебныя обязанности, множество римлянъ, которыхъ торговыя спекуляціи заставили поселиться въ городахъ Эллады,—узнали и полюбили литературу греческую. Литературныя сокровища быстро накапливались въ Римѣ. Первая публичная бібліотека была основана Азиніемъ Полліономъ и помѣщалась въ храмѣ свободы, на горѣ Авентинской. Цезарь предлагалъ завести нѣсколько бібліотекъ и для составленія ихъ поручилъ Варрону закупку книгъ. Августъ привелъ въ исполненіе его планы и назвалъ одну бібліотеку въ честь сестры своей бібліотекой Октавіи; другая была пристроена къ храму Аполлона, на горѣ Палатинской.

Побѣды римлянъ далеко распространили ихъ языкъ. Огромная свита, сопровождавшая губернаторовъ въ ихъ провинціи, множество странствующихъ купцовъ, и особенно введеніе римскаго судопроизводства, способствовали распространенію латинскаго языка; и прогрессъ этотъ былъ такъ великъ, что во многихъ провинціяхъ латинь совершенно вытѣснила національныя нарѣчія. Но всѣ усилія римлянъ ввести свой языкъ въ Грецію и въ провинціяхъ, входившихъ прежде въ составъ александровской монархіи, были напрасны. Въ этотъ періодъ, даже и въ самомъ Римѣ, греческій языкъ вошелъ въ такое употребленіе, что онъ почитался языкомъ высшаго общества. (Schoell. I. 195).

а) ВѢКЪ ЦИЦЕРОНА

(80 — 40)

а) ПРОЗА.

І. *Маркъ Туллій Цицеронъ*. Въ переходное время кровавой борьбы между Римомъ республиканскимъ и Римомъ монархическимъ, политическіе интересы взяли верхъ надъ всѣми другими, и литература, которая досихъ-поръ соприкасалась съ жизнью только посредственно, была призвана теперь на непосредственное участіе въ общемъ движеніи. Впрочемъ, это относится только къ прозѣ. Бури междоусобій не могли способствовать урожаю поэзіи и тѣмъ немногимъ колосьямъ, которые кое-какъ выросли на ея нивѣ, она обязана только старательному уходу отдѣльныхъ личностей. Напротивъ, для классическаго усовершенствованія прозы даны были всѣ условія.

Корифеямъ этого литературнаго періода и творцомъ классической прозы римлянъ является М. Т. Цицеронъ. Этотъ человекъ съ удивительнымъ тактомъ умѣлъ придать значеніе и силу тому, что было сообразно съ потребностями и вкусомъ образованныхъ римлянъ его времени. „Реторика школы была основной чертой римскаго характера, но вліяніемъ греческой литературы она обозначилась еще рѣзче. Цицеронъ впервые угадалъ это. Онъ увидалъ заранѣе, что единственное средство внушить римлянамъ склонность къ высшему образованію, состоитъ въ реторическомъ изложеніи наукъ и искусствъ. Поэтому онъ, не только для самого себя, съ ранней юности принялъ это направленіе, но и старался наве-

сти на него все передовые умы своей нации. В образовании своем он был греком больше всякого другого римлянина, но в сущности остался враньем характеру своей нации; таким-образом, соединивши греческую мудрость и образованность с основными чертами римского национального характера, он был в состоянии произвести в римлянах то окончательное соединение обоих элементов, которое лежало в естественном ходе их развития. Другими словами, Цицерон и манерой своего изложения, и тем направлением, которое он сумел дать римским писателям, греческое образование сдвинуло римским или латинским, и таким-образом создало для запада древнего мира новую литературу, не прибавив решительно ничего нового к изобретенному уже греками. Трех вещей, и всех трех для жизни, искал римлянин, как и француз-же у своих писателей: занимательности и изящества, красноречия и государственной мудрости, жизненной мудрости и практического воззрения; тогда-как греки, кроме того, требовали от автора еще и философического познания принципов, желали, чтобы он указал им на обратные отношения каждого отдельного случая к этим принципам, и при помощи фантазии, возвышался над обыденной жизнью. Цицерон удовлетворил всем этим требованиям, и таким-образом был в состоянии сдвинуть национальным и вместе полезным то новое греческое образование, которое все еще было извнѣ проникшей роскошью, чѣм элементом духовной жизни, вошедшим в самое существо нации. Поэтому, если исключить поэзию или историю, он сдвинулся центром и главным источником римской литературы. Да даже и на поэзию, и на историографию,

он действовал также преобразовательно, если не непосредственной деятельностью, но от него-же вышедшим направлением“ (Шл.).

Марк Туллий Цицерон родился 106 до Р. Х. в поместьи своего отца, около муниципального города Арпинума (в новом Лациумѣ), жители которого издревле пользовались правами римского гражданства. Цицерон принадлежал к одной из знатнейших фамилий сословия всадников, в которой однако до него никто не занимал ни одной куральной должности. Воспитание он получил в Римѣ, куда переселился еще ребенком. „Учителя его были греки; даже ритор Луций Луциний Красс, который собственно и руководил научными занятиями Цицерона, обращал все его внимание на греков и на их литературу. Занятия его были прерваны на короткое время союзнической войной, в которой он принимал участие под начальством Суллы и Кнея Помпея Страбона. На двадцать шестом году он произнес свою первую публичную речь, выступив перед судом защитником обвиненного всадника. Потом еще два года он продолжал в Римѣ свои ученые занятия, и уже не у одних учителей красноречия, не из одних книг, а в школах государственной жизни.

В Римѣ суды и народные собрания имѣли такое-же устройство, как греческіе: это были совершенно учебныя заведенія, гдѣ все классы народа из живого слова государственного оратора научались гораздо большому, чѣм в наше время из школ, книг и журналов. Таким-образом жизнь древних и их общественныя сношения были для них школой человеческого образования, и ораторы греческіе и римскіе были как-бы пу-

бличными учителями, которые своимъ преподаваніемъ давали возможность каждому понятливому гражданину образоваться путемъ простаго опыта. Государственный ораторъ былъ ничего болѣе, какъ адвокатъ, дипломатъ или риторъ. Онъ, какъ нравственный учитель, дѣйствовалъ оживленіемъ любви къ отечеству и вообще ко всему прекрасному, доброму, благородному; онъ распространялъ между своими согражданами знаніе права, государственныхъ отношеній и природы человѣческой; онъ поддерживалъ въ нихъ склонность къ наукамъ и искусствамъ и гораздо лучше, нежели путемъ нашего книжнаго ученія, вводилъ въ жизнь результаты философіи; короче, онъ былъ живымъ образцомъ всеобщаго образованія, органомъ духовной жизни своего времени, руководителемъ общественнаго мнѣнія во всемъ, что имѣло значеніе для націи.

Два года спустя послѣ произнесенія своей первой публичной рѣчи, Цицеронъ сталъ искать греческаго образованія въ самомъ его источникѣ. Въ 79 г. до Р. Х. онъ отправился въ Грецію и Малую Азію и тамъ продолжалъ ученія занятія, подѣ руководствомъ знаменитѣйшихъ риторовъ и философовъ. Въ Греціи онъ шесть мѣсяцевъ слушалъ философа Антиоха, управлявшаго тогда академіей, и риторовъ Димитрія, Мениппа, Діонисія и друг. Особенно большое вліяніе имѣла на Цицерона и тогда и послѣ платоническая философія, руководители которой уже со времени смерти Платона старались обратить науки и искусства на пользу жизни государственной и возвысили академію на степень главнаго учебнаго заведенія Греціи. Закончивъ свое образованіе въ Греціи и Малой Азіи, Цицеронъ возвратился въ Римъ. (77 г. до Р. Х.). Съ этихъ-то поръ и начинается его полити-

ческая карьера,—во время которой онъ не только былъ облачаемъ во всѣ правительственныя должности, до консула включительно, но какъ членъ сената и ораторъ, былъ безпрерывно дѣятеленъ въ народныхъ собраніяхъ и судахъ. Его политическая дѣятельность совершенно основывалась на талантѣ и образованіи, потому-что онъ не обладалъ ни большимъ богатствомъ, ни родственными связями; также мало онъ приобрѣлъ славы и вѣса во время своего военнаго поприща; даже моральный характеръ его не могъ произвести такого продолжительнаго вліянія, какое произвелъ, напримѣръ, характеръ Катона. Въ 63 г. до Р. Х. Цицеронъ былъ назначенъ консуломъ. Въ этомъ званіи ему посчастливилось оказать услугу государству открытіемъ заговора, главою котораго былъ Л. Катилина. Въ рѣчи, произнесенной 5-го сентября въ сенатѣ, имѣвшемъ засѣданіе въ храмѣ Юпитера Статора, Цицеронъ обратился къ заговорщику съ слѣдующими словами: (*Oratio I in L. Catilinam*).

«Долго-ли еще будешь ты, Катилина, употреблять во зло наше терпѣніе? Долго-ли въ твоёмъ неистовствѣ будешь издѣваться надъ нами? Чего домогаешься ты своей неслыханной наглостью? Нипочемъ тебѣ то, что палаціумъ окруженъ во время ночи вооруженною стражею, ни то, что городъ на военномъ положеніи, жители его въ страхѣ, всѣ благонамѣренныя граждане спятъ на защитѣ отечества, ни то, что сенатъ собранъ въ самомъ безопасномъ мѣстѣ? Или ничего не читаешь ты на лицахъ присутствующихъ здѣсь? Еще-ли для тебя не явно, что единодушіе благонамѣренныхъ гражданъ сковало умыслъ злодѣйскій твоего заговора? Что дѣлалъ ты въ обѣ послѣднія ночи, съ кѣмъ и въ чемъ совѣщался—все, до ма-

лѣйшей подробности, извѣстно каждому изъ насъ. Что за времена нынѣ, что за нравы? Сенатъ знаетъ злодѣйскій умыселъ; онъ готовится въ глазахъ консула, а виновникъ его еще живъ. Этого мало; онъ является въ присутствіе сената, принимаетъ участіе въ совѣщаніяхъ объ общественныхъ дѣлахъ, а между-тѣмъ мысленно избираетъ и готовитъ на гибель изъ среды васъ жертвы своей злобы. А мы, имѣя силу въ рукахъ своихъ, думаемъ, что исполнили вполнѣ свои обязанности къ отечеству, защитивши только свою жизнь отъ неистовства и злобы Катилины. Давно ужъ надлежало-бы тебя, Катилина, влечь на казнь по приказанію консула и обратить на твою голову гибель, которую ты такъ издавна замышляешь всѣмъ. Одинъ изъ великихъ людей отечества нашего, П. Сципіонъ, находясь въ должности верховнаго первосвященника, какъ частный человѣкъ умертвилъ Т. Гракха за самое незначительное покушеніе противъ общественнаго порядка. А Катилину, замышляющаго предать и городъ нашъ, и области огню и мечу, долго-ли мы, исправляющіе консульскую должность, будемъ еще терпѣть? Указывать-ли вамъ на примѣръ отдаленной древности, какъ К. Сервилій Агала собственною рукою убилъ С. Мелія за его стремленія къ нововведеніямъ. Да, нѣкогда и въ нашемъ отечествѣ была та прекрасная черта, что люди достойные и сильные строже наказывали злонамѣреннаго гражданина, тайнаго врага общества, взятаго съ оружіемъ въ рукахъ. Катилина, мы имѣемъ противъ тебя строгій и неумолимый сенатскій декретъ; здѣшнее собраніе приняло съ своей стороны всѣ мѣры, нужныя для безопасности отечества. Вся медленность и оплошность, скажу прямо, отъ насъ консуловъ.

Нѣкогда сенатъ подобнымъ декретомъ поручилъ кон-

сулу Л. Оппидію бодрствовать надъ общественною безопасностію. И ночь одна не прошла со времени какъ состоялся декретъ, а Гракхъ погибъ за возбужденіе нѣкоторыхъ смуть, несмотря на то, что длинный рядъ его предковъ, прославившихся заслугами отечеству, говорилъ въ его пользу. А мы уже двадцатый день медлимъ, въ нашихъ рукахъ притупляется остріе вашей власти. И у насъ есть точно такой-же упрекъ, но мы отложили его въ ящикъ; у насъ въ рукахъ мечъ, но мы вложили его въ ножны. А по тому сенатскому декрету тебѣ, Катилина, давно не слѣдовало быть въ живыхъ. Но ты цѣлъ и невредимъ, и не только не раскаиваешься, но ты преуспѣваешь въ своей преступной дерзости. Желалъ-бы я, отцы сенаторы, назвать себя милосерднымъ, желалъ-бы выставить себя въ уровень трудному положенію дѣла въ отечествѣ, но не могъ скрыть отъ васъ моей собственныхъ оплошности и недѣлятельности. Въ самомъ сердцѣ Италіи, въ ущельяхъ Этруріи, враги отечества стали лагеремъ, число ихъ растетъ съ каждымъ днемъ; а тотъ, кто вооружилъ ихъ, кто управляетъ всѣми ихъ движеніями, тотъ самый человѣкъ—здѣсь, въ стѣнахъ города, и даже присутствуетъ въ сенатѣ. Это внутренній червь, который точитъ самое сердце нашего отечества не по днямъ, а по часамъ. Катилина, если я повелю захватить тебя и предать смерти, то каждый благонамѣренный гражданинъ будетъ осуждать меня не за жестокость поступка, а за то, что я имъ медлилъ. Впрочемъ, если я по-соб-пору не рѣшаюсь такъ поступить, то на это есть у меня причины. Тогда поведу только тебя на казнь, когда твое злодѣйство будетъ такъ явно, что развѣ только подобный тебѣ усумнится въ законности твоего наказанія. Но пока у тебя есть еще заступники, ты еще не вредимъ, но ты окруженъ моими

надзоромъ, и не можешь шевельнуться противъ отечества. Невидимо бодрствуютъ надъ тобою тысячи глазъ, тысячи ушей тебя подслушиваютъ, такъ что ты не догадываясь живешь подъ самымъ строгимъ надзоромъ».

Указавъ на то, что „всѣ дѣйствія, даже намѣренія и самыя мысли заговорщиковъ“ извѣстны ему, Цицеронъ совѣтуетъ Катилинѣ оставить городъ:

«Ступай,—говоритъ ораторъ, ступай вонъ изъ города! Его ворота для тебя настѣжь. Съ нетерпѣніемъ Манліево войско ждетъ тебя, какъ своего вожда. Только захвати пожалуйста съ собою всѣхъ своихъ сообщниковъ; если-же всѣхъ нельзя, то какъ можно больше поочисти городъ. Чувство страха у меня минетъ, если насъ съ тобою раздѣлитъ хоть одна городская стѣна. Но долѣе пребывать тебѣ здѣсь—нельзя, не выдержу, не потерплю, не допущу!» Но можетъ-быть отечество спроситъ: «Маркъ Туллій, что ты дѣлаешь? Какъ! ты дознаннаго врага отечества, будущаго предводителя людей, замышляющимъ ему гибель, съ нетерпѣніемъ ждущихъ его въ Манліевомъ лагерѣ, чтобы поставить во главѣ себя,—виновника всѣхъ преступныхъ замысловъ, зачинщика заговора, влагающаго оружіе въ руки враговъ и вреднѣйшихъ изъ гражданъ — его-то ты свободно выпускаешь изъ города? Развѣ ты не знаешь, что этимъ самымъ ты этому-же городу готовишь гибель? Зачѣмъ не употребить ты немедленно власти, не закуешь его въ оковы, не предашь его смертной казни, которую онъ давно заслужилъ? Что тебя удерживаетъ? Нуженъ-ли тебѣ примѣръ въ прошломъ? Но предки наши неоднократно, какъ частные люди, предавали смерти людей, вредныхъ отечеству. Можетъ-быть тебя удерживаютъ законы, защищающіе личность гражданъ римскихъ? Но

развѣ могутъ пользоваться правами гражданъ тѣ, которые замышляютъ ниспроверженіе государства? Или можетъ-быть страшить тебя приговоръ потомства? Прекрасно-же ты, человѣкъ еще новый, себѣ всѣмъ обязанный, а не заслугамъ предковъ, удостоенный въ лѣтахъ еще не старыхъ самыхъ высокихъ почестей, отблагодарилъ отечество за все, что оно для тебя сдѣлало, если ты какое-нибудь твое опасеніе или заботу ставишь выше безопасности твоихъ согражданъ. Ты боишься общаго неудовольствія? Но лучше заслужить его избыткомъ силъ и энергій, чѣмъ нерадѣніемъ и бездѣйствіемъ. А когда вся Италия будетъ жертвою войны, города добычею раззоренія, строенія—огня, тогда, думаешь ты, уцѣлѣть отъ взрыва всеобщаго противъ тебя неудовольствія? На этотъ священный для меня голосъ отечества, который я читаю въ мысляхъ нѣкоторыхъ изъ васъ, отвѣчу въ немногихъ словахъ. Если-бы, по моему убѣжденію, для блага отечества нужна была-бы немедленная смерть Катилины, этого гладиатора, то и одного часа не прошло-бы, а онъ жизнью своею заплатилъ-бы за свои злодѣянія. Если въ прежнія времена именитѣйшіе гибелью Сатурнина, Гракховъ, Флакка и многихъ другихъ, не только не опозорили себя, но прославили, то могу-ли я основательно страшиться въ будущемъ неудовольствія, предавъ смерти Катилину, преступный замыселъ котораго виѣ всякаго сомнѣнія. Но если-бы я даже и навлекъ себѣ тѣмъ неудовольствіе, то не заслуженно, а потому я скорѣе стану имъ гордиться, чѣмъ огорчаться. Среди васъ есть люди, которые или не понимаютъ настоящаго положенія дѣлъ, или если и понимаютъ сами, то дѣлаютъ тотъ видъ, будто не понимаютъ. Они-то снисходительностью своихъ мнѣній дали пищу заговору Катилины, и не вѣря его существованію, помогли ему успѣ-

литься и достигнуть теперешнихъ размѣровъ. Къ такому мнѣнію нѣкоторыхъ злонамѣренныхъ людей прикнули многіе по невѣдѣнію и неопытности. Если теперь я строго поступлю съ Катилиною, то всѣ тѣ, о которыхъ я говорилъ выше, скажутъ, что я поступилъ жестоко и съ произволомъ свойственнымъ только царской власти. Но если же Катилина отправится въ лагерь къ Манлію, то врядъ ли найдется изъ васъ хотя одинъ столь безразсудный, кто не понялъ въ чемъ дѣло и ни одинъ столь злонамѣренный, кто-бы взялъ открыто заговоръ подъ свою защиту. Казнь одного Катилины — бѣда, угрожающая отечеству будетъ не предупреждена, а только отсрочена. Но если онъ выйдетъ и уведетъ своихъ сообщниковъ, то къ нему соберутся, какъ обломки корабля къ берегу, всѣ ему подобные, и такимъ-образомъ мы будемъ имѣть возможность видѣть и всю глубину и опасность язвы на общественномъ тѣлѣ и вмѣстѣ вырѣзать ее совершенно съ корнемъ, и такимъ-образомъ совершенно исцѣлить отечество. Уже давно, почтенные сенаторы, угрожаетъ намъ опасностію этотъ заговоръ, въ тайнѣ и предательски затѣянный, но по неизвѣстной причинѣ, созрѣть ему и открыться всей бѣзднѣ золь и преступлений, сопряженныхъ съ неслыханною дерзостію, суждено было только въ мое консульство. Если изъ столь многочисленной шайки злодѣевъ казнимъ мы одного Катилину, то мы отсрочимъ только на нѣсколько времени и опасность, угрожающую обществу, и заботу предотвратить ее; зло же самое останется; мало того, оно глубже проникнетъ внутрь нашего отечества, заразить его еще болѣе. Такъ человекъ въ тяжкой болѣзни, метаясь въ жару горячки, выпивъ холодной воды, чувствуетъ себя лучше; но не на долго, болѣзнь возвращается къ нему еще съ большею силою.

Такимъ-образомъ и наша общественная болѣзнь, возникшая въ государствѣ, казнью Катилины на время пріостановленная въ своемъ ходѣ, обнаружится потомъ еще съ большею силою, если сообщники Катилины останутся невредимы. А потому, почтенные сенаторы, пусть дурные граждане сами себя обнаружатъ, пусть они отдѣлятся отъ благонамѣренныхъ, пусть соберутся въ одно мѣсто; пусть, чего я давно желаю, между ими и нами будетъ хоть одна стѣна городская. Пусть наконецъ не будутъ они посягать на жизнь консула въ его домѣ! Не будемъ мы наконецъ видѣть толпу заговорщиковъ около трибунала городского претора; не станутъ они съ мечами угрожать сенату, не станутъ наконецъ въ самомъ городѣ готовить факелы и горючіе матеріалы для его-же разрушенія. Тогда ясно на лицѣ каждого гражданина будемъ мы читать, какъ онъ расположенъ къ отечеству. Даю вамъ слово, почтенные сенаторы, что такова будетъ бдительность насъ консуловъ, таково согласіе ваше и сознаніе вашего значенія, такова доблесть всадниковъ римскихъ, таково единоедушіе всѣхъ благонамѣренныхъ гражданъ, что всѣ замыслы Катилины, вмѣстѣ съ его отъѣздомъ, будутъ открыты, предупреждены и подавлены въ самомъ началѣ. При такихъ обстоятельствахъ, Катилина, ступай, начиная незаконную и нечестивую войну; да обратится она на пользу и спасеніе отечества, на гибель твою и соучастниковъ твоего преступнаго замысла. А ты Юпитеръ всемогущій, имя котораго начало славиться вмѣстѣ съ жизнью этого города, ты достойно именуемый опорою и покровителемъ его и владычествомъ народа римскаго, защити отъ Катилины и его сообщниковъ храмы твои и жертвенники, зданія и стѣны этого города, жизнь и имущества гражданъ. А тѣхъ ненавистниковъ всякаго добра, враговъ отечества, отребье

Италии, этотъ скопъ людей, связанныхъ единствомъ зла и преступленія, погуби и здѣсь въ мученьяхъ, и въ будущей жизни обреки ихъ на вѣчныя страданія».

Отвѣчая на эту рѣчь, Катилина смиренно проситъ сенаторовъ не вѣрить взводимымъ на него обвиненіямъ. Но когда сенаторы, прервавъ его слова, называли его отцеубійцей и врагомъ отечества, (Sall. Cat. 31) онъ вышелъ изъ сената и ночью съ нѣкоторыми изъ своихъ сообщниковъ удалился изъ Рима.

Три года спустя самостоятельности республики стала угрожать еще большая опасность. Въ 60 году Помпей отрекся отъ сената и соединился съ Цезаремъ и Крассомъ. Цицеронъ противостоялъ имъ, но не имѣлъ успѣха, и по проискамъ народнаго трибуна П. Клодія, долженъ былъ удалиться въ изгнаніе, (въ нач. апрѣля 58 года). Едва онъ выѣхалъ изъ города, какъ имѣніе его было конфисковано, загородныя виллы разграблены и сожжены, городской домъ срытъ до основанія и мѣсто, гдѣ онъ стоялъ, посвящено богинѣ свободы. Ораторъ совершенно упалъ духомъ. Письма его къ женѣ и другу полны самого молодужнаго отчаянія. Изгнанникъ отправился въ Фессалонику; оттуда хотѣлъ проѣхать въ Кизикъ. Но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, друзьямъ Цицерона, при содѣйствіи Помпея, удалось хлопотать ему позволеніе возвратиться въ Италію. Возвращеніе Цицерона въ Римъ имѣло видъ настоящаго триумфа; огромныя толпы народа встрѣтили далеко за городомъ своего краснорѣчиваго оратора. Политическая дѣятельность Цицерона была теперь ослаблена властію триумвировъ; но тѣмъ съ большимъ рвеніемъ преданъ онъ ораторской дѣятельности на форумѣ. Въ маѣ 51 года Цицеронъ, какъ консуляръ, получилъ управленіе Киликіей. Провинція эта была въ самомъ жалкомъ по-

ложеніи. „Ты не можешь себѣ представить, пишетъ новый проконсулъ своему другу Аттіку, что за люди приходятъ къ намъ изъ селъ, деревень и лачужекъ. Но вѣроятно, ихъ оживить, прибавляетъ онъ, правосудіе, безкорыстіе и кротость твоего Цицерона“. Во время своего проконсульства Цицеронъ, во главѣ двухъ легионовъ, одержалъ побѣду надъ разбойничьими племенами, кочевавшими около горъ Амануса. Но въ Римѣ отказали ему въ триумфѣ, несмотря на то, что киликійская армія провозгласила его своимъ императоромъ. Въ іюлѣ 50 года Цицеронъ возвратился въ Римъ. Когда между Цезаремъ и Помпеемъ вспыхнула междоусобная борьба, Цицеронъ долго колебался, къ какой ему пристать партіи. Наконецъ онъ рѣшился примкнуть къ сторонѣ Помпея, отправился въ Грецію, но по случаю болѣзни не принималъ участія въ фарсальской битвѣ, (48) и послѣ бѣгства Помпея отказался даже отъ предлагаемаго ему командованія арміею. Этотъ отказъ поссорилъ его съ сыномъ Помпея и самыми ярыми изъ вождей республиканской партіи, но зато помирилъ съ Цезаремъ. Возвратившись въ Италію, Цицеронъ совершенно отказался отъ политической дѣятельности, и живя преимущественно въ своей тускуланской виллѣ, посвятилъ себя исключительно наукамъ. Этому времени мы обязаны большею частію реторическихъ сочиненій Цицерона и всеми его философскими трактатами. „Въ короткое время по низверженіи республики, я написалъ гораздо больше, чѣмъ въ многіе годы при ея существованіи“—говоритъ онъ самъ (de off. III, 1).—15 марта 44 года Цезарь былъ убитъ. Не смотря на тѣсную дружбу съ Брутомъ, Цицеронъ не былъ посвященъ въ тайну этого заговора, но въ ту минуту, когда дикта-

торъ упалъ, Брутъ, поднявши свой окровавленный кли-
жалъ, поздравилъ Цицерона съ восстановленіемъ рес-
публики. Да Цицеронъ и самъ не скрывалъ того, что
онъ одобряетъ тираноубійство. Но скоро онъ увидалъ,
что умертвивъ Цезаря, друзья свободы выиграли очень
мало: республикѣ со дня на день угрожала опасность
перейти въ руки развратнаго Антонія. Два мѣсяца спу-
стя, Цицеронъ жалуется въ письмѣ своемъ, что „тиранъ
убить, а тираннія еще жива“. — „Я боюсь, писалъ онъ
въ другомъ письмѣ, — что иды марта не принесли намъ
ничего, кромѣ минутной радости видѣть, что наша не-
нависть утолена и что отмщено все, нами претерпѣн-
ное“. — Интриги Антонія и угрозы приверженцевъ Це-
заря заставили Цицерона снова удалиться въ доброволь-
ное изгнаніе. Какъ легатъ консула Долабеллы, онъ от-
правился было въ Грецію, но услыхавъ о произволь-
ныхъ погромахъ Антонія, не вытерпѣлъ и вернулся въ
Римъ (31 августа). Онъ явился въ сенатъ и произ-
несъ свою первую рѣчь противъ Антонія. (1-я филип-
пійская рѣчь). „Я боюсь, говорилъ онъ ему, что ты
не знаешь истинной дороги къ славѣ, и считаешь слав-
нымъ то, когда *одинъ* имѣетъ болѣе власти, чѣмъ всѣ;
что ты хочешь, чтобъ твои сограждане лучше боялись
тебя, чѣмъ любили“. Вскорѣ послѣ этой рѣчи Цице-
ронъ опять уѣхалъ въ деревню и тамъ написалъ вто-
рую филиппійскую рѣчь. Когда эта рѣчь была распро-
странена въ Римѣ, она произвела такой эффектъ, что
любовь народа къ Антонію поколебалась, и всѣ обрати-
лись къ Октавіану, „наслѣднику Цезаря“. — Зачѣмъ се-
натъ окруженъ вооруженными толпами? — спрашивалъ Ци-
церонъ Антонія. Зачѣмъ на каждомъ шагѣ тѣлохрани-
тели съ обнаженными мечами? Зачѣмъ затворены врата

храма Согласія? Зачѣмъ ты навелъ сюда, на форумъ,
людей всѣхъ націй, варваровъ, стрѣлковъ итудійскихъ?
Онъ утверждаетъ, что для своей безопасности. Какъ?
Да развѣ не лучше въ тысячу разъ погибнуть, чѣмъ
не имѣть возможности жить въ своемъ городѣ безъ охра-
ны вооруженныхъ стражей? Но повѣрь мнѣ, что стража
плохая защита. Въ любви гражданъ, а не въ оружіи
нужно искать защиты. Народъ римскій выверетъ у тебя
изъ рукъ это оружіе. Дай только Богъ, чтобъ я до-
жилъ до этого!... Сладостно имя мира, — продолжалъ
ораторъ; — спасителемъ самый миръ; но между миромъ
и рабствомъ великая разница. Миръ есть спокойное на-
слажденіе свободой, рабство-же величайшее изъ всѣхъ
золь, которое должно отвращать не только войной, но
даже и смертью. И если мы удалили отъ себя нашихъ
освободителей, Брута и Кассія, — то все-таки они оста-
вили намъ примѣръ своего подвига. Они сдѣлали то,
чего до-сихъ-поръ еще никто не дѣлалъ. Тарквинія, ко-
торый былъ царемъ въ то время, когда въ Римѣ еще
смѣли быть цари, — Тарквинія Брутъ преслѣдовалъ вой-
ной. Спурий Кассій, Спурий Мэлій, М. Манлій были
умерщвлены за то, что ихъ подозрѣвали въ замыслѣ
присвоить себѣ власть царскую. Но тѣ (Брутъ и Кас-
сій) были первые, что мечами своими извели не того,
кто домогался царской власти, а того, кто ужъ былъ
царемъ: великій и божественный подвигъ, достигшій
такой славы, вмѣстить которую едва-ли можетъ самое
небо“... Между тѣмъ юный Октавіанъ выступилъ на
поприще. Натянутыя отношенія Октавіана къ Антонію
расположили въ его пользу даже Цицерона. Октавіанъ
сейчасъ-же сдумалъ сформировать себѣ войско; въ ок-
тябрѣ 44 года Антоній выступилъ противъ него съ че-

тырьми македонскими легионами; но два изъ его легионовъ перешли къ Октавіану, и этотъ предложилъ свое, такимъ-образомъ подкрѣпленное войско, сенату. Въ третьей филиппійской рѣчи Цицеронъ совѣтуетъ сенату принять предложеніе Октавіа и объявить Антонія врагомъ отечества. “Если ужъ, говоритъ онъ, (отчего да сохранять насъ боги),—если ужъ пришло послѣдній часъ республики,—то возьмемъ примѣръ съ благородныхъ гладиаторовъ, которые величаво падаютъ на землю; пусть мы, какъ первые на землѣ и между всѣми народами, лучше съ достоинствомъ падемъ, чѣмъ съ позоромъ сдѣлаемся рабами!” — Въ четвертой филиппійской рѣчи онъ сообщаетъ народу рѣшеніе сената. — 1-го января слѣдующаго года Цицеронъ предложилъ въ сенатѣ объявить войну противъ Антонія, который между-тѣмъ ужъ осаждалъ Д. Брута въ Мутинѣ. Сенатъ согласился на это предложеніе, но четыре дня спустя передумалъ и рѣшилъ сначала послать къ Антонію пословъ. Противъ этого Цицеронъ возстаетъ въ пятой филиппійской рѣчи, и въ шестой объявляетъ народу, что, благодаря его твердости, сенатъ возвратился къ своему прежнему рѣшенію. „Римскій народъ, говоритъ онъ, не долженъ быть рабомъ, потому-что боги безсмертные хотѣли, чтобъ онъ повелѣвалъ всѣми народами. Теперь пойдетъ бой за свободу. Или вы должны побѣдить—а побѣду упрочиваетъ за вами ваше благочестіе и ваше великое единодушіе,—или вы должны лучше все претерпѣть, чѣмъ рабство. Пусть другіе народы сносятъ рабство, существенная-же принадлежность римскаго народа—есть свобода!“ Въ седьмой филиппійской рѣчи Цицеронъ еще разъ совѣтывалъ сенату прервать всякія сношенія съ Антоніемъ. Война была объявлена; но она должна называться не

войной, а возстаніемъ (tumultus). Въ восьмой филиппійской рѣчи Цицеронъ опровергаетъ это названіе. Война началась. Цицеронъ продолжаетъ гнѣвъ противъ Антонія своими филиппиками (9 — 14). Но Октавіанъ, оскорбленный сенатомъ, сближается съ Антоніемъ и Лепидомъ. Трое честолюбцевъ заключаютъ союзъ, извѣстный подъ названіемъ втораго триумвирата. Однимъ изъ условій этой коалиціи было убійство Цицерона. Цицеронъ хотѣлъ было переправиться въ Грецію, гдѣ около Брута собрались тогда всѣ друзья республики, но противнымъ вѣтромъ его прибило снова къ берегамъ Италіи. На другое утро онъ опять хотѣлъ бѣжать. Рабы Цицерона усадили его въ носилки и повесли къ морю, гдѣ запасена была барка. Трабанты Антонія догнали ихъ, когда они уже подошли къ берегу: это были Центуріоній и П. Лена, которому нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ Цицеронъ спасъ жизнь своимъ краснорѣчіемъ. Цицеронъ, видя приближеніе солдатъ, высунулъ голову изъ окна своихъ носилокъ. Центуріонъ отрубилъ ему голову и руки; онѣ были отнесены въ Римъ, и по приказу Марка Антонія прибиты къ ораторской каѳедрѣ, 7 декабря, 43 года до Р. X.

—
“Если мы станемъ разсматривать національную дѣятельность Цицерона съ ея отдѣльныхъ сторонъ, то, говоря объ его *ораторской* дѣятельности, можетъ очертить ее его-же словами. Цицеронъ совершенно справедливо говоритъ о себѣ, что онъ первый изъ всѣхъ римлянъ внесъ въ римскій народъ результаты греческой философіи, доступные до-сихъ-поръ только немногимъ. — Далѣе, онъ основалъ тѣсную связь между риторикой, эстетическимъ образованіемъ и самой существенной частью

собственно римской науки,—*правовѣдніемъ*, которое до него стояло внѣ общаго образованія, и даже не годилось быть цѣлью науки краснорѣчія. А именно, онъ образомъ изложенія смягчилъ сухія юридическія разбирательства и опредѣленія, внесъ въ правовѣдніе философію и этимъ далъ ей возможность всесторонняго высшаго развитія. Велѣдствіе этого правовѣдніе развилось до такой степени, что впоследствии, когда всѣ отрасли римской литературы пали, оно одно сохранило всю свою прежнюю силу, и тѣ, которые занимались имъ, остались образцовыми по языку и по стилю. Цицеронъ не упустилъ изъ виду даже *исторію*, настоящаго значенія которой римляне до него не понимали. До тѣхъ-поръ она почти всегда писалась въ безтолковой формѣ лѣтописей или хроникъ. Цицеронъ указалъ своимъ соотечественникамъ, которые придавали значеніе только тому, что было полезно для войны или для государства,—важность исторіи какъ довода въ общественныхъ совѣщаніяхъ, онъ, такъ сказать, вызвалъ ее на форумъ, и сдѣлалъ ее необходимымъ вспомогательнымъ средствомъ для будущихъ ораторовъ. Кромѣ того, онъ обратилъ вниманіе на ея другую сторону, и ввелъ ее въ жизнь совершенно новымъ способомъ: онъ показалъ своимъ ученикамъ и своимъ примѣромъ, какимъ прекраснымъ, нравственнымъ, вспомогательнымъ средствомъ для возбужденія умовъ и оживленія патріотизма можетъ служить исторія, если только ее обработать реторически. Далѣе Цицеронъ выдвигаетъ впередъ искусство *актера*, находившееся до-сихъ-поръ въ презрѣніи, и какъ Демосоевъ, дѣлаетъ его существеннымъ качествомъ оратора. Драма и актеры никогда не могли въ Римѣ возвыситься до того значенія, какое они имѣли въ Греціи, хотя на нихъ расто-

чались непомѣрныя суммы, такъ-что напримѣръ актеръ Росцій получалъ до 30,000 рублей ежегоднаго жалованья. Съ понятіемъ о сценѣ всегда соединялась идея объ искусствѣ, не доставляющемъ средствъ къ пропитанію и о скоморошествѣ. Цицеронъ думалъ иначе: онъ училъ уважать искусство даже и въ актерѣ. Онъ оказывалъ такое вниманіе Росцію, величайшему актеру своего времени, какое прежде оказывалось только государственнымъ мужамъ и героямъ. Кромѣ того, въ своихъ рѣчахъ и сочиненіяхъ онъ сдѣлалъ такое удачное употребленіе изъ драматическихъ сочиненій своей націи, что его усилія неминуемо вызвали-бы новыхъ дѣятелей по этому предмету,—если-бы только греческая форма драмы когда-нибудь могла сдѣлаться туземною въ Римѣ. Наконецъ Цицеронъ развилъ духъ и формы латинскаго *языка* до такой степени, до какой не могъ достигнуть ни одинъ писатель ни прежде, ни послѣ него. Форма всегда была его главнымъ средствомъ, и онъ такъ хорошо умѣлъ владѣть всѣми лежащими въ языкѣ средствами, что приучилъ римское ухо къ музыкѣ языка также, какъ приучены къ ней итальянцы новаго времени. Къ этому преимуществу конечно мы были-бы совершенно холодны, если-бы выстѣ-съ-тѣмъ Цицеронъ не обладалъ философическимъ умомъ, знаніемъ сердца человѣческаго и необыкновеннымъ искусствомъ дѣйствовать на страсти слушателей и читателей.

Какъ философъ, или лучше сказать, какъ писатель о *философіи*,—въ отношеніи всеобщаго распространенія результатовъ этой науки, Цицеронъ сдѣлалъ гораздо болѣе, чѣмъ какой-нибудь другой грекъ или римлянинъ; потому-что во все остальное время древняго періода шли по его слѣдамъ; даже въ средніе вѣка

нельзя не узнать вліянія его сочиненій, и наконецъ въ наше время есть еще стремленія, вышедшія изъ изученія его твореній, которыми въ жизнь снова была введена философія. Напротивъ, для дальнѣйшаго развитія философіи Цицеронъ не имѣетъ непосредственнаго значенія; потому-что онъ не былъ ни творцомъ новой системы, ни даже оригинальнымъ мыслителемъ; вообще онъ не принадлежитъ собственно къ философамъ, да и не считалъ себя имъ, а старался только ввести къ своимъ соотечественникамъ результаты греческой философіи и сдѣлать ихъ полезными для политической и практической жизни. Такимъ-образомъ заслуга его состоитъ въ способѣ, которымъ онъ, посредствомъ толкованія философіи, достигалъ этой цѣли, а не въ содержаніи его сочиненій, потому-что они всегда цѣликомъ заимствованы у грековъ. Этимъ объясняется, почему Цицеронъ былъ эклектикъ, или другими словами, отчего онъ не держался какой-нибудь опредѣленной системы, а колебался между различными системами, изъ каждой выбиралъ лучшее. Какъ-бы ни было, Цицеронъ сдѣлалъ то, что чистый разумъ и высшія цѣли духовной жизни стали имѣть вліяніе на воинственный народъ, который до-сихъ-поръ былъ изобрѣтателемъ только на юридическія хитрости и не преслѣдовалъ никакихъ другихъ цѣлей кромѣ вѣшнихъ *.

* Переводы философическихъ сочиненій на русское языкъ, а) М. Т. Ц. три книги *о должностяхъ* съ содержаніемъ каждой главы и съ примѣчаніями, перев. Академіи Наукъ переводчикомъ *Борисомъ Волковымъ* С.-Петербургъ 1761. — 8) Цицероновы размышленія *о совершенномъ добрѣ и крайнемъ злѣ*, перев. съ латинскаго *Посниковымъ*, С.-Петербургъ 1774. — 2-е изданіе 1793. — с) М. Т. Цицерона *о утѣшеніи*, С.-Петербургъ 1773. — d) М. Т. Цицерона *о системѣ боговъ*, три книги перев. съ латинскаго

Какъ *риторъ*, или учитель краснорѣчія, Цицеронъ оказалъ почти тѣ-же услуги, какъ и ораторъ. Въ своихъ реторическихъ сочиненіяхъ (*Rhetorica s. de inventione lib. II.—De oratore I. III.—Partitiones oratoriae.—Topica—de optimo genere oratorum* и пр.) онъ изложилъ всю науку краснорѣчія, обработалъ даже ея историческую сторону, которую до него никто еще не изслѣдовалъ и не излагалъ такъ тщательно. Онъ не только сохранилъ для насъ все правила, бывшія въ ходу въ то время, когда реторика у грековъ достигла совершенства, но безпрерывно сопоставляетъ ихъ съ римскими, подкрѣпляя свои доводы примѣрами изъ исторіи римскаго краснорѣчія.

Въ очеркѣ жизни Цицерона мы коснулись нѣкоторыхъ его рѣчей и упомянули о томъ вліяніи, которое онѣ имѣли на сенатъ и квинитовъ. Вообще Цицеронъ оставилъ 100 рѣчей, но до насъ дошло только 56 *. „Какое вліяніе Цицеронъ имѣлъ на народъ, лучше всего видно изъ тѣхъ рѣчей, въ которыхъ онъ не имѣетъ дѣла съ своей собственной особой, или съ цѣлями своего тщеславія. Такъ въ рѣчи противъ Кайя Верреса, который въ качествѣ правителя Сициліи дѣлалъ страшныя злоупотребленія и въ 70 году былъ обвиненъ Цицерономъ, — онъ является поборникомъ чловѣчности,

Гр. Комовымъ. С.-Петербургъ 1779. — е) М. Т. Цицерона *Лелій или о дружествѣ*. Перев. съ латинскаго С.-Петербургъ, 1781. — f) Бесѣды Цицероновы *о естествѣ боговъ*, ч. 1-я, перев. *Ив. Гриневичъ*, Харьковъ 1817. — g) Разсужденіе Цицерона *о добродѣтели*. Москва, 1820 года перев. *П. Антопскій*.

* На русскомъ языкѣ: М. Туллія Цицерона 12 отборныхъ рѣчей пер. съ лат. *Кондратовичъ*. Сиб. 1767. — М. Т. Ц. рѣчь за стихотворца Авла Лицинія Архія, пер. *И. Гриневичъ*. X. 1818. *Верресовы хищенія*. Вѣстникъ Европы 1828. № 4. — Рѣчь Цицерона въ справ. *Т. А. Миллона*, пер. *И. Гриневичъ*. Од. 1833.

возстаетъ противъ наглости аристократовъ и передъ глазами римскаго народа разоблачаетъ всю мерзость правительствующихъ неопатриціевъ, когда этимъ людямъ поручаютъ государственныя должности или управление провинцій. Но въ самомъ блестящемъ видѣ краснорѣчіе Цицерона является въ его филиппикахъ, которыми онъ достигъ гораздо большаго, чѣмъ Брутъ и Кассій своимъ оружіемъ*. Рѣчи Цицерона—прекраснѣйшіе памятники римско-классической прозы. Онѣ увлекаютъ слушателей пыломъ своей страсти, которую ораторъ умѣетъ изобразить съ пластичностью, обличающею въ немъ талантъ истиннаго художника. Рѣчи Цицерона удивляютъ полнотою мыслей, удачною диспозиціей, остроуміемъ изложенія, находчивостію въ доказательствахъ, изящностію тона, и главное, тщательностію отдѣлки, ясностію выраженія и красотой ихъ многосторонняго и чистаго языка, какъ напримѣръ въ рѣчахъ противъ Верреса и противъ Антонія (двѣ книги „Верринъ“ и 14 „Филиппикъ“) и за Мурену, Планцію, Лигарію, Милона. Квинтилианъ въ двухъ строкахъ вмѣстилъ похвалу Цицерону, какъ оратору. „Что Гомеръ и Виргилій сдѣлали для поэзіи, то Цицеронъ и Демосѣенъ для краснорѣчія“. *Instr. Or.* XII, 11). Цицеронъ, замѣчаетъ Друманн*, овладѣлъ всѣми сокровищами своего роднаго языка и расширилъ его область. Онъ велерѣчивъ; въ словахъ у него никогда не было недостатка, ни въ ораторскихъ, ни въ обыкновенныхъ. Въ письмахъ онъ говорилъ совершенно не такъ, какъ въ рѣчахъ; въ процессахъ частныхъ лицъ иначе, чѣмъ когда дѣло шло о жизни или славѣ; тогда онъ металъ молніи. Въ письмахъ тоже онъ всегда по-

* Drumann: „Gesch. Roms. in s. Uebergangen v. d. republikan zur monarchischen Verfassung“. 6 Bole, 1834—1844.

падалъ въ настоящій тонъ, смотря потому шутилъ онъ или говорилъ серьезно, были-ли эти письма дружеской, довѣрчивой бесѣдой, или предназначались для публичнаго обнародованія. Три сборника цicerоновскихъ посланій изданы и приведены въ порядокъ Тулліемъ Тираномъ. Во главѣ ихъ стоятъ 16 писемъ къ друзьямъ или къ разнымъ лицамъ (*ad familiares s. ad diversos*) и столько-же книгъ къ Аттику (*ad Atticum*). Письма перваго сборника большею частію дипломатическаго содержания; они нѣсколько преднамѣренныѣ, лукавыѣ писемъ другихъ сборниковъ, какъ видно, не предназначавшихся для обнародованія. Многія изъ нихъ принадлежатъ впрочемъ и другимъ аристократамъ. Но если изъ видовъ партій и по другимъ причинамъ Цицеронъ выставилъ въ нихъ многое не въ настоящемъ свѣтѣ, — все-таки они служатъ яснымъ доказательствомъ благородства его души, многосторонности образованія и накопецъ того уваженія, которымъ онъ пользовался у людей всѣхъ партій. Самую достовѣрную и драгоцѣнную часть корреспонденціи Цицерона составляютъ письма его къ Аттику. Это настоящее историческое сокровище, чрезвычайно важное, какъ для исторіи той эпохи, такъ и для ближайшаго знакомства съ авторомъ. Шлоссеръ говоритъ о корреспонденціи Цицерона вообще: „Эти официальные акты имѣютъ не только чрезвычайно важное значеніе, какъ историческіе документы и какъ образцы эпистолярнаго стиля, но представляютъ живую картину господствовавшаго тогда тона въ сношеніяхъ земскихъ аристократовъ между собою и даютъ намъ ясно понятіе о степени образованія высшаго класса тогдашняго общества. Именно мы знаемъ изъ этихъ писемъ, что многое изъ того, что намъ кажется личнымъ преим-

ществом Цицерона, было особенностью того времени; мы узнаем также и то, что тогда все люди высшего класса римского общества, даже при самых трудных обстоятельствах, принимали такое же живое участие в умственной и литературной деятельности своего времени, как и в политическом движении. Вместе с тем эти люди обнаруживают такую тонкость и ловкость выражения, такое самообытное умственное образование, что во всем этом они далеко превосходят корифеев французской эпистографии времени Людовика XIV и папегристов эпохи такъ-называемого возрождения.

2. *Кай Юлий Цезарь.* Обращаясь к историографии, мы видим, что правильную, сознательную форму эта отрасль литературы получила впервые только в литературных трудах Юлия Цезаря.

Кай Юлий Цезарь родился в 165 году в месяце квинтилии, который впоследствии в честь его назван июлем, умер в 710 г. от построения Рима (99 — 44 до Р. X.); он был не только гениальнейшим из государственных мужей и храбрейшим из полководцев Рима, но и одним из лучших латинских прозаиков. „Говорят, что он уже в детстве и отрочестве написал несколько сочинений, — как-то: похвальное слово Геркулесу, трагедию Эдип и также собрание изречений (Свет. Цез. 56)“. На 21 году он первый раз говорил на форуме, явившись обвинителем Кн. Долабеллы, которого защищали два величайшие оратора того времени, Котта и Гортензий. После этой речи, говорит Светоний (Caes. 55), Цезарь вдруг стал на ряду с первыми ораторами своего времени. В письме к Аттику (Brut. 71—75) Цицерон говорит о Цезаре: „почти из всех ораторов

Цезарь говорит самую изящную латинью; и этим преимуществом он обязан обширному и основательному знанию литературы, которое он приобрел рачительным и прилежным изучением. К изяществу языка присоединяется еще внешнее ораторское украшение, так что вряд ли он кому-нибудь уступить в дар слова“. В письме к Корнелию Непоту Цицерон говорит: „кого можно поставить выше Цезаря даже и из тех ораторов, которые только этим и занимаются? Кто остроумнее и богаче мыслями? Кто красивее и изящнее в словах“. Цезарь был не просто практический оратор, но и глубокий знаток своего родного языка. Во время своих военных походов он написал две книги *de Analogia*. Основная мысль этого сочинения та, что „выбор слов есть источник красноречия“. Цезарь писал и об *Астрономии*; „он приспособил год к солнечному обращению, и составил его из трех-сот-шестидесяти-пяти дней. Отменив вставочный месяц, Цезарь установил прибавлять к каждому четвертому году по одному дню“... (Свет. 40). Он оставил еще две книги *против Катона* и кроме того поэму под заглавием „*Iter, Путь*“. Наконец существовало официальное собрание писем его к сенату, и корреспонденция с Цицероном и другими сановниками того времени. (Свет. 56). Но два главных сочинения, которые обезсмертили имя Цезаря, как писателя, это его *Записки о войне с галлами* (*Commentarii de bello Gallico*) и *О гражданской войне* (*de bello civili*). Уже древние отзывались о них с чрезвычайною похвалою; так например Цицерон говорит (Brut. 75): „Он написал записки,

заслуживающія полного одобренія: онѣ просты, ясны и изящны, но обнажены совершенно отъ всѣхъ украшеній слога“. Гирцій-же о запискахъ Цезаря говоритъ слѣдующее (*de bello gall. VIII, praef.*): „По общему мнѣнію, записки эти такъ хороши, что Цезарь, писавшій ихъ для того, чтобы доставить матеріалъ для будущаго историка,—на самомъ дѣлѣ отнялъ всякую возможность писать послѣ него объ этомъ предметѣ. Въ Цезарѣ удивительная простота и легкость изложенія соединена съ ясностью и справедливостью, съ какими онъ излагаетъ свои дѣйствія“. Тацитъ (*German. 28*) называетъ Цезаря *summus auctorum divus Julius*, „т. е. величайшій изъ писателей, божественный Юлій“. О военномъ достоинствѣ „записокъ“ произнесли свой приговоръ самые компетентные судьи въ этомъ дѣлѣ: Фридрихъ Великій и Наполеонъ. Чрезвычайно любопытно сравненіе Анабазиса Ксенофонта, Мемуаровъ и исторіи семилѣтней войны Фридриха Великаго съ комментаріями Цезаря. Если разсматривать эти сочиненія относительно характера различныхъ эпохъ, къ которымъ онѣ принадлежать, то прежде всего Ксенофонтъ представляется совершенно въ иномъ видѣ, чѣмъ Цезарь и Фридрихъ Великій. Онъ имѣетъ въ виду гораздо больше самое событіе, чѣмъ свою собственную особу и свою собственную дѣятельность. Поэтому-что онъ, въ совершенную противоположность тѣмъ двумъ, не стоитъ во главѣ предпріятія, которое онъ руководитъ и описываетъ; и очень хорошо знаетъ, что люди, которыхъ онъ ведетъ, только по меньшей мѣрѣ дѣйствуютъ по его волѣ. Цезарь-же дѣйствовалъ и писалъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ, совершенно противоположныхъ. Солдаты Цезаря бились за его дѣло, они завоевали себѣ славу только его славою; потому, очень

естественно, что его личность и въ рассказѣ исторіи составляетъ центръ. Отъ Фридриха Великаго, занимавшаго въ своемъ войскѣ точно такое-же мѣсто, Цезарь отличается гораздо большею откровенностью. Этотъ суется съ гуманностью тамъ, гдѣ ее вовсе не было; Цезарь, напротивъ, свободенъ отъ всякой аффектаціи, чувствительности и нѣжности, которыхъ у него не было. Онъ описываетъ напримѣръ всѣ угнетенія, грабежи и жестокости, которые онъ находитъ политически необходимыми, и описываетъ такимъ покойнымъ и холоднымъ тономъ, который намъ показываетъ, что онъ былъ также далекъ отъ искусственной гуманности Фридриха Великаго, какъ и отъ хвастливой заносчивости французовъ временъ имперіи. Кромѣ того, чтобы придать своему дневнику общій характеръ вѣрности и изящества, Цезарь не исправлялъ его, какъ Фридрихъ или Сулла, руками чужеземныхъ грамматиковъ и стилистовъ. По-крайней-мѣрѣ онъ изобразилъ себя такимъ, какимъ былъ въ-самомъ-дѣлѣ, и въ своей легкой небрежности кажется намъ далеко лучше Фридриха и Суллы, приглашенныхъ своими учеными помощниками, иностранными грамматиками и такъ-называемыми философами. Если даже сравнить стиль Цезаря съ языкомъ Цицерона, считающимся самымъ высочайшимъ образцомъ латинскаго языка,—то и тогда мы найдемъ его значительно великимъ. Тогда какъ Цицеронъ, для возбужденія умовъ, умѣлъ пользоваться всей полнотой рѣчи, всей чисто-итальянской музыкой языка, всей художественностію при составленіи періодовъ, Цезарь, напротивъ, рѣшительно отрекся отъ стилистическаго искусства Цицерона; но зато онъ обладалъ рѣдкой, можетъ-быть только одному ему свойственной, ловкостью — соединять высочайшее искусство простоты съ

величайшей небрежностью въ письмѣ“. (Шлоссеръ). Доказательствомъ его наблюдательности могутъ служить, очень часто обозначенныя немногими чертами, но всегда чрезвычайно меткія характеристики: какими напримѣръ онъ изображаетъ тогдашнихъ галловъ, таковы и теперешніе французы: «Цезарь думалъ, что на галловъ ни въ чемъ нельзя полагаться, потому-что они слишкомъ легкомысленно измѣняютъ свои предположенія и всегда хотятъ чего-нибудь новаго. У нихъ ужъ вошло въ обычай останавливать волею-неволею прохожихъ и спрашивать ихъ, не видали-ли они или не слышали-ли чего-нибудь новаго. Когда къ нимъ въ городъ прѣзжаютъ купцы, ихъ сейчасъ-же окружаютъ жители и спрашиваютъ, изъ какихъ они мѣстъ и что тамъ дѣлается. На основаніи этихъ слуховъ и полученныхъ такимъ образомъ свѣдѣній, галлы нерѣдко задумываютъ самые важные планы. Легко можно представить, какъ скоро приходится имъ раскаиваться въ своихъ рѣшеніяхъ, столь опрометчиво принятыхъ на основаніи неопредѣленныхъ слуховъ; а нерѣдко тѣ, кого они спрашиваютъ, выдумываютъ извѣстія, если знаютъ, что они будутъ имъ пріятны» (de b. G. IV, 5). Въ Галліи нетолько въ каждомъ племени, но и въ каждомъ округѣ, въ каждомъ селеніи, даже въ каждомъ домѣ существуютъ партіи» (ib. VI. 11). О техническихъ познаніяхъ Цезаря свидѣлствуютъ мастерскія описанія военныхъ работъ, какъ напримѣръ моста, наведеннаго имъ черезъ Рейнъ (IV, 17), осадныхъ работъ передъ Алезіей и пр. Цезарь не даетъ, какъ другіе историки, характеристики отдѣльныхъ личностей, но онъ рисуется у него сами собою, посредствомъ наглядной передачи ихъ дѣйствій, а иногда рѣчей. Такъ

кичливость Аріовиста высказывается въ отвѣтѣ, данномъ посламъ Цезаря, которые отъ имени своего полководца приглашали предводителя германцевъ для переговоровъ о важныхъ дѣлахъ, касающихся народа римскаго: «Если-бы ему было до Цезаря какое дѣло, отвѣчалъ Аріовистъ, то онъ самъ-бы его отыскалъ; если-же Цезарю онъ теперь нуженъ, то Цезарь самъ можетъ къ нему пожаловать. Притомъ онъ не рѣшится безъ войска придти въ ту часть Галліи, которою владѣетъ Цезарь; собрать-же войско въ одно мѣсто нужно много труда и издержекъ. Впрочемъ ему удивительно, какое можетъ быть дѣло Цезарю, или народу римскому до той части Галліи, которою онъ владѣетъ по праву оружія?» (de b. G. I, 34). На угрозы Цезаря, что онъ возьмется за оружіе, если Аріовистъ не перестанетъ наносить обиды эдуямъ и другимъ союзникамъ римскимъ, Аріовистъ отвѣчалъ: „Право войны велитъ налагать на побѣжденныхъ такія условія, какія заблагоразсудятъ побѣдители. Конечно и народъ римскій въ этихъ случаяхъ руководствуется своимъ произволомъ и не нуждается въ чьемъ-либо посредничествѣ. Если онъ, Аріовистъ, не указываетъ народу римскому, какъ ему поступать въ своемъ правѣ, то и народу римскому не слѣдуетъ препятствовать ему въ свободномъ отправленіи его права. Эдуи сразились съ нимъ оружіемъ, побѣждены открытыми силами и стали его данниками. Цезарь дѣлаетъ ему, Аріовисту, великую обиду уже тѣмъ, что съ его прибытіемъ они стали платить неисправно дань. Эдуямъ заложники возвращены не будутъ, да и войною они будутъ пощажены только до-тѣхъ-поръ, пока будутъ соблюдать данныя обѣщанія и исправно платить дань. Буде-же они этого не исполняютъ, то не защититъ ихъ отъ его мще-

нія имя союза и дружбы съ народомъ римскимъ. Что-же касается до угрозы Цезаря, мститъ за обиду эдуевъ, то доселѣ никто безнаказанно не обнажалъ мечъ на Аріовиста. Буде хочеть, пусть идетъ на бой и свѣдаетъ мужество германцевъ, доселѣ непобѣдимыхъ, опытныхъ въ бою, въ теченіе четырнадцати лѣтъ не входившихъ подъ крышу дома“ (de b. G. I, 36). „Коментаріи о войнѣ съ галлами (Comentariorum de bello Gallico, lib. VII)“ состоятъ изъ семи книгъ, къ которымъ впоследствии нѣкто А. Гирцій прибавилъ восьмую. Каждая книга содержитъ въ себѣ событія одного года. Къ последней книгѣ непосредственно примыкають „Коментаріи о войнѣ гражданской (Com. de bello civili, lib. III)“ въ трехъ книгахъ, начинающіеся коротенькимъ разсказомъ о походахъ къ этимъ междоусобіямъ и примыкающіе къ началу александрійской войны *.

3. Кай Саллюстій Криспъ. Историческія сочиненія Саллюстія не представляютъ ничего сходнаго съ той методой, которую употреблялъ Цезарь для описанія событій своего времени. Если этотъ послѣдній имѣлъ въ виду передать потомству только свои дѣянія, то Саллюстій, какъ докладчикъ о дѣяніяхъ другихъ, хотѣлъ представить для современниковъ и потомства зеркало жизни, указывая на зависимость событій отъ нравственного состоянія, государства.

* О жизни Цезаря сравн. A. G. Meissner; das Leben des J. C. vorgesch. v. Hoken. Berl. 1799—1812, 4 части, и J. M. Söhl, Jul. C., aus den Quellen, Berl. 1825.—Перев. на русск. языкъ а) К. Ю. Кесаря записки о походѣ въ Галлію, пер. съ лат. Вороновъ, Спб. 1774. — б) Сочиненія К. Ю. Цезаря всѣ, какія до насъ дошли отъ него или подъ его именемъ, съ приложеніемъ его жизнеописанія, сочиненнаго Светоніемъ. А. Клевановъ, М. 1857.

По его мнѣнію, исторія имѣетъ высшія цѣли, чѣмъ удовлетвореніе простаго любопытства читателей: онъ видѣлъ въ ней наставницу человѣчества, которая предлагаетъ намъ примѣры добраго для подражанія, и примѣры злаго для предостереженія; поэтому „описывать былыя событія, Саллюстій считаетъ „однимъ изъ самыхъ важныхъ и полезныхъ занятій умственныхъ“ (Юг. 4). Не разъ слышалъ я,—говоритъ онъ (Юг. 5): что любимымъ изрѣченіемъ К. Максима, П. Сципіона и другихъ нашихъ знаменитыхъ соотечественниковъ было: какъ ни взглянуть они на изображенія предковъ, то чувствуютъ въ себѣ новое рвеніе къ добродѣтели. „Конечно не воскъ, изъ котораго сдѣланы изображенія, производилъ это дѣйствіе и не наружный ихъ обликъ; но воспоминаніе о подвигахъ добродѣтели, предками совершенныхъ, производитъ въ живыхъ желаніе быть достойными умершихъ, сравняться съ ними въ добродѣтели и славѣ“. — Поэтому въ исторіографіи Саллюстій видѣлъ искусство изображать событія и личности съ такою вѣрностью, чтобъ онѣ производили не скоропреходящее впечатлѣніе на глазъ, а навсегда запечатлѣлись въ умѣ и сердцѣ зрителя. Такимъ-образомъ онъ не столько заботился о самомъ разсказѣ событій, сколько о характеристикѣ времени, въ которое они совершились, и людей, бывшихъ виновниками и дѣйствующими лицами этихъ событій. Образцомъ онъ выбралъ себѣ Фукидиду: и какъ этотъ былъ историкомъ упадка Греціи, такъ Саллюстій считалъ своимъ призваніемъ изобразить упадокъ римства. Но по мнѣнію одного изъ величайшихъ знатоковъ въ дѣлѣ исторіографіи, Ф. Шлоссера,—сравнивать Фукидиду съ Саллюстіемъ совершенно несправедливо: Саллюстій не имѣетъ съ нимъ

ровно ничего общаго; римскій историкъ посредствомъ искусства хотѣлъ скопировать то, что у греческаго было природнымъ даромъ, результатомъ образованія и жизненной практики. Фукидидъ знаетъ жизнь, но не только эгоистическую и превратно образованную, поверхность которой выложена, а внутри все грубо и шероховато,—но и жизнь благородную, проникнутую высочайшимъ и истиннымъ образованіемъ, ту жизнь, которая существенное, основательное и высокое признаетъ истинно человѣческимъ. Онъ вѣритъ въ любовь, въ дружбу, въ добродѣтель, въ чистый патріотизмъ; поэтому онъ никогда не будетъ ни сатириченъ, ни горекъ, и такъ-какъ онъ дѣйствительно знаетъ свѣтъ, онъ никогда не будетъ слишкомъ требователенъ къ людямъ. Саллюстій, напротивъ, видѣлъ и дѣлалъ только злое, поэтому вездѣ въ человѣческой жизни онъ видитъ только страсти, слабости, злость, происки и эгоизмъ. Онъ говоритъ о гениальности разврата и уважаетъ талантъ безъ доблести, между-тѣмъ какъ совершенно ее идеализируетъ; оттого его претензіи на нее слишкомъ велики и философія слишкомъ высокоумна. Изъ каждаго его слова видно, что свои воззрѣнія на міръ и людей онъ образовалъ чтеніемъ и письмомъ, а не опытомъ, не для примѣненія къ жизни, а для приспособленія къ разговору,—тогда-какъ философія Фукидида сама собою вышла изъ его внутренняго существа и должна удовлетворить его потребностямъ. Да и притомъ какая огромная разниа въ истинѣ! Фукидидъ писалъ безъ умысла сжато и коротко, потому-что онъ хотѣлъ поучать только дѣльныхъ людей, только сильные умы, потому-что онъ писалъ для людей только истинно-образованныхъ, которымъ слова его не будутъ непо-

нятны. А темнота и краткость Саллюстія, напротивъ того, преднамѣренна; этимъ онъ хочетъ казаться глубокомысленнымъ, онъ хочетъ такъ писать, чтобы его изрѣченія дѣйствовали какъ эпиграммы, чтобы отгадыванье и объясненье его словъ доставляло такое-же удовольствіе, какъ разрѣшеніе загадокъ. Наконецъ,—что уже показываетъ и самый выборъ его обоихъ предметовъ,—Саллюстій не хотѣлъ, какъ Фукидидъ, дать вѣрную картину своего времени, а просго, ему вздумалось написать на него сатиру. Вообще это очень смѣшно, что человѣкъ, за свой скверный образъ жизни прогнанный цензорами изъ сената, корчитъ изъ себя судью нравовъ—если только выборъ сатирическаго изложенія для исторіи не былъ просто навѣянъ духомъ того времени.

Кай Саллюстій Криспъ (crispus — курчавый) родился въ сабинскомъ городѣ Аматернумѣ, 86 г. до Р. X. Онъ происходилъ изъ плебейской фамиліи. Молодость свою онъ заняталъ самымъ грязнымъ развратомъ. Въ 59 году онъ былъ сдѣланъ квесторомъ, потомъ народнымъ трибуномъ и въ этой должности явился обвинителемъ Милона, котораго защищалъ Цицеронъ. Два года спустя цензора, производя установленный закономъ пересмотръ сената, признали Саллюстія недостойнымъ участвовать въ немъ за его безнравственность и соблазнъ Фаветы, дочери Суллы и супруги Милона. Оскорбленный этимъ Саллюстій удалился въ Галлію, (49) и поневолѣ отказавшись отъ политической дѣятельности, посвятилъ свои досуги исторіографіи. Когда Цезарь возвратился въ Италію побѣдителемъ, Саллюстій снова выступилъ на политическое поприще въ должности квестора и при содѣйствіи Цезаря опять принять

въ сенатъ. Военная экспедиція въ Иллирію, которую поручилъ ему Цезарь, кончилась неудачно. Счастливымъ былъ Саллюстій въ Африкѣ, куда онъ провожалъ Цезаря въ качествѣ пропретора. По окончаніи этого похода Цезарь наградилъ Саллюстія званіемъ проконсула Нумидіи и главнокомандующаго африканской арміей. На этомъ постѣ Саллюстій позволялъ себѣ самые наглые грабежи, и по свидѣтельству современниковъ, поступалъ съ управляемой имъ провинціей хуже, чѣмъ съ непри-
ятельской областью. Историкъ Діонъ Кассій говоритъ (Dio XLIII, 9), что „поведеніе Саллюстія было тѣмъ недостойнымъ, что оно такъ рѣзко противорѣчитъ правиламъ умѣренности и безкорыстія, столь краснорѣчиво высказаннымъ имъ въ его сочиненіяхъ“. По смерти Цезаря Саллюстій окончательно сошелъ съ политическаго поприща, и купивъ на награбленные въ Африкѣ деньги обширное пространство земли на Квиринальномъ холмѣ, построилъ себѣ великолѣпный дворецъ, храмъ, циркъ и бани, и кругомъ развелъ роскошные сады, впродолженіе нѣсколькихъ вѣковъ носившіе его имя (Horti Sallustiani). Тутъ онъ провелъ десять лѣтъ остальной жизни, занимаясь историческими трудами и гастрономіей. Въ 35 году онъ умеръ.

Нѣсколько данныхъ для характеристики Саллюстія мы находимъ въ его сочиненіяхъ. „Съ раннихъ лѣтъ, говоритъ онъ (Катил. 3), по примѣру многихъ другихъ, я искалъ славы служить своимъ соотечественникамъ въ общественныхъ дѣлахъ, но тамъ встрѣтилъ много препятствій. Я увидѣлъ, что умѣренностью, скромностью ничего не добьешься тамъ, гдѣ все берется подкупомъ, наглостью и алчностью. Хотя духъ мой, чуждый этихъ началъ, и презрѣлъ ихъ, однако я попустому истра-

тилъ золотыя лѣта молодости, гоняясь за мечтою честолюбія. Сознавая дурные нравы и поступки другихъ, я все-таки терзался наравнѣ съ ними жаждою почестей и славы, и успѣхи другихъ меня мучили. Послѣ многихъ несчастій и тревогъ улеглись мои страсти, и я рѣшился устранить себя отъ участія въ веденіи общественныхъ дѣлъ; но я взялъ намѣреніе не терять попустому золотого времени въ лѣни и праздности; охота и земледѣліе, занятія рабскія, меня не удовлетворяли. Но возвратился я къ любимымъ мною занятіямъ, отъ которыхъ отвлекло меня гибельное честолюбіе. Я хочу описать дѣянія народа римскаго, наиболѣе достойныя памяти, каждое отдѣльно: чуждый страха и надеждъ, я вмѣстѣ съ тѣмъ чуждъ и духа партій, волнующихъ общество“.

Въ другомъ мѣстѣ онъ ясно говоритъ о томъ, что его заставило сдѣлаться писателемъ. Это тоже честолюбіе, которое прежде заставило его съ такимъ увлеченіемъ искать славы и почестей въ государственной дѣятельности. Какъ настоящій сынъ своего времени, онъ провелъ молодость между развратомъ и наукой, но выступивъ на политическое поприще, скоро угадалъ, что ему не играть въ своемъ отечествѣ первой политической роли; поэтому онъ умно примкнулъ къ партіи Цезаря и чрезвычайно практично воспользовался представленнымъ ему мѣстомъ въ Нумидіи. Саллюстій убѣдился, что въ исторіи Рима ему ужъ не занять почетнаго мѣста; поэтому онъ благоразумно удовольствовался славою писать исторію (*haudquaquam par gloria sequitur scriptorem et auctorem rerum*). „Въ своемъ дивномъ разнообразіи, говоритъ онъ (Кат. 3):—сама природа указываетъ каждому его назначеніе. Прекрасно—совер-

шить славный подвигъ въ пользу отечества; прославить его искусными словами также честно; и въ мірѣ и въ войнѣ можно равно приобрести извѣстность; честь и слава и совершившимъ славныя дѣянія и ихъ описавшимъ“.

„Изъ умственныхъ занятій одно изъ самыхъ важныхъ и полезныхъ, говоритъ Саллюстій, описывать бывшія событія. (Юг. 3). Поэтому онъ посвятилъ себя исторіи, „хотя и описать подвиги другихъ, вещь весьма трудная: надобно чтобы и слогъ соотвѣствовалъ величію предмета. Если станешь порицать дурные поступки, припишутъ это зависти и злонамѣренности; если-же представишь великіе подвиги добродѣтели и чести, то каждый, сообразуясь съ мѣрою своихъ силъ, тому и вѣритъ, что можетъ сдѣлать, а прочее считаетъ за вымышленное“. (Кат. 3).—Такимъ-образомъ Саллюстій былъ первый римлянинъ, который видѣлъ въ исторіи не одинъ перечень фактовъ, но обращалъ вниманіе и на внутреннюю связь событій. Но его слишкомъ узкаго масштаба, пригоднаго для оцѣнки нравственного достоинства отдѣльных личностей, далеко не хватало для измѣренія цѣлаго. Оттого онъ такой мастеръ въ фізіологическомъ развитіи характеровъ отдѣльных личностей, но въ общихъ характеристикахъ цѣлыхъ эпохъ онъ по большей части расплывается въ декламаторскія изображенія доблести предковъ и развращенія настоящаго времени. Мы уже говорили (словами Шлоссера), какъ мало удалось ему приблизиться къ величавому воззрѣнію своего образца Фукидида. Хоть Саллюстій и хвалится, что „духъ партій никогда не заставлялъ его измѣнить истинъ“, но онъ любитъ набрасывать тѣнь на заслуги своихъ противниковъ и на промахи людей, принадлежащихъ къ одной съ нимъ

партіи. — Морализирующая тенденція и духъ партіи, которой служилъ Саллюстій, руководили имъ даже и при выборѣ сюжета для двухъ дошедшихъ до насъ вполне историческихъ трудовъ его. На двухъ самыхъ яркихъ предметахъ показываетъ онъ развращенность знати, изъ среды которой вышелъ *Катилина* и корыстолюбіе которой такъ долго позволяло *Югуртъ* издѣваться надъ правами законныхъ царей Нумидіи, друзей и союзниковъ народа римскаго; позволяло ему противиться войску римскому, пока Марій, человѣкъ изъ народа, не спасъ наконецъ честь имени римскаго.

До насъ дошли вполне двѣ историческія монографіи Саллюстія, „Катилина“ и „Югурта“.

Катилина (Catilina; de conjuratione C.; bellum Catilinarium), исторія заговора Катилины, — кажется первый опытъ Саллюстія. Особенными источниками онъ, кажется, не пользовался. Прежде чѣмъ начать рассказъ, историкъ даетъ характеристику своего героя: „Луцій Катилина родился отъ знаменитаго рода, обладалъ великою силою духа и тѣла, но вмѣстѣ-съ-тѣмъ и дурными, развращенными наклонностями. Съ юныхъ лѣтъ любимую мечтою его были междоусобія, убійства, грабежи, домашнія несогласія, и въ нихъ провелъ онъ первые годы; тѣло свое онъ приучилъ переносить въ высшей степени голодъ, стужу и всякія лишения. Онъ имѣлъ духъ неукротимый, смѣлый и хитрый, обладалъ искусствомъ притворяться: жадный до чужаго, былъ мотомъ на свое. Покорный влеченію пылкихъ страстей, красно говорилъ, но въ рѣчахъ его было мало обдуманности. Обширнымъ умомъ своимъ онъ обнималъ всегда обширные планы. Еще свѣжій примѣръ Луція Суллы

возбудилъ въ немъ неумѣренное желаніе быть главою государства, и лишь-бы достигнуть верховной власти, онъ не отступилъ-бы ни передъ какимъ злодѣйствомъ: все средства къ достиженію цѣли были для него равно хороши. Неукротимый духъ его тревожился еще недостаткомъ денежныхъ средствъ и сознаніемъ прежнихъ злодѣяній; и то и другое пріобрѣлъ онъ въ вышеупомянутыхъ любимыхъ занятіяхъ своей молодости. На успѣхъ подавала ему надежду испорченность нравовъ общества, въ которомъ господствовали противоположные, но равно вредные пороки, — корыстолюбіе и роскошь. Потомъ Саллюстій на нѣсколькихъ страницахъ рассказываетъ о томъ, какимъ путемъ Римъ дошелъ, какъ онъ полагаетъ, „до высшей степени нравственной порчи и развращенія“ (16 — 14). Въ слѣдующихъ главахъ (15 — 62) рассказывается вся исторія заговора, отъ поводовъ къ нему и завербовки участниковъ до рѣчи Катилины къ своимъ солдатамъ (гл. 53) и смерти его въ неровномъ бою съ войскомъ Антонія. „Бой кончился; такъ заключаетъ свой рассказъ Саллюстій: — и тутъ-то можно было узнать отчаянный духъ и мужество войска Катилины. Рѣдкій изъ его воиновъ не палъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ въ началѣ боя, и тѣ немногіе, которые были вытѣснены преторіанскою когортю, пали не въ дальнемъ разстояніи, но пали лицомъ обращенные къ непріятелю. Катилина найденъ далеко отъ своихъ, среди враговъ; онъ еще дышалъ, и на лицѣ его еще отражался неукротимый и свирѣпый духъ его. Пленныхъ изъ гражданъ римскихъ не было ни одного взято, ни въ бою, ни послѣ боя; новое доказательство, что каждый также мало щадилъ свою жизнь, какъ и жизнь врага. Дорого стоила побѣда и войску народа

римскаго; храбрѣйшіе или пали въ бою, или опасно ранены. И когда, по окончаніи боя, на мѣсто сраженія вышли многіе, или изъ простаго любопытства, или изъ жадности обирать убитыхъ, то рѣдкій, всматриваясь въ лица павшихъ враговъ, не узнавалъ въ комъ-нибудь изъ нихъ друга, пріятеля и даже родственника, а иной своего соперника. Итакъ разныя чувства волновали наше войско: были тутъ и радость, и горе, и плачь, и ликование“ (гл. 61).

Второе сочиненіе, *Югурта* (*Jugurtha, bellum Jugurthinum*) показываетъ, что Саллюстій сдѣлалъ уже большіе успѣхи въ исторіографіи. Языкъ „Югурты“ гораздо тщательнѣе и не такъ манеренъ, планъ основательнѣе и послѣдовательнѣе, композиція гораздо округленнѣе, чѣмъ въ „исторіи заговора Катилины“. Въ вступленіи авторъ говоритъ вообще о причинахъ, заставившихъ его сдѣлаться писателемъ, и о томъ высокомъ значеніи, которое исторія имѣетъ для нравственной жизни (1 — 4). Затѣмъ онъ объясняетъ, что именно заставило его приняться за описаніе югуртинской войны: „Я имѣю намѣреніе описать войну, которую велъ народъ римскій съ Югуртою, государемъ нумидовъ. Она заслуживаетъ особеннаго вниманія по своей важности и опасности, и по переменному съ обѣихъ сторонъ счастію, а равно и потому, что въ это время впервые обнаружилось противодѣйствіе притязаніямъ высшаго сословія. Эта борьба, видѣвшая смѣшеніе правъ божественныхъ и человѣческихъ, дошла до такой степени силы и ожесточенія, что внутреннія смуты замолкли только передъ ужасами войны и опустошеніемъ Италіи...“ (гл. 5). Потомъ, за коротенькимъ историческимъ введеніемъ, слѣдуетъ описаніе самаго событія. Вотъ какъ характеризуетъ

историкъ одного изъ героевъ югуртинской войны, Л. Суллу: „Сулла происходитъ отъ древняго благороднаго рода патриціевъ, совершенно впрочемъ упавшаго и забытаго по бездѣйствию и незначительности его предковъ. Сулла изучилъ основательно отечественную и греческую литературу, умъ имѣлъ возвышенный, любилъ наслажденія, но славу предпочиталъ всему; онъ любилъ пофѣжиться въ бездѣйстви и праздности. Впрочемъ никакіе соблазны не могли удержать его отъ дѣятельности тамъ, гдѣ это нужно было; дорожа женою выше всего, онъ въ ней одной и искалъ удовлетворенія чувственности. Краснорѣчивый, хитрый, онъ легко дружился; притворствомъ, искусствомъ скрывать свои истинныя мнѣнія и чувства — онъ обладалъ въ высшей степени. Щедрый на все, онъ не зналъ цѣны деньгамъ. Все ему удавалось, счастье ему вѣрно служило, и онъ былъ вполне его достоинъ до торжества надъ согражданами въ междоусобной войнѣ; трудно рѣшить даже, успѣхи его приписать счастью-ли или уму; но о послѣдующихъ его поступкахъ говорить и стыдно за него и вмѣстѣ прискорбно“... (гл. 95).

Третье и самое главное сочиненіе Саллюстія было его *Исторія народа римскаго* (Historiarum lib. — V), но она не дошла до насъ, за исключеніемъ четырехъ рѣчей, двухъ писемъ и нѣсколькихъ незначительныхъ отрывковъ. „Письма К. К. Саллюстія къ К. Цезарю объ управленіи государствомъ,“ и „Рѣчь противъ Цицерона,“ приписываютъ Саллюстію несправедливо *.

* () Саллюстія сравн. О. М. Muller: C. C. Sallustius. Zulich, 1817. — Въ русск. лит.: — «О Саллюстіи и его сочиненіяхъ», *И. Бабста* (Проп. Кн. I). Русск. переводы сочиненій С.: — «К. Саллюстія Криспа войны катилинская и югуртинская», перев. съ

4) Современные историки и 5) Полиисторы.

Совершенную противоположность работамъ Саллюстія и ихъ цѣлямъ представляетъ сочиненіе, которое въ заглавіи своемъ носитъ имя *Корнелія Непота*, современника и друга Цицерона, — но еще не извѣстно, принадлежитъ-ли оно ему или Эмилию Пробу, жившему нѣсколько столѣтій позднѣе. Оно состоитъ изъ коротенькихъ жизнеописаній великихъ государственныхъ мужей и полководцевъ, которые, какъ въ Анахарсисѣ Бартеми, составлены на скорую руку по извѣстнымъ источникамъ, и имѣетъ ту же цѣль, что и французское сочиненіе, т. е. воспламенить антузіазмъ народа и этимъ снова воскресить умершую доблесть. Корнелій Непотъ набросалъ свои характеристическіе эскизы, почти все взяты изъ греческой исторіи, хотя и реторически, но безъ всякой декламации. Они должны были служить образцомъ римскому юношеству, и ради этой цѣли, приносятъ своему автору много чести. Такимъ-образомъ трудъ Непота составляетъ прямую противоположность съ сочиненіями Саллюстія; этотъ выбралъ своимъ предметомъ отталкивающую, эгоистическую сторону значительнѣйшихъ людей своего времени; Корнелій Непотъ, на-

лат. на русс. яз. *Вас. Крамаренковымъ*. Спб. 1769. — К. Саллюстія Криспа исторія о войнѣ Катилины и о войнѣ Югурты; пер. съ лат. *Николай Озерцовскій*. «Изд. Академ. Россійской, на руссійскомъ и лат. языкахъ». Спб. 1808. — Сочиненіи К. К. Саллюстія все, какія до насъ дошли; съ приложеніемъ его жизнеописанія и четырехъ рѣчей Цицерона противъ Катилины. Съ лат. пер. *А. Клевановъ*. «2-е изд. 1859. — (Поэтому переводу сдѣланы почти все приведенныя выше цитаты изъ Саллюстія и рѣчей Цицерона противъ Катилины).

противъ, выставляетъ блестящую и благородную сторону людей всѣхъ временъ. Само собою разумѣется, что Непотъ бралъ уже слишкомъ яркіе тоны, или какъ говорятъ о Бартеlemi, вся Греція нарисована у него розовой краской, — а Саллюстій, напротивъ, слишкомъ ужъ забралъ своихъ героев тѣнями. Для тѣхъ, кто не имѣетъ ни времени, ни охоты читать большую книгу, Корнелій Непотъ затѣялъ составить родъ карманной книги, вадемекума, великихъ и блестящихъ характеровъ, годныхъ для подражанія; онъ хотѣлъ оживить въ своихъ согражданахъ вѣру въ человѣчество, воскресить въ нихъ умершій патріотизмъ и отвести ихъ глаза отъ жалкихъ цѣлей правящей аристократіи на великія стремленія временъ лучшихъ (Шл.). — Объ обстоятельствахъ жизни Корнелія Непота намъ мало извѣстно. Родина его верхняя Италия; Плиній называетъ его живущимъ по сосѣдству съ рѣкою По. Онъ былъ младшій современникъ и другъ Цицерона и Аттика. Отъ его обширныхъ историческихъ трудовъ (*Annales—exemplorum libri—libri virorum illustrium* * дошли до насъ только скудные отрывки; а книга, извѣстная подъ его именемъ, „Жизнеописанія знаменитыхъ полководцевъ (*de vita excellentium imperatorum*)“ — есть или позднѣйшая поддѣлка, или по-крайней-мѣрѣ не очень удачная переработка сочиненія, въ-самомъ-дѣлѣ принадлежащаго Непоту.

Какъ писатель историческихъ *монографій*, замѣча-

* Русскіе переводы: а) Корнелія Непота житія славныхъ генераловъ, въ пользу юношества; пер. В. Лебедевъ, изд. ак. наукъ, Спб. 1748 и 1785. — б) Корнелій Непотъ на лат. и русск. языкахъ, изд. Кашианскій. Спб. 1816. — в) Непотова біографія главныхъ полководцевъ съ русс. примѣчаніями, изд. проф. С. Пашковскій. М. 1828.

теленъ *Титъ Помпоній Аттикъ*. Аттикъ происходилъ изъ благородной фамиліи всадниковъ и род. въ 109 до Р. Х. „Онъ заслуживаетъ особеннаго вниманія, такъ-какъ его положеніе въ римскомъ государствѣ было единственнымъ въ своемъ родѣ. Аттикъ во всю свою жизнь не занималъ ни одной правительственной должности; но трудно найти человѣка, который-бы будучи простымъ, частнымъ лицомъ, въ такой высокой степени обладалъ довѣріемъ правящихъ лицъ своего времени и имѣлъ такое сильное вліяніе на государственныя дѣла, какъ Аттикъ. Онъ постоянно занимался науками и приобрѣлъ дѣйствительно огромныя свѣдѣнія въ греческой и римской литературѣ. Связь, въ которую онъ отъ этого вошелъ со всѣмъ римскимъ міромъ, частныя путешествія, независимость и полнѣйшее безпристрастіе, дѣлали то, что всѣ партіи, всѣ значительныя личности заискивали въ немъ одинаковымъ образомъ. Онъ былъ друженъ съ Суллой и Цицерономъ и не избѣгалъ Клодія; онъ былъ другъ Цезаря и повѣренный плановъ Брута и Кассія. Вслѣдствіе этого-то разнообразія своихъ связей и отношеній онъ всегда былъ посредникомъ при переговорахъ партій“ (Шл.). — Главнымъ сочиненіемъ Аттика была хроника римскаго государства до 54 года до Р. Х. Но и этотъ трудъ и множество написанныхъ Аттикомъ историко-генеалогическихъ монографій до насъ не дошли.

Другіе историческіе писатели этого періода, сочиненія которыхъ утрачены, ораторъ *Кв. Гортензій Орталъ* („*Annali*“) и *Л. Лукей*, авторъ „*bellum italicum*“ и „*b. civile*“. Кроме того Светоній упоминаетъ, какъ о добросовѣтномъ и трудолюбивомъ анналистѣ, *Сулпицій Галбъ*, дѣдъ императора Галбы. Наконецъ въ

Лондонѣ недавно найденъ отрывокъ изъ историческаго труда Грания Липиніана, который, вѣроятно, былъ современникомъ Саллюстія.

Стремленіе къ универсальности знаній было однимъ изъ отличительнѣйшихъ признаковъ римскаго характера. Во всей литературѣ отъ Катона цензора до Марціана Капеллы и Исихора испанскаго, въ каждый періодъ мы находимъ ученыхъ мужей, обнимающихъ всю область знанія и разработывавшихъ энциклопедически огромныя массы своихъ свѣдѣній. Но никогда и никто изъ римлянъ не обладалъ еще такимъ огромнымъ запасомъ свѣдѣній, какъ Варронъ реатинскій.

Маркъ Теренцій Варронъ родился въ сабинскомъ городѣ Реате, 116 года, и сначала посвятилъ себя государственной и военной службѣ. Онъ былъ народнымъ трибуномъ и сражался подъ начальствомъ Помпея противъ морскихъ разбойниковъ. Потомъ онъ служилъ въ Испаніи подъ начальствомъ приверженцевъ Помпея, оттуда отправился въ Диррахіумъ къ Катону, и наконецъ прощенный Цезаремъ, возвратился въ Римъ. Съ этихъ поръ онъ удалился отъ всякой общественной дѣятельности и жилъ въ своей тускуланской виллѣ, совершенно предавшись ученымъ занятіямъ. По смерти Цезаря, внесенный Антоніемъ въ списокъ проскриптовъ, онъ съ трудомъ избѣжалъ смерти и потерялъ свою богатую бібліотеку, которая была разграблена. Августъ его простилъ. Достигши тогда самой глубокой старости, онъ все еще не оставлялъ своей литературной дѣятельности. Восьмидесяти лѣтъ онъ написалъ превосходное сочиненіе о земледѣліи. Варронъ умеръ девяноста лѣтъ, въ 27 до Р. X. Онъ былъ друженъ съ большою частью своихъ современниковъ,

известныхъ ученымъ образованіемъ, особенно съ Цицерономъ, которому онъ посвятилъ свое сочиненіе о латинскомъ языкѣ. — Послѣ Цицерона Варронъ, безъ сомнѣнія, самая замѣчательная литературная личность этого періода. Онъ былъ ученѣйшій римлянинъ всѣхъ временъ, который не только умѣлъ собрать извѣстную массу научныхъ свѣдѣній, но и обладалъ талантомъ увеличивать ихъ своими собственными изысканіями, приводить ихъ въ порядокъ и излагать въ методически-научной системѣ. Что пытался сдѣлать Катонъ съ своими ограниченными средствами, — того удалось достигнуть Варрону, т. е. возстановленія чисторимской науки. Въ противоположность Цицерону, у Варрона содержаніе преобладаетъ надъ формой. Все, что мы имѣемъ отъ него, далеко отъ изящества Цицерона и другихъ его современниковъ, и совершенно подходитъ къ сжатой и сухой манерѣ писателей архаическихъ. Въ словахъ онъ совсѣмъ неразборчивъ; языкъ его состоитъ изъ словъ, фразъ и оборотовъ архаическихъ, плебейскихъ, вновь образованныхъ и очень часто греческихъ.

Никто изъ римлянъ не превзошелъ Варрона въ литературной производительности. Съ трудомъ можно повѣрить, чтобы одинъ человекъ былъ въ состояніи прочитать все это. Его сочиненія обнимали почти всѣ тогдашнія знанія; такимъ-образомъ это былъ самый искусный и самый надежный проводникъ для римлянина, который хотѣлъ изучить свой собственный міръ. «Настъ, которые странствовали и блуждали по своему городу, какъ чужеземцы, говоритъ ему Цицеронъ (*Acad. quaest. I, 3*): книги твои привели какъ-будто домой, чтобы мы наконецъ могли знать, кто мы, и гдѣ мы. Ты открылъ практическую жизнь отечества, хронологическій порядокъ

его исторіи, право религиозное и жреческое, государственныя и военныя учрежденія, положеніе частей и мѣстность города, имена, виды, назначеніе и причины всѣхъ свѣтскихъ и религиозныхъ обычаевъ. Ты принесть много свѣта нашимъ поэтамъ и вообще латинской литературѣ и языку, и самъ написалъ поэму полную разнообразія и изящную во всѣхъ отношеніяхъ; ты во многихъ мѣстахъ положили первыя начала философіи, значительныя для того, чтобъ побудить насъ, хотя и слабыя для того, чтобъ научить». Каталогъ сочиненій Варрона (по Герониму) заключаетъ въ себѣ болѣе 600 заглавій. Въ числѣ ихъ мы находимъ сборники стихотвореній, сочиненій историческихъ, риторическихъ, философскихъ, политическихъ, грамматическихъ, литературно-историческихъ, юридическихъ, математическихъ и сельскохозяйственныхъ. Изъ всего этого до насъ дошли только два сочиненія Варрона, и то не вполне. Изъ 24 книгъ *de lingua latina ad Ciceronem* мы имѣемъ только V—X книги, и то въ испорченномъ видѣ. Второе, дошедшее до насъ сочиненіе, трактуетъ о сельскомъ хозяйствѣ, *de re rustica*, lib. III; въ этой книгѣ чистымъ и довольно легкимъ слогомъ, въ діалогической формѣ, изложены всѣ отдѣльныя отрасли сельскаго хозяйства, на основаніи собственныхъ, долготѣтныхъ опытовъ Варрона, и согласно съ ученіемъ греческихъ писателей и карфагенца Магона, сочиненіе котораго было по приказанію сената переведено на римскій языкъ вскорѣ послѣ разрушенія Карфагена. Кромѣ того до насъ дошло нѣсколько небольшихъ фрагментовъ изъ сатиръ Варрона.

Мы видѣли, какъ сатира, „изобрѣтенная“ Энниемъ, была преобразована и усовершенствована Луциемъ. Ученый Варронъ создалъ особенный родъ сатиръ, для

тона которой онъ взялъ за образецъ ироническую и саркастическую насмѣшку циника Мениппа изъ Годары (*Saturae Menippiae*), который старался осмѣивать всякаго рода догматизмъ. „По содержанію и общему стремленію къ нравственности, философіи, искусству или литературѣ онѣ подходятъ не столько къ сатирамъ Луцилія, въ которыхъ выводятся личности, сколько къ сатирамъ Эннія; прозаическое изложеніе перемѣшано съ поэзіей, греческій языкъ съ латинскимъ“.

Гораздо ниже Варрона стоитъ другой полигисторъ этого періода, *П. Нинидій Фигуль*; его односторонняя литературная дѣятельность осталась почти безъ послѣдствій. Въ свое время онъ славился какъ математикъ, астрономъ и астрологъ, и сверхъ-того занимался грамматикой и философіей. Свою систему астрологіи и магіи онъ вывелъ изъ греческихъ и египетскихъ элементовъ, дополнивъ ихъ наблюденіями этрусской девиначи. Онъ занимался магіей даже на практикѣ, и говорятъ, предсказалъ Октавіану его великую судьбу, а Цезарю разрывъ его съ Помпеемъ. Отъ сочиненій его не сохранилось ничего.

б) ПОЭЗІЯ.

1. ЛИРИКИ.

Изъ всѣхъ родовъ поэзіи лирика меньше всего соотвѣтствовала характеру римскаго народа. Поэтому она долго оставалась не воздѣланною, пока къ концу республики знакомство съ греческой литературой, сдѣлавшееся почти всеобщимъ, не дало наконецъ побужденія, матеріала, образцовъ для произведеній въ этой отрасли.

Но и тутъ выбирали только легкіе роды іонійской и эолійской лирики; особенную-же склонность чувствовали къ александрійской элегіи. Начавъ почти буквальный переводомъ греческихъ оригиналовъ, римскіе лирики дошли потомъ до вольной переработки ихъ и наконецъ пытались писать стихотворенія самостоятельныя. Содержаніе имъ большею частію давали любовь и дружба, въ ихъ болѣе наивномъ и чувственномъ проявленіи. Истинныхъ талантовъ между поэтами этого времени было мало; одни — большею частію дилетанты, — отличались изяществомъ формы и технической красотой стиха; другіе — собственно художественные поэты, *docti*, величались своей педантической ученостью и тщательно подражали образцамъ греческимъ. Число этихъ поэтовъ, кажется, было очень велико, но за исключеніемъ Катуллы, намъ извѣстны только ихъ имена, да нѣсколько безсвязныхъ и разрозненныхъ фрагментовъ.

К. (Кай? Квинтъ?) *Валеріи Катуллы*, родился близъ Вероны въ 86 г. до Р. X. Отецъ его, кажется, былъ однимъ изъ богатѣйшихъ землевладѣльцевъ верхней Італіи. Ему принадлежалъ полуостровъ Сирміонъ на Бенакскомъ озерѣ (Лаго-ди-Гарда), который Катуллъ называетъ своей родиной. Поселившись въ Римѣ, онъ посвятилъ себя исключительно поэзіи. Кругъ его друзей и знакомыхъ, кажется, былъ очень великъ; къ нему между прочимъ принадлежали Лициній Кальвъ, Гортензій, Цицеронъ и Корнелій Непотъ, которому поэтъ посвятилъ полное собраніе своихъ сочиненій. Но любовь къ справедливости и республиканской свободѣ заставляла его непріязненно смотрѣть на Цезаря и его друзей, особенно на развратнаго и расточительнаго Мамурру. Годъ смерти Катуллы достовѣрно не извѣстенъ; но во

всякомъ случаѣ онъ умеръ вскорѣ послѣ 48 года до Р. X.

О любовныхъ интригахъ Катуллы свидѣлствуютъ многія изъ его стихотвореній, дошедшихъ до насъ большею частію вполне. Долѣе всѣхъ поэтъ оставался вѣренъ своей Лезбіи, къ которой между-прочимъ онъ написалъ слѣдующее стихотвореніе (V').

Давай любить и жить, о Лезбія, со мной!
За толки стариковъ угрюмыхъ, мы съ тобой
За всѣ ихъ не дадимъ одной монеты мѣдной.
Пусть свѣтаетъ день и меркнетъ тѣнь блѣдной;
Для насъ, когда заря зайдетъ за небосклонъ,
Настанетъ ночь одна и безконечный сонъ —
Сто разъ цѣлуй тогда, и тысячу и снова
До новой тысячи, и вновь до ста другаго,
Опять до новыхъ сотъ, до тысячи опять;
Когда-же много намъ придется насчитать,
Смѣшаемъ счетъ тогда, чтобъ мы его не знали,
Чтобъ злые намъ съ тобой завидовать не стали,
Узнавъ, какъ много разъ тебя я цѣловалъ.

(Фетъ).

Онъ воспѣлъ ея любимаго воробья (II) и оплакалъ его смерть въ знаменитой элегіи, которой подражало множество поэтовъ стараго и новаго времени (III):

Плачьте грація со мною, — съ поколѣніемъ людей
Одаренныхъ красотою! — Умеръ бѣдный воробей
Милой дѣвушки моей! Воробей, утѣха милой,
Радость друга моего, — тотъ, котораго хранила
Пуще глаза своего. — Какъ онъ ласковъ былъ съ тобою!
Какъ младенецъ мать свою, — зналъ онъ милую мою;
Неразлученъ съ госпожею, — онъ попрыгивалъ вокругъ

И чириканиемъ, порою,—веселилъ и нѣжилъ слухъ;
А теперь, увы! онъ бродить—по печальнымъ берегамъ
Той рѣки, съ которой къ намъ—вновь никто ужъ не
приходить.

Прочь отъ глазъ, скорѣе прочь,—смерти сумрачная ночь,
Уносящая съ собою—все, что блещетъ красотою.
А онъ былъ такъ дорогъ ей—этотъ ласковый, тобою
Похищенный воробей.—О судьба! о, я несчастный!
Чрезъ тебя глаза прекрасной, милой дѣвушки моей
Отъ горячихъ слезъ распухли, покраснѣли и потухли.
(Гербель).

Изъ многочисленныхъ друзей Катуллы особенно дороги
ему были двое — Верраній и Фабулль. Оба они прово-
жали въ Испанію Кальпурнія Пизона, посланнаго туда
въ качествѣ пропретора, — и когда возвратились въ
Римъ, Катулль привѣтствовалъ ихъ съ сердечной ра-
достью. Къ Верранію написано IX стихотвореній, къ
Фабуллу XIII:

На дняхъ, мой другъ Фабулль, въ дому моемъ со мною
Поужинать тебѣ на славу предстоить,
Когда Зевесъ твой вѣкъ до дня того продлитъ;
И если принесешь ты кушанья съ собою,
Да вспомнишь запасть въ весельемъ и виномъ,
Гетэрами и вѣмъ, чѣмъ слѣдуетъ притомъ: —
Да, славно у меня поужинать ты можешь,
Когда все это самъ доставишь и предложишь,
Затѣмъ, что кошелекъ Катуллы-бѣдняка
Давно уже затканъ сѣтями паука.
Зато ты встрѣтишь здѣсь пріязни изъясненіе,
А сверхъ того нашъ пиръ и наше вдохновеніе
Украситъ то, что намъ съ тобой всего нужнѣй —

Рѣдчайшіе духи: ихъ дѣвушкѣ моей
Амуръ и граціи на память подарили ...
И обоняя ихъ, (духи ужъ таковы) —
Ты будешь умолять, чтобъ боги превратили
Тебя въ огромный носъ отъ ногъ до головы.
(Гербель).

Катулла вообще считаютъ творцомъ художественной
лирики римлянъ. Но съ одной стороны, онъ слишкомъ
усердно занимался простымъ латинизированіемъ гречес-
кихъ стихотвореній на случаи (свадебныхъ гимновъ), а
съ другой — въ мелкихъ, самостоятельныхъ стихотво-
реніяхъ былъ слишкомъ сатириченъ, чтобы считаться на-
стоящимъ лирикомъ. Но все-таки Катулль, если и не
настоящій лирикъ, то настоящій поэтъ, и его остроум-
ныя пѣсенки принадлежатъ къ самымъ оригинальнымъ
созданіямъ римской поэзіи. Отличительный характеръ
стихотвореній Катуллы — „наивная веселость, которая
вполнѣ отдается чувственнымъ впечатлѣніямъ и выска-
зывается часто, по нашимъ понятіямъ, жесткимъ обра-
зомъ, хотя остается всегда благородною“ (Шаффъ). Но
для эпического разсказа талантъ его былъ слишкомъ
малъ. Эпическій разсказъ Катуллы, *satm. LXIV*, свадьба
Пелея и Тетида (*Epithalamium Pelei et Thetidis*, отры-
вокъ изъ эпиталамы въ перев. Н. В. Берга, Москви-
тининъ), написанной вѣроятно по греческому образцу,
страдаетъ недостаткомъ собственнаго дѣйствія и большею
частью состоитъ изъ вѣлѣрѣчивыхъ описаній. Но что
Катулль бываетъ иногда въ состояніи находить слова и
для выраженія глубокаго чувства, возвышающагося до
потрясающагося трагизма, доказываетъ его поэма *Amis*
(*LXIII*), тоже, вѣроятно, подражаніе греческому. Языкъ

Катулла отличается легкостью и естественностью; но онъ, далекий и отъ изукрашеннаго изящества и отъ плебейской грубости,—носитъ на себѣ легкій оттѣнокъ старины и добродушнѣйшей откровенности; на выраженіяхъ и оборотахъ лежитъ печать самой чистой національности, не всегда свободной отъ архаизмовъ. Техника Катулла не всегда безупречна.

2. ЛУКРЕЦІЙ КАРЪ.

Одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній не только этого періода, но и вообще всей римской литературы есть дидактическая поэма Лукреція „*О природѣ вещей*“ въ шести книгахъ, (*de rerum natura, libri VI*). Въ этой поэмѣ Лукрецій изложилъ и пытался защитить философію Эпикура. Лукрецій, какъ честный римлянинъ, съ мужественной отвагой пытается разгадать тайны бытія человѣческаго. Его твореніе, которое, ратуя противъ вульгарной религіи того времени, учитъ натуралистическому воззрѣнію,—будучи рассматриваемо съ поэтической точки зрѣнія, отличается силою вдохновенія и могуществомъ страсти. „Одинъ Лукрецій можетъ нѣкоторымъ образомъ дать намъ понятіе о слогѣ и направленіи древнѣйшихъ римскихъ поэтовъ; позднѣйшіе римляне мало чувствовали его цѣну, и не признавали его достоинства. Твореніе его „О природѣ вещей“, по роду своему, принадлежитъ къ той формѣ поучительныхъ стихотвореній, которая у грековъ возникла изъ особыхъ, имъ принадлежащихъ причинъ, и была для нихъ еще естественна. Философія, которой слѣдовалъ Лукрецій, была самая дурная, какую только можно было выбрать

римлянину и поэту: именно философія Эпикура. Истребля всякое вѣрованіе и всякое возвышеннѣйшее чувствованіе, въ ученѣмъ отношеніи она была наполнена самыми странными гипотезами, а въ отношеніи къ жизни, если не имѣла безнравственнаго вліянія, то по-крайнемѣру была совершенно эгоистическою и не національною, особенно-же гибельною для фантазіи и враждебною для поэзіи. Не смотря на то, Лукрецій превозмогъ всѣ эти трудности; мы сожалѣемъ, видя, что эта великая душа, повсюду невольно прорывающаяся въ твореніи, предалась столь гибельной системѣ греческой софистики. По вдохновенію и возвышенности, онъ занимаетъ первое мѣсто между римлянами, какъ пѣвецъ и живописатель природы—первое мѣсто между всѣми уцѣлѣвшими поэтами древности. Да будетъ намъ позволено сдѣлать здѣсь нѣсколько общихъ разсужденій о родѣ, въ которомъ писалъ Лукрецій, и о томъ, какое мѣсто вообще природа должна занимать въ поэтическихъ изложеніяхъ.

„Нѣтъ сомнѣнія, что содержаніемъ и предметомъ своихъ изображеній или своего вдохновенія—поэзія должна избирать не одного только человѣка, но и окружающую его природу. Здѣсь, какъ и въ изображеніи человѣка, замѣтно тоже самое тройственное различіе. Поэтическое изображеніе или описаніе человѣка можетъ-быть, во-первыхъ, чистымъ отраженіемъ дѣйствительной жизни и настоящаго, во-вторыхъ, воспоминаніемъ о чудныхъ первобытныхъ временахъ минувшаго вѣка героическаго, или же—въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ поэзія стремится болѣе воодушевлять, нежели изображать,—возбужденіемъ и воспламененіемъ чувствованій, глубоко тающихъ въ человѣкѣ. Все это можетъ быть примѣнено и къ природѣ.

Поэзія должна представить намъ, во-первыхъ, образъ полного внѣшняго явленія природы. Во-вторыхъ, природа также имѣетъ свой чудесный первобытный вѣкъ, когда она была болѣе неправильною, болѣе исполинскою, подобно человѣческому роду въ вѣка героическіе. Это чувство овладѣваетъ нами при видѣ дикихъ странъ природы, горъ и скалъ, подобно развалинамъ, набросанныхъ одна на другую. Всѣ памятники и сказанія древности подтверждаютъ дѣйствительность великаго переворота, бывшаго въ древнѣйшія времена нашей планеты. Необыкновенныя явленія, бури, непогоды, наводненія и землетрясенія отчасти и въ маломъ видѣ переносятъ насъ и теперь въ то дикое состояніе первобытной природы. Все это доставляетъ приличные и великіе предметы для вдохновенія истиннаго поэта; и въ описаніи-то этихъ картинъ, Лукрецій такъ часто представляется намъ превосходнымъ живописцемъ природы. Но и тутъ поэту не должно выступать изъ области явленій и идей всеобщихъ: ему нужно только одно предположеніе свободнаго, болѣе дикаго состоянія, величественнѣйшей, возвышеннѣйшей древности, — какъ открытое поле для чудеснаго въ природѣ. Мысліи и изслѣдованія собственно ученые о подобныхъ предметахъ, напримѣръ вулканически-ли или просто чрезъ наводненія образовались горы — также мало составляютъ предметъ для поэзіи, какъ и ученіе объ атомахъ, которому даже возвышенное воображеніе Лукреція не было въ состояніи придать поэтической формы. Наконецъ, третій образъ соприкосновенія поэта съ природою происходитъ посредствомъ чувства. Нето-лько въ пѣніи соловья или въ чемъ-либо другомъ, что говорить сердцу каждаго человѣка, но и въ шумѣ потока или лѣсовъ мы, кажется, слышимъ родной намъ

голосъ, выражающій либо радость, либо скорбь; какъ будто ощущенія, подобныя нашимъ, хотятъ проникнуть до насъ издали или какъ-бы изъ тѣсныхъ оковъ и дать себя понять. Чтобы внимать этимъ звукамъ, чтобы чувствовать, угадывать душу природы, поэтъ любитъ уединеніе. Онъ не заботится о сомнѣніяхъ изслѣдователей, дѣйствительно-ли природа одушевлена такимъ-образомъ, или то пустой обманъ: довольно, что это чувство, это чаяніе, существуетъ въ фантазіи, въ груди человѣка и поэта. Еслибъ взору человѣческому можно было совершенно проникнуть оболочку твореній и видѣть, какимъ-образомъ душа природы дѣйствуетъ въ сокровенныхъ тайникахъ ея; то поэтъ, какъ поэтъ, и тогда не захотѣлъ-бы совершенно снять благодѣтельный покровъ. Но у поэтовъ греческихъ и римскихъ мало находится слѣдовъ подобнаго таинственнаго, чаятельнаго образа созерцанія природы; тѣмъ болѣе этихъ слѣдовъ у древнихъ поэтовъ сѣверныхъ, которые совершенно жили въ чувствѣ природы. Впрочемъ всѣ эти живописанія и чувствованія природы не должны быть отдѣляемы въ поэзіи отъ изображенія человѣка, — изображенія, котораго они составляютъ лучшее украшеніе. Если ихъ раздѣлять другъ отъ друга, то великая, полная картина вселенной, которую поэзія должна представлять нашимъ взорамъ, раздробляется; гармонія необходимо разрушается, и дѣйствіе, которое бываетъ такъ велико, когда является въ цѣлости, распадается на части самыя малыя. Потому ученая, дидактическая поэма природоописательная, по образцу Лукреціевой, есть собственно неудачная форма, и также какъ философія, которую онъ избралъ, достойна порицанія; но самъ онъ, какъ человѣкъ, внушаетъ намъ къ себѣ участіе, а какъ поэтъ — величайшее удивленіе“. (Шлегель).

Лукрецій посвятилъ свою поэму К. Меммію Гемеллу, оратору и эротическому поэту, — который, какъ кажется, не былъ самъ философомъ. Поэтому-то Лукрецій и выбралъ поэтическую форму, чтобы придать болѣе жизни и наглядности сухимъ доктринамъ эпикурейской философіи. Что поэзія есть только аксесуаръ его труда, — Лукрецій предвѣщаетъ намъ самъ въ своемъ знаменитомъ сравненіи:

«Чтобъ заставить дѣтей выпить противное лекарство, изъ полыни, искусный врачъ намазываетъ обыкновенно края чаши сладкимъ и желтоватымъ сиропомъ меда; и дѣти, введенные въ заблужденіе этой обманчивой сладостью, доврчиво подносятъ къ губамъ своимъ чашу, выпиваютъ горькое лекарство, и невинная хитрость благодѣтельно дѣйствуетъ на ихъ здоровье; такъ теперь дѣлаю и я: предметъ мой слишкомъ серьезенъ для тѣхъ, кто не разсуждалъ о немъ; люди непросвѣщенные отвернутся отъ него съ ужасомъ; поэтому я изложу тебѣ наше ученіе въ сладкорѣчивой (*suaviloquenti*) поэмѣ, которой научили меня музы; и такимъ-образомъ я приправлю горечь философіи сладкимъ піерійскимъ медомъ, — въ той надеждѣ, что соблазненный прелестями гармоніи, ты почерпнешь изъ моего труда глубокое знаніе природы». (I, 935—942).

Во многихъ мѣстахъ поэмы Лукрецій прославляетъ Эпикура, какъ основателя и главнаго учителя натуралистической философіи; такъ напримѣръ:

«Въ то время, когда униженный человѣкъ ползалъ въ прахѣ подъ тяжелымъ гнетомъ вѣры въ боговъ, — передъ этимъ гордымъ призракомъ, голова котораго видѣлась сквозь тучи неба, грозно взирая на смертныхъ: грекъ

впервые осмѣлился взглянуть ему прямо въ лицо, — впервые оказалъ ему сопротивленіе. И ни всѣ эти пресловутые боги, ни молнія, ни съ угрозой гремящее небо не могли устроить его; его отвагу только раздражали препятствія; и онъ во что-бы то ни стало рѣшился проникнуть тайнства природы (*claustra naturae*). Такимъ-образомъ живая сила духа побѣдила и устремилась далеко за пламенные грани міра, и мыслительный духъ обтекъ всю вселенную и вернулся къ намъ побѣдителемъ, сказать, что можетъ и что не можетъ родиться, и какъ всякой вещи предназначенъ свой кругъ дѣйствій и предѣлъ, преступить который оно не можетъ. Такъ, въ свою очередь, вѣра въ боговъ была поправа ногами и побѣда надъ нею сдѣлала насъ равными небу». (I, 63—80).

Но что-же заставило мужественный и суровый гений Лукреція выбрать мягкія доктрины изнѣженнаго и беззаботнаго эпикуреизма? Лукрецій имѣлъ на это важныя причины. «Въ этомъ ученіи не было ничего, чтобы могло не понравиться уму самому разборчивому. Школа пользовалась всеобщимъ уваженіемъ; память ея основателя всегда была чтима; послѣдователи Эпикура сохраняли съ религіозной вѣрностью слова своего наставника, и посреди всѣхъ распрей, которыя раздирали въ Греціи соперничающія школы, — представляли примѣръ совершеннѣйшаго единодушія. Въ самой системѣ не было недостатка ни въ величіи, ни въ обаяніи. Эта мораль, которая въ то время еще не исказилась и учила человека побуждать самого себя, искоренять въ себѣ всѣ суетныя помыслы, бороться съ заблужденіями и суетвріемъ, — эта мораль своего рода суровостью очень легко могла расположить въ свою пользу умъ такого от-

важнаго мыслителя, каковъ былъ Лукрецій. Наконецъ, физика, предоставлявшая міръ случайности и естественнымъ законамъ вещества,—физика, которая изгоняла боговъ далеко отъ вселенной, и не отвергая безусловно ихъ существованія, отстраняла ихъ по-крайней-мѣрѣ отъ всякаго вмѣшательства въ дѣла людей,—эта наука, такая простая и вмѣстѣ-съ-тѣмъ такая печальная, не могла не понравиться римлянину, котораго несчастія его родины уже подготовили къ невѣрію, который во время гражданскихъ войнъ видѣлъ, что религія служила орудіемъ всѣмъ партіямъ, всякому злодѣйству; видѣлъ, что, кажется, самыя вѣрныя предзнаменованія не помѣшали восторжествовать болѣе сильному, и боги, безсмысленно и безмолвно, безъ гнѣва смотрѣли съ высоты своего капитолія на убійство самыхъ честныхъ людей“ *.

Разумѣется, мы не станемъ защищать Лукреція отъ обвиненій въ атеизмѣ, обвиненій, которыя сыпались на него градомъ со стороны благочестивыхъ ханжей всѣхъ націй и всѣхъ вѣроисповѣданій **. Мы конечно оказали плохую услугу поэту, стараясь отнять у него то, чѣмъ онъ такъ гордился. Потому-что и въ-самомъ-дѣлѣ, въ

* Martha: «Del'inspiration poétique chez Lucrèce (Revue contemporaine). Трудъ Р. Марта—одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ этюдовъ о Лукреціи.

** Французскій аббатъ Полиньякъ написалъ претупоумную поэму «Antilucrèce», за которую Вольтеръ провозгласилъ ея автора мстителемъ неба и побѣдителемъ Лукреція (Vengeur du ciel et vainqueur de Lucrèce). Правда, что это было сказано въ стихахъ (Temple du goût); въ прозѣ-же Вольтеръ говоритъ просто: «Обладавъ меньшимъ поэтическимъ талантомъ, чѣмъ этотъ римлянинъ, Полиньякъ былъ такимъ-же плохимъ физикомъ. Онъ только и дѣлаетъ, что противопоставляетъ заблужденія заблужденіямъ — въ своемъ сухомъ и тощемъ трудѣ, которой столько хвалили, но котораго нельзя читать». (Les Adorateurs).

его системѣ божество не играетъ никакой роли; онъ очевидно и преднамѣренно стремится къ тому, чтобы по возможности подорвать вѣру въ боговъ и тѣмъ уничтожить всѣ истекающія изъ нея надежды и опасенія. Но несмотря на это, въ томъ, что обыкновенно называютъ философіей Лукреція, мы видимъ одну только попытку основать науку, которая-бы естественное объяснила и причинами естественными. Боги, какъ они живутъ въ вѣрованіи великой толпы, являются у него только образами фантазіи, поэтическими и аллегорическими фикціями, изъ которыхъ онъ самъ, какъ поэтъ, дѣлаетъ употребленіе, но которымъ нѣтъ мѣста въ мірѣ физическомъ. Боги — только гипотеза, какъ и всякіе другіе предметы, существованіе которыхъ не доказано признаками неоспоримыми; но если Лукрецій и допускаетъ эту гипотезу, то не иначе, какъ съ условіемъ, что боги составляютъ совершенно особенную часть вселенной, и живутъ себѣ гдѣ-нибудь очень далеко отъ земли, не заботясь о судьбахъ человѣчества. Гораздо важнѣе другой упрекъ, дѣлаемый Лукрецію — что его философія приводитъ къ безнравственности. Но мы, вмѣстѣ съ Лукреціемъ полагаемъ, что этого упрека гораздо болѣе заслуживаетъ языческая вѣра въ боговъ:

Но я боюсь, о Меммій, чтобы ты не обвинилъ меня въ томъ, что я проповѣдую тебѣ нечестіе и веду тебя по дорогѣ къ злодѣяніямъ; напротивъ, слѣпая вѣра въ боговъ слишкомъ часто порождаетъ поступки преступные и нечестивые. Такъ нѣкогда въ Авлидѣ, избранные вожди лапэевъ, первые мужи міра, нечестиво обогрили алтарь тривійской дѣвы (т. е. Діаны) кровью Ифіанассы. Когда жертвенная повязка уже обвивала волосы дѣвы и спускалась съ обѣихъ сторонъ на ея щеки, когда она увидала

своего отца мрачнаго и суроваго, стоящаго у подножія алтаря подлѣ жрецовъ, скрывавшихъ ножи въ складкахъ одежды; когда народъ, глядя на нее, плакалъ на взрыдъ: — она, онѣмѣвшая отъ ужаса, упала на колѣна, и не помогло ей, бѣдной, въ эту роковую минуту, что она первая подарила царя именемъ отца. Жрецы ее подняли, и трепещущую повели къ алтарю: — не затѣмъ, чтобъ по окончаніи праздника священной жертвы проводить невѣсту съ громкими пѣснями, а затѣмъ, чтобъ она, непорочная, умерла печальной жертвой, зарѣзанная своимъ отцомъ, затѣмъ, чтобъ флотъ греческій счастливо вышелъ изъ гавани. Та-кія-то вотъ жестокости можетъ внушить человѣку въра въ боговъ!» (I, 81—102).

Древніе, кажется, не любили поэму Лукреція. Изъ современниковъ Лукреція хвалить его одинъ Цицеронъ — но какъ-то холодно и принужденно; зато Корнелій Непотъ считаетъ его величайшимъ послѣ Катулла поэтомъ своего времени. Во время имперіи гордому республиканцу конечно было трудно понасть въ милость придворной знати. Зато поэты того времени не только прилежно читали Лукреція, но и обильно пользовались его поэмой. Виргилій, въ юности, выразилъ свое удивленіе къ „этому великому генію, по слѣдамъ котораго онъ не дерзаетъ идти.“ Но это скромное признаніе не мѣшало творцу Энеиды, „похитить не одинъ перлъ изъ сокровищницы Лукреція“, т. е. говоря безъ метафоръ, Виргилій заимствовалъ у Лукреція не только множество словъ, но и цѣлыя стихи, и даже очень много картинъ и описаній; самъ Виргилій не говоритъ объ этомъ ни слова; но Макробій составилъ подробный указатель такихъ заимствованій. Единственный писатель Августова вѣка, отдавшій полную справедливость Лукрецію, это поэтъ,

который кажется менѣе всего былъ способенъ понять его, — кроткій, изящный Овидій: „поэма возвышеннаго Лукреція, сказалъ онъ, погибнетъ въ тотъ день, когда разрушится вселенная“. (Amor. I, 15, 23).

Тревожное время политическихъ волненій и социальныхъ переворотовъ отразилось и въ раздраженномъ настроеніи духа Лукреція, и въ суровомъ, почти грубомъ тонѣ его поэмы. Языкъ ея простъ и силенъ; въ немъ нѣтъ заимствованныхъ у грековъ риторическихъ и поэтическихъ прикрасть.

Объ обстоятельствахъ жизни Лукреція мы знаемъ очень не многое; онъ родился въ 98 г. до Р. X. и принадлежалъ къ одной изъ самыхъ древнихъ и самыхъ знаменитыхъ фамилій Рима, былъ друженъ съ Атиккомъ, Корнелиемъ Непотомъ и др. Умеръ, по свидѣтельству Пьеронима, самоубійствомъ въ 51 г. до Р. X. Поэма Лукреція, которой онъ не успѣлъ еще дать окончательной отдѣлки, издана послѣ его смерти Цицерономъ. Текстъ, дошедшій до насъ, искаженъ.

б) ВѢКЪ АВГУСТА.

(40 до р. х. — 14 по р. х.)

а) поэзія.

Побѣда при Акціумѣ сдѣлала Октавіана единодержавцемъ римскаго государства. Племянникъ великаго дяди сдѣлался Цезаремъ мира, *Pacificator orbis terrarum*. „L'empire c'est la paix“ была ужъ и тогда фразой, которой утомленный революціями и междоусобіями народъ утѣшали въ потерѣ свободы. Политическія страсти

пробушевали и унялись. Наступило всеобщее усыпление; слѣдствіемъ его былъ эгоистическій матеріализмъ, который въ невозмутимомъ наслажденіи житейскими благами нашелъ положительную выгоду и воображалъ, что имѣть право сказать по опыту, какъ мало счастья въ идеальномъ благѣ доблести и свободы.

«O cives, cives! quaerendo pecunia primum est:
Virtus post nummos». (Horat. Epist. I. 1. 53).

(«Гражданинъ, гражданинъ! прежде всего наживайся:
Доблестъ ужъ послѣ.»):

вотъ что было лозунгомъ всѣхъ и каждого. Преподержаніе власти матеріализмъ этотъ, безъ сомнѣнія, поощряли; древняя доблестъ римская исчезла; гордой любви къ свободѣ не осталось и слѣда; только идея о всемірномъ владычествѣ какъ-то удержалаеь, да и то привитая къ особѣ императора.

Съ паденіемъ драмы, которую римскій дворъ вообще не жаловалъ, поэзія приняла видъ чрезвычайно многосторонній; „воспоминаніе о прошломъ давало ей сюжеты для эпикоэлегической поэзіи; наслажденіе хотя и не свободнымъ, но все-таки могучимъ и великимъ настоящимъ, — сюжеты для панегирическихъ стихотвореній; обратная сторона этого настоящаго со всѣмъ лицевымъ счастьемъ его жизни, со всевозможной роскошью пресыщеннаго существованія — давала сюжеты для сатирическихъ сочиненій, и наконецъ необходимость ограничиться самимъ собою, въ себѣ самомъ и въ чисто личной любви искать удовлетворенія потребностямъ сердца — предлагала сюжеты для поэзіи идиллической“.

Центромъ утонченнаго образа жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ и поэзіи, считавшейся въ Римѣ его нераздѣльной

частью, — сдѣлался дворъ императорскій: Августъ и другъ его Меценатъ были сами деллетантами въ поэзіи. Вокругъ ихъ собралось все, что было тогда талантливаго въ Римѣ; каждая отрасль поэзіи имѣла своего представителя въ средѣ этой collegium poetarum: комедія — Фунданія, трагедія — Полліона, эпосъ — Варія, буколическая поэзія — Полліона, лирика и сатира — Горация. Самыми даровитыми поэтами кружка, образовавшагося вокругъ Мецената, безъ сомнѣнія были — Варій, Виргилій и Гораций.

1. Л. ВАРІЙ РУФЪ.

Л. Варій Руфъ пользовался извѣстностью, вѣроятно еще во время республики. Гораций говоритъ, что

«пламенный Варій

«Равныхъ не знаетъ себѣ въ эпосѣ», —

Его первое большое сочиненіе было, кажется, эпическая поема de morte, написанная на смерть Цезаря. Трагедія Варія „Тіестъ“, была, по словамъ Квинтиліана, образцовое произведеніе, которое могло выдержать сравненіе съ любой греческой піесой. Она была представлена на праздникъ въ честь акціумской побѣды, и Августъ гонораровалъ ее миліономъ сестерцій. Послѣдній трудъ Варія былъ — панегирикъ Августу, изъ котораго Гораций сохранилъ намъ два стиха. Если прибавить къ нимъ полторы строки изъ Тіеста, приводимыхъ Квинтиліаномъ, — это будетъ все, что мы имѣемъ отъ Варія.

2. П. ВИРГИЛІЙ МАРОНЪ.

П. Виргилій (или Вергилій) Маронъ род. 15 октября 70 г. до Р. Х., въ окрестностях Мантуи. Отецъ его, богатый землевладѣлецъ, какъ видно не щадилъ ничего, чтобы дать своему сыну самое блестящее, по тому времени образованіе. Сначала Виргилій воспитывался въ Кремонѣ, потомъ отецъ послалъ его въ Миланъ, Неаполь и наконецъ въ Римъ. Когда въ 41 г. Октавіанъ раздавалъ ветеранамъ триумвирскихъ легіоновъ города и земли, — Виргилій лишился своего помѣстья около Мантуи. Но Варій, председатель комиссіи этой раздачи земель, выхлопоталъ ему черезъ Мецената триумвирскій декретъ, который возвращалъ молодому поэту его деревеньку. Съ-этихъ-поръ Августъ и его семейство постоянно дѣлали ему богатые подарки; но не переставая оплакивать свободу своей родины, онъ не хотѣлъ служить узурпатору (какъ предполагають нѣкоторые комментаторы), и постоянно отказываясь отъ всѣхъ почестей, не принималъ никакого участія въ государственныхъ дѣлахъ, хотя пользовался глубокимъ уваженіемъ императорскаго дома и всѣхъ своихъ современниковъ. За девятнадцать лѣтъ до Р. Х. онъ предпринялъ путешествіе въ Грецію, съ цѣлью посѣтить мѣста, воспѣтыя въ Иліадѣ; но по желанію Августа, который встрѣтился съ нимъ въ Аѳинахъ, долженъ былъ скоро возвратиться въ Италію. Въ Мегарѣ Виргилій заболѣлъ; переѣздъ моремъ увеличилъ эту болѣзнь, и едва вышедши на берегъ, поэтъ скончался (въ Тарентѣ, 22 сентября 19 г. до Р. Х.). Умирая, онъ завѣщалъ, чтобы его тѣло было перенесено въ Неаполь, гдѣ и

теперь, по дорогѣ въ Путусоли, видна его гробница. Мантуанцы на главной площади своего города (piazza di Virgilio) поставили мѣдную статую своего знаменитаго земляка. Въ средніе вѣка Виргилія считали чародѣемъ*; король Карлъ I постоянно гадалъ „по Виргилію“;—всякому извѣстно, что Данте, въ своей божественной комедіи выбралъ Виргилія, своего „сладкаго учителя“, проводникомъ по „извилистымъ тропамъ“ Ада и крутой горѣ Чистилища, — ибо въ Раю онъ не могъ быть его путеводителемъ:

«Зане Монархъ, чью власть, какъ суностать,

Я не позналъ, — мнѣ нынѣ воспрещаетъ

Вести тебя въ его священный градъ (Адъ I, 124 — 126), говоритъ Данту Виргилій; Богъ не хочетъ, чтобы разумомъ человѣческимъ (Виргилій) достигали высшаго небеснаго блаженства, которое есть даръ свыше. Зато ему обязанъ Данте человѣческой мудростью, и онъ съ благодарностью упоминаетъ объ этомъ въ своей поэмѣ:

«О дивный свѣтъ, о свѣтъ другихъ пѣвцовъ!

Будь благъ ко мнѣ за долгое ученье

И за любовь къ краѣ твоихъ стиховъ.

«Ты, авторъ мой, наставникъ въ пѣснопѣнны,

Ты былъ одинъ, у коего я взялъ

Прекрасный стиль, снискавшій мнѣ хваленіе.

Какъ поэтъ, Виргилій особенно великъ тамъ, гдѣ пріобладаетъ его римская натура, по возможности не связанная чужими воззрѣніями, — именно въ дидактикѣ. „Миролюбивый, чувствительный Виргилій, говоритъ Ф.

* Какимъ образомъ Виргилій въ средніе вѣка превратился въ чернокнижника, сравн. чрезвычайно любопытныя изслѣдованія у Dunlop'a (Hist. of fiction, etc. p. 185 и слѣд.).

Шлегель (въ своихъ Vorlesungen), по своей привязанности къ природѣ и сельской жизни, былъ кажется предназначенъ сдѣлаться національнымъ поэтомъ римлянъ. Древне-римскій, какъ и вообще древне-итальянскій, образъ жизни былъ совершенно основанъ на земледѣліи и сельскомъ быту; греки-же напротивъ были народъ промышленный, мореплавательный и торговый. Въ лучшія времена республики всѣ самые знатные и первые граждане Рима жили сообразно съ этими древними сельскими обычаями, и не смотря на испорченность столицы, эта сила нравовъ и чувствованій, свойственная земледѣльческому и сельскому народу, еще ни мало не угасла въ большей части прочей Италіи. Этого-то предмета долженъ былъ коснуться поэтъ, который захотѣлъ-бы сдѣлаться поэтомъ народа и не ограничивать дѣйствій своихъ однимъ только тѣснымъ кругомъ столицы. Любовь Виргилія къ природѣ и сельской жизни обнаружилась уже въ Эклогахъ, — первыхъ опытахъ его юношескихъ лѣтъ. Въ первыхъ двухъ идилліяхъ (Ecl. II и III) Виргилій строго держится Теоокрита. *Первая*, „Алексисъ“, вольное подражаніе 3 и 2 идилліи Теоокрита; нѣкоторые стихи переведены почти слово въ слово. Содержаніе—привязанность пастуха Коридона къ прекрасному Алексису.

Вторая идиллія „Палэмонъ“ (Ecl. III), подр. 4 и 5 идилліи Теоокрита.—Два пастуха-наемщика, Даметъ и Меналкъ встрѣчаются на-полѣ и послѣ жаркой перебранки предлагаютъ другъ другу состязаться въ пѣніи. Сосѣдъ Палэмонъ избирается судьей. Амэбзическое пѣніе (поперебѣнное) состоитъ въ томъ, что первый пѣвецъ задаетъ тему; второй долженъ отвѣчать въ такомъ-же числѣ стиховъ и такую-же мѣроу, что-нибудь

или противоположное, или подобное, или лучшее, чѣмъ онъ. Даметъ призываетъ Юпитера, Меналкъ Феба; тотъ хвалитъ свою Галатею, этотъ своего Аминта; но оба съ благодарностью отзываются о Полліонѣ и ругаютъ плохихъ поэтовъ, совѣтуютъ мальчикамъ не подходить близко къ кустамъ, въ которыхъ можетъ-быть притаилась сѣрая змѣя, жалуются на плохой присмотръ за скотиной и наконецъ задаютъ другъ другу загадки. Палэмонъ признаетъ ихъ обоихъ достойными приза; сейчасъ-же по окончаніи спора оставляетъ пастуховъ и отдаетъ приказаніе мальчикамъ, которые работаютъ въ полѣ:

«Пора запирать вамъ канавки; луга ужъ насытились
вдоволь».

Въ томъ-же году сочинена V Эклога, „Дафнисъ“. Два пастуха, Меналкъ и Монсъ, встрѣчаются въ лѣсистомъ и гористомъ мѣстности. Они хвалятся другъ передъ другомъ въ искусствѣ пѣнія, идутъ въ прохладный гротъ и хотятъ вступить въ поэтическое состязаніе. Монсъ поетъ о смерти Дафниса: (20—44) о Дафнисѣ плачутъ нимфы, рыдаетъ мать; сжимая въ объятіяхъ холодный трупъ сына, она называетъ жестокими боговъ и звѣзды; о немъ тоскуютъ пастухи, о немъ стенаютъ даже львы пустыни. Дафнисъ усмиривъ армянскихъ тигровъ, которые влекли его колесницу, Дафнисъ устроилъ вакхическія пляски и

«Пушистою зеленою обвилъ онъ гибкія трости.

Лоза—украшенія деревьямъ; лозѣ украшенія—гроздья,

Быки—украшеніе стаду; колосья созрѣвшія—нивь,

Такъ ты былъ, о Дафнисъ, красою тебѣ соплеменныхъ».

Но когда Дафниса постигъ его рокъ, Апполонъ и Палесъ, богиня пастуховъ и паствы, оставили мураву полей. Въ бороздахъ, которымъ оратай ввѣрилъ крупнозернистое сѣмя, растутъ теперь куколь, трава безплодная, а гдѣ росли фіалки и нарцисы —

«Тамъ выросли терны, полынь и колючій репейникъ».

Дафнисъ завѣщалъ пастухамъ насыпать могильный холмъ подъ зеленой ивой, у быстрого ручья, и завѣщалъ онъ написать на своей могилѣ:

«Я Дафнисъ лѣсовъ, до небесъ вознесенный хвалою;
Прекрасны стада мои были, но самъ я прекраснѣй».

Меналекъ хвалить пѣснь; но онъ хочетъ отвѣчать своему противнику и возвысить ко звѣздамъ Дафниса: и ему мила его память. Онъ поетъ (56—80): „Какъ удивился блистательный Дафнисъ, когда онъ, вступивъ на порогъ Олимпа, увидалъ подъ ногами облака и звѣзды! Кругомъ царствуетъ радость, миръ и любовь; на лонѣ вѣчнаго счастья успокоился юный Дафнисъ. Теперь горы, скалы и лѣса огласились веселымъ кликомъ: богъ онъ! богъ! будь-же благъ и милосердъ къ своимъ! и воздвигаютъ ему алтари, и приносятъ ему жертвы:

«И будетъ безсмертно правдивой хвалой его имя,
Пока будутъ вопри скрываться въ пустынныхъ дубахъ,

Въ ручьѣ тихоструйномъ рѣзвиться веселыя рыбы,
Пока будутъ пчелы питаться душистою травкой,
И росу прохладную пить хлопотунья никада.
Когда селянинъ ежегодную жертву Церерѣ
И Бахусу будетъ съ мольбой приносить: и тебя онъ
Въ молитвѣ своей вспомнать не забудетъ, о Дафнисъ!»

Пѣніе кончается. Пастухи мѣняются подарками.

Мы видѣли, что при раздѣлѣ полей, Виргилій лишился своего помѣстья. По совѣту Азинія Полліона онъ отправился въ Римъ, выпросилъ обратно свои земли, и жилъ въ тишинѣ и спокойствіи. Въ благодарность за это Виргилій написалъ свою *первую* эклогу, „Титиръ“. Пастухъ Мелибей, выгнанный ветераномъ, новымъ владѣльцемъ своего поля, идетъ съ остатками своего стада искать другой пажити. На дорогѣ встрѣчаетъ онъ Титира, который лежитъ подъ тѣнью бука и поетъ пѣсню. Мелибей завидуетъ, что въ то время, какъ онъ долженъ оставить поля милой родины, другъ его, лежа подъ „безопасной тѣнью“ воспѣваетъ своего Амариллиса. Титиръ отвѣчаетъ ему: (Ecl. I. 6—10):

«О, Мелибей,—это богъ сохранилъ мнѣ отраду;
И богомъ моимъ онъ останется; нѣжный ягненокъ
Алтарь его часто обагрить здѣсь чистою кровью!
Вотъ онъ-то мнѣ отдалъ тотъ лугъ, на которомъ
пасу я
Овецъ тонкорунныхъ, играя на сельской свирѣли».

На вопросъ Мелибея, —кто-же этотъ богъ?—Титиръ рассказываетъ, какъ онъ ходилъ въ Римъ хлопотать о своемъ полѣ:

«Что было мнѣ дѣлать? спастись отъ неволи — нѣтъ средства;
Здѣсь не было бога, который-бы подаль мнѣ помощь!
Но въ Римѣ, Мелибей, увидѣлъ я юнаго бога,
Которому мы ежегодно двѣнадцать разъ жертвы
Приносимъ съ мольбою. На просьбу онъ кротко отвѣтилъ:
Паси свое стадо; полей у тебя не отнимутъ!»

Мелибей завидуетъ счастью своего друга, а благодарный Титирь увѣряетъ его, что будутъ

«Скорѣе на морѣ пастись легконогія лани,
Заливы сбѣгутъ, и на берегѣ рыбъ позабудутъ,
Скорѣй всѣ народы отчизнамъ измѣнять, и будетъ
Германецъ пить воду изъ Тигра и Парѣ изъ Арара,—
Изъ нашего-жъ сердца его не изгладится образъ».

Мелибей хочетъ идти, чтобъ гдѣ-нибудь на краю свѣта отыскать себѣ новую родину; Титирь проситъ его остаться и провести эту ночь съ нимъ, подъ зеленымъ навѣсомъ бука.—Но скоро Virgilій опять долженъ былъ оставить „отеческое поле“. Раздѣлъ полей въ верхней Италіи былъ порученъ другому сановнику, который не хотѣлъ, а можетъ-быть и не могъ защитить Virgilіа отъ насилія ветерановъ; и поэтъ съ опасностью жизни долженъ былъ бѣжать въ Римъ. Тогда онъ написалъ IX эклогу, „Марисъ“. Пастухъ Марисъ гонитъ овецъ своихъ въ Мантуу, въ дань новымъ владѣльцамъ ея полей,—ветеранамъ. На дорогѣ встрѣчается съ нимъ другой пастухъ, Лицидасъ, которому онъ рассказываетъ о бѣдствіяхъ хозяина своего Меналка (т. е. самого Virgilіа).

«Лицидасъ, вотъ до чего привелось дожить намъ!
Думалъ-ли кто, что пришлецъ, завладѣвши полями,
Скажетъ намъ: все тутъ мое! Убирайтесь отсюда,
Старые пахари! Нѣтъ, ужъ судьбу не осилишь!
Вотъ и vedi, какъ невольникъ, барашковъ изъ стада
Къ новымъ владѣльцамъ.—Чтобъ все-то пошло у нихъ
прахомъ!»

Лицидасъ удивляется, что поле Меналка сдѣлалось добычей воиновъ, тогда-какъ онъ слышалъ, что ему, за

его стихи, возвращено прежнее помѣстье. „Что стихи во время войны! говорить Марисъ: мы, Меналкъ и я, едва-едва и сами-то спаслись по добру по здорову“. Лицидасъ жалуетъ объ участи Меналка, который поетъ такіа чудныя пѣсни, какъ та, напримѣръ, — (хоть она и не кончена), что онъ сложилъ для Варіа.

«Пусть только Мантуа нашей останется, Варій: —
Мантуа, къ нашему горю, сосѣдка Кремоны *:
Имя твое вознесемъ мы, о Варій, ко звѣздамъ!»

Лицидасъ, самъ пѣвецъ, проситъ Мариса сѣсть ему что-нибудь, и Марисъ поетъ ему о томъ, какъ Полиемъ звалъ къ себѣ Галатею, а потомъ начинаетъ другую пѣсенку:

«Что ты, о Дафинь, на старыя звѣзды все смотришь;
Видишь—взошло діонейскаго Цезаря солнце!»

При посредничествѣ Мецената и Полліона, Октавіанъ помирился съ Антоніемъ. Virgilію опять было возвращено его помѣстье. Въ благодарность за это Virgilій написалъ IV эклогу, „Полліонъ“. У Полліона, который былъ въ тотъ годъ консуломъ, родился сынъ Азиній Баллъ. Поэтъ полагаетъ, что съ рожденіемъ этого мальчика, которое будто-бы было предсказано въ сивилиныхъ книгахъ, начинается новый великій годъ, возвратятся опять времена первобытныя и настанетъ прекрасный вѣкъ Сатурна *. VI эклога написана въ 39

* Когда полей кремонскихъ не достало по числу населяемыхъ на нихъ ветерановъ,—тогда назначены были къ раздѣлу и земли Мантуи; не смотря на то, что владѣльцы ихъ держали сторону Августа.

* Ср. статью о великомъ годѣ въ Вѣстникѣ Европы, изд. М. Кочановскимъ, 1806, № 9, ст. XXVII. — Нѣкоторые думаютъ, что Сивилла пророчествуетъ здѣсь о Христѣ. Поэтому старин-

году. Два отрока, Хромисъ и Мназилъ, нашли въ пещерѣ спящаго Силена, отуманеннаго крѣпкимъ виномъ. Появки спали съ его сѣдой головы,

«Съ отбитой ручкою большой его бокалъ
На поясъ висѣлъ.—«Ты пѣсни общалъ,
Но все обманывалъ»... и съ этими словами
Друзья крутятъ его цвѣточными пѣнями.
Аглая въ помощь къ нимъ... Аглая—честь полей,
Блестаніе Наядъ,—для радости дѣтей
Уже не спящему, уже съ открытымъ окомъ
Малюетъ лобъ, лицо, брусники зрѣлой сокомъ.
Онъ улыбается ихъ шуткѣ, не кричитъ;—
«Ну, посмотрѣлись-ли?—Пустите, говорить;
«Конечъ играмъ!—Внимать!—Исполню обѣщанье;
«Вамъ пѣсни;—для нея-жъ—другое воздаанье!»
Отверзъ уста Силень—и фавновъ рѣзвый хоръ,
И звѣри дикіе, жильцы ближайшихъ горъ,
Какъ вдохновенные вокругъ него плясали,
И сосны гордыя вершинами качали»... *

Силень поетъ о томъ, какъ изъ безконечнаго пространства первобытной матеріи образовался міръ; потомъ, какъ изъ камней Девкаліона и Пирры природа сотворила людей; какъ Прометей похитилъ огонь съ неба; какъ ѣздили за золотымъ руномъ аргонавты, поетъ объ участіи Насифаи, Аталанты и Геліадъ, сестеръ Фаетона. Потомъ поетъ о Галлѣ **; какъ одна изъ Пи-

ный художникъ, расписывавшій паперть московскаго Успенскаго собора, помѣстилъ Сивиллу въ число пророковъ и пророчицъ, будто-бы предсказывавшихъ о рожденіи Іисуса Христа.

* Этотъ отрывокъ по переводу А. О. Мерзлякова.

** Кней К. Галлъ, любимецъ Октавія, хороший полководецъ, но весьма посредственный поэтъ, описавшій въ 4-хъ книгахъ любовь свою къ извѣстной актрисѣ Ликоридѣ.

еридъ взвела его на эонійскую гору: какъ передъ нимъ встали всѣ музы и даже самый Аполлонъ, какъ Линъ, увѣнчанный лаврами цвѣтами вручилъ ему свирѣль, принадлежавшую нѣкогда аскрейскому старцу; наконецъ Силень поетъ о Сциллѣ и превращеніяхъ Протея;— все пѣлъ онъ—

«Пока овецъ своихъ пастухъ пересчиталъ,
И не-хотя Олимпъ на землю ночь послалъ.»

VII. Экл. „Фармацевтрія“ (подр. Теоокр. ид. II) написана Виргиліемъ по желанію Азинія Полліона, когда Полліонъ, усмиривъ возстаніе далматовъ, пріѣхалъ въ Римъ праздновать свой триумфъ. За льстивымъ вступленіемъ, восхваляющимъ небывалые подвиги Полліона, слѣдуетъ поэтическое состязаніе Дамона съ Алфезибеемъ. Раннимъ утромъ пастухи сходятся на росистомъ лугу. Дамонъ начинаетъ. Онъ играетъ роль пастуха, которому измѣнила его возлюбленная. Алфезибей представляетъ ессалійскую дѣвушку, которая посредствомъ различныхъ заклинаній приколдовываетъ къ себѣ Дафниса; чары подѣйствовали; лай собакъ возвѣщаетъ, что возлюбленный близко. Эклога VIII, „Мэлибей“, состоитъ изъ ямбическаго пѣнія двухъ пастуховъ Мэлибея и Дафниса. X эклога написана по просьбѣ Галла, которому измѣнила его непостоянная Ликориды, убѣжавшая съ новымъ любовникомъ за Альпы. Виргилій называетъ это стихотвореніе послѣднимъ произведеніемъ своей сицилійской музы; больше онъ не писалъ идилій, вѣроятно потому, что римляне вообще очень мало сочувствовали пастушескому элементу, лежащему въ основѣ этого рода поэзіи. Въ эклогахъ своихъ Виргилій беретъ только вѣншнюю сторону пастушеской поэзіи, и подъ ея покровомъ изображаетъ исключительно свои личныя отношенія, свои собственныя желанія и чувства. Вуколическія лица

у него только фигуры, которымъ онъ влагасть въ уста свои собственные мысли и чувства. А потому и мимическій характеръ этой поэзіи, какъ конія дѣйствительной жизни низшаго сословія, именно пастуховъ и поселянъ, — совершенно потерялся. Лица, дѣйствующія въ эклогахъ Виргилія, не сицилійскіе и аркадскіе пастушки, а высокообразованные римляне, которые только для виду надѣли деревенскій костюмъ, и копируя наивный языкъ еоокритовыхъ пастуховъ, очень часто забываютъ свои роли и провираются высокопарно-изящными фразами. Виргилій, кажется, и не воображалъ, что идиллическій поэтъ долженъ быть только живописцемъ дѣйствительной природы, и что римскому поэту никакъ нельзя изображать себя и друзей своихъ сицилійскими пастухами прошедшаго столѣтія. Въ этомъ онъ слѣдовалъ, кажется, вкусу вельможъ своего времени: а тѣ, пресыщенные и роскошью и развратомъ, были рады хоть только заглянуть въ аркадскій міръ невинности и простоты. Тоже явленіе, какъ увидимъ, повторилось и въ новой литературѣ, — что пастушеская поэзія при самыхъ роскошныхъ и развратныхъ дворахъ болѣе всего находила себѣ поклонниковъ.

У Виргилія, кажется, не было недостатка въ подражателяхъ, которые однакоже и по идеѣ, и по исполненію стоятъ далеко позади своего оригинала. До насъ дошло нѣсколько такихъ подражаній; нѣкоторые изъ этихъ піесъ приписываютъ, впрочемъ, самому Виргилію. Сюда принадлежатъ: стихотвореніе *Цирисъ*, гдѣ съ частыми реминисценціями изъ Катуллы и Виргилія разсказывается о Силлѣ и ея превращеніи въ птицу цирисъ; *Кулексъ*, комаръ: разсказъ пастуха, который однажды заснулъ на Цитеронѣ, и угрожаемый змѣей, про-

снулся во-время отъ укушенія комара. Проснувшись, онъ раздавилъ комара, а потомъ ужъ, увидѣвъ змѣю, убилъ и ее. Ночью пастуху явилась тѣнь комара, упрекала его въ неблагодарности, требовала себѣ погребенія, говоря, что до-тѣхъ-поръ она не можетъ найти себѣ покоя. Комаръ описываетъ ужасы тартара и блаженство Элизіума, гдѣ обитаютъ блаженные и всѣ герои Греціи и Рима. Пастухъ, пробудившись, воздвигаетъ комару могильный гимнъ. „Dīgae (проклятія)“ принадлежатъ Виргилію также мало, какъ и грамматику В. Катону, которому они когда-то приписывались. Это большой фрагментъ, гдѣ въ формѣ буколическаго состязанія высказываются проклятія, вызванныя потерей помѣстья въ эпоху раздѣла полей. Но несомнѣнное поэтическое достоинство имѣютъ два небольшія стихотворенія: *Могетіумъ* (тюря) и *Сора* (служанка въ гостинницѣ), настоящіе итальянскіе мимы, прелестныя картинки изъ обыденной жизни, полныя вѣрности и правды. Въ первой изображено зимнее утро поселанина, который встаетъ еще до свѣту, онцунью подходитъ къ очагу и у тлѣющихъ углей зажигаетъ свою лампу. Потомъ, взявъ мѣру зерна и защищая рукою огонь отъ сквознаго вѣтра, онъ идетъ на мельницу. Очистивъ жорновъ и нанѣвая деревенскія пѣсенки, онъ начинаетъ свою работу, поворачивая тяжелый камень обѣими руками. Между-тѣмъ онъ громкимъ крикомъ будитъ служанку Цибалу. Служанка приходитъ, — африканка съ курчавыми волосами, вздутыми губами и смуглымъ цвѣтомъ лица. Онъ велитъ ей топить печку, а самъ, просѣявъ муку, на гладкой доскѣ начинаетъ мѣсить тѣсто. Когда эта работа кончена, и хлѣбы ужъ заботливо положены на очагъ, поселанинъ идетъ въ огородъ, который самъ обработы-

ваетъ въ тѣ дни, когда дождливая погода не позволяетъ ходить на поле. Здѣсь воздѣлываетъ онъ разные дорогіе овощи и въ ярмочные дни возить ихъ въ городъ; а теперь срываетъ только чесноку, петрушки, руты и кишинецу; несетъ все это въ кухню, спрашиваетъ себѣ ступку и толчетъ свои овощи, подмѣшавъ къ нимъ сыру и соли. Потъ катится съ него отъ усилій; острый запахъ чесноку кидается въ носъ, дымъ отъ очага ѣстъ глаза. Но вотъ тюрка готова; крестьянинъ подливаетъ въ нее масла и укуса. Цибала вынимаетъ изъ печки теплый хлѣбъ; тогда поселянинъ надѣваетъ сапоги и шляпу, запрягаетъ быковъ въ ярмо и ѣдетъ въ поле. Во-второмъ стихотвореніи, „*Kona*“, — молодая сирійская дѣвушка, шелкая кастаньетами, поетъ и танцуетъ передъ деревенской гостинницей. Она зазываетъ прохожихъ хоть немножко освѣжиться отъ полуденнаго зноя. Здѣсь есть виноградное сусло, веселая музыка, и розы и тѣнистое мѣстечко. Съ холма слышна флейта пастушка и блеяніе овечекъ. Здѣсь вино въ закупоренныхъ бутылкахъ, и ручеекъ, гдѣ прохлаждать его. Здѣсь вѣнки изъ розъ и фіалокъ и корзинки чудеснѣйшихъ лилій. Здѣсь сыры и сливы, словно восковыя, каштаны и яблоки, виноградъ и пунцовыя ягоды шелковицы. Въ садикѣ стоитъ на сторожѣ Пріапъ и грозитъ всякому нарушителю радостей. Заѣзжай, путникъ, заѣзжай; видишь, какъ вспотѣла твоя усталая лошадь. Отъ жару разчирилась цикада и ящерица спряталась въ солону. Сюда! отдохни подъ тѣнью виноградныхъ лозъ; увѣнчай волосы розами. Поцѣловать ты долженъ ротикъ хорошенькой дѣвочки. Прочь съ своимъ кислымъ лицом!

Въ 37 году Virgilij началъ свою дидактическую поэму *О земледѣліи* (*Georgicon, libri IV*) и кончилъ

ее въ Неаполѣ 30 года. Она посвящена Меценату, да, какъ видно изъ первыхъ строкъ поэмы, кажется, и начата по его порученію. „Георгики“ не только самое совершенное твореніе Virgilija, но и вообще лучшая изъ всѣхъ дидактическихъ поэмъ классической древности. „Полнота эмпиризма, говоритъ Бернгарди, и чистота нравственности дѣлаютъ эту поэму прекраснѣйшимъ памятникомъ самого человѣчества, и ни по благородству чувства, ни по благозвучію ритма и выражений вся художественная поэзія древности не можетъ представить ничего подобнаго Георгикамъ. Цѣлое, по числу главныхъ отраслей итальянскаго хозяйства, Virgilij раздѣляетъ на четыре отдѣла: о земледѣліи (кн. 1), о разведеніи деревьевъ (2), о скотоводствѣ (3) и о пчеловодствѣ (4).

Начало первой книги заключаетъ въ нѣсколькихъ строкахъ введеніе къ поэмѣ:

«Я славлю, Меценатъ, оратаевъ труды,
Подъ счастливой звѣздой отверзтыя бразды,
И вязъ, сдружившійся съ лозою винограда,
Надзоры табуновъ и воспитанье стада.
И домовитыхъ пчелъ заботливый народъ.» *

* Мы цитируемъ „Георгики“ по переводу г. Ранча („Virgilijevy Georgiki“, пер. А. Р.—Москва, 1821). Переводъ этотъ, хотя и не вездѣ близокъ буквѣ подлинника, но довольно удачно передаетъ тонъ и мысли автора. Какъ и вездѣ, мы позволяли себѣ измѣнять нѣкоторые стихи, или устарѣвшіе по языку, или слишкомъ уклоняющіеся отъ literalной близости къ подлиннику. Цѣль, съ какою цитируются наши переводы изъ иностранныхъ писателей, позволяетъ намъ не пестрить наши цитаты указаніями, какіе именно стихи или строки измѣнены нами или заимствованы изъ другихъ переводовъ. Впрочемъ, на подобныя передѣлки безъ крайней необходимости и безъ самой тщательной повѣрки перевода съ оригиналомъ, — мы никогда не рѣшались.

Затѣмъ поэтъ обращается къ богамъ сельскимъ и къ цезарю Октавіану, будущему богу, и просить ихъ о дарованіи ему, поэту, успѣшнаго исполненія задуманнаго имъ предпріятія. Поэма начинается предписаніями, когда и какъ засѣвать поле, какими средствами ускорять выходы и какъ предохранять поля отъ гибельныхъ вліяній. Потому-что—

«Возможно-ль на землѣ ничтожнымъ чадамъ праха
Надеждѣ вѣрится обманчивой, безъ страха?

Природы властелинъ
На вѣчный трудъ обрекъ тебя, поселянинъ!
Царь неба и земли—онъ самъ полей работы
У смертныхъ водворилъ, и пробудивъ заботы,
Изъ царства своего изгналъ покой и лѣнь:
Тогда возникъ искусствъ незаходимый день,

Когда-то было время, что—рано

Почившей въ праздности земли не раздирало,
Не знали смертные столповъ и рубежей,—
Но, счастье отцѣло съ младенчествомъ природы;
Смиранныхъ агницъ вождь, трепещущій овень,
Теперь съдымъ волкамъ въ добычу обреченъ;
И жала черныхъ змѣй изъ росъ испили яды,
Въ лазоревыхъ моряхъ воздвиглись волиъ громады...
Тогда сдружились сыны безпечной нѣги
Съ искусствомъ и трудомъ, и въ потѣ, и въ пыли
Воздѣлали поля.....

Описавъ земледѣльческія орудія, поэтъ даетъ наставленіе, какъ пахать землю; онъ совѣтуетъ уровнять вспаханное поле каткомъ, и напоить его растворомъ мѣла,

Чтобъ рыхлая земли поверхность отвердѣла; (а иначе,—)
Въ ея разсѣлинахъ и травы прорастутъ,

И жадный рой червей найдетъ себѣ пріютъ,
И чуждый свѣта кротъ построить новоселье,
И мышъ советъ гнѣздо въ покойномъ подземельѣ,
И житницы и домъ заложить муравей,
Провидящій недугъ и нужды хилыхъ дней...

Поэтъ совѣтуетъ тщательно выбирать сѣмена для посѣва. Сверхъ того, для всякаго злака есть свое определенное время; каждое время года, каждый мѣсяцъ имѣетъ свои определенные занятія. Напримѣръ,

Когда съ явленіемъ Астренныхъ вѣсовъ
И бдѣнье и покой, свѣтъ дня и ночи тѣни *.
Раздѣлять пополамъ часы своихъ владѣній:—
Оратай! подстрекай недремлющей рукой
Дебелаго вола надъ зыбкой бороздой,
Разсыпъ по ней дождемъ ячмень и лѣнь янтарный
И сномя даращій макъ,—къ землѣ неблагодарной
Спѣши, пока еще несчастье вдали,
И утренній морозъ не охладитъ земли,
И кротко тучи спятъ, нависши надъ главою.

Въ дождливое время поселянинъ долженъ справлять около дома такія работы, на которыя не слѣдуетъ тратить ясныхъ дней: точить косу, плести корзины и т. д.

Есть много для селянъ другихъ работъ—они
Не возбраняются и въ праздничные дни:

Огораживать поля, ловить птицъ въ силки, копать канавки и пр. Слѣдуетъ тоже строго наблюдать счастливые и несчастные дни. Однѣ работы удобнѣе производить ночью,—другія днемъ. Зимой поселянинъ наслаждается плодами своихъ лѣтнихъ работъ:

* Вѣсы—знакъ зодіака, показываются надъ горизонтомъ съ осеннимъ равновѣсіемъ.

Зимою, по ночамъ, въ уютномъ уголкѣ
Досужий селянинъ, при тускломъ ночникѣ,
Сидитъ и факелы изъ красной точить ели;
Межъ тѣмъ досужая хозяйка у кудели
Поетъ—и долгій трудъ при пѣсняхъ не тяжелъ,
Или варитъ въ котлѣ изъ сотовъ добрыхъ пчелъ
Напитокъ лакомый...

Осенью надо бояться вьюги; весной и лѣтомъ грозы.
А для предотвращенія несчастій, которыя могутъ произойти отъ непогоды,—слѣдуетъ наблюдать за ходомъ свѣтилъ небесныхъ, а главное молиться блюстительницѣ полей, Цецерѣ. Солнце и луна и нѣкоторыя земныя явленія часто предсказываютъ грозящую бѣду, такъ на примѣръ явленіе кометы и землетрясеніе предсказывали смерть Цезаря и гражданскія войны. О, еслибы, умоляеть поэтъ, въ правленіе Октавіана кончились эти бѣдствія:

Нѣтъ! съ завистью Олимпъ взираетъ къ намъ съ высотъ,
Доколь не чуждъ твоихъ, о цезарь нашъ!—заботъ
Растлѣнный міръ, во злѣ погразнувшій глубокою,
Гдѣ спитъ законъ, гдѣ честь смѣшалася съ порокомъ,
И преступленія безстыдное чело
Въ отбѣнкахъ доблестей всѣ виды приняло...
Селяне изгнаны, осиротѣла нива,
Безъ дѣла дремлетъ плугъ, на полѣ тернъ, крапива,
И стонуть стаи совъ вокругъ мертвыхъ селъ въ ночи;
Зубчатые серпы раскованы въ мечи;
Германцы возстаютъ, Парѣ требуетъ свободы;—
Тутъ, узы разорвавъ, сосѣдніе народы
На родину мою оружья страхъ внесли,

И Марсъ свирѣпствуетъ во всѣхъ концахъ земли.
Такъ кони бурные шумящей колесницы
Летятъ—и окрылясь кипящимъ жаромъ силъ,
Не слушаютъ вожда, не чувствуютъ удилъ.

Во *второй книгѣ* говорится о разведеніи деревьевъ. Послѣ возванія къ Бахусу, поэтъ говоритъ о различныхъ способахъ разведенія деревьевъ, о естественномъ размноженіи сѣменами, и искусственномъ отводкѣ черенками, и объ очковой прививкѣ. Онъ хочетъ научить поселенина искусству жосткіе плоды дѣлать мягкими, сажать виноградныя лозы и масличныя деревья,—и призываетъ Мецената помочь ему въ этомъ трудномъ дѣлѣ:

И ты, моя краса, и слава и опора,
Приди, о Меценатъ, и свѣтлостію взора
На подвигъ меня великомъ окрыли.

Уходъ за деревьями требуетъ руки опытнаго садовника; но часто растенія одного семейства принимаютъ различные виды, смотря по тому, гдѣ и какъ оно выросло. Каждая страна, каждый климатъ имѣетъ свои растенія: въ Индіи, на примѣръ, растутъ деревья, вершины которыхъ не достигаетъ пернатая стрѣла, у Нила—„серебряннымъ руномъ обложены дубравы“, въ Китаѣ, —

Въ невѣдомыхъ странахъ, въ краю зари молодой,
По темной зелени раскиланъ шолкъ златой,—

Но поэту все-таки Италія дороже всѣхъ чудесъ востока, —

Ни гордой Мидіи душистые лѣса,
Ни пѣнистый Гангесъ, великихъ рѣкъ краса—
Ни Гермъ, вращающій въ потокъ черномъ злато,
Ни Бактръ, ни Индіи сокровища богатой,

Ни нѣгой дышущей Пахней аромать, —
 Твоей, Италия, хвалы не помрачать.
 Не страшные волны Кольхиды златорушной,
 Что мечуть далеко ноздрями пламень бурный,
 Широкия поля воздѣлали твои:
 Не зубы по браздамъ засѣяны змѣи,
 На нивахъ не шумѣлъ ни шлемовъ рядъ пернатый,
 Ни копій лѣсъ;—не тѣмъ дары твои богаты:
 Веселыя стада, оливныя сады,
 Массійское вино, обильныя плоды;
 Здѣсь броненосный конь, воспитанный тобою,
 По стонущимъ полямъ несется вихремъ къ бою....
 Здѣсь вѣчная весна, облегающая холмы,
 Роскошно нѣжить насъ средь лѣта и зимы—
 Но тигровъ лютыхъ нѣтъ, и львовъ невѣдомъ страхъ,
 И ядовитый злѣкъ не стелется въ лугахъ,
 Не вьется по землѣ зернейскихъ гадинъ стая,
 Чешуйчатымъ хвостомъ песокъ перегребая...

Затѣмъ, послѣ восторженнаго воззванія къ Италиі, поэтъ возвращается къ предмету своей поэмы. Слѣдуютъ предписанія, гдѣ, какъ и когда сажать и сѣять такіе-то растенія и какъ узнавать качество почвы. Совѣты свои онъ заключаетъ похвалою деревенской жизни.

Въ *третьей* пѣсни говорится о скотоводствѣ. Поэтъ не хочетъ воспѣвать мѣны, такъ-какъ они давно знакомы всякому, и стало-быть не могутъ приковать къ себѣ ничье вниманіе; онъ хочетъ принести съ Геликона на свою родину новую пѣснь, и у береговъ Минціи воздвигнуть храмъ Цезарю; на блещущихъ вратахъ этого храма онъ изваяетъ побѣды римлянъ, и внутри поставитъ мраморныя статуи предковъ. Потомъ, призвавъ на помощь Мецената, поэтъ начинаетъ изложеніе

своей теоріи скотоводства. Онъ совѣтуетъ прежде всего обращать вниманіе на выборъ матокъ и потомъ, какъ можно заботливѣе, ухаживать за молодыми животными.

Весною животныя требуютъ особенно тщательнаго при-
 смотра, очень часто случается, что быки съ остервѣ-
 ніемъ бросаются другъ на друга,—

вступая въ бой кровавый.

Соплились:—чело съ челою—во взорахъ пышетъ гнѣвъ;
 Сразились,—кровь ручьемъ изъ подъ роговъ, и ревъ
 Пронзаетъ дальній лѣсъ и воздуха пучины...

И тѣсны двумъ врагамъ широкия долины,
 И миру нѣтъ у нихъ...

Такъ легкая волна въ равнинахъ океана
 Едва бѣлѣется въ далекой мглѣ тумана;
 Но ближе къ берегамъ—свивается въ валы,
 Вдывается, реветъ и хлещетъ о скалы,
 И вставъ надъ безднами трепещущей горою,

Падетъ,—и черный изъ вращаетъ надъ водою

Затѣмъ слѣдуетъ предписаніе объ уходѣ за овцами и козлами. Къ этому примыкаетъ описаніе жизни нома-
 довъ въ Ливіи и Скиѣи. За овцой, которую стригутъ,
 слѣдуетъ ходить иначе, чѣмъ за той, которую доятъ.
 Удѣли часть заботъ твоихъ и собакамъ, стражамъ на-
 шей собственности и товарищамъ на охотѣ. Берегись
 ядовитыхъ гадинъ, которыя

Стезей излучистой вѣются межъ кустами

И вдругъ, привставъ, грозятъ трижальными устами.

Учись также лечить животныхъ отъ разныхъ болѣз-
 ней. Пѣснь кончается описаніемъ норійской чумы, ко-
 торая около этого времени свирѣпствовала въ верхней
 Италиі.

Четвертая книга посвящена пчеловодству. По-

слѣ коротенькаго вступленія поэтъ предлагаетъ свои соображенія касательно устройства ульевъ и выбора мѣстности для пчельника; потомъ учить какъ собирать рои, если они разлетятся и какимъ-образомъ укрощать внутреннія волненія, довольно частыя въ ульяхъ. Поэтъ удивляется общительности, трудолюбію, предусмотрительности пчелъ, строгому порядку, заведенному въ ихъ ульяхъ, — и говоритъ, что поневолѣ согласишься съ тѣми, которые считаютъ пчелъ существами разумными, одаренными частицею божественнаго духа. Далѣе идутъ совѣты касательно выниманія меда и леченія пчелъ. Если-же болѣзнь ихъ неизлечима, и все пчелы погибнутъ отъ заразы, « есть средство древнее воздвигнуть родъ ихъ новый »: изобрѣтателемъ этого искусства считается Аристей, пастухъ пенейской долины, пчелы котораго все до одной погибли отъ болѣзней и голода. Аристей рассказываетъ объ этомъ горѣ матери своей, Киренѣ. Кирена, допустивъ сына въ свои подводные чертоги, велитъ ему идти къ морскому богу Протею. Закованный имъ въ цѣпи, Протей открываетъ, что бѣду эту послалъ на него Орфей, за то, что Эвридика, жена его, преслѣдуемая Аристеемъ, нечаянно наступила на змѣю и была укушена ею въ пятку. Все нимфы жалѣли о смерти Эвридики, а Орфей такъ даже пошелъ за нею въ адъ. Плутонъ возвратилъ было ему супругу; но она, выходя изъ преисподней, невольно оглянулась назадъ, и Орфей потерялъ ее уже навсегда. Семь мѣсяцевъ плакалъ онъ у черныхъ водъ Стримона, и наконецъ ушелъ въ Скиюю; тамъ его растерзали вакханки на одной изъ своихъ безумныхъ оргій; но отрубленная голова Орфея, скатываясь въ Гебръ, хладѣющимъ языкомъ все еще не переставала лепетать: „Эвридика! Эври-

дика!“ Разказавши это, Протей исчезъ подъ водой. Киренѣ теперь стала ясна причина заразы, истребившей пчелъ ея сына: она велитъ ему принести очистительную жертву оскорбленнымъ тѣнямъ Орфея и Эвридики — зарѣзать быковъ и коровъ, и трупы ихъ оставить подъ навѣсомъ вѣтвей. Онъ такъ и сдѣлалъ. И что-же? на девятый день видятъ, что на сгнившихъ трупахъ животныхъ кишатъ пчелы, которыя, какъ живые гроздья свѣсились съ сучковъ устроеннаго надъ ними навѣса. Поэтъ заключаетъ свою поэму извѣстіемъ, гдѣ и когда онъ ее кончилъ:

Такъ славилъ я стада, работы мирныхъ сель,
Роскошный виноградъ и домовитыхъ пчелъ,
Какъ цезарь по брегамъ Евфрата отдаленнымъ
И ужасъ разсѣвалъ перуномъ окрыленнымъ,
И міру счастье въ законахъ изрекалъ:—
Въ безвѣстной тишинѣ въ объятіяхъ свободы,
Безпечный,—я красы живописалъ природы,
Меня лелѣялъ край Неаполя златой—
Меня,—который пѣлъ въ дни жизни молодой,
Покояся въ тѣни подъ зыбкимъ сводомъ ивы,
Забавы пастуховъ и жребій ихъ счастливый.

Тотчасъ по окончаніи Георгикъ * поэтъ принялся за давно обѣщанный Октаніану эпосъ, — „Энеиду“.

* Старинный переводъ Георгикъ сдѣланъ Рубаномъ: *Виргилія Марона Георгикъ* или о земледѣліи четыре книги пер. съ лат. *Рубанъ*, съ приобщеніемъ 1 экологіи Виргилія, назыв. *Титиръ*, Спб. 1777.—Переводъ всехъ экологъ сдѣланъ Мерзляковымъ: *Подражанія и переводы изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ*, А. М. 2 части. Москва. 1825.—Кромѣ того из. отд. книгой П. В. М., пер. А. М. 1807. Переводы Энеиды: П. Виргилія М. Энеиды кн. 1, пер. В. Сениковскимъ, изд. 1-е. М. 1769.—Изд. 2-е

Прежде чѣмъ приступить къ созданію этой поэмы, Виргилій, кажется, много времени посвятилъ пригготовительному изученію не только греческихъ поэтовъ, Гомера, цикликовъ и александрійскихъ поэтовъ эпиковъ, но и римскихъ, отъ Нэвія и Эннія до Лукреція. Для изображенія древнеитальянской исторіи и жизни источниками ему служили „origines“ Катона и антикварныя сочиненія Варрона. Виргилій, задумывая Энеиду, имѣлъ въ виду дать римлянамъ національный эпосъ, въ которомъ долженъ быть прославленъ троянецъ Эней, какъ родоначальникъ римскаго народа. Но поэтъ задался невозможнымъ. Потому-что какимъ-образомъ настоящий эпосъ могъ возникнуть въ Римѣ, во время Августа, когда безвозвратно была разорвана всякая органическая связь культуры съ коренными сказаніями и мифологіей страны? Поэтому, несмотря на всѣ свои старанія, вмѣсто естественно-развившейся героической поэмы, Виргилій могъ дать только искусственно-вырожденную, да кромѣ - того еще обезобразилъ ее натянутымъ отношеніемъ къ Августу, какъ отрасли происходящаго отъ Энея дома Юліевъ. Прекрасныя частности, возвышенныя, живописныя и трогательныя мѣста встрѣчаются въ поэмѣ во множествѣ, но цѣлое Энеиды безконечно далеко отъ божественной простоты, первобытности и невозмутимаго величія Гомера, хотя къ величайшей своей невыгодѣ, она вездѣ носитъ очевидные признаки подражанія. Энеида —

исправ. съ приобщеніемъ предположенія, и проч. 3 части, Спб. 1775 — Эней героич. поэма Н. В. М. пер. съ лат. Пемзовымъ. Энеида пер. Деларю. Энеида вѣсны IV и IX. пер. А. Мерзляковъ; Энеида II вѣсны пер. В. Жуковскимъ. — Эней, героич. поэма Н. В. М. пер. съ лат. Вас. Петровымъ. Энеида Виргилія, пер. Г. Шершеневича съ Современникъ LXVI (1853).

трудъ ученый и потому она была альфой и омегой ученыхъ, пока большее знакомство съ Гомеромъ не указало ей ея настоящаго значенія. Впрочемъ Виргилій и самъ очень хорошо зналъ цѣну своего произведенія, что доказываетъ его завѣщаніе, гдѣ онъ приказываетъ предать пламени свою, еще не опубликованную поэму. Такимъ-образомъ онъ показалъ, что у него былъ лучший взглядъ на сущность поэзіи, чѣмъ у длиннаго ряда поэтовъ и ученыхъ, для которыхъ въ продолженіе всѣхъ среднихъ вѣковъ и до новѣйшаго времени Энеида была канонъ поэтическаго искусства. Энеида распадается на двѣ главныя части: въ первыхъ шести книгахъ, подражающихъ Одиссею, поэтъ рассказываетъ о *странствованіяхъ* Энея послѣ разрушенія Трои, и въ послѣднихъ шести, подражающихъ Илиадѣ — *войны*, веденныя Энеемъ въ Италиі. Вступительные стихи первой книги вкратцѣ излагаютъ содержаніе всей поэмы:

«Подвиги мужа пою; онъ первый отъ берега Трои
Прибыль въ Италию, въ страны лавинскія, рокомъ гонимый.

Долго метала его по землямъ и по бурному морю
Сила боговъ и воля злопамятной, гнѣвной Юноны.
Много и въ брани страдалъ онъ, пока не воздвигнулъ
твердыни.

Въ Лаціумъ внесъ онъ пенатовъ: оттуда латинское
племя, —

Дѣды албанца, оттуда и стѣны великаго Рима.
Музы! воспой мнѣ причины, за что побужденная гнѣ-
вомъ,

Матерь всемогущихъ боговъ благочестіемъ славнаго мужа
Столько трудовъ перенести осудила и столько несчастій!
Такъ-ли враждою и гнѣвомъ пылаютъ небесныя души?»

Юнона, которая предвидитъ будущую судьбу своего возлюбленнаго Кареагена и все еще не можетъ забыть оскорбленія, нанесеннаго ей Парисомъ, есть враждебная сила, противодействующая водворенію троянъ въ Италиі. По ея просьбѣ Эоль выпускаетъ на волю вѣтры, и возбужденная ими буря прибываетъ флотъ троянскій къ берегамъ Ливіи, гдѣ Дидона не задолго передъ тѣмъ основала Кареагенъ. Венера, печалась о судьбѣ сына, жалуется Юпитеру на Юнону; но Юпитеръ утѣшаетъ ее, предсказывая основаніе и будущее величіе Рима: нѣкогда отъ благородной крови троянской родится:

«Цезарь Юлій: онъ приметъ названіе великаго Юла; Царство его океанъ, а славу лишь небо удержитъ. Будетъ то время, когда, отягченнаго златомъ востока, На небо примешь его, давно обреченнаго небу. Миръ вонарится тогда и кровавыя войны утихнутъ. Веста и Ромуль, и Ремъ и Вѣра съ сѣдыми власами Міру законы дадутъ; и закроются крѣпкимъ желѣзомъ Брани кровавой врата: тамъ Ярость, дыша злодѣяньемъ, Сидя на грозномъ мечѣ, завоюетъ въ уныніи дикомъ: Цѣпи тяжелыя свяжутъ ея обзгренныя длани».

Эней, дружелюбно принятый Дидоною, рассказываетъ о разрушеніи Трои (II) и о своихъ странствіяхъ и приключеніяхъ (III). Повинуясь волѣ боговъ, Эней оставляетъ Дидону, — и царица Кареагена, влюбленная въ троянскаго искателя приключеній, въ отчаяніи сжигаетъ себя на кострѣ (IV). Трояне пристають къ берегамъ Сициліи; здѣсь является Энею во снѣ образъ отца его Анхиза, велитъ ему плыть въ Италию и просить, чтобъ онъ низошелъ къ нему въ Элизіумъ (V). При помощи кумейской Савиллы Эней сходитъ въ адъ и тамъ Анхизъ

предсказываетъ ему, всю будущую славу троянскаго племени и исчисляетъ сначала царей отъ Гальбы до Нумитора, потомъ властителей и героевъ Рима (VI).

«Ромуль, отъ Марса рожденный, будетъ спутникомъ дѣду, — Ромуль, котораго мать, вѣтвь оссараковой крови, Илія, вскормитъ. Ты видишь, два гребня надъ теменемъ вьются?

Самъ прародитель боговъ величьемъ его отличается. Видишь-ли, вотъ подъ рукою его тотъ Римъ знаменитый Властью сравнится съ землею, а величіемъ духа съ Олимпомъ. Онъ одинъ семь замковъ своихъ опояшетъ твердыней, Радуюсь сонму героевъ своихъ: какъ мать Цибелла На колесницѣ высокой несется по градамъ фригійскимъ, И любуюсь рожденіемъ боговъ, обнимаешь сто внуковъ, Всѣхъ небожителей, всѣхъ обитающихъ въ небѣ высокомъ. Ты обрати свой взоръ на это племя: то племя Римлянъ твоихъ. Тамъ Цезарь и все поколѣніе Юла, Мужи, которые встанутъ полъ сводомъ великаго неба; Вотъ онъ, тотъ мужъ, такъ часто тебѣ общаемый рокомъ, Августъ Цезарь, потомокъ боговъ; онъ въ Латинѣ снова Вѣкъ золотой водворитъ, въ странѣ той счастливой, въ которой Царствовала прежде Сатурнъ; покоритъ гириомонтовъ и и-
довъ

Власти своей: земля та лежитъ внѣ небеснаго свода, Внѣ годовыхъ и солнечныхъ круговъ; Атлантъ небоносецъ Тамъ подпираетъ плечомъ звѣздные своды. И теперь ужъ, страшась предсказаній небесныхъ, Въ ужасѣ ждуть появленія его всѣ каспійскія царства, Скиоія вся, и устья дрожатъ семироднаго Нила. Столько земли ни великій Алкидъ не измѣрилъ стопами, Онъ, поразившій стрѣлой мѣдноногую лань, усмирившій

Вепря въ лѣсахъ эримантскихъ, сразившій лернейскую гидру,
 Ни побѣдитель Вакхъ, виноградной уздою клобящій
 Иго и пудящій тигровъ съ высокой вершины Низея...
 Кто-же тотъ мужъ за нимъ, вѣнчанный оливною вѣткой
 И несущій священную утварь? По этимъ извивамъ
 Длинныхъ волосъ и по кудрямъ густымъ бороды по-
 сѣдѣлой

Я узнаю въ немъ владыку римлянъ; онъ первый упрочитъ
 Силу законовъ; изъ куровъ ничтожныхъ, отъ маленькой
 нивы

Ступить на тронъ великій. За нимъ послѣдуетъ Туллій:
 Этотъ расторгнетъ мирную нить и сонмы героевъ
 Праздныхъ на брань поведетъ, отвыкшихъ отъ славныхъ
 триумфовъ.

Тотчасъ за Тулломъ идущаго вижу тиеславнаго Анка:
 Онъ и теперь ужъ приходитъ въ восторгъ отъ лести на-
 родной.

Хочешь ты видѣть Тарквиньевъ царей и гордую душу
 Мстителя Брута, съ пукомъ исторгнутыхъ прутьевъ? Онъ
 первый

Приметъ консула власть и въ жестокия длани сѣкиру;
 Онъ дѣтей своихъ, замышляющихъ новыя войны,
 Самъ призоветъ на казнь, за свободу отчизны. Несчастный!
 Какъ ни осудятъ потомки такого дѣянья, любовь-же
 Къ родинѣ все побѣдитъ и жажда насытая къ славѣ.
 Видишь-ли Деціевъ, Друзовъ и съ ними Торквата, сѣкирой
 Грознаго мужа? Камилла, обратно несущаго знамя?
 Ты посмотри и на тѣхъ, что сверкаютъ броней одинокой;
 Нынѣ согласныя души, когда ихъ ночь осыпаетъ;
 Но на жизненномъ свѣтѣ какою враждой запылаютъ
 Другъ на друга, какую ратную силу воздвигнуть,
 Гибель готова врагу! Здѣсь тестъ, нисходящій съ вершины

Альповъ и замка Монека; тутъ зять, подкрѣпленный во-
 стокомъ;

Дѣти, не зарождайте въ сердцахъ столь жестокия войны;
 Не вонзайте могучихъ мечей въ грудь вашей отчизны!
 Ты, что ведешь отъ Олимпа свой родъ, ты первый опом-
 нись:

Брось то желѣзо изъ рукъ, о кровь моя, брось то желѣзо!
 Тотъ въ колесницѣ побѣдной прискачетъ къ стѣнамъ Ка-
 питоля

Отъ коринскихъ стѣнъ, побѣдитель гордыхъ ахиванъ;
 Тотъ разрушитъ Аргось и столицу атридовъ, Мицены,
 И побѣдитъ Закида, Ахилла могучаго племя,
 Мста за троянскихъ дѣдовъ, за храмъ оскверненный Ми-
 нервы.

Кто-жъ умолчитъ о великомъ Катонѣ? Кто-же не видитъ
 Косса и Гракховъ? и кто позабудетъ двѣ молніи брани,
 Африки бичъ—Сципионовъ? или сильнаго малымъ Фа-
 бриция;

Или тебя, о Серранъ, бороздящаго поле сохою?
 Ахъ, умолчу-ль я о Фабіяхъ? Ты-ль тотъ великій, который,
 Медля, одинъ удержалъ насъ, готовыхъ низвергнуться въ
 гибель?

Будутъ другіе лить лучше живые кумиры изъ мѣди
 И изъ холоднаго камня творить оживленныя лица,
 Будутъ лучше судить, опишутъ движеніе неба,
 Всѣ свѣтила исчислять, ихъ путь по небесному своду;
 Ты-же, о римлянинъ, помни, какъ должно править народомъ,
 И не забудешь тѣхъ правилъ: искать благодатнаго мира,
 Всѣхъ покорныхъ щадить и прощать, и сражать непокор-
 ныхъ.

Наконецъ Анхизъ показываетъ ему Марцелла, побѣ-

дителя Виридомара и Аннибала. Эней замѣчаетъ подлѣ юношу въ свѣтлой бронѣ, “но съ видомъ печали и грусти взоръ потупившаго въ землю.” На вопросъ Энея: „кто это?“—Анхизъ отвѣчаетъ:

«Сынъ мой (сказалъ) не ищи ты глубокаго горя потомковъ;
Рокъ лишь покажетъ міру его и сокроетъ обратно.
О, всемогущіе боги! вамъ кажется слишкомъ могучимъ
Римскій народъ, когда вы свой даръ драгоцѣнный отняли!
Сколько слезъ и рыданій увидитъ великое поле
Марсова гряда! Какихъ похоронъ свидѣтелемъ будутъ
Тибровы волны, когда потекутъ близъ свѣжей могилы!
Ни одинъ изъ героевъ троянскаго рода не будетъ
Сердца дѣдовъ латиновъ лелѣять такою надеждой!
И никогда Римъ великій не будетъ столько гордиться,
Что вскормилъ на лонѣ своемъ такого питомца!
О, благочестье! о вѣра! о длань, несразимая въ брани!
Кто безнаказанно встрѣтитъ героя на битвенномъ полѣ?
Кто дерзнетъ, когда онъ иль пѣшій на брань устремится,
Или пятой ободрая коня опѣнненнаго ребра?
Ахъ! несчастный юноша! еслибъ не горькая участь...
Ты Марцеллъ!... О, дайте мнѣ лилій полныя длани:
Я посыплю алыя розы, и душу потомка,
Можетъ-быть, я облегчу хоть этой ничтожною жертвой!»

Потомъ Анхизъ, перечисливъ все войны и битвы, грозящія его сыну, далъ ему наставленіе, “какъ убѣгать угрожающихъ бѣдствій”. Простившись съ отцомъ, Эней черезъ ворота слоновой кости выходитъ изъ ада и отправляется къ своему флоту, въ Каету (VI).

Шесть послѣднихъ книгъ содержатъ войны Энея. Лаврентійскій царь Латинъ принимаетъ дружелюбно

Энея и сватаетъ за него дочь свою Лавинію. Но Амата, супруга Латина, умоляетъ царя выдать дочь за князя рутуловъ, Турна, — а Энею отказать. Фурія Алекто, подосланная Юноной, возбуждаетъ Амату и Турна противъ троянъ и Латина; она-же поселяетъ раздоръ между троянами и лаврентійскими пастухами. На помощь Турну идутъ съ дружинами вожди всехъ сосѣднихъ народовъ (VII). Эней отправляется въ Палантеумъ къ Эвандру и проситъ у него вспомогательнаго войска. Въ Этруріи Венера приноситъ своему сыну оружіе, выкованное Вулканомъ (VIII). Между-тѣмъ Турнъ выступаетъ противъ троянскаго лагеря и хочетъ сжечь корабли Энея, — но они превратились въ нимфы и улетѣли. Два друга, Низъ и Эвріаль, ночью хотятъ пробраться къ Энею, но погибаютъ. Турнъ врывается въ непріятельскій станъ, — но, оттѣсненный, бросается въ Тибръ и переплываетъ его (IX). Эней съ воинственнымъ народомъ этрусковъ возвращается назадъ; на него нападаютъ рутулы. Юнона избавляетъ Турна отъ грозящей ему опасности. Эней побѣждаетъ Мезенцію и его сына, Лиза (X). Враждующія стороны заключаютъ перемиріе для совершения погребальныхъ обрядовъ надъ павшими въ битвахъ. Латинъ изъявляетъ желаніе заключить миръ съ Энеемъ, но Турнъ требуетъ единоборства. Бой возобновляется. Камилла, дочь витязя Метоба и любимица Діаны, принимаетъ участіе въ битвѣ; Діана призываетъ нимфу Описъ, даетъ ей стрѣлу и велитъ поразить ею того, кто уязвитъ Камиллу. Войска сходятся; Аррукеъ убилъ Камиллу; его самого убиваетъ нимфа. Рутулы, приведенные въ смятеніе смертью Камиллы, бѣгутъ къ городу. Ночь прерываетъ сраженіе (XI). Турнъ соглашается на поединокъ, и враждующія стороны заключаютъ условія договора.

Юнона, видя близкую развязку дѣла, обращается къ Турновой сестрѣ, нимфѣ Ютурнѣ, и побуждаетъ ее подать помощь брату. Ютурна возмущаетъ рутуловъ; Эней раненъ, но вылеченный Венерой, вооружается снова; онъ тщетно ищетъ Турна: Ютурна, принявъ образъ Метиска, возницы Турна, избѣгаетъ встрѣчи съ вождемъ троянскимъ. Эней нападаетъ на городъ; Амата въ отчаяніи сама себя лишаетъ жизни. Эней и Турнъ сходятся въ поединкѣ, который кончается смертью Турна (XII) *.

3. кв. ГОРАЦІЙ ФЛАККЪ.

Въ произведеніяхъ Горація римская поэзія достигла своего высочайшаго развитія. Зародыши, которые мы у Нэвія, Плавта, Луцилія и Катулла находили болѣе или менѣе не развитыми, — у Горація принесли уже зрѣлый плодъ; всѣ достоинства, которымъ мы удивляемся въ Гораціи, всѣ недостатки, въ которыхъ мы его упрекаемъ, вытекаютъ отъ того, что Горацій не отрекся отъ римскаго духа, что онъ даетъ себя такимъ, каковъ есть, и что онъ ограничивается тѣмъ, что можетъ. И въ жизни, и какъ поэтъ, онъ умѣлъ сохранить самостоятельность даже тогда, когда для выраженія своихъ мыслей бралъ чужеземную форму; онъ, какъ Луцилій, „повѣрялъ завѣтнымъ листочкамъ всѣ свои тайны и думы“; поэтому-то мы такъ коротко знакомимся съ Гораціемъ изъ его сочиненій. Нѣкоторыми извѣстіями о его внѣшней жизни мы обязаны маленькой біографіи, дошедшей до насъ подъ именемъ Светонія: *Noratii poetae vita*.

* Цитация по пер. г. Шершеневича.

Кн. *Горацій Флаккъ* (Q. Horatius Flaccus) родился а. д. VI Id. Decembr. 689 н. с. (8 декабря 65 года до Р. Х.) въ Венузіи (теперь Веноза), на границѣ Апуліи и Луканіи; поэтому онъ самъ не знаетъ, считать-ли ему себя апулійцемъ или луканцемъ. (Sat. II, I, 35—39):

Ибо житель Венузіи пашетъ въ обоихъ предѣлахъ,
Присланный нѣкогда—если преданію старому вѣрить—
Снова тотъ край заселить, по изгнаньи тутъ жившихъ
самнитовъ

Съ тѣмъ, что на случай войны апулеямъ или луканамъ
Не былъ врагу путь до Рима открытъ черезъ земли пустыя.

Отецъ его, вольноотпущенникъ, былъ сборщикомъ податей; Горацій никогда не стыдился своего низкаго происхожденія; но напротивъ, съ гордостію говоритъ о своемъ несвободнорожденномъ отцѣ, которому онъ обязанъ своимъ нравственнымъ и научнымъ воспитаніемъ (Sat. I, 6, 63): —

«Но ежели я и умѣлъ отъ упрека
Въ скупости, въ подлости, въ низкомъ, постыдномъ раз-
вратѣ;

Если я чистъ и невиненъ душой и друзьямъ драгоцѣненъ,
(Можно-же въ правдѣ себя похвалить), я отцу тѣмъ обя-
занъ!

Бѣденъ онъ былъ и владѣлъ не обширнымъ, но прибыль-
нымъ полемъ.
Но не хотѣлъ посылать онъ меня для ученія къ Флавію
въ школу,

Въ школу, куда благородныя дѣти центуріоновъ,
Съ сумкой, висящей на лѣвой рукѣ, и съ табличкой —
ходили,

Обучаться проценты по идамъ считать, и просрочку;
 А рѣшилъ онъ мальчика въ Римъ отвезти, чтобы тамъ онъ
 Тѣмъ-же учился наукамъ, которыми у римлянъ и всадникъ
 И сенаторъ своихъ обучаютъ дѣтей.—Посмотрѣвши
 Платье мое и рабовъ провожатыхъ, иной-бы подумалъ,
 Что расходъ на меня—мнѣ въ наслѣдство оставили предки.
 Нѣтъ! самъ отецъ мой всегда былъ при мнѣ, мой безмезд-
 ный хранитель,
 Самъ, при учителяхъ, тутъ-же сидѣлъ.—Что скажу я?—
 Во мнѣ онъ
 Спасъ непорочность души, красоту добродѣтелей нашихъ,
 Спасъ отъ поступковъ меня онъ, спасъ и отъ мыслей
 безчестныхъ!
 Онъ не боялся упрека, что нѣкогда буду я тоже,
 Что онъ и самъ былъ: публичный глашатай, иль сбор-
 щикъ; что буду
 Малую плату за трудъ получать.—Я и тутъ не ропталъ-бы!
 Нынѣ-жъ за это ему воздаю похвалу я тѣмъ болѣ,
 И тѣмъ болѣ ему благодарностью вѣчной обязанъ.
 Нѣтъ! покуда я смыслъ сохраняю, сожалѣть я не буду,
 Что такого имѣлъ я отца; не скажу, какъ другіе, —
 Что не я виноватъ, что отъ предковъ рожденъ недово-
 лныхъ!»

Въ 4-й сатирѣ 1-й книги (105, 399) Гораций го-
 воритъ о томъ, какъ практически преподавалъ ему отецъ
 уроки нравственности: онъ приучалъ его наблюдать за
 другими, чтобы составить себѣ идею о порокахъ и добро-
 дѣтели, не изъ отвлеченной теоріи, а по живымъ и
 нагляднымъ примѣрамъ; такимъ-образомъ изъ Горация
 невольно образовался сатирикъ. «Мой отецъ, — гово-
 ритъ онъ, —

приучалъ меня съ малолѣтства
 Склонностей злыхъ убѣгать, замѣчая примѣры пороковъ.
 Если совѣтовалъ мнѣ онъ умѣренно жить, бережливо,
 Быть довольнымъ и тѣмъ, что онъ нажилъ; онъ говорилъ
 мнѣ:
 «Развѣ не видишь, какъ худо Альбія сыну, какъ Баруэтъ
 Въ нуждѣ живетъ?—Великій примѣръ, чтобы отцемъ на-
 житое
 Дѣтямъ беречь!»—Отклоняя меня отъ любви постыдной,
 Онъ мнѣ твердилъ: «ты не будь на Сетана похожъ!»...
 «Но—почему хорошо одного избѣгать, а другому —
 Слѣдовать: мудрый тебѣ объяснить! Для меня-же довольно,
 Если смогу безъ пятна сохранить по обычаю древнихъ
 Жизнь и добрую славу твою, пока надзиратель
 Нуженъ тебѣ. Но какъ скоро съ лѣтами въ тебѣ поок-
 рѣпнута
 Члены и разумъ: то будешь плавать тогда и безъ пробки!»
 Такъ онъ ребенка меня поучалъ; и если что дѣлать
 Онъ мнѣ приказывалъ: «вотъ образецъ! говорилъ: подра-
 жай-же!»
 Съ этимъ указывалъ мнѣ на людей, отличившихся жизнью!
 Если что запрещалъ: «не въ сомнѣнны-ли ты, что безчестно
 И бесполезно оно?—ты вспомни такого-то славу!»
 Какъ погребенье сосѣда пугаетъ большого прожору,
 Какъ страхъ смерти его принуждаетъ беречься: такъ точно
 Душу младую удаляетъ отъ зла безславіе другаго!
 Такъ былъ я сохраненъ отъ губительныхъ людямъ пороковъ!
 Меньшіе есть и во мнѣ; но надѣюсь, вы мнѣ ихъ простите!
 Можетъ-быть лѣта и собственный зрѣлый разсудокъ, быть-
 можетъ
 Другъ откровенный, меня и отъ тѣхъ недостатковъ изле-
 чать;

Ибо я, лежа въ постели, иль ходя подъ портикомъ, вѣрѣе
Размышляю всегда о себѣ!—«Вотъ это-бы лучше,»
Думаю я: «вотъ такъ поступаю, я жилъ-бы пріятнѣй,
И пріятнѣе былъ-бы друзьямъ!—Вотъ такой-то не честно
Такъ поступилъ; неужель, неразумный, я сдѣлаю тоже?»
Такъ иногда самъ съ собой разсуждаю я молча; когда-же
Время свободное есть, я все это тотчасъ на бумагу!»

Въ Римѣ главнымъ предметомъ его изученій были
греческіе (Гомеръ) и латинскіе поэты. Ливія Андроника
“вдалбливалъ ему въ голову” (Ер. II, 1, 71) грамматикъ Орбілій. На двадцатомъ году своей жизни, для
пріобрѣтенія высшихъ философскихъ познаній, онъ
отправился въ Аѳины. Во время пребыванія его въ
этомъ городѣ, получено было извѣстіе объ убіеніи
Цезаря. Восторгомъ его не было конца; молодежь думала,
что республика ужъ освобождена, свобода возродилась,
цѣпи народа разорваны, власть сената восстановлена въ
прежней ея силѣ. Съ энтузіазмомъ читали и перечитывали ту
страницу трактата объ обязанностяхъ, которую Цицеронъ прислалъ въ то время
своему сыну, — школьному товарищу юнаго Горація, —
эту чудную страницу той рѣчи, которую авторъ «*pro Marcello*»
говорилъ на другой день послѣ смерти Цезаря. Горацій видѣлъ въ
Аѳинахъ статуи Брута и Кассія, воздвигнутыя ихъ восторженными
почитателями подлѣ статуй Гармодія и Аристокитона; и когда
Брутъ проѣзжалъ черезъ Аѳины въ свою провинцію, поэтъ
сталъ подъ его знамена и вооружился щитомъ, который
впослѣдствіи бросилъ при Филиппахъ. Объ этомъ несчастномъ
происшествіи поэтъ разсказываетъ самъ въ одѣ къ своему
другу и товарищу по оружію, Помпею Варру:

Съ тобою я пережилъ Филиппы; при тебѣ
Бѣжалъ, безсловно щить свой покидая въ страхѣ...
Въ тотъ день и мужество низвергнулось въ борьбѣ.
И грозные бойцы въ крови легли во прахѣ.
Но средь враговъ меня, въ туманѣ сокрывъ густой,
Испуганнаго спасъ Меркурій быстrokрылый.

Послѣ этой битвы, воспользовавшись объявленной сенатомъ амнистіей, Горацій возвратился въ Римъ. Тамъ
на остатки своего состоянія онъ купилъ себѣ мѣсто
квесторскаго писца, но потомъ скоро оставилъ службу
и исключительно посвятилъ себя поэзіи. Въ это время
онъ написалъ свое первое стихотвореніе, *Erod. XVI*,
за которымъ слѣдовали VII, VI, X, II, (пер. Н. В. Бергомъ)
XII и VIII эподы. Поэтической талантъ Горація
недолго оставался незамѣченнымъ. Скоро мы видимъ
нашего поэта въ тѣсной дружбѣ съ Виргиліемъ и Варіемъ,
которые ввели его въ домъ Мецената, и этотъ,
послѣ девятимѣсячнаго испытанія, принялъ его въ тѣсный
кружокъ своихъ друзей. Поэтъ разсказываетъ намъ объ
этомъ событіи, имѣвшемъ такое рѣшительное вліяніе на
его жизнь (*Sat. I, 6, 45 слѣд.*):

Но обращаюсь на себя я.—За что на меня нападаютъ?
Нынче за то, что бывъ сыномъ раба, получившаго воль-

ность,

Близокъ къ тебѣ, Меценатъ; а прежде за то, что три-

буномъ

Былъ я, и римскій имѣлъ легіонъ подъ начальствомъ!
Въ этомъ есть разниа. Можно завидовать праву начальства,
Но не дружбѣ твоей, избирающей только достойныхъ.
Я не скажу, чтобъ случайному счастью я тѣмъ былъ
обязанъ.

Нѣтъ! не случайность меня указала тебѣ, а Виргилій,
Мужъ превосходный, и Варій тебѣ обо мнѣ рассказали.
Въ первый разъ, какъ вошелъ я къ тебѣ, я сказалъ два-
три слова:

Робость безмолвная мнѣ говорить предъ тобою мѣшала.
Я не пустился въ рассказъ о себѣ, что высокаго рода,
Что поля объѣзжаю свои на конѣ сатурейскомъ;
Просто сказалъ я, кто я.—Ты отвѣтилъ мнѣ тоже два
слова;
Я и ушолъ.—Ты меня черезъ девять ужъ мѣсяцевъ
вспомнилъ,

Снова призвалъ и дружбой своей удостоилъ!»

Впослѣдствіи Меценатъ подарилъ ему небольшое помѣстье въ Сабиніи (villa sabina), гдѣ поэтъ прожилъ большую часть своей остальной жизни, предпочитая тихое уединеніе деревни блестящей жизни цезарскаго двора. Владѣя этой виллой, онъ считалъ себя совершенно счастливымъ: тамъ онъ наслаждался той „золотой посредственностью, (aurea mediocritas)“, которая вмѣстѣ съ немножко-филистерскимъ правиломъ „nil admirari“ сдѣлалась девизомъ его жизни. Правда, что эта максима черезчуръ отзываются „мѣщанскимъ счастьемъ“,—но совершенно понятно, что въ эпоху наступившаго рабства и нравственной порчи поэтъ находитъ въ ней верховную цѣль жизни и искусства. Что оставалось великому, образованному уму, на долю котораго выпало переживать упадокъ всего истинно-великаго,—что оставалось ему,—кромѣ эпикурейски-равнодушной ироніи, или смерти? Но въ природѣ Горація не было ничего катонескаго; онъ любилъ жизнь, и такимъ-образомъ помогалъ себѣ ироніей, старымъ виномъ, да юными кра-

савицами,—и былъ въ обѣихъ этихъ статьяхъ такимъ-же знатокомъ, какимъ изъ посланія къ Пизонамъ оказывается цѣнителемъ поэзіи и поэтовъ.—Такимъ-же „умѣреннымъ“ былъ Горацій и въ политикѣ. Намъ хотѣлось-бы очертить политическую роль Горація, не прибѣгая къ обычаю новаго времени—включать умершихъ въ ряды партій, на которыя дѣлятся живые, и называть напримѣръ *консерваторомъ*. Попробуемъ, по возможности избѣгая этого неологизма, сказать въ нѣсколькихъ словахъ, что такое былъ въ-самомъ-дѣлѣ Горацій. Родившись во время республики, онъ прежде всего былъ республиканцемъ. Четыре года спустя послѣ несчастной битвы при Филиппахъ, онъ былъ представленъ Меценату, и трибунъ Врута готовился воспѣвать Августа. Въ глазахъ потомства—ни его поэтическая слава, ни его репутація честнаго человѣка ни сколько не пострадали отъ этой перемѣны. Горацій перемѣнилъ мнѣніе, но безъ всякой задней мысли, и особенно безъ ярой нетерпимости неопитовъ. Онъ не поступилъ въ войско триумвировъ, какъ многіе изъ его товарищей по службѣ; онъ никогда не отрекался отъ своихъ старыхъ друзей, всегда съ благодарностью вспоминалъ имя Врута и съ гордостью имя Катона; онъ въ стихахъ своихъ хвалилъ старыхъ своихъ друзей, оставшихся политическими врагами Августа; только въ то время, какъ республика пала, онъ увидѣлъ, что можно жить и съ императоромъ. Лучшее всего объясняетъ Гораціеву перемѣну—геній Августа. Августъ былъ „единовластенъ“; но присвоенныя имъ привилегіи нельзя назвать узурпаціей. Благодаря Меценату, Августъ пріобрѣлъ новаго труженика для своей славы; но надо было еще долго упрашивать Горація, чтобъ онъ сдѣлался имъ. Съ оды „къ Счастью“, напи-

санной въ томъ году, какъ сенатъ присудилъ Октавію титулъ Августа, и когда императоръ, готовый отказаться отъ власти, удержалъ ее въ своихъ рукахъ только по настоятельнымъ просьбамъ сената,—начинаются его отношенія въ Августу,—отношенія, несмотря на всю ихъ короткость, чрезвычайно тонкія. Горацій сдѣлался приверженцемъ императора, не измѣняя своимъ принципамъ; онъ постоянно сохранялъ самый строгій нейтралитетъ между угасшей республикой и рождающейся имперіей; символомъ его политическихъ убѣжденій было:—любовь къ настоящему и неизмѣнное уваженіе къ прошедшему. Итакъ Горацій не совершенно отдался императору. Сколько изъ любви къ тишинѣ и независимости, столько-же и изъ скромности, онъ отказался отъ всякаго участія въ дѣлахъ государственныхъ. Если Августъ иногда является въ стихотвореніяхъ Горація великимъ до апофеозы,—то во всякомъ случаѣ это только поэтический образъ, а не политическая догма. Горацій боготворитъ Августа, а не верховную власть. Его укоряли за слѣдующіе стихи:

Regum timendorum in proprios greges,
Reges in ipsos imperium est Jovis.

Мы впадемъ въ заблужденіе, если предположимъ, что этими стихами Горацій хотѣлъ сдѣлать изъ земной монархіи делегацію божественной власти, какъ сдѣлалъ Боскюэтъ въ своей пошлой „Politique tirée de l'Histoire sainte“. Горацій говоритъ, что предъ лицомъ смерти всѣ равны, и богатый и убогій, подданные и цари, которые есть только пастыри народа, какъ боги пастыри царей: это только образъ, только мнѣніе. Горацій вовсе не панегиристъ власти: и тѣмъ-же голосомъ, которымъ

поетъ похвалы Августу, онъ превозноситъ непоколебимую доблесть Катона. Горацій полагалъ, что свобода можетъ жить подо всякой политической формой и вѣрилъ въ то, что Августъ, какъ послѣ него Нерва, счѣмъетъ помирить въ своей верховной власти—*principatum ac libertatem*. Горацій никогда не возстаетъ противъ власти сената, никогда не клеветаетъ на демократическія стремленія народной партіи, никогда не старается возбудить недовѣрчивости императора. Всѣ усилія поэта направлены на то, чтобъ помирить всѣхъ недовольныхъ съ правительствомъ Августа и столичной жизнью. Прочтите его оды къ Торквату, Квинцію, Талиарху и пр.,—вы увидите, что Горацій вездѣ проповѣдуетъ довѣрчивость, мужество, ту „ровность души“, которая помогаетъ намъ терпѣливо переносить всѣ невзгоды. Такимъ образомъ философія составляетъ половину въ политикѣ Горація: то, что началъ Августъ, докончилъ Эпикуръ. Но, повторяемъ, живя во времена Августа, Горацій имѣлъ право быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ. Да и тутъ онъ беретъ изъ эпикуреизма одно только самое здоровое,—принципъ примиренія удовольствія съ доблестью, въ интересахъ счастья, и отбрасываетъ все остальное,—невѣріе и равнодушную безпечальность. Въ политикѣ эпикурейцы почти не могутъ назваться гражданами; они совершенно равнодушны къ дѣламъ общественнымъ, отечество ихъ тамъ—гдѣ жить хорошо: Горацій любитъ воспѣвать славу Рима и служить ему какъ можетъ. Въ религіи эпикурейцы атеисты; Горацій—вѣритъ, что онъ однимъ богамъ обязанъ своей силой и своимъ значеніемъ въ свѣтѣ:

«вѣдаемъ давно мы,
Что тотъ титановъ разразилъ

Рукой, кидающею грома,
Кому земля и валъ морской
И царство грустное подвластно,
Кто и боговъ и родъ людской
Единый судить безпристрастно... (Оды III, 4).

Гораций далеко не врагъ житейскихъ радостей, но онъ не пресыщенъ ничѣмъ, потому-что ничего не употребляетъ во-зло; что касается до смерти, то поэтъ и не боится ее и не насмѣхается надъ ней: ему смѣшны фанфаронады стоиковъ; онъ не вѣритъ, что къ смерти можно приближаться равнодушно, и хорошо знаетъ, что глубина философической твердости—есть мудрая идея, что нужно весело идти туда, куда идти необходимо. Но „на смерть и на солнце нельзя смотрѣть пристально“, сказалъ Ла-Рошфукъ. — Возвратимся къ поэтической дѣятельности Горация.

Гораций продолжалъ все болѣе и болѣе развивать свой поэтический талантъ въ эподахъ и сатирахъ. Вскорѣ послѣ знакомства съ Мecenатомъ, онъ, кажется, написалъ свою I, 3 сатиру, поводъ къ которой, можетъ-быть, подала случившаяся около этого времени смерть пѣвца Тигеллія. Сатира начинается чрезвычайно бойкимъ эскизомъ этого античнаго виртуоза:

Общій порокъ пѣвцовъ, что въ пріятельской доброй
бесѣдѣ

Сколько ни просять ихъ пѣть, ни за что не поютъ; а не
просять—

Пѣнію нѣтъ и конца.—Таковъ былъ сардинецъ Тигеллій!
Цезарь, который-бы могъ и принудить, если-бы даже
Сталъ и просить, заклиная и дружбой отца и своею,

Все ни во что-бы.—А самъ распоеется—съ яицъ и до
яблокъ *

Только и слышишь: «о Ваккъ!»! то высокими напѣвомъ, то
низкими,

Басомъ густымъ, подобнымъ четвертой струнѣ тетрахорда!
Не былъ онъ ровень ни въ чемъ!—Иногда онъ такъ скоро
бывало

Ходить, какъ-будто бѣжить отъ врага; иногда выступаетъ
Важно, какъ-будто несетъ онъ священную утварь Юноны!
То вдругъ двѣсти рабовъ у него, то не больше десятка!
То о царяхъ говорить и тетрархахъ высокія рѣчи;
То вдругъ скажетъ: «довольно съ меня, былъ-бы столь
хоть трехногой,

Соли простая солонка, отъ холода грубая тога»!
Дай сестерцій ему миллионъ, столь довольному малымъ,
И въ пять дней въ кошелькѣ ничего!—Ночь гуляетъ до
утра,

Цѣлый день прохранить!—Не согласенъ ни въ чемъ самъ
съ собою».

Но развѣ и мы безъ пороковъ? спрашиваетъ поэтъ. Конечно,—есть они и въ насъ, и не меньшіе; только къ своимъ порокамъ мы слѣпы, а чужіе видимъ зорко, какъ рыси. Лучше было-бы, еслибъ намъ, какъ влюбленнымъ или какъ нѣжнымъ родителямъ, нравились даже недостатки нашихъ ближнихъ. Но мы, напротивъ, готовы даже чернить ихъ добродѣтели.

„Кто безъ пороковъ родится, тотъ лучше другихъ, въ комъ ихъ меньше“. Сравнимъ наши недостатки: если

* Обѣдъ начинался у римлянъ яйцами, а оканчивался яблоками, какъ у насъ десертомъ. И потому: съ яицъ и до яблокъ, значить—съ начала обѣда и до конца.

ты хочешь, чтобъ я не замѣтилъ у тебя горба,—не смотри на мои бородавки; пойми, что слабостей нашей природы нельзя истребить совершенно,—и не будь слишкомъ скоръ на осужденіе.

Еслибъ кто распялъ раба, со стола относившаго блюда,
За проступокъ пустой, что кусокъ полусъеденной рыбы,
Или простывшей подливки, онъ, бѣдный, дорогой отвѣдалъ:
Ты-бы сказалъ, что безуміе всѣхъ онъ на свѣтѣ!—а
самъ ты

Сколько безуміе! сколько виновіе! другъ предъ тобою
Въ самой бездѣлкѣ провинился,—а ты не прощаешь!

По-крайней-мѣрѣ не слѣдуй хоть правилу стоиковъ, что
нѣтъ различія между большой виной и малой.

Сатиры, обнародованныя до-сихъ-поръ Горациемъ, пріобрѣли ему покровителей, но зато вызвали и нападки,—частью со стороны строгихъ критиковъ, которые оспори-вали у сатиры ея право на поэзію,—частью со стороны тѣхъ темныхъ людей, которые имѣютъ свои причины быть непримиримыми гонителями *свободы* обличитель-наго слова. Въ сатирѣ I, 4-й, Гораций высказываетъ свой взглядъ на сатиру, какъ на отрасль поэзіи вообще, и показываетъ, что его самого заставило сдѣлаться сатирикомъ и въ какомъ отношеніи онъ стоитъ къ своимъ современникамъ, какъ сатирикъ. Онъ полагаетъ, что сатира вышла изъ одного направленія съ древне-аттиче-ской комедіей. Древніе комики съ безграничной свободой карали пороки, и даже личные, своихъ современниковъ; тоже дѣлалъ и Луцилій, его предшественникъ, только вышшею формой своихъ стихотвореній отличавшійся отъ Эвполиса, Кратина и Аристофана. Онъ равенъ имъ по наблюдательности и остроумію; но онъ писалъ слишкомъ

много и слишкомъ скоро. Сатира, по самому существу своему, не можетъ нравиться большинству: потому-что слишкомъ многіе чувствуютъ себя задѣтыми ею за живое.

«Всѣ, кто боится стиховъ, ненавидитъ за нихъ и поэта!
«Съно, кричать, на рогахъ у него!» *—«Берегись, онъ и
друга

Не пощадить; принуждаетъ себя, лишь-бы только смѣяться!
Только-бъ ему написать—всѣмъ мальчишкамъ, старухамъ,
Изъ пекарни-ль, съ пруда-ли идуть, всѣмъ ужъ будетъ
извѣстно!

Хорошо! Но примите-жъ два слова въ мое оправданіе.

Первое, я не считаю себя въ числѣ тѣхъ, которымъ-
бы далъ я

Имя поэта; стихъ заключить въ извѣстную мѣру—
Этого мало.—Ты самъ согласишься, что, кто намъ по-
добно,

Пишетъ, какъ говорятъ, тотъ не можетъ быть признавъ
поэтомъ.

Этого имени честь прилична лишь генію, духу—
Божеской силы, устамъ—великое міру гласящимъ.

Вопросъ, принадлежитъ-ли сатира къ поэзіи, зависитъ оттого, можетъ-ли считаться поэмой комедія, которая, какъ и сатира-же, есть копія съ дѣйствительности. Но рѣшеніе этого вопроса поэтъ откладываетъ до другого времени.

* Метафора эта отъ обычая сельскихъ жителей обвязывать сѣномъ рога бодливыхъ быковъ, чтобы предупреждать походящихъ, и избѣжать ответственности, положенной по закону XII таблицъ, на тотъ случай, если рогатое животное причинитъ кому-либо вредъ ударомъ роговъ.

Но поэма-ль комедія, или она не поэма,
Это оставимъ до времени. Вотъ въ чемъ вопросъ: спра-
ведливо-ль

Ты считаешь опасной сатиру?

«Да, отвѣчаютъ; ты любишь

Всѣхъ оскорблять. Отъ природы ты склоненъ къ зло-
рѣчью!» — откуда

Это ты взялъ? — Кто изъ жившихъ со мной въ томъ меня
опорочить?

Если заочно злословить кто друга, или злорѣчье
Слыша другаго о немъ, не промолвить ни слова въ за-
щиту;

Если для славы забавника выдумать радъ небылицу
Или для смѣха готовъ разсѣлать пріятеля тайну:
Римлянинъ! вотъ кто опасенъ, кто черенъ! Его берегися!

Горацій полагаетъ, что онъ не таковъ:

Этотъ порокъ никогда не войдетъ въ мои сочиненія,
Особенно-же въ сердце; если могу общать — общаюсь.

Его сатиры будутъ плодомъ практическаго изученія че-
ловѣчества. Наблюдательности училъ его еще отецъ въ
дѣтствѣ, и въ свободное время онъ привыкъ набрасы-
вать свои замѣчанія на бумагу. — Мнѣніе, высказанное
въ этой сатирѣ Гораціемъ, что сатиры Луцілія имѣютъ
свои недостатки, вооружило противъ него всѣхъ почи-
тателей стараго сатирика. Въ сат. I, 10 Горацій от-
вѣчаетъ на ихъ нападки критическимъ разборомъ са-
тиръ своего предшественника. Мы уже имѣли случай
говорить объ этой сатирѣ. Съ большимъ юморомъ опи-
сываетъ Горацій свою поѣздку изъ Рима въ Брундузі-
умъ, совершенную имъ въ сообществѣ Мецената. Дру-
жескія отношенія нашего поэта къ Меценату вызвали то-

же не мало завистниковъ. Въ I, 6 сатирѣ, изъ кото-
рой мы привели уже нѣсколько отрывковъ, Горацій раз-
сказываетъ, какъ и черезъ кого онъ познакомился съ Ме-
ценатомъ. Въ сатирѣ I, 7 Горацій рассказываетъ анек-
дотъ, въ то время можетъ-быть и забавный, но по
прошествіи XVIII вѣковъ bon-mot римскаго остряка тре-
буетъ нѣкоторыхъ поясненій: когда Брутъ, убійца Це-
заря, находился въ Азіи въ качествѣ претора, къ не-
му на расправу явились нѣкто Рутілій, по прозванію
царь (rex), и полу-грекъ полу-римлянинъ Персій. Из-
ложивъ свой искъ,

Грекъ Персій, Италиі укусомъ выкупанъ вдоволь,
Вдругъ закричалъ: «умоляю богами, о Брутъ благородный!
Ты, который съ царями справляться привыкъ! для чего ты
Этого терпишь? оно-бы твое настоящее дѣло.

Другой смѣшной случай рассказываетъ Горацій въ сво-
ей сатирѣ I, 8. Можетъ-быть это даже пародія на
„Фармацевтрію“ Виргилія. Поэтъ говоритъ отъ лица
Пріана, только-что выточеннаго изъ сыраго дерева:

Нѣкогда былъ я чурбанъ, отъ смоковницы пенъ беспо-
лезный;

Долго думалъ художникъ, чѣмъ быть мнѣ: скамьею или
Пріапомъ?

«Сдѣлаю бога!» сказалъ онъ; ну, — вотъ и богъ я!

Вотъ этотъ-то богъ и рассказываетъ, какъ двѣ волшеб-
ницы, Канидія и Сагана, приходили ночью на Экви-
линскій-холмъ колдовать. Пріапъ содрогнулся, глядя, ка-
кія онъ дѣлаютъ мерзости; и такъ-какъ онъ былъ сдѣ-
ланъ изъ дерева, то сзади онъ

Вдругъ раскололся и треснулъ:
Точно какъ лопнулъ пузырь! Тутъ колдунья какъ пу-
стается въ городъ;
То-то вамъ было-бъ смѣшно, посмотрѣть какъ попадали
въ бѣгствѣ.

Зубы изъ рта у Каниды, парикъ съ головы у Саганы,
Травы,—и даже запыстья волшебныя съ рукъ у обѣихъ!

Туже Канидію выводитъ Горацій въ V и XVII эпо-
дахъ. — Дружба, которою Меценатъ удостаивалъ Гора-
ція, заставляла очень многихъ обращаться къ нему съ
просьбою ввести ихъ въ домъ къ всеильному любимцу
Августа. Съ неподражаемымъ юморомъ рассказываетъ Го-
рацій въ I, 9 сатирѣ встрѣчу съ однимъ изъ такихъ
нахаловъ, отъ котораго, какъ говоритъ поэтъ, могъ его
спасти развѣ только самъ Аполлонъ; эта встрѣча даетъ
ему поводъ описать тотъ благородный и непринужден-
ный тонъ, который царствовалъ въ домашнемъ кружкѣ
Мецената: „ну что, — спрашиваетъ поэтъ его докучли-
вый спутникъ:

Какъ нынче съ тобою,
И хорошъ-ли къ тебѣ Меценатъ? Онъ вѣдь другъ не со
всякимъ.

Здравомыслящъ, уменъ, и съ фортуною ладить умѣетъ.
Если-бъ одинъ человѣкъ... могъ втереться къ нему! —
помоги-ка:

Былъ-бы помощникъ твой, въ роляхъ вторыхъ. Всѣхъ от-
билъ-бы, клянуса.

—«Полно, ему я сказалъ: мы не любимъ тамъ этихъ про-
дѣлокъ.

Домъ Мецената таковъ, что никто тамъ другимъ не по-
мѣхой.

Будь кто богаче меня, иль ученѣе, каждому мѣсто». —
«Чудно и трудно повѣрить!» — «Однакоже такъ». — Темъ
сильнѣе

Ты охоту во мнѣ возбудилъ къ Меценату быть ближе.
—«Стоить тебѣ захотѣть. Меценатъ лишь сначала не ла-
сковъ;

Впрочемъ, доступенъ онъ всѣмъ». — «Ничего, какъ-нибудь
постараюсь.

Хоть рабовъ у него подкуплю; а ужъ я не отстану.
Выгонитъ нынче — въ другой разъ приду; гдѣ-нибудь пе-
рекресткомъ

Встрѣчу его, и пойду провожать. — Что-же дѣлать? Намъ
смертнымъ

Жизнь ничего не даетъ безъ труда: ужъ такая намъ доля!»

Вѣроятно, по желанію Мецената, Горацій собралъ всѣ
изданныя имъ до того времени сатиры, и посвятилъ ихъ
Меценату, какъ думаютъ, въ 35 году. Къ извѣстнымъ
уже намъ сатирамъ онъ присоединилъ I, 1, въ кото-
рой прямо обращается къ Меценату. Это — родъ „раз-
мышленія“ или „бесѣды“ о непостоянствѣ желаній че-
ловѣческихъ. „Какъ это такъ, спрашиваетъ поэтъ,
что какую-бы долю намъ ни послала судьба, какую-бы
мы сами себѣ ни выбрали, — мы всегда не довольны, всегда
завидуемъ другимъ?“

«Счастливъ купецъ», — говоритъ отягчаемый лѣтами воинъ.
Чувствуя, съ многихъ трудовъ, у себя какъ разбитые члены.
Если-же буря брасаетъ корабль, мореходецъ взываетъ:

«Лучше быть воиномъ! что имъ? лишь кинутся въ битву
съ врагами,

Часъ не пройдетъ — иль скорая смерть, или радость побѣды».

Опытный въ правѣ законникъ, слыша чѣмъ - свѣтъ, что
стучится

Въ двери къ нему довѣритель, хвалить удѣлъ земледѣльца.
Житель-же сельскій, для тяжбы оставить село принуж-
денный,

Вызванный въ городъ, считаетъ однихъ горожанъ за счаст-
ливцевъ.

Слушай, къ чему я веду. Пусть-бы кто изъ боговъ вдругъ
сказалъ имъ:

«Вотъ я! исполню сейчасъ все, чего вы желали. — Ты,
воинъ,

Будешь купцомъ; ты, ученый дѣлецъ — земледѣльцемъ. —
Ступайте,

Роли свои промѣнявъ, ты туда, ты сюда. Что-жъ вы стали?»
Нѣтъ, не хотятъ. — А вѣдь счастье желанное онъ имъ доз-
волил!

Послѣ этого какъ ни надуть и Юпитеру губы,
Какже, во гнѣвъ, ему ни сказать, что впередъ онъ не будетъ
Столь благосклоненъ?

А спросите-ка этихъ людей, — чего они хлопочутъ? —
„Хотимъ-де, какъ муравьи, позаботиться о будущемъ“. Да вѣдь муравьи-то настолько умны, что они зимой наслаждаются тѣмъ, что собрали лѣтомъ; а тебя вѣдь ни лѣто, ни зима, ни огонь, ни море, ни желѣзо не могутъ оторвать отъ барышей; никакихъ нѣтъ препятствій! у тебя одно въ головѣ: чтобъ кто-нибудь не былъ богаче тебя. Что въ томъ пользы, что ты зарываешь въ землю кучи серебра или золота, до которыхъ не смѣешь послѣ и дотронуться? — „Все такъ, отвѣчаютъ они; но вѣдь изъ кучи большой и брать-то пріятнѣе.“ Ну, нѣтъ; ужъ повѣрь мнѣ, что это рѣшительно все

равно; если тебѣ случится нужда въ стаканѣ воды, — неужели ты скажешь: лучше пойду зачерпну въ большой рѣкѣ, чѣмъ въ этомъ источникѣ. На большой-то рѣкѣ вѣдь легко и утонуть.

Если-жъ кто малаго хочетъ, что нужно, тотъ и не въ-
тинѣ

Черпаетъ воду себѣ, да и жизни въ волнахъ не погубить.
Многіе люди, однакожъ, влекомые жадностью ложной,
Скажутъ: «богатство не лишнее; насъ по богатству вѣдь
цѣнять».

Съ этими что толковать! пусть алчность презрѣнная му-
чить.

Такъ, говорятъ, афинянинъ одинъ, и скупой, и богатый,
Рѣчи людскія привыкъ презирать, говоря о гражданахъ:
«Пусть ихъ освищутъ меня; но зато я въ ладоши
Хлопаю дома себѣ, какъ хочу, на сундукъ свой любуюсь».
— Танталъ сидѣлъ-же по горлѣ въ водѣ, а вода утекала
Дальше и дальше отъ устъ!... но чему ты смѣешься?...
Лишь имя

Стоитъ тебѣ измѣнить, не твоя-ли исторія эта?...
Спишь на мѣшкахъ ты своихъ, наваленныхъ всюду, не-
счастный,

Ихъ осужденный беречь какъ святыню; любишься ими,
Точно картиной какой.

Полно копить. Вспомни-ка Умидія, который былъ такъ
скупъ, что таскалъ одно платье съ рабами. А чѣмъ-же
кончилось? его вольноотпущенница, какъ вторая Кли-
темнестра, размозжила ему топоромъ голову. — „Такъ
что-жъ мнѣ дѣлать“? — спрашиваешь ты. Неужь-то мо-
тать, какъ какой-нибудь Меній или Моментанъ? — оши-
баешься, вовсе нѣтъ.

Мѣра должна-быть во всемъ, и всему, наконецъ, есть предѣлы,
Дальше и ближе которыхъ не можетъ добра быть на свѣтѣ.
Я возвращаюсь къ тому-же, чѣмъ началъ: подобно скупому,
Рѣдкій доволенъ судьбою, считая счастливымъ другаго.
Если коза у сосѣда съ паствы придетъ съ отягченнымъ
Выемъ—густымъ молокомъ, и отъ этого съ зависти сохнуть.
А никто не сравниваетъ тебя съ бѣднякомъ; все съ богатымъ.
Новѣдъ какъ ни гонись за богатымъ, все встрѣтишь богаче.
Оттого-то мы рѣдко найдемъ, кто сказалъ-бы, что прожилъ
Счастливо вѣкъ свой, и кончивъ свой путь, выходилъ-бы
изъ міра,

Точно какъ гость благородный, насытись, выходить изъ пира.

Въ pendant къ этой сатирѣ можетъ стать Sat. II, 2.
Поэтъ заставляя поселянина Офелла хвалить умѣрен-
ность и простоту въ жизни. Этотъ Офелль—живой при-
мѣръ тому, что роскошь не есть необходимое условіе
счастья. Когда Гораций еще мальчикомъ зналъ Офеллу,
тогда Офелла жилъ еще въ своемъ помѣстьи; теперь-же,
послѣ раздѣла полей, нанимаетъ землю, которая преж-
де была его собственностью; а живетъ онъ все также:

Никогда, говорить онъ, по буднямъ не ѣлъ я другаго,
Кромѣ простыхъ овощей и куска прокопченной свинины.
Если же изрѣдка гость приходилъ или въ свободное время
Добрый сосѣдъ навѣщалъ, особенно въ ненастную пору,
Я не рыбою купленной ихъ угощалъ; но домашнимъ—
Или цыпленкомъ, козленкомъ.—Кисть винограда,
Крупная фиги, орѣхи; вотъ что мой столъ украшало.
Въ мирной игрѣ между насъ—проигравшій платъ лишнюю
рюмку;

Или, въ честь доброй Цереры, чтобъ выше возрастали ко-
лосья

Нашихъ полей—мы заботы съ чела виномъ прогоняли.
Пусть-же Фортуна враждуетъ и новыя бури воздвигнетъ.
Что ей похитить у насъ? — Скажите, мои домочадцы,
Меньше-ль счастливо мы жили съ-тѣхъ-поръ, какъ у насъ
вотъ владѣтель

Новый явился?—Ни мнѣ, ни ему, ни другому природа
Не назначила вѣчно владѣть.—Онъ насъ выгналъ; его-же
Если не ябеда, то расточительность тоже прогонять;
Или наследникъ, его пережившій, владѣнье присвоить.

Сохранимъ-же всю бодрость;
Твердую душу поставимъ противъ ударовъ Фортуны.

Уже Эний и Варронъ писали объ „искусствѣ пиришествъ“.
Гораций въ сатирѣ II, 4 съ комической серьезностью
развиваетъ эту-же тему. Онъ встрѣчается съ однимъ из-
вѣстнымъ въ то время (впрочемъ, уже покойникомъ)
gourmand, и хочетъ завязать разговоръ. Катій,—такъ
звали эпикурейца, — извиняется недосугомъ: онъ зани-
мается новымъ ученіемъ, высшимъ всего, чему только
ни учили и самъ Пифагоръ и Сократъ, и ученый Пла-
тонъ. Послѣ настоятельной просьбы поэта, — Катій со-
общаетъ ему нѣкоторыя принципы своей науки: длин-
ныя лица вкуснѣе круглыхъ, у нихъ и скорлупа твер-
же; полевая капуста вкуснѣе подгородной; курицу, преж-
де чѣмъ зажарить, слѣдуетъ окунуть въ вино... и такъ
далѣе, ученый эпикуреецъ систематически излагаетъ изо-
брѣтенную имъ науку кулинарной философіи. Мимохо-
домъ онъ упоминаетъ съ похвалой объ изобрѣтателяхъ
новыхъ доктринъ въ поваренной наукѣ, и заключаетъ
свою лекцію нѣсколькими общими замѣчаніями, кото-
рыя еще и въ настоящее время не потеряли своего зна-
ченія:

Неопрятность родитъ отвращеніе къ їдѣ; непріятно,
Если слѣдъ масленныхъ пальцевъ слуги на бокалѣ замѣ-
тень,

Или пасохло на днѣ и замѣтно, что чаша не мыта.
Дорого-ль стоитъ—метелка, салфетка, или опилки?
Просто бездѣлка!—А нерадѣнье—безчестіе большое.
Поль разноцвѣтный изъ камней, а грязною пальмой за-
пачканъ.

Ложа подъ пурпуромъ тирскимъ: глядишь, а подушки —
нечисты.

Ты не забудь: чѣмъ меньше что стоитъ труда и издер-
жекъ,

Тѣмъ справедливѣй осудить тебя; не такъ какъ въ пред-
метахъ,

Только приличныхъ однимъ богачамъ и имъ лишь доступ-
ныхъ.

Панданъ этой сатирѣ составляетъ Sat. II, 8: описаніе
пира, который Назидіенъ давалъ въ честь Мецената.
Нѣкто Назидіенъ, вѣроятно богатый выскочка, добился
высокой чести угощать у себя Мецената и нѣкоторыхъ
изъ его друзей. Все было очень богато; но замѣтно, что
хозяинъ никогда не бывалъ въ высшемъ обществѣ. „Di-
vitiis miseras“! превосходно замѣчаетъ Горацій. Жал-
кое чванство богатства! хозяинъ, не зная чѣмъ занять
своихъ гостей, объясняетъ имъ, какое блюдо откуда „ро-
домъ“, и какъ оно приготовлено. На бѣду, вдругъ въ
самомъ разгарѣ пира, на гостей падаетъ балдахинъ,
обдавъ столъ и всю комнату облакомъ пыли. Хозяинъ
неутѣшенъ. Чтобъ поправить свою неисправность, онъ
велитъ приносить новыя кушанья, и думаетъ угодить го-
стямъ, рассказывая имъ „и натуру и дѣло искусства“.

Но отъ этой болтовни пиръ окончательно опротивѣлъ
приглашеннымъ: „какъ-будто,дохнувши на блюда, вѣдѣ-
ма Канидія ихъ заразила змѣинымъ дыханьемъ“.—Ме-
ценатъ подарилъ Горацію сабинскую виллу. Горацій,
взявъ съ собою своихъ любимыхъ авторовъ,—Платона,
Менандра, Эвполиса, Архилоха — отправился въ эту
виллу, надѣясь тамъ, на досугъ, попристальнѣе занять-
ся поэзіей; но вмѣсто того онъ проводилъ все время въ
dolce far niente. Онъ начиналъ уже входить во вкусъ
знатныхъ господъ и подражалъ богатымъ помѣщикамъ.
Въ сатирѣ II, 3 онъ, съ тончайшей ироніей, дѣлаетъ
самого себя предметомъ сатиры. На праздникахъ Са-
турна къ поэту пріѣзжаетъ непрощенный гость,—стойкъ
Дамазинъ. Добрый человѣкъ занимался прежде покупкой
и продажей статуй и разныхъ древностей; потомъ онъ
раззорился и съ горя хотѣлъ броситься въ Тибръ. Но
его останавливаетъ мудрый Стертиній, и Дамазинъ изъ
промотавшагося антикварія дѣлается длинно-бородымъ
стойкомъ. Теперь онъ кричитъ, что все люди дураки,
за исключеніемъ только самого Дамазина, да учителя
его Стертинія. Мнѣніе свое онъ подтверждаетъ множе-
ствомъ доказательствъ и примѣровъ.— „Положимъ, что
такъ,—отвѣчаетъ Горацій, но такъ-какъ есть много ро-
довъ безумства,—то какое-жъ мое“?— „Во-первыхъ, ты
все строишься и хочешь подражать большимъ госпо-
дамъ. Развѣ тебѣ слѣдъ дѣлать то, что Меценатъ дѣ-
лаетъ. Вспомни, какъ въ баснѣ надувалась лягушонка,
пока не лопнула. Во-вторыхъ, ты пишешь стихи, — а
это все равно, что подливать масла въ огонь. Въ-треть-
ихъ, ты горячаго нрава“.— „Перестань!“ — „Въ-четвер-
тыхъ, ты живешь не по состоянію“. — „Да на самого-
то себя посмотри, Дамазинъ!“ — Въ-пятыхъ, твоя бе-

зумная страсть къ женщинамъ“...— „О, пощади-же, ты, большой безумецъ, меньшаго безумца!“—Нѣсколько времени спустя, Гораций написалъ Sat. II, 6. Поэтъ чувствуетъ себя совершенно счастливымъ, обладая своей сабинской землицей.

Вотъ въ чемъ желанія были мои: необширное поле, Садикъ, отъ дома вблизи непрерывно текущій источникъ, Къ этому лѣсъ небольшой.—И лучше и больше послали Боги безсмертные мнѣ; не тревожу ихъ просьбою болѣ, Кромѣ того, чтобъ всѣ эти дары мнѣ они сохранили.

Хорошо въ деревнѣ. А въ Римѣ... съ ранняго утра ужъ начинаются непріятныя хлопоты; съ ранняго утра осаждаетъ толпа попрошайекъ, которымъ нужно что-нибудь отъ Мецената; или толпа любопытныхъ, которые воображаютъ, что онъ, Гораций, очень близокъ къ „богамъ“ и долженъ знать всѣ правительственныя тайны. Но всѣ они ошибаются.

Скоро вотъ будетъ осьмой уже годъ, какъ я къ Меценату
Сталъ приближенъ, какъ въ числѣ онъ меня и своихъ почитаетъ.
Близость-же эта вся въ томъ, что однажды съ собой въ колесницѣ
Бралъ онъ въ дорогу меня; а довѣренность въ самыхъ бездѣлакахъ.
Спросить: «какой часъ дня?»—или «кто изъ борцовъ превосходнѣй»?
Или замѣтить, что холодно утро, и надо берегъся;
Или другое, что можно довѣрить и всякому уху.
Но завистниковъ день ото дня наживаю я болѣ,

Съ часу на часъ. — Покажуся-ли я съ Меценатомъ въ театрѣ,
Или на марсовомъ полѣ—всѣ въ голосъ: «любимецъ фортуны»!

Чуть разнесутся въ народѣ какіе тревожныя слухи,
Всякій, кого я ни встрѣчу, ко мнѣ приступаетъ съ вопросомъ:

Разскажи намъ; (тебѣ безсомнѣнія все ужъ извѣстно.
Ты вѣдь близокъ къ богамъ) — не слыхалъ-ли чего ты о Дакахъ?»

—Я, ничего. — «Да полно шутить». — Клянусь, что ни слова.

«Ну, а тѣ земли, которыя воинамъ дать обѣщали,
Гдѣ ихъ, въ Сициліи, или Италіи Цезарь назначилъ?»
Ежели я поклянусь, что не знаю,—дивятся, и всякій
Скрытнымъ меня человекомъ съ этой минуты считаетъ.

Такъ я тѣрю мой день, и нерѣдко потомъ восклицаю:
«О, когда-жъ я увижу поля?—И дозволить-ли жребій
Мнѣ, то въ писаніяхъ древнихъ, то въ сладкой дремотѣ и въ лѣни.

Вновь наслаждаться забвеніемъ жизни пустой и тревожной!»

Только тамъ, въ Сабиніи, поэтъ чувствуетъ себя дома,—
когда садится за простой обѣдъ съ своими друзьями и домочадцами.

Въ Sat. II. 7, Гораций опять дѣлаетъ самого себя предметомъ своей сатиры. Рабъ Горация, Давъ, воспользовавшись трехдневной свободой, даруемой рабамъ праздникомъ сатурналій,—высказываетъ своему господину самыя горькія истины. Ты, говоритъ онъ, упрекаешь другихъ въ непостоянствѣ,—а самъ непостояннѣйшій человекъ въ мірѣ; ты хвалишь счастье и доблести древнихъ,

а если-бы это счастье боги тебѣ послали, — ты-бы его не принялъ; далѣе:

Въ Римѣ тебя восхищаетъ деревня; поѣдешь въ деревню
— Римъ превозносишь до звѣздъ, — какъ нѣтъ приглашенія
на ужинъ,

Хвалишь и зелень и овощи: счастьемъ считаешь, что дома
Самъ ты себѣ господинъ — какъ-будто въ гостяхъ ты въ
оковахъ;

Если-же на вечеръ прилетѣть звать Меценатъ: «подавайте
Масла душистыя! Эй, да слышнѣ-ли кто?» — Какъ безумный,

Ты зашумишь, закричишь, бѣготню во всемъ домѣ поднимешь.

Мульвій и всѣ прихлебатели — прочь! Какъ тебя проклинаютъ,
Я не скажу ужъ тебѣ. — «Признаться, легонекъ желудокъ!»
Разсуждаетъ иной: «хоть-бы хлѣба понюхалъ!» — Конечно,
Я и лѣнивъ, и обжора. — Все-такъ. Да и самъ ты та-
ковъ-же,

Если не хуже; только-что рѣчью красивой умѣешь
Всѣ недостатки свои прикрывать.

Я! продолжаетъ Давъ, твѣй рабъ; а ты — рабъ своихъ
страстей, которыя движутъ тобой, какъ проволока
куклой.

Вырвись-ка, попробуй, изъ этихъ оковъ!

— Да прибавь, что ты дома
Часу не можешь пробыть самъ съ собой; а свободное
время

Тратишь всегда въ пустякахъ. — Ты себя убѣгаешь, и хочешь

Скуку въ винѣ потопить, или сномъ отъ заботъ позавѣ-
статься,

Какъ невольникъ какой, или съ барщины рабъ убѣжавшій.
Только напрасно. Они за тобой, и повсюду погонять.

— «Хоть-бы камень какой мнѣ попался!» — На что? —
«Хоть-бы стрѣлы!»

— Что это съ нимъ? помѣшался, или стихи сочиняетъ?...
«Вонъ! А если сейчасъ не пойдешь, то отправлю въ Са-
бину

Я и тебя на работу къ другимъ. Ты ужъ будешь девятый!»

„Искательство наслѣдствъ“, т. е. ухаживанье за богатыми холостяками въ надеждѣ попасть къ нимъ въ наслѣдники, — было въ то время однимъ изъ наиболѣе употребительныхъ средствъ къ обогащенію. Римляне составили даже что-то въ родѣ науки изъ этого постыднаго ремесла, которое Петроній называетъ *haeredipeta*. Поэтъ выбралъ для этой сатиры форму травестіи, привязавшись къ стихамъ Гомеровою Одиссеи. Во время сошествія въ преисподнюю, прорицатель Тирезій предсказалъ Улиссу его будущее. Улиссъ желалъ-бы научиться, какимъ средствомъ онъ можетъ поправить растрату своего имѣнья, потому-что

— безъ богатства

Благородство и доблесть дешевле морскаго пороста.

Если ты, отвѣчаетъ ему Тирезій, хочешь разжиться въ самое короткое время, — то „лови завѣщанья! обирай стариковъ!“ Все, что у тебя случится лучше, — неси къ своему богатому старику. Если-бы онъ былъ даже самый гнусный мерзавецъ, — ты не стыдись показываться на улицѣ въ числѣ его провожатыхъ. Если старикъ подъ башмакомъ какой-нибудь старой ключницы — надо быть за одно съ нею: хвали ее, чтобъ и она тебя расхвалила. Помогаетъ и то! Можетъ-быть онъ пишетъ плохіе стихи? Хвали. — Не шалунъ-ли? женинъ не

любить-ли? предлагай ему скорѣй свою Пенелопу:—Что ты! отвѣчаетъ Улисъ. Это — воплощенное цѣломудріе, которое не могли совратить съ прямого пути цѣлыя толпы жениховъ.— Это оттого, отвѣчаетъ прорицатель,— что молодые люди занимались больше кухней, чѣмъ твоей женой. А повѣрь, что если-бы подвернулся богатый старичекъ,—ее-бы было труднѣе удержать отъ него, чѣмъ гончую собаку отъ добычи.—Горацій совершенствовался съ каждой сатирой; и если не молчали его противники,— то тѣмъ болѣе нравился онъ своимъ знатымъ покровителямъ, особенно Августу, который даже упрекалъ поэта, что онъ не обратился къ нему ни въ одной изъ своихъ сатиръ: — „Знай, писалъ онъ къ поэту, что я сердить на тебя за то, что въ произведеніяхъ этого рода ты рѣдко обращаешься прямо ко мнѣ. Не боишься-ли ты обезславить себя въ глазахъ потомства, открывши ему, что и ты принадлежалъ къ числу нашихъ друзей“? (Suet. vit. Nov.). Въ сатирѣ II, 1, Горацій очень тонко отвѣчаетъ на этотъ, нѣсколько льстивый упрекъ, и благодаритъ Августа за вниманіе, которымъ онъ удостоилъ его сатиры. Потому эта сатира, какъ косвенное посвященіе Августу, поставлена во главѣ второй книги. Горацій встрѣтился съ извѣстнымъ правовѣдомъ Требаціемъ Титой и проситъ его мудраго совѣта. Многимъ, говорить онъ, кажется, что я черезъ-чуръ рѣзокъ въ своихъ сатирахъ, а другіе, напротивъ, думаютъ, что я слишкомъ слабъ; такихъ стиховъ, говорятъ они, можно написать по тысячѣ въ сутки! Посоветуй, что мнѣ давать?— „Оставаться въ покоѣ“!— „Конечно, это лучше всего; но... безъ стиховъ мнѣ не спится“.

«Кто хочетъ покрѣпче уснуть, тотъ вытертый масломъ

Трижды имѣть чрезъ Тибръ переплыть, и на-ночь же-
лудокъ

Цѣльнымъ виномъ всполоскать.—Но если писать ты охот-
никъ,

Лучше отважся подвиги цезаря славить стихами:

Вѣрно ты будешь за трудъ награжденъ.—И желалъ-бы,
отецъ мой,

Но не чувствую силы къ тому. Не всякій-же можетъ

Живо полки описать, съ ихъ стѣною желѣзною копій,

Галла со смертью въ борьбѣ на обломкахъ орудій, иль
пароовъ,

Сбитыхъ съ коней... — «Но ты могъ-бы представить его
справедливость

И великость души, какъ Луцілій воспѣлъ Сципіона».

— «Непременно; какъ скоро представится случай. Некстати
Цезаря слуху стихами Флаккъ докучать не за хочетъ.

Кто неловко погладитъ его, онъ какъ конь забрыкается»

„Но все-же это лучше, чѣмъ бранить какого-нибудь
шута Номентана. Тебя вѣдь всѣ боятся. Кого ты и не
трогалъ,— и тѣ ужъ тебя ненавидятъ“. Что-жъ мнѣ
дѣлать? Такова ужъ моя натура. Но — вотъ что... съ
этихъ поръ я никого не затрону самъ. — Но первый,
кто тронетъ —

(Предупреждаю: лучше не трогай!) — заплачетъ и будетъ
Въ цѣломъ Римѣ, себѣ на бѣду, прославленъ стихами!

По короче скажу: суждена-ли мнѣ долгая старость,

Или на черныхъ крылахъ смерть летаетъ уже надо мною,

Нищъ-ли, богатъ-ли, въ Римѣ-ли я, иль въ изгнаніи буду,

Если угодно судьбѣ—я сатиры писать не отстану!—

«Сынъ мой! боюсь я—тебѣ не дожить до сѣдинъ; а хо-
лодность

Сильныхъ друзей испытаешь и ты!»

„Какъ? но отчего-же Луцилій сатирикъ жилъ въ дружбѣ съ Сципіономъ и Леліемъ? Я-же, хоть и ниже Луцилія по таланту и роду, но сама зависть признается, что я-же вѣдь жилъ съ знатными. Но можетъ-быть ты, Требатій, не согласенъ съ этимъ“.

— „Нѣтъ, и я не поспорю. Однако

Все мой совѣтъ: берегись! Ты законовъ священныхъ не знаешь. Бойся попасть въ непріятную тяжбу. Если писатель Дурно напишетъ о комъ, онъ повиненъ суду и отвѣту“. — Да, кто дурно напишетъ; а кто хорошо, то навѣрно Первый самъ цезарь похвалитъ. И ежели самъ безъ порока, Смѣхомъ позорить людей онъ, достойныхъ позора... „То смѣхомъ

Дѣло твое порѣшать; а ты возвратишься оправданъ“ *.

Таково содержаніе 18 сатиръ Горация. Нѣкоторые комментаторы (напр. Казабонъ) думаютъ, что одно цѣлое съ сатирами Горация составляютъ его *Посланія* (Epistolae); другіе, болѣе основательно полагаютъ, что совершенное различіе характеровъ этихъ родовъ поэзіи не позволяетъ ихъ смѣшивать. Сатира и посланіе—отрасли дидактической поэзіи; но сущность посланія состоитъ въ обращеніи къ извѣстнымъ лицамъ, не въ формѣ посвященія, а такимъ-образомъ, что съ начала и до конца поэмы на ходъ ея имѣютъ вліяніе не только характеръ

* Цитации по переводу г. Дмитріева:—Сатиры Квинта Горация Флакка, съ латинскаго перевода въ стихахъ, М. Дмитріева. М. 1858. — Другіе переводы: а) Квинта Горация Флакка сатиры или бесѣды, съ примѣчаніями, перев. съ латинскаго стихами Иванъ Барковъ. Спб. 1763. — б) Горациевы сатиры; перев. Муравьевымъ-Апостоломъ. — в) Пять сатиръ Горация, въ стихахъ, переводъ съ латинскаго. М. 1843. — д) Объясненія на 1 и 2 Горациеву сатиру, написаны для гимназій П. Тихановичемъ (съ приложеніемъ текста). Харьковъ, 1843 г.

этого лица, но даже частныя обстоятельства, въ которыхъ онъ стоитъ. Предметъ сатиры — бичеваніе пороковъ или осмѣяніе неразумныхъ и смѣшныхъ сторонъ цѣлой эпохи вообще или отдѣльныхъ личностей въ частности; предметъ эпистолы — неопредѣленъ и можетъ варьироваться до безконечности; случайно она можетъ быть сатирическою. Изъ этого слѣдуетъ, что по своей цѣли и по своему содержанію эпистола не всегда можетъ быть отдѣлена отъ сатиры. Различія между ними слѣдуетъ искать единственно во внѣшней формѣ и именно въ тѣхъ индивидуальных отношеніяхъ, въ которыхъ эпистола стоитъ къ лицу, къ которому она адресована, тогда-какъ характеръ этого лица можетъ только мотивировать сюжетъ сатиры, но не находится въ тѣсныхъ отношеніяхъ съ нею. Прилагая эти общія правила къ сатирамъ и посланіямъ Горация, прежде всего замѣчаемъ, что они различаются по цѣли. Первые — постоянно имѣютъ въ виду исправленіе порока; тогда-какъ послѣдніе преслѣдуютъ эту цѣль не исключительно и не всегда. Вторая разниа въ тонѣ. Въ сатирѣ Гораций является насмѣшникомъ, въ посланіи — онъ моралистъ. Въ первой мы видимъ поэта комическаго и сатирическаго; во второй философа. По примѣру Луцилія и древней аттической комедіи, поэтъ сатирическій нападаетъ на извѣстныя личности, иногда даже на живыхъ людей; эпистографъ никогда не позволяетъ себѣ личностей. Сатиры были работой молодого человѣка, посланія — плодъ возраста зрѣлаго. Поэтому въ нихъ больше урбанизма въ тонѣ, больше опытности въ сужденіяхъ. Въ сатирѣ Гораций чаще всего занимается другими, въ посланіи онъ заглядываетъ въ свое собственное сердце и говоритъ съ самимъ собою или съ тѣмъ, кто ему бо-

лѣе близокъ. Посланія—это чисто сердечная исповѣдь поэта. Есть много способовъ приносить публичное покаяніе: на колѣняхъ, съ воплями и рыданіями, во вретѣ и съ головою, посыпанною пепломъ—какъ св. Августинъ; гордо и почти насмѣшливо, какъ Ж. Жакъ, или наконецъ, какъ Санчо-Панса, хлестая по деревьямъ и чужимъ спинамъ. Горацій не принадлежитъ ни къ одной изъ этихъ школъ покаянія: у него нѣтъ ни сокрушенія сердечнаго, ни наглости, ни лицемѣрства; онъ очень просто говоритъ: я согрѣшилъ и жалѣю объ этомъ, но не исправлюсь, потому-что слабъ.—Наконецъ разница въ формѣ: въ эпистолахъ Горацій гораздо тщательнѣе относительно версификаціи и метра; гексаметръ посланій подходитъ къ героическому гораздо ближе, чѣмъ въ сатирахъ. Посмотримъ теперь на посланія. Ер. I, 13—къ Винію Азеллѣ, сабинскому крестьянину, которому Горацій поручилъ отнести къ Августу три первыя книги своихъ одъ. Пожалуйста,—учить его Горацій:—

Августу съ книгами связку отдай за моею печатью,
Если здоровъ онъ, если онъ веселъ и ежели спросить.

А пуще всего не вздумай сказать, что ты вспотѣлъ, неся эти стихи, которые можетъ-быть очаруютъ слухъ цезаря!—Подобнымъ-же обращеніемъ къ выдуманной личности своего управителя Горацій пользуется въ Epist. I, 14, для выраженія своей любви къ деревнѣ. Тебѣ, говоритъ онъ своему мнимому управляющему, хотѣлось-бы жить въ городѣ, между рабовъ, и грызть съ ними ихъ черствый хлѣбъ; а моему пронырливому слугѣ хотѣлось-бы быть на твоёмъ мѣстѣ и смотрѣть за садомъ, стадами, лѣсомъ. Ленивому быку хочется подъ сѣдло; лошади—хочется пахать поле. А по моему гораздо луч-

ше, если всякій будетъ дѣлать то, что умѣетъ. Подобную-же похвалу деревнѣ и тишинѣ сельской жизни содержитъ въ себѣ Epist. I, 10, къ Аристію Фуску. Горацій, другъ полей, привѣтствуетъ Фуска, друга города:—(„только въ этомъ расходятся вкусы двухъ друзей; во всемъ остальномъ они почти близнецы“) онъ совѣтуетъ ему бѣжать величія: можно и подъ бѣдною кровлей жить счастливѣе царей и ихъ любимцевъ. Ер. I, 11, написана къ Булацію, который будучи подверженъ шохондрии, путешествовалъ по средней Азіи и островамъ Архипелага. „Отъ печалей, говоритъ онъ ему, избавляютъ разумъ и мудрость, а не мѣста, откуда можно смотрѣть на далекія волны моря. Тѣ, что бѣгутъ за море, перемѣняютъ только климатъ, а не расположеніе духа“.—Epist. I, 4. Къ поэту Албію Тибуллу. Поэтъ освѣдомляется о здоровьи и занятіяхъ своего знаменитаго друга и зоветъ его къ себѣ. „Если тебѣ придетъ охота посмѣяться, пишетъ онъ, прѣзжай ко мнѣ;—я лоснюсь отъ жира: такія старанія прилагаю о своемъ желудкѣ:

Хочешь-ли ты посмѣяться свинѣ эпикурова стада,
Прѣзжай посмотришь, какъ я толстею, какъ гладка моя
кожа!

Въ 20 году Августъ послалъ своего пріемнаго сына Тиберія на востокъ. Септимій, другъ поэта, желаетъ поступить въ свиту Тиберія и просить у Горація рекомендательнаго письма. Въ Epist. I, 9, къ Клавдію Тиберію Нерону, Горацій съ дипломатической тонкостью исполняетъ просьбу своего пріятеля.—Въ свитѣ-же Тиберія находился и Юлій Флоръ, къ которому написана Epist. I, 3. Горацій спрашиваетъ Флора, что подѣлы-

васть Тиберій, чѣмъ занимается онъ самъ и помирился-ли съ какимъ-то Мунаціемъ. — Epist. I, 8, написана къ Целсу Альбиновану, тоже одному изъ молодыхъ людей тиберіевой свиты. Въ Epist. I, 5, поэтъ приглашаетъ своего друга Торквата отпраздновать съ нимъ день рожденія Августа: „оставивъ дѣло, говоритъ онъ, ускользни черезъ заднее крыльцо отъ кліента, который дежуритъ въ твоей прихожей“. — Въ Epist. I, 12, Гораций рекомендуетъ своего друга Помпея Гросфа Икцію, управлявшему сицилійскими помѣстьями Агриппы. Икцій должно быть жаловался поэту на свои недостатки. „Полно! пишетъ ему Гораций: тотъ не бѣденъ, кто не нуждается въ необходимомъ! если твой желудокъ, твоя грудь, твои ноги въ добромъ здоровьи, вотъ ты ужъ и богатъ“. — Здоровье Горация разстроилось. Онъ цѣлое лѣто лечился въ Байяхъ и хочетъ провести зиму въ тепломъ климатѣ, на самомъ югѣ Италии. Въ Epist. I, 15, онъ спрашиваетъ одного изъ друзей своихъ, Нуманія Валу, каково въ Веліи, каковъ климатъ въ Салерно, каковы тамъ нравы жителей и какія ведутъ туда дороги? Наконецъ есть-ли тамъ зайцы и кабаны, вкусна-ли рыба и т. д. — Epist. I, 17, Сцевѣ; поэтъ совѣтуетъ ему жить „какъ Аристиппъ, который такъ хорошо умѣлъ сохранить свою независимость и въ горѣ и въ счастьи, — не какъ циникъ Діогенъ, который изъ-за куска хлѣба разыгрывалъ передъ чернью роль шута“. Такого-же морализирующаго направленія и Epist. I, 18, гдѣ Гораций даетъ Лоллію совѣтъ, какъ уживаться съ вельможами, не унижая самого себя. Къ тому-же Лоллію надписана Epist. I, 2. Чтеніе Гомера, которымъ поэтъ занялся въ своемъ пренестскомъ уединеніи, даетъ ему предлогъ указать своему молодому другу на эти двѣ поэмы, изъ

которыхъ можно научиться морали лучше, чѣмъ изъ всѣхъ философскихъ системъ, — потому-что пѣвецъ троянской войны показываетъ намъ нагляднѣе и умнѣе всякаго Хризиппа, что честно и что постыдно, что полезно и что вредно. Всѣ бѣды обрушились на голову воюющихъ народовъ отъ любви Париса и ахиллесова гнѣва:

«И безумье парей искупалось кровью народовъ!» —

Epist. I, 6, къ Нумицію, единственный и истинный принципъ жизни — есть: *ничему не удивляться*.

Nil admirari prore res est una Numici, —

т. е. быть равнодушнымъ къ славѣ, къ счастью, къ богатству другихъ, умѣть отказывать себѣ въ чувственныхъ радостяхъ, „ибо не въ нихъ настоящее счастье“. — Epist. I, 16, къ Квинцію. Одинъ изъ друзей спрашивалъ Горация, хорошо-ли ему живется въ деревнѣ. Въсто прямого отвѣта поэтъ посылаетъ ему описаніе своего небольшого помѣстья. Поэтъ радъ высказать другу Квинцію нѣсколько истинъ насчетъ того, что именно составляетъ счастье истинно честнаго и истинно мудраго человека. — Къ Меценату написаны три эпистолы. Epist. I, 19, написана къ ученому Меценату, истинному знатоку искусствъ, которому Гораций жалуется на то, что толпа подражателей замѣчаетъ въ великомъ поэтѣ не духъ его, а то, какъ онъ, поэтъ, харкаетъ и плюетъ. Я, говоритъ Гораций о себѣ, удержалъ свою самостоятельность даже и тамъ, гдѣ былъ подражателемъ. Второе письмо писано къ Меценату, — какъ къ другу; Epist. I, 7. Меценатъ, для котораго общество поэта сдѣлалось почти необходимостью, взялъ съ Горация обѣщаніе, что тотъ пробудетъ въ деревнѣ не болѣе пяти дней. Между-тѣмъ Гораций заставилъ себя ждать почти цѣ-

лѣй мѣсяцъ, — чѣмъ, какъ кажется, очень обидѣлся Меценатъ. Поэтъ извиняется тѣмъ, что боялся въ Римѣ осенней дихорадки, но въ первые ясные дни общается пріѣхать въ Римъ. Ты вѣдь, — пишеть онъ, обогатилъ меня не такъ, какъ калабрійскій крестьянинъ подчивалъ своего соеѣда плодами: „кушай, пожалуйста!“ — Нѣтъ, я ужъ сытъ. — „Ну, такъ возьми съ собою, сколько хочешь!“ — Спасибо — „Твои ребятишки вѣрно не посердятся за этотъ подарочекъ“. — Я благодаренъ тебѣ все равно, какъ будто ужъ набилъ полные карманы. — „Ну, какъ хочешь; а не то бери: все равно, вѣдь выбросимъ-же поросятъ“. — Третье письмо къ Меценату, Epist. I, 1, есть вмѣстѣ-съ-тѣмъ посвященіе къ первой книгѣ эпистолъ. Epist. I, 20, составляетъ ея эпилогъ. — Вторая книга эпистолъ состоитъ изъ трехъ длинныхъ писемъ, которыя имѣють между собою нѣкотораго рода связь. Первая эпистола есть краткій очеркъ исторіи римской литературы, гдѣ поэтъ указываетъ на причины, не допустившія римлянъ во всемъ сравняться съ греками. Въ посланіи этоиъ Горацій обращается къ Августу, и старается убѣдить его въ томъ, что состояніе литературы ни въ какомъ случаѣ не можетъ и не должно быть чуждо главѣ обширной имперіи. Во второй эпистолѣ Горацій изображаетъ ходъ своего собственнаго развитія. Письмо это написано къ Юлію Флору. Флору пеняетъ Горацій, что онъ до-сихъ-поръ не прислалъ ему ни одного своего стихотворенія. „Развѣ я общалъ тебѣ что-нибудь подобное? спрашиваетъ Горацій. Напротивъ, я еще до твоего отъѣзда говорилъ тебѣ, что я облѣнился. Поэтомъ здѣлала меня бѣдность, нужда, — точно такъ пустой кошелькъ сдѣлалъ нѣкогда героемъ одного изъ дукулловыхъ солдатъ. Теперь мнѣ

есть чѣмъ жить, и я лучше просплю свое время, чѣмъ употреблю его на писанье стиховъ. Я ужъ устарѣлъ для стихотворства, да еслибъ и хотѣлъ писать стихи, — на всѣхъ вѣдь не угодишь. Одинъ просить пѣсень, другой ямбовъ, третій сатиръ. Наконецъ, неужели ты думаешь, что въ Римѣ, среди такихъ хлопотъ, шуму, занятій, — мнѣ было-бы легко писать стихи? Одинъ меня зоветъ къ себѣ побесѣдовать, другой за тѣмъ, чтобы прочитатъ мнѣ свои стихи: тогда мнѣ надо ужъ все бросить. А больше-то всего мнѣ опротивѣло стихотворство отъ дружескихъ похвалъ. Въ Римѣ жили два брата — риторъ и юристъ, которые разсыпались другъ передъ другомъ въ самыхъ блестящихъ комплиментахъ, называя себя Гракхомъ и Сцеволой. Развѣ наши словоохотливые поэты не одержимы такимъ-же безуміемъ? Послушай-ка насъ, коли есть досугъ: ты увидишь, какіе вѣнцы мы раздаемъ другъ другу. Если меня кто-нибудь назвалъ Алкеемъ, я долженъ сдѣлать изъ него по-крайней-мѣрѣ Каллимаха, а то такъ и самого Мимнерма. Собственно о поэзіи эти люди не имѣють никакого понятія, поэтому они собой очень довольны; они удивляются самимъ себѣ, и если ихъ не хвалить публика, они въ восторгѣ отъ своихъ твореній, анплодируютъ себѣ сами. Въ Аргосѣ былъ одинъ человѣкъ, который ходилъ въ театръ, когда тамъ никого не было; садился и анплодировалъ отъ всего сердца, воображая, что слушаетъ самыхъ лучшихъ трагиковъ. Когда бѣдняка вывели отъ этого помѣшательства, онъ вмѣсто того, чтобы благодарить своихъ друзей, пенялъ имъ, что они просто убили его, лишивъ самой сладостной иллюзіи. Таковы-то вотъ и наши писатели. Поэтому лучше всего оставить поэзію, и вмѣсто того, чтобы ловить слова для латин-

ской лиры,—всего лучше стараться о стройности и тактѣ въ дѣйствительной жизни.—Третье письмо, „послание къ Пизонамъ“, или какъ называетъ его Квинтилианъ, „Ars poetica“, не есть, какъ думали прежде, дидактическая поэма, объ искусствѣ сдѣлаться поэтомъ. Поэзіи не учать: ни Аристотель, ни Гораций, ни Буало не имѣли подобной претензіи; цѣль ихъ была показать, въ чемъ, по ихъ мнѣнію, состоитъ истинное значеніе поэзіи,—и выставивъ поэзію въ самомъ лучшемъ свѣтѣ, заставить своихъ читателей полюбить ее. Составляя свои „Георгики“, Вергилій конечно имѣлъ въ виду заставить насъ полюбить природу, поля, сельскую жизнь съ ея работами, а не научить насъ пахать землю, ходить за пчелами и сажать бобы. Идея, которую составилъ себѣ Гораций о поэтѣ, можетъ-быть не совсѣмъ подходила къ нашей; но нельзя-же требовать, чтобъ эпикуреецъ временъ Августа понялъ Байрона или Гёте—большая часть эпистолы занята драматическимъ искусствомъ,—очевидно потому, что во время Горация драма оставалась самою необработанною частью римскаго національнаго искусства. Во главѣ своей поэтики Гораций ставитъ правило.

Всякій писатель предметъ выбирай, соотвѣтственный силѣ;
Долго разсматривай; пробуй, какъ ношу; поднимуть-ли
плечи!

Если кто выбралъ предметъ по себѣ, — ни порядокъ, ни
ясность,

Не оставлять его, выраженіе будетъ свободно.

При выборѣ идущихъ къ дѣлу словъ лучше всего руководствоваться своимъ собственнымъ вкусомъ; конечно, не должно пренебрегать и лингвистическими матеріалами прежнихъ писателей. Въ метрической формѣ для

различныхъ родовъ поэзіи единственные образцы—греки. У каждаго рода поэзіи есть свой собственный стиль; но иногда можно мѣнять тонъ въ одномъ и томъ-же произведеніи:

Каждой вещи прилично природой ей данное мѣсто.
Но—иногда и комедія голосъ свой возвышаетъ.
Такъ раздраженный Хремесъ порицаетъ безумнаго сына
Рѣчью исполненной силы *; нерѣдко и трагикъ печальный
Жалобы, стонъ издаетъ языкомъ и простымъ и смиреннымъ.
Такъ и Телефъ и Пелей **, въ изгнаньи и бѣдности оба,
Бросивши пышныя рѣчи, трогаютъ жалобой сердце.
Нѣтъ, не довольно стихамъ красоты, но чтобъ духъ улаждая,
Всюду они увлекали его по волѣ поэта.

Далѣе—стихотворное произведеніе должно соблюдать характеристическую вѣрность въ изображеніи лицъ, различныхъ по своему полу, состоянію или народности.—Сюжетъ стихотворенія есть достояніе общее; но посредствомъ оригинальнаго воззрѣнія на него, поэтъ дѣлаетъ его своею спеціальною собственностью. Пусть только онъ не ставитъ себѣ слишкомъ узкой цѣли, но пусть такъ-же и не общаетъ больше того, что можетъ дать, какъ тотъ циклическій стихотворецъ, который началъ свою поэму:

„Участъ Пріама пою и войну достославную Трои!“
Чѣмъ обѣщанье исполнить, разинувши ротъ такъ широко?...
Мучило гору, а что родилось? смѣшной лишь мышенокъ!
Лучше стократъ, кто не хочетъ начать ничего не по
силамъ:

* Хремесъ—дѣйствующее лицо изъ одной комедіи Теренція.

** Два трагическія лица, изъ героическаго времени грековъ.
Софоклъ и Эврипидъ оба писали трагедіи на эти предметы.

«Муза! скажи мнѣ о мужѣ, который, разрушивши Трою,
«Многихъ людей города и обычаи въ странствіяхъ видѣлъ».
Онъ не изъ пламени дыму хотѣлъ напустить; но изъ дыма
Пламень извлечь, чтобы въ блескѣ чудесное взору пред-
ставить:

Антифата, и Сциллу, или съ Циклопомъ Харибду.
Онъ не начнетъ Діомидовъ возвать съ Мелеагровой смерти,
Ни троянской войны съ двухъ яицъ, порожденія Леды.
Прямо онъ къ дѣлу спѣшитъ; повѣствуя знакомое, быстро
Мимо онъ тѣхъ происшествій внимающихъ слухъ увлекаетъ;
Что воспѣвали другіе, того украшать не возьмется;
Истину съ басней смѣшаетъ онъ такъ, сочетавши искусно,
Что началу середина, срединѣ конецъ отвѣчаетъ.

Драматическій поэтъ, который хочетъ поддержать
интересъ въ публикѣ до самаго конца, — долженъ

всѣхъ возрастовъ нравы представить прилично,
Сходно съ натурою, какъ измѣняются люди съ годами.

Дѣйствіе или разсказывается, или представляется.
Но то, что представляется взору, производитъ болѣе
живое впечатлѣніе, чѣмъ то, что дѣйствуетъ на слухъ.
Драма имѣетъ не болѣе и не менѣе пяти актовъ; но
безъ нужды не предоставляй ей развязку *deus ex machina*;
на сцену никогда не выпускай болѣе трехъ говорящихъ
актеровъ. Хоръ никогда не стоитъ внѣ дѣйствія, поэтому
онъ даже и въ антрактахъ не поетъ ничего, что-бы не
имѣло прямого отношенія къ дѣйствию. — Драма, про-
исшедшая изъ простой сельской забавы, перейдя въ го-
родъ, требовала значительныхъ усовершенствованій въ
музыкальномъ и сценическомъ отношеніи. — Для драма-
тического діалога употребляется ямбическій триметръ;
но древніе поэты, Эній и Анцій, въ размѣрѣ вообще

позволяли себѣ большія вольности. Небрежность поэзіи
объясняется практическимъ направленіемъ римскаго на-
рода; греки-же были и рождены для искусства. — Цѣль
поэзіи двойственна:

Нравиться, или учить — цѣль, къ которой стремятся поэты;
Или и то, и другое: полезное вмѣстѣ съ пріятнымъ...
Всѣхъ голоса соединить, кто мѣшаетъ пріятное съ пользой,
Занимая читателя умъ, и тогда-жъ поучая.

Серьезная и разумная критика приноситъ большую
пользу націи; впрочемъ, —

Если поэма наполнена многихъ красотъ и блестящихъ,
То извинительны малыя пятна, которыхъ небрежность
Или безсиліе природы людской не умѣли избѣгнуть.

Но если поэзія и трудное искусство, зато оно самое
высокое и святое:

Нѣкогда древній Орфей, жрецъ боговъ, провозвѣстникъ
ихъ воли,
Дикихъ людей отучилъ отъ убійствъ и отъ гнусной ихъ
пищи,
Вотъ отчего говорятъ, что и львовъ укротилъ онъ и
тигровъ.

Оливскія стѣны воздвигъ Амфіонъ: отъ того намъ преданье
Повѣствуетъ о немъ, что онъ лиричными звуками камни
Двигалъ съ ихъ мѣста, куда ни хотѣлъ, сладкогласіемъ
лиры.

Древняя мудрость въ томъ вся была, чтобъ народное съ
частнымъ,

Чтобъ святыню съ мірскимъ различить, дать браку уставы,
Строить грады, на древѣ вырѣзывать людямъ законы.

Оттого и божественнымъ именемъ чтити поэтовъ,
И пророчествомъ звали ихъ пѣснь.—Вслѣдъ за ними
позднѣ,

Славный Гомеръ и Тиртей воспаляли своими стихами
Бранныя души. Оракулы тоже въ стихахъ возвѣщались.
Голосъ Піэриды—и жизни указывалъ путь, и поэтамъ
Снискивалъ милость царей, и работъ годовыхъ съ окон-
чаньемъ

Пѣсню веселой народъ услаждалъ.—Не стыдитесь отнынѣ
Лиры искусной, и голоса Музъ, и пѣвца Аполлона.

Что къ совершенству поэмы способствуетъ больше: натура
Или искусство?» — Странный вопросъ! — Я не вижу: къ
чему-бы

Наше ученіе было безъ дара, и даръ безъ науки?...
Геній природный съ наукой должны быть въ взаимномъ
согласьи».

Если хочешь испытать, льстить тебѣ твой другъ или
нѣтъ, напиши только стихи. Если онъ твой истинный
другъ, — онъ сейчасъ-же укажетъ, что надо исправить
и не станетъ говорить: зачѣмъ я буду огорчать друга
такой бездѣлицей? А бездѣлицы-то эти ведутъ вѣдь
къ болѣе важнымъ послѣдствіямъ:

Лишь станетъ читать, и простякъ и ученый
Всѣ уйдутъ, какъ отъ звѣря свою разломавшего клѣтку,
Но кого онъ настигнетъ, бѣда! зачитаетъ до смерти,
Точно пѣвка, пока не напьется полна, не отстанетъ. *

* По переводу г. Дмитріева: «Наука поэзіи или посланіе къ
Пизонамъ К. Г. Ф.; перев. въ стихахъ М. Д. — М. 1853 года.
Другіе переводы посланій: а) *Тредьяковскаго*, «Эпістола къ Пизо-
намъ» въ прозѣ; (Смирд. изд. Т. I, 1 стр. 85—119).—б) Письмо
о стихотворствѣ къ Пизонамъ, проф. *Поповскаго* (шестистоп.

Обратимся теперь къ лирикѣ Горациа. Гораций сдѣ-
лался „поэтомъ чувства“ не столько изъ внутренней по-
требности, сколько изъ желанія состязаться съ греками
въ томъ родѣ поэзіи, который до-сихъ-поръ очень мало,
или даже и вовсе не былъ обработанъ римлянами. Го-
рацій былъ не столько поэтъ, сколько глубокой знатокъ
искусства и практической эстетики, который умѣлъ идти
по слѣдамъ грековъ, не уклоняясь ни къ рабской под-
ражательности, ни къ школьному диллетантизму. До-сихъ-
поръ римлянамъ недоставало прилежанія и тщательности
въ обработкѣ языка и размѣра; оттого Гораций и ста-
рается ближе всего подойти къ своимъ греческимъ об-
разцамъ съ этой стороны. Онъ заимствовалъ у грековъ
искусство, не принося въ жертву естественности римлянъ.
На его выраженіяхъ лежитъ печать чистѣйшаго лати-
низма. При выборѣ сюжетовъ онъ чрезвычайно умно
разсчитывалъ всегда на свои силы. Онъ началъ легкими
пѣсенками любви и дружбы, — подражая Алкею, Сафо
и Анакреону еще довольно близко, иногда даже переводя
изъ нихъ нѣкоторые стихи до-слова. Любовь изобра-
жаетъ онъ съ ея чувственной стороны, въ ея различ-
ныхъ видоизмѣненіяхъ и направленіяхъ, — и для большей
наглядности ставитъ себя самого въ самыя разнообраз-
ныя отношенія къ множеству особъ будто-бы имъ люби-
мыхъ. Многіе принимали эти поэтическія фикціи за дѣй-
ствительныя лица и упрекали Горациа въ легкомысліи,

ямб. напеч. 1801 вмѣстѣ съ переводомъ одъ и лат. текстомъ.—с)
«Посланіе къ Пизонамъ о стихотворствѣ» пер. А. О. Мерзлякова
(шестистоп. ямб. съ рѣзими; напеч. отд. въ 1808; переп. въ
исправл. видѣ. въ «Подр. и перев. изъ греч. и лат. ст.» 1826,
часть 2-я). — д) Кв. Р. Ф. десять писемъ 1-й кн. пер. съ
латинскаго изд. *Ант. Кантемиромъ*, съ примѣч. С.-пб. 1744
года.

волокистетвѣ, чуть не въ развратѣ. Вѣроятно, такъ судили о Гораціи и его современники. Но Лессингъ совершенно очистилъ нашего поэта отъ нареканія въ развратѣ. Также мало заслуживаетъ Горацій упрека въ низкопоклонничествѣ,—упрека, который въ наше время повторяется особенно часто. Если Горацій и давалъ нѣкоторымъ изъ своихъ одъ тонъ болѣе или менѣе панегирической,—то этого требовала чистосердечная привязанность нашего поэта къ нѣкоторымъ изъ своихъ вельможныхъ покровителей. Но при всемъ томъ, нельзя не сознаться, что, какъ мы уже замѣтили, всѣ отношенія Горація къ Меценату и Августу были чрезвычайно тонки. Светоній сохранилъ намъ письмо, которое Августъ писалъ къ Меценату: „Прежде я довольствовался только перениской съ моими друзьями. Теперь, когда я такъ занятъ и такъ страдаю, я-бы охотно отнялъ у тебя нашего Горація. Такимъ-образомъ онъ не долженъ ужъ больше блюдолизничать у тебя, а быть у меня всегда подъ рукой, и приходить къ моему царскому столу, какъ мой секретарь“. Горацій отказался отъ этой чести; но Августъ, какъ извѣстно, не разсердился на гордаго поэта и не лишилъ его своей прежней дружбы. „Что я всегда объ тебѣ помню, писалъ онъ къ нему: это можетъ между-прочимъ сказать тебѣ нашъ Септимій; потому-что въ его присутствіи я не разъ вспоминалъ о тебѣ. Если ты, гордецъ, пренебрегаешь нашей дружбой, то мы не хотимъ тебѣ платить тѣмъ-же“.—Во главѣ первыхъ трехъ книгъ его одъ стоитъ посвяtitельная ода къ *Меценату*, потомуку древнихъ царей,—украшенію и защитѣ поэта. У всякаго свой вкусъ, говоритъ поэтъ: что нравится одному, то очень часто бываетъ противно другому.

«Меня-жъ—зеленый плющъ, премудраго награда,
Равняетъ божествамъ; меня лѣсовъ прохлада,
Да хоры легкихъ нимфъ и фавновъ при лунѣ
Возносятъ надъ толпой, доколь по старинѣ
Эверпа флейту мнѣ звончатую даруетъ
И Полигимнія съ ней лиру согласуетъ.
Коль ты-жъ меня почесть лирическимъ пѣвцомъ,
Я вознесусь до звѣздъ торжественнымъ челомъ».

Ода II къ *Августу*. Всего вѣроятнѣе, что ода эта сочинена въ 29 году, когда отъ растаявшаго снѣга разлилась вода въ Тибръ и произвела въ Римѣ большія опустошенія. Народъ думаетъ, что боги еще не перестали гнѣваться на Римъ за его междоусобія, и желаетъ, чтобъ Августъ, какъ единодержавецъ, водворилъ миръ и тишину въ избранномъ городѣ Квирина. Горацій является истолкователемъ этихъ желаній и умоляетъ Августа, юнаго бога, спасти Римъ отъ гнѣва боговъ и отъ вторженія парянъ:

славное прозванье
Владыки и отца принять не откажи
И Мида коннаго строптивое возстанье
Ты, цезарь, накажи.

Ода III. Къ *кораблю, везущему въ Афины Вир-милія*:

Богиня Кипра твой да сохраняетъ путь,
Елены братія *, блестящія свѣтила,
И самъ отецъ вѣтровъ, не позволяя дутьъ
Всѣмъ прочимъ, одному Япигъ ** давши крыла.

* Касторъ и Поллукъ.

** Западный вѣтеръ.

Тебя, которому *Виргилій* вѣренъ самъ,—
Молю тебя, корабль, снеси черезъ пучину
Его мнѣ бережно къ аттическимъ берегамъ
И сохрани души другую половину.

Ода IV, къ *Сексту*. Поэтъ приглашаетъ своего богатаго друга сначала весны вновь предаться житейскимъ радостямъ.—Ода V. Поэтъ отрекается отъ непостоянной *Пирры*, которая обманетъ своего теперешняго любовника точно также, какъ обманула его *Горація*.—Ода VI. Поэтъ отказывается прославлять *Агриппу*, считая себя недостойнымъ воспѣвать такого героя. А я, говоритъ онъ, —

Пою пиры, да дѣвъ, въ жестокомъ гнѣвѣ
На юношей въ бою острящихъ ногти своей;
Хоть будь свободенъ я, хоть пламенѣй я къ дѣвѣ:
Таковъ обычай мой.

Ода VII. *Горацій* убѣждаетъ *Мунація Планка* искать утѣшенія въ винѣ; онъ приводитъ въ примѣръ *Тевкра*, прогнаннаго отцомъ, который такъ увѣщевалъ своихъ спутниковъ:

О, достойные, много со мною
Горя терпѣвшіе мужи, виномъ прогоните печали...
Завтра опять въ безпредѣльное море.

Ода VIII. Поэтъ упрекаетъ *Лидію* въ томъ, что она до того изнѣжила *Сибарина*, что онъ не участвуетъ въ упражненіяхъ, свойственныхъ его возрасту, какъ-то: верховой ѣздѣ, плаваніи, борьбѣ, и т. п.—Ода IX. Поощраженіе *Алкею*. Поэтъ приглашаетъ *Талиарха* разогнать виномъ, танцами и любовью скуку зимняго времени.

На очагѣ огонь широкій разведя,
Ты стужу прогони веселою пирушкой
И пей, о *Талиархъ*, подваловъ не щадя,
Четырехлѣтнее вино сабинской кружкой.
Что завтра принесетъ, не спрашивай. Лови
Минуты счастья душою благородной;
Не бѣгай, юноша, веселія любви,
Для сердца сладостной, и пляски хороводной.

Ода X. Гимнъ къ *Меркурію*, изобрѣтателю лиры, тоже изъ *Алкея*.—Ода XI. *Горацій* проситъ *Левконою* не заботиться о будущемъ и не вѣрить волхвованіямъ халдейскихъ шарлатановъ:

Не спрашивай: грѣшно, о *Левконоя*, знать,
Какой тебѣ и мнѣ судили боги дать
Конецъ. Терпи и жди! не знай халдейскихъ бредней.
Дано-ли много зимъ, иль съ этою послѣдней,
Шумящей по волнамъ *Тиррены*, смолкнешь ты,
Пей, очищай вино *, и умѣрай мечты...
Пока мы говоримъ, уходитъ время злое,
Лови текущій день, не вѣря въ остальное.

Ода XII, къ *Августу*:

Какого ты мужа, какого героя
О *Кліо!* на лирѣ иль флейтѣ прославишь?
Не имя-ли бога ты эхо живое
Отграничь заставишь?

Не воздать-ли хвалу *Юпитеру*, потомъ *Палладѣ*,
Вакху и *Делійцу*; не прославить-ли *Алкида*, *Леду* и ея
мальчиковъ; *Ромула* и *Нуму*, „гордые связки“ *Тарквинія*,
благородную смерть *Катона*, *Регула*, *Скавривъ*,

* Римляне цѣдили вино, передъ употребленіемъ его.

Павла и Фабриція, Курія и Камилла, или возрастающую славу юнаго Марцелла и самого цезаря, потому-что—

всѣ передъ звѣздою
О, Юлій, твоею,—что меньшіе свѣтомъ
Огни передъ луною.

Отецъ мірозданья и вѣчный блюститель!
Ты, Цезарю въ стражи избранный судьбами,
Даруй, чтобъ второй по тебѣ повелитель
Былъ Цезарь надъ нами.

Ода XIII. Поэтъ упрекаетъ *Лидію*, которая предпочла ему прекраснаго Телефа.—Ода XIV. По примѣру Алкея Горацій сравниваетъ государство съ кораблемъ: поэтъ совѣтуетъ ему не покидать гавань, такъ-какъ у него ужъ давно

Канаты лопнули и остовъ съ килемъ старымъ
Не въ силахъ болѣе бороться съ моремъ яримъ!

Ода XV, подр. греч.; *Норей* пророчествуетъ о разрушеніи Трои.—Ода XVI. Горацій извиняется передъ красавицей, насчетъ которой онъ въ молодости написалъ насмѣшливые ямбы.—Ода XVII. Горацій принимаетъ *Тиндариду*, гречанку-либертину, въ свое сабинское помѣстье.—Ода XVIII. Къ *Квинтілію Вару*, вольн. пер. изъ Алкея.—Ода XIX. Венера воспламенила поэта новой любовью къ *Глицеріи*: онъ хочетъ умиловить богиню жертвой.—Ода XX. Горацій приглашаетъ Мецената отвѣдать своего деревенскаго вина, которое онъ разливалъ въ кувшины въ тотъ день, когда толпа рукоплескала Меценату, замѣтя его приходъ въ театр.—Ода XXI. Горацій совѣтуетъ мальчикамъ и дѣвочкамъ пѣть гимнъ Діанѣ и Аполлону:

Да обратитъ онъ съ насъ и съ цезаря владыки
И голодъ, и чуму, и злую смерть сыновъ,
На край британцевъ дикій
И парвовъ.

Ода XXII. *Аристію Фуску*. Поэтъ сознаетъ на дѣлѣ всепоборающую силу невинности и любви:

О, Фускъ, повѣрь: тому, кто сердцемъ уцѣлѣлъ
Средь искушеній зла и чернаго обмана,
Не нужно ни копья, ни ядовитыхъ стрѣлъ,
Ни тяжкаго колчана.
Когда безъ цѣли я зайду въ сабинскій лѣсъ
И Лалагу пою безпечень и досужень,
Со мною встрѣтятся, волкъ бѣжитъ во мглу деревь,
Хоть я и безоружень.

Ода XXIII. Къ непостоянной Хлоѣ, которая бѣжитъ отъ своего возлюбленнаго.—Ода XXIV. Къ *Виргилію*; на смерть Кв. Вара, поэта и критика, который былъ другомъ Горація, и въ особенности *Виргилія*, къ которому и обращается подлежащая ода. Скорбь объ умершемъ другѣ справедлива; но такъ-какъ самъ Орфей не могъ вызвать изъ царства тѣней свою Эвридику: то—

лучше снестъ въ терпѣнны,
Чему нельзя помочь.

Ода XXV. Къ состарѣвшейся *Лидіи*, которую мало-по-малу оставили всѣ ея любовники:

Юноши буйные въ окна закрытыя
Рѣже къ тебѣ ужъ стучатся теперь;
Крикъ ихъ твой сонъ не прерветъ, и забытая
Заперта дверь.
Ржавыя петли въ томъ вѣрной порукою...

Рѣже и рѣже тебѣ говорятъ:
«Спишь-ли ты, Лидія, въ ночь, какъ я мукою
Страсти объять».

Хватъ-ли старухѣ порою пригрезится,
Станешь на улицѣ плакать пустой,
Выйдя на вѣтеръ аракійскій, что бѣсится
Съ каждой луной.

Грудь распялить и любовь и желаніе,
Что съ кобылицею носится вскачь —
Ревностью лютой заложить дыханіе...
Бѣдная, плачь!

Юноши пылкіе, плющемъ увитые,
Миртомъ зеленымъ любятъ тамъ;
Листья-же зимніе, хладомъ убитые,
Пища волнамъ.

Ода XXVI. Горацій проситъ Музу быть благосклонною къ юному поэту *Элію Ламіи*.—Ода XXVII, къ *друзьямъ собесѣдникамъ*. Поэтъ, желая обратить вниманіе ссорящихся собесѣдниковъ на другой предметъ, предлагаетъ тосты въ честь возлюбленныхъ.—Ода XXVIII. Тѣнь потерпѣвшаго кораблекрушеніе чловѣка, остовъ котораго лежитъ непогребенный на пескѣ, недалеко отъ могилы Архиты, является пловцу, минующему матинскій берегъ и проситъ у него погребенія: „смерть не щадитъ ни такихъ мудрецовъ, какъ Архита, ни такихъ любимцевъ боговъ, какъ Танталъ, Тіеонъ, Миносъ и Эвфорбъ-Пиэагоръ: — и

всѣхъ насъ одно ожидаетъ —
Ночь и тропа невозвратная смерти.

Но исполни свою священную обязанность къ мертвому; тогда Юпитеръ и Нептунъ щедро ниспосллютъ на тебя богатую милость; а если нѣтъ, то — заслуженную кару

Самъ получишь: мои не останутся тщетны молитвы,
И не очиститъ тебя приношенье.

Долго тебя на пути не сдержу я; ты можешь,
Бросивъ три горсти песку, удалиться».

Ода XXIX. Къ молодому *Иккію*, который, въ надеждѣ богатой прибыли, бросилъ свои занятія философией, чтобы принять участіе въ аравійскомъ походѣ Эліа Галла.—Ода XXX. Поэтъ проситъ Венеру, чтобы она вмѣстѣ съ Меркуріемъ, Герой и Амуромъ посѣтила домъ Глицеры.—Ода XXXI. Молитва къ Аполлону при торжественномъ жертвоприношеніи. Поэтъ не проситъ у бога ни золота, ни богатства,—

Дай, сынъ Латоны, мнѣ — готовымъ наслаждаться,
Но съ тѣмъ, молю, чтобы духъ безвредно сохранить,
Благообразной старости дожидаться,
Да питры не забыть.

Ода XXXII. Къ лирѣ поэта:

Насъ просятъ *. Ежели способно больше года
Иль многихъ пережить все то, что мы съ тобой
Брацали въ тишинѣ — о лира, пѣснь народа
Латинскаго пропой;
Впервыя пѣла ты Лесбоса гражданину, **
И храбрый, онъ въ бою, иль у прибрежныхъ волнъ
Съ тобою забывалъ доспѣхи и пучину,
Привязывая чолнъ.

Въ честь либера *** и музъ ты издавала голосъ,
Венеру славилъ онъ и мальчика при ней,

* Кто проситъ: Августъ-ли, друзья-ли поэта, отъ этого смыслъ оды не страдаетъ.

** Алкей.

*** Имя Вакха.

И Лица, юноши-красавица, черный волосъ,
И черныхъ блескъ очей.
Зевесу милая и Феба украшенье,
Обители боговъ отрадная самой,
Внимаи мнѣ, сладкое трудовъ успокоенье
Зовущему съ мольбой.

Ода XXXIII, къ *Албію Тибуллу*. Поэтъ утѣшаетъ своего друга въ невѣрности измѣнившей ему Глицеры.—Ода XXXIV. Ударъ грома, разразившійся въ безоблачномъ небѣ, напомнилъ поэту, „скудному и вѣтренному почитателю боговъ“—о существованіи и страшной силѣ Юпитера.—Ода XXXV. Гораций выспрашиваетъ у *Фортуны* покровительства римскому мечу, притупленному въ междоусобицахъ.—Ода XXXVI. Поэтъ описываетъ праздникъ, которымъ друзья Плотія Нумиды встрѣтили его по возвращеніи изъ испанскаго похода.—Ода XXXVII. М. Т. Цицеронъ (сынъ оратора) привезъ извѣстіе о смерти Клеопатры. Поэтому поводу Гораций приглашаетъ друзей своихъ на праздникъ. Ода XXXVIII. Къ мальчику прислужнику:

Персидской роскоши я, мальчикъ, не терплю,
Плетенаго вѣнка завязокъ не люблю.
Когда приблизиться грозятъ зимы морозы,
Ты не ищи нигдѣ мнѣ запоздалой розы.
Побѣги иѣжные свивая, миртъ простой
Ни съ чѣмъ не смѣшивай заботливой рукой;
Не нужно ни тебѣ красивѣе наряда,
Ни мнѣ за чашею подъ стѣною винограда.

Вторая книга одъ начинается одой къ *Азинію Полліону*; въ ней поэтъ воспѣваетъ своего знаменитаго друга, какъ автора исторіи гражданскихъ войнъ,

какъ трагическаго поэта, какъ замѣчательнаго оратора, какъ мудраго государственнаго мужа и счастливаго полководца.—Ода II къ *Саллюстію Криспу*, (племяннику историка). Поэтъ хвалитъ благородное и мудрое употребленіе богатства.—Ода III, къ *Кв. Деллію*. Зная легкомысліе своего друга, Гораций совѣтуетъ ему быть болѣе равнымъ среди превратностей судьбы:

Покой не забывай душевный сохранять
Въ минуты трудныя, а также и веселій
Безумныхъ въ счастьи старайся избѣгать:
Вѣдь все-же смертенъ ты, о Деллій!

Ода IV, къ *Ксантію*. Нечего стыдиться любви къ рабынѣ.—Ода V. Поэтъ порицаетъ любовь своего друга къ слишкомъ еще юной *Лалат*.

Ода VI, къ *Септимію*. Гораций хотѣлъ-бы жить со своимъ другомъ Септиміемъ въ Тибуръ или гдѣ-нибудь въ окрестностяхъ Тарента.—Ода VII, къ другу юности и товарищу по оружію *Помпею Вару*. Поэтъ приглашаетъ своего друга отдохнуть у него отъ долгихъ военныхъ трудовъ и за кубкомъ вина забыть житейскія невзгоды.—Ода VIII, къ *Баринь*. Чѣмъ чаще она измѣняетъ своимъ клятвамъ, тѣмъ обворожительнѣе становятся ея прелести:

и не умѣешь клятвой
Отягчить главы ты своей преступной,
Какъ для всѣхъ красой ты блистаешь новой,
Юношей мука!

А Венера съ приближенными, вмѣсто того, чтобы негодовать на продѣлки Барини, смѣется:

Тутъ сама Венера, кажись, смѣется,

Съ ней простыя нимфы смѣются, съ ними
И Эротъ, на камнѣ точа кровавомъ
Жгучія стрѣлы.

Ода IX, къ *Валію*. Нельзя-же ему вѣчно опла-
кивать смерть своего возлюбленнаго отрока Миста. А
лучше, говоритъ поэтъ, воспоемъ вмѣстѣ новыя побѣды
Августа.—Ода X, къ *Лицинію Муренъ*: похвала
золотой посредственности:

Счастливѣй проживешь, Лицинъ, когда спѣсиво
Не станешь въ даль пучинъ прокладывать слѣдовъ.
Иль устрася бурь, держаться боязливо
Невѣрныхъ береговъ.

Златую кто избралъ посредственность на долю,
Тотъ будетъ презирать, покоенъ до конца,
Лачугу грязную и пышную неволю
Завиднаго дворца.

Грознѣй дыханье бурь для исполинской ели,
И башни гордыя съ отвѣсной высоты
Тяжеле рушатся. Громамъ нѣтъ ближе цѣли,
Какъ горныя хребты.

Ода XI. Поэтъ старается внушить *Кв. Гирпину*
правило, котораго самъ держится неизмѣнно: *capre diem*
(лови текущій день).—Ода XII, къ *Меценату*. Пусть
Меценатъ не требуетъ, чтобъ поэтъ на своей цитрѣ
воспѣвалъ подвиги его предковъ: подобное содержаніе
не по силамъ лирической музы. Ты, Меценатъ, самъ
расскажешь объ этомъ гораздо вѣрнѣе, а я буду вос-
пѣвать красоту молодой Лициніи.—Ода XIII. Гораций
проклинаетъ *дерево*, которое чуть-чуть не убило его
своимъ неожиданнымъ паденіемъ.—Ода XIV, къ *По-
стумію*. Жалобы на скоротечность жизни:

Увы, мимолетно, Постумій, Постумій,
Пронесется годы, моленья напрасны:
Не сходятъ морщины, наслѣдье раздумій,
А старость и смерть неизбежно-ужасны.

Ода XV, къ *римлянамъ*. Они возводятъ дворцы,
выкапываютъ пруды, подобные озерамъ; виноградники
и плантаціи маслинъ обращаются въ цвѣточные сады.
Не того хотѣли Ромуль и бородатый Катонъ: не та-
ковы были нравы предковъ, не пренебрегавшихъ дерномъ
для кровель и строившихъ храмы и стѣны изъ новооте-
санныхъ камней.—Ода XVI, къ *Полпею Гросфу*. Пло-
вецъ, застигнутый бурей въ устьянномъ подводными кам-
нями морѣ—проситъ покоя; покоя проситъ у неба воинъ;
покоя,—котораго ни купить ни за пурпуръ, ни за зо-
лото, ни за самоцвѣтные камни.

Въ бурѣ душевной нельзя откупиться,
Ликторъ отъ ней не спасетъ властелина;
По потолку золотому кружится
Злая кручина.

Малымъ доволенъ, предъ кѣмъ родовая
Блещетъ солонка за ужиномъ скуднымъ;
Спитъ онъ, корыстной тревоги не зная,
Сномъ непробуднымъ.

Что намъ бросаться-то въ жизни юдольной?
Что-жъ на чужбину такъ рвешься ты, странникъ?
Гдѣ-то самого себя добровольный
Кинешь изгнанныкъ?

Горе въ корабль за тобою, порочный!
Въ конномъ строю злое горе съ тобою,
Лави быстрѣй, и быстрѣе восточной
Тучи съ грозю.

Духомъ довольства нищи въ настоящемъ,
Тщетно въ грядущемъ не жажда блаженства;
Смѣйся въ напасти, ни въ чемъ преходящемъ

Нѣтъ совершенства.

Вкругъ тебя съ ревомъ пасутся коровы,
Ржетъ кобылица въ четверку лихая;
Платья поила твои и покровы

Краска двойная.

Парка судила въ душѣ неподкупной
Дать мнѣ немного полей во владѣнье,
Греческой музы напѣвъ и къ преступной
Черни презрѣнье.

Ода XVII, къ *больному Меценату*:

Къ чему плачевный стонъ меня терзаетъ твой?
Мнѣ боги изрекать не стануть приговора,
Чтобъ ты о Меценатѣ отшелъ передо мной,
Отрада дней моихъ и сильная опора.

Желаніе, или лучше сказать, пророчество поэта, исполнилось. Гораций пережилъ Мецената только нѣсколькими днями.—Ода XVIII. Поэтъ, довольный своимъ скромнымъ достаткомъ, не завидуетъ сильнымъ и богатымъ: всѣхъ ждетъ одна и та-же участь — смерть.—Ода XIX. Гимнъ къ *Вакху*; вѣроятно съ греч.—Ода XX. Заключение ода къ Меценату. Поэтъ чрезвычайно живо рисуетъ превращеніе себя въ лебедя:

Рубчатой кожею, ужъ чувствую теперь я,—
Покрылись голени, а по поясъ я самъ
Сталъ бѣлой птицею, и молодыя перья
По пальцамъ у меня растутъ и по плечамъ.
Уже несясь быстрѣй дедалова Икара,
Босфоръ kloчущій я подъ собой узрѣлъ.

Гетульскіе сирты и край земнаго шара
Я пѣвчей птицею на крыльяхъ облетѣлъ.
Колхіецъ и Гелонъ мнѣ внемлетъ отдаленный,
И Дакъ, скрывающій предъ строемъ мавровъ страхъ,
И пѣснь мою почтитъ иберець просвѣщенный
И тотъ, кто пьетъ Роданъ въ широкихъ берегахъ...
Я не велю мой гробъ рыданьями безславить;
Къ чему нестройный плачь и неприличный стонъ?
Уйми надгробный вой и прикажи оставить
Пустыя почести роскошныхъ похоронъ.

Третья книга — есть зрѣлый плодъ возмужалости. Первые шесть одъ имѣютъ этической характеръ; говорятъ даже, что Гораций, по желанію Мецената, а можетъ-быть и самого Августа, написалъ ихъ для поученія юношества. Начало I оды есть какъ-бы общее вступленіе къ пяти остальнымъ:

Темную чернь отвергаю съ презрѣніемъ:
Тайнымъ доселѣ внемлите напѣвамъ!
Жрецъ, вдохновенный Камень повелѣніемъ,
Мальчикамъ нынѣ пою я и дѣвамъ.
Въ страхъ народъ укрощенъ властелинами;
Воля Юпитера править царями,
Славный триумфомъ въ бою исполними
Грозными свѣтъ потрясаетъ бровями.

Богатые, могучіе, славою покрытые — передъ нимъ ничто. Всѣ подчинены одному и тому-же закону необходимости. У кого надъ головой виситъ на волоскѣ мечъ обнаженный, тотъ ужъ не найдетъ сласти въ роскошныхъ яствахъ, и не вернутъ къ нему благодатнаго сна ни звуки цитры, ни пѣніе птицъ. Между - тѣмъ сладостный сонъ не минуетъ убогаго сельскаго крѣва.

Кто доволенъ малымъ, того не смущаетъ ничто: нѣтъ ему дѣла до бури на морѣ, до граду, до неурожая. Если тебѣ надобѣтъ материкъ и ты начнешь строиться на морѣ:

Но безчувственны къ жалобѣ
Страхъ и тоска идутъ тѣми-жъ слѣдами...
Онъ на корабль—и забота на палубѣ;
Онъ на коня—и печаль за плечами.
Если ни пурпуръ, ни камня фригійскаго
Блескъ—омраченной душѣ не отрада,
Если не сладокъ растенья индійскаго
Дымъ и не радуется сокъ винограда,
Такъ колоннадой къ чему исполинскою
Входь мнѣ въ дому украшать прихотливый?
Такъ для чего-же долину Сабинскую
Роскошью я замѣню хлопотливой?

Ода II. Поэтъ совѣтуетъ *римскому юношеству* приучать себя къ лишеніямъ: „въ этой одѣ онъ указываетъ юношамъ на вторую добродѣтель истиннаго римлянина, на доблесть (virtus), которая вмѣщаетъ въ себѣ и перенесеніе воинскихъ трудовъ, и готовность умереть за отечество, и стремленіе къ славѣ—высшей и единственной наградѣ подвига“.—Ода III. Въ примѣръ истинной доблести, вѣрной себѣ всегда и во всемъ, Гораций ставитъ Поллукса, Геркулеса, Либерія, Августа и въ особенности Ромула; ода эта служить новымъ доказательствомъ того, что Гораций всегда сознавалъ высокое призваніе поэзіи—быть голосомъ всего народа. Въ Римѣ распространился слухъ, что Августъ уѣзжаетъ на востокъ; говорили, что онъ хочетъ перенести императорскій престолъ въ Азію, въ Трою. Гордость Рима

востревожилась; старыя воспоминанія пробудились: припомнили древнее преданіе, запрещающее именемъ боговъ воскрешеніе страны, проклятой Юноной. Гораций успокоиваетъ свое отечество и предупреждаетъ Августа. Апофеоза Ромула напомнила ему объ этомъ преданіи. Могучее воображеніе поэта переносится въ небо, и онъ присутствуетъ въ верховномъ совѣтѣ боговъ. Юнона, устами поэта, произноситъ нерушимое проклятiе на Трою; велитъ, чтобы вѣчно плескалось бурное море между цвѣтущимъ Римомъ и лежащимъ въ прахѣ Иліономъ; велитъ для спасенія Капитолія осрамить прахъ Пріама и Париса. Если она, враждебная троянцамъ, и рѣшилась покровительствовать римлянамъ, ихъ потомкамъ, то съ однимъ только условіемъ, что стѣны ненавистнаго Пергама не возобновятся никогда. Вотъ въ какихъ словахъ поэтъ говоритъ свою похвалу человѣку справедливому и твердому въ своихъ намѣреніяхъ, *justum ac tenacem*:

Мужъ правоты, неотступной въ обдуманномъ,
Не поколеблется ни предъ кипучею
Волей гражданъ, коль потребуютъ низкаго,
Ни передъ волей тирана могучею,
Ни предъ волной разъяреннаго Адріа,
Ни предъ лесницею, гдѣ громъ заражается:
Онъ, еслибъ небо со трескомъ разрушилось,
И подъ обломками не испугается *.

* Эта и всѣ другія цитаціи изъ одъ Горация сдѣланы по переводу г. Фета. (Оды К. Г. Ф. Спб. 1856). Но четвертый стихъ этого отрывка (*non vultus instantis tyranni*)—г. Фетомъ не переданный, мы должны были перевести сами.—Вотъ это мѣсто по старинному переводу (и болѣе близкому) А. Ѳ. Мерзлякова:

Правого мужа, вѣрнаго метѣ, ни —

Ода IV. Поэтъ призываетъ *Callionu*, царицу Музъ, и проситъ ее пропѣть ему длинную пѣсню. Музы любили Горация еще мальчикомъ; потомъ онѣ спасли его при Филиппахъ, онѣ-же отвели отъ него ударъ внезапно упавшаго дерева и утишили бушующія волны у Полинезскаго мыса, гдѣ поэта, возвращавшагося въ Италію, застигла буря. Пока онѣ съ нимъ—онѣ не боится ужасовъ далекихъ странъ и варварства ихъ суровыхъ обитателей. Вы-же, Музы, распѣваете въ угоду цезаря, когда онѣ отдыхаетъ въ Римѣ съ своими усталыми когортами. Онѣ даютъ ему свои кроткіе совѣты, и любятъ, если онѣ ихъ слушаетъ. Мы знаемъ, что Юпитеръ всегда побораешь грубую силу и наказываетъ мятежниковъ.

И силы безъ ума вредятъ.
Себѣ-же боги, поучая,
Лишь силу мудрую хранить:—
Имъ ненавистна сила злая.

Ода V, къ *Августу*. На небѣ властвуетъ громоносный Юпитеръ; но на землѣ видимымъ богомъ можно будетъ

Ярость согражданъ, строищихъ вредный ковъ,
Ни грозные взоры тирана,
Въ твердой не двинуть душѣ; ревель-ли
Австеръ свирѣлый, Адри бурной вожь,
Мещеть-ли громы пламенна Зевса длань:
Надъ, раздробися сводъ неба;
Онъ разразится въ обломкахъ— тотъ-же!

Кромѣ этой оды Мерзляковымъ переведены: (кн. I, 34, 35, 24, 5, 22, 4, 13, 23, 9. Кн. II, 16, 3, 10, 18, 2, 8, 20. Кн. III, 4, 2, 16, 5, 21. Кн. IV, 4, 7, 9).— Другіе переводы отъ Горация: а) Опытъ перевода Горациевыхъ одъ. В. Орлова на русс. и лат. яз. 1850.— б) Избранныя Горациевы оды, перев. на рус. яз. В. Филимоновымъ. Спб. 1858 (XII одъ; переводъ весьма слабъ).— в) Весна. Ода къ С. Публію; въ журн. люб. росс. словесности, № 6.— д) Переводы отдельныхъ одъ *Крешова*, *Вердеревскаго* и др.

считать Августа, если онъ успеетъ покорить бритовъ и персовъ. Вспомнивъ грозныхъ персовъ, поэтъ съ горечью говорить о войнахъ Красса, которые, не умѣвъ защищаться, попали въ плѣнъ, и женившись на „варваркахъ“, совершенно забыли отечество. Пусть Августъ не освобождаетъ ихъ: они не годны для Рима и могутъ оставаться въ Персіи обрабатывать поля отцовъ своихъ жонъ. Еще Регулъ сказалъ, что воинъ, добровольно положившій оружіе, ни къ чему негоденъ, и поэтому уговаривалъ сенатъ не соглашаться на выкупъ плѣнныхъ. „Воинъ искупленный золотомъ, сказалъ онъ:— не вернется храбрѣе, къ стыду только прибавится убытокъ“:

И тутъ онъ, говорятъ, стыдливыя лобзанья
Супруги и дѣтей невинныхъ отклонилъ,
Какъ недостойный членъ гражданскаго собранья*,
И мужественный взоръ на землю устремилъ,
Доколь совѣтъ его неслыханный, но здравый,
Не вызвалъ наконецъ рѣшимости въ умахъ
Патріціевъ... Тогда изгнанныкъ величавый
Оставилъ медленно друзей своихъ въ слезахъ.
А звалъ онъ подлинно, какія ждали муки
Его у варваровъ; но предъ собой впередъ
Такъ точно раздвигать старались руки
Толпу, искавшую его замедлить ходъ,
Какъ-будто, только-что окончивъ пренья
Суда, въ которомъ былъ имъ защищенъ кліентъ,
Въ Венафрѣ онъ спѣшилъ искать отдохновенья
Или въ спартанскій шель отправиться Тарентъ.

Ода VI, къ *римлянамъ*:

* Находясь во власти враговъ, Регулъ считалъ себя лишеннымъ не только гражданскихъ, но и семейныхъ правъ.

Безвинно искупать тебѣ грѣхи отцовъ *,
О римлянинъ! доколь ты не оправдѣшь зданій,
Полуразрушенныхъ жилищъ твоихъ боговъ,
И дыма не сотрешь съ священныхъ изваяній.
Богамъ покорствуя, владѣешь ты землей.
Всеу начало тутъ, веди исходъ къ тому-же.
За непочетъ боговъ Гесперія судьбой **
Была достигнута, какой не встрѣтишь хуже.

Два раза паряне съ ушѣхомъ отбивались отъ римскаго войска; Дакія и Египетъ чуть-чуть не завоевали себѣ свободы. Да и не удивительно; потому-что порочное поклѣнѣе осквернило святиню дома и брака.

Искусству правиться мы рано учимъ дѣвъ,
Имъ іонійскія дались тѣлодвиженія,
И каждая изъ нихъ, еще и не дозрѣвъ,
Уже любовныя лелѣетъ вождельнѣя;
А въ скоромъ времени за мужнинымъ виномъ
Любовника себѣ моложе принасааетъ,
И радостью дая запретною тайкомъ,
Кого-бъ то ни было—въ потьмахъ не разбираетъ.

Не отъ такихъ отцовъ родилось нѣкогда поколѣнѣе, побѣдившее Аннибала и Антиоха; то были сыны воиновъ-оратаевъ, привычные пахать землю сабинскимъ плугомъ; матери заранѣе внушали имъ и страхъ и трудъ; а теперь молодежь римская

Все уменьшается, мельчаетъ каждый часъ:
Отцы, которыхъ стыдъ и сравнивать съ дѣдами,

* Гораций разумѣетъ всѣ преступленія междоусобныхъ войнъ со временъ Суллы.

** Италія.

Родили насъ еще негоднѣйшихъ, а насъ
Еще пустѣйшими помянетъ міръ сынами.

Ода VII, къ *Астеріи*. Ея возлюбленный Гигесъ скоро вернется; вѣрный своей Астеріи, онъ устоялъ противъ соблазновъ Хлои; но пусть-же и Астерія бережется своего прекраснаго сосѣда Эпипея.—Ода VIII, къ *Меценату*. Поэтъ приглашаетъ своего покровителя отпраздновать съ нимъ мартовскія календы, — годовщину приключенія съ упавшимъ деревомъ.—Ода IX. Поперемянное цѣнѣе Горация и Лидія. Сначала взаимное поддразниванье, потомъ миръ.—Ода X, къ *Лику*. Родъ серенады передъ дверьми жестокой красавицы.—Ода XI, къ *Меркурію*. Поэтъ, какъ-бы не надѣясь на собственный даръ слова, проситъ бога краснорѣчія убѣдить прихотливою Лику.—Ода XII, подражаніе Алкею. *Необула*, влюбленная въ прекраснаго юношу Гебра, жалуется, что строгій дядя не позволяетъ ей ни „играть любовію отрадной, — ни омыватъ тоски во влагѣ виноградной“.—Ода XIII, къ *Ключу Бандузію*. Поэтъ обѣщаетъ нимфѣ этого источника жертвоприношеніе козленка.—Ода XIV, къ *римскому народу*. Друзья Августа должны праздновать его счастливое возвращеніе изъ Кантабріи.—Ода XV, къ *Хлоридѣ*, состарѣвшейся супругѣ бѣднаго Ивика. Поэтъ упрекаетъ ее, что ей пора ужъ въ могилу, а все еще хочетъ играть между дѣвами.—Ода XVI, къ *Меценату*. Поэтъ знаетъ цѣну золота, — но онъ знаетъ и заботы, которыя приносятъ богатство. Поэтому онъ никогда не чувствовалъ въ себѣ алчности къ золоту:

Чѣмъ больше кто себѣ отказывать умѣетъ,
Тѣмъ боги болѣе даютъ ему.

Сабияское помѣстье обезпечило поэта отъ нищеты; Гораций увѣренъ, что пожелай онъ большаго, — Меценатъ не отказалъ-бы ему; но гораздо лучше ограничиться малымъ; ибо

Кто много захотѣлъ,—

Всегда въ пуждѣ. Блаженъ, кому скупой рукою

Богъ сколько нужно далъ въ удѣлъ.

Ода XVII, къ *Элію Ламію*, потомку благородныхъ и знаменитыхъ предковъ. Назавтра, кажется, будетъ ненастная погода („коль точно не обманетъ ворона, старая предвѣстница дождей“); поэтому —

Дровъ припасай сухихъ, и бури не замѣтишь,

А завтра геніа-хранителя виномъ

И поросенкомъ ты осьминедѣльнымъ встрѣтишь

Съ веселой челядью, не занятой трудомъ.

Ода XVIII, къ *Фавну*. Поэтъ проситъ бога возвратиться на его поля; за это на праздникъ фавналій ему принесутъ жертву и устроить въ честь его пиръ. — Ода XIX, къ *Телефу*. Мурена, въ обществѣ нашего поэта и другихъ друзей своихъ, учреждаетъ веселое ночное пиршество въ честь своего избранія въ авгуры. — Ода XX, къ *Пирру*, который споритъ съ одной женщиной за обладаніе юнымъ красавцемъ Неархомъ. Пока Пирръ вынимаетъ стрѣлы „и зубы страшные востритъ на бой“ — отрокъ равнодушно стоитъ въ сторонѣ:

Играетъ вѣтръ въ кудряхъ и пряди умашенной

Лишь изрѣдка даетъ спускаться до плеча...

Таковъ одинъ Нирей, иль съ Иды похищенный

У горнаго ключа.

* Ганимедъ.

Ода XXI, къ *Амфору*. Амфора эта наполнена виномъ въ тотъ годъ, въ который родился Гораций; онъ приглашаетъ М. Корвина распить ее. — Ода XXII. Посвятельная пѣснь *Дианѣ*, дѣвъ-защитницѣ горъ и долинъ. — Ода XXIII, къ *Фидимѣ*, цѣломудренной и набожной домоправительницѣ Горация; ея безкровныя дары гораздо пріятнѣе ларамъ, чѣмъ пышныя жертвы, приносимыя жрецами. — Ода XXIV, къ *скупцамъ*. Гораций преслѣдуетъ корыстолюбіе и роскошь своихъ соотечественниковъ. — Ода XXV, къ *Бахусу*. Вдохновенный Ленеємъ, поэтъ хочетъ воспѣть подвиги цезаря. — Ода XXVI, къ *Венерѣ*:

О ты, которой Кипръ покоренъ и Мемфисъ,

Снѣговъ Снооніи незнающій зимою,

Царица мощная, къ мольбамъ моимъ склонись

И тронъ надмѣнную, бичемъ взмахнувши, Хлою.

Ода XXVII, къ *Галатеѣ*. Поэтъ желаетъ счастья дѣвушкамъ, отправляющейся съ своимъ обожателемъ въ чужіе края. Но въ примѣръ бѣдствій на чужой сторонѣ онъ приводитъ примѣръ Европы. — Ода XXVIII, къ *Лидѣ*. Поэтъ приглашаетъ ее отпраздновать съ нимъ сатурналіи. — Ода XXIX, къ *Меценату*. Гораций зоветъ своего покровителя въ сабинскую виллу и проситъ его на время оставить свои государственныя занятія: потому-что только тотъ господинъ самому себѣ,

Кто можетъ сказать ежедневно:

Я жилъ, хоть назавтра грозой

Юпитеръ надвинется гнѣвно,

Хоть солнцу дозволить сіять

Того не измѣнитъ нисколько.

Не скажетъ тому: не бывать—

Что быстрое время умчало.

Ода XXX, къ *Мельпоменъ* *. Заключительное стихотворение.

Воздвигъ я памятникъ вѣчнѣ мѣди прочной,
И зданій царственныхъ превыше пирамидъ;
Его ни вѣдкій дождь, ни аквилонъ полночный
Ни рядъ безчисленный годовъ не истребитъ.
Нѣтъ, я не весь умру, и жизни лучшей долей
Избѣгну похоронъ, и славный мой вѣнецъ
Все будетъ зеленѣть, доколѣ въ Капитолій
Съ безмолвной дѣвою старѣйшій ходить жрецъ.
Слухъ обо мнѣ пройдетъ на берегъ говорливый
Афиды быстрого и до безводныхъ странъ,
Гдѣ съ трона судить Давнъ народъ трудолюбивый—
Что изъ ничтожества былъ славой я избранъ,
За то, что первый я на голосъ эолийскій
Свелъ пѣснь Итали. О, Мельпомена! свей
Въ награду мнѣ за трудъ сама вѣнецъ дельфійскій
И лавромъ увѣнчай руно моихъ кудрей.

По желанію Августа Горацій написалъ *юбилейную пѣснь* (сacmen sacculare) къ Аполлону и Діанѣ. Поэма начинается воззваніемъ къ обоимъ божествамъ:

О Фебъ и владычица лѣса, Діана

Неба краса лучезарная; дайте,—

О вѣчно-чтимые,—то, что мы просимъ васъ

* Горацій, посвящая три первые книги одъ Мecenату, заключаетъ ихъ, въ видѣ эпилога, этой одой, въ которой онъ еще яснѣй, чѣмъ во II, 20, говоритъ о важности своей заслуги и своемъ безсмертіи. Эта ода имѣла безчисленныхъ подражателей, начиная съ Проперція и кончая Пушкинымъ.

Въ праздникъ священный,

Когда по завѣту Сивиллы собрались

Дѣвушекъ избранныхъ, отроковъ чистыхъ

Хоры, чтобъ римскихъ холмовъ покровителей

Въ пѣсняхъ прославить.

О кроткое солнце,—въ своей колесницѣ

День ты приносишь намъ, вновь сокрывая:

Пусть ничего не увидишь ты большаго

Города Рима! —

По словамъ Светонія Августъ предложилъ Горацію воспѣть побѣды пасынковъ своихъ Тиверія и Друза; это заставило поэта къ тремъ прежнимъ книгамъ прибавить *четвертую*, гдѣ онъ собралъ послѣднія произведенія своей лирической музы. Ода I, къ *Венерѣ*. Горацій жалуется, что богиня, оставивъ его надолго въ покоѣ, вдругъ воспламенила новой страстью. — Ода II, къ *Юлію Антонію*, сыну триумвира. Будучи самъ поэтомъ, онъ, кажется, предложилъ Горацію прославить Цезаря въ пиндарической одѣ. Горацій отклоняетъ отъ себя это предложеніе; кто дерзаетъ состязаться съ Пиндаромъ, — тотъ и крыломъ, и долей сходитъ съ Икаромъ: я-же,—говоритъ онъ,

съ матинской

Сходенъ пчелою,

Пьющей на тмивѣ отрадную влагу;

Въ роищѣ Тибура я, внемля журчанью,

Рѣчкѣ съ усиліемъ пѣсни слагаю

Малъ по призванью.

Антоній гораздо громогласнѣе можетъ прославить Цезаря на своей лирѣ; онъ-же, Горацій, постарается только не отстать отъ другихъ, когда народъ, въ общей ра-

дости, станеть привѣтствовать Августа.— Ода III, *къ Мельпоменѣ*. Кто при рожденіи встрѣтитъ кроткую улыбку музы, тотъ навѣрное прославится не въ числѣ бойцевъ, не на лихомъ конѣ и не за бранные подвиги; и будетъ онъ вѣченъ за пѣснь Эоліи. Увлекаясь чувствомъ собственного достоинства, Гораций говоритъ, что римское юношество ужъ зачислило его въ хоръ поэтовъ, и что съ этихъ поръ онъ не убоится зуба зависти:

Все благость мнѣ твоя даруетъ!

Сказавши-ль про меня: «вотъ римскій нашъ гусляръ»,

Перстомъ прохожій указываетъ.—

Дышу-ли, правлюсь-ли; коль правлюсь—все твой даръ.

Ода IV, *къ Клавдію Друзу Нерону*, послѣ побѣды его надъ винделиками. Какъ орла, или какъ льва видить робкая коза,

Такъ Друза воина вблизи альпійскихъ горъ

Преты видѣли въ бою и винделики.

Въ паденьи собственномъ по опыту узнали,

Къ чему способенъ духъ того, кто съ юныхъ дней

Въ семействѣ приученъ къ почтенію законовъ,—

Что Августъ, какъ отецъ, наставникъ сыновей,

Могъ въ души заронить у юношей Нероновъ.

Родятся храбрые отъ добрыхъ храбрецовъ...

Ода V, *къ Августу*. Римъ ждетъ Августа изъ Галліи, тоскуя объ немъ, какъ мать объ отсутствующемъ сынѣ.— Ода VI. Молитва къ Аполлону и Діанѣ; родъ предѣнія къ юбилейному гимну.— Ода VII, *къ Торквату*. Пришла весна. Быстрая переменна времянь года должна напомнить Торквату о скоротечности жизни

и склонить его къ безпечному наслажденію настоящимъ.— Ода VIII, *къ Цензорину*. Въ праздникъ сатурналій (въ новый годъ) поэту нечемъ подарить своего друга; все, что можетъ предположить ему—это стихотвореніе.— Ода IX, *къ Лоллію*. Поэтъ знаетъ, что его пѣсни будутъ жить въ потомствѣ. Въ памяти людей останутся только тѣ герои, которыхъ восхвалять поэты: Поэту извѣстны заслуги Лоллія; потому онъ хотѣлъ ихъ восхвалять въ пѣсни, чтобъ онѣ не погрузились въ завистливое забвеніе.— Ода X, *къ Лигурину*. Пусть мальчикъ подумаетъ, что вѣдь скоро пройдетъ его отроческая красота; а тогда ужъ поздно будетъ сожалѣть о теперешней жестокости; и не разъ онъ промолвитъ:

«Зачѣмъ у мальчика всѣ чувства не развиты,

Нѣтъ отчего теперь не такъ свѣжи ланиты?»

Ода XI. Поэтъ зоветъ къ себѣ *Филлиду* отпраздновать вмѣстѣ день рожденія Мецената.— Ода XII, *къ Виргилію*. Поэтъ приглашаетъ друга къ себѣ въ деревню; вина у нихъ будетъ много, но стлянку нарда Виргилій долженъ принести съ собой:

Коль хочешь, глупости подбавь въ разсудокъ скучный —
У мѣста весело безумствовать подь часъ.

Ода XIII, *къ Лику*. Поэтъ, не забывая прежней жестокости Лику, мститъ устарѣвшей теперь красавицѣ злобной насмѣшкой надъ ея отцвѣтшими прелестями, но еще не унявшимися страстями.— Ода XIV. Къ похвалѣ *Августу* поэтъ прилетаетъ прославленіе подвиговъ Тиберія и Друза.— Ода XV, *къ Августу*. Гораций оканчиваетъ четвертую книгу одъ этимъ стихотвореніемъ, въ которомъ старается показать благотворное вліяніе на Римъ единодержавія Августа, —

и въ этой пѣснѣ громко
Анхиза стараго и Трою помянуть,
Венеру и ея достойнаго потомка.

Горацій умеръ а. d. V, Kal. Des. 746 н. с. (27 ноября 8). Онъ былъ похороненъ на Эквилинѣ, послѣ Мекената. Его пророчество: non omnia possumus (сатм. III, 30, 6), — исполнилось. До Горація не возвысился ни одинъ изъ римскихъ поэтовъ послѣдующаго времени. Квинтиліанъ говоритъ о его въ сатирахъ, въ сравненіи съ сатирами Луцілія (X, 1, 95): „Горацій гораздо вышше (multo tersior) и чище; главная сила его сатиры состоитъ въ караніи безразличныхъ людей. — Въ эподѣ онъ ставитъ его на ряду съ Виаскуломъ и Каталломъ. „Изъ всѣхъ лириковъ, говоритъ онъ, Горацій наиболѣе заслуживаетъ быть читаемымъ; ибо онъ и возвышается иногда, и полонъ пріятности и граціи и сверхъ того, удачно смѣль въ разнообразіи фигуръ и словъ“. Овидій называетъ его numerosus (многоритмическій), а Петроній хвалитъ его счастливую тщательность (curiosa felicitas).

4. элегики.

Корнелій Галлъ. Албій Тибулль. Секстъ Проперцій.

Послѣ слабыхъ попытокъ прежнихъ поэтовъ, римскую элегію довели до художественнаго совершенства Галлъ, Тибулль, Проперцій и Овидій.

Корнелій Галлъ, род. ок. 68 г. до Р. X. въ форумѣ—Юліи, въ Галліи, былъ возведенъ Августомъ въ достоинство всадника, въ 30 г. сдѣланъ былъ первымъ префектомъ Египта; но въ 26 году, позванный къ су-

ду за слишкомъ свободный образъ мыслей,—кончилъ жизнь самоубійствомъ. Галлъ былъ другомъ Virgilia, который и похвалилъ его въ Eclog. VI, 64. Онъ былъ ораторъ и поэтъ; написалъ четыре книги элегій къ Ликоридѣ, пользовавшейся большимъ почетомъ между современниками. Но Квинтиліанъ называетъ стиль его нѣсколько суровымъ.

Но если Галлъ старался только о возможно близкомъ подражаніи образцамъ греческимъ,—то для Тибулла элегія была естественнымъ выраженіемъ его собственныхъ чувствъ. Прекрасно говоритъ о немъ А. Гумбольдтъ (Космосъ, II, 20): „между поэтами Августова времени онъ принадлежитъ къ тѣмъ немногимъ, которые счастливо избѣжали александрійской учености, и любивъ уединеніе сельской жизни,—чувствительные, и потому безыскусственные, черпали изъ своего собственного источника“. Квинтиліанъ называетъ Тибулла опрятнымъ и изящнымъ (tersus atque elegans) писателемъ элегій. „Никто изъ римлянъ, говоритъ Бернгарди, не высказывалъ такъ тепло ощущеній своего чистаго сердца, не восхвалялъ съ большимъ добродушіемъ искренностію и мягкостію, съ такимъ полнымъ отсутствіемъ риторическихъ прикрасъ блаженство тихой жизни среди сельской природы, въ обществѣ любящей женщины и немногихъ друзей. Онъ съ простодушіемъ и религіозностію сельскаго жителя ощущаетъ прелесть природы, не занимается эротическими пустяками; его чувства могучи, свѣтлы, полны счастья и скорби. Муза Тибулла дышетъ тихимъ миромъ почти дѣтскаго чувства и не преслѣдуетъ съ робкой и осмотрительной расчитанностію какіе-нибудь великіе планы“. — Вотъ какъ характеризуетъ

поэтический талант Тибулла одинъ французскій критикъ прошлаго столѣтїя: * „Изъ всѣхъ латинскихъ элегиковъ, можетъ-быть одинъ только Тибуллъ понялъ настоящій характеръ элегии, или по-крайней-мѣрѣ превосходно умѣлъ ее выразить. Онъ умѣлъ придать своимъ элегиямъ тотъ замысловатый беспорядокъ, который составляетъ душу элегической поэзии, потому-что онъ близокъ къ природѣ. Говорятъ, что элегии Тибулла—всѣ плодъ страсти. Онѣ составлены изъ различныхъ частей, но такъ, что каждая часть, взятая отдѣльно, не имѣетъ никакого смысла. Одно отступленіе влечетъ за собою другое, ничего обдуманнаго, ничего предусмотрѣннаго; нѣтъ, по видимому, ни искусства, ни науки; но самый-то этотъ беспорядокъ, царствующій въ элегияхъ, и придаетъ имъ очаровательную естественность, которой вообще отличаются произведенія Тибулла. Тибуллъ предположилъ себѣ подражать только одной природѣ; и дѣйствительно онъ съумѣлъ подражать ей, изобразивши такъ хорошо беспорядкомъ своихъ элегій—беспорядокъ, сопровождающій страсти. Онъ такъ искусно выражаетъ ихъ характеръ, такъ живо и естественно описываетъ ихъ движенія и дѣйствія, что всѣ картины выходятъ у него чрезвычайно правдоподобны. Онъ желаетъ, боится, надѣется, осуждаетъ, одобряетъ, хвалитъ, порицаетъ, любитъ, ненавидитъ, сердится и успокоивается, въ одинъ моментъ переходитъ отъ молитвы къ угрозамъ, отъ угрозъ къ мольбамъ. Въ его элегияхъ нѣтъ ничего, что было-бы похоже на вымыселъ; нѣтъ тѣхъ громкихъ фразъ, которыя почти всегда заставляютъ подозрѣвать аффектацію; нѣтъ тѣхъ ученыхъ намековъ, или блестящихъ острогъ, возбуждаю-

* Souchay: Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, vol. VIII, p. 386.

щихъ съ перваго раза удивленіе, но которые въ сущности заставляютъ терять довѣріе къ поэту, оттого что скрываютъ природу и разрушаютъ правдоподобіе. Въ Тибуллѣ все дышетъ истиной: выраженіе чувства, употребленіе терминовъ, нѣжность и грація размѣра и гармоніи его версификаціи понимается даже людьми самыми недалекими. Тибуллъ нѣженъ, естествененъ, страстенъ, деликатенъ, благороденъ безъ чванства, простъ безъ униженія, изященъ безъ искусственности; онъ чувствуетъ то, что говорить, и говорить всегда такъ, какъ должно сказать, чтобъ увѣрить въ томъ, что онъ *такъ* чувствуетъ; однимъ словомъ онъ любитъ такъ, какъ будто онъ весь проникнутъ любовью; онъ жалуется, какъ человѣкъ истинно-печальный. Описываетъ-ли онъ себя въ необитаемой пустынѣ, которую присутствіе Сильвіи дѣлаетъ ему пріятною; изображаетъ-ли онъ себя въ грустномъ настроеніи духа, распоряджающимся церемоніей своихъ похоронъ, какъ-будто онъ ужъ долженъ умереть отъ своего горя,—онъ потрясаетъ, трогаетъ, заставляетъ любить себя; о чемъ-бы онъ ни говорилъ, онъ ставитъ самого читателя въ то положеніе, какое описываетъ“.

Альбий Тибуллъ родился вѣроятно около 65 до Р. X. и умеръ въ одинъ годъ съ Горациемъ (19 до Р. X.). Объ обстоятельствахъ его жизни мы знаемъ очень немногое. Изъ эпистолы, адресованной къ нему Горациемъ, видимъ, что Тибуллъ жилъ въ помѣстьи своемъ близъ Педума, что онъ былъ знатенъ, хорошъ собою и богатъ, что онъ обладалъ даромъ слова и безукоризненной репутаціей (Ер. I, 14).—Отъ Тибулла мы имѣемъ 37 стихотвореній, въ 4-хъ книгахъ, въ которыхъ филологическая критика открыла однакоже множество интерполяцій. Въ первой книгѣ поэтъ воспѣваетъ свою воз-

любленную Делію (къ „Деліи“ I, 3, перев. Мерзлякова. I, 5, перев. Якова Толстаго. Спб. 1818); во второй книгѣ, кромѣ 3, 4 и 6 элегій, посвященныхъ любви поэта къ Немезидѣ (Глицерѣ), — находится большая описательная поэма „Освященіе полей“ (II, 7, перев. Мерзлякова) и „Молитва къ Фебу“ при торжественномъ жертвоприношеніи. Третья книга, состоящая изъ шести элегій, имѣетъ предметомъ любовь Лигдама и Неэры (III, 3, перев. Батюшкова). Четвертая состоитъ изъ двухъ, совершенно отдѣльныхъ частей: Eleg. IV, 1, Panegyricus ad Messallam изъ 211 гексаметровъ, подлинность котораго подвержена впрочемъ сомнѣнію; Eleg. IV, 2 — безспорно прелестнѣйшее произведеніе эротической идилліи, — состоитъ изъ поэтического діалога между Церинтомъ и Сульпиціей (переведена Ѳ. Б. Миллеромъ; — отрыв. Н. В. Бергомъ).

Секстъ Аврелій Проперцій, родился въ Умбріи, вѣроятно въ 52 году до Р. Х. Юность его протекала въ эпоху втораго триумvirата; во время междоусобій онъ лишился своего имѣнія, которое отошло отъ него вслѣдствіе раздѣла полей. — Проперцій поселился въ Римѣ, и отказавшись отъ всякаго участія въ дѣлахъ государственнхъ, исключительно посвятилъ себя поэзіи. Меценатъ и его друзья были ревностными покровителями поэта. Годъ смерти его неизвѣстенъ (15 года до Р. Х.); достоверно одно, что Проперцій умеръ еще въ цвѣтущихъ лѣтахъ. Вотъ какъ тотъ-же французскій критикъ (Souclay; vol. VII, p. 388) характеризуетъ поэтическую дѣятельность Проперція: „Проперцій точенъ, замысловатъ, ученъ. Прозваніе римскаго Каллимаха, которое ему придавали иногда его современники, — онъ заслуживаетъ оборотомъ своихъ выраженій, заимствованныхъ имъ обыкновенно у

грековъ и размѣромъ, которому онъ подражалъ по крайней-мѣрѣ въ нѣкоторыхъ изъ своихъ элегій. Онъ написаны самими граціями, говоритъ Турнебъ; не любить автора ихъ, значить оказаться врагомъ музъ, прибавляетъ другой критикъ. Но сказать-ли правду? Въ элегійхъ Проперція замѣтна усиленная работа, и вездѣ проглядываетъ искусственность; не потому, что предметы, которые онъ описываетъ, всегда далеки отъ истины, а потому, что все, что они могли-бы имѣть естественнаго, онъ портитъ частой примѣсью историческихъ или мифологическихъ вставокъ. Напримѣръ, онъ хочетъ внушить Цинтіи презрѣніе къ роскоши и любовь къ простотѣ въ нарядахъ: какъ-бы ни была учена, какъ говорятъ, Цинтія, — но зачѣмъ-же примѣшивать къ цвѣтамъ, которые родятся сами собою и украшаютъ землю, или къ раковинамъ, которыя разнообразіемъ своихъ красокъ дѣлаютъ такимъ прекраснымъ берегъ моря; къ пѣнію птицъ, которое оттого-то и хорошо, что оно безыскусственно; къ чему, повторяю, къ этимъ веселымъ и естественнымъ образамъ примѣшивать изысканныя черты Фебы и сестры ея Гиларіи, которыя не искусству наряжаться обязаны любовью къ нимъ Кастора и Поллукса, Гипподаміи, которая пріѣхала на иноземной колесницѣ и не понравилась Пелопсу своимъ заимствованнымъ блескомъ, и особенно такой неправдоподобный образъ дочери рѣки Эвенса, которую украшала только своя собственная красота, когда у Аполлона съ Идасомъ дошло изъ-за нея до рукопашнаго боя. — У Проперція всегда найдешь натуральный образъ подлѣ исторической или мифологической черты; часто, описывая вещи самыя простыя и обыкновенныя, онъ расплывается въ ученость: если онъ заставлятъ Цинтію плакать — то гордая Ніоба, превра-

щенная въ утѣсъ, никогда такъ много не плакала, какъ она; слезы ея гораздо горячее слезъ Бризенды при ея похищеніи, или слезъ Андромахи въ первыя минуты ея плѣна. Задремала-ли Цинтія:—такъ дочь Миноса, оставленная вѣроломнымъ любовникомъ, уснула на берегу морскомъ, или дочь Цефея, избавленная наконецъ отъ страшнаго чудовища, уступила гнетущему ея сну, или наконецъ, (трудно повѣрить, что такія вещи могутъ говорить любимой особѣ),—такова вакханка горы Едонійской, когда она, изнуренная усталостью, бросается на роскошные берега Апида. — Вотъ это-то можетъ-быть и дало поводъ къ тѣмъ похвалямъ, которыми ученые осыпаютъ Проперція. Но отсюда происходитъ кака-то жесткость въ версификаціи, запутанность, которую безъ длинныхъ комментарій напрасно-бы старались распутать читатели обыкновенные,—запутанность, которая, утомляя разумъ, мѣшаетъ ему наслаждаться вымыслами поэта“. — Отъ Проперція мы имѣемъ 4 книги элегій, большую частію посвященныхъ любви. Въ нихъ онъ воспѣваетъ либертину Цинтію, которую собственно звали Гостіей,—дѣвушку, какъ онъ самъ-же сознается, поведенія довольно легкаго, но необыкновенно образованную и прекрасную. Въ элегіяхъ своихъ, какъ въ содержаніи, такъ и въ формѣ,—Проперцій является строгимъ послѣдователемъ александрійскихъ элегиковъ, особенно Филета и Каллимаха *.

* Переводы изъ Проперція: а) Крешева, — б) Мерзлякова: (I, 2, 18, 19).

5. ПУБЛІЙ ОВИДІЙ НАЗОНЪ.

Поэтическія произведенія Овидія—судь плоды монархическаго направленія и образованія. Они составляютъ противоположность произведеніямъ не только республиканскихъ, но и древнихъ монархическихъ поэтовъ Рима. Овидій не писалъ ни для народа, какъ тѣ, ни для тѣснаго кружка высоко-образованныхъ вельможъ и милостивцевъ,—какъ эти: онъ поэтъ элегантнаго общества Рима, поэтъ молодаго поколѣнія, выросшаго уже во время монархіи,—поколѣнія изящныхъ франтовъ, которые искали въ поэзіи препровожденія времени, интересной забавы, которая должна была служить и отдохновеніемъ послѣ возбуждающихъ наслаждений, и вмѣстѣ-съ-тѣмъ сама возбуждать къ новымъ удовольствіямъ. Публику искалъ себѣ Овидій не въ кабинетахъ серьезныхъ людей, а въ солонкахъ бо-монда, въ будуарахъ изящныхъ молодыхъ дамъ; потому и проситъ онъ Феба, Бахуса и девять музъ, чтобъ его творенія, предпочтительно предъ другими эротическими поэтами Греціи и Рима,—сдѣлались любимымъ чтеніемъ молодыхъ дѣвушекъ (Ars. am. III, 229, 348). Онъ не чувствуетъ влеченія къ старому Риму съ его доблестью, его простотой и его героями,—а ему нравится теперешній Римъ, съ его богатствомъ, его изяществомъ и всеобщей образованностію (Ars. am. III, 113). Изъ такого положенія и такого воззрѣнія проистекли какъ всѣ преимущества, такъ и недостатки Овидія.

Публій Овидій Назонъ (Publius Ovidius Naso) описалъ самъ главныя обстоятельства своей жизни въ десятой элегіи четвертой книги своихъ „Tristia“. Онъ

родился 20 марта 43 года до Р. Х. въ Сульмонѣ (въ Аbruццахъ). Отецъ Овидія, довольно богатый римскій всадникъ, отвезъ его еще мальчикомъ въ Римъ. Тамъ Овидій получилъ ученое образованіе, и для усовершенствованія его ѣздилъ въ Аѳины и Азію; возвратившись въ Римъ, онъ попробовалъ было выступить на государственное поприще; но не долго оставался на почетныхъ мѣстахъ, имъ занимаемыхъ: триумвира (triumv. capitales), центумвира, децемвира. Двадцати лѣтъ онъ уже совѣтъ отказался отъ политической карьеры и жилъ только для поэзіи и для удовольствій, которыя ему въ изобиліи предлагало его богатство и столичная жизнь. Въ 8 году по Р. Х. онъ внезапно былъ удаленъ (relegatus) Августомъ въ городъ Томи на берегу Чернаго-моря (Кюстенджи? Томисваръ)? Причина этого изгнанія не извѣстна до-сихъ-поръ; думаютъ, что Овидій нечаянно засталъ внучку императора, Юлію, въ объятіяхъ раба. Самъ Овидій не говоритъ объ этомъ ни слова *. Восемь лѣтъ прожилъ Овидій между полудикихъ гетовъ, въ суровомъ климатѣ, вдали отъ родственниковъ и друзей,—но постоянно вѣрный музамъ. Послѣ безплодныхъ попытокъ получить позволеніе возвратиться въ Италію, онъ умеръ въ Томи отъ лишеній и печали, оплаканный даже варварами Понта. На одномъ изъ многочисленныхъ мѣстъ, имѣющихъ претензію быть могилой поэта,—императрица Екатерина II основала городъ Овидіополь. „Овидій принадлежитъ къ даровитѣйшимъ поэтамъ своего вѣка; съ фантазіей, часто неумѣренной, онъ соединяетъ большую ученость, силу, способную сдѣлать живымъ достояніемъ все пріобрѣтенное извѣіе (въ этомъ онъ стоитъ выше

* Ср. любопытную книгу: Ovid's Schicksale wachend seiner Verbannung. Von A. S. Gerber. Riga, 1809, in 8—o.

Виргилія), блистательное остроуміе, даръ привлекательнаго, цвѣтистаго изложенія, и легкую, но большей части правильную версификацію; но онъ чуждается простоты и естественности,—недостатокъ, часто приводившій его къ риторической, излишней напыщенности и къ изысканному остроумію, имѣвшій вредное вліяніе на вкусъ современнаго Овидію общества. Нельзя въ немъ не замѣтить также недостатка въ нравственной энергіи и мужественности, что особенно видно на тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя написаны въ Томи“ *.

1) „Метаморфозы (Metamorphoseon“ lib. XV)—самое значительное изъ произведеній Овидія, которое даетъ ему мѣсто между первыми поэтами древности. Это рядъ 246 мифологическихъ разсказовъ, начинающихся хаосомъ и доходящихъ до смерти Цезаря. Всѣ они, насколько это оказывалось возможнымъ, расположены въ хронологическомъ порядкѣ и составляютъ непрерывный разсказъ. Главная заслуга поэта состоитъ въ томъ искусствѣ, съ какимъ онъ соединилъ предметы такіе несходные и событія, совершившіяся въ разныя времена и у различныхъ народовъ. Средства поэта чрезвычайно разнообразны. То поэтъ открываетъ сходство между двумя мифами и ставитъ ихъ рядомъ; то богъ или человѣкъ, бывшій предметомъ одного разсказа, является дѣйствующимъ лицомъ и въ другомъ событіи, разсказъ котораго такимъ образомъ естественно связывается съ предъидущимъ; то единство мѣста предлагаетъ нить, соединяющую мифы, которые не имѣютъ между собой никакой другой аналогіи. Нѣкоторые метаморфозы вставлены въ разсказъ какъ эпизоды, въ формѣ гимновъ, пѣвшихся однимъ изъ дѣйствующихъ

* Исторія римской литературы Шаффа и Горманна, перев. Сологова, — стр. 86.

лицъ; другіе рассказываются потому, что пришлись къ слову; есть наконецъ такіе, о которыхъ говорится, какъ о сюжетѣ картины, и пр. Но переходы эти всегда такъ легки, такъ естественны, что самый придирчивый критикъ не замѣтитъ въ нихъ ни малѣйшей натяжки. Драматическая форма, которую такимъ-образомъ получили „Метаморфозы“, придаютъ имъ много жизни и разнообразія. Правда, что всѣ рассказы кончаются превращеніемъ, что какъ-будто придаетъ цѣлому видъ нѣсколько однообразный; но едва-ли это можно поставить въ упрекъ поэту. Каждый рассказъ образуетъ у него отдѣльную картину страстей, обуревающихъ море житейское. Фантазія, умъ, юморъ поэта блестятъ на всемъ его произведеніи; но справедливаго порицанія заслуживаетъ то, что онъ любитъ одну и ту-же идею воспроизводить въ различныхъ формахъ и возиться съ сюжетомъ до-тѣхъ-поръ, пока не добудетъ изъ него чего-нибудь занимательнаго или остроумнаго. Все это дѣлаетъ рассказъ до нѣкоторой степени растянутымъ, иногда даже просто водянистымъ. Но вообще сочиненіе это замѣчательно и въ литературномъ отношеніи, и весьма важно для исторіи римской мифологіи*.

*. Особенно художественно-изящны слѣдующія метаморфозы: Аполлонъ и Дафна (I, 452—

* Переводы: а) «Превращенія» Сбп. 1772.—б) П. Ов. Н. Превращенія (перев. *Козичаго*), изд. при импер. Академіи Наукъ, 1772. — в) П. Овидія Н. Превращенія, перев. *В. Майкова*, — (посв. импер. Екатеринѣ II), четыре книги.—г) Превращенія П. О. Н. перев. *И. Соколова*, книга первая. Сбп. 1808.—е) Овидіевыхъ Превращеній книга I. Вольный переводъ въ стихахъ *С. Дольцова*, М. 1840.—ф.) Превращенія, перев. *Деларю* (опыты въ стихахъ М. Д.—1835): Дафна (I, v. 523). Мирра (v. 189). Четыре вѣка (I, v. 89). — г) Изъ Превращен. Ов., перев. *Мерзлякова*, Дафна (I, 452—576), Пирамъ и Тисба (IV, 55—167).—h) Въ Современникѣ, изд. Пушкинымъ

567), Фазтонъ (II, 1, 324), Эхо и Нарциссъ (III, 339—510), Пирамъ и Тисба (IV, 55—166), Нюба (VI, 146—312), Язонъ и Медея (VII, 1,—424), Дедалъ и Икаръ (VIII, 152—235), Филемонъ и Бавкида (VIII, 611—725), Пигмаліонъ (X, 243—297), Мидасъ (XI, 90—193), Гекуба (XIII, 399—575), Пиккусъ (XIV, 320—396), Нума и Эгерія (XV, 1—546). Къ области дидактической поэзіи принадлежатъ 2) „Искусство любить (Ars amatoria s. amandi)“ въ трехъ книгахъ. Поэтъ предлагаетъ средства для безденежнаго пріобрѣтенія женской благосклонности. Въ первой книгѣ онъ даетъ правила насчетъ выбора любовницы и средствъ нравиться ей, во второй—показываетъ, какъ посредствомъ ума, ловкости и терпѣнія можно сохранить расположеніе красавицы; третья книга предназначена для женщинъ, которыя могутъ научиться изъ нея, какъ имъ надо употреблять свои прелести и свои таланты для покоренія мужскихъ сердецъ. Объ умѣ тутъ не говорится, потому-что Овидій во всемъ своемъ сочиненіи имѣетъ въ виду одиѣхъ только куртизанокъ. Съ этой-то точки зрѣнія и слѣдуетъ смотрѣть на поэму: тогда вмѣсто безнравственнаго и непристойнаго пасквиля она будетъ казаться граціозной и забавной шуткой. Далекій впрочемъ отъ того, чтобы дать полную волю своему необузданному воображенію, поэтъ прикрываетъ легонькой дымкой всѣ тѣ мѣста, которыя могутъ представить подробности, не совсѣмъ удобныя для публичной выставки. Но если мы, и не смотря на это, встрѣтимъ тамъ мѣста, непріятно поражающія наше щепетильное ухо, — слѣдуетъ винить въ этомъ нравы римлянъ, допуславшіе такіа вольности, отъ которыхъ съ ужасомъ отворачивается наше жеманное цѣломудріе. Въ этой

поэмъ Овидій обнаруживаетъ большое знаніе сердца человѣческаго, умъ безконечно сатирической и счастливый талантъ охарашивать предметы, сами по себѣ незначительные. Въ твореніи этомъ „сладогостіе окружило себя облакомъ благовоній и поплостъ разыскается тысячу мерцающихъ искръ остроумія и насмѣшки“. (Ворберъ). — 3) „Лекарство отъ любви (De remedio amoris)“ или о средствахъ излечиться отъ этой страсти, въ двухъ книгахъ. Поэма эта, написанная въ 1 году по Р. Х., гораздо ниже предыдущей; поэтъ въ ней скорѣе резонируетъ, чѣмъ предается своему блестящему воображенію: а все-таки въ „лекарствѣ“ есть замѣчанія такіа тонкія, которыя не могутъ не нравиться тому, кто изучаетъ сердце человѣческое. — 4) „О средствахъ для поддержанія красоты (de medicamine faciei)“ отрывокъ, въ которомъ поэтъ старается доказать, что опрятность есть необходимое условіе для сохраненія красоты. — 5) „О рыбной ловлѣ (Halieutica)“: тоже фрагментъ. — 6) „Фасты (Fasti“, религиозный календарь, въ 10 пѣсняхъ): въ высшей степени замысловатое, энциклопедическое объясненіе римскаго календаря, написаннаго въ эгегическомъ формѣ. Сочиненіе это отличается чрезвычайною простотою изложенія, но большихъ поэтическихъ достоинствъ не имѣетъ и важно только для пониманія древнеиталійской религіи и культа *. — Сатирическое сочиненіе Овидія, 7) „Ибисъ (Ibis)“ небольшая поэма въ 644 стиха, написанная въ Томи, направленная противъ одного изъ враговъ поэта, настоящее имя котораго Овидій скрылъ подъ названіемъ ибиса, египетской птицы. Это родъ проклятій, большею частію заимствованныхъ изъ

* О сочиненіи этомъ ср. статью Г. Безсонса „О фастахъ Овидія“ (Пропилеи, кн. IV).

миеологіи. Эпистолярныя сочиненія Овидія: 8) Посланія изъ Понта (Epistolae ex. Ponto“, 1, VI) *, 46 эгегическихъ эпистолъ, написанныхъ въ изгнаніи, 11—15 по Р. Х. Въ этихъ посланіяхъ, съ безутѣшнымъ малодушіемъ и безпрестанными жалобами, поэтъ рассказываетъ о непріятностяхъ и лишеніяхъ своей ссылки; версификація въ нихъ плавна и изображенія живы, но постоянно слезливый тонъ дѣлаетъ ихъ крайне утомительными. Жестокой, но справедливой приговоръ эгегическимъ сочиненіямъ Овидія произнесъ Шиллеръ („Horen“, годъ 1, отд. 12, стр. 23). „Какъ ни трогательны эгегическія сочиненія Овидія, писанныя имъ во время ссылки на Эвксинъ, какъ ни много въ нихъ отдѣльныхъ истинно-поэтическихъ мѣстъ: въ цѣломъ я все-таки не могу видѣть въ немъ творенія поэтическаго. Въ ихъ горѣ слишкомъ мало энергіи, слишкомъ мало ума и благородства. Жалобы эти вызваны не вдохновеніемъ, а потребностью; въ нихъ чувствуется если и не подлая душа, то подлое настроеніе благороднаго духа, котораго судьба пригнала къ самой землѣ. Правда, что если мы вспомнимъ, что есть Римъ, а въ Римѣ—Августъ, о которыхъ поэтъ печалится, то легко простимъ сыну радостей его горе“. — Особенный отдѣлъ эпистолъ составляютъ „Героиды“, т. е. воображаемая любовная переписка героинь и героев миогическаго и героическаго періодовъ. Говорятъ, что изобрѣтателемъ этого жанра былъ Овидій. Этотъ поэтъ написалъ рядъ любовныхъ посланій. 9) „Heroides“ (XII)—которыя по содержанію, изложенію и стиху принадлежатъ къ самымъ законченнымъ его произведеніямъ. Лучшей изъ героидъ считается посланіе

* Русск. перев. Г. Красова.

Сафо къ Фаону *. Особенной самостоятельностью Овидій отличается какъ элегикъ. Менѣе нѣжный, чѣмъ Тибуллъ, болѣе оригинальный, но менѣе цѣломудренный, чѣмъ Проперцій, онъ совершенно отдается прихоти своего сладострастнаго воображенія, чтобы изобразить чувства, которыхъ онъ не испыталъ, или которыя только раздражили его воображеніе, не воспламенивъ сердца. Къ этому роду поэзіи принадлежатъ: 10) „Любовь (Amores“, 48 элегій въ 3 книгахъ). Овидій самъ герой этихъ стихотвореній; онъ воспѣлъ въ нихъ свою любовь, со всеми ея радостями и страданіями. Это,—такъ сказать, дневникъ его любовныхъ приключеній, написанный въ смѣлыхъ, свѣжихъ, антично-веселыхъ элегіяхъ **. Второй сборникъ: 11) „Печальныя элегіи (Tristium.“ — 50 элегій, въ пяти книгахъ), — по тону и содержанію совершенно сходный съ посланіями изъ Понта. Это, такъ сказать, элегическая тошнота, наступившая за элегическимъ-же „дебюшемъ“ предыдущей книги ***. Такимъ-образомъ, взглянувъ на этотъ длинный списокъ стихотвореній (меньшія и апокрифическія мы прошли мимо)—увидимъ огромную сумму поэтическаго творчества. Овидій —поэтъ чрезвычайно производительный, и несмотря

* Русск. переводы: а) Двѣ Ироида, соч. Н. Овидія Н., съ приобщеніемъ авторовой жизни и пр.—Пер. Вас. Рубанъ. Спб. 1774.—б) Ироида или письмо въ стихахъ отъ Бризенды къ Ахиллу, Спб. 1791.—с) Овидія Н. Героида XI, Канаде Макарію, перев. Ив. Соколовскій, Спб. 1808.—д) Посланіе отъ Пенелопы къ Улиссу, перев. А. О. Мерзлякова.

** Перев. изъ элегій: книга I, 2,—1, 3, перев. Мерзлякова (перев. и подр. ч. II стр. 291—295).

*** Перев. „Tristia“ сдѣланъ г. Фетомъ.—Старинные переводы: а) Плачъ П. Овидія Н. (перев. въ стихахъ И. Срезневскаго). Москва 1795.—б) Овидія Н. избраннѣйшія печальныя элегіи. Переложены прозою О. Колоколовымъ. Смоленскъ, 1795.

на то, что у него сильно проступаетъ болѣе чисто-формальный, чѣмъ творческій элементъ римской поэзіи, — все-таки, не боясь ошибиться, можно сказать, что онъ былъ одаренъ фантазіей обильнѣе всѣхъ поэтовъ римскихъ, и что въ его твореніяхъ мы имѣемъ самыя яркія картины того времени, погрязшаго въ чувственныхъ наслажденіяхъ, и потому стремящагося къ упадку.

В. П Р О З А.

ИСТОРИКИ: ТИТЪ ЛИВІЙ, ТРОГЪ ПОМПЕЙ.

Политическая неволя сдѣлала невозможною безпристрастную исторіографію. „Послѣ сраженія при Акціумѣ, говоритъ Тацитъ, (Hist. I, 1) когда въ интересахъ мира всѣ власти государства были централизованы въ особѣ императора, всѣ великіе умы смолкли и истина стала искажаться очень часто: иногда оттого, что дѣла своего государства были извѣстны публикѣ также мало, какъ дѣла какой-нибудь чужой страны, — а иногда такъ или изъ желанія льстить властителямъ, или, съ другой стороны, изъ ненависти къ нимъ“. Подъ такими условіями исторіографія конечно должна была принять новое направленіе. Писатели стали довольствоваться частію изображеніемъ ближайшихъ событій прошлаго, частію изложеніемъ простыхъ фактовъ, или воздерживаясь отъ всякой критики, или руководствуясь, при оцѣнкѣ ихъ, личными соображеніями. Исторія потеряла свой политическій характеръ и стала морализировать и щеголять риторикой. Историки уже не имѣли болѣе въ виду ни извѣстныхъ цѣлей партіи, ни опредѣленныхъ политическихъ тенденцій, — но писали

или для поученія публики, или для ея забавы. Но что такимъ-образомъ исторія теряла во внутреннемъ содержаніи, то приобрѣтала она во внѣшнемъ объемѣ, — ибо она не ограничивалась уже болѣе отдѣльными эпохами и народами, но гдѣ возможно разрабатывала и всеобщіе предметы. Главными представителями исторіографіи первыхъ временъ монархіи справедливо считаютъ Т. Ливія Трога и Помпея.

Титъ Ливій родился около 59 года, въ Патавіи (Падуѣ). Большую часть своей жизни онъ провелъ въ Римѣ, пользуясь покровительствомъ Августа, не смотря на то, что явно высказывалъ свою приверженность къ республиканской партіи. Общественныхъ должностей Т. Ливій не занималъ, кажется, никакихъ. По смерти Августа, Ливій удалился на родину и умеръ тамъ въ глубокой старости 17 года по Р. X.

Историческій трудъ Ливія есть такой памятникъ, какого никто другой не воздвигалъ своему народу. Просто и благородно высказывается онъ въ предисловіи къ своей исторіи, о ея содержаніи, формѣ и цѣляхъ *:

Принимаясь за изложеніе событій народа римскаго отъ построенія города, не умѣю сказать, взялся-ли я за дѣло по силамъ, а если-бы и умѣлъ, то не осмѣлюсь сказать этого. Несмотря на свою древность, предметъ этотъ сталъ общедоступенъ. Постоянно являются вновь писатели, которые берутся присоединить что-нибудь новое и достойное ну уже извѣстному, или красотою слога какъ-бы обновить устарѣлость событій. Какъ-бы оно ни было, а

* Исторія народа римскаго, сочиненіе Тита Ливія Падуанскаго, переводъ А. Клеванова, Москва, 1858. (Библіотека римскихъ писателей, т. 3) 2 части.

мнѣ лестно исполнить долгъ гражданина и по мѣрѣ силъ моихъ содѣйствовать къ увѣковѣченію въ памяти потомства дѣяній перваго въ мірѣ народа. Если въ такомъ множествѣ писателей имя мое и останется не замѣтнымъ, то мнѣ послужить утѣшеніемъ самая слава и достоинство тѣхъ, которые затмили меня своими трудами. Притомъ въ теченіе болѣе чѣмъ семисотлѣтняго существованія отечества нашего, событія исторіи его накопились въ несмѣтномъ числѣ. Едва замѣтное въ началѣ, оно росло мало-помалу и достигло такой громадности и величія, что они уже стали ему въ тягость. Не сомнѣваюсь, что большая часть читателей бѣгло и безъ удовольствія пробѣгутъ страницы, содержащія первоначальную исторію нашего отечества и временъ отдаленныхъ; они поспѣшатъ къ тѣмъ, гдѣ излагаются событія ближайшія къ нашему времени, когда народъ римскій, на верху своего могущества, собственныя свои силы въ ихъ избыткѣ употребляетъ во вредъ себѣ. Уже въ томъ отношеніи трудъ мой собственно для меня не останется безъ пользы, что возобновляя въ памяти древнѣйшія событія, забуду я, хоть на время, несчастія, которымъ суждено было обрушиться на отечество въ нашемъ вѣкѣ. Чуждъ-же я всякой заботы, которая хотя и не въ состояніи отвлечь духъ писателя отъ истины, но можетъ тревожить его.

Исторія отечества до построенія Рима и самое это событіе болѣе украшены вымыслами поэзіи, чѣмъ отличаются достоверностію; но я передамъ ихъ, какъ они сохранились для насъ; не стану ихъ опровергать и не ручаюсь за ихъ достоверность. Простимъ древности право, которое она себѣ присвоила смѣшеніемъ начала божественнаго съ человѣческимъ освящать происхожденіе народовъ. Да если какому-нибудь народу и позволительно освящать

свое происхождение и вести свое начало отъ боговъ, то конечно это по всей справедливости должно принадлежать народу римскому. Военная слава его такова, что и прочіе народы, признавая надъ собою его владычество, не могутъ не согласиться съ нимъ, когда онъ утверждаетъ, что предокъ его и родоначальникъ—богъ Марсъ. Впрочемъ, что касается до этихъ событій, то каждый пусть имѣетъ на нихъ какой хочетъ взглядъ; это еще не составляетъ важности. Но пусть читатель обратитъ вниманіе на нравственную сторону жизни нашихъ предковъ, на то, какую жизнь они вели, какими правилами сдѣдовали. Пусть возникнетъ онъ, какими средствами, и въ мирѣ и на войнѣ, предки создали наше величіе и положили основаніе могуществу нашего отечества. Пусть читатель прослѣдитъ со вниманіемъ, какъ мало-по-малу нравственность стала слабѣть, какъ добрые нравы исподоволь приходили въ упадокъ, и потомъ совершенно изсякли, и наконецъ дойдетъ до нашихъ временъ, когда сознавая всю глубину нашей испорченности, мы все-таки не въ состояніи принести нужныхъ къ излѣченію зла средствъ и пособій. Знакомство съ событіями прошедшаго въ томъ отношеніи полезно и плодотворно, что мы на дѣлѣ можемъ извлекать полезные для себя уроки жизни; тутъ имѣемъ мы передъ глазами и примѣры для подражанія, и видя дурное, учимся его избѣгать. Можетъ-быть и пристрастіе къ избранному предмету говорить во мнѣ; но по моему мнѣнію, ни одного народа исторія не-богата такъ, какъ наша, примѣрами добра, геройства и величія—и къ намъ позже, чѣмъ къ другимъ народамъ, забрались корыстолюбіе и сладострастіе. Нигдѣ такъ долго не были въ почетъ бѣдность, и умѣренность, какъ у насъ; самый недостатокъ во всемъ былъ побудительнымъ поводомъ не жалѣть ничего. Теперь-же самый избытокъ

богатствъ породилъ корыстолюбіе, а неумѣренность желаній готова для удовлетворенія похотей смутить и погубить все. Впрочемъ, оставимъ жалобы, къ нимъ будетъ еще, къ сожалѣнію, много поводовъ при дальнѣйшемъ изложеніи; въ началѣ-же столь важнаго труда онѣ неумѣстны.—Лучше, подражая поэтамъ, начнемъ трудъ нашъ при хорошихъ предзнаменованіяхъ, предпославъ наши молитвы и обѣты высшимъ силамъ, да приведутъ онѣ начинаніе наше къ желанному успѣху».

Разсказъ слѣдуетъ простому хронологическому порядку. Отъ 142 книгъ, которыя впоследствии были раздѣлены на декады и существовали вполнѣ вѣроятно еще въ 16 столѣтіи,—до насъ дошли только: первая декада, кн. I—X, которая доходитъ до 294 года, третья, четвертая и начало пятой декады, кн. XXI—XLV, (отъ 218—168 г.) кое-что изъ XCI книги, и фрагменты о бѣгствѣ и смерти Циперона изъ CXX книги.—Историческій трудъ Ливія—*Historiae* или *Res Romanae ab urbe condita*, или *Annales*—есть сочиненіе чисто національное. „Оно не предназначалось для образованной и вмѣстѣ-съ-тѣмъ развращенной части высшаго общества, какъ сочиненія Саллюстія, ни для менѣе остроумной, но зато лучшей части его, какъ біографія Непота,—а вообще для цѣлой націи. Также мало совпадалъ Ливій и съ сатирическимъ тономъ Саллюстія, который еще не сдѣлался сообразенъ съ временемъ. Онъ далъ римлянамъ то, въ чемъ въ то время чувствовалась истинная потребность, реторическую исторію, или другими словами, онъ примѣнимъ манеру и правило Циперона къ изложенію римской исторіи. Направленіе, которое далъ римской литературѣ примѣръ Циперона, во время Ли-

вія уже розпространилось и на всѣ другія отрасли; оно сдѣлалось народнымъ, и плодотворный писатель не могъ и надѣяться заслужить одобрѣніе, явившись безъ реторической прикрасы. Ливій первый пытался обработать исторію въ томъ стилѣ, который посредствомъ Цицерона сдѣлался національнымъ, и такимъ-образомъ былъ первый вполне реторическій историкъ римскій. Разсказать отечественную исторію не для ума, а для сердца читателя, употребить ее какъ средство, которымъ въ народѣ было-бы розпространено не поученіе, а воодушевленіе, — такова цѣль Ливія. Исторія была имъ написана такъ, какъ пишутъ и лучшіе французы новаго времени, именно въ формѣ реторическаго разсказа объ истинномъ происшествіи, которымъ пробуждалась отвага и давался толчекъ къ новымъ подвигамъ. Но Ливій имѣетъ передъ французами то преимущество, что народному сказанію, народной вѣрѣ, обычаемъ стараго времени, онъ даетъ то самое мѣсто, которое у тѣхъ занято остроуміемъ, забавными анекдотами, хитросплетеніями и пустыми личностями. И Ливій вполне достигъ своей цѣли: твореніе его сдѣлалось чисто національнымъ, оно всецѣло перешло въ жизнь римлянъ, и римская нація совершенно такъ понимала свою исторію, какъ изобразилъ ее Ливій. — Въ этомъ-то, т. е. въ цѣли Ливія и въ образѣ изложенія, которымъ онъ такъ счастливо ее достигнулъ, — состоитъ единственное достоинство его книги, и при оцѣнкѣ ея отнюдь не должно брать масштабомъ ту задачу, которую имѣетъ исторія, какъ наука. Чтобы написать національную исторію народно, Ливій не могъ выбрать себѣ образцомъ Геродота, потому-что римскій народъ уже далеко отошелъ отъ простоты и природы; Эфоръ, Феопомпъ и другіе исто-

рики, вышедшіе изъ исторической школы Исократы (см. Исторію Греческой Литературы) были его образцами. Впрочемъ, какъ и эти-же писатели, мѣстами онъ сбивался съ собственно реторическаго стили на простую декламацію, которая вскорѣ послѣ того ужъ и совсѣмъ испортила римскую литературу; этимъ онъ показалъ уже, куда необходимо должно было завести, а потомъ и дѣйствительно завело вызванное Цицерономъ внесеніе историческаго элемента во всѣ отрасли знанія и мысли. Этотъ переходъ между прочимъ замѣтенъ въ томъ, что нѣкоторыя событія Ливій изображаетъ слишкомъ поэтически; часто лучшія свѣдѣнія умышленно оставляетъ безъ вниманія, при описаніи сраженій слишкомъ легко даетъ мѣсто невѣроятностямъ, короче, пишетъ иногда въ манерѣ позднѣйшихъ римлянъ или нынѣшнихъ итальянцевъ, которые, не задумавшись, истинный и серьезный элементъ предмета приносятъ въ жертву изяществу формы. (Шлоссеръ).

Совершенно другую цѣль преслѣдовалъ другой великій историкъ августова времени, — *Трогъ Помпей*, написавшій всеобщую исторію въ 44-хъ книгахъ: *Historiae philippicarum ex totis mundi origines et terrae situs*. — Объ обстоятельствахъ жизни Трога мы ничего не знаемъ. Онъ происходилъ изъ галльскаго племени Воконціевъ; дѣдъ его во время войны противъ Серторія получилъ право римскаго гражданства. — Трогъ, безъ всякой самостоятельной критики, сдѣлалъ только сводъ фактовъ, разбѣянныхъ по трудамъ греческихъ историковъ, — и именно Ктезія, Феопомпа, Геродота, Полибія и др. Языкъ его простъ и не лишенъ нѣкотораго изящества. Трудъ Трога дошелъ до насъ въ сокращеніи, сдѣланномъ Юстиномъ. (M. Junianus Justinus или Jus-

tinus Frontinus). Изложение Юстина просто, без прикрас; языкъ его правильнѣе Трога. Опустивъ всю географическую часть исторіи, Юстинъ ограничился только разсказомъ о главныхъ событіяхъ. Хронологія у него все-на небрежна *.

Историческіе писатели этого періода, сочиненія которыхъ утрачены, — суть: *К. Азиній Поліонъ*, славный государственный мужъ, ораторъ и критикъ (4 г. по Р. Х.) написавшій исторію Рима отъ междоусобныхъ войнъ Цезаря и Помпея до Августа въ 16 книгахъ; *Августъ*: исторія своей жизни въ 13 книгахъ; *Агриппа*, *К. Юлій Гигинъ*, *Варрей Флаккъ* и др.

III. ПЕРІОДЪ УПАДКА.

а) СКРЕБЯНЫЙ ВѢКЪ.

(отъ смерти Августа до правленія Адріана, 14 — 117 по Р. Х.)

Монархія была введена Августомъ фактически, но не легально, поэтому она никогда не могла въ Римѣ конституироваться въ законную форму правленія. Императоры понимали, что противъ нихъ протестуютъ тѣни Брута и Кассія; понимали, что такъ-какъ республиканскія формы были еще цѣлы, то могъ еще ожить и древ-

* На русскомъ языкѣ: Юстинъ древній, Универсальной исторіи Трога Помпея сократитель, переведенный съ латинскаго на русскій языкъ императорской Академіи-наукъ членомъ и профессоромъ астрономіи *Никитой Поповымъ*. Спб. 1768 г. (Приложены 4 карты). — Всеобщая исторія Юстина, исключенная изъ бытописаній Трога Помпея. Перев. съ латинскаго *Семеномъ Борзцовскимъ*. Съ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ примѣчаній, служащихъ къ полнѣнью оной. Спб. 1824 года, 3 части.

ній духъ римства, который даже Августъ не былъ въ силахъ истребить совершенно. Опасаясь этого возрожденія, Тиверій перенесъ власть комицій на раболѣпствующій сенатъ и введеніемъ закона о преступленіяхъ противъ величества заставилъ умолкнуть голосъ оппозиціи. Слѣдующіе императоры, — Калигула, Клавдій, Неронъ, думали, что они могутъ держаться страхомъ, но пали сами его жертвой. Мятежи легіоновъ возобновили гражданскія войны, пока Веспасіанъ, императоръ (полководецъ) восточной арміи, не возстановилъ миръ и тишину. Домъ Флавіевъ погибъ въ дворцовыхъ революціяхъ, которыя положили конецъ терроризму Домиціана и возвели на престолъ Нерву, которымъ начинается недлинный рядъ хорошихъ правителей: — наступившее съ ними счастливое время тоже заставило оппозицію умолкнуть.

Правильное развитіе литературы, конечно, стало невозможно при такихъ условіяхъ. Масса народа, туфя все болѣе и болѣе, требовала отъ императоровъ только хлѣба и зрѣлищъ. Высшія сословія были разслаблены роскошью и не имѣли никакой нравственной силы. Страхъ подавлялъ всѣ высшія стремленія, и общество въ чувственныхъ наслажденіяхъ искало хоть минутнаго забвенія бѣдствій настоящаго, не заботясь о будущемъ. Аристократы или дѣлались орудіемъ деспотовъ, или ласкательствомъ покупали у нихъ свою жизнь. Рады благороднѣйшихъ людей Рима рѣдѣли все болѣе и болѣе. А все-таки духъ римства не умеръ совершенно. Звуки свободнаго слова прорывались иногда сквозь густыя толпы палачей и шпионовъ. Литература все еще составляла нравственную оппозицію. Во все время гнета появлялись благородные люди, возвышавшіе свой голосъ противъ тиранніи. При кроткихъ правителяхъ, при ко-

торыхъ по-крайней-мѣрѣ хотъ законы пользовались уваженіемъ, на нѣкоторое время унялся нравственный мятежъ; и послѣ того, какъ при Троянѣ смолкъ его послѣдній отголосокъ, при Адрианѣ обнаружилось полнѣйшее истощеніе римскаго духа, и литература прохлѣбла еще нѣсколько столѣтій. Сначала пытались было, но тщетно, оживить древнеримскій духъ педантическимъ подражаніемъ архаическимъ авторамъ, потомъ литература начала изнемогать подъ вліяніями провинціаловъ, пока перенесеніе столицы въ Византію, господство христіанства и вторженіе варваровъ не довели ее до окончательнаго уничтоженія. Латинскій языкъ умеръ и уступилъ свое мѣсто діалектамъ народнымъ.

Литература первыхъ столѣтій по Р. Х., такъ-называемый серебряный вѣкъ, — есть послѣднее могучее проявленіе силы римскаго духа, послѣдній его протестъ противъ уничтоженія, которымъ угрожала ему тираннія. Страхъ смерти разогнать всѣ радости жизни: всѣ грустили въ настоящемъ и потеряли всякую надежду на лучшее будущее. „Веселое искусство“, — какъ называли впоследствии поэзію трибадуры, — смолкло; на свободное слово наложены оковы; воспоминаніе о великомъ и славномъ времени отцовъ давало только больнѣе чувствовать зло настоящаго. Такимъ-образомъ литература вообще приняла характеръ мрачный и строгій: она или морализуетъ, или сатирична, выражая свое недовольство настоящимъ, или посредствомъ порицаній и предостереженій, или при помощи остроты, насмѣшки и сарказма. Если Августъ и его друзья умно старались завлечь литературу въ свои интересы, то слѣдующіе императоры отталкивали отъ себя всѣ лучшіе таланты и приближали къ себѣ нѣсколько бездарныхъ маракъ, образовавшихъ

нѣчто въ родѣ придворной литературы. Стремленіе къ образованію все-таки оставалось всеобщимъ; учебныя заведенія возникали во множествѣ; но воспитанія разумнаго, скрѣпленнаго единствомъ цѣли—молодое поколѣніе въ нихъ не получало; направленія раздѣлились. Прошли времена Августа, когда дворъ давалъ тонъ и направленіе литературѣ: теперь она была предоставлена самой себѣ. Писатели августова времени стремились къ правильности и изяществу формы: теперь старались дѣйствовать интересомъ и остроуміемъ содержанія, считывая болѣе на успѣхъ мгновенный, чѣмъ на продолжительное вліяніе. Публичныя чтенія требовали гоньбы за эффектомъ. Чтобы составить себѣ понятіе объ этихъ чтеніяхъ, слѣдуетъ вспомнить, что древнимъ не былъ еще извѣстенъ легкій способъ распространенія литературныхъ произведеній посредствомъ печати. Огромная стоимость переписанныхъ экземпляровъ дѣлала ихъ недоступными для большинства. Чтобы ознакомить публику съ своими произведеніями, писатели должны были сами читать ихъ. Обычай приглашать знакомыхъ на литературныя собранія ввелъ въ Римѣ Азиній Полліонъ. Въ письмахъ Плінія сохранились подробности, которыя ясно показываютъ намъ, чѣмъ сдѣлались эти собранія въ ту эпоху, къ которой мы приступаемъ. Присутствовать на чтеніи у друга, покровителя, богача и вельможи — считалось обязанностью всякаго порядочнаго челоѣка. Чтеца прерывали крики одобренія; по окончаніи чтенія его осыпали похвалами и поцѣлуями; просили его или продолжать чтеніе, или назначить для него новый день. Авторы рѣшительно кокетничали съ своей публикой. Чтобы сдѣлать голосъ мягкимъ и пріятнымъ, они глотали смягчительныя микстуры; тщательно

занимались своимъ туалетомъ; въ коротенькихъ предисловіяхъ испрашивали себѣ снисходительности слушателей; потомъ граціозно развертывали свой свитокъ и читали только тѣ мѣста, которыя, по ихъ мнѣнію, должны были имѣть наиболѣе успѣха, если только восторгъ слушателей или снисходительность друзей не вынуждали ихъ читать безъ пропусковъ. Часто особы, собиравшіеся на эти чтенія, вмѣсто удовольствія находили скуку; но все-таки считали непремѣнной обязанностью и признакомъ хорошаго тона бывать въ этихъ собраніяхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что манія къ публичнымъ чтеніямъ и эти сборища полужнаетоковъ имѣли губительное вліяніе на римскую литературу. Одной изъ причинъ упадка литературы можно считать безпрерывный притокъ чужеземцевъ въ Римъ. Множество варварскихъ и неупотребительныхъ словъ вошли въ латинскій языкъ. Цицеронъ ужъ говорилъ объ этомъ злѣ и совѣтовалъ остерегаться отъ транзальпійскихъ выраженій, искажающихъ чистоту латинскаго нарѣчія. Но обстоятельства однакожъ способствовали къ увеличенію зла, на которое онъ жаловался: Юлій Цезарь далъ многимъ иностранцамъ право римскаго гражданства и сдѣлалъ сенаторами нѣсколькихъ полудикихъ галловъ, какъ называетъ ихъ историкъ. Онъ далъ также право гражданства городу Кадиксу и жителямъ транспаданской Галліи, а Галба всей Галліи, Веспасіанъ всей Испаніи; наконецъ въ началѣ слѣдующаго періода Антонинъ-Пій распространилъ его на всѣ имперскія провинціи. Колоніи, основанныя въ Италіи, и губернаторы, посылаемые Римомъ на управленіе провинціями, распространяли тамъ употребленіе римскаго языка; но сами римляне, живя среди народовъ варварскихъ, теряли чистоту своего нарѣчія и вносили въ

столицу соленизмы, обратившіеся въ привычку. Одно изъ средствъ, которымъ думали положить границы уснѣхамъ дурнаго вкуса, было — учрежденіе публичныхъ школъ. Квинтиліанъ былъ первый профессоръ, которому Веспасіанъ положилъ казенное содержаніе; и этотъ риторъ, человѣкъ умный и просвѣщенный, въ продолженіе двадцати лѣтъ преподавалъ истинныя правила теоріи изящной словесности. Другія греческія и латинскія кафедры основаны тѣмъ-же государемъ, но еще больше Антониномъ-Піемъ. Такія учрежденія остановили на нѣкоторое время упадокъ литературы; но когда, при слѣдующихъ правителяхъ, преданіе о хорошихъ началахъ утратилось, то они послужили къ ускоренію упадка римской литературы. Хотя тираны, слѣдующіе одинъ за другимъ послѣ Августа, и должны были-бы бояться нѣкоторыхъ отраслей литературы, какъ напримѣръ исторіи и философіи, однако многіе изъ нихъ любили словесность, или по крайней-мѣрѣ по наружности покровительствовали ей. Тиберій основалъ публичную библіотеку во вновь построенномъ имъ дворцѣ. Веспасіанъ устроилъ другую въ храмѣ Мира, и хотъ дикій Домиціанъ и выгналъ изъ Италіи философовъ, однакоже онъ возобновилъ книгохранилища, истребленныя огнемъ. Добрый Траянъ устроилъ библіотеку, называвшуюся его родовымъ именемъ — ульпіанской. Тиберій былъ человѣкъ образованный и ученый, но безвкусный; онъ сочинялъ греческіе и латинскіе стихи; но все, что ни дѣлалъ въ пользу словесности, было лишь одинъ педантизмъ: онъ заботился, чтобъ въ публичные акты не закралось ни одно иностранное слово и предлагалъ сѣбѣ вопросы на экзаменахъ словесниковъ, или какъ называли тогда, грамматиковъ. Звѣрскій Каллигула, воспитанный въ невѣжествѣ солдатскаго лагеря,

смѣлся надъ науками и надъ тѣми, кто занимался ими. Онъ хотѣлъ-бы истребить дрянныя творенія Гомера; у Виргилія не было ни генія, ни познаній; Титъ Ливій былъ болтунъ и лжець. Если онъ и устраивалъ литературныя игры, то единственно изъ удовольствія видѣть, какъ побѣжденные слизывали языкомъ свои сочиненія и потомъ произносили похвалу своимъ побѣдителямъ. Полумный Клавдій любилъ словесность и самъ имѣлъ претензію на литературную славу. Правда, что въ свѣтлыя минуты у него проявлялись и краснорѣчіе и знанія. Онъ написалъ много историческихъ сочиненій. Слѣдѣхъ-поръ, какъ онъ сдѣлался государемъ, одинъ изъ его вольноотпущенниковъ читалъ ему эти сочиненія, тогда-какъ прежде онъ прочитывалъ ихъ самъ. Онъ составилъ свои мемуары: Светоній говорить, что онѣ не лишены красотъ, несмотря на то, что полны разныхъ глупостей. Неронъ въ молодости занимался всѣми отраслями литературы, исключая философіи, оттого, что мать говорила ему, что философія не прилична государю. Сенеку винили въ томъ, что онъ не давалъ ему изучать хорошіе образцы августова вѣка, которые могли-бы уменьшить удивленіе, какое учитель желалъ ему внушить къ собственнымъ талантамъ. Извѣстно, что сдѣлавшись государемъ, онъ далъ просторъ всѣмъ своимъ страстямъ. Онъ имѣлъ привычку читать публично свои стихи и собирать дань похвалъ, которая по тщеславію своему онъ считалъ искренними. Изъ всѣхъ его стихотвореній осталось нѣсколько стиховъ изъ энической поэмъ. „Тронка“; вотъ они: *

Quique per erratam subductus Persida Tigris

* Да и то еще не достовѣрно извѣстно, точно-ли эти стихи, приведенные схолиастомъ Луканомъ, принадлежать Нерону.

Descriit. et longo terrarum tractus hiatu

Reddit quaesitas jam non quaerentibus undas.

Галба, Оттонъ и Вителлій царствовали весьма короткое время. Мы уже говорили, что Веспасіанъ положилъ содержаніе риторамъ. Онъ былъ очень скупъ, но награждалъ талантливыхъ людей и покровительствовалъ искусствамъ. Титъ, воспитанный къ любви къ наукамъ, царствовалъ всего два года. Домиціанъ былъ непостояненъ во всемъ, что ни дѣлалъ: онъ приказалъ возобновить библіотеки, но сжегъ многія, не нравившіеся ему творенія; онъ устраивалъ литературныя игры, но выгналъ изъ Италіи философовъ указомъ сенатскимъ. Нерва, въ молодости своей прозванный Тибулломъ, и очень краснорѣчивый, какъ говорить Марціалъ, былъ на престолѣ цезарей только 1 годъ и 4 мѣсяца. Царствованіе Трояна возродило „прекрасные дни“ Августа. Воспитанникъ Плутарха, онъ поощрялъ литературу и любилъ ее. Онъ написалъ нѣсколько сочиненій; но всѣ онѣ погибли, исключая сорока писемъ, помѣщенныхъ въ собраніи писемъ Плинія. (Мункъ. Шѣль).

а) поэзія.

Замѣчательно, что со времени Августа въ Римѣ необыкновенно развилась страсть къ стихамъ. При Августѣ на поэтическій талантъ и на искусство декламировать стихи смотрѣли, какъ на существенную часть свѣтскаго образованія. Императоръ поощрялъ это настроеніе умовъ, осыпая поэтовъ всевозможными почестями и удостоивая своего присутствія публичныя чтенія. При наслѣдникахъ Августа страсть къ стихамъ увеличилась еще: она сдѣлалась настоящей маніей, и слѣдѣхъ-поръ,

какъ ею заразились сами государи, — средствомъ подслуживаться къ нимъ. Очевидно, что на поэзію смотрѣли уже какъ на искусство, которому можно научиться, а не какъ на даръ божественный и принадлежность гения. Тогда-то стали появляться тѣ холодные декламаторы, которые въ слѣдующій періодъ уже окончательно замѣнили поэтовъ и ораторовъ. Понимая, что Гораций и Виргилій велики потому, что ихъ мысли и образы носятъ характеръ величія и истины, „поэты серебрянаго вѣка“ думали достичь того-же совершенства, утрируя природу и переходя границы правдоподобнаго: самыя обыкновенныя, избитыя идеи стали облекать въ пышныя фразы, которыя дѣлали ихъ только смѣшными. Какъ драгоценныхъ брилліантовъ стали искать словъ устарѣвшихъ и вышедшихъ изъ употребленія; тщательно изучали поэтовъ древности, Ливіевъ, Эннівевъ, Пакувіевъ, чтобы отыскать у нихъ оборотовъ, которые бы ни поняло большинство читателей, какъ-будто все изящество, вся красота состояла въ неупотребительныхъ формахъ. Поэтому Квинтиліанъ, сравнивая стиль, даже прозаическій, писателей своего времени съ благородною простотою августова вѣка, имѣлъ полное право сказать: „а и въ-самомъ-дѣлѣ мы говоримъ все фигурами“!

Разсмотримъ теперь произведенія поэтовъ этого періода.

1) басня (Федръ).

„Хотя съ раннихъ временъ басня была не безызвѣстна римлянамъ (Мененій Агриппа у Лив. II, 32), однако этотъ родъ поэзіи, успѣхъ котораго возможенъ лишь при задумчивомъ и задушевномъ взглядѣ на міръ, былъ вообще далекъ ихъ строгому, практическому уму;

такимъ-образомъ до Августа находимъ лишь случайныя, разрозненныя явленія въ этой области, именно у Эннія въ его сатирахъ (подражаніе Езопу), и у Горация въ сатирахъ и письмахъ (Сат. II, 6, 80. Посл. I, 7, 29, — 10, 34)“.

„Какъ самостоятельный родъ поэзіи, басня выступаетъ въ литературѣ лишь послѣ смерти Августа. Сохранилось собраніе езоновыхъ басенъ (*fabulae aesopicae*, lib. V, prol II), 90 въ пяти книгахъ, которое приписывается Федру“.

Федръ * (*Phaedrus* или можетъ-быть *Phaeder*), еракійскій уроженецъ, называетъ самъ себя вольноотпущенникомъ Августа; онъ написалъ свои басни при Тиберіи, амбицескими сенарами. Въ царствованіе Тиберія временникъ этого государя, Сеянъ, сталъ преслѣдовать Федра и посадилъ его въ тюрьму; причина этого преслѣдованія неизвѣстна. Федръ имѣетъ ту заслугу, что онъ первый познакомилъ римлянъ съ баснями Езопы; басни его большею частію переводы и подражанія Езопу; но по оригинальности своихъ переработокъ онъ стоитъ къ нему въ такомъ-же отношеніи, какъ Крыловъ къ Лафонтену. Изложеніе басенъ Федра чрезвычайно просто; во взглядѣ на предметы онъ близокъ къ народному духу, но дикція ихъ изящна, иногда даже изысканна. Въ 4-мъ вѣкѣ по Р. Х. басни Федра были дополнены *Авіаномъ*, переложившимъ въ безвкусныя двустишія 42 Езоновы басни. Еще глубже прозаическая перефра-

* Ср. Notice sur Phèdre par Fleutelot, Paris, 1839, бол. 8. *перехъ* собр. соч. Федра въ Coll. des aut. latins. — На русскомъ языкѣ: а) Федра августова отпущенника правоучительныя басни, пер. съ лат. *Ив. Барковъ* (на русс. и лат. яз.). Изд. 2. Спб. 1787. — б) Езоновы басни съ баснями латинскаго стихотворца, Филельфа, съ нов. франц. переводъ, и пр. перев. Д. Т.—М. 1792 (2-е изд. 1810).

зировка федровыхъ басень, сдѣланная нѣкимымъ *Ромуломъ*, жившимъ должно быть гораздо позднѣе. **Можетъ-быть** авторъ этихъ переложеній былъ Ромулъ Августулъ, послѣдній императоръ Рима.

2) САТИРА (ПЕРСІЙ. ЮВЕНАЛЬ).

Такой развращенный вѣкъ, какъ тотъ, что слѣдовалъ за царствованіемъ Августа, необходимо долженъ былъ произвести сатирическихъ поэтовъ, хотя тираннія и не позволила имъ высказываться открыто. Всеобщее развращеніе нравовъ пробудило негодованіе въ небольшомъ числѣ людей, которые оставались вѣрными доблести, или спрятавъ въ своемъ сердцѣ, какъ въ святилищѣ, священное пламя свободы, сберегали его для эпохи болѣе счастливой, когда будетъ позволено открыто высказывать свои принципы. Деспотизмъ злыхъ и развратныхъ тирановъ произвелъ вообще уныніе. Стали сомнѣваться въ правосудіи божественномъ, допускавшемъ постоянное торжество порока и преступленія, и наконецъ кончили полнымъ отрицаніемъ существованія боговъ. Но одиѣ и тѣ-же причины произвели совершенно противоположныя слѣдствія въ людяхъ различныхъ характеровъ: одни сдѣлались атеистами, другіе предались самому нелѣпому суевѣрію, думая умиловить имъ боговъ раздраженныхъ. Въ этомъ вѣкѣ очень многіе имѣли претензію быть философами; но за исключеніемъ Корнута и **можетъ-быть** Сенеки, очень не многіе заслуживаютъ это названіе. Одни (въ числѣ ихъ были императоры съ своей придворной челядью) въ превратно истолкованномъ ученіи Эпикура и Аристиппа искали морали, которая

оправдывала-бы распущенность ихъ нравовъ и испорченность ихъ вкуса. Другіе были приверженцами академіи, но причина, тянувшая ихъ къ этой школѣ, состояла только въ томъ, что обычай академіи представляли широкое поле для діалектическихъ преній, до которыхъ они были большіе неохотники. Наконецъ были и такіе философы, которые драпировались въ стоическую важность, чтобъ скрыть свои гнойныя язвы подъ строгою внѣшностію стоицизма. Всѣ эти сѣйшныя и порочныя стороны римскаго общества необходимо должны были вызвать сатиру, и она проявилась въ твореніяхъ Персія и Ювенала.

Авлъ Персій Флаккъ родился 4 декабря 34 по Р. Х. въ Волатерро (въ Этруріи, теперь Волтерра), и по своему рожденію принадлежитъ къ сословію римскихъ всадниковъ. Умеръ въ молодости, въ 62 по Р. Х. Учитель Персія, А. Корнутъ, убѣдилъ мать поэта сжечь всѣ произведенія его молодости, за исключеніемъ шести сатиръ, которыя и были изданы Цезіемъ Бассомъ. По словамъ Светонія появленіе ихъ произвело эффектъ необыкновенный, но для насъ это самый тяжелый продуктъ римской поэзіи. Сатиры Персія—проявленія его юношескихъ стремленій, выраженныхъ языкомъ неяснымъ, затемненнымъ непонятными для насъ намеками, переполненнымъ картинами, лишенными всякой поэтической ясности, такъ-что почти каждая строка ихъ требуетъ комментарія, не всегда возможнаго, при недостаточности данныхъ. „Сатиры Персія написаны болѣе въ элегическомъ настроеніи, но хотя онѣ и имѣютъ въ основаніи ученіе философической школы,—ни въ какомъ случаѣ не заслуживаютъ названія простыхъ философскихъ этюдовъ. Связь Персія съ стоической школой была чисто внѣш-

пая. Онъ никогда не упускалъ изъ виду моральную цѣль сатиры, дѣйствовать на улучшение и облагораженіе нравовъ; но обстрактное ученіе о добродѣтели, преподаваемое стоиками, этими метафизически-холодными мудрецами, которые ничего не боялись, „ничего страстно не любили“, — онъ замѣнялъ въ своихъ сатирахъ живой, прочувствованной истиной. Онъ не нападаетъ на отдѣльную личность съ ея частными недостатками и пороками, но выхватываетъ изъ среды общества нѣсколькихъ личностей и ставитъ ихъ представителями цѣлаго рода, цѣлаго направленія времени. Въ этомъ видятъ главный недостатокъ сатиръ Персія: онѣ не личны; но онѣ и не могли быть личными, когда общественное мнѣніе перестало уже высказываться гласно и напрямки.

„Гораций самый милый, Ювеналъ самый могучій и правдивый, Персій самый идеальный изъ сатирическихъ поэтовъ. Сатиры Ювенала имѣютъ интересъ болѣе вещественный и служатъ интереснымъ пособіемъ при изученіи культурной исторіи того времени; — Персій-же не писалъ въ строгомъ смыслѣ слова сатиры на общество; напротивъ, разнообразіе явленій онъ старается подвести подъ единство идеи и болѣе абсолютно противопоставляетъ доблестъ пороку* **. Въ сатирахъ Персія, говорить другой нѣмецкій критикъ **, мы видимъ душу юную и полную энергіи, умъ ясный и вдохновленный возвышеннымъ ученіемъ самой суровой изъ всѣхъ философскихъ школъ, — умъ, который выйдя изъ мрака,

* Schlüter. Эстетическая критика сатиръ Персія „въ Мюнхенскомъ Zeitschrift für das Gymnasialwesen“, апрѣль 1861, стр. 244 и слѣд.

** Passow: „Anulus Persius Flaccus“, von Franz Passow; 1 er Theil; Text und Uebersetzung. Ueber das Leben und die Schriften des Persius. Anmerkungen zur ersten Satire. Leipzig. 1809. in 8.

окружавшаго годы его дѣтства, бросаетъ впервые свои робкіе взгляды на общество, живя посреди котораго, какъ говоритъ Ювеналъ, трудно было не сдѣлаться сатирикомъ. Посредствомъ множества цитатій можно было бы показать, какъ отвратительное зрѣлище могущественной націи, возбуждавшей удивленіе только своимъ чудовищнымъ развратомъ, дѣйствовало на чувствительную душу молодого Персія. Какъ членъ человѣческаго тѣла, неожиданно пораненный, дѣлаетъ быстрое движеніе отъ предмета, причинившаго ему боль: такъ душа нашего поэта, разбившись въ своемъ столкновеніи съ обществомъ, углубилась въ самое себя и нашла утѣшитель въ ученіи портика (т. е. ученіи стоической фил.), которое было такъ аналогично древнеримскому духу. Персій живо чувствовалъ и глубоко презиралъ развращенность своего вѣка; но онъ не сбумблъ, — ни, какъ Гораций, вихрю растлѣнія противопоставить хладнокровіе свѣтскаго человѣка, ни принудить себя сдѣлать прежде самому рядъ самыхъ горькихъ опытовъ, чтобы научиться потомъ, передъ глазами своихъ читателей, воспроизводить ихъ облеченными въ самый изящный урбанизмъ. Онъ слишкомъ молодъ и слишкомъ пылокъ для того, чтобы скрывать подъ покровомъ урбанизма и ироніи ненависть, которую ему внушаетъ все то, что достойно презрѣнія.... Въ каждомъ словѣ его сатиръ видишь, что воля поэта борется съ своими, еще не окрѣпшими силами, а органъ, находящійся въ его распоряженіи — съ предметомъ, который онъ излагаетъ; въ каждой его мысли видишь обиліе идей полуобъясненныхъ, которыя читатель съ такимъ трудомъ долженъ объяснять и угадывать. Персій считаетъ для себя слишкомъ ничтожнымъ слѣдовать заранѣе обдуманному плану, — но

языкъ не соответствует манерѣ, которая кажется ему удовлетворительною для порывовъ его души. Такимъ-образомъ онъ не можетъ ни выдержать долго одинъ и тотъ-же тонъ, ни остановиться на одномъ образѣ и на одномъ доказательствѣ. На той моральной высотѣ, на которую поднялся Персей, живопись индивидуальных характеровъ, составляющая главную заслугу Ювенала, не представляла ему никакого интереса; но именно тѣ предметы, которые лишены индивидуальнаго характера, и сообщаютъ оригинальность его сатирамъ и красоту его слогу. Въ его молодомъ и чистомъ сердцѣ пламя негодованія зажигалъ и поддерживалъ не нравственный упадокъ его родины или его вѣка, ни вообще какой-нибудь определенный предметъ, — а просто возможность паденія человеческой природы. Съ Персея довольно было подмѣтить эту возможность; его общія и абсолютныя идеи о принципѣ добра и зла не требовали, чтобы онъ принималъ участіе въ жизни этого общества и собиралъ опыты, не щадя чувствительности своего сердца. Вотъ почему онъ такъ рѣдко пользуется историческими примѣрами, и если беретъ какой-нибудь фактъ, то безъ всякаго мѣстнаго колорита, а какъ гіероглифъ отвлеченной идеи. Такимъ-образомъ характеръ поэта сохранялъ всю свою кротость, и любовь къ человечеству, которою онъ проникнуть, растетъ съ нимъ вмѣстѣ съ святымъ негодованіемъ.“

Децимъ Юній Ювеналъ (Decimus Junius Juvenalis) — о жизни котораго мы имѣемъ коротенькую біографію, приписываемую Светонію, — родился въ Аквинумѣ (въ Лаціумѣ, теперь Aquino), въ царствованіе императора Клавдіана (42?) и умеръ въ глубокой старости, въ Ливіи. Такимъ-образомъ ему суждено было пережить самую

мрачную эпоху римскихъ цезарей. „Въ исторіи нѣтъ другаго примѣра такого страшнаго нравственнаго паденія цѣлой націи, пережившей одну изъ самыхъ блестящихъ эпохъ человѣческаго величія. Безконечный рядъ казней, среди безконечныхъ оргій, легіоны рабовъ и ссыльныхъ, — центуріоновъ, готовыхъ всякому продать римскую корону, — доносчиковъ и шпионовъ, которые тучили насчетъ своихъ жертвъ: вотъ что увидѣлъ поэтъ въ тѣ годы своей жизни, когда западаютъ въ душу челоѣка первыя впечатлѣнія“ *. Жизнь Ювенала намъ почти неизвѣстна. До половины своей жизни онъ занимался краснорѣчіемъ, — которое не мало-таки повредило его литературнымъ трудамъ, — и уже въ зрѣломъ возрастѣ, при Домиціанѣ, отъ безжизненныхъ декламаций перешолъ къ живой сатирѣ. Время Домиціана было, конечно, не литературное. Въ этотъ страшный вѣкъ и могли только безопасно писать такіе поэты, какъ Марціалъ и Стацій, которые не стыдились называть Домиціана великимъ челоѣкомъ и обращаться къ нему въ своихъ произведеніяхъ съ самою грубою лестью. Но среди этой услужливой литературы, неожиданно раздался благородный и гнѣвный голосъ Ювенала. Раздался впрочемъ этотъ голосъ сначала не всенародно, для немногихъ. Сатирикъ, не подвергая себя крайней опасности, разумеется, не могъ открыто выступить съ своимъ бичующимъ протестомъ въ такое время, когда безчестныя дѣла вели къ почестямъ, а задушевное, патриотическое слово считалось преступленіемъ. Припоминаетъ здѣсь смерть благородныхъ историковъ: Арулена Рустика и

* Мѣста, отмѣченные знакомъ — — взяты изъ статьи *г. Благовѣщенскаго* о Ювеналѣ. (Сборникъ, изд. студентами Петербург. Университета, Вып. II, 1860.)

Гереннія Сенеціона, которыхъ Домиціанъ велѣлъ казнить подъ самымъ ничтожнымъ предлогомъ. Въ то-же время Эпиктетъ и другіе философы были изгнаны изъ Рима, какъ люди опасные для общественнаго порядка и спокойствія.... Такъ иногда на официальномъ языкѣ называется душный и смрадный застой. Ювеналъ могъ сначала, и то тайкомъ, читать свои сатиры только друзьямъ. Эта осторожность однако не помогла. Шпіоны, которые при Домиціанѣ составляли весьма значительную часть римскаго народонаселенія, донесли, кому слѣдуетъ, что явился новый писатель, съ убѣжденіями, не согласными съ видами правительства, что онъ пишетъ сатиры и въ одной изъ нихъ неуважительно отозвался даже о Парисѣ. Парисъ этотъ—личность самая замѣчательная: это одинъ изъ самыхъ типическихъ клеветовъ Домиціана, отъ которыхъ зависѣла участь почти цѣлаго міра; въ сущности-же это былъ пантомимъ, т. е. балетный танцоръ, большой любимецъ римской публики и вмѣстѣ-съ-тѣмъ временщикъ. Онъ пользовался неограниченнымъ вліяніемъ при дворѣ.... Ювеналъ дорого заплатился за свое обличительное слово: онъ былъ посланъ въ Египетъ. Наконецъ и самъ Домиціанъ сошелъ со сцены. Любопытно слѣдить за проявленіями того восторга, съ которымъ литература привѣтствовала новую эпоху. Это, конечно, была лучшая эпоха въ исторіи римскаго принцитата: она началась Нервою, который вскорѣ взялъ себѣ въ соправители Трояна, а кончилась Маркомъ Авреліемъ.... Этотъ восторгъ не могъ подавить въ Тацитѣ, современникъ Ювенала, мрачнаго чувства, при воспоминаніи о прежнемъ тяжеломъ времени. Вотъ что писалъ Тацитъ вслѣдъ за смертью Домиціана: — „Да, мы поистинѣ представили собою большое доказа-

тельство терпѣнія, и какъ прежній вѣкъ видѣлъ крайній предѣлъ свободы, такъ мы видѣли крайній предѣлъ рабства,—когда розыски отняли у насъ возможность даже говорить и слушать. Мы утратили-бы, вмѣстѣ съ словомъ, самую память, если-бы забвеніе было на столько въ нашей власти, на сколько молчаніе“. — „Но теперь, продолжаетъ благородный историкъ, бодрость снова къ намъ возвращается. При самомъ зарожденіи новаго, благодатнаго вѣка, Нерва умѣлъ соединить то, что прежде казалось несоединимымъ — императорскую власть и свободу, а Троянъ съ каждымъ днемъ увеличиваетъ благоденствіе государства. Общественное благосостояніе основано теперь не на однихъ только надеждахъ и желаніяхъ, но на твердой увѣренности въ томъ, что эти желанія исполнятся. Однако по свойству слабости человѣческой, лекарство дѣйствуетъ медленно, чѣмъ злая немочь, и какъ тѣло укрѣпляется не скоро, а разрушается быстро, такъ точно гораздо легче подавить таланты и науку, чѣмъ воззвать ихъ къ жизни*, Ювеналъ также ободрился. Онъ по прежнему съ тяжелымъ чувствомъ презрѣнія смотритъ на римское общество, но съ довѣріемъ обращается къ новому правительству. Вся надежда и опора литературы, говоритъ онъ**, теперь въ одномъ только цезарѣ. Онъ одинъ въ это трудное время обратилъ вниманіе на печальныхъ Каменъ, послѣ того какъ прославленные и всѣмъ извѣстные наши поэты стали брать на откупъ, кто баню въ Габіяхъ, а кто пекарню въ самомъ Римѣ и голодная муза, покинувъ долины Аганины, переселилась въ прихожія богачей“. Отраднo было поэту обратиться къ

* Agricola конецъ II и начало III главы.

** Въ началѣ VII сатиры.

молодому поколѣнію съ такими словами *: „Трудитесь юноши, на васъ устремлены взоры благодушнаго императора; онъ поощряетъ васъ къ дѣятельности и только ищетъ повода благотворить вамъ“. — Надежды Ювенала на новое правительство оправдались только отчасти. Троянъ былъ, конечно, изъ лучшихъ цезарей, и вполнѣ заслужилъ титулъ „Optimus“, которымъ почтили его римляне, но онъ почти все время своего царствованія провелъ въ войнахъ, и постоянно стремился къ увеличенію и безъ того необъятнаго римскаго государства. Нельзя отрицать, что онъ вмѣстѣ-съ-тѣмъ былъ отличный администраторъ, заботился о воспитаніи своихъ подданныхъ, увеличилъ число школъ въ Римѣ, учредилъ новую общественную бібліотеку; но царствованіе его не вызвало къ дѣятельности ни одного замѣчательнаго писателя, потому-что Тацитъ, Ювеналъ, Марціалъ и Квинтиліанъ созрѣли для литературы еще въ предшествующую эпоху. Зато прежніе дѣятели могли теперь открыто выступить съ тѣми самыми произведеніями, за которыя имъ такъ недавно еще грозила тюрьма, казнь, ссылка. Вмѣстѣ съ свободой рѣчи исчезла, какъ это обыкновенно бываетъ, тайная литература, которая, составляя запретный плодъ, уже тѣмъ самымъ привлекаетъ къ себѣ вниманіе общества въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ литература привилегированная, но въ то-же время стѣсненная до самыхъ узкихъ размѣровъ, не допускающихъ ни свѣтлой мысли, ни живаго слова. Ювеналу, который между-тѣмъ былъ возвращенъ изъ ссылки, также открылась теперь возможность издать въ свѣтъ свои сатиры. Во всю свою остальную жизнь, которая по всей

* Ibid. стр. 20.

вѣроятности прошла спокойно *, онъ не переставалъ трудиться для литературы, и какъ это легко доказать, постоянно просматривалъ свои прежнія произведенія, многое въ нихъ измѣнялъ и дополнял. Онъ даже не успѣлъ кончить свой заключительный литературный трудъ: послѣдняя, шестнадцатая сатира Ювенала набросана имъ въ видѣ эскиза, который, безъ сомнѣнія, современемъ долженъ былъ получить болѣе изящную и правильную форму. Нельзя впрочемъ не замѣтить, что послѣднія произведенія Ювенала, начиная съ двѣнадцатой сатиры, носятъ на себѣ слѣды утомленія и какой-то вялости. Видно, что въ поэтѣ исчезла его прежняя энергія и впечатлительность. Многословіе этихъ сатиръ обличаетъ въ авторѣ человека преклонныхъ лѣтъ; съ другой стороны, не только спокойный и умѣренный, но и вялый тонъ этихъ сатиръ объясняется тѣмъ, что онѣ писаны въ такое время, когда душа поэта уже не раздражалась постоянными оргіями цезарской власти. Нѣтъ сомнѣнія, что лучшими своими произведеніями, т. е. начальными сатирами, Ювеналъ обязанъ Домициану: онѣ сложились подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ его деспотизма и отличаются необыкновенной силой.

Мы имѣемъ отъ Ювенала 16 сатиръ, изъ которыхъ послѣдняя въ древнихъ схолияхъ считается не подлинною. Сатиры эти раздѣлены на 5 книгъ. Sat. I—V составляютъ первую; Sat. VI—вторую; Sat. VII—IX—третью; Sat. X—XII четвертую и Sat. XIII—XVI—пятую книгу.

Первая сатира служитъ введеніемъ къ цѣлому сборнику. „Это бесспорно одно изъ лучшихъ, изъ самыхъ вы-

* Мы уже замѣтили, что Ювеналъ умеръ 80-ти-лѣтнимъ старикомъ. Это было въ 121—122 г. по Р. X.

держанных, искренних и глубоко прочувствованных произведений Ювенала. Онъ рисуетъ здѣсь общую картину римскихъ нравовъ и въ то-же время объясняетъ, что заставило его сдѣлаться сатирикомъ*. Поэтъ начинаетъ ее насмѣшкой надъ обычаемъ, о которомъ мы уже говорили во введеніи къ этому періоду—именно надъ публичными чтеніями.

«Неужели, спрашиваетъ себя поэтъ, — я всегда останусь только слушателемъ? Неужели я никогда не оплачу, я, котораго такъ часто терзала безконечная *Оезида* съ своимъ охрипшимъ авторомъ, Кодромъ? Неужели совершенно безнаказанно одинъ будетъ читать мнѣ свои національныя комедіи, а другой,—элегіи? безнаказанно отнять у меня цѣлый день огромный *Телефъ* или *Орестъ*, который неписанъ и на поляхъ и на оберткѣ свертка, и все еще не конченъ? * Никому не знакомъ такъ хорошо свой собственный домъ, какъ мнѣ эти общія мѣста, которыми наполнены произведенія нашихъ поэтовъ.... Какъ воютъ вѣтры, какія тѣни мучить въ подземномъ царствѣ *Эакъ*, откуда *Язонъ* привезъ похищенное имъ золотое руно, сколько ясеней мечетъ *Кентавръ Монихъ*; вотъ чѣмъ постоянно оглашаются обсаженные платанами залы *Фронтонъ* **, гдѣ мраморныя стѣны растрескались, а колонны полопались отъ безпрестанныхъ чтеній. И этого жди отъ

* Подъ *Оезидой* разумѣется здѣсь огромная поэма, при чтеніи которой авторъ ся, плохой поэтъ, Кодръ, охрипъ. Имя Кодръ, вѣроятно, вымышленное. *Телефъ* и *Орестъ* — заглавія трагедій, отъ которыхъ, безъ сомнѣнія, Ювеналу пришлось много страдать на публичныхъ чтеніяхъ. *Пр. г. Благ.*

** Фронтонъ, безъ сомнѣнія, одинъ изъ меценатовъ своего времени, благосклонно предлагавшій поэтамъ свою залу для публичныхъ чтеній. *Пр. г. Благ.*

лучшаго и отъ самаго ничтожнаго поэта! Но вѣдь и я когда-то отдергивалъ руку изъ-подъ ферулы (линейки), и я когда-то писалъ школьныя декламации, въ которыхъ со-вѣтовалъ Суллѣ, сложивъ съ себя диктаторство, сдѣлаться частнымъ человекомъ и спать себѣ спокойно. Глупо скромничать и беречь бумагу, обреченную и безъ того на погибель, когда вездѣ, на каждомъ шагу, встрѣчаешь въ Римѣ столько поэтовъ! Отчего-же, однако, мнѣ вздумалось ратовать на томъ полѣ, куда направилъ своихъ коней отецъ римской сатиры, Луцилій?... Если у васъ есть время и вы готовы благосклонно выслушать мои доводы, то я вамъ изложу ихъ. Когда (все дѣлается противъ природы) безсильный *Кастратъ* женится, а *Мевія*, римская матрона, всенародно выходитъ съ обнаженной грудью на арену амфитеатра, держать въ рукѣ охотничье копье и вонзаетъ его въ атрусскаго вепря; тогда тотъ самый человекъ, подъ бритвой котораго, какъ былъ еще юношей, скрывалась моя жесткая борода, какъ-бы вызываетъ своими богатствами на споръ съ собою всѣхъ нашихъ патриціевъ; когда *Криспинъ* *, частица нильской черни, рабъ изъ *Канона*, поправляетъ плечомъ съѣхавшій плащъ изъ тирскаго пурпура и выставляетъ на показъ свои потные пальцы, обремененные драгоценными лѣтними перстнями **, — когда я вижу все это, то трудно не писать сатиру.—

* *Криспинъ*, любимецъ *Домиціана*, былъ привезенъ рабомъ изъ Египта. Въ Римѣ онъ сдѣлался впослѣдствіи доносчикомъ, всадникомъ и сенаторомъ. *Пр. г. Благ.*

** Этими словами Ювеналъ обозначаетъ роскошь и вмѣстѣ-съ-тѣмъ изнѣженность *Криспина*. Кромѣ лѣтнихъ перстней, у него, какъ видно, были еще зимніе, тяжести которыхъ онъ не могъ вынести лѣтомъ. Но и лѣтніе перстни *Криспина*, то-есть вставленные въ нихъ драгоценныя камни, были такъ тяжелы, что отъ нихъ потѣли руки. *Пр. г. Благ.*

Кто-же на столько терпѣливъ въ этомъ безчестномъ городѣ, кто на столько желѣзный человѣкъ, чтобы совладать съ собой, когда повстрѣчается ему пышная, новая лектика *, переполненная подъячимъ Мэономъ? А вотъ и шпіонъ. Онъ сдѣлалъ доносъ на своего друга и вскорѣ отниметъ послѣднее, что еще осталось у нашей обглоданной знати. Говорить-ли, какимъ гнѣвомъ горитъ моя изсохшая печень, когда грабитель-опекунъ, который довелъ до слезъ и отчаянія бѣдныхъ сиротъ, огромною ватагой своей челяди давить народъ по римскимъ улицамъ, или когда ссыльный проконсулъ Марій, осужденный безплоднымъ, пустымъ приговоромъ, — что такое безчестіе, если деньги нѣтъ? — начинаетъ пировать съ двухъ часовъ по полудни и наслаждаться себѣ, при гнѣвѣ боговъ, а ты, побѣдоносная провинція, ты плачешь!... И мнѣ не думать, что это достойно сатиры? и мнѣ не карать всего этого? Но чѣмъ-же лучше мифологическіе сюжеты, всѣ эти басни о Геркулесѣ, Діомедѣ, о мычаніи, которое раздавалось въ Критскомъ-лабиринтѣ, о бѣготѣ Икаръ и о летящемъ кудесникѣ Дедалѣ? Когда самъ мужъ продаетъ свою жену съ тѣмъ, чтобы получить наследство отъ ея милаго, этотъ мужъ, который порой такъ хорошо умѣетъ смотрѣть въ потолокъ, или уткнувъ свой носъ, храпѣть, но не спать за стаканомъ вина **: когда смѣетъ рассчиты-

* То-есть носилки, обыкновенный римскій экипажъ. *Пр. г. Благ.*

** Эта торговля женами (*venicinium mariti*) была въ Римѣ самымъ обыкновеннымъ явленіемъ. Плутархъ рассказываетъ очень забавный анекдотъ, который хорошо расуетъ римскіе нравы. Однажды, какой-то Гальба угощалъ у себя Мецената, и замѣтивъ, послѣ обѣда, что онъ очень нѣжно поглядываетъ на его жену, притворился спящимъ. Одинъ изъ рабовъ Гальбы вздумалъ воспользоваться этимъ удобнымъ случаемъ, чтобы стянуть со стола бутылку вина, но Гальба вдругъ открылъ глаза и гнѣв-

вать на почетную должность въ войскѣ человѣкъ, который растратилъ все богатство своихъ предковъ на конюшню и продолжаетъ летать на быстрой колесницѣ по фламиніевой дорогѣ... то невольно беретъ тебя желаніе, тутъ-же, на самомъ перекресткѣ писать огромную сатиру... Вотъ шесть рабовъ несутъ огромныя носилки, а на нихъ, въ подражаніе Меценату, развалился дѣлатель фальшивыхъ завѣщаній. Обманомъ, небольшимъ клочкомъ бумаги, да насильственною печатью онъ добылъ себѣ и богатство и счастье... А вотъ и знатная матрона... Когда мужу захочется пить, она подастъ ему мягкаго каленскаго вина и тутъ-же подмѣшиваетъ въ него ядъ. Лучше всякой Локусты *, она учитъ еще неопытныхъ родственниковъ, не обращая вниманія на толки въ народѣ, хоронитъ почернѣлыя трупы своихъ мужей. Риски на дѣло, за которое слѣдовало-бы тебя сослать... или послать въ тюрьму, если ты хочешь сдѣлаться чѣмъ-нибудь. Честность въ наше время прославляется только риториками—и мерзнетъ. Преступленіямъ эти люди обязаны своими садами, дворцами, дорогими столами, стариннымъ серебромъ и кубками съ богатымъ золотымъ чеканомъ. Кому даютъ спокойно уснуть соблазнитель своихъ жадныхъ невѣстокъ, или эти гнусныя невѣсты и отроки-прелюбодѣи? Если природа отказала мнѣ въ стихѣ, то родитъ его негодованіе,—(*facit indignatio versum*)... Все, что дѣлаютъ люди со времени потопа Девкалионова: ихъ желанія, страхи, гнѣвъ, веселье, rado-

но сказалъ своему слугѣ: «развѣ ты не знаешь, негодяй, что я живу только для Мецената»? Это знаменитое «*non omnibus doctio*» вошло въ Римъ въ пословицу. *Пр. г. Благ.*

* Это извѣстная римская отравительница. При ея помощи, Агриппина освободилась отъ Клавдія, а Неронъ отъ Британника. *Пр. г. Благ.*

сти, суета — вот что составить пестрое содержаніе моей сатиры. И когда-же масса пороковъ была обильнѣе? Когда большій просторъ открывался для корысти? Когда страсть къ игрѣ овладѣвала сильнѣе душой человѣка? Теперь отпавляются у насъ къ игральному столу не просто съ кошелькомъ, а мечутъ кости, поставивъ подлѣ себя цѣлый сундукъ съ деньгами. И какія битвы увидишь ты тамъ, гдѣ рабъ-казначей является оруженосцемъ! Развѣ это не больше, чѣмъ простое сумасшествіе — проигрывать въ одинъ вечеръ по стутысячъ сестерцій, и отказывать въ одеждѣ продрогшему отъ стужи рабу? Кто въ прежнее время строилъ столько виллъ? Кто изъ нашихъ дѣдовъ, одинъ, безъ гостей, имѣлъ за своимъ столомъ по семи перемѣнъ?... Вотъ, на самомъ порогѣ выставлены спортулы на расхищеніе людей, одѣтыхъ въ тогу. Патронъ, однако, сначала смотритъ тебѣ въ лицо, и дрожитъ, чтобъ ты не явился подставнымъ кліентомъ и не потребовалъ себѣ спортулы подъ чужимъ именемъ... Самый день раздѣленъ у насъ по роду занятій: сначала утренія поздравленія, а потомъ форумъ съ своимъ законовѣдомъ Аполлономъ *, и съ статуями триумфаторовъ, а между ними осмѣлился помѣстить свои титулы, не знаю, какой-то египтянинъ или откупщикъ, передъ изображеніемъ котораго позволено творить всякія пакости. Затѣмъ усталые старинные кліенты расходятся изъ прихожихъ своихъ патроновъ.

* Здѣсь рѣчь идетъ о такъ-называемомъ форумѣ Августа. Между прочими украшеніями этой площади, на ней, при Августѣ, была поставлена статуя Аполлона изъ слоновой кости. Онъ здѣсь, въ шутку, называется законовѣдомъ потому, что подлѣ его изображенія, вѣроятно, находился трибуналъ претора. Бѣдному Аполлону каждый день приходилось выслушивать множество процессовъ, и онъ по неволѣ долженъ былъ сдѣлаться юристомъ. *Пр. г. Благ.*

Приходится бѣднякамъ купить кочанъ капусты да немного дровъ. А между-тѣмъ ихъ патронъ, ихъ царь *, будетъ пожирать все лучшее, что только производить лѣса и море, и одинъ, безъ гостей, возляжетъ на свои пустыя ложа. Да, наши богачи на одномъ обѣдѣ, гдѣ поставлено столько красивыхъ, огромныхъ и старинныхъ блюдъ, продаютъ отцовское наслѣдство. Не будетъ больше паразитовъ на свѣтѣ! Но кто-же въ состояніи вынести такую грязную роскошь? Какова должна-быть глотка, которая влагаетъ въ себя цѣлыхъ кабановъ, животное, созданное для многолюдныхъ пировъ? Зато и наказаніе долго заставляетъ себя ждать. Оно настигаетъ тебя въ то время, какъ ты, распухнувъ отъ жирнаго обѣда, тотчасъ послѣ него отправляешься въ баню и несешь туда съ собою неперевареннаго павлина. Оттого и умираютъ у насъ люди внезапно, и старики не успѣваютъ сдѣлать передъ смертью духовнаго завѣщанія... Наши внуки будутъ и желать и дѣлать тоже, что и мы. Да, порокъ достигъ крайняго предѣла, больше онъ идти не можетъ. Пользуйся-же, писатель, попутнымъ вѣтромъ, распусти всѣ паруса своей сатиры!...

Вторая сатира направлена противъ разврата и изнѣженности римлянъ. Начинается она желаніемъ поэта убѣжать къ савроматамъ, за ледяное море, чтобъ не видать лицемѣровъ, которые покупаютъ изображенія философовъ, и поэтому самихъ себя считаютъ философами; которые порицаютъ пороки, а сами валяются въ грязи самаго гнуснаго разврата; но порицая этихъ базнощадныхъ моралистовъ, скрывающихъ свой гніющій развратъ

* Это было обыкновенное названіе патроновъ на языкѣ римскихъ кліентовъ. *Пр. г. Благ.*

подъ строгую вѣдѣнность стоическаго философа, — поэтъ не забываетъ и жено-подобныхъ вельможей, которые подаютъ собою примѣръ самаго противуестественнаго распутства.

Третья сатира — одна изъ самыхъ остроумныхъ, изображаетъ суету Рима и всѣ непріятности, съ которыми сопряжена жизнь въ большомъ городѣ. Другъ поэта, Умбрицій, рѣшился не оставаться долѣе въ Римѣ; онъ выбралъ для своей будущей резиденціи тихія Кумы, и въ то время какъ укладываютъ его домашній скарбъ, — друзья сходятся въ долину Эгеріи. Здѣсь Умбрицій объясняетъ другу своему причины, почему онъ оставляетъ Римъ: „Не могу я, говоритъ онъ, долѣе выносить Рима, послѣ того, какъ онъ совершенно превратился въ греческій городъ. Въ Греціи нѣтъ ни одного мѣстечка, которое не подарило-бы насъ вышвыркомъ; и все вѣдь это „нутро (viscera) знатныхъ домовъ Рима и нани будущіе властелины; умъ ихъ быстръ, дерзость отчаянная и рѣчь текуче, чѣмъ у оратора Изея. Скажи мнѣ, за кого ты считаешь такого человѣка! Онъ все, — онъ принесъ намъ съ собою кого угодно. Онъ грамматикъ, риторъ, математикъ, живописецъ, парикмахеръ, авгуръ, канатный плесунъ, врачъ, магъ, онъ все знаетъ. Голодный грекъ, если это тебѣ угодно, полезетъ на самое небо“. И я стану смотрѣть, какъ этакія твари щеголяютъ въ пурпурѣ? Онъ, котораго въ Римъ привезъ корабль съ черносливомъ или съ фигами, важничаетъ передо мною, природнымъ римляниномъ; онъ сидитъ за столомъ на первомъ мѣстѣ, потому-что онъ первый лстенецъ, первый мимъ! Народъ, рожденный комедіантомъ! ты смѣешься: и онъ, помирая со смѣху, ржетъ какъ лошадь; ты хочешь подвинуться зимою къ жаровнѣ, а онъ ужъ укутался въ

шубу; ты говоришь: жарко мнѣ, — и онъ потѣетъ... У него нѣтъ ничего священнаго; онъ разуживаетъ всѣ семейныя тайны для того, чтобъ его больше боялись тамъ, гдѣ онъ принятъ. Но всего хуже греческіе философы. Съ ними не сравнится ни одинъ римлянинъ. Но чтобъ не польстить и нашимъ: мы сами все мѣряемъ по богатству. Бѣднаго считаемъ за ничто; о бѣдномъ никто не пожалѣетъ; бѣдный — цѣль всѣхъ насмѣшекъ. Да и самое-то богатство у насъ одинъ призракъ, блестящая нищета, потому-что всѣ мы живемъ далеко не по состоянію... Какъ покойно живетъ въ маленькомъ городкѣ: домъ съ садикомъ; онъ стоитъ не дороже годичной платы за наемъ душевой и мрачной каморки въ Римѣ. Здѣсь ты самъ себѣ господинъ; спя твоему не помѣшаетъ стукъ экинажей и крикъ людей. Если ты выйдешь на улицу днемъ, — тебя задавятъ, затолкаютъ; выйдешь ночью — новыя опасности. Изъ оконъ высокихъ домовъ летаютъ горшки; такъ-что идти къ кому-нибудь на ужинъ, не сдѣлавъ духовнаго завѣщанія, — большое легкомысліе. Очень естественно, что желаешь, пускай лучше попадетъ въ тебя содержащееся въ горшкѣ, чѣмъ самая посуда. — Мальчишка-буянъ затрогиваетъ тебя на улицѣ. Хоть отвѣчай ему, хоть стой смирно, — отъ щелчка, все равно, не уйдешь, если еще не отъ процесса. Да нѣтъ не достатка и въ ворахъ, и въ бандитахъ, которые сдѣлали ремесло изъ разбоя. Потому-что, когда полиція очистила лѣса и болота, вся сволочь съ глухихъ проселковъ перебѣжала въ Римъ... Въ кузницахъ только и дѣлаютъ, что коуютъ цѣпи; скоро не будетъ доставать желѣза на сошники и плуги. Счастливое то было время, когда въ Римѣ довольно было одной темницы...

Содержаніе *четвертой* сатиры составляетъ рассказъ

объ одномъ изъ происшествій, какія вѣроятно случались нерѣдко въ царствованіе Домиціана. Поэтъ начинаетъ свой рассказъ пародією на эпиковъ и по обычаю ихъ дѣлаетъ слѣдующее воззваніе къ музамъ: „Начинай Каліона! ты можешь спокойно присѣсть. Нечего выдумывать, дѣло идетъ объ истинномъ происшествіи. Начинайте-же вашъ рассказъ, дѣвы Шериды. Пусть мнѣ, о музы, поможетъ хоть то, что я называю васъ дѣвами *“. Въ то время, продолжаетъ сатирикъ, какъ послѣдній изъ Флавіевъ терзалъ и безъ того полуживой міръ, и Римъ былъ рабомъ «*плывиваго Нерона*», — такъ въ этомъ мѣстѣ Ювеналъ называетъ Домиціана, — одинъ бѣдный рыбакъ поймалъ близъ Анконы, въ Адриатическомъ морѣ, огромнаго ромба... Поймалъ и испугался. Испугался онъ не рыбы, а того, что простой, честный человѣкъ неожиданно сдѣлался обладателемъ такого сокровища. И вотъ бѣднякъ рѣшается принести эту лакомую рыбу въ даръ „*первосвященнику Домиціану*“. Да и что было дѣлать? Продать ромба. Но никто не осмѣлился-бы купить его“. Различные сыщики и шпіоны, которыми наполненъ былъ даже морской берегъ, тотчасъ-бы завели дѣло съ бѣднымъ рыбакомъ. Они не задумались-бы объявить, что эта рыба бѣглая, что она откормлена въ садкахъ цезаря, исчезла оттуда и должна возвратиться къ прежнему своему господину. Если вѣрить Пальфурію и Армиллату **,

* Ювеналъ также мало вѣрить въ свой даръ эпика, какъ и въ дѣвственность музъ. Этотъ дурной комплиментъ музамъ, очевидно, имѣетъ связь съ невысокимъ мнѣніемъ Ювенала о женщинахъ вообще. *Пр. г. Блаи.*

** Пальфурій Сура и Армиллатъ извѣстные донощики при Домиціанѣ. Первый изъ нихъ былъ стоикъ. Оба они, говоритъ Гейнрихъ, вѣроятно принадлежали къ законовѣдамъ и старались поддерживать самодержавіе цезарей теорією распространенія такъ называвшихся *jura fisci*. *Пр. г. Блаи.*

то даже всякая дорогая рыба, гдѣ-бы она ни плавала, собственность цезаревой казны“. Домиціанъ жилъ въ это время, по обыкновенію, въ своей альбанской виллѣ. Туда отправляется рыбакъ, и наконецъ его допускаютъ къ цезарю. „Прими, говоритъ ему вѣрноподанный, эту драгоцѣнность, которая слишкомъ огромна для кухни частнаго человѣка. Пусть этотъ день будетъ объявленъ праздникомъ. Приготовь, о цезарь, свой желудокъ для принятія пиши этой и отвѣдай ромба; ясно, что сама судьба сохранила его для твоихъ дней. Да, эта рыба сама хотѣла того, чтобъ ее поймали“. Домиціанъ выслушалъ эту рѣчь благосклонно. Нѣтъ той лести, прибавляетъ поэтъ, которой-бы ни повѣрилъ человѣкъ, когда власть его призвана и объявлена равною божеской власти. Дѣло, однако, этимъ не кончилось. Возникъ вопросъ, что дѣлать съ ромбомъ? Кромѣ того, для такой огромной рыбы нельзя было отыскать достаточно большого блюда. И вотъ Домиціанъ посылаетъ въ Римъ гонцовъ звать сенаторовъ, для совѣщанія объ этомъ важномъ государственномъ вопросѣ. Въ Римѣ все пришло въ смятеніе. Лица сенаторовъ, и безъ того блѣдныя, еще болѣе поблѣднѣли. — Затѣмъ слѣдуетъ у Ювенала очень любопытная характеристика римскихъ вельможъ. Онъ называетъ ихъ по именамъ, и все это имена опозоренныя въ исторіи. Первый на крикъ гонца: *currite, jam sedet!* (бѣгите, онъ ужъ сѣлъ) схватилъ свою аболлу (плащъ) и сѣлшій Пегасъ *. Онъ только-что былъ назначенъ управителемъ (*villucus*) перенуганной столицы; что-же другое, какъ не приказчики, были въ это время префекты (губернаторы)? Это былъ (по природѣ своей) честный человѣкъ, строгій

* Пегасъ знаменитый римскій юристъ. *Пр. г. Блаи.*

блюститель закона, хотя и убѣжденный въ томъ, что въ его ужасный вѣкъ справедливость была оружіемъ очень ненадежнымъ. За нимъ является пріятный, добродушный и краснорѣчивый старичокъ Криспъ. И кто могъ быть полезнѣе Криспа для человѣка, подъ властію котораго находились и моря, и земли, и народы, если-бы при Домиціанѣ, этой язвѣ и гибели человѣческаго рода, можно было открыто порицать жестокость и подавать честный совѣтъ? Но что могло быть свирѣнѣе слуха этого тирана? Участь самыхъ близкихъ къ нему людей была сомнительна даже тогда, когда они разговариваютъ съ нимъ о погодѣ. Вотъ почему Криспъ никогда не старался плыть противъ теченія, и не былъ онъ человѣкъ съ свободою и задушевною рѣчью, — гражданинъ готовый заплатить жизнь за правду. Такъ прожилъ онъ много лѣтъ и увидѣлъ восьмидесятую весну, обезопасивъ себя оружіемъ даже при дворѣ Домиціана. Вслѣдъ за Криспомъ, поспѣшно прибылъ въ виллу Домиціана Ацилій съ своимъ сыномъ, а за ними Рубій. Наконецъ является и чрево Монтана *—Монтанъ, весь обратившійся въ „медленно двигающееся, отъ тучности чрево“, и раздушенный Криспинъ, „отъ котораго несло разными ароматами сильнѣе, чѣмъ отъ двухъ похоронъ“, (т. е. набальзамированныхъ покойниковъ). Является и Помпей **, который еще свирѣнѣе, чѣмъ Криспинъ, губить людей и доводить ихъ до казни своими доносами. Являются и Фускъ, что берегъ свое тѣло для коршуновъ Дакия, и хитрый Вейентонъ съ смертоноснымъ Катулломъ... Никто больше слѣднаго Катулла не восторгался рыбой. Онъ много

* Былъ знаменитъ своимъ аппетитомъ и гастрономическими наклонностями. *Пр. 1. Благ.*

** Одинъ изъ страшныхъ доносчиковъ при Домиціанѣ. *Пр. 1. Благ.*

наговорилъ, обратясь въ лѣвую сторону, а ромбъ лежалъ отъ него направо. Точно такъ онъ (въ угоду Домиціану) восхищался и битвами гладиаторовъ, и театральными машинами.. Не уступаетъ Катулла и Вейентонъ, и какъ-бы пораженный священнымъ трепетомъ, вдохновенный самою Веллою, начинаетъ даже предсказывать. Эта рыба, говоритъ онъ, пророчить тебѣ, Домиціанъ, великій и славный триумфъ! Ты захватишь въ плѣнъ какого-нибудь царя, или британскій вождь Арвиратъ, пораженный, упадетъ съ своей боевой колесницы. Эта рыба—звѣрь чужеземный. Развѣ ты не видишь, какъ его боковыя перья вытянулись къ спинѣ? Недоставало только Вейентону упомянуть о родинѣ ромба и о томъ, сколько ему лѣтъ. — „Какое-же твое мнѣніе? спрашиваетъ Домиціанъ. — Разрѣзать ромба что-ли?“ Да будетъ отъ него далека тотъ позоръ, отвѣчаетъ Монтанъ. Нужно приготовить огромное блюдо съ тонкою стѣнкою и обширнымъ круглымъ дномъ. Для такого блюда необходимо найти немедленно художника, какого-нибудь опытнаго Прометея. Мнѣніе Монтана, продолжаетъ поэтъ, одержало верхъ, и оно было вполне достойно этого человѣка. Онъ помнилъ еще роскошь прежняго двора, помнилъ полупозные пиры Нерона, когда гости его, разгоряченные фалерномъ, чувствовали все новый и новый позывъ къ наслажденіямъ. Ни у кого въ мое время не было такой опытности во всемъ, что относилось къ съѣстному. Монтану стоило только отвѣдать, чтобы тотчасъ угадать, были-ли устрицы съ Цирцейскаго мяса, или изъ Лукринскаго озера, или съ британскаго берега, и взглянувъ на черепаху, онъ тотчасъ же могъ назвать ея родной берегъ. Наконецъ всѣ встаютъ, совѣщаніе закрыто, и сенаторы получаютъ прика-

заніе удалиться. *Великій вождь* собралъ ихъ въ свой альбанскій дворець. Испуганные, они поспѣшили туда, какъ-будто цезарь хотѣлъ сообщить имъ что-нибудь о каттахъ и дикихъ сикамбрахъ; какъ-будто съ разныхъ концовъ міра привезены были быстрыми гонцами страшныя вѣсти. О, къ чему, мрачно заключаетъ Ювеналь свою сатиру, къ чему Домиціанъ не посвятилъ такимъ ничтожнымъ дѣламъ всѣхъ дней своего свирѣпаго царствованія, въ которое онъ безнаказанно, и не вызвавъ мести, отнялъ у Рима столько доблестныхъ и знаменитыхъ людей! Но онъ и самъ палъ, послѣ того, какъ сдѣлался страшенъ для черни. Вотъ что сгубило Домиціана, обогрѣннаго кровью своихъ вельможъ! — *Пятая* сатира изображаетъ наглое обращеніе вельможъ съ бѣдняками-кліентами, которыхъ они иногда допускали къ своему столу, — конечно не изъ участія къ нимъ, а для потѣхи. Поэтъ съ большимъ негодованіемъ говоритъ здѣсь о тѣхъ униженіяхъ и обидахъ, которыя кліенты терпѣли отъ своихъ патроновъ для того, чтобы поѣсть на чужой счетъ. „Если патрону, пишетъ Ювеналь, вздумается пригласить къ себѣ на обѣдъ, въ два мѣсяца разъ, своего забытаго кліента, чтобы за столомъ не образовалось пустаго мѣста, то говоритъ ему: приходи ко мнѣ. И это верхъ желаній для кліента! Для какого-нибудь Требія это достаточный поводъ отправиться къ своему патрону съ ранняго утра. И что-же это за обѣдъ? Вино такое, въ какомъ не моютъ даже шерсти. И отъ такого вина ты изъ порядочнаго приличнаго гостя превращаешься въ пьянаго жреца. Дѣло начинается бранью, а затѣмъ, для потѣхи патрона, между кліентами и ватагой его отпущенниковъ нерѣдко загорается битва на бутылкахъ. И вотъ ты уже бросаешь

стаканами въ своихъ враговъ, и раненый, отираешь скатертью кровь съ своего лица. Самъ патронъ пьетъ старое вино, стаканъ, который у него въ рукахъ, изъ янтаря и украшенъ бериллами, а тебѣ не довѣряютъ золотого бокала, или если и довѣрятъ, то тутъ-же приставятъ къ тебѣ слугу. Онъ сначала считаетъ драгоценныя камни, которые вдѣланы въ этотъ бокалъ, а потомъ все время будетъ наблюдать за твоими острыми ногтями. И не только вино, даже воду вы пьете за такимъ обѣдомъ не ту, какую патронъ. Притомъ, подаетъ тебѣ ее какой-нибудь скороходъ изъ Гетуліи или костлявая рука чернаго мавра, съ которымъ тебѣ не захотѣлось-бы встрѣтиться въ полночь, когда ты ѣдешь по латинской-дорогѣ, обставленной надгробными памятниками. Въ то-же время прислуживаетъ патрону цвѣтъ Азіи, рабъ, купленный за огромную цѣну. Она больше, чѣмъ сколько стоило все имущество Сервія Туллія и воинственнаго Анка Марція, словомъ, больше чѣмъ весь скарбъ древнихъ римскихъ царей. Если тебѣ захочется пить, то ты обратишься къ своему африканскому Ганимеду, а дорогой рабъ не захочетъ, да и не умѣетъ прислуживать бѣднякамъ. Смотри, съ какимъ ворчаньемъ слуга положилъ передъ тобой хлѣбъ. Его едва можно надломить: это какіе-то заплесневѣлые куски затвердѣвшей муки, отъ которыхъ раскачаются какіе угодно зубы. Раскусить такой хлѣбъ нѣтъ никакой возможности. И тутъ-же поставятъ пшеничный хлѣбъ, бѣлый, мягкій, — это для патрона. Смотри, не забудь попридержать свою руку и оказывай должное уваженіе къ этому произведенію некарнаго искусства. Вообрази однако, что у тебя достанетъ смѣлости для того, чтобы протянуть руку къ этому лакомству: тотчасъ-же явится слуга, который

заставить тебя положить его назадъ. Не угодно-ли тебѣ, дерзкій кліентъ, скажешь онъ, набивать свой желудокъ вотъ изъ этой корзины? Развѣ ты не знаешь, какого цвѣта твой хлѣбъ? Посмотри, какъ широко растянулся на блюдѣ великолѣпный омаръ, обложенный со всѣхъ сторонъ спаржей, какъ онъ гордо смотритъ оттуда своимъ хвостомъ на кліентовъ, когда величественно приближается къ столу, несомый на поднятыхъ рукахъ огромнаго слуги. Это для патрона. А тебѣ въ тоже время подаютъ на блюдечекъ небольшого рака и поль-ййца — кушанье въ родѣ того, какое ставятъ на могилахъ у покойниковъ. Патронъ поливаетъ свою рыбу венафрскимъ масломъ, а тощій кочанъ капусты, который подаютъ тебѣ, сильно отзывается почникомъ. Да, въ соусники кліентовъ наливается то самое масло, изъ-за котораго никто не хочетъ мыться въ банѣ съ нумидійцемъ Бокхаромъ, и которое даже, какъ увѣряютъ, дѣлаетъ тѣло человѣка безопаснымъ отъ укушенія змѣи“.

Затѣмъ Ювеналъ перечисляетъ много и другихъ контрастовъ въ кушаньяхъ, подаваемыхъ за столомъ патрону и его кліентамъ, и заключаетъ свою сатиру слѣдующими благородными словами:

„Можетъ-быть, ты думаешь, что патронъ жалѣетъ денегъ на твое угощеніе. Нѣтъ, онъ это дѣлаетъ, чтобы опечалить тебя. Какой-же фарсъ, какою комедіантъ забавишь обжоры-паразита, когда онъ плачетъ о томъ, что его не накормили? Все это дѣлается для того, чтобы ты излилъ свою желчь въ слезахъ и наконецъ заскрежеталъ долго стиснутыми зубами. Тебѣ кажется, что ты человѣкъ свободный и гость твоего патрона, а онъ думаетъ, и совершенно сираведливо, что ты весь находишься подъ обаяніемъ ароматовъ его кухни.—Человѣкъ,

который съ тобой такъ обращается, поступаетъ умно. Если ты можешь, то и долженъ все выносить. Современемъ ты самъ станешь подставлять свое лицо для побоевъ, попривыкнешь къ нещаднымъ ударамъ и сдѣлаешься вполне достойнымъ и такого обѣда, и такого патрона.“ —

Шестая, самая законченная изъ всѣхъ сатиръ Ювенала, есть омерзительная картина распутства римскихъ женщинъ. Сатира эта имѣетъ форму предостереженія, которое поэтъ дѣлаетъ своему другу, задумавшему жениться. Яркими красками онъ рисуетъ ему нравы женщинъ того времени, ихъ колоссальное безстыдство, ихъ развратъ, ихъ ханжество, надменность, тщеславіе, — однимъ словомъ, въ этой сатирѣ соединены всѣ обвиненія, какія когда-либо ввозились на женщинъ ихъ ненавистниками. Эта краснорѣчивая сатира—одинъ изъ самыхъ важныхъ памятниковъ для культурной исторіи перваго вѣка по Р. Х.—*Седьмая* сатира изображаетъ горькую участь литераторовъ, и вообще людей образованныхъ, въ странѣ, гдѣ богатые презираютъ науки, и развѣ только изъ тщеславія величаво покровительствуютъ писателямъ и ученымъ. (Русск. перев. въ Сборн. студент.).—*Восьмая* сатира,—одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній Ювенала. Поэтъ старается доказать, что истинное благородство состоитъ въ личной доблести и въ личныхъ заслугахъ, а не въ длинномъ рядѣ предковъ, которыми мы обязаны случаю,—а иногда такъ и просто услужливости грековъ. Есть, конечно, и настоящіе потомки баснословныхъ троянцевъ. „Это однако не мѣшаетъ имъ грабить провинціи, поддѣлывать завѣщанія, пьянствовать въ тавернахъ съ палачами, разбойниками, гробовщиками и бѣглыми рабами, или выходить на арену амфитеатра и тамъ всенародно биться съ дикими звѣ-

рами, — добровольно, прибавляет поэтъ, когда ихъ не принуждаетъ къ этому никакой Неронъ“. — *Девятая* сатира чрезвычайно драматична; она, нерѣдко впадая въ непристойность, изображаетъ порокъ, довольно распространенный между римлянами. — *Въ десятой* сатирѣ поэтъ излагаетъ свои собственныя, основанныя на стоическихъ принципахъ воззрѣнія на жизнь. Такимъ-образомъ, это скорѣе философскій трактатъ или декламация риторы, чѣмъ настоящая сатира. Поэтъ доказываетъ въ ней, что большая часть людей не знаетъ, что такое истинное добро; и что ни таланты, ни власть и почести, ни краснорѣчіе и военная слава, ни долговѣчность и красота не составляютъ счастья. Для подкрѣпленія своей мысли онъ приводитъ нѣсколько историческихъ примѣровъ. „Могущество, говоритъ поэтъ, возбуждаетъ много зависти и нерѣдко губить человѣка; топить (mergit) его длинный перечень почетныхъ титуловъ. Нерѣдко статуи сходятъ съ своихъ высокихъ подножій, и неистово влечетъ ихъ толпа. Тогда топоръ рубитъ самыя колеса триумфальныхъ колесницъ, рубитъ и ломаетъ голени мѣдныхъ коней. Чѣмъ-же они-то, бѣдныя, виноваты? Вотъ трещить огонь, и въ пламени голова, которую такъ боготворилъ народъ, и съ шумомъ плавится статуя Сеяна, и потомъ изъ этой статуи, изъ этого изображенія человѣка, бывшаго послѣ Тиберія первымъ человѣкомъ въ цѣломъ мірѣ, сдѣлаютъ тазы, горшки, сковороды. Укрась твой домъ лавромъ, веди въ Капитолій большого бѣлаго быка: по римскимъ улицамъ влекутъ крѣчьми Сеяна на всенародное позорище. Всѣ въ восторгѣ. Какія были у него истерзанныя губы, какое страшное лицо. Повѣрь мнѣ, я никогда не любилъ этого человѣка; но что-же, однако, за пре-

ступленіе, отъ котораго онъ погибъ? гдѣ доносчикъ на Сеяна, гдѣ доказательства, гдѣ свидѣтели его вины? Ничего этого не было. Съ острова Капри привезено въ сенатъ многорѣчивое, длинное посланіе Тиберія. Прекрасно! послѣ этого нечего спрашивать о преступленіи Сеяна; но что-же дѣлаетъ эта толпа, что дѣлаютъ эти потомки великаго Рима? Толпа, какъ всегда, слѣдуетъ за удачей и ненавидитъ осужденныхъ. Если-бы счастье улыбнулось Этруску, т. е. Сеяну, или-бы ему удалось погубить стараго Тиберія въ безопасномъ его убѣжищѣ, то немедленно тотъ-же самый народъ провозгласилъ-бы Сеяна цезаремъ. Этотъ народъ уже давно сложилъ съ себя государственное бремя съ-тѣхъ-поръ, какъ мы, на выборахъ, никому больше не продаемъ нашихъ голосовъ. Онъ, который когда-то раздавалъ власть, консульскіе цуки и легіоны; теперь онъ живетъ тихо и только озабоченно жаждетъ даровой раздачи хлѣба да зрѣлищъ въ циркѣ“. — *Въ одиннадцатой* сатирѣ Ювеналь приглашаетъ на ужинъ одного изъ своихъ друзей. Онъ посылаетъ ему меню своего ужина, и пользуясь этимъ случаемъ, порицаетъ роскошь своего вѣка и хвалитъ умѣренность и воздержность стараго времени. — Другъ Ювенала спасся во время кораблокрушенія; *въ двѣнадцатой* сатирѣ поэтъ приглашаетъ общаго друга на праздникъ, который онъ хочетъ дать по этому случаю; и чтобы не подумали, что его радость не чистосердечна, и что онъ въ тайнѣ желалъ получить отъ этого друга наслѣдство, поэтъ объясняетъ, что у этого друга есть дѣти: пользуясь этимъ, онъ рисуетъ отвратительныя черты тѣхъ многочисленныхъ въ то время мерзавцевъ, которые ухаживали за богатыми холостяками, въ надеждѣ, что они не забудутъ ихъ въ своихъ

завѣщаніяхъ. Одинъ изъ друзей Ювенала горюетъ о деньгахъ, которыя несправедливо оттягаль у него должникъ. Поэтъ утѣшаетъ его въ своей *тринадцатой* сатирѣ, выставляя на видъ всю бесполезность жалобъ. Это стихотвореніе, полное соли и прекрасныхъ мыслей, страдаетъ однако множествомъ вѣдшихъ недостатковъ. — *Четырнадцатая* сатира — одна изъ лучшихъ. Она состоитъ изъ двухъ частей: въ первой поэтъ изображаетъ недостатокъ современнаго ему воспитанія; вторая направлена противъ скряжничества. — Описаніе предразсудковъ и еувѣрія египтянъ составляетъ предметъ *пятнадцатой* сатиры; поэтъ говоритъ, что онъ самъ былъ очевидцемъ осмѣянныхъ имъ нелѣпостей. — *Шестнадцатая* сатира, кажется, не полна. Это похвала воинскому званію; она изображаетъ его самымъ счастливымъ изъ всѣхъ возможныхъ состояній; но эта похвала скрываетъ въ себѣ горькую иронию и сатиру противъ распущенности и наглости той дикой солдатчины, которую уже въ эту эпоху императоры на всегда были въ состояніи сдерживать, и которая потомъ стала одною изъ причинъ гибели римской имперіи.

Если о характерѣ писателя можно судить по его твореніямъ, то Ювеналъ былъ человѣкъ самой строгой честности, достойный лучшаго вѣка. Сатиры его дышатъ любовью къ доблести и ненавистью къ пороку. „Смѣлый, честный гнѣвъ сатирика нерѣдко принимаетъ у Ювенала величественные размѣры и грандіозный характеръ; но нельзя не согласиться съ нимъ самимъ, что это еще не поэзія... вообще должно замѣтить, что онъ гораздо съ большимъ успѣхомъ овладѣлъ матеріаломъ сатиры, чѣмъ ея формой“. Въ большей части произведеній Ювенала нѣтъ и слѣда гармоническаго развитія преобладающей идеи, нѣтъ

въ нихъ округленности и художественной цѣльности, которыя составляютъ необходимое условіе созданій искусства. Въмѣсто этого мы нерѣдко встрѣчаемъ въ произведеніяхъ римскаго сатирика цѣлый рядъ общихъ мѣствъ, безъ всякой внутренней связи. Вся сила такой сатиры заключается въ ея рѣзкомъ, гнѣвномъ и грозномъ тонѣ, а это самое придаетъ хотя рельефный, но иногда односторонній характеръ картинамъ, которыя рисуетъ Ювеналъ. Сатиры его волнуютъ, дѣйствуютъ на нервы читателя, но не возвышаютъ его надъ грязною дѣйствительностію. Мы видимъ, что страшная эпоха, со всею своею нравственною уродливостію, совершенно какъ-бы охватила собою поэта *, и онъ не въ состояніи отрѣшиться отъ своего вѣка, не въ состояніи возвыситься надъ нимъ, посмотрѣть на него свободными глазами. Сквозь житейскую тину нигдѣ не просвѣчиваетъ у Ювенала идеалъ, который составляетъ такую существенную принадлежность поэзіи. Да и странно было-бы требовать идеаловъ отъ писателя домиціанова вѣка. Въ такую пору не могла процвѣтать поэзія, или она должна была утратить все свое обаяніе, точно такъ, какъ во время голода теряютъ всю свою цѣну роскошныя, гастрономическія блюда. Притомъ изложенію Ювенала, въ боль-

* Въ особенности неприятно поражаетъ въ Ювеналѣ цинизмъ его, независимо отъ грязныхъ картинъ, которыя онъ долженъ былъ рисовать, чтобы сколько-нибудь исчерпать свою тему. Ювеналъ любитъ циническія выраженія и картины, и нерѣдко прибѣгаетъ къ нимъ даже тамъ, гдѣ вовсе не было въ нихъ нужды. Отзывъ его о римской женщинѣ, не смотря на то, что она опозорила себя своимъ развратомъ, постоянно отличаются самою непристойною рѣзкостію (въ особенности въ VI сат.) и какой-то непримиримою ненавистью. *Пр. г. Благ.*

шей части его сатиръ, много вредить декламация, которая вообще наложила свою печать на все произведенія римской литературы. Ювеналь постоянно увлекается риторическими блестками, или вѣрнѣе, не можетъ отъ нихъ освободиться. Многословіе, повтореніе, или—употребляя выраженіе древнихъ риторовъ—*амплификація* одной и той-же мысли, все это производитъ не очень пріятное впечатлѣніе на читателя ювеналовыхъ сатиръ. Но съ другой стороны, человѣку, который говоритъ отъ души, невозможно постоянно оставаться риторомъ, и приведенная нами первая сатира Ювенала служить лучшимъ доказательствомъ того. Его гнѣвъ большею частію не искусственный и не поддѣльный; онъ взятъ не изъ школы, а изъ жизни, и должно прибавить, что этотъ честный гнѣвъ, какъ всякій сильный и благородный порывъ, овладѣвающий душою человѣка, порой возвышается у Ювенала до художественнаго пафоса. Эта-то смѣсь истиннаго, глубокаго чувства съ риторикой—невольною данью, которую знаменитый писатель заплатилъ своему вѣку—и составляетъ настоящій характеръ Ювеналовой сатиры*.

Кромѣ твореній Персія и Ювенала, мы имѣемъ отъ этого періода нѣсколько сатирическихъ поэмъ меньшаго объема: а) Фрагментъ въ 30 стихахъ, составляющій часть сатиры на Нерона, авторомъ которой считается нѣкто *Туригъ*, и б) не столько сатирическое, сколько жалобное стихотвореніе (70 гекс.) объ изгнаніи изъ Рима философовъ и вообще о жалкомъ положеніи литераторовъ и ученыхъ эпохи Домиціана. Эту сатиру приписываютъ *Сулпицію*, которая была первой римлянской издавшей свои стихи*.

* О Ювеналѣ: Völker «Juvenal. Ein Lebens-und Charakterbild aus der römischen Kaiserzeit» (Berf. 1851).

3. ЭПИГРАММА (МАРЦІАЛЬ).

Обоюдоострый мечъ ювеналовской сатиры обратился въ легкія,—но конечно ядовитыя, булавки эпиграммъ Марціала.

Маркъ Валерій Марціалъ родился въ испанскомъ городѣ Вилбилисѣ около 43 по Р. X.; двадцати одного года онъ прибылъ въ Римъ и жилъ въ немъ 35 лѣтъ, пользуясь благосклонностью Тита и Домиціана. Тѣснимый бѣдностью, по смерти Домиціана, онъ возвратился въ отечество. Тамъ онъ женился на богатой вдовѣ, владѣвшей обширными полями на Салонѣ (Xalon) и жилъ, постоянно занимаясь поэзіей. Умеръ въ первыхъ годахъ II вѣка по Р. X. Мы имѣемъ отъ него 1200 эпиграммъ; онѣ составляютъ XIV книгу; и въ двухъ послѣднихъ книгахъ носятъ названіе „Xenia“ и „Aprophoreta“. Эти Ксеніи содержали циклъ эпиграммъ въ отдѣльныхъ двустишіяхъ: каждое изъ нихъ говорило о лакомствахъ, которыя со всехъ концовъ міра стекались на пиры римскихъ гастрономовъ. Марціалъ первый и самый замѣчательный изъ эпиграмматическихъ поэтовъ Рима; его эпиграмма есть сжатая сатира,—поэтому она существенно отличается отъ эпиграммы греческой (см. стр. 85). Въ эпиграммахъ Марціала мало неудачныхъ, зато много непристойныхъ. Счастливый даръ схватывать смѣшную сторону современныхъ явленій; иѣткое, часто ѣдкое остроуміе, ловкость и сжатость въ изложеніи и довольно легкая версификація—вотъ достоинства, характеризующія Марціала и дѣлающія его образцомъ для всехъ его послѣдователей въ этомъ родѣ поэзіи. Стихъ давался ему легко и безъ усилій; но духъ поэта никогда не былъ

покою и удовлетворенъ; онъ чувствовалъ, что силы его гения, слишкомъ достаточной для того, чтобы подмѣтить порочную или смѣшную сторону лицъ и событій, мало для передачи полной, живой картины цѣлой, современной ему эпохи. Марціалъ очень умно воспользовался своимъ недостаткомъ, — и, живя въ ту эпоху, когда политическая сатира была невозможна въ литературѣ, — онъ ограничился или смѣшными сторонами отдѣльныхъ личностей, или бичевалъ общія понятія о порокахъ, присущихъ всему человѣчеству. Поэтому, не смотря на то, что его эпиграммы мѣткі и остроумны, что ихъ рисунокъ вѣренъ и отчетливъ, — Марціалъ, для того, чтобы возбудить интересъ въ своей публикѣ, и какъ-нибудь раздражить пресыщенный вкусъ придворныхъ, долженъ былъ спускаться въ самую глубь отвратительно-непристойныхъ положеній и вводить скандалъ въ область поэзіи. Прибавимъ къ этому, что онъ иногда льститъ; ради хлѣба насущнаго сплетаетъ лавровые вѣнки людямъ, которыхъ презираетъ и ненавидитъ, и употребляетъ свой противоборствующій талантъ на лживыя похвалы людямъ недостойнымъ. Сборнику эпиграммъ предшествуетъ „Книга о зрѣлищахъ (liber spectaculorum)“. Эти небольшія стихотворенія, относящіяся къ гладіаторскимъ играмъ и звѣринымъ травлямъ, не всѣ принадлежать Марціалу. — Чрезвычайно остроумно характеризуетъ поэтическую дѣятельность Марціала Лессингъ (Verm. Schriften, I. Thl. Berl. 1771, p. 193—281). „До Марціала, говоритъ онъ, у грековъ и у римлянъ было много поэтовъ, писавшихъ эпиграммы; но до него не было ни одного эпитафиста. Я хочу сказать, что онъ первый разработалъ эпиграмму, какъ отдѣльный родъ поэзіи и первый посвятилъ ему себя всецѣло. Марціалъ первый составилъ

ясную, твердую идею объ эпиграммѣ, и постоянно оставался вѣренъ этой идеѣ“. Характеръ его эпиграммы, какъ замѣчаетъ Лессингъ, состоитъ въ томъ, что любопытство, возбуждаемое эпиграммою, находитъ удовлетвореніе въ самомъ концѣ, для котораго поэтъ прибегаетъ всю соль, всю ѣдкость своего сарказма *.

4) эпосъ.

О достойномъ обработываніи высокихъ родовъ поэзіи въ этотъ періодъ не можетъ быть и рѣчи. Образцомъ эпическихъ поэтовъ этого періода былъ Виргилій, — но конечно, никто изъ подражавшихъ ему поэтовъ не сравнялся съ нимъ даже приблизительно. Эпические поэты этой эпохи щеголяютъ своей эрудиціей, заимствованной у александрийцевъ; но талантъ ихъ блещетъ со стороны чисто внѣшней: при какой-то неискusstvenной торжественности тона, и блистательномъ исполненіи частныхъ, — ихъ многорѣчивыя поэмы страдаютъ недостаткомъ плана и обнаруживаютъ совершенное неумѣнье придать цѣлому видъ художественнаго единства и пластической законченности. Сюжеты болѣе историческіе, чѣмъ эпические, не согрѣтые внутреннимъ огнемъ поэтическаго энтузіазма, — эпика этого періода обработывали ихъ въ риторическо-декламаторскомъ духѣ своего времени. — Написано стихами было много, но поэзіи не было вовсе. Первое мѣсто въ ряду эпическихъ поэтовъ этого періода принадлежитъ Лукану.

* На русск. языкѣ: а) Эпиграммы вѣд. Марціала. Въ журналѣ „Нов. Русск. Лит.“ 1804 года. XI. — б) Эп. Марціала въ Иллюстраціи 60 годовъ.

М. Анней Луканъ, сынъ Аннея Мелы и племянникъ философа Сенеки, родился 38 года по Р. Х. въ Кордубѣ. Образованіе получилъ въ Римѣ. Наставникомъ его въ стоической философіи былъ Анней Корнутъ. По рекомендаціи Сенеки, Неронъ принялъ его въ число своихъ друзей, и черезъ нѣсколько времени далъ ему званіе квестора и авгура. Но поэтический талантъ Лукана скоро возбудилъ зависть Нерона, и онъ запретилъ своему мнимому сопернику даже писать стихи, а не только обнародывать ихъ или читать передъ публикой. Это было началомъ непримиримой вражды между недавними друзьями. Луканъ не пропускалъ случая позорить Нерона и его любимцевъ и даже принялъ участіе въ заговорѣ Пизона. Когда-же заговоръ былъ открытъ, Луканъ долго отказывался отъ всякаго участія въ немъ; но когда императоръ обѣщалъ ему безнаказанность, онъ признался, и не только выдалъ всѣхъ заговорщиковъ, но обвинилъ, и какъ кажется ложно, мать свою Атиллу, — чтобы, какъ замѣчаетъ Тацитъ, такимъ неестественнымъ поступкомъ снова войти въ милость матереубійцы-императора. Но отъ казни онъ все-таки не ушелъ. Неронъ предоставилъ ему родъ смерти на выборъ. Луканъ открылъ себѣ жилы, и умеръ (65 г.) съ стоическимъ эффектомъ, декламируя то мѣсто изъ своей Фарсалии, гдѣ описывается смерть солдата, истекающаго кровью.

Отъ различныхъ произведеній Лукана до насъ дошла главная его поэма *Фарсалия* въ 10 книгахъ, вѣроятно, не совсѣмъ оконченная. Въ ней онъ рассказываетъ исторію междоусобной войны между Цезаремъ и Помпеемъ, — стараясь расположить читателя не въ пользу счастливаго Цезаря, а въ пользу несчастнаго Помпея, который является у него жертвой тирана. Изложеніе скорѣе исто-

рическое, чѣмъ эпическое, и носить на себѣ отпечатокъ реторико-декламаторскаго вкуса того времени. Планъ поэмы очень простъ. Событія рассказываются въ хронологическомъ порядкѣ, но поэту не достаетъ искусства выдвинуть впередъ болѣе важное передъ менѣе замѣчательнымъ. „Бурно-стремительный ходъ разсказа, говорить Бернгарди, пересыпанный блестящими сентенціями, затемняетъ ясную связь дѣйствія, если-бы даже ученая напыщенность и многословіе и могли помириться съ пластичностью характеровъ.“ — Боги не вмѣшиваются въ дѣйствіе непосредственно, но ободряютъ или предостерегаютъ кого надо, черезъ оракуловъ, прорицателей и сны. — Языкъ Лукана отличается неровностью; но вообще говоря, мѣстами онъ чрезвычайно энергиченъ; стиху недостаетъ ни благозвучія Вергилія, ни мелодической мягкости Овидія. Очень справедливо оцѣнилъ поэтическое достоинство Лукана Квинтиліанъ: „пламенный и восторженный, — Луканъ особенно славился своими сентенціями; но если ужъ сказать то, что я думаю, — его скорѣе можно отнести къ ораторамъ, чѣмъ къ поэтамъ.“ — Кромѣ Фарсалии упоминаются еще и другія поэмы Лукана, до насъ не дошедшія: *Orpheus (catachthonius)*, *Hectoris hyra*, *Catalogus heroidum*; *Catacausmus Iliacus*; *Saturnalia*; *Sylvarum libri X* и недоконченная трагедія *Medea* *.

К. Валерій Флаккъ Семіонъ Бальбъ, родомъ вѣроятно изъ Патавіи, жилъ при Веспасіанѣ; умеръ еще въ молодыхъ лѣтахъ. (— 88). Квинтиліанъ видитъ въ

* На русск. языкѣ: „Фарсалия“, въ 10 пѣсняхъ Соч. Лукана. Пер. *Семіонъ Филатовъ* 2 ч. Спб. 1819. — Рѣчь Юлія цезаря къ войскамъ передъ фарсальскимъ сраженіемъ. Въ журн. Новос. Русск. Литерат. 1804, ч. XI.

его ранней смерти большую потерю для литературы. — Для своей эпической поэмы *Argonautica* онъ выбралъ сюжетъ, чрезвычайно любимый греческими и римскими поэтами, — походъ аргонавтовъ. Онъ соперничаетъ съ своимъ греческимъ предшественникомъ въ мифологической учености, но превосходить его въ искусствѣ рас- планировки цѣлаго и исполненіи отдѣльныхъ партій; — зато его сухая, риторическая манера представляетъ совершенный контрастъ съ простымъ и естественнымъ из- ложениемъ грека. Нельзя также не видѣть на немъ вліянія *Виргилія*; но жесткость языка, темное, часто черезчуръ изукрашенное выраженіе и негармоническая версификація, ставятъ *Валерія* глубоко ниже *Виргилія*. Поэма дошла до насъ въ чрезвычайно неисправномъ видѣ; восьмая книга съ большими пропусками. Въ древности ее, кажется, мало читали. За *Валеріемъ*, по хро- нологическому порядку, слѣдуетъ

К. Силій Италикъ, родился въ 25 г. по Р. Х. Его ученныя занятія относились главнымъ образомъ къ краснорѣчію и поэзіи; въ одномъ онъ старался под- ражать Цицерону, въ другомъ *Виргилію*. Изъ любви къ этимъ великимъ людямъ, онъ пріобрѣлъ ихъ ви- ды, — и ежегодно праздновалъ день рожденія *Виргилія*. Начавъ свое политическое поприще доносами, онъ зани- малъ почти всѣ общественныя должности, и въ знаме- нитый годъ смерти *Нерона* былъ консуломъ. Подъ ста- рость онъ удалился въ одну изъ своихъ южныхъ виллъ, и въ 100 году, страдая неизлечимою болѣзью, добро- вольно уюорилъ себя голодною смертію. — Мы имѣемъ отъ него историческій эпосъ о второй пунической войнѣ, *Рупіогум libri XVII*, къ которому совершенно можно примѣнить слова, сказанныя *Плиніемъ* вообще о поэтиче-

скихъ произведеній *Силія*: — что они отличаются бо- лѣе прилежаніемъ, чѣмъ талантомъ. Поэтъ строго дер- жался исторіи, слѣдуя извѣстіямъ лучшихъ историковъ, — *Полибія* и *Ливія*; сюжетъ онъ пытался превратить въ поэтическій тѣмъ, что заставлялъ боговъ непосредствен- но вмѣшиваться въ событія даже обыденной жизни; поэтому боги являются у него досужими фигурантами, которыхъ поэтъ какъ будто-бы нанялъ танцовать въ антрактахъ своей мѣщанской драмы. Языкъ поэмъ од- нообразенъ, но довольно изященъ; ритмъ напоминаетъ нѣсколько кроткое величіе *Виргилія*.

Публій Патиній Стацій родился въ 61 году въ Неаполѣ. Безъ сомнѣнія, это даровитѣйшій поэтъ эпохи *Флавіевъ*. Отецъ его, тоже поэтъ, преподавалъ гречес- кую и латинскую литературу дѣтямъ римской знати и между прочимъ самому *Домиціану*. Значительный поэти- ческій талантъ *Стація* развился рано; скоро онъ пріобрѣлъ такую извѣстность своими удачными импровизаціями, что, по свидѣтельству *Ювенала*, на чтенія *Стація* бѣжали весь Римъ и лавки ломились подъ тяжестью зрителей. Живя нѣкоторое время при дворѣ *Домиціана*, онъ безсозвѣстно льститъ этому императору; но въ- слѣдствіи чѣмъ-то навлекъ его немилость, удалился на родину и умеръ тамъ въ уединеніи, 35 лѣтъ отъ ро- ду. *Стацій* написалъ двѣ эпическія поэмы: „*Тебаиду*“ (12 книгъ), — трагическую исторію сыновей *Эдипа* *Эте- окла* и *Полиника* и „*Ахиллеиду*“ (2 книги) — начало поэтического описанія жизни *Ахиллеса*, такъ сказать прологъ къ поэмамъ *Гомера*. Поэма эта принадлежитъ къ лучшимъ эпическимъ произведеніямъ времени импе- ріи. Она состоитъ изъ ряда отдѣльныхъ эпическихъ кар- тинъ, очень слабо связанныхъ: въ началѣ поэмы *Θετι-*

да сидить въ пучинахъ моря и видить, что Парисъ ѣдетъ въ Лаконію съ тѣмъ, чтобы увести Елену. Оеттида отправляется къ Хирону, у котораго воспитывается молодой Ахиллесъ, въ которомъ уже виднѣнъ будущій герой; соннаго она перевозитъ Ахиллеса на дельфинахъ въ Скиросъ къ Алкимеду и тамъ женить его на дочери своей Пиррѣ; здѣсь будущій герой троянской войны влюбляется въ Деидамію *, дочь царскую. Между тѣмъ греки тщетно стараются отыскать пребываніе Ахиллеса: случай помогаетъ Улиссу открыть его на Скиросѣ (I). Юноша, прощаясь съ своей возлюбленной, общается ей богатую добычу изъ-подъ Трои; и потомъ, утѣшаемый благороднымъ Лаэртидомъ, отплываетъ къ ополченію грековъ, собравшемуся въ Микенѣ (II). Въ содержаніи Стацій слѣдовалъ здѣсь греческимъ поэтамъ (Антимаху), въ изложеніи и языкѣ — Виргилію, и отчасти Лукану. Болѣе поэтическаго достоинства, чѣмъ эти эпопеи, имѣютъ стихотворенія на случаи и импровизаціи, собранныя подъ заглавіемъ „Лѣса (Sylvae)“. — Большая часть этихъ стихотвореній — жанры, импровизаціи, которыми талантливый неаполитанецъ забавляетъ своихъ высокихъ покровителей. Въ нихъ не видно ни большаго искусства, ни зрѣлой обсудительности; но духъ, которымъ проникнуты эти прелестныя вещи, такъ чистъ и безмятеженъ, такъ дѣтски наивенъ и добродушенъ, — что дурно дѣлаютъ тѣ, которые проскабливаютъ свѣтлые тоны этихъ картинокъ, чтобы доискаться мрачнаго фона, на которомъ онѣ набросаны. Нигдѣ не найдешь намекъ на безумныя жестокости послѣднихъ годовъ Доминіана, хотя большая часть „сильвъ“ написана имен-

* Этотъ сюжетъ обработанъ въ пресловутой трагедіи Тредьяковскаго «Деидамія».

но въ это мрачное время; всѣ они проникнуты чувствомъ мира, или по-крайней-мѣрѣ возвышеннымъ спокойствіемъ стоической резигнаціи; духа порицанія поэтъ почти чуждъ; самая темная эпоха нравственнаго гніенія общества и тираническаго бѣшенства власти рисуется у него чуть не въ розовомъ свѣтѣ. „Сильвы“ цѣнились очень высоко не только современниками поэта, но и слѣдующими поколѣніями, что въ соединеніи съ преданіемъ, ни на чемъ впрочемъ не основаннымъ, что Стацій исповѣдывалъ христіанство, — заставило Данта поставить его наравѣ съ Виргиліемъ.

—
Къ отрасли дидактическаго эпоса принадлежитъ стихотвореніе Этна, — физическое изслѣдованіе причинъ изверженія волкана. Авторомъ этой поэмы въ настоящее время считается *Луцій-Юній-Юніоръ*, но прежде приписывали ее самому Виргилію. Поэтъ взялъ себѣ за образецъ Лукреція. Подобно ему онъ обрабатываетъ свой предметъ съ знаніемъ дѣла и раздѣляетъ съ своимъ предшественникомъ эпикуреическое воззрѣніе на божество и на природу. Гумбольдтъ (Космосъ II, с. 21) хвалить вѣрность, съ какою изображены явленія вулканическихъ изверженій. Поэма начинается воззваніемъ къ Аполлону. Мнѣнье пусть восхваляетъ кто хочетъ; а онъ, поэтъ, не вѣритъ, что Этна была резиденціей Вулкана и мастерской кузнецовъ-циклоповъ, или что Юпитеръ похоронилъ въ ней Энцилада. Это, по его мнѣнію, такія-же басни, какъ и тѣ, что рассказываютъ о превращеніяхъ Юпитера въ быка, лебедя и золотой дождь. Онъ хочетъ посвятить свой трудъ изслѣдованію истины и показать, какія силы природы извергаются изъ жерла Этны вѣчно-клопочущую лаву. Сюда-же принадлежатъ

поэмы—*Теренціана Мавра* о просодіи и метрикѣ (de litteris, syllabis, etc. lib. IV) и *Л. Юнія Модерата Колумеллы* (около 50 по Р. X.)—о садоводствѣ (de cultu hortorum). Поэма эта составляетъ десятую книгу обширнаго сельско-хозяйственнаго труда „de re rustica“ и написана для того, „чтобъ пополнить въ поэтическомъ размѣрѣ тѣ части, которыя опущены въ Георгикахъ, о чемъ и самъ Виргилій говоритъ, что оставляетъ ихъ для изложенія потомкамъ (posteris post se memoranda relinquere)“.

5. ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ.

Еще ниже эпоса пала въ эпоху императоровъ драма, въ которой дѣйствіе замѣнилось пустыми украшеніями и надутой декламаціей; и не говоря уже о совершенномъ отсутствіи въ ней истинно поэтическихъ дарованій, съ одной стороны ее вытѣсняли изъ театра роскошныя и непристойно сладострастныя пантомимы, а съ другой переросла входившая въ моду реторика. Содержаніе бралось преимущественно изъ греческихъ произведеній: еслибъ и являлись свободныя движенія, то они не могли имѣть мѣста вслѣдствіе текущихъ обстоятельствъ. Такъ при Тиберіи за мнимые намеки въ одной трагедіи (Атрей) подвергся смерти *Мамеркъ Эмилиій Скавръ*, сочиненія котораго по опредѣленію сената были сожжены рукою палача. Изъ другихъ драматурговъ этого періода намъ извѣстны (только по имени) *Помпоній Секундъ* (40 по Р. X.), отличавшійся ученостію и блестящимъ изложеніемъ; *Куріцій Матернъ*, отличавшійся свободой мнѣній (Тіестъ. Медея.

Катонъ. Домицій); *П. Стацій* (Агава) и *Луканъ* (Медея). Но настоящее изданіе лже-трагики представляютъ дошедшія до насъ

Трагедіи Сенеки, или лучше сказать, 10 трагедій, дошедшихъ до насъ подъ именемъ Сенеки (стоика Л. А. Сенеки? или человѣка, не имѣющаго ничего съ ними общаго)? Въ этихъ ужасающихъ своею наглостію піесахъ кровавая фантазія мясника соединяется съ уморительнымъ пафосомъ рыночнаго шарлатана, и напыщенное ничтожество характеристики, недостатокъ въ драматизмѣ и дѣйствіи, изысканная украшенность страсти, нисколько не прикрываются реторической гладкостью дикціи и стиха. Это, особенно въ сравненіи съ ихъ греческими образцами, ничего болѣе, какъ жалкія, балаганныя шутки. Но французскіе трагики эпохи Людовика XIV (Корнель, Расинъ) такъ часто брали за образецъ своихъ произведеній Сенеку, что мы считаемъ необходимымъ войти въ нѣкоторыя подробности относительно этихъ трагедій *Медея*. — Обманутая Язономъ Медея мститъ ему, погубивъ его новую супругу и убивая предъ его глазами своихъ дѣтей. Трагедія замѣчательна поэтическимъ пророчествомъ, которое исполнилось открытіемъ Америки:

Venient annis

Saecula seris, quibus Oceanus
Vincula rerum laxet, et ingens
Pateat tellus, Tiphysque novos
Detegat orbes, nec sit terris
Ultima Thule *.

*

Черезъ много столѣтій
Время настанетъ,—какъ съ шара земнаго

Ипполитъ или *Федра* значительно уклоняется отъ плана эврипидовой трагедіи того-же имени,—и конечно къ своей невыгодѣ. Федра открываетъ сама свою любовь къ Ипполиту въ сценѣ, полной высокотрагическаго пафоса. Федра, увидавъ Ипполита, возвращающагося съ охоты, хочетъ говорить съ нимъ наединѣ. Ипполитъ отсылаетъ свою свиту: „Ну, говоритъ онъ, мѣсто свободно отъ всѣхъ свидѣтелей. Говори“.

Ф.—Хочу сказать,—но голосъ замираетъ *....

Та сила велика, что мнѣ велитъ молчать,
Но та, что говорить велитъ—сильнѣе. Боги!—
Вы, вы, свидѣтели, что мнѣ-бы не хотѣлось
Того, что я хочу.

Ипп.— Но что-жъ тебѣ мѣшаетъ
Открыть мнѣ то, что у тебя на сердцѣ?

Ф.—Скорбь наша лишь тогда краснорѣчива,
Когда она мала; большое горе нѣмо.

Ипп.— Довѣрь-же мнѣ, о мать,—что мучаетъ тебя.

Ф.—То имя гордое мнѣ, слабой, не давай.
Не матерью своей зови меня отнынѣ:
О, Ипполитъ, зови меня своей сестрою,—
Рабой зови; на все — я для тебя готова.
Пошлешь-ли ты меня въ сугробы снѣжной степи—
Я съ радостью взойду на Пиндъ, покрытый льдами,

Цѣпи сорветъ океанъ, и большую
Землю покажетъ, и новыя страны
Титифъ откроетъ; не будетъ землею
Послѣднею Туле.

* Подлинникъ тоже написанъ шести и пяти-стопнымъ ямбомъ. Въ переводѣ этихъ отрывковъ мы старались, по возможности, удержать изысканную краткость, темноту и риторическій тонъ подлинника.

Я для тебя въ огонь не побоюсь идти,
Въ ряды враговъ прорвусь сквозь стѣны стрѣлъ и
копій.

Возьми мой скиптръ; а я—твоей рабыней буду;
Повелѣвай, а мнѣ оставь повиневаться.

Мнѣ, слабой женщинѣ, не защититъ престола;—
Ты, Ипполитъ, въ разцвѣтѣ юныхъ силъ:
Займи престолъ отца, и правь страной нашей.
Меня-жъ, свою рабу, прижми къ могучей груди
И защити несчастную вдову!

Ипп.— Юпитеръ

Да отвратить отъ насъ твои слова худыя!
Отецъ мой живъ еще и къ намъ вернется скоро.

Ф.—Нѣтъ, мрачный властелинъ того нѣмаго царства,
Гдѣ черный Стиксъ течетъ волной оцѣпенѣлой,
Еще ни для кого стези подземной ада
Не пролагалъ....

Ипполитъ, все еще не понимая намековъ мачихи, общается ей заступить мѣсто отца. Эти слова были искрой, брошенной на порохъ, и Федра, въ изступленіи страсти, высказываетъ наконецъ ясно, чего она хочетъ. „Мое неистовствующее сердце пожираетъ пламя любви, говоритъ она, бѣшенный огонь расплавилъ мозгъ костей моихъ, клокочетъ въ жилахъ, глубоко прожигаетъ грудь.... да, Ипполитъ, я люблю Тезея. Но люблю я его такимъ, какимъ онъ былъ, юношей; когда нѣжныя щеки отбѣялись легкимъ пухомъ бороды.... какъ онъ хорошъ былъ тогда! Повязка охватывала его кудри; щеки рдѣли румянцемъ благородной стыдливости, на полныхъ рукахъ обрисовывались могучіе мускулы.... Онъ похожъ былъ на твою Фебу (Діана), на моего Феба; или луч-

ше сказать, на тебя.... также гордо подымать онъ голову. Посмотри, Ипполитъ! я, дочь столькихъ царей, съ мольбою обнимаю твои колѣна! я, чистая, цѣломудренная, добродѣтельная—все приношу тебѣ въ жертву. Сегодня рѣшилась я унизиться до просьбы, чтобы ужъ поскорѣе положить конецъ или своей просьбѣ, или моей жизни. Умилосердись надъ любящей!“— „Великій властитель боговъ! восклицаетъ Ипполитъ; и ты терпѣливо слышишь, терпѣливо видишь такіе ужасы? О! когда-же ты разразишься своимъ перуномъ, если теперь ясно небо? Пусть-же наконецъ заколеблется эфиръ, и тучи сокроютъ отъ насъ день, и звѣзды содрогнутся“.... Не смотря на длинную тираду подобныхъ проклятій, Федра не конфузится и продолжаетъ умолять своего пасынка. „Прочь! говорить онъ, не оскверняй моего цѣломудрія прикосновеніемъ своихъ нечистыхъ рукъ. Но что это? она хочетъ броситься въ мои объятія? Вынемъ мечъ. Накажемъ преступницу, какъ она заслуживаетъ“....— „О, Ипполитъ, говоритъ Федра, ты исполнишь самое пламенное мое желаніе: я безгрѣшною умру отъ твоей руки“. — „Удались, отвѣчаетъ Ипполитъ; живи: ты ничего у меня не вымолишь. Но этотъ мечъ, оскверненный твоимъ прикосновеніемъ, не долженъ уже висѣть у моего бедра“!... Ипполитъ убѣгаетъ, оставляя мечъ. Когда Тезей возвратился, Федра показываетъ ему этотъ мечъ, обвиняя пасынка въ томъ, что онъ хотѣлъ ей сдѣлать насиліе, и когда ему не удалось это,—покусился на ея жизнь. Тезей вѣрить этой клеветѣ и умоляетъ Нептуна быть его мстителемъ.—Вѣстникъ возвѣщаетъ, что морское чудовище, вышедшее изъ волнъ, испугало лошадей Ипполита. Ипполитъ хотѣлъ выскочить изъ колесницы, но запутался въ возжи и бѣше-

ныя лошади волокли его тѣло по колючимъ кустамъ и острымъ камнямъ. Услыхавъ объ этомъ, Федра во всемъ признается Тезею и въ отчаяніи убиваетъ себя. Піеса кончается длиннымъ разговоромъ Тезея съ хоромъ афинскихъ гражданъ. Тезей плачетъ надъ растерзаннымъ трупомъ сына и передъ глазами зрителей соединяетъ его окровавленные, изувѣченные члены; граждане утѣшаютъ своего правителя цвѣстистыми фразами.

Къ лучшимъ трагедіямъ Сенеки принадлежатъ также *Троянки* (Troades); авторъ очевидно подражалъ трагедіи Эврипида,—хотя и позволилъ себѣ нѣсколько существенныхъ и, на этотъ разъ, довольно удачныхъ, перемѣнъ. Гекуба плачется на судьбу свою и своего рода и города; жалобамъ ея вторитъ хоръ троянскихъ женщинъ. (Актъ I).—Является Талтибій и объявляетъ, что тѣнь Ахиллеса требуетъ принесенія въ жертву обѣщанной ему Поликсену, которую на его гробъ долженъ заколотъ Пирръ.—Вскорѣ потомъ является и самъ Пирръ, споря съ Агамемнономъ, который не хочетъ ему выдать Поликсену. Долгую распрю полководцевъ рѣшаетъ Калхасъ, объявляя предопредѣленіе боговъ, что данаи до-тѣхъ-поръ не возвратятся въ отчизну, пока Поликсена не будетъ принесена въ жертву, а Астіанаксъ не брошенъ съ высокой башни.—„Неужели это правда, спрашиваетъ хоръ, что тѣни еще живутъ, когда умираетъ тѣло? или это только басня, вымышленная ради нашей слабости?... всѣ-ли мы умремъ? такъ-таки ничего отъ насъ и не останется? въ самомъ-ли дѣлѣ наша душа, слившись съ туманами, разсѣется навсегда въ воздухъ какъ легкое дыханіе?... послѣ смерти нѣтъ ничего, и самая смерть ничто,—смерть, эта послѣдняя грань нашего быстроечного поприща (velocis spatii meta novissima)“....

(II). Приходитъ Андромаха съ троянскимъ старцемъ и рассказываетъ свой сонъ: ей явился Гекторъ и повелѣлъ спасти Астіанакса, чтобъ онъ былъ будущимъ мстителемъ древней Трои и основателемъ новой. Андромаха прячетъ своего сына въ гробницѣ Гектора. Является Улиссъ и требуетъ Астіанакса. Угрозы его напрасны; мать не выдаетъ ему свое дитя. — „Ну такъ, говоритъ хитроумный Одиссей, если ужъ намъ нельзя смертью ребенка смягчить гнѣвъ боговъ,—такъ пусть, какъ сказалъ Калхасъ, пенель Гектора, брошенный въ волны, умиловать морскаго бога“, — и съ этими словами онъ уже отдаетъ приказаніе разрушить гробницу. Тогда Андромаха сама вызываетъ оттуда сына; горе ея растрогало даже самого Улисса. „Меня тронули, говоритъ онъ, стоны объятаго ужасомъ матери, но еще больше трогаютъ меня вопли тѣхъ матерей греческихъ, на погибель которыхъ выросло-бы это дитя“. Андромаха прощается съ сыномъ.... „Скажи Гектору, дитя мое, говоритъ она, что его супруга сдѣлалась рабою грека; что-жъ онъ нейдетъ отмстить за насъ? вышелъ-же изъ гроба Ахиллесъ, чтобъ насъ преслѣдовать“.... Солдаты уносятъ ребенка.—Троянки плачутъ на горькую судьбу ожидающаго ихъ рабства. (Актъ III).—Является Елена и сообщаетъ Гекубѣ и Андромакѣ рѣшеніе данайскихъ князей. Она завилуетъ участи плѣнницъ. „Вы можете открыто оплакивать тѣхъ, кого любили, а я только украдкой могу плакать о моемъ Парисѣ. Тяжело потерять отчизну; но еще тяжеле ее бояться; васъ по-крайней-мѣрѣ много; дѣля между собою горести, вамъ легче переносить ихъ; а на меня бѣсятся и побѣдители и побѣжденные“.... Потомъ она говоритъ, что Поликсена обречена на смерть и что Андромаха назначена въ рабыни Пирру, Кассан-

дра—Агамемнону, а Гекуба—Улиесу. Хоръ съ плачемъ провожаетъ плѣнницъ къ ахейскимъ кораблямъ.

«Что станетъ съ нами, когда мы увидимъ,
Что море растетъ, а земля исчезаетъ,
И скроется Пды на вѣки вершина?
И мать своимъ дѣтямъ, и дѣти родимой
Укажутъ въ ту сторону, гдѣ была Троя,
Промолвивъ: вонъ тамъ, гдѣ высокій столбъ дыма
Змѣей извивается къ мгlistому небу—
Тамъ нашъ Иліонъ былъ. По этому знаку
Несчастный троянецъ узнаетъ отчизну». (Актъ IV).

Вѣстникъ возвѣщаетъ, что Астіанаксъ сброшенъ съ вершины скейской башни, а Поликсена зарѣзана на гробницѣ Ахиллеса. Гекуба произноситъ проклятія данаямъ, и вѣстникъ понуждаетъ плѣнницъ спѣшить къ данайскимъ кораблямъ, готовымъ къ отплытію:

*Repetite celeri maria, captivae, gradu;
Jam vela pupis laxat, et classis movet.* (Актъ V).

Менѣ всѣхъ близка къ понятію о собственной драмѣ „Тебаида“, или по другому заглавію, „Фениссы“. Пьеса эта состоитъ изъ отдѣльных, не имѣющихъ между собою никакой связи,—сценъ; между Антигоной и слѣпымъ Эдиномъ, котораго вѣстникъ тщетно упрасиваетъ возвратиться въ Фивы и помирить ссорящихся братьевъ; между Іокастой, которую увѣдомляютъ о началѣ сраженія, и Антигоной, которая проситъ мать помѣщать поединку сыновей;—между Іокастой и Полиникомъ, котораго мать тщетно старается склонить на то, чтобъ онъ уступилъ престолъ своему старшему брату.—„Hercules

Oetacus (Геркулесъ на Этѣ)“ имѣетъ предметомъ смерть Геркулеса. Пѣса страдаетъ недостаткомъ единства; она состоитъ изъ отдѣльныхъ сценъ, безо всякой внутренней связи. Совершенно незначительны чисто риторическія пѣсы „Эдипъ“ и „Агамемнонъ“. Но гораздо болѣе талантъ обнаруживаютъ „Геркулесъ неистовствующій (H. fures)“ и „Тіестъ“. Авторъ неистовствующаго Геркулеса, замѣчаетъ Лессингъ, имѣлъ въ виду эврипидову пѣсу того-же названія; но онъ подражалъ ей не какъ рабъ, а какъ человѣкъ съ умомъ и талантомъ самостоятельнымъ, и счастливо исправилъ различныя ошибки своего образца. Тогда какъ Эврипидъ удвоилъ дѣйствіе, римскій поэтъ, посредствомъ небольшой перемѣны, сдѣлалъ пѣсу гораздо связнѣе.—Ночь. Различныя созвѣздія блистаютъ на безоблачномъ небѣ. На одной изъ самыхъ яркихъ звѣздъ Юнона сходитъ на землю. Она оставила Олимпъ, гдѣ почти каждая звѣзда носитъ имя любовницы ея невѣрнаго супруга. Но и земля не можетъ быть для нея убѣжищемъ мира. Оивы напоминаютъ ей Алкмену и этого ненавистнаго Геркулеса, который обязанъ своимъ происхожденіемъ Юпитеру. Богиня рѣшается мстить. Она безпрестанно задаетъ Геркулесу работы, которыя, вмѣсто того, чтобъ губить героя, только увеличиваютъ его славу. Она призываетъ фурій и приказываетъ имъ овладѣть душою Геркулеса. Но начинается разсвѣтъ,—и Юнона убѣгаетъ на небо, полная кровавыхъ замысловъ (I, 1).—На сцену является хоръ оивянъ, описывая восхожденіе солнца и утреннія занятія сельской жизни (I, 2).—Во-второмъ актѣ сцена представляетъ внутренность храма, вблизи дворца, занимаемаго Ликомъ, узурпаторомъ оивскаго трона. Въ этотъ храмъ входитъ Мегара, жена Геркулеса, съ Ам-

фитріономъ, его мнимымъ отцомъ. Въ длинномъ монологѣ (104 стиха) она плачется на свою бѣдственную участь и рассказываетъ всю исторію Геркулеса, который по волѣ Юноны отправился теперь въ адъ (I, 1). Амфитріонъ старается удержать ее отъ намѣренія слѣдовать туда за своимъ супругомъ (I, 2). Является Ликъ: тиранъ хочетъ легитимировать свою узурпацію женитьбой на дочери царей, и съ этой цѣлью предлагаетъ Мегарѣ сдѣлаться его супругой. Предложеніе его, разумѣется, принято очень дурно. Тиранъ грозитъ, что онъ принудитъ Мегару выйти за него замужъ. „Принудить нельзя того, кто умѣетъ умереть“, отвѣчаетъ она.—Какой-же даръ былъ-бы для тебя дорожее моей царской руки?—„Или твоя смерть, или моя“.—И умрешь, безумная!—„Соединюсь съ моимъ супругомъ“.—Ты предпочитаешь раба нашему скипетру?—„Сколькихъ царей извелъ этотъ рабъ“!—Такъ зачѣмъ-же онъ служитъ и терпитъ на себѣ ярмо тирана?—„Если-бы не было на землѣ тирановъ, что случилось-бы съ доблестью“?—Или ты называешь доблестью сражаться съ чудовищами?—„Доблесть должна побуждать то, что устрашаетъ всѣхъ“.—А все-таки этотъ хвастунъ окруженъ теперь туманною мглою Орка!—„Съ земли не легка дорога къ звѣздамъ“.—Раздраженный упорствомъ Мегары, Ликъ хочетъ истребить весь родъ Геркулеса и велитъ сжечь храмъ, служившій убѣжищемъ семейству Алкида. „Такъ пусть, проситъ Амфитріонъ, меня перваго убьютъ“.—„Нѣтъ“, отвѣчаетъ Ликъ, кто всѣхъ безъ различія казнить смертью, тотъ не умѣетъ быть тираномъ. Пускай живутъ тѣ, которыхъ убиваетъ горе и умираютъ тѣ, которыхъ радуетъ жизнь“.... Ликъ уходитъ, и Амфитріонъ проситъ боговъ и своего сына оста-

новить нечестивую руку царя. Вдруг храм поколебался; въ глубинѣ его послышались глухіе раскаты грома (II, 3).—Хоръ оиванъ поетъ гимнъ въ честь Геркулеса (II, 4).—Геркулесъ возвращается изъ преисподней вмѣстѣ съ Тезеемъ (III, 1).—Амфитріонъ рассказываетъ ему объ узурпаціи Лика. Герой отвѣчаетъ на краснорѣчивыя жалобы своего отца только однимъ словомъ, что онъ убьетъ тирана, и сказавъ это, уходитъ. Тезей полагаетъ, что всякое обѣщаніе Геркулеса слѣдуетъ считать исполненнымъ. Потомъ онъ начинаетъ очень длинный и утомительно-подробный рассказъ о сошествіи Геркулеса въ адъ (III, 2);—хоръ обнаруживаетъ радость по случаю удачнаго окончанія его приключеній (III, 3).—Геркулесъ возвращается. Онъ убилъ Лика и хочетъ принести теперь благодарственную жертву богамъ. Тогда овладѣваетъ имъ неистовое безуміе. Онъ принимаетъ своихъ дѣтей за Лика, а Мегару за Юнону, и убиваетъ ихъ своими стрѣлами. Утомленный рѣзней, Геркулесъ погружается въ глубокій сонъ (IV, 1).—Хоръ умоляетъ боговъ излечить безуміе Геркулеса (IV, 2).—Геркулесъ просыпается. Онъ не можетъ припомнить гдѣ онъ, и что онъ. Онъ видитъ вокругъ себя только трупы и спрашиваетъ у Амфитріона, кто убійца его семейства. „Умоляю тебя, отецъ мой, именемъ моихъ подвиговъ, говоритъ онъ, умоляю тебя твоимъ именемъ, которое я произносилъ всегда съ священнымъ трепетомъ,—скажи мнѣ, кто извелъ мое семейство? Кто у меня похитилъ оружіе?“—„Молчи ужъ лучше о своемъ горѣ“.—„Неужели-же я буду не отомщенъ?“—„Местъ часто падаетъ на голову мстителя“.—„Кто-же равнодушно можетъ перенести такое бѣдствіе?“—„Тотъ, кто долженъ опасаться еще большаго“.—„Какого-же еще

большаго горя мнѣ бояться?“—„Ты знаешь очень небольшую частицу твоего несчастья“.—„Пощади, отецъ мой. Съ мольбой простираю къ тебѣ руки.... что? ты отдернулъ отъ меня свою руку? или она запятнана преступленіемъ? Чья-же это кровь? Стрѣла, сырая еще отъ убійства ребенка, та самая, что когда-то была омочена въ кровь лернейской гидры. Я узнаю свои стрѣлы, и ужъ не спрашиваю, кто кидалъ ихъ. Кто, кромѣ меня самого, могъ согнуть мой лукъ? Кто сдумѣлъ-бы натянуть эту тетиву, съ которой я самъ насилу лажу? Къ вамъ обращаюсь: отецъ!—это мое вѣдъ злодѣяніе? Молчишь:—мое!“—„Твое горе, а злодѣяніе Юоны, отвѣчаетъ Амфитріонъ. Тебя упрекать тутъ нечего!“ Тщетно стараются Тезей и Амфитріонъ успокоить Геркулеса, онъ хочетъ умертвить себя, и требуетъ оружіе. Но Тезей уговариваетъ его поѣхать къ нему въ Аѣны (какъ у Эврипида), гдѣ Марсъ (Gradivus) очиститъ его отъ грѣха крови и возвратитъ ему оружіе.—За изображеніе гнѣва Юоны, угрозы Лика, благородной гордости Мегары, отважной заносчивости Геркулеса, несчастій слѣпаго бѣшенства, отчаянія раскаивающагося, просьбы отца,—поэту всякій простить охотно его ошибки. „Да и наконецъ, какія-же это ошибки? спрашиваетъ Лессингъ: онъ слишкомъ расточителенъ на поэтическія краски; онъ слишкомъ смѣлъ въ своей живописи; онъ доводитъ иногда величіе до напыщенности, и природа кажется у него слишкомъ прикрашенною искусствомъ. Но все это такія ошибки, въ которыя не можетъ впасть какая-нибудь бездарность“.

„*Tiestiz*“. Это одинъ изъ самыхъ любимыхъ сюжетовъ римской трагедіи. Въ трагедіи этого имени, приписываемой Сенецъ,—Лессингъ справедливо хвалитъ прое-

тоту вымысла и довольно ловкую экономію піесы; но также справедливо порицаетъ слишкомъ часто повторяющіяся описанія, которыя особенно грязны и отвратительны тамъ, гдѣ ужасныя картины убійства рисуются со всеѣми ихъ подробностями. Тѣнь Тантала, гонимая фуриями, выходитъ изъ ада и поселяетъ раздоръ между Тіестомъ и Атреемъ. Хоръ аргивскихъ старцевъ проситъ боговъ отвратить отъ дома Пелопса угрожающія ему бѣдствія. Во второмъ актѣ Атрей сообщаетъ своему рабу планъ задуманнаго мщенія. „И ты не боишься худой молвы о себѣ?“ спрашиваетъ его рабъ. — „Величайшее благо царей состоитъ въ томъ, отвѣчаетъ Атрей, чтобы заставить подвластные имъ народы не только сносить, но и хвалить злодѣянія властителей“. — „Тѣ, кого ты заставишь хвалить себя, въ душѣ будутъ всегда твоими врагами. Кто добивается истинной славы, тотъ долженъ стараться, чтобы его хвалили скорѣе сердцемъ, чѣмъ словами“. — „Такая похвала всякому доступна: а по мнѣ гораздо лучше вынужденная. Пусть дѣлаютъ, что я хочу, а я хочу того, чего не хотятъ они“. — „Царь всегда долженъ желать только честнаго; тогда его воля и будетъ одинакова съ желаніемъ народа“. — „Но она не прочна, если не основана на справедливости, святости договоровъ, милосердіи“. — „Все это добродѣтели, годныя для частныхъ лицъ: но ни правосудіе, ни святость обѣщаній, ни милосердіе, не должны служить препятствіемъ волѣ царей“... — „Рабъ не хочетъ быть орудіемъ преступныхъ замысловъ своего господина“. — „Избирай себѣ другихъ сообщниковъ, говоритъ онъ ему: можетъ-быть твои дѣти легче усвоятъ себѣ эти правила. Но берегись, чтобы твои дѣти не поступили и съ отцомъ своимъ также, какъ ты нау-

чинилъ поступить съ своимъ дядей. Часто злодѣяніе обрушивается на голову самого преступника“. — „Если-бы даже и никто не посвятилъ дѣтей моихъ въ тайны лукавствъ и преступленій: власть царская научитъ ихъ этому“. Хоръ развиваетъ извѣстный парадоксъ стоиковъ, что человѣкъ свободный самъ себѣ царь. Тіестъ, вызванный братомъ изъ изгнанія, является въ Аргосъ съ своими дѣтьми. Атрей обманываетъ его притворнымъ примиреніемъ. Въ четвертомъ актѣ вѣстникъ объявляетъ хору, что преступленіе совершено. Атрей убилъ дѣтей своего брата и подалъ ему ихъ изжареное мясо на пиршествѣ, данномъ въ честь мнимаго примиренія. Въ пятомъ актѣ, сквозь открытыя двери дворца видѣнъ Тіестъ, сидящій за столомъ; мрачныя предчувствія овладѣваютъ имъ, и когда онъ поднесъ къ губамъ чашу, наполненную виномъ, смѣшаннымъ съ кровью дѣтей, — звѣзды исчезли, небо померкло, и глухіе раскаты грома раздались изъ-подъ всколебавшейся земли. «Боги все-сильные! говоритъ Тіестъ: пощадите хоть моего брата и моихъ дѣтей! Пусть гроза разразится только надъ моею преступной головой! гдѣ-жъ мои дѣти?» — Я возвращу ихъ тебѣ, отвѣчаетъ Атрей; у тебя никто не можетъ теперь отнять ихъ. — И онъ бросаетъ ему головы зарѣзанныхъ мальчиковъ: — «вотъ они. Узнаешь-ли ты своихъ дѣтей?» — «Agnosco fratrem. Я узнаю моего брата!» отвѣчаетъ Тіестъ. Трагедія («*Октавія*», есть такъ называемая, прѣтекстата; она имѣетъ предметомъ современное автору событіе: трагическую смерть Октавіи, дочери императора Клавдія и Мессалины. Въ 52 году по Р. Х. Неронъ женился на Октавіи, но потомъ прогналъ ее, чтобы жениться на Поппеѣ. Ропотъ народа сначала заставилъ было его возвратить Октавію, но по-

томъ онъ приказываетъ Аницету обвинить ее въ развратъ и ссылаетъ на островъ Пандотерію. «И вотъ, рассказываетъ Тацитъ, эта двадцатилѣтняя женщина, окруженная центуріонами и солдатами, уже предчувствуетъ, что ей не жить, только не наслаждается покоемъ смерти. Черезъ нѣсколько дней получаетъ она приказаніе прекратить жизнь. Тщетно, говоритъ она, что она вдова, что она только сестра Нерона; тщетно призываетъ она имя Германика и ихъ общихъ предковъ, наконецъ даже имя Агриппины.... Ее связываютъ и открываютъ ей вены на рукахъ и на ногахъ, и такъ-какъ отъ сильнаго волненія кровь шла слишкомъ медленно, — ее задушили парами въ банѣ. Прибавляютъ еще отвратительную подробность, будто бы отрубленную голову Октавіи отправили въ Римъ показать Помпеѣ“ ... (Тас. Анн. XIV, 64). Въ первомъ актѣ Октавія оплакиваетъ свои несчастія. Она воспоминаетъ и мать свою Мессалину, въ которой видитъ причину всѣхъ своихъ бѣдствій, *semper genitrix dellenda mihi, prima meorum causa malorum*, — и смерть отца своего, отравленного Агриппиною. Вскорѣ является кормилица, лицо обязательное въ древней трагедіи и разсуждаетъ о придворной жизни. Хоръ римлянъ приведенъ въ негодованіе пронесшимся слухомъ о разводѣ императора съ Октавіей. Нѣкогда римскія жены были цѣломудренны, и храбры римскіе мужи. А въ настоящее время совершаются безнаказанно такіа постыдныя дѣла, какъ матереубійство Нерона. Во второмъ актѣ является Сенека и декламируетъ тираду противъ пороковъ своего времени. Онъ жалѣетъ, что его воротили изъ ссылки, гдѣ ему ничто не мѣшало предаваться своимъ любимымъ занятіямъ. Міръ представляетъ теперь печальное зрѣлище;

Сенека полагаетъ, что уже близокъ день, когда безбожное поколѣніе погибнетъ подъ обломками неба, — чтобы дать мѣсто новой и чистой расѣ людей, съ которою возвратится на землю золотое царство Сатурна, за грѣхи людей превратившееся въ вѣкъ желѣзный, — „но возрасла страсть къ войнамъ и любостыжанію. Повсюду обнаружилось величайшее изъ всѣхъ золъ, — роскошь, эта заманчивая чума; съ годами увеличились ея силы и заблужденіе стало глубже. Вся тяжесть пороковъ, накопившихся годами, обрушилась теперь на насъ. Преступленія царствуютъ открыто. Бѣшено неистовствуетъ безбожіе; гнусное распутство не знаетъ границъ, и побѣдоносная роскошь жадными руками грабитъ сокровища всего міра, съ тѣмъ, чтобы расточить ихъ“. (II, 1). — Входитъ Неронъ, отдавая своему префекту приказаніе казнить Плавта и Суллу. „Плавтъ и Сулла твои родственники, предостерегаетъ его Сенека: зачѣмъ ты такъ легко играешь ихъ жизнью?“ — Вамъ легко быть справедливыми, отвѣчаетъ ему тиранъ: вамъ нечего бояться. — „Лучшее средство отъ боязни — милосердіе“. — А высшая обязанность правителя — уничтожать своихъ враговъ. — „Нѣтъ; спасать гражданъ — вотъ высшая обязанность отца отечества“. — Умѣренные совѣты стариковъ годятся только для ребятъ. — „Пылкій юноша еще больше нуждается въ руководителѣ“. — Въ моихъ лѣтахъ можно ужъ совѣтоваться только съ самимъ собою. — „О, если бы боги всегда одобряли твои поступки!“ — Глушь былъ бы я, еслибъ боялся боговъ, которыхъ самъ дѣлаю. — „Чѣмъ сильнѣе твое могущество, тѣмъ осмотрительнѣе ты долженъ имъ пользоваться“. — Наше счастье позволяетъ намъ все. — „Менѣе всего вѣрь благосклонности Фортуны: это самая вѣтреная изъ всѣхъ богинь“. — Тотъ

дуракъ, кто не пользуется властью во всемъ ея объемѣ.— „Похвально дѣлать то, что должно, а не то, что можно“.—Кто лежитъ, того толпа попираетъ ногами.— „А кого ненавидитъ, того свергаетъ“.—Мечъ защитить государя.— „А любовь подданныхъ еще надежнѣе“.—Цезарю нужно заставить себя бояться.— „Лучше-же заставить любить себя“.—Пусть ихъ трепещутъ.— „Чрезмѣрная строгость утомляетъ народъ“.—Я хочу, чтобъ мнѣ повиновались.— „Такъ повелѣвай то, что справедливо“.— Я самъ даю законы.— „Но дѣло народа повиноваться имъ или нѣтъ“.—Мечъ заставить всѣхъ повиноваться.— „Да сохранять насъ боги отъ такого злодѣйства„! — Неронъ не слушаетъ совѣтовъ своего наставника. Онъ полагаетъ, что было-бы глупо щадить жизнь гражданъ, опасныхъ для государя почему-бы то ни было,— тогда, какъ одно слово его можетъ стереть ихъ съ лица земли. „Развѣ Брутъ, облагодѣтельствованный первымъ цезаремъ, не запятналъ своихъ рукъ кровью благодѣтеля? А этотъ божественный Августъ, который заслужилъ безсмертіе своими добродѣтелями, сколькими казнями утвердилъ свое господство надъ Римомъ? Сколько слезъ заставилъ онъ пролить печальныхъ гражданъ при видѣ отрубленныхъ головъ, выставленныхъ на трибунѣ!.. и все-таки, когда онъ умеръ, ему воздвигли храмы. Такова будетъ и моя участь: и моей наградой будетъ небо, когда мой мечъ срубитъ все, что мнѣ мѣшаетъ, и когда я упрочу все могущество моего дома рожденіемъ достойнаго наслѣдника. Поэтому онъ хочетъ прогнать Октавію, потому-что въ Поппеѣ нашелъ для себя болѣе достойную супругу. Напрасны всѣ увѣщанія Сенеки. „Мнѣ нравится дѣлать то, что не одобряетъ Сенека“, было послѣднимъ словомъ Нерона. Въ третьемъ актѣ являет-

ся тѣнь Агриппины, чтобы стигійскимъ факеломъ свѣтить на преступной сватбѣ своего сына. Она предсказываетъ насильственную смерть своего убійцы съ такими подробностями, которыя не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что авторомъ „Октавіи“ не былъ Сенека, умершій, какъ извѣстно, прежде своего воспитанника *. Октавія оставляетъ царскій дворецъ, сопровождаемая хоромъ. „О, если-бы, желаетъ хоръ, статуи Поппеи были сброшены съ своихъ пьедесталовъ и сожжены дворецъ неправоуднаго Нерона!“—Въ четвертомъ актѣ слѣдуетъ предположить, что наканунѣ праздновалась сватба Нерона съ Поппеѣ; потому-что рано утромъ, Поппея, полуодѣтая, выходитъ изъ спальни императора, чтобъ разсказать неизбѣжной кормилицѣ свой злобшій сонъ. Кормилица успокоиваетъ ее, и Поппея идетъ въ храмы умолять боговъ раздраженныхъ. Между-тѣмъ вѣстникъ объявляетъ, что въ Римѣ мятежъ. „Напрасно, полагаетъ хоръ, напрасно возбуждаютъ они войну: оружіе Купидона непобѣдимо“.—Въ пятомъ актѣ Неронъ жалуется на медленность войска въ усмирении мятежниковъ. Октавія должна поплатиться жизнью за свои жалобы, возбудившія состраданіе въ народѣ; а гордыхъ римлянъ императоръ доведетъ до нищеты, до голода. Префектъ доноситъ Нерону объ усмирении народа. Неронъ приказываетъ завести Октавію на какой-нибудь пустынный островъ, и тамъ умертвить ее. Хоръ провожаетъ Октавію къ кораблю, и жалѣетъ объ ней, предчувствуя, что ее ждетъ что-то не доброе. „Авлида не такъ безчеловѣчна

* Иосифъ Скалигеръ полагаетъ, что трагедія эта принадлежитъ *Сцево Мелору*, поэту временъ Домиціана. Воссій-же приписываетъ ее историкъ *Флору*, происходившему тоже изъ фамиліи Аннэевъ, въ которой Сенека было родовымъ именемъ.

какъ Римъ (такъ кончаетъ хоръ піеу), и болѣе кротки варвары Тавриды: тамъ алтари боговъ обагрятся кровью чужеземцевъ, а Римъ радуется, проливая кровь своихъ гражданъ!“

В. ПРОЗА.

Величіе этого періода заключается въ прозѣ. Въ авторахъ, которые преимущественно обрабатывали исторію, но вмѣстѣ-съ-тѣмъ были дѣятельны и въ различныхъ областяхъ науки, самымъ блестящимъ образомъ отразилась высокая и многосторонняя образованность I-го вѣка по Р. Х. „Но исторія не смѣла уже свободно произносить свои приговоры надъ настоящимъ и потому брала изъ современной жизни только то, объ чемъ можно было говорить безъ опасенія, или-же обращаясь къ прошедшему. Въ правленіи Траяна дозволено было свободное выраженіе мыслей и взглядовъ: въ это-то время обратился къ современнымъ событіямъ и ближайшему прошедшему Тацитъ, по своимъ нравственнымъ убѣжденіямъ и историческому гению одинъ изъ величайшихъ историковъ“ (Ш. и Г.). „Но чтобы произвести Тацита, историческая муза должна была исчерпать свои послѣднія силы“ (Wolff. 9 d. röm. h. стр. 22).

„Источниками для исторіи этого времени служили въ особенности *acta diurna s. publica*, родъ ежедневно выходящихъ вѣдомостей; въ нихъ официально обнародывались постановленія сената и народа римскаго. Это было введено Ю. Цезаремъ. Но потомъ вѣдомости эти сдѣлались органомъ императорской власти, и съ-тѣхъ-поръ, въ силу своей официальной редакціи, стали не надежны въ отношеніи достовѣрности“.

Всѣ болѣе или менѣе безпристрастные историческіе

труды первыхъ десятилѣтій этого періода — затеряны. Таковы, напримѣръ, сочиненія *Кремуція Корда*, который онъ, какъ говоритъ Сенека, написалъ своею кровью, и *Ауфудія Басса*, автора знаменитой (по Квинт.) исторіи германской войны и исторіи своего времени, продолженной старшимъ Плиніемъ. Сочиненія-же двухъ историковъ, Веллея Патеркула и Валерія Максима, писавшихъ въ духъ властей придержащихъ, до насъ не дошли.

М. Веллей Патеркулъ (род. 19 до Р. Х.) происходилъ изъ знаменитой фамиліи, издавна поселившейся въ Капуѣ. При Тиберіи онъ служилъ нѣкоторое время въ военной службѣ, и въ 14 году по Р. Х. былъ преторомъ. Остальные годы своей жизни онъ прожилъ вдали отъ общественныхъ дѣлъ, не переставая пользоваться милостями Тиберія, которому онъ платилъ за это самой униженной лестью. Онъ оставилъ намъ „*Historiae romanae lib. II*“. Этотъ сжатый очеркъ римской исторіи начинается разсказомъ о разрушеніи Трои и прибытіи Энея въ Италію, и кончается 30 г. по Р. Х. Веллей писалъ въ духъ своего времени, обращая вниманіе болѣе на личности, чѣмъ на самое дѣло; оттого его исторія имѣетъ біографическое направленіе. Постоянно дыша атмосферой придворной жизни, онъ по неволѣ сходилъ во взглядахъ съ мнѣніями тогдашней аристократіи, и отъ этого является хотя и не намѣреннымъ, но тѣмъ не менѣе льстивымъ панегеристомъ Тиберія и Сяна. Вообще сочиненіе, какъ по содержанію, такъ и по формѣ, есть трудъ скорѣе диллетантическій, чѣмъ ученый; заботливого пользованія источниками — нѣтъ и слѣда *.

* На русскомъ языкѣ: Веллея Патеркула сокращеніе греческія и римскія исторіи. Съ лат. языка на рус. пер. *Θ. Мойсепенковъ* Спб. 1774.

Публій (или *Маркъ*) *Валерій Максимъ* жилъ тоже при Тиберіи. Онъ написалъ собраніе историческихъ анекдотовъ въ самыхъ вѣрноподданныхъ выраженіяхъ, посвященное императору Тиберію. Эта книга не безъ внутреннего достоинства; она составлена съ поучительной и моральной цѣлью. Для насъ она имѣетъ нѣкоторую важность, какъ комментарий къ другимъ писателямъ древности. Слогъ риторически напыщенъ; до насъ этотъ трудъ дошелъ въ неполномъ извлеченіи, языкъ котораго отличается чистотою *.

Изъ богатой исторической литературы эпохи Флавіевъ сохранилась только исторія Александра Великаго, написанная Курціемъ.

К. Курцій Руфъ жилъ, кажется, въ правленіе Веспасіана. Сочиненіе его (*Q. Curtii Rufi de rebus gestis Alexandri magni libri X*) дошло до насъ въ отрывочномъ видѣ. Курцій очевидно не былъ историкомъ въ собственномъ смыслѣ этого слова; потому-что о критической разработкѣ источниковъ у него нѣтъ и рѣчи. Онъ самъ говоритъ (IX, 1, 34), что заимствовалъ многое, чему не вѣрить. „Онъ не заботился о томъ, истину или вымыселъ предлагали ему его источники, между которыми было много наполненныхъ баснями; онъ хотѣлъ представить сочиненіе, которое-бы занимало воображеніе, которое-бы можно было читать съ удовольствіемъ; для этого онъ не могъ выбрать ничего лучшаго, какъ походы завоеванія Азіи, въ которыхъ такъ много чудеснаго и фантастическаго“. Для топографіи онъ, кажется, имѣлъ лучшіе источники, но пользовался ими также не

* На русс. языкѣ: Валерія Максима изрѣченій и дѣлъ достопамятныхъ книгъ девять. Переведены съ лат. языка *Ио. Алексеевичемъ*. Ч. I. Спб. 1772. Ч. II безъ особаго заглавнаго листа.

разборчиво. Военныхъ свѣдѣній у него совершенно не было. Хронологія чрезвычайно небрежна. Но все это онъ вознаграждаетъ нагляднымъ, почти драматическимъ способомъ изложенія, особенно въ описаніи происшествій трогательныхъ или печальныхъ. Поэтому его характеризуетъ почти новѣйшая сентиментальность, такъ-что многіе считаютъ приписываемую ему „исторію“ — произведеніемъ средневѣковымъ *.

По смерти Домиціана въ исторіи развилась правильная дѣятельность. Отъ собственно историковъ слѣдуетъ отличать такихъ, которые, какъ Светоній, запасались только историческимъ матеріаломъ, или какъ Фронтинъ собирали историческіе факты съ особенными цѣлями, или какъ Флоръ пользовались историческимъ сюжетомъ для риторическихъ декламаций. Число историковъ, писавшихъ о только-что прошедшемъ печальномъ времени, кажется, было не мало; но всѣхъ ихъ затмилъ Тацитъ своими безсмертными твореніями.

К. Светоній Транквилиъ написалъ „біографіи“ двѣнадцати первыхъ императоровъ (*vitae XII imperatorum*), трудъ незначительный по внутреннимъ достоинствамъ, но чрезвычайно важный для узнанія нравовъ и обычаевъ того времени. По всей вѣроятности Светоній

* На русс. языкѣ: исторія о Александрѣ Великомъ, царѣ македонскомъ, писанная Квинтомъ Курціемъ, переведена съ лат., напечатана повелѣніемъ Петра Великаго. Москва 1709. Изд. 2-е Москва 1711. — Изд. 3-е Москва 1817. Кв. Курція исторія о Александрѣ Великомъ, царѣ македонскомъ, съ дополнен. Фрейнегейма, съ примѣч. Теллера и съ 3-мя ландкартами; перев. съ лат. языка вторично профессоромъ *Ст. Крашенинниковымъ*. 2 части Спб. 1750 — 1751. Изд. 3-е Спб. 1783 — 1794. Изд. 4-е Спб. 1800 — 1801. Изд. 6-е, 1812 — 1813. Квинта Курція исторія о Александрѣ Македонскомъ, съ дополнен. Фрейнегейма, пер. *А. Мартосъ*, 2 ч. Спб. 1819.

родился въ царствованіе Веспасіана и при Домиціанѣ жилъ въ Римѣ, занимаясь изученіемъ реторики и грамматики. Светоній былъ школьнымъ товарищемъ и другомъ младшаго Плінія, чрезъ котораго онъ сдѣлался извѣстенъ Траяну. При Адріанѣ онъ былъ тайнымъ секретаремъ императора, но замѣшанный въ скадалезное дѣло императрицы Сабіны, впалъ въ немилость, и удаленный отъ двора, проводилъ время въ ученомъ досугѣ. Светоній былъ прилежный собиратель историческихъ, литературно-историческихъ и археологическихъ фактовъ: кажется, онъ имѣлъ случай пользоваться дѣлами дворцоваго архива и вообще всеми лучшими источниками. Но трудъ его не есть трудъ въ собственномъ смыслѣ историческій: это біографическіе мемуары, написанные просто и легко, но безъ всякой критики, безъ малѣйшаго намека на внутреннюю связь исторіи описываемыхъ имъ лицъ съ исторіей всего государства. Изъ историко-литературныхъ трудовъ Светонія мы имѣемъ только одни отрывки, извѣстные въ настоящее время подъ заглавіемъ: *De illustribus grammaticis* и *De claris rhetoribus*. Изъ книги *De viris roctarum* мы имѣемъ искаженные и нѣсколько разъ интерполированные біографіи Теренція, Горація, Лукана, Ювенала и Персія. *Vita C. Plinii* или вовсе не принадлежитъ Светонію, или есть очень неловкая выдержка изъ его обширнаго труда *De viris illustribus* *. Отъ *Секста Юлія Фронтіана*

* На русскомъ языкѣ: К. Светонія Транквила жизни двадцати первыхъ цезарей римскихъ. Дѣѣ части, пер. съ латинскаго языка на російскій Троицкой семинаріи префектомъ *Михаиломъ Пилинскимъ*. Спб. 1776. — Жизни и дѣянія 12 первыхъ цезарей римскихъ, съ изображ. ихъ; сочиненіе Светона Транквила. 2 ч. Москва 1794. — Изд. 2-е М. 1794.

мы имѣемъ *Stratagematicon lib. IV*, сильно интерполированное сочиненіе о военныхъ хитростяхъ. Тактическое сочиненіе его о „военныхъ дѣяніяхъ римлянъ“ — утрачено. Подъ именемъ *Юлія Флора* мы имѣемъ историческій обзоръ войнъ римлянъ, въ двухъ книгахъ, написанный правильнымъ, но риторически напыщеннымъ языкомъ. Рядъ великихъ писателей, произведенныхъ Римомъ, замыкаетъ Тацитъ.

Кай (или *Нублій*) *Корнелій Тацитъ*, родился вѣроятно около 54 года. О жизни его мы знаемъ только то, что въ 76 году онъ женился на дочери Агриколы, въ 79 году былъ квесторомъ и сенаторомъ, при Домиціанѣ преторомъ, и потомъ на нѣсколько лѣтъ удаленъ изъ Рима; но куда — неизвѣстно. Можетъ-быть онъ путешествовалъ съ своимъ тестемъ по Британіи и Германіи. Гдѣ и когда онъ умеръ — тоже неизвѣстно; но вѣроятно дожилъ до глубокой старости. Полагаютъ, что онъ оставилъ потомство: ибо императоръ М. Клавдій Тацитъ (275) хвалился своимъ происхожденіемъ отъ великаго историка. Тацитъ уже въ зрѣломъ возрастѣ обратился къ исторіографіи. Деспотизмъ Домиціана обрекъ его, какъ и всѣхъ другихъ благородныхъ мужей, — на недобровольное молчаніе. Въ это время онъ можетъ-быть ясно созналъ свое призваніе быть историкомъ и, дожидаясь для своей дѣятельности болѣе благопріятнаго времени, въ мрачное царствованіе Домиціана «учился наблюдать, замѣчать и молчать». Сдѣлаться историкомъ заставило его конечно чувство самаго глубокаго недовольства настоящимъ. Чувство это раздѣляли съ нимъ всѣ его лучшіе современники. Въ то время, какъ одни видѣли спасеніе только въ насильственномъ сверженіи тирановъ, другіе сомнѣвались въ возможности

улучшить политическое и социальное положение государства и—или преднамѣренно гибли въ отважной оппозиціи, или старались въ наукѣ или чувственныхъ наслажденіяхъ искать забвенія грустному настоящему. Могучій характеръ Тацита и его ясный, безстрастный умъ предохранилъ его отъ обоихъ заблужденій. Когда настало время, что свободное слово могло быть произнесено безъ опасности поплатиться за это жизнью, тогда онъ показалъ римскому обществу его недавнее прошедшее, — какъ оно отразилось въ умѣ историка, безъ злобы и безъ пристрастія, къ чему, какъ сознается самъ (Апп. I, 1), онъ и не имѣлъ ровно никакихъ причинъ. Онъ пишетъ не для того, чтобъ описаніемъ ужасовъ деспотизма возбудить едва умянувшія страсти, но для того, чтобъ показать, какъ всякое зло рано или поздно постигаетъ кара, и всякое добро, напротивъ, вознаграждается. «По моему мнѣнію, говоритъ онъ, главная цѣль лѣтописи, — спасти отъ забвенія доблести и устранить постыдныя слова и дѣла карою потомства и безславіемъ». (Апп. III, 65). Такимъ-образомъ онъ видитъ въ историкѣ глашатая нравственной силы, воздающей каждому по дѣламъ его. «Если даже и нѣтъ божества предусматривающаго, то есть божество карающее». Это убѣжденіе Тацитъ вынесъ изъ событій, имъ самимъ пережитыхъ; они показали ему, что боги, нисколько не заботясь о нашей безопасности, зорко наблюдаютъ за тѣмъ, чтобъ ни одинъ грѣхъ не оставался безъ наказанія. Стало быть грѣхъ есть величайшее изъ бѣдствій: таковъ принципъ этическихъ воззрѣній Тацита, — принципъ, которому онъ неуклонно вѣренъ во всѣхъ своихъ историческихъ трудахъ. Установившееся мнѣніе какой-нибудь философской школы онъ рѣшительно отклоняетъ отъ себя, потому-что ни

одно изъ нихъ не разрѣшило его недоумѣнія, «подвержена-ли участь смертныхъ необходимымъ и непреложнымъ законамъ судьбы, или просто случаю. Даже между древнѣйшими мудрецами и ихъ послѣдователями, говорятъ онъ, найдешь большое разногласіе на этотъ счетъ. Одни полагаютъ, что боги не думаютъ ни о рожденіи, ни о смерти, ни вообще объ участи людей, потому-что часто можно видѣть, какъ несчастны достойные люди и какъ счастливы злодѣи. Другіе напротивъ того думаютъ, что все подчинено неизмѣннымъ законамъ предопредѣленія, зависящаго не отъ положенія звѣздъ, а отъ общаго хода, отъ общей связи законовъ природы. Они, правда, допускаютъ въ человѣкѣ свободу дѣйствія, но ограничиваютъ ее тѣмъ, что первый поступокъ необходимо влечетъ за собою опредѣленные послѣдствія; они понимаютъ добро и зло не такъ, какъ понимаетъ ихъ большинство; приводятъ, что человѣкъ, подвергающійся безпрестанно неудачамъ, бываетъ иногда счастливъ, а богачъ, купающійся въ золотѣ, — нерѣдко несчастливъ, если только первый съ твердостію переноситъ горе, а второй не умѣетъ пользоваться фортуной. Впрочемъ большую часть не разубѣдишь въ томъ, что будущность каждого предопредѣлена при рожденіи. Часто предсказанія не сбываются, но въ этомъ виновато невѣжество гадателей, а не наука (астрологія), вѣрности которой можно найти доказательство теперь и въ древности». (VI, 22). Тацитъ не стоикъ, не эпикуреецъ, но и не атеистъ; онъ фаталистъ въ смыслѣ древне-греческихъ трагиковъ, — противопоставляющихъ фатуму нравственную силу, которую онъ одолеваетъ. Эту нравственную силу Тацитъ называетъ «*honestum*, честное», выражающееся въ самостоятельности характера, въ независимости нашихъ мнѣ-

ний и дѣйствій отъ вѣшнихъ вліяній; тогда какъ безхарактерность высказывается въ раболѣпствѣ, униженной лести. Въ великой трагедіи своего вѣка Тацитъ самъ беретъ на себя роль хора, который своими полновѣсными, многозначительными словами сопровождаетъ дѣйствіе, — то поучая и предостерегая, то своими психологическими замѣчаніями объясняя характеръ дѣйствующихъ лицъ и самаго дѣйствія. Его исторія не есть объективное представленіе совершившагося, — но вещество, въ которое облачается его мысль и его чувство. Поэтому-то исторія Тацита и возбуждаетъ такой высокій интересъ. Историкъ даетъ намъ и свой глазъ и свое сердце, видѣть факты, какъ онъ ихъ видитъ, и ощущать ихъ дѣйствія, какъ онъ ихъ ощущаетъ. Тацитъ — единственный писатель древности, сумѣвшій сообщить исторіи всю чарующую прелесть поэзіи, не нарушая ни фантастической истины событій, ни колорита цѣлой, описываемой имъ эпохи. Тацитъ ни по духу, ни по изложенію не приближается ни къ одному изъ разсмотрѣнныхъ нами до-сихъ-поръ греческихъ и римскихъ историковъ; онъ самъ говоритъ (Ann. IV, 32—33), что перемѣна, происшедшая во внутреннемъ строеніи римскаго государства, требовала перемѣны и въ способѣ исторіографіи. „Обширное и свободное поле, говоритъ онъ, представляли историкѣ эти знаменитыя войны, осады городовъ, изгнанные, взятые въ плѣнъ цари, а внутри государства соперничество консуловъ съ трибунами, полевые и хлѣбные законы, борьба плебеевъ съ патриціями. Намъ выпалъ на долю тѣсный и безславный трудъ: вѣчный или только слегка нарушаемый миръ, печальныя событія въ Римѣ, правитель, не заботящійся о распространеніи границъ имперіи“. Только о доносахъ и о казняхъ будетъ

онъ говорить, а это предметы, которые покажутся читателямъ мелкими и не стоящими вниманія. „Но, при бавляетъ историкъ, не бесполезно обозрѣніе и этихъ фактовъ, съ перваго взгляда ничтожныхъ: изъ нихъ могутъ впоследствии возникнуть важныя событія. Когда правилъ народъ, нужно было изучать свойства и характеръ толпы, средства удерживать ее въ предѣлахъ умѣренности; въ правленіе патриціевъ умѣнѣвшими и дальновиднѣйшими людьми считались тѣ, которые изучали направленіе умовъ сенаторовъ и вельможъ; такъ и теперь, при новомъ порядкѣ вещей, когда дѣла государственныя рѣшаются волею одного лица, нужно собирать и записывать переданные мною факты. Немногіе сами собою могутъ отличить честное и умное отъ постыднаго и вреднаго: большую часть людей надо учить опытностью другихъ. Впрочемъ, всѣ эти событія хоть и поучительны, но очень мало занимательны. Описаніе народныхъ нравовъ, удачныхъ и неудачныхъ битвъ, знаменитыхъ кончинъ полководцевъ — приковываетъ вниманіе и одушевляетъ читателя; мы-же должны бороться съ однообразіемъ и скукою, перечисляя жестокія повелѣнія, безпрестанныя казни, мнимую дружбу предателей, гибель невинныхъ и вообще дѣла, которыхъ конецъ одинъ и тотъ-же. Сверхъ-того, никто не станетъ упрекать древнихъ писателей, никто не оскорбится тѣмъ, что одни отдають предпочтеніе римской арміи, другіе карфагенской; но живы еще потомки многихъ лицъ, приговоренныхъ при Тиберіи къ казни или къ постыдному наказанію; если чей родъ и прекратился, то найдутся люди, которые по сходству примутъ на свой счетъ описаніе чужихъ преступленій; даже слава и доблесть въ этой недавно протекшей эпохѣ непріятны, потому-что невольно вызы-

вають на сравненіе“.—Тацитъ историкъ умирающей свободы (*morientis libertatis*); но причину паденія римства онъ видитъ не въ превращеніи республики въ монархію при Августѣ. Ему кажется необходимымъ, чтобы необъятное тѣло имперіи имѣло одного правителя, который бы постоянно поддерживалъ его въ равновѣсіи. Поэтому онъ не раздѣлялъ мнѣнія тѣхъ, которые видѣли въ Брутѣ и Кассіи послѣднихъ римлянъ. Но онъ признавалъ, что свободѣ всегда угрожаетъ опасность тамъ, гдѣ власть безусловно централизируется въ особѣ неограниченнаго правителя; идеаль Тацита—конституціонное правительство, гдѣ народъ, патриціи и государь раздѣляютъ между собою власть по-ровну. „Правленіе, говоритъ онъ, всегда находится или въ рукахъ народа, или у аристократіи, или наконецъ у одного лица. Соединить всѣ эти правленія въ одно, выбравъ изъ каждаго лучшіе элементы, въ теоріи хорошо; но на дѣлѣ это не встрѣчается, или, если и бываетъ, то не можетъ продолжаться. Но и въ абсолютной монархіи бываетъ иногда мыслима нѣкоторая доля свободы: такъ по его мнѣнію Нерва выполнилъ эту трудную задачу примиренія принципата съ свободой (*Agg. 3*). Гдѣ вмѣсто закона царствуетъ произволъ, тамъ о свободѣ не можетъ быть и рѣчи. Но деспотизмъ возможенъ только тамъ, гдѣ высшая степень рабской терпѣливости (*servili patientia*) потворствуетъ прихоти государя, и гдѣ нравственное усыпленіе націи позволяетъ тиранамъ легко находить орудія для своего произвола.—Своей исторіи императоровъ Тацитъ, конечно не безъ намѣренія, предпосылаетъ двѣ монографіи: въ одной (біографія Агриколы) онъ представляетъ образецъ государственнаго мужа и полководца въ монархическомъ духѣ, въ другой

(*Germania*)—рисуетъ картину хотя грубой, но въ нравственной чистотѣ возросшей націи, которая съ силою своей естественной крѣпости преодолѣла всѣ, внутри и внѣ антагонизирующія обстоятельства, и какъ онъ предчувствуетъ, рано или поздно должна была разрушить гнилое тѣло римской имперіи. Исторію римскаго принципата, или *Historia Augusta*, Тацитъ начинаетъ разсказомъ о пережитыхъ имъ самимъ событіяхъ отъ гражданскихъ войнъ, возникшихъ по смерти Нерона и возвышенія дома Флавіевъ до смерти Домиціана. Исторію юлійскихъ императоровъ, отъ Тиберія до Нерона, онъ излагаетъ въ *Анналахъ*. Исторію Августа Тацитъ предполагаетъ разсказать по окончаніи *Анналь*,—„если достанетъ жизни на новыя занятія“ (*Анн. III, 24*). Но сомнительно, чтобы намѣреніе это когда-нибудь осуществилось. Наконецъ онъ отложилъ до старости (*Hist. I, 1*) исторію Нервы и Траяна, но вѣроятно смерть помѣшала ему выполнить и это намѣреніе.

Тацитъ—писатель вполне оригинальный; ему были знакомы всѣ величайшіе историки Греціи и Рима, но онъ не подражалъ имъ. По своему политическому образованію, по своей нравственной серьезности и психологическому знанію сердца человѣческаго онъ достоинъ стать на ряду съ Фукидидомъ и стоитъ гораздо выше Саллюстія, превосходя перваго теплотою, а втораго искренностію чувства. Въ патриотизмъ онъ равенъ Ливію: только Ливій въ упадкѣ отечества утѣшаетъ себя величіемъ и счастіемъ прошедшаго, а Тацитъ совершенно предается скорби о худомъ положеніи настоящаго. Тацитъ предчувствуетъ, что онъ, послѣдній римлянинъ, въ своей исторіи произноситъ надгробное слово умираю-

щему римству: оттого этот скорбный, иногда даже горький тонъ и высокій пафосъ его изложенія.

Разсказъ идетъ просто, въ хронологическомъ порядкѣ, при чемъ вѣшнія событія выдѣляются изъ внутреннихъ. Позднѣйшія происшествія антиципируются рѣдко, и то всегда съ какой-нибудь цѣлью. Иногда разсказъ прерывается размышленіями и описаніями. Тацитъ великій мастеръ въ группировкѣ массъ, въ распредѣленіи свѣта и тѣней, въ характерныхъ очеркахъ личностей и драматической наглядности положеній. Рѣже, чѣмъ другіе историки, онъ заставляеть дѣйствующихъ лицъ своего разсказа произносить длинныя рѣчи; но и тогда они не служатъ ему риторической прикрасой, а существенно помогаютъ характеристикѣ личностей и цѣлыхъ эпохъ.—Словесная форма стоитъ у него въ полномъ созвучіи съ содержаніемъ. Если смотрѣть на языкъ безъ отношенія къ содержанію, то по формѣ и оборотамъ рѣчи онъ болѣе близокъ къ латини серебрянаго вѣка, чѣмъ къ изысному языку Цицерона. Съ лучшими изъ своихъ современниковъ Тацитъ раздѣляетъ стремленіе къ краткости и эпиграмматическому остроумію; поэтому его изложеніе иногда сжато до неясности: „мысли имѣють такую силу надъ авторомъ, что онъ не въ состояніи употреблять много словъ на ихъ выраженіе“ *.

* Переводы: Лѣтопись Корнелія Тацита; пер. съ лат. *Румовскій*, издано Академіею Росс., на лат. и русс. языкахъ. 4 части. Спб. 1806—1809.—Исторія К. Корнелія Тацита. Перев. съ лат. яз. *Θ. Поспеловымъ*. Спб. 1807. Его-же переводъ: лѣтописей К. Корнелія Тацита. 4 ч. съ латинс. Спб., ч. 1-я и 2-я: 1805. 3-я и 4-я: 1806.—Жизнь Юлія Агриколы. Соч. Тацита. Пер. съ лат. *Ив. Горинъ*. Москва. 1798.—К. Корнелія Тацита Юлій Агрикола. Пер. съ лат. языка *Θ. Поспеловымъ*. Спб. 1802. (Разборъ этого

Въ эпоху императоровъ римское краснорѣчіе низпало на степень пустаго декламаторства и панегирической лести, которая систематически преподавалась въ риторическихъ школахъ, первоначально основанныхъ греческими софистами. Это лжекраснорѣчіе нашло себѣ самыхъ талантливыхъ представителей въ *М. Фабіи Квинтилианѣ* (род. 42 по Р. Х.), написавшемъ 10 книгъ реторики (*Libri XII, institutionis oratoriae*), въ которыхъ онъ хотѣлъ дать критическій обзоръ греческой и римской литературы *, и панегиристъ *Л. Плиніи Цециліи Секунды* (род. въ 62 по Р. Х., названъ *Junior*, для отличія отъ дяди своего естествоиспытателя *Л. Плинія Секунда* **, изъ рѣчей котораго сохранилась только одна, сказанная въ похвалу Траяну (*Panegyricus ad Trajanum*). „Сочиненіе Квинтилиана въ высшей степени важно для насъ частію по тѣмъ взглядамъ и основнымъ положеніямъ, которыя выставлены въ немъ и пріобрѣтены Квинтилианомъ во время долгой практики, частію потому, что позволяетъ намъ глубже

перевода въ Сѣверн. Вѣстн. 1804, ч. 1, № 3).—Жизнь Агриколы. Пер. съ лат. *Витринскаго*. Сынъ Отеч. 1843 № 5. Отд. V, стр. 1—52.—О положеніи, обычаяхъ и народахъ (древней) Германіи. Изъ сочиненій Каія Корнелія Тацита. Перев. *В. Святловымъ*. Спб. 1772.—Разговоръ объ ораторахъ, или о причинахъ испортившагося краснорѣчія, писанный римск. историкомъ К. Корнелиемъ Тацитомъ. Спб. 1805. пер. *Θ. Поспеловъ*.—О римскомъ краснорѣчии. Діалогъ объ ораторахъ. Пер. съ лат. Сынъ Отеч. 1847. Кн. VI. Отд. V. стр. 1—32.

* На русскомъ языкѣ: Марка Фабія Квинтилиана двѣнадцать книгъ риторическихъ наставленій. Пер. съ лат. имп. росс. акад. членомъ *А. Никольскимъ*. 2 части. Спб. 1834.

** На русс. яз.: Каія Плинія Секунда естественная исторія ископаемыхъ тѣлъ, переложенная на русскій языкъ, трудами *В. Северина*. Спб. 1819.

заглянуть во внутренний характер римскаго краснорѣчія, частію наконецъ по множеству извѣстій и сужденій о писателяхъ и ихъ произведеніяхъ, и въ особенности о многихъ знаменитыхъ мужахъ древности. Относительно изложенія оно отличается ясностію и наглядностію, языкъ его, за исключеніемъ нѣкоторыхъ особенностей, есть языкъ золотого вѣка, языкъ цicerоновскій. Обширныя познанія въ литературѣ, вѣрность сужденій и вкусъ характеризуютъ автора.“ (Ш. и Г.). Панегирикъ-же Плинія „отличается правильной блестящей дикціей,—впрочемъ онъ не свободенъ и отъ украшенныхъ, декламаторскихъ фразъ, отъ цвѣтовъ тогдашняго моднаго краснорѣчія“ *.

Литературное значеніе *эпистографіи*, какъ мы видѣли, начинается съ Цицерона. При позднѣйшихъ философахъ и декламаторахъ она образовала совершенно самостоятельную отрасль литературы, въ которыхъ особенно замѣчательны философскія письма (*epistolae ad Lucilium*) *Л. Аннея Сенеки* (род. въ Испаніи, 2 г. по Р. X., умеръ по приказанію Нерона, въ 65 г. по Р. X.) и политическія *Плинія Младшаго*. „Сочиненія Сенеки заключаютъ въ себѣ большое богатство мыслей, замѣчательныхъ по своей вѣрности; онъ является въ нихъ человекомъ съ обширнымъ знаніемъ, съ нравственнымъ чувствомъ, съ живымъ воображеніемъ; но все изложеніе въ высшей степени проникнуто риториче-

* На русс. яз.: Слово похвальное императору Траяну, говоренное римскимъ консуломъ К. Паниемъ Цециліемъ Вторымъ; пер. *Андрей Нартъ*. Спб. 1777. Похвальное слово императору Траяну, сочин. младшаго Плинія, пер. съ лат. *Яковъ Толмачевъ*. Спб. 1820. Плиній младшій. Статья К. Зедергольма въ V томѣ «Пропилеевъ».

ски-декламаторскимъ духомъ времени, и кто въ особенности поддерживалъ этотъ духъ, такъ это самъ Сенека“ (ib.) *. Письма Плинія чрезвычайно интересны по своему содержанію, но въ отношеніи языка не свободны отъ изысканной украшенности моднаго стиля того времени **.

в) окончательный упадокъ римской литературы.

(отъ владычества адриана 117 по Р. X. до V столѣтія).

Правленіе Адриана 117 — 138 и обоихъ Антониновъ 138 — 180, хотя омрачалось нѣкоторыми бѣдствіями, было однакожъ золотымъ вѣкомъ имперіи подъ властію римскихъ императоровъ. Но вскорѣ послѣдовалъ рядъ правителей, которые совершенно разоряли провинціи своими притѣсеніями, дѣлаемыми изъ-за того лишь, чтобъ удовлетворять солдатъ и покупать безопасность отъ пограничныхъ народовъ. Особенно по смерти Александра Севера 235 г., государство быстрыми шагами стремилось къ гибели. Безпрестанная смѣна зависящихъ отъ войска императоровъ, дѣлавшая невозможною всякую прочную реформу, варвары, вторгавшіеся съ постоянно возрастающей силой, борьба императоровъ-соперниковъ и печальное состояніе народа, глубоко падшаго вслѣдствіе всевозможной роскоши, всѣ эти обстоятельства вызвали при Діоклиціанѣ необходимость *раз-*

* На русс. яз.: «Сенека къ Луцилію». Въ журн. Новостей русс. литер. 1805. 14. стр. 35.

** На русс. яз.: «Плиній Минуцію Фундіану». Въ журн. Новостей рус. лит. 1805. 14. стр. 78.

дѣленія имперіи, какъ единственнаго средства отвратить совершенное паденіе, которое все-таки стало неизбежно, когда судьба дала варварамъ вождей болѣе великихъ, чѣмъ какіе были у нихъ прежде. Первые императоры этого періода, Адрианъ, Антонинъ Пій, М. Аврелій, сами имѣли долю въ научномъ образованіи; они любили общество ученыхъ, сами выступали какъ писатели, декламировали въ риторическихъ школахъ (Адрианъ, М. Аврелій) и всему ученому сословію оказывали содѣйствіе и поощреніе. Такимъ-образомъ они остались не безъ вліянія на римскую литературу, хотя въ своихъ собственныхъ произведеніяхъ употребляли языкъ греческій и имѣли близъ себя учителями и товарищами по занятіямъ преимущественно грековъ. Чего можно было достигнуть чрезъ примѣръ и содѣйствіе верховной власти, то было достигнуто: науки нашли себѣ ревностныхъ дѣятелей, склонность къ нимъ стала всеобщей. Но то, что было утрачено римскимъ народнымъ характеромъ, то по большей части въ предыдущее время уже исчезло въ литературѣ римлянъ — сила, глубина, основательность, вкусъ — все это теперь не возвращалось болѣе. Какъ сильно сказался этотъ недостатокъ въ эпоху Антониновъ, доказательствомъ служатъ сохранившіяся сочиненія, также высокая слава, которую пріобрѣтали тогда люди съ ограниченными дарованіями (Фронтонъ). Особенно дѣятельны были грамматики и ритори; высшей степени процвѣтанія достигла наука права. Со времени Адриана языкъ потерялъ всю внутреннюю жизненную силу, — онъ сталъ несвязной массой механически подбираемыхъ словъ и фразъ; за архаистическимъ отбѣнкомъ, за неестественнымъ, растянутымъ, напыщеннымъ выраженіемъ искала укрыться духовная бѣдность, кото-

рая лишена была стремленія и способности къ органическому развитію. Особенности римскаго характера, въ самомъ Римѣ измельчавшаго до крайней степени, должны были совершенно исчезнуть въ провинціяхъ, которыя чрезъ Каракаллово *Constitutio Antoniniana* были и въ политическомъ отношеніи совершенно уровнены съ главнымъ городомъ; такимъ-образомъ и въ писателяхъ мы болѣе не находимъ почти ничего отъ древне-римскаго характера. Сообразно съ этимъ изложеніе и языкъ естественно должны были въ различныхъ провинціяхъ получить особенные отбѣнки: мѣстныя условія и духъ времени вліяли на выраженіе, постройку и тонъ цѣлаго. Воспримчивость, сообщившаяся умамъ чрезъ христіанство, была послѣднимъ жизненнымъ моментомъ въ исторіи римской литературы. Эта литература закончилась не тотчасъ съ паденіемъ западной римской имперіи, но мало-по-малу въ теченіе VI вѣка по Р. Х.“ (Шаффъ и Горрм.).

1. поэзія.

О поэзіи, въ высшемъ значеніи этого слова, собственно не можетъ быть и рѣчи въ этотъ періодъ. Въ V столѣтіи показалась послѣдняя вѣшышка нетолько римской эники, но и вообще римской поэзіи. Это — стихотворенія *Клавдія Клавдіана*, человѣка, одареннаго сильнымъ характеромъ, живой фантазіей и талантомъ многостороннимъ. Клавдіанъ написалъ множество героическихъ поэмъ, панегириковъ, эпитаграммъ, идиллій, эпиграммъ и сатиръ. Но главная заслуга его основывается на повѣствовательной поэмѣ „Похищеніе Прозерпины

(De raptu Proserpinae)“, — неоконченной, но замѣчательной рядомъ великолѣпныхъ описаній *. Въ этотъ періодъ особенно много дѣятелей находила себѣ ученая дидактика, — но всѣ принадлежація сюда поэмы если и имѣютъ какое-нибудь достоинство, то не въ поэтическомъ отношеніи, а по своему научному содержанію. Образцами здѣсь приняты были дидактики александрійской школы, которымъ подражали: *М. Авр. Ол. Немеціанъ* объ охотѣ, *К. С. Самоникъ* и *Марцеллъ* эмпирикъ о медицинѣ; *Р. Ф. Авіенъ*, — переложившій въ стихи географическое путешествіе отъ Кадикса до Марселя, и пр. Дошедшія до насъ не вполне дидактическія путевыя замѣтки (въ двустіхіяхъ) *Кл. Рутилія Нумациана* замѣчательны только по непріязненному чувству поэта къ христіанству. Сохранился то-же сборникъ нравственныхъ сентенцій, написанныхъ двустіхіями; книга эта, извѣстная подъ названіемъ *Dionysii Catonis disticha de moribus ad filium*, была часто употребляема въ средневѣковыхъ школахъ **. Идиллія то-же принадлежитъ къ тѣмъ немногимъ родамъ поэзіи, которые въ эпоху разрушенія римской имперіи еще нашли для себя нѣсколькихъ талантливыхъ дѣятелей. Но всѣ эти позднѣйшіе идиллическіе поэты были только подражателями Виргилія, и стало-быть копировали съ копій. Одиннадцать, дошедшихъ до насъ идиллій чопорнаго *Калпурнія Сикилійскаго* (Siculus) весьма незначительны; напротивъ идиллическія картины *Децима Мануса Авзонія* (род. 309 по Р. Х., въ Бордо), особенно его

* На русскомъ языкѣ: Творенія Клавдія Клавдіана, пер. съ лат. *Мих. Ильинскій*. Ч. I. Спб. 1782.

** Діонисія Катона краткія правила и двустіхія о правахъ, писан. къ сыну. Пер. *Ив. Новиковъ*. Ч. I. 1792.

описательная поэма „Мозелла (Mosella)“, — блистательное описаніе рѣки Мозеля, богатое содержаніемъ и красками, показываетъ настоящій поэтическій талантъ. Авзоній и Клавдіанъ заключили римскую поэзію.

2. РОМАНЪ.

Романъ введенъ въ Римъ еще до Суллы извѣстнымъ ораторомъ и историкомъ *К. Л. Сизенной*, который переложилъ „Милетскія сказки“ Аристиды. Не смотря на то, что книга эта была любимымъ чтеніемъ римскаго плебса, и въ особенности солдатъ (Ovid. Trist. II, 443), — романъ долгое время не находилъ самостоятельныхъ и талантливыхъ дѣятелей. Какого развитія онъ достигъ впоследствии, мы можемъ судить по двумъ дошедшимъ до насъ сочиненіямъ новеллистическаго характера — „Сатириконъ“ Петронія и „Золотой осель“ Апулея.

Т. Петроній Арбитръ (T. Petronius Arbiter) былъ творцомъ совершенно новой для римлянъ отрасли литературы, — нравоописательнаго романа, гдѣ съ безцеремонной откровенностью мениппейской сатиры дѣйствительность изображается совершенно неприкрытою. Тонкая наблюдательность и глубокое пониманіе вѣшняго міра, остроуміе и юморъ, дѣлаютъ Петронія достойнымъ предшественникомъ Боккаччіо и французскихъ романистовъ прошлаго столѣтія. Герой Петроніева романа — родоначальникъ всѣхъ тѣхъ искателей приключеній, къ породѣ которыхъ принадлежатъ безсмертные типы Жиль-Блаза и Симплисиссимуса. Петроній съ удивительнымъ талантомъ копируетъ дѣйствительность. Личности, которыя Петроній вводитъ въ дѣйствіе своего разсказа, не общіе типы, а конкретные образы, которые онъ бе-

реть прямо из жизни и копирует вѣрно, даже до особенностей ихъ языка. Умѣлъ-ли Петроній изъ своего богатаго сюжета образовать художественное цѣлое, — судить мы не можемъ, такъ-какъ отъ его „Сатирикона“ (Satiricon.—Coena Trimalchionis) дошли до насъ только отрывки, неимѣющие между собой никакой связи. О личности автора и о времени его жизни было много споровъ. Обыкновенно узнаютъ его въ томъ К. Петроніи, котораго Тацитъ называетъ человѣкомъ хотя сластолюбивымъ, но умнымъ и научно-образованнымъ. „Будучи проконсуломъ Вионіи и потомъ консуломъ, говоритъ историкъ, онъ даже показалъ себя дѣятельнымъ и способнымъ къ дѣламъ. Но въ послѣдствіи предался онъ разврату, по-крайней-мѣрѣ такъ казалось, и принять былъ въ число самыхъ приближенныхъ людей къ Нерону. Онъ былъ верховнымъ судьей въ вопросахъ, касавшихся изящнаго вкуса (Arbitrator deliciorum, maître de plaisir), и Неронъ находилъ пріятнымъ и похваливалъ только то, что одобрялъ Петроній“. Это породило зависть въ Тигеллинѣ и онъ оклеветалъ Петронія. Когда до Петронія дошла вѣсть о его опалѣ, — „онъ не хотѣлъ, рассказываетъ Тацитъ, продолжать борьбу между страхомъ и надеждою, но не хотѣлъ и сдѣлать покончить жизнь. Онъ открывалъ себѣ вены, какъ водится; снова перевязывалъ, опять открывалъ, и между-тѣмъ говорилъ съ друзьями, не вдаваясь въ глубокомысленные вопросы и не стараясь блеснуть твердостью.... Въ завѣщаніи своемъ онъ не льстилъ, подобно прочимъ осужденнымъ, Нерону, Тигеллину или другимъ сильнымъ людямъ; онъ описалъ намъ все ужасы распутства Нерона, подъ именами развратныхъ женщинъ и продажныхъ мужчинъ, и запечатавъ, отправилъ къ

нему“. (Ann. XVI, 18, 19). Нѣкоторые и принимаютъ это завѣщаніе за нашъ романъ, и именно въ распутно-расточительномъ Трималхіонѣ узнаютъ самого императора; другіе относятъ автора и его сочиненіе ко времени Домиціана или Коммода, а Нибуръ такъ даже къ срединѣ III столѣтія. Но къ какому-бы времени ни принадлежала редакція дошедшихъ до насъ фрагментовъ, — нѣтъ сомнѣнія, что авторъ „Сатирикона“ съ колоссальной наглостью, и вмѣстѣ-съ-тѣмъ съ систематической художественностью, въ чертахъ смѣлыхъ и дерзкихъ, но все-таки величественныхъ своимъ грандіознымъ цинизмомъ, рисуетъ картины эпохи Тиберія, Каллигулы, Клавдія и Нерона, Агриппинѣ и Мессалинѣ, стало-бытъ времена, когда порокъ и безчинство дошли до истиннаго безумія; времена, когда потомки благороднѣйшихъ родовъ римскихъ не только малодушно позволяли гнуснымъ тиранамъ душить себя, но даже пресмыкались въ пыли передъ ничтожными временщиками; времена, когда какой-нибудь Каллигула не побоялся объявить себя единственнымъ собственникомъ имущества всѣхъ римлянъ, когда съ рабскимъ терпѣніемъ и покорностью мужчинъ соединилось самое омерзительное распутство женщинъ; времена, когда сенаторы и матроны лучшихъ домовъ появлялись на аренѣ, чтобы сражаться вмѣстѣ съ гладиаторами, а ихъ сыновья и дочери за деньги выходили на театральныя подмостки. Эти-то времена, когда все возрасты, помы и классы среди бѣлаго дня вели самый скотскій развратъ, Петроній представляетъ на показъ съ самой цинической беззастѣнчивостью. Самъ-то авторъ не слишкомъ нападаетъ на сатирическую сторону своихъ твореній, но они уже сами по себѣ — са-

мая ужасающая сатира на римское общество временъ имперіи.

Второй романъ на латинскомъ языкѣ мы имѣемъ въ замѣчательнѣйшемъ изъ дошедшихъ до насъ сочиненій Л. Анпулея, озаглавленномъ „Оселъ“ (Fabularum milesiarum de asino), а впоследствии названномъ „Золотымъ осломъ“ (de asino aureo, s. metamorphoseon libri XI).

А. Луцій Анпулей родился въ царствованіе Адріана (около 130) въ нумидійской колоніи Мадавра, воспитывался сначала въ Карфагенѣ, потомъ изучалъ платоническую философію въ Афинахъ; сдѣлалъ нѣсколько значительныхъ поѣздокъ по Европѣ и Азіи, и вездѣ посвящаясь въ мистеріи различныхъ религіозныхъ сектъ, онъ посѣтилъ Римъ, гдѣ являлся на форумѣ въ качествѣ адвоката, и наконецъ вернулся въ Африку. Женившись на Э. Пудентиллѣ, матери своего друга Понтанія, Анпулей навлекъ на себя обвиненіе въ колдовствѣ, которымъ онъ будто-бы приворожилъ къ себѣ старую и богатую женщину и причинилъ раннюю смерть ея сына. Онъ очень остроумно защитилъ себя отъ этого упрека въ своей апологіи De magia. Въ Карфагенѣ онъ пользовался всеобщимъ уваженіемъ: его аудиторіи посѣщались всемъ городомъ. Годъ его смерти неизвѣстенъ. Анпулей истинный сынъ своего времени и своей родины. Съ жаромъ африканца онъ хватается за все направленія своей эпохи: онъ соединяетъ въ себѣ платоническаго философа и соперника греческихъ софистовъ, которые въ то время расхаживали по всей римской имперіи и заманивали въ свои аудиторіи несмѣтныя толпы слушателей, блистая остроуміемъ своихъ декламаций и парадоксами кудряваго изложенія: онъ чуть не благого-

вѣтъ передъ всеми предразсудками своего времени, даже самъ слыветъ за мага, и обнаруживая чувственную натуру, которой доставляютъ удовольствіе роскошныя описанія, — онъ весь проникнутъ нравственно-религіознымъ чувствомъ, которое заставляетъ его искать въ мистеріяхъ очищенія отъ земныхъ пятенъ. Анпулей — оригинальнѣйшій изъ писателей своего времени: онъ совершенно освободился отъ всехъ оковъ преданія и искусственно создалъ себѣ языкъ, который былъ въ состояніи ослѣпить не однихъ только неразборчивыхъ его современниковъ, но и такихъ великихъ знатоковъ древности, какъ Казабонъ и Липсій. „При помощи знанія свѣта, одаренный чрезвычайно развитымъ повѣствовательнымъ талантомъ, Анпулей совершенно сознательно создалъ свой собственный стиль и богатство языка, которое противорѣчитъ всему заведеннымъ до него обычаямъ. Эта форма, какъ ни манерна, какъ ни закутана въ напыщенность и пустословіе, въ плеоназмы, въ придуманно-построенныя фразы: эта форма, говоримъ мы, при всемъ томъ въ состояніи ослѣпить читателя и льстиво правится ему своей пародической звучностью, возвышая провинціализмы удачной примѣсью старины и прелестью свободной структуры грековъ; онъ даже смягчаетъ роскошь красокъ, смотря по кругу своихъ читателей, оттого онъ не всегда ровень въ способѣ выраженія мыслей, да и вообще далекъ отъ естественности, вкуса и пропорціональности“ (Бернг.). Анпулей былъ такимъ-образомъ основателемъ африканской латини, въ которой нельзя не признать начала романскихъ нарѣчій. Главное сочиненіе Анпулея, — юмореско-фантастическій романъ „Метаморфозы“, написанный имъ уже въ зрѣломъ возрастѣ по образцу волшебныхъ (милетскихъ) сказокъ Лукія па-

трасского *. Позднѣйшіе читатели назвали впоследствии эту книгу „Золотой осель“, въ благодарность за то удовольствіе, которое имъ доставилъ лучший изъ ословъ, — осель Анпулея. Содержаніе романа, вкратцѣ, слѣдующее: молодой человѣкъ, Луцій (не самъ-ли Анпулей?), хотя не совершенно равнодушный къ прелестямъ добродѣтели, но безмѣрно преданный наслажденіямъ, — охотно-бы пріобрѣлъ нѣсколько познаній въ магіи. Онъ ѣдетъ на родину колдовства, въ Тессалию. Въ городѣ Гинтѣ, пріятельница его матери, Виррека, совѣтуетъ Луцію остерегаться Памфилии, жены своего хозяина Милона, — одной изъ самыхъ опасныхъ чародѣекъ Тессалии. По ея словамъ эта колдунья не щадитъ никакихъ приворотныхъ зелей, для заманки тѣхъ молодыхъ людей, которые ей понравятся, а тѣхъ, которые будутъ противиться ея страсти, она превращаетъ въ звѣрей. Луцій возвращается домой въ нерѣшимости, выбрать-ли себѣ въ наставницы чародѣйства Фотиду, служанку Памфилии, или ее самое. Но красота Фотиды скоро заставила его рѣшиться въ выборѣ, и въ различныхъ лишеніяхъ, которыя Луцій долженъ былъ претерпѣвать въ домѣ Милона, онъ утѣшаетъ себя любовной интригой съ служаночкой. Но вотъ въ одинъ прекрасный вечеръ Фотида запыхавшись бѣгаетъ къ Луцію и сообщаетъ ему извѣстіе, что ея госпожа хочетъ превратиться въ птицу за тѣмъ, чтобы всюду летать за предметомъ своей страсти. Тогда Луцій проситъ свою прекрасную наставницу, нельзя-ли и ему дать немножко этого зелья, чтобы онъ могъ въ томъ-же образѣ слѣдовать за ея поведи-

* На русскомъ языкѣ: Луція Анпулея, платонической секты философа превращеніе, или золотой осель. Пер. съ латинскаго *Е. Костровъ*. 2 части. Москва, 1780—81.

тельницей. Но Фотида, по недосмотру, даетъ ему другаго снадобья, такъ-что онъ вмѣсто птицы превращается въ осла. Сохранивъ однакоже, и въ этомъ видѣ, свои прежнія чувства и свой человѣческій разумъ, онъ однажды слышитъ отъ Фотиды, что человѣческій образъ къ нему вернется тогда, когда онъ вкуситъ розовыхъ листьевъ. Остальная часть романа наполнена описаніями усилій несчастнаго осла-Луція добыть этой драгоценной снѣди и страданій, которыя онъ претерпѣлъ въ своемъ униженномъ видѣ. Наконецъ, на праздникъ Изиды, въ Египтѣ, среди толпы жрецовъ, видитъ отъ верховнаго священника съ вѣнкомъ изъ розъ на головѣ, и приближается къ нему, чтобы сорвать нѣсколько листиковъ. Верховный жрецъ, слѣдуя тайному внушенію, отдаетъ ослу весь вѣнокъ и Луцій благополучно принимаетъ свой прежній образъ *. Таковъ общій очеркъ „Золотаго осла“, украшеннаго многочисленными эпизодами, изъ которыхъ самый извѣстный, объ Амурѣ и Психеѣ (IV—VI), которому впоследствии подражало столько художниковъ (Рафаэль: фрески въ палаццо-фарнезе) и поэтовъ (Лафонтенъ; Богдановичъ: „Душенька“).

* Нѣмецкій переводчикъ этого романа, Авг. *Роде* (1783) видитъ въ немъ сатиру на распущенность нравовъ, страсть къ магіи, мечтательство, суевѣріе и надувательство жрецовъ того времени. *Бероальдъ*, ученый объяснитель Анпулея, думаетъ, что превращеніе Луція въ осла означаетъ, что человѣкъ предавшійся чувственнымъ наслажденіямъ, превращается въ скота, — но что, если онъ, отбѣдавъ розъ (подъ которыми должно разумѣть науки и мудрость), снова обратится къ религіи и добродѣтели, ему будетъ возвращенъ его прежній человѣческій образъ.

3) П Р О З А.

Дѣятельность нѣкоторыхъ изъ названныхъ въ предъидущемъ отдѣлѣ писателей простирается еще на царствованіе Адріана. Адріанъ былъ большой любитель архаической литературы: онъ предпочиталъ Катона Цицерону, Эннія Virgilію и Целія Саллюстію. Онъ далъ толчокъ сабинофильскому направленію фронтоніанцевъ, и самъ написалъ въ старинномъ вкусѣ мемуары, изданные имъ подъ именемъ своего ученаго вольноотпущенника Флегонта. Послѣ Антониновъ наступилъ совершенный упадокъ исторіи. Всѣ почти историки этого періода только компиляторы и эпитоматоры, писавшіе исторію или для императоровъ и вельможей, или для школъ, какъ на примѣръ шесть *Scriptores historiae Augustae* *, работавшихъ по заказу Діоклеціана; *Флавій Евтропій*, тайный секретарь Юліана (*Breviarium romanae historiae ad Valentem I. X*) **, *Секстъ Аврелій Викторъ*, занимавшій высшія должности при Юліанѣ и его преемникахъ (*Caesares; epitomae de vita et moribus Imperatorum Rom.; De viris illustribus urbis Romae*), *Фестъ Руфъ* (сокращенная исторія дѣяній народа римскаго), *Л. Амелій* (*l. memorialis*—антикварно-историческія замѣтки). Не извѣстно, къ какому времени отно-

* На русскомъ языкѣ: Шестъ писателей исторіи о Августяхъ. 2 ч. Спб. 1775.

** На русскомъ языкѣ: Евтропія сокращеніе римской исторіи до времени кесарей Валента и Валентиніана, переведенное съ латинскаго языка *Семеномъ Воронцовымъ*. Печатано при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, 1759. Тожъ вторымъ тисненіемъ. Печатано при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, 1879 (безъ имени переводчика).

сится книга „*De prodigiis* (о чудесахъ“, бывшихъ въ Римѣ), набранная большею частію изъ Ливія *Юліемъ Обсеквенсомъ*. *Historia de excidio Trojae*, вѣроятно переводъ греческаго сочиненія фригійца *Дареса*, и переводъ-же, сдѣланный какимъ-то *Септиміемъ* съ греческаго-же сочиненія критянина *Диктиса* *De bello Trojano libri VI*:—вотъ источники, которыми пользовались средневѣковые поэты, писавшіе о войнѣ троянской. Гораздо выше своихъ современниковъ стоитъ *Амміанъ Марцеллинъ*, послѣдній исторіографъ римскій. Грекъ, антиохійскій уроженецъ, онъ поступилъ въ военную службу при Юліанѣ; сражался съ персами, потомъ съ галлами и германцами; по возвращеніи въ Римъ, онъ написалъ *Rerum gestarum l. XXXI*, исторію императоровъ отъ Нервы (т. е. отъ того мѣста, гдѣ остановился Тацитъ) до смерти Валента. Образцомъ Марцеллина былъ Тацитъ, и онъ равенъ ему по здравому уму, проникающему во внутреннюю связь событій, и по своей любви къ истинѣ (будучи язычникомъ онъ чрезвычайно безпристрастно отзывался о христіанахъ); но далеко отсталъ отъ него въ основательности образованія, хотя его этнографическія и географическія знанія довольно значительны. Въ латинскомъ языкѣ онъ, какъ иностранецъ, не большой мастеръ: оттого у него и изложеніе, при всей его живости, нѣсколько грубо, мѣстами обременено цвѣтистыми и крайне безвкусными украшеніями. Послѣ Марцеллина исторіографія окончательно зачухла. Труды *Декстра*, пресвитера *Павла Орозія*, *С. Аврелія-Виктора* младшаго, епископа *Идація*—ничего больше какъ неловкія школьныя компіляціи.

Краснорѣчіе пользовалось еще нѣкоторымъ значеніемъ; но измѣляло до такой степени, что самая безстыдная лесть, выраженная языкомъ вычурнымъ и надутымъ, составляеть содержаніе почти всѣхъ дочедшихъ до насъ декламаций и рѣчей этого періода. Печальнымъ памятникомъ униженія ораторскаго искусства служатъ панегирики *. Обычай обращаться къ императорамъ съ реторическими привѣтствіями вышелъ изъ Галліи; образцомъ былъ Плиній младшій, съ которымъ однакоже никто изъ этихъ жалкихъ панегиристовъ не могъ сравняться. Имена ихъ называть не стоитъ. — Какъ учитель краснорѣчія, былъ особенно славенъ *М. К. Фронтонъ* (ок. 170) изъ Африки, имѣвшій большое вліяніе на направленіе своего времени. Какъ глава созданной имъ школы фронтоніанцевъ, онъ думалъ оживить древнеримскій духъ педантическимъ подражаніемъ стариннымъ формамъ языка, въ которыя, какъ говоритъ Бернгарди, онъ старается облечь наготу своей нищеты въ знаніи и мысли. Нибуръ называетъ его болваномъ, которому слѣдовало-бы заниматься какимъ-нибудь механическимъ ремесломъ, а не ораторствомъ. Отъ него-же въ новѣйшее время найдены (кардиналомъ Анджело Май):

* Панегирикомъ первоначально называлась всякая рѣчь, произносимая передъ собраніемъ народа, — на что указываетъ и самая этимологія этого слова (*panegyris* отъ *pan* все, и *agora* собраніе). Въ римской-же литературѣ (такъ-какъ императоровъ всенародно можно было только хвалить, т. е. льстить имъ), слово «панегирикъ» приобрѣло свое позднѣйшее значеніе.

Письма къ Антонину Пію, М. Аврелію и друзьямъ; при этомъ много отвѣтныхъ.

Отъ послѣдняго столѣтія этого періода мы имѣемъ два собранія писемъ: *Симмаха* и *Сидонія* *. Въ историческомъ отношеніи важны письма Магна Авр. *Кассиодора* (VI в.), тайнаго секретаря Θεодориха.

Энциклопедическія сочиненія *Авла Геллія* (*Noctes Atticae*) ** драгоценны по множеству заключающихся въ нихъ извѣстій и цитатъ; менѣе важны сочиненія слѣдующихъ за нимъ полигисторовъ: *Гигина*, *Н. Марцелла*, *П. Феста*, *Аврелія-Макробія-Амвросія-Θеодосія*, *Марціана-Минія-Феликса-Капеллы* и *Кассиодора* (о свободныхъ наукахъ). Къ первой половинѣ VII вѣка принадлежитъ энциклопедическое сочиненіе *Исидора*, епископа севильскаго (*Originum s. Etymologiarum lib. XX*). Сочиненіе это было одною изъ болѣе распространенныхъ въ средніе вѣка книгъ; изъ него черпали тогда все знаніе древности. Для насъ — это замѣчательный документъ того, что подъ деспотическимъ и іерархическимъ гнетомъ вышло наконецъ изъ высокаго античнаго образованія: мертвый сконъ всякой всячины, въ которомъ по-крайней-мѣрѣ хоть то хорошо, что онъ

* К. Соллій Аполливарій Сидоній. Историческое изслѣдованіе *Ешевскаго*. Москва, 1855.

** На русск. языкѣ: Авла Геллія Афинскихъ ночей записки, содержащіяся въ двадцати книгахъ; перев. съ латинск. языка Московской Словяно-Греко-Латинской Академіи ректоръ, *Архим. Леопацій*. Москва. 1787.

поддерживалъ воспоминаніе о древности, пока пришло время, когда она снова возстала изъ гроба и возбудила человѣчество къ новой умственной жизни.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

	стр.
1. До-гомерическое (орфическое) время	8
2. Эпосъ	9
3. Дидактика	61
4. Лирика	71
а) Лесбійско-киоародическій стиль	73
б) Дорійско-хорическая лирика	78
в) Сколи	83
г) Дионрамбъ	—
д) Гимны	84
е) Сотадическія пѣсни	—
ж) Эпиграмма	85
5. Драма	—
I. Трагедія	91
II. Комедія	150
III. Сатирическія драмы. Гилародіи. Мимы	169

6. Буколическая поэзія	стр. 171
7. Исторіографія и ораторское искусство	179
8. Александрійско-римскій періодъ греческой литературы	191

ИСТОРИЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Введение	197
1. Начало римской литературы	201
2. Художественная литература римлянъ:	
I. Архаическая литература	209
А. Поэзія	—
1. Ливій Андроникъ	212
2. Кн. Нэвій	214
3. Кв. Эний	216
4. Т. Макцій Плавъ	218
5. Дальнѣйшее развитіе драмы	237
а) Трагедія	238
б) Комедія	242
аа) Fabula palliata	243
бб) Fabula togata	258
вв) Atellana Mimus	259
в) Сатира	264
Луцилій	—
В. Проза	269
II. Классическая литература	277
(Вѣкъ золотой).	

а) Вѣкъ Цицерона	стр. 281
А. Проза	—
1. Маркъ Туллій Цицеронъ	—
2. Кай Юлій Цезарь	304
3. Кай Силлустій Криспъ	310
4. Современная исторія. По- лигисторы	321
В. Поэзія	327
1. Лирики (Катуллъ)	328
2. Лукрецій Каръ	332
б) Вѣкъ Августа	341
А. Поэзія	—
1. Варій Руфъ	343
2. П. Виргилій Маронъ	344
3. К. Гораций Флаккъ	374
4. Элегики	444
5. Публий Овидій Назонъ	451
В. Проза	459
Исторіи: Титъ Ливій	460
Трогъ Помпей	465
III. Періодъ упадка	466
а) (Серебряный вѣкъ)	—
А. Поэзія	473
1. Басня. (Федръ)	474
2. Сатира. (Персій. Ювеналъ)	476
3. Эпиграмма. (Марціалъ)	507
4. Эпосъ	509
5. Драматическая поэзія	516

В. Проза	стр. 534
в) Окончательный упадокъ римской ли- тературы	549
1. Поэзія	551
2. Романъ	553
3. Проза	560



2
144

82/89(091)
Istoriya Lite.